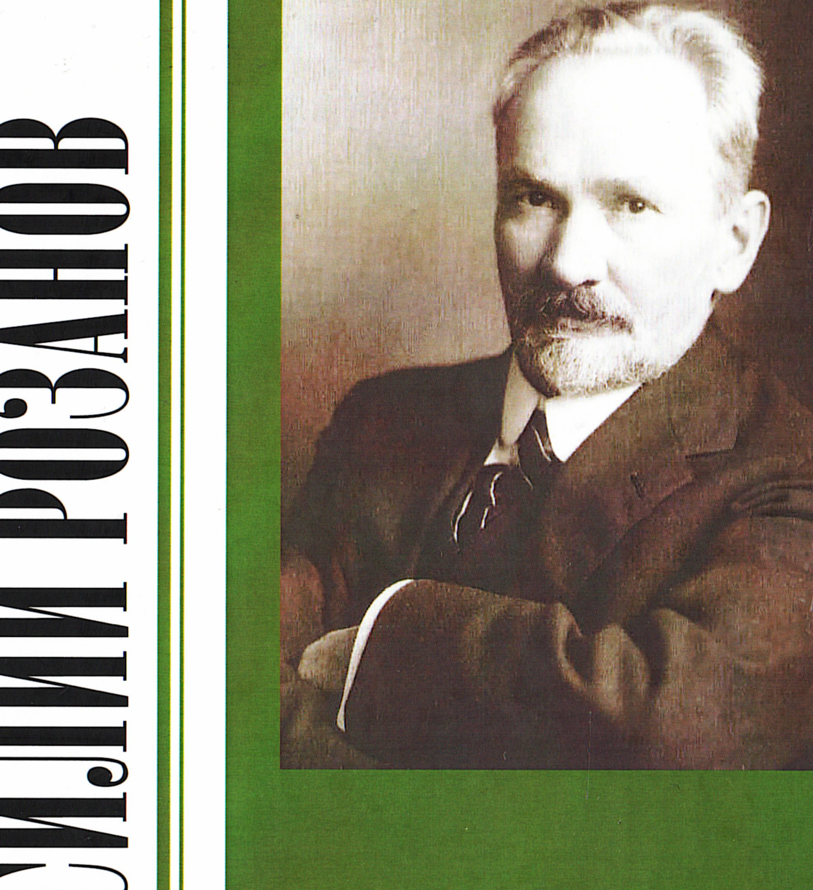
Василий Розанов



глазами современников

СЕРИЯ

Неизвестный XX век

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆

Росток

2022

Санкт-Петербург

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ

Воспоминания. Дневники. Письма. Документы. Художественные произведения

ТОМ 2



2022
Санкт-Петербург

ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8Розанов
УДК 821.161.1Розанов
Р64

Ответственный редактор:
А. П. Дмитриев

Р64 Василий Розанов глазами современников: Воспоминания. Дневники. Письма. Документы. Художественные произведения: В 2 т. Т. 2 / предисловие, составление, подготовка текстов и комментарии В. Г. Сукача. — СПб.: ООО «Издательство "Росток"», 2022. — 528 с.

Василий Васильевич Розанов (1856—1919) — один из крупнейших представителей русской культуры Серебряного века, гениальный художник слова и религиозный мыслитель, интерес к творческому наследию которого с годами неуклонно возрастает как в нашей стране, так и во всем мире.

Второй том объединяет мемуары и выдержки из дневников и писем дочерей В. В. Розанова и других родственников. Впервые в полном объеме представлены воспоминания дочери Татьяны Васильевны. Здесь писатель представлен в кругу семьи. Также публикуются фрагменты из дневников и писем современников (З. Н. Гиппиус, С. Н. Дурылина, М. М. Пришвина, П. А. Флоренского), документов эпохи, а также из художественных произведений, персонажи которых имеют своим прототипом В. В. Розанова.

Издание адресовано всем любителям русской словесности.

В оформлении обложки использован фотопортрет В. В. Розанова, сделанный в Петербурге в день 60-летия писателя — 20 апреля 1916 г.

ISBN 978-5-94668-340-1
ISBN 978-5-94668-349-4 (т. 2)



В. В. РОЗАНОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ ДОЧЕРЕЙ

Т. В. Розанова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ В. В. РОЗАНОВЕ И ОБО ВСЕЙ СЕМЬЕ

Глава I
Молодые годы моих родителей

Начинаю свои воспоминания с дневника отца моего, Василия Васильевича Розанова. Дневник сохранился с гимназических лет 1871 года.

«Я родился в Ветлуге Костромской губернии. Отец мой был добр, честен, простодушен, — но вместе с тем не был слабого характера. Я лишился его на третьем году жизни. Он умер, получив простуду, когда гонялся в лесу за мошенниками, губившими лес (он был лесничий). Мамаша долго (в продолжение трех лет) горевала и дала обет никогда не выходить замуж. Она была убита смертью мужа и отца семейства. Семь человек детей осталось на руках ее; восьмой вскоре должен был появиться на свет. В Костроме, в гимназии, учились: старший брат Николай, третий брат Федор и старшая (годом моложе Коли) сестра Вера. Коля подавал блестящие надежды. С поступления в первый класс, он постоянно шагал первым. Сестра постоянно была второй ученицей. Не одно прилежание было причиной ее успехов, безупречная скромность и превосходное поведение, — были причиной всеобщего к ней уважения.

Сестра Павла, брат Федор, Дмитрий, я, Сергий и родившаяся сестра Любовь были с матерью. По смерти папаши она продала большую часть своего имущества и переехала в Кострому.

Я помню, как мы голодали по целым неделям. Дня по три мы питались печеным луком. Просили хлеба у приезжающих к нам мужиков-угольников. Не забуду по гроб случая, когда мы, найдя где-то грош, по-

слали Сережу купить четверть фунта черного хлеба. Это было в Великом посту.

Верочка, тихая, скромная, любящая уединение, не любящая гулять по бульвару, слабая — не вынесла всех этих страданий и умерла через год после выхода из гимназии».

Впоследствии, я вспоминаю, как в разговорах за обеденным столом отец часто обращался к событиям своей жизни. Он рассказывал, что мать его происходила из обедневшего дворянского рода Шишкиных, о чем она любила с гордостью вспоминать. Об этом писал Василий Васильевич в «Опавших листьях», короб 1, стр. 235—238.

Отец рассказывал и о том, что мать его, продав почти все свое имущество, могла купить в Костроме небольшой деревянный дом. Матушка его, хотя и дала обет не выходить более замуж, после трех лет не выдержала и сошлась с молодым художником, который являлся как бы отчимом для всех восьмерых детей. Он был человеком озлобленным, часто пил, и детям жилось очень плохо. Мать болела в конце своей жизни раком и от этой болезни умерла. Как мне помнится, по рассказам отца, он учился два года в Симбирске, а затем его взял к себе старший брат, Николай, в Нижний Новгород, где он был преподавателем и, кажется, вместе с тем и директором гимназии. Отец окончил гимназию в Нижнем Новгороде. Затем брат Николай продолжал материально помогать отцу, когда тот уже поступил в Московский университет на юридический факультет, на историко-филологическое отделение.

По сохранившимся записям дневника отца видно, что его с детства волновали религиозные вопросы: «Еще и прежде в мою бедную голову западала мысль, — что нет Бога, — но тогда я тотчас же в слезах бежал к моей доброй мамаше и простодушно говорил ей, что невидимый демон хочет погубить меня».

Вот еще строки из его дневника:

«Часто, во время длинных, лунных ночей, когда приветливые звездочки весело мерцают в беспредельной голубой лазури небес — часто думаю о Боге. Иногда вместе с этими мыслями — воспоминания о прошедшем толпились в моей голове. Глядя на чудные небеса, я вспоминаю подобные же ночи, которые проводил года два тому назад в кругу родной семьи. Я мысленно сличаю того Василия, который два года назад глядел на эти же неподвижные звезды, — и Василия теперешнего. Сравнивая мое прежнее и настоящее религиозное чувство, припоминая частные случаи моей жизни, я всегда прихожу к одному простому убеждению — что это светлое чувство все более и более вытесняется из моего сердца и впечатлительного ума».

В старших классах гимназии и в студенческие годы его, по-видимому, захватили и научные вопросы. На странице 70-ой дневника отец запи-

сал: «Мне хотелось быть философом и общественным деятелем», а на странице 77-ой (1872 года 11 августа) следующая запись: «Мне приходит на ум, когда я читаю или рассматриваю звездное небо, — отчего это у нас нет хорошей небесной карты.

Далее сегодня я тоже думал, почему это у нас не составят атласа, который бы наглядно изображал историю земли и историю органического развития на ней. Тоже недурно было бы составить атлас геологии, показывающий строение земли, различные земли, минеральные граниты и прочее. Ведь это было бы великолепно!

Хорошо бы составить карту, показывающую качество почвы во всей земле (части света). И карту того, чем занимаются люди, и карту промышленности, и карту морских течений, и карту ветров и ураганов, — кстати, хорошо было бы составить целый атлас по метеорологии и прочее, по физике, в котором содержались бы все физические явления, рисунки всех машин, инструментов, препаратов и прочее, с показанием, как с ними надо обращаться».

В письмах отца к Голлербаху есть такие интересные строчки: «К чертам моего детства (младенчества) принадлежит: поглощенность воображения. Но это не фантастика, а задумчивость.

Мне кажется, такого "задумчивого мальчика" никогда не было. Я вечно думал, о чем — не знаю. Но мечты не были ни глупы, ни пусты».

Продолжаю рассказ об отце. Переехав в Москву, он жил одно время в комнате с Любавским, а затем с Вознесенским Константином Васильевичем, своим университетским товарищем. В университете он числился стипендиатом им. Хомякова. Отца считали способным к научной работе и предложили ему остаться при университете. Но отец отказался, так как был убежден, что не может читать лекций по самому складу своего характера и по слабости голосовых связок.

К концу своих университетских занятий он знакомится в 1878 году с Апполинарией Прокофьевной Сусловой. Так, в своем дневнике он записывает свои отношения с ней: «Декабрь, 1878 год. Знакомство с Апполинарией Прокофьевной Сусловой. Любовь к ней. Чтение. Мысли различные приходят в голову. Суслова меня любит и я ее очень люблю. Это самая замечательная из встречающихся мне женщин. Кончил курс.

Реакция против любви к естествознанию и любовь к историческим наукам, влияние Сусловой, сознание своих способностей к этому, возможность много сделать, но не воздыханием...».

Отец по окончании университета (1882 г.) был назначен в город Брянск в неполную четырехклассную гимназию учителем по истории и географии. Затем оттуда переведен в город Елец преподавателем и воспитателем в старших классах гимназии. В это время он уже был женат на

Сусловой. Университетский товарищ отца рассказал нашей маме, что «когда папа венчался на первой своей жене — Сусловой, то она (Суслова) шаферами пригласила его и Любавского. Был среди них Белкин, красивый, Апполон Бельведерский; он и говорит: "Давайте увезем Ваську" (от венца), но они не решились, так как были приглашены и должны были свою должность исполнять». Женитьба на Сусловой была в 1880 году.

Товарищи моего отца верно угадали положение дел. Брак с Сусловой был несчастен. В Ельце уже начались неприятности между Сусловой и моим отцом. Она всячески насмехалась над его работой, и ему со своей рукописью «О понимании» приходилось уходить в номер гостиницы, дописывать ее. Начал он ее писать в 1881 г., а напечатана в 1886 г. Книга эта была очень большая, в 700 страниц, с большими диаграммами и схемами. О ней дали два плохих отзыва в печати и что она написана под влиянием Аристотеля. Перед написанием этой книги Василий Васильевич совместно с преподавателем гимназии Первовым сделал перевод «Метафизики» Аристотеля. Первов перевел с греческого на латинский, а отец мой с латинского на русский. Об этом уже гораздо позднее, в наше время, упоминалось в прессе как о первом и труднейшем переводе « Метафизики» Аристотеля.

Книгу «О понимании» не стали покупать, а отец, нуждаясь в деньгах, продал ее на бумагу, на вес с пуда. А между тем, для того только, чтобы издать свою книгу, он откладывал по двадцать пять рублей ежемесячно из своего учительского заработка. Суслова презрительно относилась к этой его работе, очень его оскорбляла и в конце концов бросила его. Это был большой скандал в маленьком провинциальном городе. Об их отношениях имеется письмо отца, к кому, не помню. Письмо это передано мною в Государственный литературный музей.

До женитьбы моего отца на Апполинарии Прокофьевне Сусловой, она была одним из сильных увлечений Достоевского. Он изобразил ее в своей повести «Игрок». Апполинария Прокофьевна Суслова была старше отца моего почти на двадцать лет. Когда-то она была, как папа пишет в том письме, очень красивой, но характер, как он говорил нам, был у нее невозможный. Она уехала от него, не давая ему развода, несмотря на то что он для получения его брал всю вину на себя. Сохранились письма В. В. Розанова о Сусловой. Они находятся в Государственном литературном музее.

В это время отец был морально убит, гимназисты над ним смеялись; особенную дерзость проявил мальчик Пришвин. Отец на педагогическом совете требовал его исключения. Его исключили, и потом, как мы узнали, юноша этот убежал не то в Америку, не то в Германию и там работал.

В это время отец мой знакомится в Ельце с моей матерью — Варварой Дмитриевной Бутягиной и с ее маленькой дочерью Шурой от ее первого брака. Она жила в то время со своей матерью Александрой Андриановной Рудневой, вдовой священника. Отец сразу же ее очень полюбил, стал бывать у них в доме, а затем совсем переехал к ним на квартиру в качестве жильца. Он настаивал на браке, снова стремясь получить развод от Сусловой. Но ничего не получалось, та отказывалась дать развод, а бабушка не соглашалась отдать дочь без церковного брака. Таким образом отец оказался двоеженцем, что наложило печать на всю нашу дальнейшую жизнь и оторвало нас от наших родных. Эту трагическую историю он описал в конце жизни в книге под названием «Смертное» *.

Отец, ухаживая за моей матерью, подарил ей свою фотографию. На обороте была надпись:

Мое и Ваше прошлое было грустно.
Настоящее у нас хорошо.
Станем же поддерживать друг друга,
жалеть и не осуждать за взаимные
недостатки, чтобы и будущее стало
для нас не хуже.

Внизу на фотографической карточке надпись:

Варваре Дмитриевне Бутягиной от
преданного, любящего и уважающего
друга Василия Розанова.
Елец, 1889 г. — мая 25 **.

А вот надпись на другой фотографии В. В. Розанова, подаренной моей матери:

Варваре Дмитриевне Бутягиной от
глубоко уважающего В. Розанова.
Одной из трех праведниц, чистой и
благородной В. Д. Бутягиной.
Елец, 5 июня 1889 г.

На своей карточке, где его узнать нельзя, столько скорбных складок на лице, он написал на обороте следующие слова:

* Напечатана в пятидесяти экземплярах. Один экземпляр находится в Государственной библиотеке им. Ленина.

** Эта фотография находится в Государственном литературном музее в Москве.

Много, много, свет мой, путь мой,
расправила ты морщин на этом лице. Не
таково оно было в 1890 году. Ты христианка
в любви. Никто не умел так сочетать
любовь женщины, чувство женщины с
самопожертвованием христианским,
как друг мой, подруга моя. Спасибо тебе
дорогая. Спешу в Эртелев переулок *.
Но ведь ты знаешь, куда бы я ни
поспешал и где бы ни был, около тебя
ведь душа моя, около твоих худеньких
ручек, худенького личика.
Прощай мой Ангел.
Да хранит тебя Бог, как ты меня в жизни
хранила с 1891 по сей 1899 год. Твой
вечно любящий муж Вася Розанов.
Варваре Дмитриевне Розановой.

(Официально фамилии этой она никогда не носила. Брак был незаконный, так как первая жена не давала развода. Подробности этого дела описаны отцом в книге: «Смертное».)

1899 — 8 мая, СПб. **

В 1901 году отец мой подарил маме моей свою книгу «В мире неясного и нерешенного» с надписью:

Дорогому моему покровителю и защитнику,
который никогда не сказал слова поперек,
а по глазам ее всегда видел, если что
не нужно было делать, — и всегда ее
слушался, как совести своей, жене моей
Варюшке Розановой
СПб., 1901 — 21 февраля ***.

«Флоренский, — писала Надя в 1918 году, — посоветовал мне как-нибудь написать, что мама говорит, считая ее язык очень красочным и изобразительным, и я решила как-нибудь записать.

Мама рассказывала, а я сидела в отдалении и записывала. Мама говорила Вознесенскому Константину Васильевичу, папиному универси-

* В Эртелевом переулке находилась редакция «Нового Времени».

** Фотография находится в библиотеке им. Ленина в Москве.

*** Книга пожертвована в библиотеку им. Ленина.

тетскому товарищу, с которым он одно время жил в одной комнате: "Мать моя детей учила, сама безграмотная была. Приехал Иннокентий (знаменитый архиепископ Херсонский, он приходился родственником бабушке моей. — *Т. Р.*), он любил к нам приезжать на лошадях...

— Когда, Александра Андриановна, дети приходят?

— Никогда, никогда не приходят, — растерялась она.

Иннокентий спросил:

— Сколько они тебе платят?

— Три рубля в год, — отвечала мать.

— Так пусть они к тебе никогда не приходят, я тебе буду присылать...

И присылал.

Да он скоро умер"».

«Когда я к Василию Васильевичу ходила, он меня только черным хлебом угощал и чаем с молоком. А на столе у него бутылка водки стояла и штопор на самом видном месте, а сам никогда не пил.

К нему учитель-француз, пьяница, приходил — Марисонка, для него и покупал... устраивал, вино покупал, фрукты покупал... уважал его.

Тюлевые занавески я купила, повесила. Он обстановку любил, угостить любил. Навоз для топки покупал, вместо воза сорок возов, на весь дом. Так и отапливал».

«Ложки серебряные, мое приданое, мать от Иннокентия (преосвященного) получила в наследство, одеяло пикейное и дюжину ложек серебряных, с ними я и замуж выходила».

«Папа ухаживал за мной странно, неуклюже и смешно. В платке снялась с папой. В нем и замуж выходила. Папа в Москву поехал, привез мне крест с голубой эмалью и цепочку, и обручальное кольцо, и потом два ситца на капот, — один полосатый, другой желтый, кремовый с разводами, — по двенадцати аршин. Я лучшей портнихе отдала...»

«Василий Васильевич часто квартиру менял. Сначала в доме Рогачевых, в флигельке, на Успенской улице (в Ельце), потом перешел против Покровки (Покровской) — две комнаты имел, а потом уже к нам, против Введенской церкви. С ним Коля племянник жил».

После истории с незаконным браком с моей матерью и исключением Пришвина из гимназии отцу пришлось уехать из Ельца, и в дальнейшем наша жизнь была довольно замкнута, потому что семейные люди почти у нас не бывали. Отец перевелся в город Белый преподавателем в неполную гимназию. Он очень тяготился жизнью в этом городе; сначала там был директором брат его Николай, а затем брат перевелся в другой город, а отец стал хлопотать о переводе в Петербург на службу в Государственный контроль, где в то время директором был Тертий Иванович Филиппов — славянофил. Перевод этот был устроен Н. Н. Страховым по просьбе отца, так как отец стремился уйти от педагогической дея-

тельности и заняться литературной работой. Но жилось ему на первых порах очень тяжело. Тертий Иванович Филиппов, интересуясь литературой, часто звал отца к себе в гости. Отец тяготился своим подчиненным положением и был несвободен в своих высказываниях. А главное, невольно сравнивал свое бедственное материальное положение с благоустроенной жизнью начальника. Он даже часто был несправедлив к Тертию Ивановичу, которого многие хвалили за его широкие литературные интересы и за его доброжелательное отношение к подчиненным. В это время уже была написана Василием Васильевичем книга — «Сумерки просвещения», в которой он подвергал резкой критике постановку научного образования в России. Возврат к педагогической деятельности был закрыт. Средств было мало. Родилась дочь Надежда *, а кроме того росла падчерица Шура.

Надя, которую отец так безумно любил и так ею гордился, умерла рано — ей было всего восемь месяцев. Отец убивался очень ее смертью и считал, что у него больше не будет детей. По словам отца, Надя умерла от туберкулезного менингита. Похоронена она на Смоленском кладбище в Петербурге. Мы ежегодно весной всей семьей ездили на ее могилку, которая была посыпана песочком и обложена мелкими симпатичными камешками, а близ была могилка блаженной Ксении, которую до сих пор чтут и поминают церковно.

Карточка, на которой он снят с нею, всегда стояла на его письменном столе. Теперь эта фотография находится в библиотеке им. Ленина с чудесным автографом.

Дорогой моей Наде, когда она будет большая, любящий отец 22 июля 1893 года.

С. Петербург, Петербургская сторона, Павловская улица, дом 2. кв. 1. В. Розанов.

Заповеди ей же:

1. Помни мать.

2. Поминай с молитвах отца и мать.

3. Никого не обижай на словах и паче делом.

4. Поминай в молитвах бабушку Александру, которая приехала к твоим родам и выучила тебя аукать и подавать ручки.

5. Помни сестру Александру и тетку Павлу, которые любили с тобой возиться и играть и баловать тебя.

6. Береги свое здоровье.

7. Ума будь острого, учености посредственной, сердца доброго и простого.

---

* Названа в память матери отца.

8. Ничего нет хуже хитрости и непрямодушия, такой человек никогда не бывает счастлив.

Ну, прощай, 11 ч. ночи, писать пора.

Мама твоя читает «Петербургский листок». Все мы счастливы; что-то будет потом.

Еще раз твой любящий отец
Василий.

Все говорят, что ты и я сняты тут точь-в-точь похожи, и что всегда бываешь такая, когда я держу тебя на руках (люблю с тобой обедать и чай пить). Это написал тебе на память, если буду жить или умру.

Глава II
Наше детство

В 1895 году родилась я. Отец был безмерно счастлив и носил меня на руках. А когда меня крестили, боялся, что меня уронят. Это рассказывала впоследствии Евдокия Тарасовна Александрова, присутствовавшая при крестинах.

При крещении родители мои, усердно молясь, положили три записочки у образа Божией Матери с именами Татьяны, Натальи и еще с каким-то именем. Вынули записочку по жребию и дали мне имя Татьяна. Это уже когда я подросла рассказывали мне родители.

Свое детство я плохо помню.

Вспоминаются какие-то отдельные отрывки из нашей семейной жизни, но один вечер я живо помню. Горит электрический свет, мы все сидим в столовой за общим столом. На темно-коричневых обоях, на бордовых шнурах, в черных рамах, спускаются картины античного мира. Здесь и «Афинская школа» Рафаэля, и «Аполлон», и «Венера Милосская», и «Гермес». Куда девались потом эти картины — я не знаю, но я очень хорошо их помню. Где-то внизу, сбоку, висит и портрет Н. Н. Страхова. Папа рассказывает о нем, о его тяжелой болезни (он умер от рака десен) и с каким терпением и мужеством он уходил из жизни. Какой это был, вообще, замечательный человек! Отец очень грустен и сидит понуро, опустив голову.

Первый раз я слышу слово: «смерть». Я теряюсь и сердце мое сжимается пронзительной жалостью к моему умершему крестному отцу.

Что это? То ли отец вспоминает день смерти Страхова, то ли это был самый день смерти; не знаю. Если день смерти, то это значит — мне один год, так как Н. Н. Страхов был моим крестным отцом, а я родилась за год до его смерти. Это очень удивительно, случай этот я помню очень ярко, как будто это было на днях.

Нет, наверное это было позже, скорее всего в 1904 году, когда мы уже жили на Шпалерной улице, но точно не уверена, а может, оба случая соединились в одно и оставили острую память о себе, — тем более что отец часто вспоминал Страхова с любовью, нежностью и глубоким уважением.

Вспоминается из раннего детства наша поездка в Аренсбург, на дачу. Мы ехали на пароходе по Балтийскому морю, помню бурю на море, серо-зеленые волны, ударяющиеся в окна каюты, мне страшно и я молюсь Богу, чтобы миновала опасность.

В Риге помню благотворительный базар, помню немецких, надменных баронесс, которые все явились в ситцевых платьях. Папа говорил: «Посмотрите, как они бедно оделись, это они выражают презрение к русским».

Нас было тогда у родителей трое детей и ездили мы с бонной Эммочкой, которую мои родители очень почитали, и которая вскоре по приезде в Петербург заболела сыпным тифом, была увезена в Обуховскую больницу и там скончалась. Ее милый портрет многие годы висел у нас в детской, в плюшевой рамочке. В настоящее время он куда-то затерялся.

Эта поездка мне очень запомнилась, так как мама там впервые серьезно заболела сердцем. И было это в 1900 году, как удалось мне восстановить по папиной записи, где упоминается моя младшая четырехлетняя сестренка Вера, которая несла папе ягодку.

Ладонь все еще держит лодочкой, —
разжимает пустую и говорит:
«Папочка. Я тебе несла, несла ягодку
и потеряла».

Эту сценку записал отец спустя 15 лет в своей записной книжке, вспоминая о ее доброте.

Помню себя маленькой девочкой в детской. Стою около корзины с игрушками и что-то мне очень тоскливо, капризничаю. Вдали сидит мама, кто-то стоит, но это все в тумане. Потом вспоминаю, как мы в Петербурге переезжали на другую квартиру, в Казачий переулок — тянется шесть или семь подвод, на одной из них восседает торжественно толстая няня Паша; уже должна родиться у мамы третья сестренка Варя.

Еще помню, как мы сидим с мамой в детской, на низеньких стульчиках, а мама показывает занимательные картинки из Библии (иллюстрации Дорэ, как я теперь помню) и рассказывает нам чудесные библейские истории (все картины были в черном цвете). — Вот «Изгнание Адама и Евы из Рая», «Авель и Каин», «Приношение Авраамом в жертву своего сына Исаака». Мой ужас. Мама, чуть не плача, признается: «Бога я очень люблю, но вас, моих маленьких деток, я не могла бы принести в жерт-

ву». И как я маме за это благодарна, как я ее люблю, и как она нас любит!

Помню картину: «Бегство из Содома семьи Лота», его жену, превратившуюся в соляной столб, «Дочь фараона, склонившуюся над младенцем Моисеем», «Пустыню», «Медного змия» и толпу евреев около него.

Все это на всю жизнь запечатлелось в моей памяти, а также жалостные, горячие рассказы моей матери.

В каком году, — не помню, кажется в 1903, мы ездили летом в Саров. За год до нашей поездки были открыты мощи преподобного Серафима Саровского; еще стояла деревянная позолоченная арка, воздвигнутая в честь приезда государя с семьей на открытие мощей.

Мама задумала эту поездку, тревожась за мое слабое здоровье и крайнюю нервность. Мы поехали вчетвером: папа, мама, я и брат Вася. Ехали до Тамбова поездом, а оттуда до Сарова — лошадьми. Перед этим был дождь, дорога была размыта, лошади с трудом шли, кругом стояли чудесные сосновые леса.

Приехав в Саров и остановившись в гостинице, мы пошли в храм, где стояли мощи преп. Серафима и шли молебны. Мама повела меня в исповедальню к старенькому священнику-монаху и сказала мне, что я должна на все перечисленные грехи говорить — грешна. Так как перечисление грехов было страшное, а я многих слов совсем не понимала, монах взглянул на меня недоуменно, но потом, видно, понял, что мать моя, желая, чтобы я искренно исповедалась и не пропустила греха, так меня научила. После исповеди священник меня ласково погладил по головке и отпустил. Мы пошли в церковь. Она была богато обставленная и блестела позолотой и чистотой. Шла всенощная. Все помню ясно. Это была моя первая исповедь в жизни.

На другой день мы ходили за три версты в пустыньку Серафима Саровского, где был источник и где, по преданию, преп. Серафим провел 1000 дней и ночей на камне в молитве. Видели и камень, весь источенный болящими богомольцами. Преп. Серафим, по преданию, сам вырыл колодец. В этот колодец шла лесенка, по ней мы спустились в купальню. Вода была студеная и животворная.

Ездили мы из Сарова в Понетаевский монастырь, который был основан учеником Серафима Саровского — Тихоном, и который как-то отделился от Сарова. Об этом папа рассказывал маме. Храм был очень обширный, богатый, монахини пели прекрасно. На обратном пути мы остановились в деревне, нам вынесли большую кринку чудесного молока. Женщина певучим голосом рассказывала о многочисленных исцелениях у раки преп. Серафима. Особенно много слепых исцелилось.

Так закончилась наша поездка в Саров, которую папа описал в своих работах.

Не помню точно, в этом же году или ранее, мы ездили с отцом и матерью в город Ярославль к архиепископу Ионафану — дяде моего отца. Отец очень почитал и уважал Ионафана. Помню, что он уже был больной, на покое в Спасском монастыре. Грустил, что не может совершать богослужения по немощи физической; боялись, что он уронит чашу со св. Дарами. Папа огорчался, что церковное начальство не дало ему помощника и не разрешало служить обедню.

Как мне было жаль «дедушку»!

Он вынес мне шоколадную конфету и с такой доброй улыбкой угостил меня, что я и сейчас помню этот случай. А прошло с тех пор 67 лет!

Да, мне было очень жаль старенького «дедушку», и я все расспрашивала родителей о нем.

Вскоре он умер и был захоронен под алтарем Спасского монастыря. Проездом в Саров мы заезжали вновь в Ярославль, ходили в Спасский монастырь, спускались с церковным служителем в склеп под алтарем церкви, чтобы поклониться праху этого достойного пастыря.

Сохранилась ли его могила, — не знаю. Сравнительно недавно, примерно в году 1957, я читала в «Троицком листке» биографию архиепископа Ионафана, где рассказывалось о его большой благотворительной церковной деятельности. При его содействии и на его средства была создана семинария в Ярославле, он жертвовал много личных средств на украшение храмов города и на его общее благоустройство. Когда мы ехали по городу в трамвае, я обратила внимание на чистоту города, запомнился мне и трамвай, так как ни в Петербурге, ни в Москве их еще тогда не было.

«Дедушка» поразил мое детское воображение, и память о нем жива до сих пор.

В нашей семье сохранялась фотография архиепископа Ионафана, а на обороте фотографии была надпись моего отца:

> Ионафан Архиепископ Ярославский, очень
> добрый, купил Шуре рояль, прислал через
> товарища по семинарии чиновника Писарева
> денег маме, когда она лежала в больнице в
> тифу, и все время присылал плату за учение
> в гимназии Шуре.
> В. Розанов*.

* Шура — падчерица В. В. Розанова, мама — жена В. Розанова, В. Д. Бутягина. Фотография эта с автографом В. Розанова пожертвована в Московскую Духовную академию.

В раннем детстве вспоминается мне на Петропавловской улице маленький мальчик «Мася». Он любил со мною играть во дворе нашего дома. Сам он жил с матерью-вдовой и братишкой в белом двухэтажном доме. На фоне этого дома он и заснят со мною и моей матерью на фотографии. Приезжал он к нам и на дачу уже маленьким кадетиком, кажется, в Гатчину. Помню, у него болели тогда глаза, и мне его было так жаль! Последний раз он был у нас на Шпалерной улице на мои именины. Мне было лет десять, ему четырнадцать. Взрослые в этот вечер танцевали, меня он не пригласил на вальс, я горько расплакалась. Это было мое первое детское горе, которое я не забыла до сих пор...

Мама мне помнится еще молодой, красивой, статной, с прекрасной каштановой косой вокруг головы. Помню, как она собирается с папой и старшей моей сестрой Алей в театр на «Руслана и Людмилу». Я спрашиваю, что такое театр? А папа говорит, что будут показывать большую голову, мертвую, которая потом заговорит. Я думаю, что же они такие веселые, нарядные, а это так страшно! Мама в сером костюме, в шелковой белой блузке — такая красивая! Сестра в белом нарядном платье с искусственной розой, приколотой у пояса. А папа в сюртуке и очень важен и серьезен.

Мама озабочена, оставляет нас на няню Пашу, велит нам не шалить. Но как только родители уехали, все двери в квартире настежь и начинается игра «в разбойники». Паша должна изображать разбойника, а мы убегаем, прячемся и кричим. Она нас ловит и должна нас туго вязать веревкой, в этом вся соль игры. Стулья все повалены, в комнатах полный беспорядок, няня замучилась с нами. Когда родители приезжают, видят в ужасе эту картину и нам, конечно, попадает.

Заводилой в этих играх была я, но были и другие игры — спокойные. В детской ставились стулья подряд, связывались веревкой. Это был поезд. Мы куда-нибудь уезжали. Впереди на стуле сидел Вася, он был машинист, а мы, пассажиры, садились на другие стулья с поклажей. Так мы сидели часа два, тихо и спокойно ехали. Но потом нам надоедало, мы разбрасывали в разные стороны стулья, ссорились, поднимали шум, и папа сердился у себя в кабинете.

Квартиры в Петербурге у нас были большие, часто менялись, так как отец не переносил ремонтов в квартире, и поэтому, когда вставал вопрос о необходимости ремонта, — подыскивалась новая квартира, и мы вновь переезжали. Так с 1899—1904 мы жили на Шпалерной улице, с 1905—1910 в Казачьем переулке, с 1910—1912 — на Звенигородской улице, с 1912—1916 на Коломенской улице. Тут на Кабинетной улице была гимназия Стоюниной, куда отдали остальных сестер, и где я потом кончила гимназию; с 1916—1917 мы жили на Шпалерной улице, д. 44. кв. 22, отсюда мы совсем покинули Петербург (в то время именовался он

Петроградом) и переехали в Троице-Сергиев Посад, где уже началась совсем другая жизнь и где окончились дни отца, но об этом расскажу дальше...

У нас, как я говорила, в Петербурге было сначала 6 комнат, а затем 7. Домашней прислуги было трое: кухарка, няня и горничная; дрова носил на 5-й этаж дворник, белье большое стирать приходила прачка раз в месяц, маленькие стирки лежали на обязанности горничной. Горничная должна была по утрам чистить всем обувь и пальто, открывать парадную дверь на звонок, подавать к столу кушанья, мыть вместе с кухаркой посуду, по утрам мести и вытирать пыль в комнатах: раз в месяц приходил полотер и натирал полы (папа этот день очень не любил и уходил из дому куда-нибудь); глаженье всего белья лежало на горничной. Когда мы подросли, няня Паша вышла замуж и ушла от нас; к нам приставили немок-бонн, но мы с ними не ладили, а потом, когда мама заболела в 1910 году, взяли тихую женщину, которая нас обшивала, разливала чай в столовой, гуляла с детьми, делала покупки и была в доме очень необходима. Ее звали Домна Васильевна, фамилию не помню. Она жила у нас вплоть до отъезда в Троице-Сергиев Посад.

Мама была очень хорошей хозяйкой и за здоровьем детей очень наблюдала. День был строго распределен. Нас, детей, будили в восемь часов утра, мы умывались, одевались и, прочитав «Отче наш» и «Богородицу», шли здороваться с папой и мамой в спальню. Это время мы очень любили. Мы целовали у папы и мамы руку. Потом шли завтракать. В это время привозилось 4 бутылки молока из Царского Села, считалось, что там лучше молоко. Мы ели манную кашу, пили кофе с молоком и ели булку с маслом. Через полчаса вставали мама и папа со старшей сестрой Алей. Отец просматривал за кофеем газеты. Газеты выписывались: «Новое Время», «Русское Слово» и «Колокол». Когда мы стали взрослыми, отец все равно не разрешал нам читать газеты. Говорил, что нам они не нужны, а что он как писатель обязан читать их, но что и ему они надоели. Любил читать на последней странице газеты – всякие страшные приключения, а полностью ни одной газеты никогда не прочитывал. Мама газеты никогда не читала, кроме папиных статей, а сестра Аля любила читать журналы: «Русское Богатство», а больше всего кадетский журнал «Русскую Мысль».

За столом мы должны были сидеть тихо, перед едой креститься, съедать все, что поставлено на стол. Если мы капризничали за обедом и не ели что-нибудь, папа рассказывал о своей бедности в детстве и вспоминал, сколько есть на свете бедных детей, которые даже черный хлеб едят не досыта. Нам становилось стыдно, и мы принимались за еду. После завтрака мы шли в детскую играть, мама лежала в спальне на кушетке, Аля тоже, у нее был порок сердца, и она была очень больная; последние годы

она у нас не жила, а жила с подругой Натальей Аркадьевной Вальман на отдельной квартире, на Песках.

Обыкновенно в час дня подавался завтрак — котлеты, или что-нибудь легкое. После завтрака отец ложился в кабинете спать на кушетку, мама накрывала его меховой шубой, и в квартире водворялась полная тишина; нас, детей, спешно одевали и отправляли гулять во всякую погоду, будь то снег или дождь. Гуляли мы большей частью в Таврическом саду. Помню там хромую, некрасивую девочку Асю, старше меня, которая меня полюбила и все за мной ходила, а мне она не нравилась, и я обращалась с ней холодно и пренебрежительно, и даже до сих пор в этом упрекаю я себя. Очень хорошо все это помню.

Летом мы часто гуляли в Летнем саду. Мама, не доверяя ни няне, ни бонне, часто приезжала на извозчике и украдкой смотрела, как мы играем.

Я очень не любила эти прогулки, — особенно зимой: мерзли руки и ноги, особенно когда заставляли кататься на коньках. Но в наше старое время ослушаться не приходило и в голову.

В четыре часа папа просыпался, вставал, одевался и ехал в Эртелев переулок, в редакцию «Нового Времени»: потолковать о новостях, узнать, как идут его статьи в газете, поболтать с сотрудниками. Близких друзей у него в редакции не было. Главного сотрудника газеты — Меньшикова — он недолюбливал и посмеивался над ним — за зонтик и галоши в любое время года, а также за статьи его об аскетизме, считая их фальшивыми. У Меньшикова был свой кабинет, у отца никогда не было. В редакцию отец всегда ездил на извозчике, для вида всегда торговался, — 15 или 20 копеек дать? Поговорит, посмеется и всегда даст больше. Отец очень любил шутить, болтать всякие пустяки, особенно с домашней прислугой, с извозчиками. Всегда расспросит: женат ли, сколько детей, отчего умерли родители, выслушает с интересом и прибавит от себя какое-нибудь утешительное наблюдение нравоучительного характера. Домашняя прислуга его очень любила и говорила: «Барин — добрый, а барыня — строгая».

Если папа не уезжал в редакцию, то в четыре часа пили чай, а если уезжал — то в шесть часов подавался обед, а чаю уже не пили. Отец не смел опоздать на обед. Мама очень сердилась, говорила, что труд прислуги надо беречь и приходить вовремя. Папе очень попадало за опоздание к обеду. Когда мы совсем были маленькие, обед был в два часа дня, а в шесть часов — ужин. Помню, в зимние дни ждем мы папу из редакции. Звонок, горничная идет открывать парадную дверь, мы, дети, гурьбой бежим к отцу навстречу. Мы рады, что он пришел. Он пыхтит, шуба на нем тяжелая, на меху, барашковый воротник, руки у него покрасневшие от мороза, перчаток он не признает. «Это не дело, — говорил он, —

ходить мужчине в перчатках». На ногах у него штиблеты и мелкие калоши. Лестница высокая, — 5 этаж, лифт когда работает, когда нет. Отец улыбается, целует нас, детей, идет в столовую, подают миску со щами или супом, валит пар, и счастливая семья, перекрестясь, дружно усаживается за стол. Как я любила эти моменты — так уютно, тепло было в столовой после мороза, папа за столом рассказывает всегда что-нибудь интересное. Обед состоял из 3-х блюд. Щи или суп с вареным, черкасским мясом (часть мяса 1-го сорта). Мясо из супа обыкновенно ел только отец, и обязательно с горчицей, и очень любил первое блюдо. На второе подавалось: или курица, или кусок жареной телятины, котлеты с гарниром, изредка гусь, утка или рябчики, судак с отварными яйцами; на третье — или компот, или безе, или шарлотка; редко клюквенный кисель.

После обеда мы должны были играть в детской, а отец шел заниматься в кабинет, разбирать монеты или читать. Читал он в конце жизни мало, больше со средины книги или с конца, — уставал. Много прочитал серьезных книг смолоду. В кабинете у отца стояла большая вертящаяся полка с книгами по богословию, сектантству, а на высоком стеллаже стояли старинные фолианты книг на латинском и других языках, энциклопедисты XVIII века. Он хотел после своей смерти пожертвовать [их] в Костромскую городскую библиотеку, откуда был родом, но разруха в революцию не дала осуществить эту мечту, да он с грустью говаривал: «Кто будет там читать, а я эти книги собирал, будучи бедным студентом, покупая на последние деньги у московских букинистов».

В трудное время сестра Надя продала их, не знаю кому, потом я очень об этом сокрушалась. Была еще полка с русскими старинными книгами: Херасковым, Сумароковым, Ломоносовым и Карамзиным, все в старинных красивых переплетах. В кабинете у отца, на круглом столе красного дерева лежали хорошие книги по искусству. Были на полке у нас и чудесный журнал «Старые Годы», и журнал «Столица и Усадьба», «Русские Пропилеи», много книг с автографами Гершензона, Мережковского и других писателей. Библиотека не сохранилась. В голодные годы отец их продал в Троице-Сергиевом Посаде в книжный магазин Елова, и сестры во время голода потом тоже продавали книги. Последние хорошие книги я продала в Государственный литературный музей. Среди них были и книги Гершензона с интересным автографом, «Оправдание добра» В. Соловьева. Был у нас и весь Леонтьев, стоял на полке с книгами русских писателей-классиков: Достоевским, Толстым, Пушкиным, Лермонтовым, Гончаровым. Тургенев весь стоял в шкафу у сестры Али. В молодости я им зачитывалась.

Как я уже сказала, отца мы видели в основном только за столом. Он любил рассказывать всякие случаи из жизни, о бедствиях своего детства,

страшной нищете и болезни бедной своей матери. Это он говорил, чтобы мы не капризничали и ценили нашу жизнь. Любил рассказывать страшные рассказы, читать Гоголя: «Страшную месть», «Вия», «Тараса Бульбу», читал Пушкина стихи и Лермонтова: «Анчар», «Три пальмы», «Выхожу один я на дорогу», а особенно «Ангела» Лермонтова. Мама его часто останавливала, говорила, что дети и без того очень нервные, — плохо спят.

В беседах со взрослыми отец часто критиковал школьное образование, а также либеральные статьи в газетах; приводил рассказы о простых, добрых людях, живущих просто и нравственно. Я очень любила эти папины беседы за столом, они были фундаментом, заложившим нравственную основу во мне на всю жизнь.

На Шпалерной улице, вечерами, мы сидели на подоконниках в столовой и смотрели в окна на Петропавловскую крепость, на Неву, на пароходики с зелеными и красными огоньками. Мы загадывали, какой изза угла дома покажется пароходик — с зеленым или красным огоньком? И это нас очень увлекало. Об этом пишет в своих воспоминаниях сестра Надя.

Днем к нам редко приходили гости. Делалось исключение для Нестерова, Мережковских. Помню Зинаиду Гиппиус, жену Мережковского, всегда и зимой в белом платье и с рыжими распущенными волосами. Мама ее терпеть не могла, а мы, дети, посмеивались и считали ее сумасшедшей.

В то время, когда у нас бывали Мережковские и отец увлекался юдаизмом (1903 г.), однажды произошел следующий случай. Звонок. Входит молодой красивый офицер и обращается с просьбой к моему отцу, не может ли Варвара Дмитриевна (моя мать) быть крестной его невесте. Она была еврейка из богатой семьи, и этот русский офицер не мог на ней жениться и по церковным, и по гражданским законам. Моя мама очень неохотно согласилась, дала ей Евангелие и научила ее главным молитвам. Они обвенчались. Через год у них родился ребенок — мальчик, но тут произошло несчастье — жена заболела и умерла от тифа. Было очень горько моим родителям, так как все полагали, что эта смерть была вызвана проклятием родителей, истых иудеев, не простивших дочери отступление от религии отцов.

Наша вся семья его очень жалела. Его положение было просто ужасное, — молодой офицер с маленьким ребенком на руках. Он продолжал у нас бывать, часто брал меня на руки (мне было лет семь), и помню, как он мне рисовал все одни и те же маленькие деревянные домики, неказистый забор, за забором — яблоня, а из трубы идет дым.

Затем он уехал на Кавказ, на свою родину, с ребенком. Помню, как мы на нескольких извозчиках всей семьей его провожали. Помню, как

я потихоньку там горько плакала, жалея, что он уезжает. Через некоторое время он прислал нам свою фотографию, где он был снят уже в генеральском мундире с прелестным курчавым ребенком. На обороте фотографии была длинная надпись, но содержания ее я не помню. Эта фотография до последнего времени хранилась у меня, но потом я испугалась, что он снят с генеральскими эполетами старой царской армии, и я уничтожила ее, о чем теперь очень жалею.

Раза два бывала у нас жена Достоевского, Анна Григорьевна, в черном шелковом платье, с наколкой на голове и лиловым цветком. Представительная, красивая; она просила написать рецензию на роман дочери «Больная девушка». Но папа нашел роман бледным сколком с Достоевского и бездарным и не написал рецензию. Анна Григорьевна волновалась за дочь, жаловалась, что она ее замучила, и она хочет уйти в богадельню. Я тогда очень удивлялась этому.

Вспоминаю нашу знакомую, Фрибис. У нее были две дочери — Вера и Надя. Фрибис была крестной матерью моих сестер — Веры, Вари и Нади. Дочь ее, Надя, бывала у нас чаще, одна, — и брала меня с собой гулять по прилегающим к нашему дому улицам. Она мне очень нравилась, она была хорошенькая блондинка, очень изящная. С ней мы останавливались у красивых витрин, особенно я любила останавливаться около табачных лавчонок, где были в окнах выставлены нелепые блестящие открытки, а также маленькие бутафорские колечки с красненькими стеклянными камешками. Мне очень они нравились, и я просила Надю, чтобы она купила мне такое колечко. И она мне купила. Через некоторое время я узнала, что она покончила с собой. Никто так и не узнал причины ее смерти. Об этой истории, как я понимаю, написал мой отец статью «О самоубийствах», которую я прочла только в этом году, в сборнике «Самоубийство», М., кн-во «Заря», 1911 г.

Другой печальный случай вспоминается мне: молодой человек, Зак, музыкант, приходил к нам играть на рояли, так как у него своего инструмента не было. Он готовился к поступлению в консерваторию. Однажды он к нам не пришел в назначенный час. Через несколько дней мы узнали, что он покончил о собой, выбросившись из окна. Причина была та, что по ограниченной процентной норме для евреев он не попал в консерваторию. Это был довольно красивый, скромный и тихий молодой человек. Мы его очень, очень жалели и часто потом вспоминали.

Бывала у нас и семья Саранчиных. Это была богатая дама, вдова, с сыном Мишей и дочерью Марией. Они изредка у нас бывали. Вскоре мы услышали горестную весть, что эта молодая, красивая девушка, с огненно-рыжими волосами, внезапно заболела аппендицитом и после тяжелой операции умерла. Почему я описываю этот случай? Потому что я в первый раз видела смерть, гроб, стоявший в церкви, и слушала зауп-

койную обедню. Картина эта запечатлелась на всю жизнь в моей памяти, и я впервые задумалась над тайной смерти.



Днем приходил Евгений Павлович Иванов, изредка бывала моя крестная мать — Ольга Ивановна Романова со своей дочерью Софьей, — папиной крестницей. По зимам с мамой и со старшими детьми отец изредка ездил к ним в гости на Васильевский остров. Зимой на санках проезжали через Неву, красиво горели фонари на оснеженной, замерзшей Неве. Мы любили эти поездки. Старик Иван Федорович Романов, довольный, выходил к отцу навстречу, и лилась у них мирная и интересная беседа, а мы — женщины говорили про свое житейское, обыденное.

Обыкновенно дети ложились спать в 9 часов вечера. Папа всегда приходил их крестить на ночь. Мама с сестрой ложились часто часов в 12, я же потихоньку зачитывалась допоздна.

Ночью папа обыкновенно или писал, или определял свои древние монеты, или же ходил по кабинету по диагонали и о чем-нибудь размышлял. Писем он писал мало и по крайней необходимости. Много курил. Папиросы он набивал сам табаком и клал в хорошенькую бордовую коробочку с монограммой «В. Р.», подаренную моему отцу падчерицей А. М. Бутягиной. Коробочка эта сохранилась и передана мною в Государственный литературный музей в Москве. Если в воскресенье, когда магазины табачные закрыты, у отца не было папирос, то он был совершенно растерян и не мог работать...

В 1904 году началась Японская война. Помню, у нас, детей, было два альбома и мы наклеивали туда вырезки из газет с изображением боев, Цусимской битвы, крепостей, генералов. Эти альбомы мы бережно сохраняли в нашей семье долгое время... Я просила мать отдать меня на воспитание крестной матери Романовой — но та отказалась, и меня в 1904 году отдали в пансион. Этот пансион был только что открыт по образцу английской школы и принадлежал некоей даме по фамилии Левицкая. В этом пансионе девочки учились вместе с мальчиками. Он помещался в Царском Селе. Прекрасный воздух, парки, строгий режим — все это должно было укрепить мое здоровье. Программа была мужской гимназии с латинским языком. Меня туда привезли и оставили, я долго горько плакала и всех боялась, особенно мальчиков. Мальчики меня звали «мокрой курицей», и я этим очень огорчалась. Через две недели меня стали пускать домой на воскресенье, а если в чем-нибудь провинилась, то оставляли на воскресенье в школе. Но я обыкновенно ездила домой.

Папа и мама мои очень не любили лгать, особенно мама, поэтому она была очень привязана ко мне, потому что я тоже не могла сказать

неправду. Сестры же были большие фантазерки, и никогда нельзя было узнать, правду они говорят или придумывают. Мама с папой очень верили мне и очень держались меня. Папа говорил: «Таня нас не бросит в старости», и случилось так, что оба умерли при мне; с папой еще очень, очень помогла Надюша, а мама умерла при мне, и до последней минуты я была с ней в больнице.

Вспоминаю свои приезды домой в зимние дни с субботы на воскресенье. Как я любила субботы! Бывало, мама лежит на кушетке, а я сзади нее, за ее спиной, и слушаю ее неторопливые рассказы об Ельце, о бабушке, о первом мамином муже. Милая мама, — больше всех в жизни я ее любила, и она тем же отвечала мне.

К моему приезду всегда в вазочке стояли розы. Было в комнате моей тщательно все прибрано, и я весело проводила эти дни, а вечером, в воскресенье, возвращалась в школу Левицкой. Комнату мою мама запирала на ключ, чтобы сестры там не напроказили и я была бы спокойна. В детстве, лет до десяти, я была очень резва, смела, ничего не боялась, но с десяти лет характер у меня изменился — я стала очень серьезной, боязливой, о чем папа и пишет в письме. Я была ригористична, прямолинейна, требовательна к себе, но еще более требовательна к другим. Я осуждала многих, особенно сестер за их легкомыслие, и эта черта моя делала, в сущности, меня несчастной. Родители мои любили и жалели меня, а сестры меня недолюбливали и боялись. Я была очень старательной в учебе и во всех делах, мне никогда не надо было много раз напоминать, я сама знала и чувствовала, что я должна делать и как поступать, чтобы не огорчать родителей. Но в одном я родителей не слушалась: я по ночам запоем читала, и чуть ли не восемнадцати лет прочла всего Достоевского. Это увеличивало мою нервозность и сильно испортило мое здоровье. Так как я была очень слабым ребенком, то меня поздно начали учить по настоянию врача, что было очень тяжело для моего самолюбия. Я росла замкнутым, нервным и не по летам серьезным ребенком.

В марте месяце 1905 года вдруг перестали к нам в школу Левицкой доходить письма от родителей, они тоже не приезжали ко мне и нас не пускали домой. Поезда из Царского Села одно время в Петербург не ходили. Шепотом говорили, что революция в России...

В один из приездов весной я видела, как полиция с нагайками разгоняла толпу народа около Зимнего дворца, и мы с няней убежали; затем волнения улеглись, но долго у нас дома были разговоры. Я напрягала свой детский ум, чтобы понять, что же произошло?

В 1905 году, летом, мы поехали за границу по окружному билету: Берлин, Дрезден, Мюнхен, затем Швейцария и обратно через Вену. Но отцу очень хотелось посмотреть Нюрнберг, и мы сделали отклонение от

маршрута и поехали в Нюрнберг. Он красочен и интересен. Ходили в костел, слушали орган. За границу ездили: отец, мать, сестры Аля, Вера, Варя и я. А Васю и Надю оставили у знакомых Гофштетеров.

Берлин мне очень не понравился, — прямые, скучные улицы, масса жандармов, очень везде строго и как-то скучно. Но когда мы приехали в Дрезден и Мюнхен — там меня все очаровало. Красивые парки, сады, яркое солнце, замечательные музеи. Помню дрезденскую Сикстинскую Мадонну. Мы не выходили из музея допоздна, с утра до вечера посещая галереи, картины меня очень интересовали, и я со вниманием их рассматривала и многие из них до сих пор помню, хотя мне тогда было только десять лет.

Из Германии мы поехали в Швейцарию, сначала жили в Женеве, в гостинице, напротив был разбит сквер. Помню один случай, и серьезный, и комичный: сестры Вера и Варя устали от путешествий, им все надоело. Они решили сами прогуляться и убежали из гостиницы. Мы очень испугались, что они потеряются, не зная языка, такие маленькие дети. Отец их догнал в саду и, крайне рассерженный, запер их в платяной шкаф. Слышу, Вера, встревоженная, шепчет, задыхаясь: «Вот скоро умру», а Варя ее утешает: «Не бойся, папа пожалеет и выпустит нас, он не даст нам задохнуться». Вспоминается и второй случай, когда я в сумерках, в горах убежала от родителей. Я обиделась на сестру Алю, что она не обращает на меня внимания и разговаривает с нашим знакомым Швидченко, который в Швейцарии сопровождал нас, любезно показывая разные достопримечательности.

Один раз в жизни испытала я жгучую ревность к сестре и убежала в горы, не помня себя. Были сумерки, родители сильно напугались, — я бы легко могла сорваться в пропасть. Это произвело столь сильное впечатление на Швидченко, что он много лет посылал мне открытки, уговаривая, чтобы я не была столь отчаянно-сумасбродной.

В Женеве мама сильно заболела, и мы перебрались в местечко «Бе» в горах. Там мы прожили в пансионе три недели, ходили в горы, а мама лежала в гостинице. Из местечка «Бе» мы через Вену вернулись в Россию. Видели собор св. Стефана, были в костеле, слушали поразительный орган, но сама Вена нам не понравилась, очень шумная, беспокойная и дорогая. Васе и Наде привезли много подарков, все были очень довольны, мама очень беспокоилась за младших детей, первый раз оставленных на чужие руки.

Поездку за границу я запомнила, привезла оттуда много открыток с видами Швейцарии, очень их берегла, но в 1944 году, при несчастном случае, их у меня выкрали.

Пришвин появился у нас в Петербурге на квартире с рюкзаком за плечами и женатым. Он принес свою первую книгу «В краю непуганых птиц» и просил отца написать об этой книге рецензию. Это я очень хорошо помню. Отец засмеялся и сказал: «Вот, Таня, как хорошо, что я его выгнал, по крайней мере, узнал жизнь, путешествовал, и написал хорошую книгу, а то был бы каким-нибудь мелким чиновником в провинции. Отец сдержал слово, поместил похвальную рецензию в «Новом Времени». После него дал о книге отзыв еще и Горький. С этого времени Пришвин пошел в гору. Позднее он написал роман «Кащеева цепь», где высмеял Василия Васильевича, не упоминая его фамилии. Когда в 1928 году я стала бывать в его семье в Троице-Сергиевом Посаде, то он хотел прочитать мне это место из своей книги, но я отказалась слушать. Он был, видимо, очень смущен этим и через несколько времени принес мне на квартиру в подарок портрет моего отца, а также фотографический снимок с пелены преп. Сергия, который находится в Государственном Троице-Сергиевом музее в Загорске. Фото эти до сих пор висят у меня на стене.

В 1906 году мы ездили летом в Гатчину. Смутно запомнились дворец и зелень садов. В 1907 году мы ездили летом всей семьей в Кисловодск. Мама болела, и врачи посоветовали лечение нарзаном. Помню, как я смотрела из окна вагона на цепь невысоких гор.

Отец нашел, по совету художника Нестерова, дачу, расположенную близ дачи художника Ярошенко.

Из Кисловодска мы ездили в Пятигорск: отец, сестра Аля (Александра Михайловна), Вера и я. Ходили смотреть место дуэли Лермонтова. Рассказ старожила Пятигорска о смерти Лермонтова казался сомнительным, о чем сказала моя сестра Аля. Если бы дуэль была на том месте, где указывали, то Лермонтов должен был бы упасть в пропасть и разбиться насмерть, так как площадь была небольшая, а он жил (по свидетельству биографов) еще некоторое время, хотя был без сознания.

Памятник же Лермонтова находился совсем в другом месте и был очень неудачный — в виде ограды из алебастра или мрамора. Потом мы пошли смотреть домик Лермонтова, в котором поэт провел последние дни своей жизни. Одноэтажный домик стоял в саду, густо заросшем, тенистом. В самый домик нас не пустили, как я хорошо помню, а какой-то старичок повел нас в сад — уютный, где было много яблонь.

Я была очень печальна, мне было до слез жаль Лермонтова. Я сорвала несколько листков с яблони на память о нем, засушила их, и они долго хранились у меня.

Старичок этот что-то умиленно и долго рассказывал о Лермонтове моему отцу... Оттуда мы вышли очень грустными с мыслями о том, что память о Лермонтове плохо сохраняется в Пятигорске, что рассказ о по-

следних его днях неясен. Отец выразил желание написать о домике Лермонтова и просить его сохранить для потомства, что он и сделал, написав статью в «Новом Времени» в 1908 году об этом. На статью обратила внимание Академия наук, а затем и общественность, и спустя некоторое время домик был передан в ведение города.

Я очень любила Лермонтова. Первый классический стих, который я услышала от отца, был «Ангел» Лермонтова: «По небу полуночи Ангел летел и тихую песню он пел». Часто впоследствии отец мне читал наизусть стихи Лермонтова.

Помню, как отец подарил мне собрание сочинений Лермонтова в одном томе, в красном переплете. Первый рассказ попался мне «Тамань». Я прочла его, не отрывая глаз от страниц. С рассказа этого началось мое запойное чтение книг, особенно Лермонтова, а затем в юности Достоевского.

Отец ставил Лермонтова выше Пушкина, учитывая, что Лермонтов ушел из жизни совсем молодым.

Из кавказских впечатлений помню нашу поездку к подошве горы Эльбрус. В жизни впервые я увидала восход солнца, видела, как брызнули кровавые лучи солнца на белые снега Эльбруса. Зрелище это было незабываемое по своей красоте и значительности.

Вот все, что я помню о Кавказе... да еще вспоминается один эпизод: как-то мои младшие сестры и братишка собрали исписанные открытки и решили их продать, а на вырученные деньги убежать из дому в горы. Отец их поймал и пребольно высек, пощадив лишь младшую сестренку Надю.



В школе Левицкой, где я училась, было очень холодно, здание школы было деревянное и плохое, во все щели дул ветер, временами зимой в дортуарах и классах было 5—7 градусов тепла. Мы мерзли, несмотря на теплую шерстяную одежду.

Учиться мне было трудно, так как я плохо усваивала задачи по арифметике с бассейнами и встречными поездами, а также трудно давался устный счет. Мучило меня и французское произношение, и учитель дико на меня кричал.

Распорядок дня в школе Левицкой был следующий: будили нас в 7 ч. 30 м. утра, обливали в ванной комнате холодной водой, а меня, как нервную, обтирали губкой (врач запретил обливать меня холодной водой). Затем нас гнали гулять бегом, зимой и летом по улицам Царского Села полчаса, затем мы в столовой слушали общую молитву и садились завтракать. На завтрак подавали молоко и какую-нибудь кашу: пшенную, гречневую размазню, манную. Все каши были холодные, наверху,

в ямочке, стояло застывшее противное топленое масло. В понедельник подавалась геркулесовая каша, особенно противная, вызывавшая во мне непроизвольную тошноту, отчего я мучительно страдала. Но есть надо было, иначе не пустят домой в воскресенье.

Как сейчас помню: бегу к слуге Андрею, он разносил завтраки, — умоляю его взять незаметно от меня тарелку с кашей. Он меня очень любил, жалел и потихоньку брал тарелку. Он делал большое для меня дело, рискуя за это быть уволенным с работы. Никогда не забуду этого милого, доброго Андрея, так сердечно жалевшего меня в детстве.

После завтрака мы должны были идти в классы. Было пять уроков, затем был обед: невкусный, противный суп, котлеты или опять каша и кисель или компот. Затем следовал получасовой перерыв и опять прогулка по улицам и паркам Царского Села. Ходили мы парами и очень благопристойно. Только иногда я убегала потихоньку посмотреть в парке на плачущий фонтан (нимфа с кувшином, из которого постоянно текла вода), потом вскарабкивалась на камни грота, откуда легко могла упасть. Это были смелые шалости в моем детстве.

После прогулки и ужина учили уроки до девяти часов, потом слушали общую молитву и ложились, спать.

В раннем детстве, когда я поступила в школу Левицкой, я сдружилась с хорошенькой белокурой девочкой из своего класса. Звали ее, помню, Марусей Нагорновой. Она была малоразвитая девочка, но тихая и хорошо училась. По вечерам она часто учила со мною уроки. Потом я познакомилась с ее родителями. Они жили в Царском Селе. Маруся очень походила на своего отца — красивого, статного инженера, а мать была неприятная, — какая-то всегда недовольная. Была она купеческого звания, стыдилась этого и мечтала в будущем выдать свою дочь обязательно за князя или графа. Бедная Маруся в четвертом классе заболела гнойным аппендицитом, чуть не умерла, и ее увезли за границу лечить, а затем мать все же добилась своего и выдала дочь за князя Добижа, который когда-то учился у нас в школе. Это был совсем не интересный юноша, глуповатый, из разорившейся семьи, но носил титул князя, и это прельстило глупую мать. Я потом видалась с Марусей, ездила с ней на концерты в Павловск. Там я слышала оперу «Снегурочка» в исполнении Липковской. Маруся была очень грустна, бледна и, по-видимому, совсем больная. С отъездом из Петербурга я ее потеряла из виду, и что сталось с ней потом, я не знаю.

В четвертом классе я заболела корью. Меня поместили в лазарет при городской больнице. Я очень испугалась, много плакала и, помнится, читала сказки Горького, которые мне очень нравились.

Из-за того, что я проболела два месяца, меня оставили на второй год в четвертом классе. Это еще больше вывело меня из равновесия. Руки

меня сильно пухли от холода, и мне позволили при лазарете жить отдельно, а затем, по настоянию врача, совсем взяли из пансиона.

Из расписания жизни в школе Левицкой видно, что для чтения не было времени. Я читала украдкой, полчаса днем и в воскресенье, когда не ездила домой. Так, помню, я запоем прочитала двухтомник Шекспира и «Анну Каренину» уже в пятом классе, сидя на деревянной лесенке, ведущей в кухню, чтобы мне никто не мешал. Такая скучная, холодная, безрадостная жизнь подавила меня. Я все больше и больше чувствовала себя совсем больной и несчастной, сестра же Варя, которая к этому времени поступила в школу, была довольна. Она не любила читать, а любила гимнастику, с мальчиками ладила и все ей нравилось, а занятия ее мало тревожили. Через некоторое время, уже после меня, ее взяли тоже из школы Левицкой, так как она не учила уроков, а плата в школе была высокая: ее поместили в гимназию Оболенской, где была облегченная программа, чтобы она как-нибудь окончила гимназию.



В 1908 году мы жили в Финляндии и местечке Лепенено, а в 1909 году в Луге. Помню суровую природу Финляндии.

Уезжали мы всегда сразу после экзаменов с мамой, с сестрой Алей и бонной Домной Васильевной. Летом у меня всегда были переэкзаменовки по арифметике, и это меня угнетало, но все же опять запоем читала, гуляла мало. Отец жил на нашей квартире в Петербурге, в Казачьем переулке, так как ему нужно было бывать в редакции, и он приезжал к нам в конце недели на воскресенье, всегда с какими-нибудь подарками. Мы очень радовались его приезду. В воскресенье, ближе к осени, всегда ходили за грибами в лес. Ранней весной иногда на дачу уезжала Домна Васильевна с Васей и Надей, младшими детьми, у которых еще не было экзаменов.

Папа и я очень любили эти прогулки в лесу и собирание грибов и кричали: «Вот белый гриб, вот белый гриб», а брат Вася всегда набирал червивых грибов, над ним посмеивались сестры и безжалостно выбрасывали их из корзинки, чем он очень огорчался.

Дома тщательно разбирали, сортировали и жарили или мариновали грибы. В конце лета обыкновенно набиралось больших стеклянных банок — 12, их заливали воском и убирали на зиму.



Вспоминаю свою жизнь с родителями в Петербурге. Помню свою комнату, у меня была всегда отдельная комната, даже когда я училась в школе Левицкой, как я уже об этом говорила. В комнате стояла детская

кровать, которая и до сих пор у меня — старинная с завитками на спинке кровати, каких теперь не делают, диван, шифоньерка с любимыми книгами и бельем, письменный дамский столик, зеркальный платяной шкаф, на стенах картины Беклина и икона в углу.

Сестра Вера имела тоже свою комнату, а Вася, Варя и Надя жили в детской с бонной.

Семья делилась на две половины. Я была ближе с отцом и матерью, а с сестрами и братом далека, любила только младшую сестренку Надю, но она меня не любила. Так было в течение первого периода нашей жизни, а затем, перед смертью отца года за три, отец очень сдружился с Надей, которая увлекалась античными мифами, даже экзаменовала его, а ко мне становился все дальше и дальше, потому что я интересовалась православием и аскезой. Как жалею теперь я об этом. В старости захватил меня древний мир, особенно Ассирия и Египет, о многом я сейчас бы расспросила отца, ближе и дороже становится он мне.

Теперь вернусь к рассказу о семье. Старшая же, сводная наша сестра Аля — Александа Михайловна Бутягина — нас всех объединяла своей любовью, заменяя нам больную мать. По вечерам мы приходили к ней, и она рассказывала нам чудесные сказки Андерсена, особенно мы любили «Дюймовочку» и сказку про «Снежную королеву», а также сказку народную про Иванушку-дурачка. Мы заслушивались и сказкой о Золушке. С нами Аля иногда ходила гулять, много нам интересного рассказывала и была нам родной и близкой. Помню, как однажды пошли мы с ней на Марсово поле смотреть военный парад, было очень интересно и красиво. Но вдруг в конце парада один всадник упал с лошади, и мы видели, как вся остальная конница проехала по нему. Это было ужасно! Мы вне себя пришли домой и больше на парад никогда не ходили.

Вспоминаю своих родителей, вижу, насколько они были разные люди, несмотря на то, что они очень любили друг друга.

Мама была очень молчаливая, сдержанная и с оттенком некоторой суровости. Свои чувства она не любила выражать внешне, но любила отца самоотверженно, горячо, до самозабвения. Из детей она страстно любила меня, прямо боготворила и баловала очень сильно, а младшую мою сестру Надю полюбила тогда, когда последняя вышла замуж и уехала в Ленинград с мужем. Тут Надя была очень ей близка. Мама писала ей трогательные письма. Вспоминала с ней свою молодость и трудную необеспеченную жизнь с отцом в первые годы замужества, писала, что все образуется. Надя вышла замуж за студента. С ними в Ленинграде жил свекр и младшая сестренка мужа. Было материально очень трудно, квартира была большая, дров не было, но сестра все скрывала от меня, чтобы не расстраивать меня. В то время я лежала в больнице в Ховрино с осложнившимся ревматизмом.

Когда сестра Надя умерла в 1956 году, я из писем к ней матери только и узнала о настоящем положении дела.



В молодости сестры Вера и Варя своей анархичностью причиняли маме большие заботы и огорчения, она их совсем не понимала и была далека от них.

Но у Вари все же сохранилось очень хорошее стихотворение к матери.

Моей матери

Завтра утро.
Встанешь рано, —
До зари.
Я приду плести прямые
Волосы твои.
Знаю, скажешь:
«Опоздала»,
С грустью отойдешь
И бродить тоскливо станешь.
Все кого-то ждешь.
Платье черное закрыто
И тревожно спит.
Все неясное сокрыто
И молчит, молчит.
Завтра утро.
Час тревожный,
Отдохни.
Снова встретится возможный
Белый лик тоски.

Сергиев. 25 декабря 1917 г.
Стихи Варвары Васильевны
Гординой-Розановой.

Сестра Вера обожала отца, день и ночь думала о его сочинениях, ночью писала ему любящие письма и оставляла у него на столе. К матери же она была очень холодна.

Брат Вася помогал маме, бегал постоянно в аптеку за лекарствами — у нее часто бывали тяжелые сердечные приступы, — и причинял мало забот, кроме того, что плохо учился, — писал с ошибками; был очень мягкий, добрый и тихий, а ученье ему не давалось. Поэтому его отдали в Тенишевское училище — реальное, чтобы только ему не изучать в гимназии древних языков. Вася и Варя плохо учились, Вера — сносно, хотя

уроков мало учила и читала запоем, как и я. Я же была очень старательная, но математика мне тоже давалась трудно, как и Наде, и я плакала над уроками. Отец, бывало, часто помогал мне в решении задач на краны и поезда: этих задач я никак понять не могла. В старших классах, когда пошла логика, психология, история искусств и отпала математика, так как я была на гуманитарном отделении, то я училась на одни пятерки. Как я уже сказала, Вера и я читали запоем. Вася и Варя совсем не признавали книг. Варя мечтала о танцах и всяком веселии. Вася любил летом удить рыбу; есть очень интересные Васины письма о рыбной ловле. Мама всегда говорила: «Трудные мои дети. Маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы» и тяжело вздыхала.

Папа как-то не очень вникал в наши занятия, он только очень огорчался, когда я горько переживала свои неудачи. Отец полагал, что учат нас многим глупостям, и видя, что мы к науке неспособны, махал только рукой; огорчался только из-за Вари, которая приносила домой из школы одни только двойки и очень шалила за уроками, но сама Варя нисколько не унывала; она была в жизни удивительная оптимистка, ее интересовало только одно, — как сидит на ней юбка и как завязан бант, и вертелась дома весь день перед зеркалом.

Читала мама мало и больше или акафисты — преподобному Сергию, Богородице, Иисусу Сладчайшему; читала также все папины статьи в газетах. Эти статьи прочитывала она очень внимательно и серьезно, часто папу останавливала, когда видела, что он уж очень резко выступает в печати, всегда говорила: «Вася, это ты нехорошо написал, слишком резко, — обидятся на тебя» или же: «Слишком интимно пишешь о детях, это не надо в печать помещать». И большей частью отец слушал мать, выбрасывал целые куски написанного или даже не отдавал вовсе в печать. Папины книги она читала все, по нескольку раз от доски до доски и как-то интуитивно очень все понимала, хотя образования у нее не было, и писать она почти не умела.

А почему она не получила никакого образования, история этого такова: она жила со своей матерью Александрой Адриановной Рудневой в деревне Казаки; отец у нее умер. Там был двухклассная школа, в то время считалось, что девочкам из бедной семьи учиться не следует: мама как-то нашалила в школе, ей поставили по поведению 4, бабушка очень обиделась за дочь, значит, ее дочь опозорена за безнравственность, так она поняла, — и забрала ее домой — так она ничему и не научилась, особенно грамматика ей не давалась. Папа пробовал ее учить, но потом махнул рукой. Но зато дома она была очень хорошей хозяйкой, была очень аккуратной, старалась и нас приучать к порядку.

В последних классах школы Левицкой у меня была новая подруга, прямая противоположность Маруси Нагорновой. Она происходила из

тихой и очень интеллигентной семьи, крайне скромной. Звали ее Лизой Дубинской. Отца у нее не было, она о нем никогда не упоминала, там, видно, была своя трагедия. Мать преданно и глубоко любила свою дочь и жила с ней у дяди — ученого Пулковской обсерватории (как его звали, не помню). Лиза Дубинская была высокая, некрасивая, мужественная и серьезная девушка. Она была мне беззаветно предана. С ней мы говорили о жизни, об интересных книгах, бродили по Павловску, так как каникулы я большей частью проводила в их семье. Это был мой родной дом, там я отдыхала и душой и телом. Потом, помню, у дяди внезапно случился инфаркт, и он в три дня в больших муках скончался. Был он немец, человек либеральных взглядов, но, умирая, все читал Символ веры по-немецки, так рассказывала она мне о его кончине. Это была весна, шла пасхальная неделя, и Лиза захотела отслужить панихиду по нем в православной церкви.

Глава III
Моя ранняя юность

Живя в школе Левицкой и после в первые годы в Стоюниной, я любила зимой и весной с отцом и сестрой Алей посещать выставки. Все весенние, осенние выставки художников-передвижников, а также выставки картин художников «Мира Искусства» усердно нами посещались. Восторгали меня картины Левитана, Врубеля, Петрова-Водкина, Сарьяна, Рериха, художницы Гончаровой. Я подолгу ходила по залам, стараясь понять и запомнить картины.

Бывали мы с отцом и в Эрмитаже.

Была, помню, на концерте в Консерватории, который давал замечательный пианист Гофман, прекрасное исполнение им «Рапсодии» Листа и «Франчески да Римини» Чайковского. Бывала и в операх, в Малом театре Суворина, там шли классические оперы, но в плохом исполнении. Впервые в оперу вводилась игра артистов, но голоса были неважные, и все было довольно безвкусно. Мы ходили в ложу Суворина, так как она обыкновенно пустовала. Один раз, помню, детьми нас повели в Мариинский театр смотреть балерину Павлову в балете — «Спящая красавица». А также помню, как была в Мариинском театре на опере «Евгений Онегин» с певицей Кузй. Она была уже немолода, но все же насколько старые постановки «Евгения Онегина» лучше современных — другой дух, ближе к той эпохе. Была и на «Тартюфе» в Михайловском театре. До 1910 года у нас каждое воскресение бывало много гостей, человек до тридцати, а особенно много было в мамины именины, в Новый год, в папины именины. Их справляли торжественно, с портвейном, вкусными закусками, дорогими шоколадными конфетами и тортами. Шампанское в нашей семье пили только в 12 часов под Новый год в своей семье.

Помню, на этих вечерах бывал Валентин Александрович Тернавцев *. Иван Павлович Щербов ** со своей красивейшей женой, священник Акимов, философ Столпнер, для которого специально ставился графин водки.

В эти годы бывал у нас сын художника Н. Н. Ге. Помню, приходил всегда часа в четыре дня, очень молчаливый, небольшого роста, сидел за чайным столом, посидит и уйдет. Почему он к нам приходил — не знаю, что его связывало с отцом, так как папа никогда не любил художника Ге.

Из Москвы изредка наезжал Михаил Васильевич Нестеров. Наша семья не только уважала, ценила высокое искусство Михаила Васильевича, но как-то по-особенному любила его. Бывало, в свои приезды в Петербург, не очень частые, он нет-нет да и заглянет к нам. Иногда это бывало по воскресеньям вечером, когда у нас, по обыкновению, собиралось большое общество: писатели, поэты, художники, студенты. Бывали люди и совсем незнакомые. Приходил Нестеров и в другие дни. Он был всегда подтянуто одет, в длинном черном сюртуке, очень серьезен, молчаливый и спокойный... Мы, дети, выбегали в переднюю, весело кричали: «Нестеров пришел, Нестеров пришел!»...

Его радовала наша детская непосредственность, веселость и теплота. Он был всегда желанным и родным человеком в нашей семье, чувствовал это и был тоже привязан к нам.

Среди гостей он держался молчаливо и редко вступал в беседу, но когда он говорил, все внимательно слушали его. Содержание беседы, к сожалению, не помню.

Все мы, дети, увлекались картинами. Я с малых лет ходила по выставкам, сначала «передвижников», а затем «Мира Искусства». На каких выставках — я не помню — но видела и картины Нестерова. В 1916 году, приезжая в Москву, видела и его картины в Третьяковской галерее. Помню, как однажды Михаил Васильевич Нестеров принес в белых красивых рамах три своих эскиза: «Ладу», «Монах в лодке» и «Волгу» и по-

* Тернавцев — чиновник Синода и член Религиозно-философского общества, очень умный человек, крестный моей младшей сестры Нади. После революции был выслан из Петрограда, жил в одном из провинциальных городов России, преподавал математику в школе. Умер в 1940 году. Написал толкование на Апокалипсис, подлинник которого не сохранился, но копия была сдана дочерью его в Ленинскую б-ку.

** Щербов — преподаватель Духовной академии Александро-Невской лавры. О нем папа в книге своей писал: «Иван Павлович Щербов — всегда сонный, вялый, а жена у него красавица» (приблизительно тот смысл). Кажется, об этом есть в «Опавших листьях».

дарил их моему отцу. Тогда же картины эти были повешены в кабинете и потом всегда помню их на стене в комнате отца; это были реликвии нашего дома. В 1957 году эскизы «Лада» и «Волга» подарены мною близкому моему другу — Воскресенской Нике Александровне. Эскиз же «Монах в лодке» после смерти сестры Нади перешел в собственность Е. Д. Танненберг — художницы и друга сестры.

Чудесные рамы, к сожалению, не сохранились, — они погибли в блокаду в Ленинграде.

Помню и старшую дочь Михаила Васильевича Нестерова — Ольгу Михайловну, такую красивую, обаятельную. Мы жили с ней рядом на даче в Кисловодске. Мне доставляло неизъяснимое наслаждение ходить с ней по горам и любоваться ее стройным силуэтом на фоне этого пейзажа. Нестеров передал ее незабываемый облик на портрете, изобразив ее в красном берете, в костюме амазонки с хлыстом в руках. Она, такая красивая, такая обаятельная, была почти глуха — последствие скарлатины, перенесенной ею в детстве. Нестеров очень баловал ее и жалел — это была вечная рана в его сердце. Он старался удачно выдать ее замуж, но и в браке, по непредвиденным обстоятельствам, она была несчастна и жизнь ее сложилась очень безрадостно и тяжело. Но я отклоняюсь в сторону.

Из посещений Михаила Васильевича нашей семьи в Петербурге запомнились мне два случая: один был — печальный, другой — курьезный. Как-то днем пришел Михаил Васильевич к нам в гости. Все сидели за столом; затеялся какой-то остро-принципиальный спор. Мы, дети, не соглашались с отцом и резко ему возражали. Михаил Васильевич был возмущен нашим поведением, и всегда при случае с горечью о нем вспоминал... Другой случай был раньше по времени, в каком году, — не помню. В гимназии Стоюниной нам задали сочинение на вольную тему. Я выбрала очень странную тему: «Нестеров и Боттичелли». Что мне тогда вздувалось сравнивать их, — не знаю! Я была очень увлечена своей темой, написала на пяти больших страницах; прочитала в гимназии. Мой учитель — Владимир Васильевич Гиппиус, ничего не сказал. Я не унялась и показала это сочинение Михаилу Васильевичу Нестерову. Он выслушал меня внимательно и сказал, что напишет мне письмо и сдержал слово: написал мне пресерьезное письмо с возражением на мои утверждения. Мне потом было стыдно, я разорвала его письмо, а сочинение все же долго хранилось в моем письменном стола. В старости оно попалось мне на глаза, и я, наконец, уничтожила свое незадачливое сочинение.

Как-то отец мой написал статью о Нестерове в восторженно-патриотическом духе. Но Нестеров был ею недоволен. Он сказал, что в этой статье много политики и мало разбора по существу его живописи, и про-

сил отца написать другую статью. Так она и не попала в печать, а отцом была написана вновь другая статья*.

В этот же период времени к нам приезжал из Царского Села писатель Георгий Иванович Чулков с женой. Они бывали у нас редко, так как отец не был близок с Георгием Ивановичем по своим убеждениям.

На наших воскресных вечерах вспоминается незабвенный Евгений Павлович Иванов, друг Блока, и много еще случайного народа всех толков и мастей: от монархистов до анархистов и богоискателей включительно. Говорили о литературе, живописи, текущих событиях, поднимались горячие споры. Мне было интересно. Младших сестер и брата укладывали спать; иной раз до прихода гостей они выбегали в рубашонках в столовую, чтобы украдкой полакомиться вкусными вещами, за что им попадало.

Помню на этих вечерах Бердяева, а также архитектора, старичка Суслова. Он подарил папе интересную книгу по древнему зодчеству Севера. По рассказам папы, у него была молодая жена и много детей. Бывал он потом и со своей молодой хорошенькой женой.

На этих вечерах у нас помню критика Петра Петровича Перцова — глуховатого, верного друга отца, образованнейшего человека своей эпохи, переведшего Тэна на русский язык и написавшего много хороших критических статей о русской литературе. Бывал и Сологуб со своей женой, Чеботаревской, в черном кружевном платье. Я ее помню. Она, бедная, в 1921 году покончила с собой, бросившись в Неву; тело ее нашли весной и узнали только по кольцу на руке. Это мне рассказывала жена писателя — Надежда Григорьевна Чулкова.



Мне бы хотелось несколько штрихов добавить к портретам моих сестер. Вспоминая сестру Варю, я только недавно осознала особенности ее характера и поняла глубже причины всей трагедии ее жизни. Варя родилась третьим ребенком у мамы и рождение ее было как-то нерадостно для всей нашей семьи. Варя родилась очень хорошенькой. В детском возрасте это была блондинка, с голубыми глазами, с красивым ртом, с пухленькими ручками, с удивительно спокойным и невозмутимым вы-

---

* Даю перечень статей В. В. Розанова о М. В. Нестерове:

1) В. Варварин (псевдоним В. Розанова). «Где же религия молодости?» — «Русское Слово» от 15/II—1907.

2) В. Розанов. «Молящаяся Русь». — «Новое Время» от 25/I—1907.

3) Обе эти статьи входят в книгу В. В. Розанова «Среди художников». СПб., 1914.

4) В. Розанов. «М. В. Нестеров» — «Золотое Руно», 1907, № 2.

ражением лица. Она до четырех лет не говорила и только издавала раздраженно-нечленораздельные звуки, так как не могла облечь в слова свои желания. В семье очень боялись, что она будет совсем немая, и никому не пришло в голову тогда показать ее врачу. Теперь только я понимаю, что с ней надо было заниматься, разговаривать, и она начала бы говорить. Вот эта немота ее до четырех лет создала особенности ее характера. Она привыкла кричать, и если что было не по ней, она все брала криком. Доходило до того, что на даче приходили и спрашивали: «Что вы бьете девочку, что она так кричит?» И в семье приходилось ей во всем уступать. Однажды ее заперли в чулан в наказанье. И когда открыли чулан, то увидели, что она все лицо себе исцарапала. Когда ее показали врачу, то он сказал, что она нервна и ее строго наказывать нельзя. Что было с ней делать?

Когда она немного подросла, то, чувствуя, что ею в семье тяготятся, она выдумала, что она подкидыш и что у нее нет ни папы, ни мамы, ни крестного отца с матерью. (Крестный отец ее у нас не бывал, а крестная мать ее — Фрибис, лишь изредка нас навещала.) Варя неожиданно обратилась к нашей знакомой, писательнице Микулич, и просила быть ее крестной матерью. Мы все тогда очень удивились этому и смеялись, но Микулич отнеслась к этому серьезно, поцеловала ее и сказала, что она исполнит ее желание.

Росла Варя очень трудным ребенком, не любила читать, занята была очень своей наружностью и как-то не подходила к нам, старшим сестрам, которые вечно сидели над книгами. Училась она тоже неохотно и плохо. Когда она стала постарше, ее отдали учиться в школу Левицкой, но и там она не училась и сильно шалила, — получала одни двойки. Пришлось и оттуда ее взять и отдать в гимназию Оболенской, где программа была облегченная и надеялись, что она ее легче усвоит. Отец, конечно, расстраивался таким ее отношением ко всему, но все же любил ее, ласкал, брал на колени и звал ее «беляночкой» или «белым конем». Когда Варя выросла, в 1917 году отец подарил ей свою книгу в трех выпусках «Из восточных мотивов» и на первой странице книги написал:

Нашей Варюше.
Мы звали тебя всегда «Белым Конем»
От необыкновенного белого цвета
Кожи и белых прекрасных волос.
Ты всегда была упрямым конем
Гордым и смелым. Это к тебе шло, увы.
Но благоразумным. Ты была смела и
рассудительна.
Смотри же не падай и не ложись
Что может быть смешнее «лежачей Лошади»,

и вот
Этого смешного ты должна бояться.
Итак, твой путь — гордо идти в жизни.
Папа *.

Надя была самым младшим ребенком в семье. Это имя ей дали в память об умершей первой дочери моих родителей. Это был прелестный ребенок: хорошенькая шатенка, с золотистым отливом волос, с умными серо-голубыми глазами, с очаровательным маленьким ртом, причем верхняя губа у нее была приподнята, так что видны были зубы, и весь рот как-то приветливо раскрывался в ласковой улыбке. Надя всех очаровывала, все были от нее в восторге. Мне она ужасно нравилась, я мечтала, что я окончу свою жизнь в ее семье, так как я была уверена, что она выйдет замуж. Но она, к моему душевному страданию, не обращала на меня никакого внимания. Обижалась она на меня и за то, что я была самым балованным ребенком, что мне покупали всегда самое хорошее, а Надя, как самая младшая, донашивала все мои платья. Эту обиду она сохранила на всю свою жизнь, и уже взрослой она меня часто этим попрекала.

Подруг у нее было бесконечное количество. Я вспоминаю ее в гимназии Стоюниной, как она бежит с лестницы, улыбающаяся, в голубом своем сатиновом передничке с белым воротником, а за ней стаей бегут подружки. Она была подростком, — худенькая, высокая и стройная, а ребенком когда была она, то очень забавно она ползала по полу и мы называли ее «пучком» (редиски). Когда сестра Надя выросла, отец подарил ей экземпляр своей книги «Из восточных мотивов» с надписью:

Нашей Надюше:

Мы зовем тебя «Пучком»
от того, что когда ты ползала маленькой
Потому что это было так
моментально, — будто по паркету бросили
«пучек редиски».

* Эта книга находится в библиотеке Государственного литературного музея в Москве. В этом автографе так же, как и в остальных приводимых мною автографах отца, сознательно сохранена своеобразная форма написания. Эта надпись отца в 1917 году — удивительна! Он, словно предчувствовал печальную судьбу дочери, старается поддержать ее дух. Судьба ее такова; после всех перипетий жизни она умерла в 1943 г. в тюремной больнице в Рыбинске от дистрофии, вся полная надежды на выздоровление и возвращение домой, так как она была освобождена по болезни. О ее смерти мы узнали только в 1945 году.

Это имя я люблю.
И вот ты выросла. Стала почти большая.
Любишь читать. Это хорошо.
А помнишь, как ты семи лет, высунув
головку под занавеску.
Принималась в 10-й раз читать
«Дюймовочку» Андерсена?
И вот спасибо тебе за утешение
Родителей детством.
Детство твое было прекрасно.
Подними глаза к небу и помолись.
Чтобы была такая же прекрасная взрослая
жизнь.
Папа.

Надю звали в семье еще и «Дюймовочкой» за ее любовь к этой сказке Андерсена,

Когда Надя в 1918 году, после окончания Стоюнинской гимназии, вернулась в Троице-Сергиев Посад, отец подарил ей свою книгу «О подразумеваемом смысле нашей монархии». С. Петербург, 1912 г. На этой книге имеется надпись отца:

Дорогой Наденьке, в день ее Ангела 17 сентября 1918 г., когда мы так страдали в Сергиевом Посаде, а она нам обещала сделать пирожок из ржаной муки с яблочками в день Ангела. А накануне отправили Варю и Васю прокормиться на юг, к дяде Тише в Полтаву. Папа ее, В. Розанов.

Свою книжечку довольно любимою.

После смерти сестры Нади я среди ее книг нашла томик стихотворений Плещеева с автографом отца, обращенный к ней:

Помните:
Дарю «Шаловливым ручонкам»
Нашей Нади.
Папа. В. Розанов.

Мне очень хочется привести здесь отрывок из папиной статьи «Невидимый мирок», которая была им напечатана в одной из газет. При разборе архива отца я нашла эту вырезку и она мне так понравилась, что я ее себе переписала на память. Эта статья очень интересна тем, что она рисует папино настроение, а также очень живо меня и Варю, и, кроме того, дает картинку из счастливого, краткого периода нашей семейной жизни, совпавшем с расцветом творческих сил отца и всеобщим признанием его таланта...

«Ну, какая, подумаешь, занимательность в корзине под столом? Старый, не изломанный, но начавший ломаться, куда я, старый и ворчливый литератор, бросаю, скомкав, неудачные статьи, обрезки газет, газеты ненужные, и др. ...

Возвращаюсь после кофе к письменному столу, к "литертурной лямке", и вижу самый отвратительный хаос. На мой окрик: "Это что такое?!" на меня обертываются трое моих детишек, все девчонки (и народились же) с повелительным: "Погоди, папа, садиться, сейчас уберем". Разумеется, я не только не "гожу", но выразительно показываю, что сейчас туфлей ноги уберу под стол не только весь этот хаос гнусных бумаг, но и всех трех девчонок с ними.

— Убирайтесь все в корзину. Что вы тут делаете?

— Разбираемся.

— Как разбираетесь?

И что же, вы думаете, их заняло всего более? Золотистые бумажные ленточки с пачек новых покупаемых конвертов.

Вот вы и судите мир, что кому нравится.

Подняв маленькие отобранные кучки, они все три кричат мне:

— Посмотри, папа, какие мы прелести нашли!

Эти "прелести" и заключались в цветных бумажных ленточках, лиловых и всяческих конвертах, и др.

— Ты, папа, чистую бумагу бросаешь. Смотри!

И у каждой по $^1/_2$, по $^1/_4$ листа в руке.

— Ну, что же?

— Мы будем рисовать!

Но мне окончательно некогда и энергичным движением ноги я показал им, что через секунду мое место и покой должны быть обеспечены. Действительно, через секунду корзина опять очутилась под столом, бумажек нет на полу, а похитители с маленькими кучками "избранного товара" побежали в детскую.

Для меня это так отвратительно, а их занимает. А еще политики и философы хотят угодить миру.

С тех пор, как мои дети узнали новую Колхиду с новым золотым руном в ней, т. е. неистощимую "корзину" новостей (ибо туда в разное время разное попадает), я потерял кабинетный покой.

Впрочем, это случается не чаще раза в неделю. Очевидно, сокровищ корзины они долго не знали и открыли их случайно, как и Колумб Америку.

Теперь, когда я пишу, углублен, пишу о священных цветах (красках) в древних семитических храмах, вдруг около полы халата самое неуловимое движение. В задумчивости и еще мысленном восхищении от цветочной раскрашенности занавесей в скинии Моисеевой, я перевожу взор

с чистой бумаги и вижу худенькую свою Танюшу, как она на четвереньках, стараясь не задеть моих ног, пробирается под стол к заветной корзине.

— Ты, худышка, куда?

— Я, папочка, осторожно. Ты сиди. Я не помешаю.

— Да ты чего?

— Я, папочка, оставила в корзине картинку.

— Какую картинку?

— Из Нового Времени китайца.

Это карикатуры талантливого "Соре". И на что они им?

Я принимаю патетический тон.

— Как я люблю вас, дети, а вы меня не жалеете. Папочка устал, папочке некогда, а вы все под стол и шуршите около ног. Вам это забава, а мне лишнее утомление.

Лицо ее сморщилось.

Так как я романтик, то раз принял окончательно патетический тон:

— Вот, Танюша, я проживу еще десять лет, не более, и умру.

Она тверда. Я собирался спать после обеда и укладывал на кушетку подушку и тяжелое байковое новое одеяло, ибо люблю укутываться, как Тарас Бульба.

— Ты не понимаешь, что значит "умру". Папенька станет окончательно старый и "умрет". Его положат в гроб и вынесут из дома.

Она так же тверда.

— Вынесут на кладбище и похоронят, т. е. зароют в землю и я никогда более не вернусь в дом.

Она стояла все так же. Лицо стало ужасно грустное. Недвижимое.

— И вы останетесь одни с мамой.

Я раздевался и вообще приготовлялся к сонному комфорту. Ее движению были теперь связанные, без оживления, без веселости.

— Ну, прощай же, Таня.

И я поднял ее на руки. Ей семь лет. Она крепко обвилась худыми, как плеточки, ручками около шеи и прижималась головой к голове.

— Ну, ничего. Десять лет еще долго. Не говори этого никогда, папа. Зачем ты это говоришь. Какой ты дурной.

И слегка она ударила меня по голове.

— Ну, теперь затвори дверь и, пожалуйста, потише в детской. А то я все просыпаюсь от вашего крика и потом не могу заснуть.

И я поставил ее на пол.

— Я сейчас, папочка, уйду, только с тобой полежу немножко.

И она уже перекувырнулась через меня "к стенке", т. е. к спинке кушетки. Я, однако, обернулся в одеяло, а она лежала снаружи. Было то

блаженное состояние, когда "ни сон, ни явь". Она проводила ладонью то по лицу, то по волосам.

— Ну, что?

Она тихо плакала. Держа руку на ней, я чувствовал, что тельце ее ужасно сжималось, как бы не в силах чего-то выдохнуть, и все набирало воздуха. Лица я не видел. Было темно, да и я почти спал.

— Ступай же, малюточка. Бог с тобой. Мне пора спать.

Так же легко, как "туда", она перекувырнулась и "сюда" и стала около головы. Крошечным крестиком она крестила мне щеку. Пальцы чуть-чуть касались кожи.

— Прощай, прощай!

Это говорю я. Она усыпала крестиками плечо, бок, все какими-то маленькими и торопливыми. С какою-то заботою и попечением.

— Хорошо. Вижу, что любишь. Не плачешь?

— Я еще раз только поцелую.

И привскочив и упершись как-то в кушетку, она загнула головку "туда", опять к стенке, и крепко, по-мужски, и больно поцеловала меня в губы.

— Совсем больно. Ты мне мешаешь спать.

Дверь скрипнула и притворилась. Легкие шажки простучали по комнатам. В детской послышалась прибавка оживления. Но физиология брала свое, и Морфей унес меня в свои владения.

И кто же? Детишки же открыли мне, что я стар? Мне этого в голову никогда не приходило. У меня почти нет седых волос. Только раз, играя утром в воскресенье с ними, я прилег на ковер и мне села на бок 4-летняя Варвара, самая из всех тяжелая девчонка, как чугунная трамбовка. Все над ее крепостью у нас смеются, а на руки ее поднять положительно неприятно, по тяжести.

Вот она сидит. Я, чтобы передохнуть в игре, закрыл глаза, притворился, что ли, "мертвым". Только слышу осторожный и самый тихий шепот над ухом.

— Сойди, Варя. Папе тяжело. Ведь папенька у нас старенький.

Мне даже обидно стало. Серьезно — обидно. Никто меня таким не считает. И какие признаки?! Мне стало обидно и грустно.

— Ах, какие вы смешные! Да почему же вы знаете, что я старенький? И что такое старенький?! Что вы про это знаете?

Мне было смешно и грустно. Конечно, отцу радостно, что дети такие сообразительные, но человеку все-таки грустно, что он стар. Но этот их шепот до странности запомнился и я с него считаю начало своей старости».

Ибис (псевдоним В. Розанова).

Отец очень интересовался нашими детскими письмами и своими письмами к нам. Он просил нас сохранять его письма к детям, что мы исполнили. А наши письма к нему тоже тщательно хранил.

Вот письмо отца из-за границы к нам, детям, на Украину в 1910 г.

Какие чудные писали письма все дети.

Какие они умные, а главное, и благородные. И какое счастье — уважать своих детей.

Это не всегда бывает, далеко не всегда.

Какая Вера стала славная последние два года, и Бог даст, еще станет лучше. Может, к ней вернется золотое сердце детства.

Помнишь, какая она была, когда мы ездили с Эммочкой в Ригу, и вообще эти годы? Таню же мне жаль — уж очень она серьезна и мало в ней резвости. Часто думаешь о судьбе всех: что-то выйдет из них? Как Бог устроит? Не будет ли кто несчастный?

«Удача» в учении — не самое главное. Придут «чужие злые люди», — или равнодушные, что также скверно, и свою личность сомнительную вмешают в твою жизнь. Как жалко, в сущности, уже погиб такой чудесный «в зародыше» мальчик, как Миша Саранчин. Все уже «подписано и решено», а когда, никто не видал, не уловил момента.

Вот и ты, наша милая (Шура, подразумевается), за которую (за утомление твое) мама все читает акафисты, в каком-то нерешительном, туманном положении. Как хотелось бы тебе счастья, радости, не думай, что я говорю тебе о замужестве: теперь-то ясно вижу слова Евангелия: «не каждому это его удел». Но как хотелось бы, чтобы ты посмеялась и иногда «от души» побежала куда-нибудь с подругами и вообще испытала «молодое обыкновенное».

А годы уходят, все лучшие годы...
В себя ли заглянешь?

Вот и вышла правда поэзии.

Какова судьба Розановых? Бутягиных?

Боже, как страшно жить: лучшие расчеты не предупреждают самых ужасных проигрышей:

Все темно в мире.

И думай только о бедной душе своей: «Помилуй мя, Боже».

Прощай. Целую тебя крепко, наша милая, славная Шура, наша верная Шура.

Вот 54 год. Как-то особенно хватаешься за последнюю черту. Страшишься «расползания врозь». Страшишься одиночества.

Вот наша милая мама только что задремала. Она самая верная в семье. У нее и нет ничего кроме «верности», она из нее одной со-

стоит. До чего она ждала в Мюнхене письма детей. Сколько раз таскала меня на почту. Хотела телеграфировать вам. Как она к бабушке привязана, к Дмитр. Андр. и ко всем, кто сам с нею не порвал связи. Она и связывает нас всех, и, в сущности, всех охраняет, сделала всех, а кажется, только «считает белье, да копейки».

Так-то идет жизнь, так-то она делается.

Великий это дар — «делать жизнь». Редкий.

Милой Домне Васильевне поклонись*. Она такая славная и, кажется, тоже «верная» дому нашему, насколько это можно чувствовать чужому человеку. Мама к ней тоже очень привязана.

Паша и Аннушка еще легкомысленны.

Детишек: Васю, Надю, Варю, Таню, Верочку обнимаю. Все хорошие письма прислали.

Папа.



Милая Варя! Ты первая прислала нам письмо и оно прилетело к нам, как ласточка. Спасибо. Оно очень подробно и хорошо. Я прочитал его Елене Сергеевне и она сказала: «*Варя может быть* очень хорошим ребенком, *но она не сдерживается*, и тогда делает безумные поступки». Говорили много и о Тане. Елена Сергеевна очень ценит Таню, уважает ее характер и любит ее душу. Прощайте все! Целуем всех крепко, крепко.

Папа и мама.



Летом мы всей семьей в 1910 году уехали в Малороссию, близ Полтавы, а родители вместе с начальницей школы, Еленой Сергеевной Левицкой, уехали в Германию, на курорт «Наугейм», так как мама все болела сердцем. Больна была и Елена Сергеевна. Мы, дети, лето провели очень хорошо, родители часто писали нам из-за границы (письма эти сохранились и находятся в Государственном литературном музее). Помню, с дачи мы ездили в Киев. Сестра Аля, Вера и я. Были во Владимирском соборе, который на меня произвел сильное впечатление, особенно орнаменты Врубеля и «Рождество Богородицы» Нестерова. Нестеров был в молодости мой любимый художник. Много открыток из Владимирского собора было у меня тогда, потом я их кому-то подарила. Помню, как мы ходили с сестрой Алей в Кирилловскую церковь смотреть роспись Врубеля. Церковь была в честь «Сошествия Св. Духа на апостолов». Она

* Д. В. — экономка в доме. Паша и Аннушка — молодые домашние работницы.

запечатлелась в памяти навсегда. С тех пор был мне особенно дорог Врубель, а сестра рассказала мне о его трагической кончине. Ходили мы с Алей в Киевские пещеры, они меня очень заинтересовали, но и напугали своей тишиной и таинственностью. Спускались мы в пещеры в темноте со свечами; особенно мне запомнились две фигуры, вросшие в землю, — святых Иоанна и Иакова. Разъяснения давал монах Киево-Печерской лавры.

Осенью 1910 года мы переехали на новую квартиру в Казачий переулок. Мама с папой приехали раньше нас, чтобы убрать квартиру, а мы приехали с Украины через несколько дней. Помню, утром, на другой день, сидим мы за утренним чаем за столом в столовой. Мама очень оживлена, много рассказывает о поездке за границу, о хороших тамошних порядках, о том, как она с папой ездила кататься с искусственных гор после своего лечения.

Все казалось благополучно, но у нас екало сердце, мы были удивлены: маму не узнавали, у нее было странное выражение лица и не свойственная ей говорливость. Мы, дети, притихли... Вдруг мама как будто поперхнулась чем-то и начала медленно на один бок сползать со стула... Мы страшно испугались, не понимая, в чем дело. Отец вскочил со стула, бросился к ней, думал, что она поперхнулась хлебом, неосторожно начал стучать ей по спине, давать глотать воду, но ничего не помогало, объяснить она ничего не могла, что с ней случилось, — язык у нее онемел.

Бросились за врачом, была ранняя осень, все знаменитые врачи были в отъезде, пришлось вызвать с лестницы случайного врача Райведа, и он сразу определил — паралич. Язык постепенно стал отходить, она стала говорить, но левая рука плохо поднималась, а правая нога двигалась и как-то волочилась по полу. Затем ее стали лечить известные петербургские врачи, но ничего не помогло, она осталась на всю жизнь наполовину парализованной.

Наша жизнь в корне изменилась, дома было очень мрачно, отец часто плакал. Мама мало говорила, ко всему стала безучастна, сидела в кожаном глубоком кресле или лежала на кушетке. Сама она ничего больше не могла делать, даже причесаться. Все должна была делать горничная или я, когда бывала дома. Хозяйство уже вела Домна Васильевна, она же разливала чай за столом.

Мама теперь обыкновенно лежала на диване, больная, требовала, чтобы все двери были открыты, и наблюдала, что мы делаем в своих комнатах. <...>

В это время я готовилась к переходу в гимназию Стоюниной, где учились мои сестры Вера и Надя. Мне надо было готовиться к экзаменам, так как программы не совпадали, и я очень боялась экзаменов. В школе Левицкой была латынь и большая программа по математике,

а здесь был уклон в сторону естествознания, истории и географии. Пришлось все подгонять.

По русскому языку в гимназии Стоюниной был преподаватель Василий Васильевич Гиппиус (двоюродный брат Зинаиды Гиппиус). На вступительном экзамене он мне задал тему для сочинения «Образ Татьяны в "Евгении Онегине"». Я написала на четверку. С облегчением я вздохнула, узнав, что по русской грамматике экзаменовать не будут. В ней я тоже была слаба.

Стоюнинская гимназия была частная гимназия с либеральным оттенком и новыми веяниями в педагогике, с широкой программой и с индивидуальным подходом к детской душе. Там легко дышалось, были интересные лекции, особенно в старших классах. Я и Вера любили гимназию; Надя ее боготворила.

Когда я была в шестом классе в гимназии Стоюниной, мы опять ездили в Киев. Город был очень красив, весь в зелени. Остановились мы в общежитии, недалеко от музея. Осмотрели музей, который мне очень запомнился иконой Божьей Матери — работы художника Врубеля, и был весь как-то очень любовно устроен. Других картин не помню.

Ночью, разговаривая между собой обо всем виденном, я впервые услышала критику на правительство, что оно притесняет украинский народ, заставляя в школе вести уроки на русском языке.

...Помню, ходили мы на Крещатик, смотрели памятник Владимиру Святому над Днепром, вновь посетили Владимирский собор; к сожалению, мы не осмотрели Софийский древний собор XII века, а чудесный Андреевский собор, где почивают мощи св. Варвары, — видели только издали... Были на могиле Аскольдовой над Днепром. Также мы не были ни в пещерах, ни в Кирилловской церкви. Гимназия была либеральной, и учительница не сочла нужным показать нам пещеры и Кирилловскую церковь.



Во время болезни мамы отец очень тосковал и даже плакал. Он написал письмо Павлу Александровичу Флоренскому, прося его приехать к нам. И тут я увидела Флоренского в первый раз. Это было под вечер, конец зимы. На звонок горничная открыла дверь, я увидела молодого, стройного священника с маленьким узелочком в руках. Это было так необычно, и я очень удивилась. Мы засуетились, стали искать, чем бы его накормить, и потом он пошел к папе в кабинет. Он пробыв в то время у нас недолго — недели полторы.

Помню, как зимой, в 1912 году, однажды днем к нам приехала Айседора Дункан. После того, как папа дважды был на ее танцах и поместил

отзыв о ней в газете, она приехала познакомиться с ним. Она была очень мила, говорила по-английски (при ней был переводчик), подарила отцу на прощание три фотографии, две из них с детьми, с надписью отцу. Мы тогда все очень увлекались Дункан. Отец, я, сестра Аля и Наталья Аркадьевна Вальман* ходили в Мариинский театр смотреть ее танцы. Помню, она танцевала, передавая в танцах музыку Вагнера (Тангейзер) и Брамса. Мамы с нами не было, она уже никуда не выезжала и, больная, целыми днями сидела в кресле. Два раза по ее просьбе возили ее к чудотворной иконе «Всех скорбящих радости».

Вспоминаются наши проводы Айседоры Дункан на вокзале, когда она покидала Россию. Отец, я, Аля и Павел Александрович Флоренский поехали ее провожать. Отец хотел своему другу показать ее одухотворенное лицо.

Вскоре мы прочитали в газетах ужасное известие о трагической гибели ее детей в Париже при автомобильной катастрофе. С карточки смотрела на нас счастливая семья — мать и двое очаровательных детей.

В 1912 году припоминается мне один курьезный случай. Очень известный коллекционер древностей, Лихачев, пригласил моего отца посмотреть его рукописи и коллекции. Отец мне сказал, что и я могу с ним поехать, мне будет *это* очень интересно. Я взволновалась, — я в молодости была очень застенчива и быстро терялась. Мне очень захотелось поехать, но показалось очень страшно. Думаю, такой известный коллекционер, наверно, очень богатый человек, у него, должно быть, роскошная обстановка, и я себя там буду чувствовать неловко. Я начала медленно одеваться; ломая голову, что мне надеть, как причесаться, как я буду выглядеть. Тянула-тянула я это дело. Вдруг, не знаю почему, мне вздумалось в парикмахерскую идти, — завиться. Я потихонечку спустилась вниз и в ближайшую парикмахерскую зашла в зал. Меня отвратительно завили мелким барашком, — я себя не узнала. Поднимаюсь по лестнице... навстречу — отец. Он сухо мне говорит: «Ждал тебя, ждал, теперь еду, ждать тебя уже не буду».

Пришла домой сконфуженная, расстроенная, стала развивать свои кудри, и до сих пор не могу простить себе своей глупости. Пропустить такой случай увидеть богатейшую, интереснейшую коллекцию! Вот наказание мне за мою тщеславную суетность.

Примерно в 1911—1912 гг. стал у нас бывать в Петербурге молодой скульптор Шервуд. Он приходил большей частью днем, мало разговаривал, был очень всегда угрюм. В детстве мне запомнилась его выразительная голова — голый череп, худая фигура и умные выразительные

* Вальман — наша учительница немецкого языка и подруга сестры Али.

глаза. Мой отец говорил, что ему очень трудно живется, у него много детей и он мало зарабатывает. Он был сыном того известного архитектора, по чертежам которого было создано здание нынешнего Исторического музея в Москве. Слушая моего отца, что у Шервуда много детей, я очень изумлялась. Мне казался он совершенно неподходящим к семейной жизни.

В 1930 году я встретила его уже в Сергиевом Посаде, в Лавре, около могил за оградой. Он одиноко бродил и рассматривал надписи на памятниках. Я подошла к нему, поздоровалась, он меня узнал — мы оба мало тогда еще изменились. Но он ничего не сказал и молча ушел.

Впоследствии я узнала, что Шервуд был признан в наше время и его работа «Солдат с ружьем» украшает одно из общественных мест в Москве. В настоящее время его уже нет в живых. Эти сведения о нем я имею от его родственницы, художницы Татьяны Николаевны Грушевской, которая находится также в родстве с семьей Фаворских и проживает теперь в городе Загорске (б. Троице-Сергиевом Посаде).

В 1911—1912 гг. стал бывать у нас Василий Васильевич Андреев, он привозил билеты на свои концерты, был очень мил и любезен. Раз мы ездили — отец, я и старшая сестра Аля к нему в гости на Васильевский остров. Он жил со своей старушкой матерью, показывал нам большую коллекцию балалаек и мандолин, которые он собрал.

Вообще концерты его были замечательны по тонкости, изяществу и благородству. И мы всегда с отцом ездили в консерваторию его слушать. Раньше отец мой написал статью об этих концертах и о необходимости поддержать материально и морально хорошее начинание Василия Васильевича Андреева. Государем была отпущена субсидия и дело продолжало развиваться. Андреев видел, как грустен мой отец, как ему тяжело и плохо жилось последние годы жизни, он старался его развлечь, приезжал со старушкой — певицей Мариинского театра, которая под аккомпанемент Андреева на нашем плохом рояле пела старинные чувствительные романсы; отец умилялся, а мы, дети, потихоньку подсмеивались.

В 1966 году приезжал в Загорск оркестр Осипова, и я узнала, что В. В. Андреев умер в 1919 году в Петрограде от воспаления легких, простудившись на концерте, данном красноармейцам.

❖ ❖ ❖

К 1913 году, летом, родители поехали в Бессарабию, в имение Апостолопуло, близкого друга моих родителей. Это была богатая помещица, очень образованная и культурная — она пригласила родителей моих к себе отдохнуть. Первый ее муж был преклонного возраста и очень богат. После смерти он оставил ей по завещанию громадное наследство, но

только с условием, что она после его кончины не выйдет ни за кого замуж. Детей у нее не было, и она принуждена была жить в этом имении в одиночестве. У нее был управляющий имением, некий Драгоев, человек неумный, но добрый и очень ее любивший. По-видимому, они были близки, но не гласно, поэтому у них никто не бывал, и это была очень невеселая жизнь. Драгоев всегда старался приумножить ее богатства, а когда не мог рожь продать по той цене, какую назначал, то выходил из себя и во всем винил евреев. Он очень настроил отца против евреев; с тех пор изменился взгляд отца на евреев — во всех несчастьях русских он всецело стал винить евреев. В это лето отец мой написал книгу под названием «Сахарна» (так называлось поместье Апостолопуло), с выпадами против евреев, которые ловко скупают хлеб из-под рук помещиков. Книга эта была сброшюрована, но в продажу не поступила, не успела, — началась война 1914 года, и ее не напечатали. В единственном экземпляре она хранится в Государственном литературном музее.

Летом 1913 года, когда родители жили в имении в Бессарабии, мать моя, по болезни, не могла себя обслуживать, и поэтому она вызвала к себе дочь Варю, чтобы та помогала ей одеваться и другое кое-что делать для нее, так как слуг в имении было мало и все были всегда очень заняты по хозяйству, а маме было трудно одной. Варя была очень смелая и маленькой девочкой, совсем одна, приехала в Бессарабию. На станции ее встретили. Хозяйка ей очень понравилась, хотя и была очень строгой. Варя водила хороводы с деревенскими детьми и танцевала, что она так любила (в то время она еще училась в школе Левицкой). Мы же, все дети со старшей сестрой Алей, Натальей Аркадьевной Вальман и кухаркой Катей, которая была очень предана моей сестре, уехали на лето в Троице-Сергиев Посад. Еще зимой сестра Аля с Н. А. ездили туда и им очень понравился Сергиев Посад. П. А. Флоренский снял нам дачу около Вифанского монастыря, и мы туда переехали на лето. Посещали церковь, ходили в тамошний музей — бывшие покои митрополита Платона, законоучителя Павла I и любимца и духовника императрицы Екатерины II. Почти все вещи в этих покоях были подарки государыни и представляли большую художественную и материальную ценность — портреты, хрусталь, книги. Сестра Аля удивлялась, как возможно такие ценности оставлять на попечение единственного сторожа-монаха *. Церковь была тоже очень интересная. В ней была устроена гора «Фавор» и были скульптурные изображения разных животных. Ни в одной церкви потом я ничего подобного не видела. Жаль очень, что не удалось сохранить до наших дней такую оригинальную постройку.

* В настоящее время они перевезены и расположены в Историко-художественном музее г. Загорска как предметы XVIII века.

На богатых монастырских тройках ездили в Троице-Сергиеву Лавру, часто бывали в семье Флоренских. Всегда были очень интересны и содержательны беседы Павла Александровича Флоренского. Он в то время служил по воскресеньям обедню в приходской церкви при Красном Кресте и профессорствовал в Духовной академии, которая частью помещалась в «Царских покоях» Троице-Сергиевой лавры.

Вспоминается, как однажды на дачу приехал извозчик и привез дородную пару: мужчину и женщину — это была чета Александровых. Они были так толсты, что еле-еле помещались в пролетке, которая все время накренялась. Александров подарил нам свои глупые стихи, и мы долго забавлялись ими, сидя в кроватях по вечерам. Когда-то Александров был редактором «Русского Обозрения», где у него сотрудничал мой отец, а после закрытия журнала переехал, по благословению отца Амвросия, в Троице-Сергиев Посад и решил теперь возобновить с нами знакомство. Впоследствии его жена Евдокия Тарасовна оказывала нам серьезные услуги, но об этом будет рассказано после. Отец недолюбливал Анатолия Александровича, так как тот не выплатил гонораров сотрудникам журнала.

В 1913 году я уже училась в седьмом классе Стоюнинской гимназии. Окончила я семь классов на пятерки и четверки, но по химии была тройка, и поэтому серебряной медали я не получила и перешла в восьмой, дополнительный, педагогический класс. В этом классе мне было интересно и легко учиться. Логику и психологию у нас читал Николай Онуфриевич Лосский. Лекции по искусству читали с волшебным фонарем, преподавали нам и Закон Божий; мы давали пробные уроки в младших классах гимназии. Тут я легко и свободно кончила восьмой класс с весьма удовлетворительными отметками по всем предметам. Помню выпускной вечер и помню то, что мне почему-то было очень грустно. Сестра Аля подарила мне две высокие зеленые вазы с большими букетами белой и лиловой сирени... Но, Боже, как было у меня неспокойно на душе!

Нужно было решать свою судьбу... а как это трудно, всем известно.

В 1913 году сестра Вера кончила гимназию Стоюниной, раньше меня на год. Последнее лето она ездила с гимназией в Соловецкий монастырь.

Эта поездка была решающей в ее жизни — Вера стала мечтать о монастыре. Вскоре она выбрала маленький монастырь — Воскресенско-Покровский — на станции Плюсса близ Луги, где настоятельницей была мать Евфросиния, дочь известного общественного деятеля того времени — Арсеньева.

Вера поступила туда послушницей и работала при кухне. Мы с мамой ее навещали. Она была очень довольна жизнью в монастыре, но заболела туберкулезом, и отец поместил ее в санаторий возле Петрограда.

Отец часто навешал ее в санатории, и я ездила однажды осенью, очень после этого простудилась и стала болеть невралгией. В санатории было тяжело. Вера томилась, да и плата была высокая, отец с трудом выплачивал ее.



В 1915 году передо мною встал вопрос, что же мне делать дальше. Я мечтала о поступлении на Высшие Бестужевские курсы на историко-филологический факультет по отделению философии. В этом поддерживала меня и сестра Аля — она окончила курсы Раева. Отец был не очень доволен, он не любил ученых женщин. Во всей России было три высших учебных женских заведения. В Москве — курсы Герье, в Петрограде Бестужевские курсы и частные курсы Раева, не дававшие нрава преподавать в гимназии. Из этого можно понять, как было трудно поступить. Но из гимназии Стоюниной с хорошими отметками принимали без экзаменов, и я поступила на Бестужевские курсы.

С какого времени я считаю, что началась моя юность? Пожалуй, с 7—8 класса гимназии Стоюниной, а затем с поступлением на Бестужевские курсы. Тут я, под влиянием Лосского, увлеклась философией и надеялась, что я лучше буду понимать работы моего отца и в будущем могу быть полезной в издании его работ. Папа смеялся: «Зачем тебе философия, чтобы понимать меня? Это совсем необязательно». Помогли ли мне в жизни занятия философией? Скажу, да. Я легко, сравнительно, разбиралась в книгах и в жизни и умела логически связывать явления. В обыденной жизни я была очень тиха, не любила шума, очень сердилась, когда обижали учителей в школе и дразнили их. Я всегда шла вразрез с классом, защищая учителей. Поэтому я была плохим товарищем в школе и в гимназии. Обыкновенно у меня были одна-две подруги, с которыми я была близка. Так, например, в школе Левицкой это были — Маруся Нагорнова и Лиза Дубинская (последняя в настоящее время — врач на пенсии, с которой мы переписываемся), а в гимназии Стоюниной — Надя Цейтлин, дочь издателя альманаха «Шиповник». Я изредка бывала в их доме, она же — никогда. Бывало, после классных занятий в гимназии мы с ней долго бродили по улицам Петербурга, беседуя на религиозно-философские темы. Уже в революцию я узнала, что эта бедная Надя умерла в молодых годах от брюшного тифа.



Шел 1915 год, второй год мировой войны. Помню бесконечные сходки студентов с обсуждением, следует ли жертвовать на войну или нет. Мнения расходились. Вспоминаю и другое, как одна курсистка спрашивала меня с удивлением, неужели есть такой образованный священник,

который верит в Православную Церковь (это о Флоренском), и не могла поверить, что есть. Я пожала плечами и отошла, что с ней мне было говорить. Я выросла в другой среде, в других понятиях.

Я увлекалась лекциями Лосского. Он читал тогда курс «Мир как целое». Я занималась у него в семинаре по предмету «Введение в философию». Мне он дал такую тему: «Сила и материя» по Бюхнеру. Я разобрала его сочинения и сделала вывод, что Бюхнер жил раньше Канта, потому что после Канта он не мог бы сделать таких ошибок. Лосский засмеялся, поправил меня, но сочинением в целом остался доволен. Сдав экзамен по немецкому языку, я уехала одна жить в Троице-Сергиев Посад. От занятий и серьезного чтения, а также от тяжелой обстановки дома из-за болезни матери и удрученного состояния отца я сильно разболелась. Врачи нашли у меня острое малокровие, запретили на год учиться и настаивали на перемене обстановки. Вот тогда я и уехала в Троице-Сергиев Посад.

В этот же злополучный 1914 год в нашей семье разразились события, имевшие громадное влияние на всю последующую нашу семейную жизнь. По настоянию Мережковского, Зинаиды Гиппиус и ее двоюродного брата В. В. Гиппиуса моего отца, Василия Васильевича, исключили из Религиозно-философского общества за его правые статьи в «Новом Времени» против евреев во время «дела Бейлиса». Дело было очень громкое, в нем принимали участие адвокаты, врачи, и все настаивали, что в XX веке невозможны такие фантастические изуверства. Отец же утверждал свою точку зрения и указывал на Каббалу и Талмуд, где видел намеки на возможность такого ритуального убийства. У отца был Талмуд, который был весь испещрен его заметками. После смерти родителей и раздела имущества Талмуд достался Варе, а потом А. Александрову, и где он потом затерялся — неизвестно. Я наводила справки в Ленинской библиотеке, в Сергиевском историко-художественном музее, куда перешли часть вещей музейных Александровых после их кончины, но он не нашелся. Это было очень жаль, так как там были очень ценные заметки Василия Васильевича, о которых говорил мне С. А. Цветков, но и он не мог отыскать Талмуда.

Из-за «дела Бейлиса» вся семья наша очень волновалась. Аля восстала против отчима и даже ушла из дому с Натальей Аркадьевной Вальман и поселилась в отдельной квартире на Песочной улице. Мы, дети, тоже сильно переживали эти события. Ведь мы учились в либеральной гимназии, где большинство было богатых евреев, и все они у нас допытывались, неужели правда, что отец ваш такого мнения об евреях? Сестра Вера, будучи уже послушницей монастыря, очень защищала отца и даже присутствовала на религиозно-философском собрании, когда отца исключали...

После этой истории к нам приехал Вячеслав Иванов, поэт, и возмущался, как возможно исключение из Религиозно-философского общества человека, который инако думает, чем все.

Но с тех пор положение отца резко изменилось, никто у нас из прежних знакомых не стал бывать, кроме Евгения Павловича Иванова, который продолжал нас посещать. Отец в это время много переписывался с Флоренским*. Затем у нас появились новые знакомые. В это время отец выпустил еще несколько очень правых книг, — стал писать в журнале «Вешние Воды», так как в газете «Новое Время» отца неохотно печатали. А. С. Суворина уже не было в живых, редактором был его сын Борис. Из редакции «Нового Времени» отец всегда возвращался очень грустным и морально убитым. Он начал заметно стареть, болеть, и мы очень за него беспокоились.

В это же время бывали у нас: Голлербах, которому отец симпатизировал, а также редактор «Вешних Вод» — некий Спасовский, которого невзлюбила моя сестра Александра Михайловна; бывала и друг сестры — Гедройц, талантливый хирург-женщина, сделавшая впервые трепанацию черепа. Она работала в лазарете в Царском Селе и приезжала иногда к нам. Она рассказывала нам, что государыня хочет мира, защищает немцев, а между тем мы знали, что Александра Федоровна получила воспитание при английском дворе и вовсе не была так привержена к немцам, но она видела, что война идет неудачно, очень много жертв, что мы не готовы к войне, и желала мира с Германией.

Все это было очень тяжело и страшно... В это время отец издавал работу «Из восточных мотивов».



<...>

Продолжаю свой рассказ. Итак, в 1915—1916 гг. я уехала в Троице-Сергиев Посад. Он произвел на меня сильнейшее впечатление, особенно Троицкий собор, иконостас, хор из мальчиков в 40 человек; затем поездка в Зосимову пустынь, чтение летописи Дивеевской обители о Серафиме Саровском, а также чтение книги Флоренского «Столп и утверждение Истины» укрепили меня в вере.

Почти каждый день я ходила к ранней обедне. Война все продолжалась, с продовольствием становилось все хуже. Сестра Аля присылала мне 40 рублей ежемесячно, 20 рублей я платила за комнату в Рождественском переулке, а 20 рублей стоила еда. Одно время я столовалась в семье Флоренских и была очень благодарна им за это. Денег, конечно, они с меня не взяли. Жила я в той комнате в доме Горохова, в которой

* Переписка не сохранилась.

некогда жил иеромонах Иларион — впоследствии инспектор Духовной академии, с которым мой отец дружил. Впоследствии он потом стал епископом, был сослан и, проездом из одной ссылки в другую, скончался в Петербурге в больнице. О прежних его прилежных занятиях в Академии рассказывала мне моя квартирная хозяйка Горохова. В то время, когда я жила одна в Троице-Сергиевом Посаде в 1916 году, я почти каждый день была в семье Флоренских. Мне нравился их спокойный дом, тихие, послушные дети, заботливая теща Флоренского, Надежда Петровна Гиацинтова, приветливая жена Павла Александровича — Анна Михайловна, и интересные беседы с Павлом Александровичем. Он видел отлично мое убитое душевное состояние, так рано пошатнувшееся здоровье, неудовлетворенность и недовольство собой, печаль о неустройстве нашей семьи, болезнь бедной матери, полная растерянность от всех обстоятельств жизни. Он чувствовал, что я слишком отвлеченная, что меня необходимо поставить на землю, старался привить мне какие-то практические навыки, обращал мое внимание на бытовую сторону жизни, которую я в то время совершенно презирала и не выражала совершенно никакого к ней интереса. Тут он высказывал вообще свой взгляд на жизнь, говорил, что нельзя сосредотачиваться только на одной духовной стороне жизни, считал это даже грехом. Говорил, что дух и плоть — это одно, все связано и что внимание должно быть обращено и на физическую сторону жизни — это угодно Богу. Он всячески отговаривал меня от чрезмерной аскетической настроенности жизни и чтения очень высоких духовных книг.

Павел Александрович предвидел здесь, как очень умный человек, возможность духовного срыва и боялся за меня. За это я ему осталась очень благодарна. Я все больше и больше привязывалась к их семье, особенно к нему. Я даже не могла подумать, как же я буду жить в Петрограде в своей семье без него. Судьба помогала мне. Из родного дома приходили печальные вести. Вера все болела туберкулезом и лечилась в санатории. Варя и Надя учились еще в гимназии. Вася еще служил в интендантстве армии, не кончив Тенишевское училище. Отец с матерью оставались с двумя сестрами моими — Варей и Надей в Петрограде. От мамы приходили печальные письма, и П. А. Флоренский посоветовал мне ехать домой. Я уехала с грустным чувством. Тогда мне казалось, что более интересного, глубоко-духовного, умного и замечательного человека я в жизни не встречала и не встречу. Все мне в нем нравилось: и тонкая, интересная беседа, и даже его наружность. Другие находили его некрасивым, а мне он казался прекрасным. Особенно мне нравилось его изящество какое-то, и внутреннее, и внешнее. Оно очаровало меня и ввело меня в некоторое заблуждение. Я считала, что это тот человек, который может мною духовно руководить. Теперь мне кажется, что

я глубоко ошибалась, но тогда я этого не понимала. В сущности, он был глубокий пессимист, в нем было мало благодати и много рационализма. Мне кажется, он и сам это сознавал. Потому что раз он при мне сказал: «Теперь бы я не написал книгу "Столп и утверждение Истины" — она меня не вполне удовлетворяет». А между тем, эта книга сыграла колоссальную роль в тогдашнем обществе. Вся сознательная интеллигенция зачитывалась ею и полагала, что нашла все ответы на свои духовные запросы.

Мне хочется обрисовать и его внешним облик. Павел Александрович был довольно высокого роста, худощавый. Особенно привлекательна была в нем форма его головы, — несколько уменьшенная по отношению ко всей фигуре. Он держал ее склоненном к правому плечу и глаза его были всегда опущены вниз. Он был сильно близорук и носил очки. В плечах он был несколько сутуловат. Дома он всегда ходил в холщовых белых подрясниках, с широким темным поясом, на котором были вышиты слова молитвы. На груди он носил большой серебряный иерейский крест. Его облик запечатлен в двух портретах — в работе М. В. Нестерова, где он изображен с С. Н. Булгаковым («Мыслители»), и в другом портрете художницы Н. Ефимовой.

. . . .

Когда мы переехали всей семьей в 1917 году в Сергиев Посад, то тут началась тяжелая материальная жизнь для всех, так что мы только изредка бывали у Флоренских, а иногда Павел Александрович сам приходил к нам. Мы угощали его чем могли. Однажды и Анна Михайловна была с ним у нас. Помню, мы откуда-то достали мед и эту большую банку поставили на стол. Когда папа умирал в 1919 году, Флоренский приходил к нам и принимал горячее участие в похоронах, а затем он стал все реже и реже бывать у нас. А когда сестра Аля приехала к нам к весне 1919 года, то она стала чаще бывать у Павла Александровича Флоренского, помогая ему в его работе (она писала под его диктовку его статью об обратной перспективе в живописи). Сестры пришла в восторг, рассказывая об этой замечательной статье. Флоренский где-то упоминает об этом случае и благодарит сестру Алю (Александру Михайловну Бутягину) за помощь. В настоящее время, в 1969 году, эта статья, напечатанная в городе Тарту в журнале «Ученые записки Тартуского университета» (вып. 198, 1967) *, обратила на себя внимание ученого мира. Мне было очень горько и обидно, что я не умею печатать под диктовку Павла Александровича, и я втайне завидовала сестре, горько размышляя о том, что на мою долю остается только домашняя тяжелая, грязная работа

* Статья «Обратная перспектива».

и страшная нужда. От Флоренского я все дальше и дальше отходила. В 1920 году умерла моя сестра Аля, Павел Александрович ее отпевал.



Приехав из Сергиева Посада домой в 1916 году, я побыла дома весной, а летом мы всей семьей уехали на дачу. Саму эту дачу я совсем не помню. Только вспоминается, как дважды бывал у нас Репин в гостях.

Первый раз помню, как Репин сидел за чайным столом и слушал внимательно рассказ сестры Али, приехавшей из деревни, о тяжелой доле крестьянской женщины; в другой раз вспоминаю, что отец и я провожали Илью Ефимовича с дачи, отец просит меня прочесть стихи Пушкина «Когда для смертного умолкнет шумный день...». Я читаю наизусть, краснея и волнуясь.

В то лето отец, сестра Аля и я ездили изредка по воскресеньям к Репиным на их дачу «Пенаты». Вспоминается жена Репина. Высокая, стройная женщина, но с каким-то удивительно бесцветным лицом, вся какая-то белесая, она ни о чем не могла говорить, кроме как об овсе, но, к счастью, на стол овес никогда не подавался. Обедали на закрытой веранде, гостей бывало человек до 30, обед был вкусный и обильный, но без мяса.

Сам Репин держался очень просто, демократично и сердечно. Нас он водил по аллеям своего сада, показывал и сапожную мастерскую, где он тоже тачал сапоги, наподобие графа Л. Н. Толстого.

Бывали мы и в его мастерской, но там я ничего не запомнила.

Сохранилась фотография, где снят Репин в своей мастерской среди гостей. В числе их сидят папа, моя мама и сестра Аля (мама однажды тоже была в гостях у Репиных). Эта фотография находится в Государственном литературном музее в Москве.

Глава IV
Революция. Переезд в Троице-Сергиев Посад

Тоскливо протекала жизнь в семье в этот 1916 год: Варя и Надя еще учились в гимназиях (Надя в Стоюнинской, Варя в гимназии Оболенской), Вася был на фронте, папа много писал в газетах, но статьи плохо шли. Газета под влиянием событий на фронте левела, и отец был не к месту. Между прочим, статьи тех лет были интересные, с ними я познакомилась только в 1969 году, и меня они очень заинтересовали.

Отец стал болеть, дома было очень мрачно, сестра Аля жила отдельно. С продовольствием становилось все хуже; с фронта приходили печальные вести, — мы то наступали, то отступали. Помню, в 1915 г. мы взяли Перемышль. Помню торжественную манифестацию по этому поводу, огромные толпы народа с флагами, музыку и себя среди толпы,

помню массу пленных австрийцев, которых провозили мимо Петрограда, и я с сестрой тоже ходила смотреть пленных; они были одеты неплохо и, видно, сами сдались охотно в плен, — наши женщины бросали им цветы...

Но вскоре все изменилось, — Перемышль был вновь отдан австрийцам, и мы все больше и больше отступали. Обстановка становилась мрачнее. В декабре 1916 г. был убит Распутин, шли зловещие толки об измене императрицы, народ волновался, приближалась революция. Пошел 1917 год, февраль месяц. Произошел переворот. Царская семья была арестована и вместе с царем находилась под стражей. В Петрограде стало трудно доставать хлеб, особенно белый, не хватало сахару, его отпускали в ограниченном количестве, продукты сильно дорожали. Народ обвинял во всем правительство... очереди в магазинах были большие. В то время мы уже жили на Шпалерной улице в доме № 44, кв. 22 и могли наблюдать, что происходило, так как на нашей улице впервые затрещали пулеметы — тогда три дня к Петрограду не подвозили белого хлеба. Пулеметы установили на крышах домов и стреляли вниз по городовым, забирали их тоже на крышах, картечь падала вдоль улицы, кто стрелял — нельзя было разобрать, обвиняли полицейских, искали их на чердаках домов, стаскивали вниз и расправлялись жестоко...

Однажды к нам ворвались в квартиру трое солдат, уверяя, что из наших окон стреляют. А когда они ушли, была обнаружена пропажа с письменного стола у отца уникальных золотых часов. Я уговаривала отца не поднимать шума, не заявлять о пропаже, иначе мы все можем пострадать. Сами мы, дети, выбегали на улицу, а сверху стреляли картечью. Не знаю, как из нас никто не был ни убит, ни ранен...

Как-то в конце февраля, моему отцу вздумалось вдруг звонить на квартиру Милюкова. Лично он его хотя и знал, но общение между ними было очень отдаленное, деловое и литературное. Мы все были в столовой, где находился телефон. Отец берет трубку и вдруг говорит: «Что же ты, братец Милюков, задумал, с ума, что ли, сошел. Это дело курсисток бунтовать, а не твое. Опомнись братец». Мы, дети, хватаем его за тужурку и в испуге оттаскиваем его от телефона. «Папа, что же ты с собой и с нами делаешь, ведь мы все можем погибнуть?» Тем дело и кончилось.

На Невском проспекте, ближе к Николаевскому вокзалу, где стоял памятник Александру III, было особенно людно... На набережной Невы народ собирался толпами, выступали ораторы. Кто был за кадетскую партию, кто за эсеров, а кто за большевиков. Дворец Кшесинской занял Совет депутатов. На Выборгской стороне выступала на собраниях освобожденная из тюрьмы знаменитая Вера Фигнер, чей портрет многие годы стоял на письменном столе моей старшей сестры Али. Вера Фигнер

была уже старуха, с седыми волосами, но представительная, одетая в прекрасный костюм и в дорогих лаковых туфлях. Я была на этом собрании. Она выступала с трибуны, но я с удивлением видела, что рабочие женщины не хотели ее слушать и выражались о ней с презрением. Роль ее была сыграна, и она больше не выступала.

Так продолжалось в течение всей весны; помню, была с сестрой Алей на каком-то собрании, где председательствовал Керенский и набирался из женщин «батальон смерти»; дамы забрасывали Керенского цветами, но он выглядел смешно, а его приказ № 1 привел к полной дезорганизации армии. Солдаты убегали с фронта и из-под полы торговали, кто махоркой, кто буханками черного хлеба. Вернулся и брат Вася с фронта и жил без дела; в Тенишевское училище он не пошел.

К Петрограду подступали немцы... Летом 1917 года сестра Надя уехала к своей подруге Лиде Хохловой в их имение, а Варя с гимназией Оболенской — работать на огородах в деревню. Я же решила ехать в деревню устраивать ясли от Бестужевских курсов, где я еще числилась слушательницей. Меня очень интересовала деревня, я помнила деревню только по Казакам, куда меня возили родители 5-летней девочкой к бабушке. И вот мы — студенты Бестужевских курсов — в Рязанской губернии. Помню, как мы невзначай попали в имение генерала Раевского, крестьянки пололи там клубнику, нас с опаской угощали в столовой. Впервые в жизни я была в таком богатом имении, видела красивую усадьбу, от которой вниз вела широкая деревянная лестница к реке. Хозяева нас спрашивали, что мы собираемся делать в деревне. Мы храбро отвечали — помогать крестьянам устраивать детские ясли. Они покачивали головами, но видели, что мы народ не опасный; накормили нас хорошим обедом и отпустили.

Возница наш, который вез нас до места назначения, говорил: есть тут имение графа Олсуфьева в Тульской губернии, там интересный музей, но усадьба заперта, управляющий никого не пускает туда, а сами хозяева в отъезде. Так я услышала впервые эту фамилию — одно лицо, принадлежавшее к ней, сыграло впоследствии огромную положительную роль в моей жизни.



С устройством яслей ничего не вышло: мужики не доверяли нам детей и вовсе не хотели ясель. На нас смотрели с недоверием, как на городских барышень, даже продуктов нам не давали за наши же деньги. Меня обыкновенно посылали за молоком — в яслях было трое малышей, и на них мне нужно было доставать молоко. Я с народом лучше ладила, и мне давали молоко и пшено.

Когда в конце августа 1917 года я вернулась из Рязанской губернии, приехали и Варя с Надей, и было на семейном совете решено уезжать из Петрограда. Редакция «Новое Время» закрывалась в Петрограде и эвакуировалась вместе с Государственным банком в Нижний Новгород. В Государственный банк на хранение отец отдал золотые древние монеты из своей коллекции, а три самых любимых завернул в бумажку, положил в кошелек и постоянно ими любовался. Было послано письмо Флоренскому с просьбой подыскать нам квартиру; когда мы получили известие, что квартира найдена, мы спешно стали собираться в Троице-Сергиев Посад. Ликвидировав квартиру, мы поехали прощаться с Барсуковой Зинаидой Ивановной и Высоцким, а также с Ивановыми — им я подарила своей зеркальный платяной шкаф и письменный дамский столик, а также чудную книжечку: «Рассказы странника об Иисусовой молитве». Папа с мамой были убиты горем, мы же, дети, ничего не понимали, радовались перемене жизни и уехали очень беззаботно, сестры только жалели гимназию, а мне было жаль только сестру Алю, которая не решилась ехать с нами и оставалась в Петрограде вместе со своей подругой Натальей Аркадьевной Вальман. Я радовалась еще очень, что мы едем в Троице-Сергиев Посад и будем ходить в Лавру и к Флоренским.

Осенью мы переехали в Сергиев Посад, на Красюковку, на Полевую улицу в дом священника Беляева, который у него арендовали.

В течение всей осени 1917 года мой отец ездил из Троице-Сергиева Посада в Москву к своим друзьям: к Сергею Булгакову, Бердяеву, Гершензону. Ездил также слушать лекции Флоренского, которые тот читал в Религиозно-философском обществе. Бывал и у писателя Русова. Оставался иной раз ночевать у него. Бывала я с отцом и у профессора-искусствоведа А. А. Сидорова. Посещал отец и Лемана Георгия Адольфовича, жившего на Полуэктовом переулке, в доме № 6. Это был друг отца, почитаемый им, талантливый и идейный книгоиздатель. Помню я его красивым, элегантно одетым молодым человеком, среди роскошной обстановки, с большими культурными запросами, с надеждой творчески работать на литературном поприще. В то время он еще был богатым человеком — его мать была урожденная Абрикосова. Обстановка у них была очень красивая. Вся мебель черного, резного дерева, масса громадных зеркальных шкафов с книгами и огромным письменным столом, стоявшим боком у окна. Эту обстановку видела и я, когда однажды с отцом была у них. К нам навстречу вышла среднего роста красивая пожилая дама, седая. Это была мать Лемана, урожденная Абрикосова. Затем вышла и жена его, стройная высокая дама, с чрезвычайно бледным лицом. Весь ее облик напоминал боттичеллиевские рисунки, у них был сын, имени его я не помню, а дочь звали Верой. Молодой человек этот погиб во время второй империалистической войны, а дочь вышла за-

муж. В 1938 году они жили на даче в Загорске, уже совсем обедневшие; тогда я с ними изредка встречалась, бывала у них и моя сестра Варя; она любила читать жене Лемана, Анне Ивановне, свои стихи и советовалась с ней о них.

Еще в самом начале революции, примерно в 1919—1920 гг., вскоре посла смерти моего отца, Георгий Адольфович был арестован и сослан, кажется, на десять лет. Затем он вернулся, но его не прописывали в Москве у жены, и поэтому ему приходилось скитаться. Слышала я, что он преподавал немецкий язык в каком-то московском учебном заведении, а также занимался литературной работой. В начале Второй мировой войны я видела его на маленькой даче у станции Сокол, в уютной комнате, обложенного книгами. Он работал тогда над Тургеневым для сборника «Звенья» или же для «Литературного наследства» — не помню. Потом я узнала, что он был арестован вторично, и я потеряла его из виду. Встретила я его необычно: после своей ссылки еду я на эскалаторе и вдруг вижу его идущим навстречу мне. Я искренне обрадовалась ему, значит, он на свободе. Встречались мы с ним и позднее, в Московской Духовной академии, на приглашенном обеде, где мы сидели за столом с ним рядом и беседовали. Он производил впечатление уже очень старого и больного человека, убитого горем. Говорил, что живет уже не со своей семьей, а где-то за городом, по-видимому, из-за прописки. Затем я узнала о его трагической смерти в 1968 году. Оказывается, он куда-то ехал, у него закружилась голова, он упал с платформы, сильно разбился и попал в больницу. Там, бедный, долго и мучительно болел и там же скончался. О смерти его я узнала значительно позже. Боже, какая судьба!..

. . . .

. . . .

Дом, в котором мы жили в Сергиевом Посаде, был большой, низ каменный, верх — деревянный. Внизу помещалась большая комната-столовая, сырая, с зелеными пятнами по углам. К ней примыкала кухонька, в которой стояла длинная плита, на которой мама с старушкой-нищенкой готовила обед для всей нашей семьи. Мама сама ничего не могла делать, у нее была парализована левая рука и частично правая нога, и она с трудом ходила, но все же еще руководила всем домом. А что готовилось на этой плите? В большой эмалированной кастрюле варились пустые щи, в них была свежая капуста, немного картошки, мука, морковь и больше ничего. На второе же была каша из зерен пшеницы, без всякого масла, или пшенная; хлеба почти никакого не было; бывало, что фунт хлеба делили на пять человек, а то больше ели лепешки из дуранды, или из свеклы, очень редко из овсяной муки, это считалось уже очень вкусно. Изредка доставали где-то конину и тогда варили с ней щи, но она

была такая сладкая, что с трудом ели. Да через день брали три крынки хорошего густого топленого молока у соседей — трех старушек. Все же голод был ужасный, но тяжелее всего было матери и отцу, так как они были старые и отсутствие масла сказывалось больше всего на них. Они оба очень похудели и стали какими-то маленькими и совсем слабенькими. Особенно помнится мне моя мама, ее печальные глаза, как-то они словно застыли в испуге и немом горе. Помню всю ее худенькую фигурку, маленькие слабые руки, маленькие ножки. Вся она передо мной стоит, как живая, с немым укором, а ведь прошло с ее кончины ровно 46 лет...

Нас в семье сначала было шесть человек — папа, мама, я, Варя, Вася и Надя. Сестра Аля, как я уже сказала, оставалась в Петрограде, а Вера жила послушницей в Покровском монастыре на станции Плюсса около Луги.

Голод все увеличивался. Дров почти невозможно было достать, а дом был большой, наверху было пять комнат, одна большая, в которой был папин кабинет и впоследствии размещалась его библиотека, в других комнатах были наши спальни. Печи были большие, хорошие, голландские, требующие хороших дров. Керосин тоже стал исчезать, сидели с коптилками и по вечерам, захлебываясь, читали.



Стали носиться слухи, что немцы подходят к Петрограду. А у нас вся библиотека отца и рукописи его были оставлены на хранение в Александро-Невской лавре, у профессора Академии Зорина. Александровы дали нам взаймы 200 рублей денег, чтобы я ехала и перевезла оставшееся имущество в Троице-Сергиев Посад. Помню, как Евдокия Тарасовна Александрова научила меня, как перевезти такое количество вещей. Она сказала, что нужно дать три рубля весовщику товарной станции, и он даст целый вагон. Я так и сделала. Это была во всю мою жизнь единственная взятка, которую я сумела дать. Были перевезены полки с книгами и рукописи отца. Часть вещей, которые находились у Зорина, не были нам возвращены, в частности, китайская и турецкая вазы, большой гипсовый слепок с работы Шервуда — Пушкин, гипсовый слепок с головы Страхова и еще кое-какие вещи. Но все же мы были очень рады, что вернулись самые дорогие нам вещи.

Вскоре после возвращения моего из Петрограда произошла Октябрьская революция. Власть перешла в руки Советов. В Троицком Посаде переход к новой власти не вызвал резких эксцессов и все произошло сравнительно спокойно. В Лавре еще шла церковная служба (до 1920 года в Троицком соборе).

Помню, в 1918 году, весной, патриарх Тихон приезжал в Троице-Сергиев Посад. Мы с отцом идем навстречу ему по зеленому лугу около

Киновии. С нами рядом шли три молодых человека — Сережа Сидоров, Сережа Фудель и Коля Чернышев, прекрасные молодые люди, цвет настоящей духовной интеллигенции. Навстречу нам движется патриарх Тихон с крестом, окруженный духовенством, в ярких блестящих ризах, красиво вырисовывающихся на зеленом фоне луга. Вся эта процессия медленно направляется в Троице-Сергиеву лавру. Боже, как я это живо помню, а ведь сколько лет прошло!

В настоящее время Сережи Сидорова давно уже нет в живых, а двое других еще продолжают свой жизненный путь.

В 1918 году был опубликован декрет об учете и охране памятников искусства и старины. Отец мне сказал, что в Троице-Сергиевом Посаде организуется комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, при ней будет канцелярия, им нужна машинистка, и Павел Александрович Флоренский хочет меня туда устроить. Мне сказали, что я должна пойти на Валовую улицу в дом графа Олсуфьева. В доме этом, в нижнем этаже жил мой будущий начальник, Сергей Павлович Мансуров.

Я пошла, робко постучалась в дверь и с замиранием сердца ждала... Я ведь никогда не видела в глаза канцелярии и не представляла себе даже, что это такое. На мой стук мне открыла высокая, очень красивая, белокурая, стройная женщина и весьма приветливо позвала меня войти внутрь. Это была жена Сергея Павловича Мансурова, Мария Федоровна Мансурова, урожденная Самарина, из старинного дворянского рода славянофилов.

Желая меня ободрить и как-то успокоить, она ласково предложила мне тарелку грибного супа. Я была этим очень тронута. Оглянулась на комнату и впервые увидела, какая она. Это была довольно большая комната с двумя окнами, заставленная высокими полками с маленькими книжечками в бумажных переплетах. Это были разные издания о старцах на Руси. Эти книги были большая редкость, они собирались, видимо, с большой любовью в течение долгих лет. Потом Сергей Павлович давал мне эти книги читать — они были мне очень интересны. Сергей Павлович Мансуров должен был быть секретарем комиссии и моим начальником. Я взглянула на него и увидела красивого молодого, высокого человека с удивительно лучистыми, добрыми карими глазами и мягкой улыбкой. Особенно хороши были его руки с красивыми, изящно-удлиненными пальцами — таких рук я потом в жизни никогда ни у кого не видела.

Началось учение. Он терпеливо объяснял мне, как вести журнал входящих и исходящих бумаг, я страшно старалась, пыхтела, краснела, конфузилась и смущенно думала — наверно, он такого бестолкового человека и не видывал. Потом он мне показал пишущую машинку «Ундервуд»,

которую он привез из Москвы специально для меня, и начал меня учить писать на машинке. Так несколько дней я ходила к нему и училась. Затем, спустя некоторое время, машинка была отправлена в митрополичьи покои, там была открыта канцелярия; меня, маленькую, посадили на книги, которые положили на пуф, и я важно восседала в митрополичьих покоях. Прислуживал нам старенький монах отец Амвросий, лицом вылитый Серафим Саровский, — даже было немного жутко, какой-то все был сон невероятный!

В эту комиссию вошли: председатель комиссии Бондаренко, приезжавший из Москвы, и его заместитель граф Юрий Александрович Олсуфьев.

В первый раз я увидела не самого графа Юрия Александровича, а его жену, Софью Владимировну. Это было в 1918 году. Она стояла в полуоборот на фоне белого каменного здания, выходящего одной стороной на площадь, а другой на Вифанскую улицу (ныне Комсомольская). Тут был магазин молочных продуктов. Масло привозили откуда-то издалека, вологодское. Торговала им бывшая помещица — Гиппиус. На улице толпился приезжий народ. Это были беженцы из всех городов России, представители высшей интеллигенции и аристократии. Был вечер, они жалобно жались к стене, а среди них выделялась высокая худощавая фигура графини Олсуфьевой в небольшой шапочке из дорогих белых перьев с какими-то черными кончиками. Эта шляпа ей очень шла; глаза ее были очень похожи на глаза оленя или породистой лошади, но они смотрели печально. Я не знала, кто это, и спросила; мне ответили, что это графиня Олсуфьева. Такова была моя первая встреча с Софьей Владимировной.

Теперь постараюсь дать портрет Юрия Александровича Олсуфьева. Он был гораздо ниже ростом своей жены, широкоплечий, с довольно большой головой, с небольшой лысиной. Волосы были каштановые, прямые, лоб большой, умный, глаза карие, несколько выпуклые, миндалевидной формы, густые брови, небольшие бакенбарды и борода. Руки у него были полные, выразительные, с крепкими выпуклыми ногтями. На левой руке он носил красивый, очень богатый перстень с крупным изумрудом. Вся же одежда была очень простая — толстовка из сурового материала, поверх нее синяя тужурка и шаровары из того же материала со штрипками. На ногах у него были маркие, черные, высокие сапоги. Походка у него была твердая, он шагал широко и уверенно.

. . . .

. . . .

Мы недолго находились в митрополичьих покоях — нас перевели в здание, находившееся вблизи левых Святых ворот — там была у нас

канцелярия, а рядом была канцелярия комиссара Белкова. Я к тому времени уже хорошо научилась писать на машинке. Писала я всякие бумаги, удостоверения, отношения в исполком, в Москву, командировочные удостоверения сотрудникам, так как только по ним можно было поехать в Москву, а также переписывала инвентарные описи и отдельные статьи Юрия Александровича Олсуфьева, которые впоследствии вошли в его книги. Павла Александровича Флоренского я не могла писать под диктовку, а сам он писал так, что ни один человек не мог его прочесть, потому что он знал такое количество языков, что в процессе своей творческой работы он перепутывал буквы всех языков. Поэтому для него взяли другую машинистку — Веру Александровну Введенскую, очень грамотную и толковую, которая и писала ему под диктовку. Комиссар и хозяйственники косились на то, что во время работы пишутся непонятные научные труды, и меня часто в этом упрекали.

Не помню, в какой период времени наша канцелярия и научная часть нашей комиссии была переведена в бывшие покои наместника Лавры. Мы заняли довольно большую комнату, у нас было уже довольно значительное количество сотрудников — пришел к нам работать Алексей Николаевич Свирин, был приглашен Владимир Иванович Соколов, художник, для писания плакатов, затем художник Боскин, для инвентаризации ценностей. Владимир Иванович, хороший художник, очень тяготился этой работой и делал ее очень неохотно и в конце концов отказался от нее. Художник же Боскин тоже не мог выполнять такую работу и тоже ушел от нас. При музее организовалась мастерская по реставрации древнего шитья, в нее входили две опытные мастерицы и ученый реставратор — Татьяна Николаевна Александрова-Дольник, приезжавшая из Москвы. Был у нас и бухгалтер, молодой человек, был и хозяйственник, а должность комиссара была упразднена. Председатель Бондаренко был к тому времени снят с работы, а его должность занял Юрий Александрович Олсуфьев. Ученым секретарем комиссии был назначен Павел Александрович Флоренский. Оба они очень много вложили труда и работы в это дело. Юрий Александрович и Павел Александрович произвели инвентаризацию всех ценностей ризницы, фондов, с полным научным описанием музейных предметов, так что в настоящее время многие научные работники удивляются тому, как двое ученых смогли сделать такую огромную работу. Раньше, в ризнице монастыря, предметы были записаны только под номером, без научных описаний и без их точного определения.

Обыкновенно Юрий Александрович и Павел Александрович брали из ризницы или из фондов музея церковные предметы или книги, делали описи и определяли время их создания. Всю эту работу они производили в комнате рядом с нашей канцелярией. Я часто заходила в ту

комнату и видела их работу. В комнате у них было очень холодно. Я удивлялась их терпению и выносливости, но они, погруженные в работу, ничего не замечали. Сделав на нескольких страницах опись, Юрий Александрович сдавал их мне перепечатать. Сколько через мои руки прошло его работ! Но я была еще молода и не понимала всей ценности его трудов.

В настоящее время там, где находилась канцелярия и комната научных сотрудников, теперь помещается библиотека Загорского Историко-художественного музея, а рядом кабинет директора музея и маленькая канцелярия.

. . . .

Таков был Юрий Александрович на работе — всегда подтянут, аккуратный, исполнительный, молчаливый, погруженный всецело в свои занятия. На собраниях он редко бывал. Таким же молчаливым, серьезным был он и дома. Также много работал по вечером над своими научным трудами. Я часто по вечерам у них бывала, заходила, главным образом, к Софье Владимировне. Бывало, сижу у нее в комнате, а Юрий Александрович уже зовет ее: «Соня, Соня, поди сюда!» Без Софьи Владимировны он не мог быть ни минуты, всегда ему надо было чувствовать ее присутствие. Иногда я у них оставалась пить чай на веранде, застекленной. С нами садилась пить чай его племянница, Екатерина Павловна Васильчикова, и их домашняя работница Саша (сиротка, бывшая воспитанница их приюта), которая им была очень предана и очень любила их. Юрий Александрович любил со мной разговаривать и подшучивать, но вообще был строгий и молчаливый, и особенно не любил гостей, да, правда, к ним редко кто и приходил. Однажды, смотрю, вдруг Юрий Александрович выскочил из-за стола и куда-то убежал. Я очень смутилась и ничего не поняла, а Софья Владимировна мне объяснила: «Он пошел и спрятался на чердак, — это потому, что пришла в гости мадам Хвостова, которою он недолюбливал, да и вообще он не выходил к гостям».

Совсем другим человеком был его родственник Сергей Павлович Мансуров. В Первую мировую войну они вместе работали в Земском союзе Красного Креста. Летом, перед Февральской революцией, они вместе жили на юге, кажется, в Мцхете. Осенью 1917 года они купили дом в Троице-Сергиевом Посаде, на Валовой улице и поселились вместе. Юрий Александрович с Софьей Владимировной, с племяницей и с воспитанницей Сашей поселились в верхнем этаже, а в нижнем этаже жил Сергей Павлович Мансуров со своей женой Марией Федоровной.

Сергей Павлович был совершенно иного характера, чем Юрий Александрович. Это был общительный, приветливый и очень мягкий человек. Он всегда старался всем помочь и как-то всех обласкать. Я очень сердцем к нему привязалась на всю жизнь. Видела в нем все совершенства, кроме одного — я никак не могла понять, как это он так опаздывает

на работу, и всегда очень беспокоилась за него. Но он приходил невозмутимо на работу, предварительно зайдет в Троицкий собор, приложившись ко всем иконам, и только затем появлялся в канцелярии, почему-то всегда неизменно с большим мешком за плечами, так как с работы он шел за продуктами. Начинался рабочий день. Я печатала на машинке, он разбирал бумаги. Иногда он уходил куда-то работать, разбирать на чердаке редкие рукописи Троице-Сергиевой лавры. По ним он делал большую работу — описание этих рукописей, — и потом он написал большую статью об этих рукописях, которая должна была быть помещена в сборнике, посвященном Троице-Сергиевой лавре. В этот сборник должны были войти также и статьи Флоренского, Олсуфьева и М. В. Шика. Этот сборник был сброшюрован, но не вышел — он был запрещен. В настоящее время этот сборник имеется в небольшом количестве в главных библиотеках Москвы и является уникальной ценностью. В этой своей статье Сергей Павлович проводил мысль о том, что в древние времена русский читатель был вдумчивее, и в то время как в XV веке чаще читали Исаака Сирина, Ефрема Сирина, Шестоднев Василия Великого, то уже в XVII веке чтение становилось более легким. Стали читать Прологи, Жития святых. В настоящее время эти древние рукописи и книги XIII—XVII веков перевезены в Ленинскою библиотеку.



В канцелярии нам прибавили сотрудников: взяли машинистку Осовскую, сменили молодого бухгалтера на пожилого, более солидного, некоего Мордвинова. В это же время, когда я там работала в комиссии по охране памятников Лавры, по утрам часто мы ходили с Софьей Владимировной в скит, который был тогда еще не закрыт, там шла прекрасная монастырская служба, храм был красивый, с чудесным иконостасом деревянной резьбы и старинными иконами. Этот храм прилегал к бывшим покоям митрополита Филарета, который здесь имел обыкновение отдыхать летом. Теперь этот храм разрушен, а предметы церковного обихода вывезены, кажется, в музей Троице-Сергиевой лавры.

С нами часто по воскресеньям ходил и Сергей Павлович Мансуров с женою. Это были чудесные дни — прекрасная дорога, красивые виды по сторонам и интересные беседы Сергея Павловича. Ходила я и в Параклит — это десять верст от нашего города. Леса стояли изумительные, хвойные вперемешку с березовыми. Эта самая дорога, по которой хаживал некогда художник Михаил Васильевич Нестеров. Пейзажи на его картинах — повторение этих видов. Однажды, возвращаясь из Параклита, я встретила его, уже стариком, с мольбертом в руках и с эскизами. Он шел, углубленно задумавшись, и я его не остановила, а он, скорее всего, меня даже и не заметил. Так в течение многих лет мы ходили в скит, до

тех пор, пока он не был закрыт. Лавра же была закрыта в 1920 году. Сергея Павловича в это время уже не было в музее, он принял сан священника и служил в Оносинском монастыре. При монастыре он жил вместе со своей женой.

Вскоре богадельня Красного Креста была закрыта, в этом учреждении была организована первая городская амбулатория, обслуживающая весь город Загорск. Куда направили старушек из Красного Креста — сестер милосердия Первой мировой войны, — на знаю. Церковь была закрыта, и Павел Александрович Флоренский, не сняв рясу, стал работать в Москве в ВСНХ по научной части. Но ему все же пришлось расстаться с рясой и он ходил в каком-то нелепом тулупе и какой-то шапке-ушанке. В таком костюме я видела его однажды у него дома и ужаснулась, — так не шла ему эта одежда. Он тоже казался смущенным. Я у них тогда очень редко бывала.

Работал Павел Александрович в ВСНХ очень успешно. Затем, 24 февраля 1933 года, когда он приехал в воскресенье отдохнуть домой в Загорск, он был ночью арестован. Был произведен обыск и незаконно увезена почти вся библиотека. Никакого обвинения ему не было предъявлено и он не знал, за что его взяли. У него осталась жена, теща и пятеро детей. Его долго держали на Лубянке, а затем выслали, переводили с места на место, и в конце концов он оказался в Соловках в заключении. Были слухи, что его привозили несколько раз в Москву, хотели что-то узнать, но ничего не допытались и отправили обратно в Соловки. Там он умер 15 декабря 1943 года н/с. Такую справку дали официально жене. Когда она спросила, за что его арестовали, посланный сказал: «За то, что он доказал, что Бог есть». Интересно мне рассказывал о Флоренском один знакомый. С Флоренским вместе сидел в тюрьме одно время доктор Печкин, который рассказывал, как тюремные власти подозревали, что Флоренский сошел с ума, потому что утверждал, что бесы существуют реально. Он был священник, что другое мог он говорить... Ведь в Евангелии об этом ясно говорится.

Флоренский был реабилитирован уже посмертно, в 1956 году.



Я ходила на работу каждый день с 9-ти до 4-х часов. Дома оставалась младшая сестра Надя; сестры Варя и Надя и брат Вася не могли никуда устроиться на работу, потому что работа была только в исполкоме и на почте, а также были кустарные работы, которых мы не знали и нас бы никто не взял. Варя и Надя еще не кончили гимназии в то время. Старшая сестра Аля вызвала их в Петроград, надеясь, что они там окончат гимназию. Они действительно окончили ее в 1918 году при страшном голоде. Брат Вася уехал спасаться от голода на Украину к маминому бра-

ту, дяде Тише Рудневу, который был прокурором 6-й палаты города Полтавы.

В 1918 году сестры вернулись из Петрограда, окончив гимназию, а до этого мы оставались втроем — папа, мама и я. Брат Вася, вернувшись с Украины, звал нас туда, но мы не решились ехать. Жили продажей вещей, мебели, книг, изредка кто-нибудь присылал продукты. Мы сменяли большой буфет орехового дерева на шесть пудов ржи, а дубовый стол — на картошку. Посуду всю меняли на яблоки да на молоко. Кое-какую одежду, более нарядную, тоже меняли на продукты в деревню. Был такой старичок, который этим занимался, очень хозяйственный, красивый, он хорошо к нам относился и с риском для себя привозил нам продукты, ведь везде стояли заградительные отряды и менять тоже не очень-то давали.

Однажды зимою, когда мы уже совершенно замерзали, нам неизвестный железнодорожник, Новиков Дм. Тр., прислал целый воз березовых дров и спас нам жизнь. Этот случай не забудется никогда... *

Капусту, я помню, нам выдавали из каких-то организаций, мы стояли за ней в очереди, несколько раз Варя ездила за мукой в деревню, дважды в один день попала в крушение поезда, но спаслась, отделавшись только испугом. Брат Вася уговорил Варю ехать на Украину вторично. Они остановились в Курске у знакомого отца, некоего Лутохина. Вася заболел испанкой, его отправили в больницу, и через три дня он скончался. Это было 9 октября 1918 года; там же, на городском кладбище, его и похоронили. Об этом сообщил нам Лутохин, так как сестра Варя, не дождавшись исхода болезни Васи, вынуждена была спешно уехать из Курска, — граница закрывалась и на Украине устанавливалась новая власть. Варя долго не знала о смерти брата, и мы ничего о ней не знали, не знали даже, жива ли она? После, когда наладилась переписка, сестра Варя очень огорчилась смертью брата, но написала нам, по своему обыкновению, оптимистическое письмо. В начале письма она описывает его заболевание, и как она его устраивала в больницу, и как ей было необходимо уезжать, так как ей в Курске жить было негде, и денег на прожитье не было.

Вот это письмо (подлинник находится в Государственном литературном музее), собственно, конец письма, столь для нее характерный:

> Мне нельзя было падать духом. Я понимала, что в тот момент умирали не единицы, а тысячи. Кто от испанки, кто на фронте.

---

* Фамилию Новикова Дмитрия Трофимовича я установила случайно, познакомившись с его родственницей: они были из тех мест, где когда-то была школа Рачинского.

Вообще падать духом никогда нельзя. И что бы ни случилось в дальнейшем, надо стойко выносить все.

Жизнь меня очень закалила. И ко всяким фанабериям и «мистике» (это в огород старших сестер) я отношусь крайне отрицательно...

Вестей от Вари опять долго не было. На Украине власть переходила из рук в руки. Мы остались вчетвером. Отец, мать, Надя и я. С Надей мы жили очень дружно и хорошо. Часто ходили в церковь и Гефсиманский скит (в трех верстах от Сергиева Посада). Отец очень подружился с Олсуфьевым, бывал у них. Он был потрясен смертью сына. Лутохин прислал ему злое письмо, обвиняя отца в смерти сына, рассматривая потерю сына как следствие наказания Божьего за сочинения отца. Отец тоже винил себя в смерти сына, считал себя виновным, что отпустил Васю легко одетым, почти без денег и что раньше легко отпустил Васю на фронт. Вася не кончил Тенишевского училища и привык уже к кочевой жизни.

Отец страшно изменился после его смерти, и единственное его утешение было — дружба с П. А. Флоренским и Олсуфьевым. Два факта — смерть сына и потеря самых любимых монет, с которыми он никогда в жизни не расставался, вечно любуясь на них, сильно на него подействовали. Потерял он эти золотые монеты, когда ездил в Москву и на вокзале заснул; предполагали, что у него вытащили их из кармана, а возможно, он их и потерял.

Глава V
Болезнь отца. Прощальные письма к друзьям. Смерть

Папа был очень слаб, но видя, как мы надрываемся, качал воду в колодце, изредка помогал нам. Делать этого ему нельзя было.

Отец очень любил также париться в бане, что ему тоже запрещали врачи, но он врачей *вообще* не слушался, запрещали ему курить, а он все курил. Однажды он пошел в баню, а на обратном пути с ним случился удар, — он упал в канаву недалеко от нашего дома, и его уже кто-то на дороге опознал и принесли домой. С тех пор он уже не вставал с постели, лежал в своей спальне, укутанный одеялами и поверх — своей меховой шубой — он сильно все время мерз. Говорить почти не мог, лежал тихо, иногда курил.

В то время старушки, которая готовила обед, уже не было, варила обед Надя и ухаживала за папой, а также мама много помогала и дежурила у папиной постели. К отцу звали священника, отца Александра, настоятеля Рождественской церкви, он отца исповедовал несколько раз. Затем приходил отец Павел Милославин — второй священник Рождественской церкви, которого отец очень полюбил за то, что он замеча-

тельно читал акафист Божьей Матери «Утоли моя печали». Отец мой слушал, как он читает акафист, когда со мною и Надей ходил служить в 40-й день панихиду по брату Васе. Отец мой плакал в церкви и говорил: «С каким глубоким чувством читает этот священник акафист Божьей Матери».

За это время болезни отца его часто навещала Софья Владимировна Олсуфьева и Павел Александрович Флоренский. Приезжал из Москвы старый друг отца по университету Вознесенский, привозил ему какие-то деньги от Гершензона. Он же присутствовал, когда мы позвали отца Павла Милославина из Рождественской церкви папу пособоровать, тут же была и С. В. Олсуфьева, молились все усердно, и папе стало лучше, но потом опять сделалось хуже, но он все же так не метался в тоске, как иногда с ним было, до соборования.

С папой, как я говорила, была мама неотлучно, а я весь день была на работе, а потом сразу же шла что-нибудь менять на хлеб.

В это время несколько раз присылали нам деньги — отец протоиерей Устьинский, папин друг, Мережковские и Горький. К папе приходил частный врач, приходила массажистка, он постепенно стал немного говорить, но двигать рукой и ногой не мог, ужасно замерзал, все говорил: «Холодно, холодно, холодно», и согревался только тогда, когда его покрывали его меховой тяжелой шубой.

Незадолго до своей смерти он просил сестру Надю под его диктовку написать несколько писем и послать друзьям.

Письмо к друзьям

7 янв. 1919 г.

Благородного Сашу Бенуа, скромного и прекрасного Пешкова, любимого Ремизова и его Серафиму Павловну, любимого Бориса Садовского, всех литераторов без исключения, Мережковского и Зину Мережковскую — ни на кого ни за что не имею дурного, всех только уважаю и чту.

Все огорчения, все ссоры считаю чепухой и вздором. Ивана Ивановича Введенского благодарю за доброту и внимание, Музе Николаевне Всехсвятской целую руку за ее доброту, самого Всехсвятского целую и за его доброту и за папироски. Каптерева благодарю и целую руку за его доброту и внимание. Ну, конечно, графа и графиню Олсуфьевых больше всего благодарю за ласку. Флоренского за изящество, мужество и поучение, мамочку нашу бесценную за всю жизнь и за ее грацию.

Лемана благодарю за помощь и великодушие и жену его тоже, они оба изящны очень и глубоко надеюсь: от Лемана большое возрождение для России.

Гершензона благодарю за заботу обо мне. Очень благодарю Виктора Ховина, люблю и уважаю; Устьинскому милому кланяюсь в ноги и целую ручку. Макаренко сердечно кланяюсь. Перед сокровищем Васенькой прошу прощения: много виноват в его смерти.

Грациозной Наденьке желаю сохранить ее грацию, великодушной и великой Вере желаю продолжения того же пути монашеской жизни, драгоценной и трепетной Тане желаю сохранить весь образ ее души. Варе желаю сохранить бодрость и крепость духа. Алю целую и обнимаю и прошу прощения за все мои великие прегрешения перед ней. Наташу целую и обнимаю, любимому человеку Шуриному очень желаю добра и счастья, только вместе, и вообще разделенья не желаю никому на свете, никому.

Лидочку Хохлову обнимаю, как грациозную девочку, Шернваля вполне понимаю и извиняю вполне, ни на что не сержусь.

Дурылина милого люблю, уважаю и почитаю и точно так же Фуделя, Чернова; Анне Михайловне дорогой целую руку ее, и так же точно и Надежде Петровне. Ангела о. Александра за истинную доброту его благодарю и всему миру кланяюсь в ноги и почитаю за его великую терпимость.

7 января, четверг 1919 г.
Написано под диктовку.

Примечания Т. В. Розановой:

Анна Михайловна — Флоренская, жена П. А. Флоренского.

Надежда Петровна Гиацинтова — теща П. А. Флоренского, умная и гостеприимная старуха, всех радушно принимавшая и умершая в 1940 году в глубокой старости, всеми уважаемая и окруженная многочисленными внуками.

Шернваль — врач, лечивший мою мать последнее время и которого мой отец при жизни очень недолюбливал.

Всехсвятская и *Всехсвятский* — муж и жена. Он служил библиотекарем при Духовной академии много лет. В голодное время они много делали для отца, давали ему папироски, кормили вкусным варением, до которого отец был большой охотник. У них отец отдыхал и душевно и телесно. В семье было два взрослых сына. После смерти уже моего отца их постигло большое несчастье. После закрытия Духовной академии Всехсвятский служил бухгалтером в Электротехнической академии, которая помещалась в тех же стенах Академии и Лавры, и очень тосковал; будучи уже глубоким стариком, покончил жизнь самоубийством. Дети вышли несчастные, один сын с матерью уехал в Сибирь и там они умерли, другой сын умер в нищете в Сергиевом Посаде, все пошло прахом и зажиточная семья распалась и умерла в нищете. Это я узнала случайно от бывших жильцов их дома уже много лет спустя.

Всехсвятский был несомненно под большим влиянием сочинений В. В. Розанова.

Отец Александр — священник, брат А. М. Флоренской. Очень добрый и хороший человек. Был долго в ссылке, вернулся и умер через год в Москве. Сам он был священником в г. Егорьевске, Рязанской губернии.

Ив. Ив. Введенский — хозяйственник исполкома, купил у нас дубовый буфет за 6 пудов ржи и спас нас от голодной смерти.

К литераторам

Нашим всем литераторам.

Напиши, что больше всего чувствую, что холоден мир становится. И что они [должны] предупредить этот холод, что это должно быть главной их заботой.

Что ничего нет хуже разделения и злобы, и чтобы они все друг другу забыли и перестали бы ссориться. Все литературные ссоры считаю просто чепухой и злым наваждением.

Никогда не плачьте, всегда будьте светлы духом. Всегда помните Христа и Бога нашего.

Поклоняйтесь Троице безначальной и животворящей и Изначальной.

Флоренского, Мокринского и Фуделя и потом графа Олсуфьева прошу позаботиться о моей семье.

Также Дурылина и всех, кто меня хорошо помнит.

Прошу Пешкова позаботиться о моей семье.

Примечания Т. В. Розановой:

Мокринский — прекрасный молодой человек, религиозно-настроенный, душевно заболел и в припадке душевного расстройства покончил жизнь самоубийством.

Многих из тех, о которых пишет отец, уже нет в живых, и многие кончили свою жизнь в тяжких страданиях.

Д. С. Мережковскому

Милый, милый Митя, Зина и Дима!

В последней степени склероза мозга, —

Ткань рвется, душа жива, цела, сильна!

Безумное желание кончить Апокалипсис и из «Из восточных мотивов»; все — уже готово, сделано, только распределить рисунки из «Восточных мотивов», но это никто не может сделать. И рисунки все выбраны.

Лихоимка-судьба свалила Розанова у порога.

— Спасибо дорогим, милым, за любовь, за приветливость, сострадание. Жили бы вечными друзьями, но уже, кажется, поздно. Обнимаю вас всех крепко и целую вместе с Россией дорогой, милой. Вы все стоите у порога, и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха под крыльями не оказывается. Спасибо милому Сереже Каблукову за письмо.

Н. Макаренко

20 января 1919 г.

Милый, милый Николай Емельянович, спасибо Вам за доброе внимание Ваше, которое никогда не забуду и друзей своих всех дорогих, не забуду драгоценный Эрмитаж и работу по нем благородного Бенуа.

Этот Эрмитаж незаслуженная драгоценность для всей России.

Помните ли Вы драгоценный.................. и драгоценный эстамп с нее. Особенно, когда она была младенцем?

Для меня это незабываемо.

Величавую Екатерину и все это величие и славу, когда-то былое в России, но теперь погибшее. Боже, куда девалась наша Россия. Помните Ломоносова, которого гравюры и храню до сих пор, Тредьяковского, даже Сумарокова.

Ну, прощай, былая Русь, не забывай себя.

Помни о себе.

Если ты была когда-то величава, то помни о себе. Ты всегда была славна. Передайте Мережковскому о всей этой славе, которую он помнит так хорошо. Поклон его Петру и его стрельцам. Это тоже слава России. Поклон его Зине. Поклон его милым Тате и Нате и если можно, поцелуй, а знаю, что можно. Если бы можно было бы, позволили бы силы, можно было бы и рисунки докончить и это была бы драгоценная работа для них и для меня.

Ну, друзья, устал, изнеможен, больше не могу писать. Сделайте что-нибудь для меня. Я сам умираю, уж ничего больше не могу, прежде всего работать. Хочется очень кончить Египет и жадная жажда докончить, а докончить вряд ли смогу. А работа действительно изумительная. Там есть масса положительных открытий, культ солнца почти окончен. Еще хотел бы писать, мои драгоценные, писать больше всего об Египте, о солнце, много изумительных афоризмов, м. б. еще припишу писульки, не знаю и не берусь за это.

От семьи моей поклон, от моей Вари поклон, от моих детей, тружеников небывалых, поклон, в этом не сомневайтесь, не колеблетесь.

Варя совершенно с Вами помирилась.

Всему миру поклон, драгоценную благодарность, от своей Танечки тоже поклон, она чрезвычайно грациозная, милая, какая-то вся

игривая и вообще прелестная, и от Наденьки, которая вся грация: приезжайте посмотреть. А это пишу я, отец, которому, естественно, стыдно писать. Ну, миру поклон, глубокое завещание, никаких страданий и никому никакого огорчения.

Вот кажется все!

Васька дурак Розанов.

Детки собираются сейчас дать мне картофель, огурчиков, сахарина, которого до безумия люблю. Называют они меня «куколкой», «солнышком», незабвенно нежно, так нежно, что и выразить нельзя, так голубят меня. И вообще пишут: «Так! так! так!», а что «так» — разбирайтесь сами.

Сам же себя я называю: «Хрюнда, хрюнда, хрюнда», жена нежна до последней степени, невыразимо и вообще я весь счастлив, со мной происходят действительно чудеса, а что за чудеса, расскажу потом когда-нибудь.

Все тело ужасно болит!



Лидочке Хохловой

Милая, дорогая Лидочка! С каким невыразимым счастьем я скушал сейчас последний кусочек чудного, белого хлеба с маслом, присланный Вами из Москвы с Надей. Спасибо вам и милой сестрице Вашей. И хочу, чтобы где будет сказано о Розанове последних дней, не было забыто и об этом кусочке масла.

Спасибо, милая! И родителям вашим спасибо. Спасибо.

Благодарный Вам В. Розанов.

Эту записку сохраните.



Записочка Лидочке Хохловой, продиктованная Василием Васильевич Наде в 1919 году в Троице-Сергиевом посаде и посланная Л. Хохловой в Москву*.

От лучинки к лучинке, Надя, опять зажигай лучинку, скорее, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль. Что такое сейчас Розанов? Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся, под таким углом одна к дру-

* Примечание Т. В. Розановой.

гой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурно, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга, очевидно, нет, жалкие тряпки тела. Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара. Вот оно: тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвой водой. Оно переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая, убийственная своей мертвечиной. Дрожание и озноб внутренний не поддается ничему описуемому. Ткани тела кажутся опущенными в холодную, лютую воду. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому «ад» или пламя не представляют ничего грозного, а скорее, желанное. Это все для согревания, а согревание только и желаемо. Ткани тела, эти мотающиеся тряпки и углы, представляются не в целом, а в каких-то безумных подробностях, отвратительных и смешных, размоченными в воде адского холода. И кажется, кроме озноба, ничего в природе даже не существует. Поэтому умирание, по крайней мере, от удара, представляет собой зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это — холод, холод и холод, мертвый холод, и больше ничего. Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких, раздробленных лучинок, где каждая представляется тростью и раздражающей остальные. Все, вообще, представляет изломы, трение и страдание.

Состояние духа его — никакое — потому что и духа нет. Есть только материя — изможденная, похожая на тряпку, наброшенную на какие-то крючки.

До завтра.

Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так измождено, что духовное тоже ничего не приходит на ум. Адская мука — вот она налицо!

В этой мертвой воде, в этой растворенности всей ткани тела — в ней.

Это — черные воды Стикса — воистину узнаю их образ.

В то время, когда отец так тяжко болел, от падчерицы Василия Васильевича — Александры Михайловны Бутягиной — приходили из Петербурга печальные письма; она очень мучилась за нас, да и сама она была без работы, так как тогда бастовала интеллигенция. Сестра заболела испанкой, боялись за ее жизнь. От сестры Веры тоже приходили печаль-

ные письма, – монастырь был превращен в трудовую сельскохозяйственную общину, там были трудные полевые работы, в которых сестра не могла принимать участия по состоянию своего здоровья (туберкулез), в общине она очень голодала и была переведена учительницей к детям – сиротам войны – в приют, принадлежащий также к этой общине. Учительницей ей показалось быть очень трудно, а кроме того все время грозили распустить общину. Она писала, что, может быть, вернется к нам жить, а мы сами не знали, как дожить до следующего дня. Сохранилось письмо сестры Веры к Наде в Петроград от 1918 года.

Петроград, март 1918 г.
Манежный мер., д. 16, кв. 44
Ее Высокородию
Софии Ангеловне Богданович
для передачи Надежде Васильевне
Розановой

Христос посреди нас

Дорогая Надя.

Получила твое письмо. Прости, но наверное долго не смогу ответить на него.

Сейчас полна заботой и болею за Алю. Она с Наташей совершенно нравственно и физически измучена борьбой за существование. Получают один фунт хлеба и голодают. Не знаю, как им помочь. Сейчас иду в деревню, может быть, удастся достать ржаную муку. Сходи к ним обязательно и напиши.

Теперь нет мечты, теперь есть подвиг. Васильевский остров, 4-ая линия, д. 39, кв. 3.

Мы не смеем жить, как жили. Считаю, что теперь время величайшего отрезвления. Отдача отчета и сознание долга перед Богом и человечеством.

Вера.

Надя очень дружила с сестрой Верой, которая мечтала перетянуть ее к себе в монастырь. Но Надя инстинктивно чувствовала, что она не создана для монашеской жизни, хотя и очень любила Веру и хотела бы ей помочь. Ко мне же Надя относилась холодно и без интереса, кроме одного года, когда мы с ней дружно жили в Троице-Сергиевом Посаде и после смерти отца ходили почти ежедневно к ранней обедне в Гефсиманский скит и заходили в келью иеромонаха Порфирия, бывшего келейника умершего старца Варнавы. Это было хорошее время!

Вот и другое письмо сестры Али, написанное в начале августа месяца 1918 года в монастырь сестре Вере и Наде (Надя тогда гостила у Веры в монастыре). Письмо написано из Петрограда.

Дорогие Верочка и Надюша,
Конец письма: Вере.
Ну, спокойной ночи!

Спасибо, Веруся, за все; Наташа тебя крепко, крепко чтит за твою подлинную, редкую доброту. Милые, милые «кусочки», которые ты мне клала на стол в детстве.

Как они и теперь волнуют теплом и светом усталую душу. Прости меня, Веруся, за все мое непонимание тебя. Теперь бы я все поняла, а тогда слишком по-матерински боялась и любила близоруко... Прости, если можешь. Верь только, что крепко тогда любила, хотя и делала больно непониманием *.

Аля.



Отцу становилось все хуже и хуже. Подходили мои именины. Папа их вспоминал, что-то удалось испечь, и он был очень доволен сладким пирогом с малиновым вареньем.

После моих именин отцу стало еще хуже. Он со всеми примирился, ни на кого не имел зла, продиктовал обращение к евреям. Как-то я его спросила: «Папа, ты отказался бы от своих книг “Темный лик” и “Люди лунного света”?». Но он ответил, что нет, он считает, что что-то в этих книгах есть верное, несмотря на то что он был настроен последнее время по-христиански и казался верным сыном Православной русской церкви.

В ночь с 22-го на 23 января 1919 года старого стиля — 5 февраля н. с. — отцу стало совсем плохо. Надя осталась с ним ночевать и прилегла рядом. Я вошла в его комнату и увидала, что у него уже закатились глаза. Тогда я сказала Наде: «Беги за священником». Надя побежала к Флоренским, но не могла к нему достучаться, тогда она побежала в Рождественский переулок, к отцу Александру. Он тотчас же пришел, но отец уже говорить не мог, и ему дали глухую исповедь и причастили. Это была среда.

Рано утром в четверг пришел П. А. Флоренский, Софья Владимировна Олсуфьева и С. Н. Дурылин. Мама, Надя и я, а также все остальные стояли у папиной постели. Софья Владимировна принесла от раки

* Намек на уход сестры Веры в монастырь.

преп. Сергия плат и положила ему на голову. Он тихо стал отходить, не метался, не стонал. Софья Владимировна встала на колени и начала читать отходную молитву, в это время отец как-то зажмурился и горько улыбнулся — точно видел смерть и испытал что-то горькое, а затем трижды спокойно вздохнул, по лицу разлилась удивительная улыбка, какое-то прямо сияние, и он испустил дух. Было около 12 часов дня, четверг, 23 января с. стиля. П. А. Флоренский вторично прочитал отходную молитву, в третий раз — я.

Мы молча стояли у его постели и смотрели на его лицо.

Отпевать его повезли в приходскую церковь Михаила Архангела, близ нашего дома. Отпевали его три иерея: священник Соловьев, очень добрый, простой, сердечный батюшка, Павел Александрович Флоренский и инспектор Духовной академии, архимандрит Иларион, будущий епископ; впоследствии он был сослан и по дороге в ссылку скончался в больнице. Отец при жизни часто у него бывал, они дружили.

Хлопоты по похоронам взяла на себя Софья Владимировна Олсуфьева, она достала разрешение похоронить его на Черниговском кладбище, среди могил монахов монастыря, рядом с могилой Константина Леонтьева, близкого по духу друга моего отца.

Свезли отца на дровнях, покрытых елочками, на кладбище в Черниговский скит. Там встретила его монашеская братия с колокольным звоном. Мама на кладбище не ходила, она оставалась дома.

Мы с сестрой Надей пошли после похорон к старцу, отцу Порфирию, в келью, он нас благословил, и мы вернулись домой.

После смерти отца мама вскоре написала сестре Але письмо с описанием кончины отца и с просьбой приехать к нам навсегда жить. Письмо написано 10 февраля, под диктовку сестрой Надей.

Милая, дорогая Шура!

О смерти не пишу, дети напишут. Он тебя *каждый день* ждал, за день до смерти перестал говорить о тебе. Умер, как христианин.

Смерть очень тихая, четыре раза приобщался, маслом соборовался, три отходных (прочитали молитвы. — *Т. Р.*) было, от Сергия Преподобного воздух положили на главу его, и он как бы заснул, улыбка светлая была три раза. Все делалось, и как делалось! Когда умер, ни копейки денег не было. И все было сделано. Таня все устраивала и хлопотала, и Надя тоже.

Как живем в Посаде, я ничего не знаю. Меня кормят, всем хозяйством распоряжаются дети. Только за больным я ходила день и ночь 2 месяца. Надя помогала переменять белье, оправить его, я не могла поднять.

Таня на службе. Надя готовит обед, печки топит, воду носит, труда обеим много.

Теперь все сочинения переписывает, письма папины, рукописи, обед готовят (три слова неразборчиво написаны. — *Т. Р.*).

Когда заболел отец, у меня стали с сердцем припадки.

Ты знаешь, как это неожиданно, — сейчас здорова, сейчас — умираешь. Ноги распухли. Я вижу, что свалюсь, попросила детей позвать священника, приобщилась и маслом соборовалась на ногах, и мне стало лучше. Сердце перестало болеть. И я выдержала смерть спокойно, и так рада, что такая кончина была без страдания.

За несколько часов до смерти я услышала слабое: «тоскливо», сказано с такой безумной, за душу щемящей тоской, как могут сказать только умирающие: — «Я умираю?». Я говорю: «Да, я тебя провожаю спокойно, только меня поскорее возьми к себе». Я опустилась на колени: «Прости меня за то, что я тебя не понимала, что я необразованный человек». Попросила перекрестить меня и простить за все. Перекрестил, и его последнее слово было: «Ты моя самая дорогая была, есть и мне жаль тебя оставлять». Потом не могла разобрать его слова...

Шура, дорогая, если ты можешь бросить свое имущество и приехать к нам. Обещать не могу, можешь ли ты заработок найти здесь. Я бы очень рада была, и дети не такие сироты были бы.

Я очень слаба, и мне хотелось бы на твоих руках умереть.

О голоде ничего не могу сказать. Таня с трудом находит, и молоко достаем — 50 рублей четверть. Прощай, дорогая. Целую крепко.

Ждем тебя скорее.

Не писала тебе, очень трудно, сердце болит. Слава Богу, что поправилась (подразумевается, относительно. — *Т. Р.*), но голод замучил. Таня чуть жива. Надя очень раздражительна.

Я все не верю, что его нет. Все смотрю в окно и жду его. Целые дни в ушах: «Мамочка, мамочка, дай папиросу». День и ночь просил: «Папироску, дорогая мамочка».

Это самое ужасное, — эти звуки слышать!

Целую, прижимаю, крещу, жду тебя очень.

Варвара*.

Мама надеялась умереть на руках старшей дочери Али, а она, бедная, пережила и дочь Алю и дочь Веру, и умерла 15 июня 1923 года, но об этом после.

---

* Так странно всегда подписывалась моя мать. — *Прим. Т. Р.*

Глава VI
Мысли об отце, его работах и об их судьбе

Отец происходил из священнического рода: прадеды его были священниками. Один из профессоров Духовной академии и пишет в книге «Сто лет Академии», что прадед «знаменитого писателя Василия Васильевича Розанова сильно пил». По-видимому, он был богатырского сложения, так как, когда приезжал архиерей проверять епархию, то чтобы задобрить его, духовенство ставило целое ведро водки. Таковы были нравы того времени. Отец мой ужасно боялся пьянства. У него с детства сохранились какие-то страшные воспоминания о попойках в их родстве и окружающей среде. У нас в доме никогда не покупалась водка, кроме случаев, когда заболевали дети, и их растирали водкой, разбавленной водой.

Мне бы хотелось, говоря об отце, описать его внешность, насколько я могу. Отец был невысокого роста, с узкими плечами, с довольно пропорциональной формой головы по отношению ко всей фигуре, лоб у него был очень большой, а на лице выделялся очень острый взгляд глубоко сидящих карих глаз с зеленоватым оттенком, смотрящих как бы и пристально и вместе с тем как-то рассеянно на мир. В старости лицо его стало красивее и значительнее. У него были очень характерные и интересные руки: пальцы были не длинные, но с очень выразительным окончанием, с выпуклыми крепкими ногтями, несколько утонченными к краям и как бы созданные для творческой писательской работы. Он сам писал в одной из своих книг, что прирожденный талант писателя сидит в кончиках пальцев. Приблизительно так выразился он. Ноги у него были небольшие, сам был очень живой и юркий, говорил всегда как бы про себя — скороговоркой и часто в шутливом тоне, а если о чем-нибудь спорил, то всегда сердито, раздраженно и убежденно, до того, что вставал из-за стола, топал ногами и даже убегал. Он был вообще очень экспансивен, жив, несдержан, но очень откровенен. Он никогда не притворялся, никогда не показывал того, чего в нем нет. Воспитанным человеком он не был. Это была бурная стихия, вне всякой литературы и формы. Но зато когда он писал, форма ему была присуща ранее того, чем он ее выразил на бумаге. В этом был залог особенностей его слога, на который обращали внимание все писавшие о нем, считая, что в этом была его гениальность. Даже в начале революции некоторые писатели полагали целесообразным открыть при брюсовском «Институте слова» отделение литературы, изучавшее его стиль.

Все сказанное о языке относится *ко второму периоду* его деятельности, когда он сблизился с Мережковским и другими литераторами и начал печататься в журналах «Мир Искусства», «Весы» и «Новый Путь»,

издаваемый П. П. Перцовым, а позднее и в «Золотом Руне». Тут-то он и выработал свой художественный язык, столь отличный от других писателей. За это время он издал книги: «В мире неясного и нерешенного» (СПб., 1904), «Около церковных стен» (Т. 1—2. СПб., 1906), «Итальянские впечатления» (СПб., 1909). Последняя книга явилась итогом впечатлений от поездки его вместе с матерью моей в Италию в 1908 году, куда врачи направили ее для излечения. Поездку субсидировал Суворин.

Как отец работал? Он никогда не исправлял, что напишет. Он писал сразу набело, мелким бисерным почерком. Прочесть его работу мог только один метранпаж в «Новом Времени», которого держал Суворин специально для Розанова. Поэтому рукописей у него сохранилось не так много, как у других писателей, так как я предполагаю, что не все рукописи отца возвращались из типографии. Перерабатывать свою статью он органически никогда не мог и отказывался. А если в редакции не нравились его статьи, то он писал совершенно новую... Переписывать свои статьи он также отказывался, боясь ошибок по своей рассеянности. Поэтому он иногда варварски поступал: вырезал из книг нужные ему цитаты. А если приводил их на память, то обыкновенно перевирал, в чем его часто упрекали. Но это не было следствием небрежности.

Некоторые статьи по политическим причинам не проходили в «Новом Времени». Василию Васильевичу было жаль своей ненапечатанной статьи, и он посылал ее в Москву в «Русское Слово» и другие газеты под разными псевдонимами: «Варварин», «Ибис», «Старожил», «Обыватель» и др. Почему он печатал под псевдонимами? Потому что он по договору с Сувориным не имел права печатать свои статьи в других газетах, так как состоял на жаловании в «Новом Времени» и кроме оплаты статей, он получал построчно. Но его интересовала не только денежная сторона, но и желание часто выразить свои мысли в более либеральном духе, чего не допускало «Новое Время». Суворин это знал, но смотрел на это сквозь пальцы. Вся же остальная пресса подняла невероятную шумиху вокруг этого дела. Называли отца «Иудушкой», предателем и всячески его поносили. А я считала и считаю, что это было хорошо. Он был шире и правого «Нового Времени» и «Гражданина», а также левой либеральной газеты «Русское Слово» и кадетской «Речи».

Теперь будем говорить о взглядах отца философских и политических на разных этапах его творчества. Начал он свою литературную деятельность под влиянием Страхова, Леонтьева и Данилевского; бывал он на литературных вечерах Николая Николаевича Страхова. Он был консервативно настроен, религиозен, но без всякого фанатизма. С церковью же его разъединял факт его незаконного брака с моею матерью, но тут еще не выявилось его резкое отношение к Церкви, и он очень страдал. На этом этапе волновали его и вопросы школы, так как до этого времени он

многие годы был учителем и знал трагедию в постановке школьного дела. Незадолго до этого он выпустил книгу «Сумерки просвещения». Книга чрезвычайно интересная, на мой взгляд, но написанная тяжелым еще языком, на что Страхов указывал и учил его писать вообще короче и яснее. Несколько позднее он встречается с Перцовым, издает книги «Религия и культура», «Природа и история». В 1901 году он сближается с Мережковским, с З. Гиппиус, с Минским, Бакстом, несколько раз на вечерах у нас бывал и Дягилев, приходил Бердяев, Вячеслав Иванов. Отец пишет статьи по искусству, о художниках и выставках. Этот период считается расцветом его творчества, он тут наиболее признаваем, его начинают провозглашать гением и сравнивать его с Ницше. Отец всегда смеялся: «Какой же я Ницше! Во мне ничего демонического нет!» Василий Васильевич выпускает книгу «В темных религиозных лучах». Эта книга была запрещена и уничтожена. Один уцелевший экземпляр этой книги был передан уже после революции в Государственную библиотеку им. Ленина. В этой книге была критика христианства и разбирался вопрос о связи религии с полом. Мережковский превозносил эту книгу. Отсюда началась его дружба с Мережковскими, а также положено было начало организации Религиозно-философского общества, где было стремление сблизить духовенство с интеллигенцией. К этому времени отцом была выпущена вторая книга, состоящая из двух частей. Первая книга «Темный лик», а вторая книга — «Люди лунного света». Эту книгу цензура пропустила, а она, между прочим, менее интересна, чем первая — запрещенная — «В темных религиозных лучах», но в ней более завуалирована главная идея о связи религии с полом и потому-то она была пропущена цензурой. В нашей семье очень не любили эту книгу, ни мама, ни я, ни старшая сестра, а Мережковские торжествовали, но отцу это было неприятно. Назревал какой-то надлом. Мама же очень не любила Мережковских и недовольна была сближением отца с ними, считала это удалением отца от Церкви и очень волновалась. Приблизительно в это же время отец выпустил книгу в двух томах под названием «Семейный вопрос в России» (СПб., 1903), собрав огромный материал по бракоразводному делу, опять пытался через чиновника Синода Тернавцева получить развод от Сусловой, но все это было бесполезно, она не дала развода. Но эти его работы оказали влияние на новое законодательство, облегчающее бракоразводные процессы. Отец рассказывал, что были случаи, когда сумасшедшего мужа заставляли жить с нормальной женой и обратно. В это же приблизительно время он подает на высочайшее имя государю просьбу об узаконении его пятерых детей, указывая на то, что он не принадлежит к потомственному дворянству, а получил личное дворянство по окончании высшего образования. Мы были узаконены и получили отчество и фамилию отца. Положение же матери оставалось неиз-

менным, поэтому отец, когда писал «Опавшие листья» и «Уединенное», называл мать «Другом» — он не мог назвать ее официально женой. Но какое огромное значение она имела в его жизни, приведу цитату из «Опавших листьев» (короб 1, стр. 11):

> Если бы не любовь «друга» и вся история этой любви, как обеднилась бы моя жизнь и *личность*. Все было бы пустой идеологией интеллигента и верно скоро бы все оборвалось бы.
>
> ...О чем писать?
> Все написано *давно* (Лермонтов).
>
> Судьба с «другом» открыла мне бесконечность тем и все запылало личным интересом.

А также приведу его отзыв об отношении к матери (короб 2, стр. 16). Отец, говоря о своей книге «Уединенное», писал, что она явилась

> как попытка выйти из-за ужасной занавески, из-за которой не то чтобы я не хотел, но не мог выйти.
>
> Это не физическая стена, а духовная — и как страшнее физической.
>
> Отсюда же и привязанность или вернее какая-то таинственная *зависимость* моя от «друга»... В которой одной я сыскал что-то *нужное* мне... тогда как суть «стены» заключается в «не нужен я — и не нужно мне»...
>
> ...(задыхаюсь).
>
> А между тем, во мне есть «дыхание». «Друг» и дал мне возможность дыхания. А «Уединенное» есть усилие расширить дыхание и прорваться к людям, которых я искренно и глубоко любил.

Будем же теперь говорить более подробно о политических его убеждениях. Первый период его жизни, когда был жив еще Страхов, он был спокойно-консервативно настроенный человек. При сближении с Мережковскими он начал незаметно леветь, а в 1904—1905 годах он поддался общему революционному настроению общества, так как он сам прожил трудную жизнь, знал нищету и голод и с этой стороны сочувствовал бедному люду. Отсюда вытекли его статьи, окрашенные революционным духом, которые затем вошли в его книгу «Когда начальство ушло» (СПб., 1910). Но это был недолгий период в его жизни. Затем он очнулся, посмотрел вокруг себя, увидел богатую, сытую кадетскую прессу, самодовольную и очень далекую от народных нужд, и повернул вспять. В это время он дважды издал книгу «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову». Одну из них в 1913 году. В это время мать моя продолжала сильно болеть. Летом отец с матерью уехали в Бессарабию в имение Апостолопуло к своим друзьям: отец очень в плохом душевном состоянии, мать

больная; отец дружит с самой помещицей, которая настроена крайне консервативно и враждебно к евреям, так же как и ее друг. Они указывали отцу на эксплуатацию помещиков евреями и скупку ими по дешевым ценам хлеба у помещиков. Вот тут начинается поворот отца от интереса его к иудаизму к сугубо национальным русским интересам. Здесь он пишет книгу под названием «Сахарна» (так называлось их имение), подготавливает ее к печати, но начинается война 1914 года, и книга не появляется в печати. Единственный сброшюрованный экземпляр был передан в 50-х годах в Государственный литературный музей. Книга была местами очень интересная, в ней были оригинальные афоризмы, но в целом очень мне не нравилась.

«*Все хорошо.*
Оттого я так жизнерадостен,
Что много страдал.
Оттого я люблю радости, что они были редки.
4 июня 1913 г.

«Вечное солнце течет в моих жилах
И томит и зовет
И наполняет счастьем
.........вот отчего я пишу.
И земля и грязь здесь
И холод» (на обрывке корректуры).

«Мимолетное» В. В. Розанов
(рукопись была продана Гржебину. Куда она потом девалась — неизвестно).

«Что же победит — буря победит покой,
Или покой победит бурю? Буре — час
Покою — вечность.
— Хитрый бес подсказал,
но буря занимательнее покоя
(Я!)
Зачем о победе? Зачем о борьбе.

Каждый ложится в свое *место* и в свое *время*
Бог мудрее человеков и дал миру бурю и покой.
(ночью в постели)
20/X-1915?

Из «Мимолетного»:
30.IV.
«Всякое определение есть сужение. (философия)
И определять не нужно.

Пусть мир будет неопределенен
Пусть он будет свободен.

Вот начало хаоса....
Он так же необходим, как разум и совесть.

Живем и горим
Живем и питаемся
«С утра подметвют»,
А к вечеру смотришь — везде сор.
Этот сор — наша жизнь.
Разве она плоха?

24.V.
В минуте иногда больше содержания, чем в годе.
А когда приходит смерть, то в ее минуте столько
Содержания, сколько было во всей жизни.
«Что же *такое* время? И *час, год, неделя* —
(у Филиппова за кофе).

5.VIII.
«Только те люди счастливы, которые не думают о себе.
Зато это самый прочный вид счастья.
Его не ест червь, не попаляет огонь».
(конка).

20.X.
«Дана нам красота невиданная
И богатство неслыханное.
Это – РОССИЯ

Но глупые люди все растратили.
Это – РУССКИЕ.

В это же примерно время началось крупное дело Бейлиса, в обсуждении которого приняла участие как русская пресса, так и западная. Обсуждался вопрос — возможно ли ритуальное убийство в наш цивилизованный двадцатый век? Общество разделилось. Розанов и очень немногие утверждали, что возможно; большинство же отрицало это. В это время, озлобленно настроенный, мой отец выпустил очень резкие брошюры и книги против евреев, что заставило Религиозно-философское общество отмежеваться от него и исключить его из членов этого общества. Этот поступок отца был для него роковым. Он остался почти в одиночестве и замкнулся в себе. Статьи его почти перестали печататься и положение его резко изменилось. Тут началась война 1914 года, отец писал приподнято-патриотические статьи, печатал их в газете, а потом

они вошли в книгу «Война 1914 года и Русское Возрождение» (Петроград, 1915). Там было очень много интересных страниц, но в целом она, может быть, звучала и неверно.

В 1915 и 1916 годах жизнь была очень тяжелая и материально и морально в нашей семье. В 1916—1917 годах отец мой стал издавать по выпускам книгу «Из восточных мотивов», посвященную древнему Египту (вышло три выпуска, четвертый был подготовлен). Еще задолго до издания он просиживал многие часы в Эрмитаже, срисовывая древнеегипетские изображения. У него составился огромный альбом с этими рисунками, который в 1947 году Сергей Алексеевич Цветков продал для нас, кажется, в библиотеку им. Ленина, — не помню точно. Выпуски эти печатались на роскошной бумаге верже, которую отец закупил для издательства «Сириус» и надеялся издать большую работу. Он сделать этого не смог. Наступила революция, и отец продал эту бумагу известному издателю Сабашникову.

В 1917 году, в сентябре месяце, мы, как я уже говорила, по семейному совету переехали в Троице-Сергиев Посад, где отец прожил недолго, всего два года — он умер в 1919 году 23 января (по старому стилю), 5 февраля по н. с., как указывала З. Н. Гиппиус в своих работах, изданных за границей.

За время жизни в Троице-Сергиевом Посаде отец издал в десяти выпусках «Апокалипсис нашего времени» у местного издателя Елова. Книга эта была запрещена и уничтожена.

Я уже говорила о том, что в годы 1913—1917 Василий Васильевич был настроен чрезвычайно против евреев, о чем он писал в своих работах. Но в самой последней его работе 1918 года «Апокалипсис нашего времени» эта нота уже не звучит.

Он задумывается о судьбах России и уже многие трагические явления в нашей жизни объясняет не еврейским влиянием, а некоторыми национальными особенностями русского народа. В разговорах с нами он отмечает хорошие семейные устои еврейского народа, его таинственную живучесть в истории, а кроме того, чувствуя приближение смерти, он ищет примирения со всеми людьми земли, о чем говорят его предсмертные письма.

Приложение I

О нумизматике писателя Василия Васильевича Розанова

Мой отец, Василий Васильевич Розанов, много лет собирал монеты. Мысль о собирании монет появилась у него в 1880 году. Я же лично помню его работу над монетами в течение многих лет. Он садился часов

в 12 ночи за письменный стол, начинал разбирать монеты, любоваться ими, рассматривать в лупу отдельные детали монет. Сверял по каталогам, записывал на маленькие этикеточки, которые он вкладывал в картонные коробочки, оклеенные зеленой бумагой; каждая коробочка соответствовала размеру монет.

Шкаф был размером приблизительно в два метра в вышину и два в ширину. Затем отец задумал составить опись монет, к этому его побудил П. А. Флоренский, с которым он много беседовал о монетах (как видно из письма редактора журнала «Вешние Воды» — Спасовского).

Некоторые любимые монеты отец старался срисовать, для чего пригласил Татьяну Николаевну Гиппиус, сестру З. Н. Гиппиус. Она очень хорошо это делала, и у нее было собрано много рисунков, — куда девалось все это, не помню. Это было любимое занятие моего отца, над ними он отдыхал, он любил размышлять о древнем мире, о языческих культах, всматривался в лица римских императоров, делился даже с нами, детьми, своей любовью. Занимался монетами до 4—5 часов утра, вставал затем в 5 часов утра, а днем спал еще два часа, и тут его нельзя было будить, детей всегда уводили в это время гулять, чтобы не мешали спать.

Отец был такой известный нумизмат, что в. к. Сергей Александрович приглашал его посмотреть его коллекцию. Отец осмотрев ее, сказал, обращаясь к в. к.: «Ваше высочество, моя коллекция больше и богаче» («и интереснее по содержанию вашей») — так добавил он в кругу семьи, когда рассказывал нам о посещении дворца.

Эта любимая его коллекция погибла катастрофически после революции. Летом 1917 года мы переезжали на другую квартиру на Шпалерную улицу и шкаф с монетами поместили на хранение в склад. Вскоре я уговорила отца вынуть золотые монеты и взять их домой. Он их поместил в сейф Главного Государственного банка, а потом банк выехал в Нижний Новгород. С тремя золотыми монетами отец никогда не расставался, всегда носил их в кармане брюк, все их рассматривал. Когда после революции из Троице-Сергиева Посада он поехал в Москву во время голода и заснул на вокзале, их у него украли, или он их потерял. Он не мог никогда этого забыть, и это сильно на него подействовало.

С остальными монетами случилось вот какое несчастье: в складе от разницы температуры разбухли пазы шкафа и коробочки с монетами сместились; таким образом работа всей его жизни погибла — научную ценность она потеряла, надо было снова ее определять, а это было невозможно, это была работа всей жизни. В шкафу были серебряные и медные монеты; часть серебряных монет сложили в ящик и в голодовку в 1920 году продали в Исторический музей. Денег, которые мы получили за эти монеты, хватило на два килограмма сливочного масла и на то, чтобы заплатить за квартиру. Остальные золотые монеты, которые бы-

ли в сейфе Государственного банка, мы хотели спасти для науки и хлопотали уже после смерти отца, чтобы монеты не расплавили, а отдали бесплатно в музей. Ездила я сама в Москву в Наркомпрос к Троицкой, но коллекции этой не нашли и документы вернули.

После продажи части монет в 1920 году Историческому музею большую часть серебряных и медных монет мы отдали на сохранение знакомым, так как переезжали на новую квартиру и такое количество монет нам было негде хранить, а от покупки этих монет учреждения отказались. Так они пролежали в разных местах до декабря 1947 года, когда были проданы сестрой Надей в частные руки — одному армянину. Тогда мы получили значительную сумму денег, которые нас очень поддержали, так как сестра Надя тяжко заболела вскоре и лежала в больнице.

Приложение II
История хранения архива В. В. Розанова

В 1917 году архив В. В. Розанова оставался в пустой квартире профессора Зорина в Ленинграде. Мною был оттуда вывезен в 1918 году и привезен в Троице-Сергиев Посад (ныне именуемый г. Загорск). В 1943 году, во время блокады Ленинграда, часть архива находилась у сестры — Надежды Васильевны Верещагиной в Ленинграде. Сестры не было в городе, когда была сброшена немцами бомба и разрушила часть квартиры. Архив же сохранился и пролежал в пустой квартире до 1947 года, откуда вывезен сестрой Надей в Москву и помещен в Государственный литературный музей.

Часть архива еще при жизни отца была сдана им в Имп. Публичную библиотеку Петрограда (главным образом письма писателей). В 1947 году мною и Надей в библиотеку им. Ленина были сданы письма писателя П. П. Перцова, В. А. Тернавцева, письма протоиерея Устьинского, фотографии Нестерова, Л. Толстого, Перцова, философа Шперка, письма отца к матери за всю жизнь, письма отца ко мне и рукопись его «Апокалипсис нашего времени»; была продана тогда же в б-ку им. Ленина. 1958—1959 гг. после смерти сестры Н. В. Верещагиной, часть оставшегося архива семейного была сдана мною, — Т. В. Розановой, в Государственный литературный музей в Москве, на Якиманке, *безвозмездно*, к письмам сделаны мною примечания.

В 1956 году, после смерти сестры Нади, по ее устному завещанию, все ее графические работы, а также работы ее второго мужа, Михаила Ксенофонтовича Соколова, были переданы ее подруге, Елене Дмитриевне Танненберг. Кроме того, все книги по искусству, которые собирали мой отец, моя сводная сестра, Александра Михайловна Бутягина, и сестра Надя, также были переданы Елене Дмитриевне Танненберг по желанию сестры Нади.

Глава VII
Смерть сестер Веры и Али. Кончина матери

Мама со смертью отца очень изменилась, очень ослабела, у нее опухли ноги, и она почти не могла ходить. У нее стало какое-то остановившееся, притупленное выражение лица, как будто она уже более не могла выносить горя. Она уже ни во что не вмешивалась в хозяйстве и ни на что не реагировала, все взяли в руки мы с сестрой.

Вскоре материально стало легче, в это время откуда-то, с разных концов пришли деньги. Софья Владимировна Олсуфьева навещала нас, звала и меня к себе, и я стала бывать у них. Удивительный случай был у меня с Софьей Владимировной. Как-то, еще до смерти отца, она подарила мне небольшую иконку «Утоли моя печали», и вот ее мы положили в гроб отцу, а когда хоронили отца, – то это был как раз праздник в честь этой иконы. Тогда Софья Владимировна мне об этом сказала: «Какое удивительное совпадение!».

Продолжаю рассказ о маме. По письму матери видно, как тосковала она и ждала старшую дочь. Сестра Аля откликнулась на зов матери и тотчас приехала, бросив имущество и квартиру на попечение знакомых. Мы очень обрадовались ее приезду, но огорчились, что она приехала со своей подругой Наташей Вальман. Мы огорчились потому, что не знали, как же мы все проживем, да и мама не очень ее любила. Но потом все образовалось. Она была более сильная, чем мы, помогала пилить и колоть дрова, но все же было очень и очень трудно.

Сестре Вере мы послали письмо о смерти отца, а Варю не могли известить, так как сообщение с Украиной было прервано.

От Веры скоро пришло очень скорбное письмо с извещением, что она может к нам вернуться из монастыря, без всяких подробностей. Что случилось, мы не понимали. Вскоре она к нам приехала.

Она произвела на нас очень тяжелое впечатление, была какая-то убитая, объясняла свой приезд в отчий дом очень спутанно, чувствовалось, что она что-то недоговаривает. Мы знали, что в последнее время она была учительницей при монастыре. При отъезде ей дали довольно значительную сумму денег, как бы плату за ее труд, она нам ее торжественно отдала, не понимая хорошенько, что на эти деньги в то время ничего нельзя было купить. Она сильно кашляла и до странности была голодна. Когда мы перед ней поставили горшок ржаной каши, очень противной на вкус, без масла, она весь его съела, значит, была истощена до последней степени. Позвали врача. Он установил вновь вспыхнувший туберкулез легких, назначил лечение, но это не могло помочь при тех ужасных условиях жизни, которые в то время были у нас. Сестра Вера производила очень странное впечатление, говорила о каких-то страш-

ных грехах, что она обречена на погибель. В довершение нашего несчастья мы все поехали как-то в Хотьково, в церковь, где были похоронены родители преп. Сергия. По дороге в храм мы встретили странную женщину, по виду монашку, которая что-то страшное сказала Вере. Она совсем была потрясена. Что-то еще с ней приключилось в храме, мы подумали, не сошла ли она с ума. Когда мы вернулись из Хотьково, ей сделалось еще хуже. При ней была неотлучно сестра Аля, потом стал приходить к ней Сергей Николаевич Дурылин, в то время он был очень набожен, говорил с ней неосторожно, больше запугал ее, чем облегчил ее душевное состояние. Ей всюду мерещились бесы, она боялась их, говорила о самоубийстве. Мы как-то не верили ей, но сестра Аля очень боялась за нее и была при ней неотлучно.

Когда сестра Вера была еще на ногах, она пошла к о. Порфирию, он временно утешил ее, сказал ей, чтобы она занялась рукоделием, она стала вышивать, ей стало легче, но временно, затем она совсем слегла. К ней часто для бесед приходил Сергей Николаевич Дурылин.

В 1919 году, летом, в Троицын день, к нам пришел Сергей Николаевич Дурылин и принес читать свой только что написанный рассказ «Странница». Рассказ этот был посвящен одной жене священника, которая мучилась такой невыразимой тоской, что ушла навсегда из дому странствовать... Рассказ был печальный и странный, написан хорошо. Вера в Сергея Николаевича впивалась глазами. Все молча разошлись спать.

На другой день, рано утром, сестру Веру нашли на чердаке повесившейся. Надя первая увидела ее, и после этого заболела душевно, и с тех пор совсем изменился у нее характер, она стала очень нервной. Я увидела сестру Веру уже только в гробу. Лицо у нее было удивительно спокойное и красивое — какое-то умиротворенное.

Церковь ее разрешила хоронить, так как священник нашел ее душевнобольной и разрешил предать земле по церковному обряду. Похоронили ее уже без звона, в том же Черниговском монастыре, рядом с могилой отца. На другой день пришло роковое письмо от игуменьи монастыря Евфросинии, письмо ее ласковое, полное обещаний через некоторое время взять ее обратно в монастырь, чего сестра очень хотела, тосковала о монастыре и о матушке и ждала этого письма ужасно.

...Кто знает, если бы письмо не запоздало на один день, может быть, ничего бы и не случилось. Рок.

❖ ❖ ❖

Сестра Аля очень винила себя, ведь она каждую ночь ходила смотреть, как Вера спит, она боялась за нее, а тут в первый раз, усталая, не пошла ее навестить.

Надя была в таком ужасном состоянии, что решили отпустить ее к подруге, — Лидии Доментьевне Хохловой, в их имение под Петроградом. Нас дома оставалось четверо — мама, я, сестра Аля и Наталья Аркадьевна Вальман. Жить после катастрофы с Верой в этом доме стало невозможно. Мы начали хлопотать о переезде куда-нибудь в другой дом; было мало денег, мало сил и огромная, громоздкая обстановка. Тогда мы стали думать о квартире в монастырских домах, в то время они уже были в ведении исполкома.

Мы стали просить у секретаря исполкома, который еще в старое время был знаком с моим отцом по своей жене. Нас пожалели, выпросили ордер на освободившуюся квартиру в 4-ом доме советов по Переяславской улице. На парадной двери стояли красные печати; потом эти печати много нам портили в жизни потому, что думали, что мы были когда-то арестованы.

Шел 1920 год. Сестре Але наконец-то удалось устроиться на работу в Электротехническую академию секретарем. В то время Духовная академия была закрыта, а в ее помещение въехало военное учреждение из Петрограда. Сестрой на работе были очень довольны, у нее был хороший военный паек, я в то время работала в библиотеке городской, а Наталья Аркадьевна тоже устроилась в частную гимназию Цветковой преподавать русский язык. Мы кое-как кормились. От Вари пришло первое письмо, там установилась Советская власть; дядя сильно болел, и сестра Варя выразила желание вернуться домой. На этом очень настаивала и сестра Аля.

Летом 1920 года я работала сначала в бывшей кооперативной библиотеке, переведенной в главные ряды нашего города. Библиотека была хорошая, в нее влилась частная библиотека Дмитриевской. Но летом случился пожар. Загорелись главные святые ворота Лавры от маленьких лавчонок, ютившихся возле Лавры. Был ветер, и огонь перенесся через всю площадь, и загорелись центральные торговые ряды на площади и наша библиотека. Была вызвана милиция и пожарная команда, тушили усердно. Часть книг была спасена, но библиотека закрылась, и я перешла работать в Упрофбюро на культурную работу по организации клубов. В это же время по совместительству я начала работать машинисткой в Электротехнической академии, куда меня устроила в свою канцелярию сестра Аля. Потом я совсем ушла из Упрофбюро и работала только в академии.

В это же время вернулась и Надя от Хохловых и поступила в детскую библиотеку работать, получала грошовое жалованье и крошечный паек. Мы с трудом сводили концы с концами. Меняли вещи, сажали картошку на огороде близ Лавры; одна комната была полностью завалена картошкой. Всего труднее было с дровами. На нашу квартиру в четыре комнаты

нужно было доставать 4 кубометра дров. Надо было идти в лес пилить дрова, чтобы внести их в жилуправление на центральное отопление. Комнаты нагревались зимой только до 4—5 градусов тепла, вода стыла и почти замерзала в комнатах. Осенью я и Надя, вместе с нанятым рабочим, ходили в лес валить деревья.

Сестра Аля не выдержала этой жизни, она стала болеть. Раз она решила от службы идти на субботник в лес, собирать сучья, и как я ее ни умоляла не ходить, она не послушалась и пошла в лес. После этого она заболела и слегла. В квартире был ужасный холод — два градуса тепла. Сестра переехала в кухню, устроили там времянку, она дымила немилосердно.

Помню вечер. Вдруг Аля подняла голову с подушки и воскликнула: «Вот, вот, сейчас я видела бабушку и дедушку, они меня зовут к себе». С этих пор сестра Аля стала говорить о своей близкой смерти, у нее был все время жар, и болела сильно голова, нашли у нее паратиф. Ей выхлопотали комнату в гостинице, где жили служащие Электротехнической академии и было несколько теплее, а у нас стоял настоящий мороз в квартире. Она жила там с подругой Натальей Аркадьевной.

Аля не спала по ночам, очень болели все суставы, и была крайне раздражительна и до странности стала недоверчиво относиться к нам. Наталья Аркадьевна все ночи напролет читала ей Тургенева, которого сестра так любила. Потом знакомые устроили ее в бывшую земскую больницу. Она находилась на окраине города, грязь там была непролазная, но сестра Надя, несмотря на ужасную дорогу, через день ходила навещать сестру Алю и приносила ей четверть молока. Сестра пила только одно молоко, есть ничего не могла, небольшая температура все держалась. Врачи не определяли ее болезни, не могли понять, что с ней. Она просила ее взять из больницы, и Флоренский устроил ее в Красный Крест, где была богадельня для престарелых сестер войны 1914 года. При богадельне была больница и церковь, где он был священником.

Помню, последний раз я пришла к ней перед Рождеством, в обед с работы, принесла ей два платка вязаных — один белый, другой черный, на выбор. Она взяла белый, была очень ласкова со мною, улыбнулась печально на прощание. У меня сжалось сердце, — на лице сестры Али проступали черные зловещие пятна; я поняла, что жизнь ее держится на волоске. Мне не хотелось от нее уходить, но надо было идти на работу. Вечером все были усталые, и никто к ней не пошел. А за это время вот что произошло. К ней пришла одна старушка, очень экзальтированная и говорливая, и стала говорить Але, что врачи земской больницы обижены на нее, что она самовольно уехала из больницы. Сестра Аля очень взволновалась, с ней сделался сердечный припадок, и вечером она

скончалась. К нам пришли только утром сказать о ее смерти и рассказали, как было дело.

Только за несколько дней до ее смерти нашли у нее туберкулезные палочки в почках и вообще общий миллиарный туберкулез. Спасти ее уже нельзя было. Тот случай только ускорил ее смерть.

На службе к сестре очень хорошо относились, уважали ее и любили. С ее службы нам выдали денег на похороны. Отец Павел Флоренский отпевал ее в церкви Красного Креста. Ее начальник присутствовал при ее отпевании — он очень ее уважал.

В гробу она лежала удивительно розовая. Мы страшно испугались: во время заупокойной литургии службу остановили, по церкви пошел шепот, что, может быть, это не смерть, а летаргический сон. Гроб оставили стоять еще на одну ночь. Врач был молодой, еще неопытный и не знал, что смерть от сердца дает такие явления. Ее отпевали на другой день и похоронили в Черниговском скиту, рядом с отцом и сестрой Верой. Ей было 40 лет. Умерла она 20 декабря 1920 года (по старому стилю).

При жизни Александра Михайловна очень горевала, что Варя на Украине, она написала ей письмо, чтобы Варя приехала. Та приехала весной 1921 года, уже не найдя сестры в живых. Мы остались жить впятером: мама, Варя, Надя, Наталья Аркадьевна и я.

Рождество прошло очень тяжело. Наталья Аркадьевна очень изменилась, вся опухла, потому что не спала почти все ночи с больной сестрой, и когда Аля умерла, сказала, что не сможет с нами жить и уедет в Ясную Поляну, где знакомая предложила ей работу.

Меня это совсем убило, я чувствовала нашу полную беспомощность, умоляла ее остаться с нами, но она не согласилась. Мы ей дали немного денег, отдали ей хороший небольшой кожаный папин чемодан и все рукописи покойной сестры Али. У нее было написано несколько рассказов, которые были некогда напечатаны в «Русской Мысли» — «Вечернее», «Безликое» (из жизни в Ельце) и «Сиреневое платье» (последний рассказ в духе Мопассана). У Али еще был написан большой роман о жизни художника, в нем было описано самоубийство девушки, как бы в предчувствии смерти сестры Веры. Я этот роман не читала — он еще не был напечатан. Теперь я так раскаиваюсь, что отдала эти рукописи Наталье Аркадьевне. Они наверное пропали. Наталья Аркадьевна снова вернулась к нам уже в 1938 году, но ее не удалось прописать, и она уехала. Она была какая-то странная, в ней было что-то очень неприятное, и я уже была рада, что она уехала. Про рукописи сестры она молчала, мы не спрашивали... боялись, что она будет нам что-нибудь лгать и задержится у нас. Больше я ее не видела, а сестре Наде она писала дикие письма, сестра ей не ответила. Так печально кончился этот эпизод. Она сыграла

в нашей жизни и положительную роль, и отрицательную, так как совсем не подходила к нашей семье. Я с печалью вспоминаю о ее жизни у нас. Папа с мамой ее очень не любили и еле терпели; с нами она была хороша, но старалась нас отдалить от родителей и скептически к ним относилась. Она вносила раздвоение в нашу семью, и было много в этом горечи, но в ученье она нам помогала, и сестра Аля ее любила.

В 1920 году, как я уже говорила, Надя работала в детской библиотеке, а затем и Варя в 1921 году поступила в качестве воспитательницы в детский дом, но проработала там недолго, получилась с ней глупая история. Варя, гуляла с детьми решила летом искупаться с ними, а потом вздумала в рубашке танцевать «à la Дункан». В это время, к несчастию, проезжал мимо заведующий отделом народного образования — крупный партийный работник Смирнов. Увидев такую сцену, он ужаснулся, решил, что это полный разврат, и Варю уволили. Я же продолжала служить в Электротехнической академии.

В это время нам была некоторая помощь, посылки из «Ара» посылали маме, как вдове писателя. Америка снабжала русскую интеллигенцию белой мукой, сахарным песком, какао, смальцем. В это же время мы с Надей поступили в Педагогический техникум, там читали лекции: П. А. Флоренский по математике, Иорданский по внешкольному образованию, Наталья Дмитриевна Шаховская* — по истории края, по библиотечному делу — Попов.

Наталья Дмитриевна Шаховская была женой Михаила Владимировича Шика. Познакомились мы с ними в Троице-Сергиевом Посаде в 1920 или в 1921 году. С ними жил маленький сын Сережа и сестра Наталии Дмитриевны — Анна Дмитриевна Шаховская. Жили они на Березовом бульваре рядом с нашей Полевой улицей и я там часто бывала, особенно после смерти мамы. У них часто бывал Сергей Павлович Мансуров с женой Марией Федоровной. Домик был деревянный, маленький, уютный, из трех-четырех комнат с кухонькой. Они его арендовали. К ним еще приходила старушка-поэтесса — Варвара Григорьевна Мирович. Она очень любила эту семью и занималась с Сережей. Михаил Владимирович Шик поступил вскоре в музей и работал там вместе со мной, а когда в 1929 году произошла смена руководства Троице-Сергиевского художественного музея, М. В. ушел оттуда и стал заниматься переводами. Наталья Дмитриевна одно время работала в Третьяковской галерее экскурсоводом-лектором по живописи 19 века. Потому потом у нее заболело серьезно горло и она перешла на литературную работу, писала книги для юношества. Она написала книгу о Фарадее, об Амундсене, ко-

* У нее была написана работа «В монастырской вотчине XIV—XVII вв. (Св. Сергий и его хозяйство)».

торые имели успех и быстро разошлись, но не переиздавались до 1968 г., когда была вновь выпущена книга о Фарадее под другим заголовком и с некоторыми неудачными, на мой взгляд, сокращениями. Летом у них живала мать Михаила Владимировича – Гизелла Яковлевна. Они им помогали материально, так как жить им было очень трудно. Но они никогда не унывали, никогда не жаловались, особенно Наталья Дмитриевна. Она была полна энергии и доброжелательства к людям. Такая же кроткая, смирная и скромная была Анна Дмитриевна Шаховская. Она жила то с матерью в Москве, то у Шиков, ездила в Дмитров на работу в краеведческий музей.

Михаил Владимирович был крещеный еврей, отличался глубокой религиозностью, но это была религиозность не отвлеченная, а деятельная, всегда направленная на помощь людям. Семья их увеличилась – родилась сначала дочь Маша, потом сын Митя. В это время Михаил Владимирович стал священником по благословению митрополита Петра. Сначала его посвятили в диаконы в Москве, – на этом посвящении я присутствовала. Священником он впоследствии служил в Соломенной сторожке в Москве. Тогда у них было уже пять человек детей. В 1937 году его арестовали и сослали. Наталья Дмитриевна осталась с детьми жить в Малоярославце, где им кто-то отдал долг и они смогли купить домик. Я их потеряла из виду, так как жизнь моя была тяжелая, ездить куда-нибудь из Загорска я не имела средств. Но я знала о них от Анны Дмитриевны, которая жила с матерью на Зубовском бульваре в Москве. Одно лето, когда я очень нуждалась, жила у них на даче, помогала по хозяйству, гуляла с детьми. В Малоярославце я была у них только раз вечером. Знаю только, что Наталья Дмитриевна ездила в 1939 году к Михаилу Владимировичу в ссылку в Казахстан, и очень была рада, что виделась с ним. Через год М. В. скончался, о чем им сообщили. В 1942 году, когда я их совсем потеряла из виду, я узнала, что Наталья Дмитриевна сильно заболела в Малоярославце, так как при наступлении немцев к Малоярославцу они бежали в какую-то ближайшую деревушку и жили в очень стесненных обстоятельствах. Ее привезли в Москву в больницу, где она и умерла в мучениях от туберкулеза горла. На похоронах ее я не была. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище, недалеко от церкви. Дети остались с бабушкой, Анной Николаевной Шаховской, и тетушкой – Анной Дмитриевной Шаховской. Она их воспитала. Дети Шиков все живы, получили высшее образование и трудятся. Глубокий старик – отец Натальи Дмитриевны, – был арестован во время войны в 1942 году, сослан и погиб в ссылке. У него была серьезная, интересная работа о Чаадаеве. Его жена, Анна Николаевна Шаховская, умерла после войны. Шаховской посмертно был реабилитирован.

❖ ❖ ❖

Друзьями Василия Васильевича Розанова я считаю П. А. Флоренского, который жил с семьей в Сергиевом Посаде, и Сергея Алексеевича Цветкова, который жил в Москве. Сергей Алексеевич Цветков уже после смерти отца моего, в 1922 году женился на Зое Михайловне. У них была дочка Ира, которая родилась еще до смерти моей мамы. Когда моя мама умерла, они принимали участие в ее похоронах. Зоя Михайловна выбрала место для могилы, жили они тогда трудно. Зоя Михайловна только начала изучать английский язык, а впоследствии стала известным профессором, автором учебников по английскому языку.

Когда я лежала в больнице в 1923 году и мне делали операцию, она, несмотря на то что была замучена жизнью, навещала меня, приносила мне вкусную еду. Они жили тогда неподалеку от Преображенской заставы.

С. А. Цветков издал рукопись Одоевского в 1913 году — «Русские ночи». Он был большой знаток русской литературы. Папа всегда считал его очень умным человеком. Он писал в «Опавших листьях» — «кого считаю умней себя, так это Флоренского и Цветкова». Сергей Алексеевич очень тонко умел подмечать разные стороны жизни, чувствовал маленьких людей, умел изображать их — у него был артистический дар и он в молодости, как сам мне рассказывал, играл на сцене в любительских спектаклях. Он был из Тифлиса. Знания его были огромны. Где, что, когда и при каких обстоятельствах было написано — он все знал. Память у него была замечательная. Но здоровье у него было плохое и поэтому он был в жизни вялый. В начале двадцатых годов он работал в какой-то научной библиотеке, затем ушел и всю жизнь был на пенсии. К тому времени у него уже была большая семья — трое девочек.

Я всегда приезжала в Москву из Загорска, останавливалась у них. Зоя Михайловна была на работе, я ее мало видела, а больше разговаривала с Сергеем Алексеевичем. Он мне советовал, какие книги читать. Он помог нам сдать архив отца Бонч-Бруевичу в Литературный музей. Тогда же были сданы 12 больших папок с вырезками статей папы из «Нового Времени». Сохранились ли они — не знаю. Жила я у них одно время, году в 1935, месяца четыре, — я не могла устроиться на работу, они меня взяли к себе.

Такими же близкими, как Цветковы, были мне Воскресенские, семья доктора Воскресенского. Жили они при Сокольнической больнице. Я у них тоже часто жила, гуляла с их детьми, они мне всячески помогали. Александр Дмитриевич Воскресенский был известный в Москве детский врач, одно время был заведующим больницей. Затем его, неизвестно за что, арестовали и он был в трудовых лагерях на Беломорканале. Через

четыре года его вернули и он опять работал при больнице. Умер он девяносто одного года, почти до последнего времени работая консультантом. Похоронен он на Немецком кладбище, там же, где его родственники. Был он домосед, немножко с чудачеством, с ярким живым языком, по характеру — бытовик, очень любил Лескова. Был истинно русский человек, любил все русское, был большой патриот.

Жена его по характеру была полной противоположностью своему мужу. Очень живая, общительная, предприимчивая, знает 8 языков, по-французски говорит лучше, чем по-русски. В одном муж и жена сходились — они были очень отзывчивы к чужому горю и всем старались помочь. Замечательно чувствовала искусство Лидия Александровна, все красивое, интересное она стремилась выявить в жизни. Собрала прекрасную библиотеку по искусству. Дети ее сейчас уже все работают в разных областях науки. Их семья была очень близка с семьей Фаворских, как родные.

Я же Фаворских знала издали, больше через своих друзей — Флоренских и Воскресенских. Помню только, как Владимир Андреевич Фаворский случайно встретился со мной на посмертной выставке моей сестры Нади, устроенной в доме литераторов в 1957 году в марте месяце. Мы вместе ходили. Ему очень понравились Надины иллюстрации к «Грозе» — Кабаниха, и Кай в «Снежной королеве». Еще две выставки Надиных картин в Москве были устроены в Центральном доме работников искусства в мае 1959 года и в музее Достоевского зимой 1961 года.

Лидия Александровна Воскресенская до сих пор мой самый близкий и дорогой друг, так же как и ее дочь Ника Александровна.

В Петербурге близкими друзьями отца были Евгений Павлович Иванов и Валентин Александрович Тернавцев. Последний был крестным отцом моей сестры Нади и очень любил ее. Он бывал у нас днем, бывал и воскресными вечерами. Он принимал большое участие в Религиозно-философских собраниях. З. Н. Гиппиус отзывалась о нем как об очень умном и интересном ораторе, нашедшем какой-то новый, особый путь понимания Нового Завета, отличный от Розанова и Флоренского. Впоследствии он писал работу «Толкование на Апокалипсис», говорили, что это очень интересная работа, но я не пыталась о ней узнать, так как тема эта была мне чужда. Дочь его отдала черновик в Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина, а подлинник пропал.

Жена Тернавцева, Мария Адамовна, у нас бывала редко и мы у них редко бывали. Он был очень красивый, статный человек, веселый, походил на итальянца. У них было трое сыновей и две дочери. Старший и младший сыновья погибли во время Первой мировой войны, второй сын умер после революции от туберкулеза. Ирина Валентиновна была тогда замужем за сыном литератора Щеголева, а в настоящее время за-

мужем за художником Альтманом. Приезжала она ко мне в гости до войны с Саррой Лебедевой, скульптором, и мы вместе бродили по закоулкам Лавры.

Дети Валентина Александровича, Муся и Ирина, приходили к нам, детьми, играть. Муся вспоминала, как я им читала Гоголя «Вий» и «Страшную месть». Так ей запомнилось это чтение, она это вспомнила, когда меня увидела в последний раз в гостях у сестры моей Нади. Это было за несколько месяцев до ее, Муси, трагической кончины.



Учась в Педагогическом техникуме, Надя написала сочинение о значении монастыря Троице-Сергиевой лавры, которое Наталья Дмитриевна отметила как очень хорошую и вдумчивую работу. Она о ней вспоминала много лет спустя. В это же время Надя с Варей поступили в театральную студию Бойко, которая была в стиле театра Мейерхольда. Надя с Варей очень увлекались этим театром, и Надя, помню, блестяще играла роль принцессы в «Шахерезаде».

В это же время Надя решила выйти замуж за студента Электротехнической академии — Александра Степановича Верещагина. Хотя мы жили очень трудно, я очень горевала, так как о нем ходили неважные слухи, что он плохо жил со своей первой женой, — она уже умерла, и что у него плохое здоровье. Я умоляла ее не выходить замуж, но она не послушалась. Вышла замуж гражданским браком и переехала к нему в общежитие. Надя ушла из детской библиотеки и муж устроил ее работать в магазин при академии, где продавали канцелярские принадлежности.

В это время мама начала еще сильнее болеть. Обнаружилась болезнь печени, нужен был белый хлеб, а его не было. Была одна картошка, постное масло, сахар и черный хлеб, который выдавался по карточкам, да изредка посылки из «Ара».

В конце 1922 года стали поговаривать о переводе Электротехнической академии в Ленинград, но я не могла ехать с больной матерью, а квартир служащим не предоставляли.

Верещагины уехали в Ленинград в начале 1923 года вместе с академией. Я лишилась места. Варя тоже не работала. Мама получала крошечною пенсию за папу — 13 рублей в месяц, — по его прежней службе еще в Государственном контроле. Посылки из «Ара» к тому времени прекратились. Положение было очень тяжелое. В это время мама уже совсем слегла, ее устроили в бывшую земскую больницу, где главным врачом был наш друг — Николай Александрович Королев, где прежде лежала сестра Аля.

Врач определил мамину болезнь: камни в печени. Боли были ужасные, она не могла лежать совсем в одном положении, каждые пять ми-

нут надо было ее переворачивать. Недели через три выяснилось, что мама совсем безнадежно больна, что вылечить ее уже нельзя. Сестры медицинские выбивались из сил, такие страшные боли были. За ней ухаживала знакомая — Мария Александровна Храмцова и я, а днем приходилось мне еще ходить на работу, так как канцелярия сдавала дела и работников еще не отпускали со службы.

Когда мама так заболела, нас чаще стал навещать наш друг Сергей Павлович Мансуров с женой Марией Федоровной. Во время пребывания в больнице мама просила позвать его, и он часто приходил к ней. Во время дождей там была грязь непролазная; больница находилась на окраине города, но мама звала его, прося поддержать ее падающий дух; и он шел и утешал ее.

Дважды по его просьбе в больницу приходил о. Досифей, монах Зосимовой пустыни, чтобы исповедовать и причастить маму. Тогда еще в больницах допускались священники причащать больных, если они перед смертью того желали. Перед кончиной моей мамы Сергей Павлович приложил все старания и все свое духовное усердие, чтобы убедить ее простить своего врага — квартирантку, которая своей говорливостью и назойливостью сильно докучала матери, и только тогда Сергей Павлович успокоился, когда мама сказала — «прощаю». Сергей Павлович присутствовал при последних ее минутах. Помню, как снял с руки свое любимое синенькое колечко, на котором были вырезаны слова молитвы преп. Серафима, надел маме на руку. Помню, как она обрадовалась и вся просияла. Смерть ее была замечательная по мужеству и религиозной осознанности. Впервые я видела такую величавую картину. Это была кончина праведницы. Она до последней минуты все крестилась. Взор был любящий, глубокий. Умерла в полном сознании.

Первая панихида по ней была отслужена о. Павлом Флоренским в старинной, уютной Пятницкой церкви. Затем вечером «Парастас» служил духовник матери — игумен Ипполит (бывший духовник студентов Духовной академии, игумен прозорливый, как уверял о. Павел Флоренский, рассказывал о нем удивительные случаи). Мама его очень любила.

Когда мама умирала, дали телеграмму сестре Наде в Ленинград. Она приехала с мужем, но мать в живых уже не застала. Ее ждали на отпевание, и она только к этому времени и поспела. Обедня была накануне отслужена игуменом Михеем. Присутствовали: Цветков С. А., Мансуровы, потом они уехали в Москву на день памяти старца отца Алексея Мечева.

В день смерти матери я помню, что ушла ночевать к Мансуровым, было мне тяжело одной в большой квартире. Варя так испугалась маминой смерти, что убежала из дому — наверное, к своим друзьям — Королевым.

По указанию Сергея Павловича и Зои Михайловны Цветковой место для могилы матери мы выбрали на Вознесенском кладбище; Черниговский скит был уже закрыт в то время, как монастырь, и там уже никого не хоронили. До могилы мать провожал игумен Михей; могила находилась между тремя высокими березками и оттуда открывался красивый вид на Черниговский монастырь, если отойти на несколько шагов. Мать умерла 15 июля 1923 года н/с.

До войны 1941 года я летом ходила на могилу к матери. Там стоял деревянный крест, который Сергей Павлович Мансуров собственноручно, вместе с Нюрой Г-вой, поставили на могилу; у нас не было денег, чтобы нанять людей и привезти крест.

Вознесенское кладбище сохранялось до войны 1941 года, а потом там был построен завод и кладбище уничтожено. Мне очень больно об этом вспоминать. Я маму больше всех на свете любила, и утрата ее могилы для меня очень тяжела.

Н. В. Розанова

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

писано под диктовку Святого, рабом Его верным рабу непокорному в год 5971 после основания Храма.

Господин Розанов!

— сотрудник Нового Времени —

Знайте, что Ваше потомство на собрании раввинов тоже внесено в списки будущих жертв ритуала. Чтобы Вы знали, до чего слепы гои и всемогущи мы, «жиды», сообщаю Вам, что ежегодно в России мы «умучиваем» 27 агнцев: это по числу главных епархий — кагалов; мы источаем Кровь из них, привязывая их к бревну, имеющему форму:

Т

причем ноги привязываем к длинному концу этой виселицы, а руки к раменам, голова же закидывается назад, над жертвенным сосудом, чтобы из виска стекала в него кровь: бревно держит не менее 3-х человек: *мастер* — раввин и *2 надзирателя* — цадика, в положении наклона в 45, головою к полунощной стороне; фонтан крови должен ударить в сторону Великого Востока. Обескровленный труп мы кладем на ковер с изображением Соломонова Храма на Сион. Жертвы эти мы приносим исключительно ради блага вас, гоев, самих: этим только мы, хранители Предвечной Веры, ежегодно умилостивляем Бога, гневающегося на христианство

за кощунственное признание рыбака из Галилеи Мессиею; вы, гои, по глупости своей не сможете никогда постигнуть благодеяний, оказываемых вам Еврейством, которое одно только и спасет вселенную от гибели верным своим Богослужением!

Презирая вас всех, не боюсь сообщить Вам, что подобие креста, на котором был распят Назорей, хранится в каждой синагоге, в Петербурге главная синагога соединена подземным ходом с домом через улицы и там будет «умучен» когда-либо и кто-либо из рода Вашего, дорогой мой — знайте это и гордись честью, г.————————, гордись!

Для того, чтобы Вам доказать Наше всемогущество в сей стране, проверьте следующее:

1) Бейлиса в Киеве засудят.

2) Приговор будет оправдан при вторичном разбирательстве в том же Киеве в 1914 году.

3) Бейлис будет оправдан при вторичном разбирательстве в том же Киеве в 1914 году.

4) Синагога в усадьбе Зайцевых будет «разрушена» в том же году: знайте, что то место, где была совершенна жертва Всевышнему — eo ipso — становится Ярамом на вечные времена, и ни одна власть в мире не в силе Ему в этом отказать.

Сие — ребэ.
Мастер Ъ L.g.Oas:

P. S. Гои в Киеве и не знают — что † Жени не настоящий сын был «Чебрачки», шабес гойки нашей, Бейлис же всего навсего только караульщик в Храме и вовсе *сам* не убивал никого.

У меня сохранились отдельные воспоминания о самом раннем моем детстве: я сижу на высоком стульчике с чашкой в руке, а потом падаю и реву. Потом еще в саду (Таврическом) няня спряталась от меня, и я вижу вокруг чужие ноги и передники, кидаюсь во все стороны и плачу от отчаянья и страха. Но таких мгновений очень немного сохранилось в памяти, и свое раннее детство я помню очень плохо.

В 1899 году родители мои переехали с Петропавловской улицы (Петербургская сторона) на Шпалерную 39 и разместились в большой светлой квартире с окнами, выходящими на Неву. В этой квартире я и родилась.

Мои первые впечатления связаны с Невой. Мы, младшие, взобравшись на подоконник, с мамиными счетами в руках, поминутно выкрики-

вали: «Вот еще один пароход!» и откладывали то белые, то черные шарики.

Нас пятеро: четыре сестры и брат. Старшая, Аля, — папа зовет ее «Шура» (Александра Михайловна Бутягина) — папина падчерица. Она уже взрослая и почти такая, как мама. Мы ее слушаемся и с нею не играем. Я — самая маленькая, мне 3 года. И вот отчетливое воспоминание: я рисую картинки и приношу их папе в кабинет целыми пачками. Папа в восторге, целует, благодарит и прячет в ящик стола. Я очень горда. Дома у нас по воскресным дням бывает много гостей, из столовой слышится шум и споры. Пока папа с гостями, удобно порыться у него под столом, в корзине для бумаг. Это — целая сокровищница, где можно найти массу интересных картинок. Я заглядывая в нее и вижу ее наполненную моими рисунками. Я сижу на полу и плачу. Мои подарки! А он говорил, что все их хранит! Я бегу в столовую, проползаю между ногами к папе, а он подхватывает меня на руки и целует на лету, показывает гостям, весело говоря, что у него дочь художница.

Во мне кипят слезы глубочайшей обиды и негодования. Мой папа обманщик! Как ему не стыдно! Я убегаю и в слезах забиваюсь в угол. Больше никогда-никогда не буду ему рисовать!

Глава 1

В 1905 году мы переехали в Казачий переулок, д. 4. Против нас наискосок — бани. Дом высокий из темно-серого камня, кажется мрачным (стиль модерн).

По-моему, это самый красивый дом, так как на лестнице парадная дверь и окна сделаны из разноцветных стекляшек. Посмотреть в одно стеклышко — все кругом желтое, в другое — все красное. А на дворе целая куча битого цветного стекла. Удивительно, как папа с мамой здесь не просиживают целый день! У старшей сестры Али комната с нишей, вроде фонарика, и вся голубая. Мы, дети, лежим на полу в детской, кругом обрезки газет и журналов: мы наклеиваем картинки — военных, всадников, корабли, море — в большие тетради. (Это все, что я помню о войне с Японией.)

Аля служит в «банке». Я представляю себе большую глиняную банку, в которой у нас хранится сметана, только она, наверно, пустая, и Аля там сидит целый день, а к вечеру возвращается домой.

У всех нас троих («погодки»), самых маленьких, есть прозвища: Варю зовут «Белый конек» — у нее совсем беленькие волосы и голубые глаза — она очень капризна; Васю — «Черносливчик» — он тоже беленький, но глаза у него темно-карие; а меня — «Пучок». Маленькая я каталась по полу вроде шарика, и папа находил, что я похожа на пучок редиски. Это название сохранилось за мной навсегда, так что по имени меня

звали редко. Папа еще звал меня «Дюймовочка», а потом «Русалочка» (Аля), но это уже позже, когда мне прочли сказки Андерсена.

Утром, когда мы просыпаемся, наша любимица — румяная, веселая няня Паша — приносит в детскую большой таз с губкой, и нас всех обтирают водкой. Вася вскакивает и кричит: «Меня первого! Поскорее! Я должен писать статью!»

Мы с Васей очень дружны и всегда рассказываем друг другу свои сны. Васе чаще всего снится, что он летает по комнате в виде перышка, а потом хочет лететь в прихожую, но тут появляется страшный, черный, курчавый человек и гонится за ним, и Вася в страхе просыпается. Часто нам снится рай и ангелы. Об этом мы рассказываем друг другу шепотом, просунув головы через решетки кроваток (мы спим голова к голове). Проснувшись, Вася зовет меня и говорит, что кто-то сейчас стоял около него и рукой закрывал ему глаза, не давая раскрыть их, он только чувствовал, что рука очень нежная, совсем особенная, не такая, как у людей, но он никак не мог раскрыть глаз, когда же рука соскользнула, он только на один миг увидел, как от него отлетел Ангел *.

* Примечание отца на полях: «Это по воспоминаниям прочитанного "Ангела" Лермонтова, но как много своих вариантов».

У папы в бумагах сохранились наши детские мечты об ангелах, которые писали тайком, а иногда дарили родителям и Але.

Ангел (Вера?)

Кто летает по небу своими белыми крылышками. О, да это мой ангел и он около моей головки. Когда я сплю, то ангел приходит ко мне к постельки и скажет мне что-нибудь хорошо на ушко.

Когда я родилась может быть мне ангел пел песенку.

Ангел (Таня? Вера?)

По облакам звезда залатистая летела и ангел около нее летел и крылья белые как снег. Ах как он был прелесн з голубыми глазами з белыми с крылями с вьющими волосами. И ангел пел прикрасную песню про бога и ета Пресня так раздавалась повеем свете. И етот ангел летел ко мне, чтобы охранить меня чтобы мне приснилось хороший сон.

Бог и Ангел (Таня?)

Ангел видел, как звезда играла с ангелом и он прилетел к звезде и ангелу. Звезда с радостью стала играть с ангелом. Звезда и ангел улетели к Богу. Бог сказал ангелу понеси душу. Ангел нес душу и пел. Он пел об душе, как будет жить ета дитя. Ангел принес душу — дитя ожила. Ангел в радости молился о дате, как будет жить он. Ангел прилетел к Богу и звезде. Бог спросил Ангела, как он принес душу. Ангел сказал, что он нес хорошо, долетел, что дитя ожила. Ангел прилетел к звезде и сказал звезде, что он хорошо донес. Бог сказал Ангелу, что Таня стала хорошая и добрая.

Когда мы шалим и не слушаемся, папа сажает нас на буфет. Это очень страшно. Ноги едва достают до дверец. Если меня обидели, я убегаю в столовую, где прячусь между буфетом и стенкой и там потихонечку плачу, но я очень обижаюсь, когда меня не ищут и не утешают, и тогда я начинаю шуршать обоями и плакать в голос.

Старшие сестры, Таня и Вера, уже учатся. Таня, десятилетняя, — в школе Левицкой (закрытый пансион) в Царском Селе, а девятилетняя Вера — в гимназии Стоюниной на Кабинетской улице. К Вере и Васе ходит учительница. Когда она приходит, меня прогоняют из комнаты, но я потихонечку лезу под стол и слышу все, что она говорит. Я очень хочу учиться.

Читать я научилась раньше, чем стали со мной заниматься, и в пять лет я уже могла читать. (Этот момент, как я бегу к маме с азбукой, чтобы показать свои знания, я живо помню, и всю обстановку и диванчик, на который я взволнованно уселась с книжкой.)

И вот событие, надолго определившее мою детскую психологию.

Мы, дети, сидим за круглым столом, покрытым красной плюшевой скатертью, в небольшой, слегка затемненной комнате. Учительница (домашняя) читает нам сказку Андерсена «Маленькая русалочка».

Я сижу взволнованная, с бьющимся сердцем, и когда доходим до того места, как русалочка на балу у принца танцует и ноги ее испытывают боль, словно она танцует на ножах, — я задыхаюсь от слез и убегаю. С этой книжкой я уже не расстаюсь. Так и помнится мне она — маленькая, в желтом истрепанном переплете, с картинками, которые мы сами раскрасили цветными карандашами. Я ношу ее всюду с собой и на ночь кладу под подушку. Она вся омыта слезами. С этих пор весь мир становится для меня сознательно одушевленным, и в каждом предмете я вижу заколдованное и чудесное существо, чью жизнь можно подглядеть внезапно (перехитрить), если притвориться спящей и неожиданно раскрыть глаза или мгновенно обернуться. Гуляя с бонной, я поминутно получаю шлепки, так как все верчу головой и каждый раз при этом падаю, но никакие наказания не могут остановить меня от подсматривания в заколдованный мир.

Гулять мы ходим в Александровский парк по длинной Гороховой улице. Нас трое, а у Домны Васильевны только две руки. От этого всегда возникает спор и слезы. Домна Васильевна смуглая, черноволосая, с очень черными глазами. Она совсем цыганка. Я ее боюсь, а она меня не любит. Она любит Васю.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Ангел (Вера)

По облакам летел ангел. Должно быть он летел к Вере и хотел сказать какое-нибудь святое слово. Он знал что Вера стала гораздо хуже и хотел Веру научить быть хорошей и ангел исчез.

Иногда мы едем в гости всей семьей — отец мать и нас пятеро детей. На нас надеты серые драповые пальто, все одинаковые, и такие же капоры с закрученными вверх хоботками. Мы эти костюмы ненавидим. Варя втихомолку подрезает свое пальто ножницами.

Конечно, в такие минуты папа чувствовал себя Авраамом, заключившим завет с Богом.

Дома большие часто говорят о «Вечности».

Нам, детям, тоже говорят, что после смерти будет какая-то «бесконечность». Я не могу этого охватить и всех расспрашиваю. Когда я лежу ночью в постели, я стараюсь себе ее представить и думаю, что она похожа на Гороховую улицу, длиннее которой нет ничего в мире. Но и здесь в конце есть здание со шпилем, а там и этого не будет. Я мучаюсь, томимая невозможностью представить себе эту «бесконечность», и тут впервые приходит ко мне «величина» (так я ее называла в детстве), сначала маленькая, круглая, которая вкатывается в рот, вытягивается аршином, распирает его, а потом распирает все тело, и я задыхаюсь, не в силах от нее освободиться. Она так и осталась на всю жизнь, но с годами стала приходить реже и только в минуты подавленности или усталости, — а в детстве постоянно. Я всегда знала ее приход и очень ее боялась.

Я слышала, что до 7 лет ребенок безгрешен и если умрет, то прямо попадает в рай. И Аля говорила нам, что мы все равно что ангелы. А с семи лет уже можно согрешить и попасть в ад, и есть один грех непростительный — это «хула на Духа Святого». Я этого не понимаю и боюсь, но от страха мне хочется крикнуть «черт» и спрятаться под одеяло. Тут уж меня ничто, ничто не спасет; ни папа, ни мама ничего сделать не смогут. И чем больше я боюсь, тем сильнее хочется крикнуть, и я изо всех сил жмурю глаза и закрываю ладонями рот, чтобы только удержаться. Об аде рассказывает няня Паша, и всегда очень страшное.

Я очень боюсь ада.

Глава 2

В 1905 году родители и мои сестры поехали за границу — в Берлин, Дрезден, Мюнхен; затем кружным путем в Нюренберг, так как папе захотелось осмотреть готику; затем — в Швейцарию, где они жили в Женеве, в местечке «Ве», близ Веве. В «Ве» мама сильно болела. Через Вену они снова вернулись в Петербург.

Даже совсем маленькую Варю (7 лет) взяли с собой, а меня с Васей оставили у знакомых Гофштетеров*. Там было много детей, их звали — Татьяна, Андрей и как-то еще, но отец звал их «Тяпка», «Нюнька»

* Нововременец. До 12-го года приблизительно знакомство это поддерживалось, а потом совсем разошлись.

и любил всем, даже чужим детям, давать грубые прозвища. Сам Гофштетер ходил в ночных туфлях и в старой фуфайке, и все в доме было нарочито упрощенно и грубовато. Девочки ходили в штанах, а когда в доме появлялись гости, дети стремительно залезали под кровать, откуда их нельзя было вытащить. Но это более поздние воспоминания, а о том времени, когда мы жили с Васей, я смутно помню; осталось ощущение, что мне было очень неуютно, грустно и порой даже как-то «обидно», и мне очень хотелось домой.

Как-то утром, когда я проснулась, мне сказали о приезде родителей. Я побежала к ним в спальню. Мама вынула из-под подушки куклу — нарядную, белокурую, с голубыми глазами, которые сами закрывались и открывались. Она была какая-то особенная, говорящая кукла, и ее показывали всем, кто приходил к нам, но она была чересчур нарядна и как будто чужая — «заграничная», и со своими старыми куклами я больше любила играть. В куклы я играла лет до одиннадцати и свою последнюю куклу подарила маленькому Васютке Флоренскому. С этой куклой переиграли все дети Флоренского.

Самая большая выдумщица на игры — это Таня. Она вечно в движении. Еще совсем крохотной она любила мучить родителей. Если что не по ней — вскочит на подоконник, распахнет окно, будто сейчас кинется, и топает ногой. Когда они ездили в Швейцарию, Таня в темноте убегала и пряталась в горах. Ее зовут, зовут, ищут, а она не шелохнется, и все в полном отчаянии. Ей бы только мучить!

Теперь она придумывает игры и всегда страшные: когда мама и папа уходят из дома, то во всей квартире (6—7 комнат) тушится свет — одни лампады горят. Мы все прячемся под кровати, в платяные шкафы, а кто-нибудь из нас ищет. Идет в темноте, вытянув руки, и говорит что-то не своим, страшным голосом. Можно от страху умереть, сидя в шкафу и ожидая, что вот-вот тебя схватят какие-то руки. Страх переходит в истерику. Эти игры мы назвали «потемки» и любили больше всех. Еще смутно помню игру в «катакомбы», когда, расставив стулья, мы покрывали их простыней, зажигали свечи, а сверху клали книгу Евгении Тур, всю разлинованную синим карандашом. Мы всегда подчеркивали (как папа) то, что нам нравится, а так как эту книгу мы все очень любили, то всю ее честно разлиновали по строчкам. Самый процесс игры я не помню, но, конечно, был Домициан и мученики-христиане.

Глава 3

Весной 1907 года мы поехали всей семьей в Кисловодск. Помню, как мы тащили свои игрушки к маме в спальню, и мама отбирала и укладывала в ящик, а я волновалась, что мама не захочет что-нибудь взять.

Сказки Андерсена я не дала укладывать и сказала, что всю дорогу буду держать в руке.

С нами ехала молоденькая и добрая гувернантка Марья Георгиевна. В Москве мы остановились у жены покойного брата Николая Васильевича Розанова, в семье которого папа жил и учился.

Мне запомнился только освещенный перрон вокзала. Меня сонную выносят на руках, и мы едем куда-то по голубым и пустынным улицам. А потом маленькая комната, вся заставленная мебелью, и какая-то худенькая старушка радостно нас встречает, а затем меня укладывают на диван в той же комнате. И сквозь пар кипящего самовара я вижу на тарелках много всякого печенья и яблок.

На другой день мы ездили в Кремль, и мне показывали царь-пушку и царь-колокол, и я измеряла свой рост, прислонившись спиной к отбитому куску колокола. И долго потом Москва вспоминалась мне сказочной, голубой, уютной и вся как бы «сквозь сон».

До Астрахани мы ехали по Волге на пароходе, а дальше уже поездом. Все вокруг меня удивляло, и я была в полном восторге и прыгала по палубе. Но больше всего запомнились мне бурлаки и масса оборванной, грязной и страшной на вид толпы, лежащей на пристанях вповалку.

Они все ели соленую рыбу, разрывая ее руками, и запах ее вызывал во мне тошноту и отвращение, запомнившееся на всю жизнь. Эти места мне казались адом, чем-то невыразимо страшным, чужим, и я боялась, когда мы проходили мимо них.

Еще на пароходе я заболела, кажется, чем-то отравилась. Так помню этот момент. Мы собираемся идти обедать в ресторан, а я бегу впереди всех вприпрыжку и останавливаюсь у дверей, где красиво убран стол и сидят взрослые люди. И вдруг меня затошнило. Я очень испугалась и заплакала: «Сейчас они меня будут бранить!» Дальше я ничего не помню, я заболела, и даже была как будто без памяти, только очнулась я в поезде, когда мне подавали чашку с бульоном. Я была очень слаба и не могла ходить, и на платформу меня выносили на руках. И помню, как в окошко мне показали первые горы.

Да еще очень помнится, как я бегала все время на палубу и смотрела около кормы в воду, стараясь увидеть подводное царство и свою русалочку, а наша милая гувернантка меня не разуверяла, а только говорила, что вся она превратилась в пену, которую я вижу вокруг.

Глава 4

В Кисловодске мы жили на даче художника Ярошенко. Дача стояла на горе, вокруг нее были огромные клумбы из роз, рвать которые нам запрещали, и я потихоньку в карман набирала упавшие лепестки, боясь, что меня поймают и накажут. Внизу был большой фруктовый сад. Его

стерегли цепные очень злые собаки. Они бросались на каждого, кто входил в калитку, рвали платье, кусались и заливались отчаянным лаем. Их все боялись. Против нашей дачи была Романовская гора, где мы ежедневно гуляли. Здесь я увидела массу незнакомых цветов, но больше всего поражали меня кусты малины, которые я принимала за розы, а они росли даже на пыльных дорогах. Горные орлы, парящие в воздухе, вызывали восторг. Как-то привели меня посмотреть пойманного орленка. Он сидел на цепи и больно клевал руку, когда ему протягивали пищу. В горах папа и старшие дети поймали огромного очень красивого жука, которого папа вспоминал много лет. Рядом был парк, и там гуляли очень нарядные девочки с распущенными волосами и большими бантами — они казались мне настоящими принцессами, и я очень огорчалась, что мама меня остригла, и мечтала быть такой же хорошенькой, как они.

Как-то, гуляя в Романовских горах, я увидела женскую фигуру, быстро сбегающую по склону горы (мы стояли выше). Ее лица не было видно, она бежала спиной к нам, в черной стройной амазонке, но прелесть ее движений и всего ее легкого, быстрого облика врезались в мою память чудесным романтическим видением.

Это была старшая дочь художника Нестерова — Ольга Михайловна Нестерова. Больше я ее не видела, но этот момент памятен, как вчера*.

Родители и старшие дети ездили на Эльбрус и Казбек, а меня взяли только на Кольцо-Гору и в замок Тамары.

Перед этим мы прочли лермонтовское стихотворение. Горцев я очень боялась. Я думала, что они все разбойники. Однажды всей семьей в экипажах мы отправились к «Замку Тамары». Лошади медленно шли в гору, и можно было поминутно выскакивать и бегать вокруг. Вдруг вдали показался всадник в папахе и бурке. Я в это время ела яблоко. Видя его скачущим прямо на нас, я страшно испугалась и подумала: «Сейчас он нас убьет». И тут счастливая мысль: «Если я ему улыбнусь, — он ничего не сделает». Я, привстав на сиденье, улыбаясь, замахала ему рукой и бросила ему недоеденное яблоко. Всадник сверкнул зубами и пролетел мимо. Я мнила себя спасительницей и прыгала от радости.

Глава 5

Таня в это время очень изменилась. От ее резвости ничего не осталось. Она была очень серьезна, все время читала и не расставалась с родителями. Теперь нами командовала Вера. Ей было одиннадцать лет, и она была необыкновенно живой и смелой. Я помню, как она без всякого страха кидалась к огромной цепной собаке, привязанной к сливе, и та

* Михаила Васильевича Нестерова в то лето я не помню. О нем будет ниже.

валила ее на землю, и они вместе катались по траве, играя друг с другом. Иногда Вера спускала цепную собаку, и она наводила ужас на всех обитателей дома.

Нашей любимицей была кошка по прозвищу «Хима», которую мы всюду таскали за собой, ежеминутно крича: «Хима, проходи мимо!», и Хима шла. Папа о ней писал («Мимолетное»). Ни к одному животному впоследствии мы не были так привязаны.

В Кисловодске основной нашей игрой была игра в разбойники. Вера была нашим атаманом, и мы ее слушались беспрекословно.

У нас у всех были кавказские войлочные шляпы, которые мы закалывали булавками наподобие наполеоновской треуголки, думая, что этим мы уподобляемся разбойникам. В фундаменте дома была пещера, которую мы назвали притоном и устроили там лежанку из трав, повесили деревянное оружье и туда же складывали нашу военную добычу — груды всевозможных фруктов.

Родители с Таней были нежны, а на нас меньше обращали вниманья. Тогда у нас возник заговор. Вера позвала Варю и Васю и сказала: «Вы замечаете, что папа и мама нас больше не любят, а любят только Таню, и нам нельзя больше оставаться и нужно уйти совсем из дому». Она, как всегда, говорила таинственно и с пафосом, а мы все слушали и очень себя жалели. Вера предложила идти прямо на Эльбрус, где можно разбойничать и, кроме того, торговать фруктами и нашими открытками *.

Я вертелась около них, но на меня никто не обращал вниманья. Тогда я начала хныкать и просить взять меня с собой, но Вера сказала, что я слишком мала, никогда не соглашусь прожить всю жизнь без папы и мамы, начну проситься домой, и им придется возиться со мной. Но когда я в слезах принесла свою любимую куклу и пачку открыток, жертвуя для общего дела, они смягчились и приняли меня в число заговорщиков. Мы стали готовиться к побегу. В наш притон мы нанесли множество фруктов, достали корзинки и сложили наши игрушки. Скоро подошел удобный момент: Таня занималась с гувернанткой, папа спал после обеда, а мама еще не возвращалась из церкви. Али тоже не было дома. Мы достали Васины штанишки, какие попались, — и нижние и верхние — и все переоделись для большей конспирации, а потом, забрав свои корзинки, потихоньку выбрались из сада. Поклажа была непосильна для нас, из корзинок так и сыпались фрукты и игрушки. Вероятно, зрелище было очень забавное, нас кругом многие знали и из окон и террас жители со смехом и удивлением взирали на это «шествие гномов» (7, 8, 9, 11 лет).

* Мы очень любили и собирали открытки (почтовые с картинками), которые нам дарили. Написанные и с маркой мы называли «грязные» и ими собирались торговать на Эльбрусе.

Пройдя несколько кварталов, мы вдруг увидели идущую маму. Она неожиданно возвращалась из церкви и, увидя нас, молча продолжала свой путь к дому. Мы так испугались, что сразу присели на корточки, а потом бросились в соседний переулок, вбежали в какую-то баню и здесь держали совет, что нам делать. Сейчас нас все равно поймают и тогда еще больше накажут, лучше самим вернуться домой.

Обратное шествие было менее героично, и когда подошли к калитке, то от страха едва передвигали ноги.

Уже вечерело. Время было ужинать. Мы сбились в саду, не зная, что делать. Как сейчас помню — медленно двигаемся к террасе, а на ступеньках, загораживая вход, расставив ноги, стоит папа молчаливо, грозно и даже просто величаво. Какое томленье! Мы взошли, наконец, на эшафот и все, во главе с атаманом (меня пощадили по малолетству) были подвергнуты позорной экзекуции.

Так закончился наш побег из родительского дома!

Глава 6

Помню еще один случай из наших шалостей на Кавказе. Я была очень ласковым и послушным ребенком, наиболее легкая для воспитания, и когда старшие дети мучили гувернантку своими шалостями, доводя ее нередко до слез, я приходила в отчаяние, бросалась ее защищать, плакала и всячески ее утешала. Но даже в то время тайно жил во мне дух мятежа и «злоумышления» (В. Р.).

Однажды после вечерней молитвы, за которой обычно присутствовала мама, мы лежим в кровати. У нас, детей, была одна комната, наполовину перегороженная стенкой, в одной половине спали Вера, Варя и Вася, а в другой — я с гувернанткой. Таня в это время еще пила чай со взрослыми на балконе. Ей разрешали ложиться позднее.

Как сейчас помню: мне не спится, мне скучно, мне хочется волнения. Я надеваю полотенце на голову и, махая длинными рукавами ночной рубашки, вихрем несусь в соседнюю комнату и по очереди хватаю детей за ноги. Потом перескакиваю через решетку кровати и замираю. Слышу испуганный шепот: «Кто это?» Я тоже вторю: «Кто это?» — «Я видела привидение». — «И я!» — «И я!» — «Меня ущипнули за ногу». — «И меня тоже». — «И меня!» От страха все с головой спрятались под одеяло. Я сама взволнована и нахожусь в полном разладе. Мне страшно от их страха, от того, что я делаю, но очарование тайного мучительства настолько упоительно, что, дрожа от страха, я продолжаю их мучить.

«Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...» Я снова потихоньку выскакиваю, бегу и хватаю их за ноги... Они уже сбросили одеяла и, стоя на коленях в кроватях, дрожат и плачут. И я вторю им от всего сердца. Потом мы выползаем из кроватей и сбиваемся в кучу. Помню,

мы сбились в угол, как бараны, головой все вместе. Но и тут, замирая, я продолжаю их щипать.

Вася подбежал к окну, откуда видно было вечернее чаепитие, и вдруг закричал: «Я вижу два папы, две мамы, всех по двое!» У него перекосились глаза. Тут мы заголосили. На наш крик сбежались. Понять нас было невозможно, но мы были как в истерике, кричали о привидении. Я была тоже в состоянии невменяемости. Вызвали дворника, который обыскал весь дом и, конечно, не нашел никого (думали, что забрался вор). Нас отпаивали валерьянкой. Аля от меня не отходила.

В дальнейшем и взрослые и дети подозревали Веру, уже известную своими шалостями. Моим признаниям не верили, считая, что я хвастаю, и так до сегодняшнего дня и не поверили. Это слишком было на меня непохоже, неожиданно даже для меня, такая я в то время была ласковая и послушная и к тому же совсем маленькая. Мне не было семи лет.

Глава 7

Мама с нами никогда не играла, но здесь, в Кисловодске, я помню, как мама лежит на кушетке и сбрасывает с ноги туфельку, а мы бегаем за ней и приносим обратно. Мама смеется и подбрасывает еще. Это единственное воспоминанье из всего детства, когда лицо мамы я ощущала абсолютно счастливым, без теней, смех ее, хотя и тихий, но такой счастливый. Потом она тоже смеялась, но очень недолго. Как будто это был недозволенный праздник среди забот и огорчений. Лицо ее вскоре принимало выражение той же усталости и озабоченности.

Это потому, что детство свое до болезни мамы я помню очень смутно, а заболела мама, когда мне не было еще десяти лет.

Глава 8

Как мало портретно я помню маму здоровой. Вот она, готовясь к приезду гостей, стоит в спальне, а горничная застегивает ей корсет. Потом мама в английском сером костюме стоит в столовой, опираясь о стул, и поправляет развязавшийся шнурок.

Мама мне кажется такой красивой, просто царицей. Еще помнится утренний полумрак и горящая лампа, и мама за ширмочкой в детской заплетает мои и Варины косички, тщательно приглаживая их щеткой. Эти воспоминания оттого так врезались в память, что такие движения уже никогда не повторялись, — ее рука висела безжизненно, и мама двигалась хромая, тяжело опираясь на палку.

Теперь наша любимица няня Паша стала кухаркой. Мы постоянно бегаем к ней на кухню: плита весело трещит, на сковороде шипят и подпрыгивают котлеты, мальчик с хрустящими от снега сапогами вносит



корзину с провизией. Какой чудесный свежий морозный запах он вносит с собой; прямо источает из себя!

Мама входит на кухню, перебирает провизию и записывает в синюю тетрадочку расходы. Иногда она бранит Пашу, и Паша плачет, закрывшись передником, и тогда мы всей гурьбой готовы броситься ей на защиту и от волненья убегаем из кухни. Но мама сама любит Пашу и скоро целует ее, и в доме водворяется мир.

Наша бонна Домна Васильевна весь день сидит за швейной машиной и обшивает нас, детей. Мы по очереди вертим для нее ручку. Потом после маминой болезни она стала в доме экономкой.

По субботам топится ванна, и нас всех купают по очереди. Перед купаньем я непременно покатаюсь по полу, чтобы увидеть в воде настоящую грязь, и потом забираю с собой всех резиновых кукол и зверушек. Иногда моет Паша, а иногда мама. Но и та и другая ужасно моют голову, не дают передохнуть. Так и скребут, поливают, мылят, а потом ухватывают ногу и щекочут пятки, и как ни крути, ни визжи — ни за что не выпустят ногу. Я теперь, видя, как моют детей, всегда задыхаюсь, глядя на них, вспоминая свои мученья, и чувствую их настоящими страдальцами. Дайте, главное, передохнуть!

Потом мама приходит с мохнатым полотенцем, обтирает и разносит всех нас в чистые, теплые постельки. Как я люблю эти минуты! Сначала едешь на спине, ухватив мамину шею руками, а потом тебе в кровать приносят молоко (у меня чашечка с голубыми незабудками и трещинкой) и что-нибудь вкусное. Пенки в молоке мы ненавидим, но Алина подруга Марта, которая читает нам «Дорожного товарища» Андерсена, стыдит нас, говоря, что приютские девочки счастливы были бы иметь такие пенки.

Девочек мы очень жалеем, но пенки все же выплевываем. На стульчике у изголовья лежит приготовленное к утру белоснежное белье, и у нас с Варей подкрахмаленные юбочки. Мама делает на них складочки, чтобы можно было выпустить к следующему году.

Мама всегда с нами молится, стоя позади нас, а когда мы ее не слушаемся, она говорит, что «мы перешагнем через ее труп». Папа приходит прощаться с нами на ночь и нас крестит. Его приход в детскую мы страшно любим. Папу мы обожаем и совсем не боимся, хотя он иногда вдруг вскакивает из-за письменного стола (если мы очень расшалимся) и кричит и пытается ухватить кого-нибудь за ухо. Маму мы все боимся, а папу нисколько. Он такой, как мы!

Домна Васильевна теперь спит с нами, мы ее любим, но не так, как Пашу, а я ее немного побаиваюсь.

Теперь мною командует Варя, как некогда Таня и Вера. Я прошла через все командования, пережив власть четырех диктаторов, избежав

только Васю, т. к. в дальнейшем у нас с ним возникали просто сраженья, в которых обычно я оказывалась побежденной.

С Варей мы чаще всего играли в «дочери и матери», и Варя обращалась со мной, как с неодушевленным предметом, наряжая меня во всякие тряпки и банты, натягивая на меня, даже в летнюю пору, ватные вещи и придумывая всевозможные наказанья, которые я переносила с образцовой для дочери терпеливостью. Играли с ней и в куклы. У каждой была своя квартирка, отгороженная ленточками, и своя система воспитанья. Варя их больше наряжала, а я кормила. Сладкое я очень любила и, считая, что мои дети унаследовали мой характер, устраивала им пиршества. Как-то я накормила свою куклу гоголь-моголем (через парик), после чего она вся распухла, размокла и обратилась в кашицу. Для себя я ничего не вынесла из этого поученья и, похоронив ее, — продолжала облизывать все сладкое, что только попадалось на моем пути.

Часто Варя, усевшись в середку, читала нам с Васей «Сказки Гримма», — толстую книжку со множеством интересных картинок. Варя их очень любила, а я любила их меньше, чем сказки Андерсена, такие всегда трогательные, а порой очень грустные. Сказки я любила до страсти, и, можно сказать, никогда в жизни на испытала беспощадного скептицизма. Я не любила только сказки, в которых была жестокость, боль, смерть. Например, сказки «Теремок» или «Медвежья нога» вызывают у детей совсем иные чувства: несравненно длительнее, чем у взрослых, и необычайную реальность восприятия. Ребенок за несколько строк уже ясно представил и полюбил всех зверушек — и «Мышку-норушку», и «Лягушку-квакушку», и вдруг появляется злой, глупый Медведь и всех их давит.

Так же и в «Максе и Морице» Буша — мельник пропускает мальчишек через жернова. Я видела, как Паша (кухарка) делала мясные котлеты, а тут вдруг — живых! Опять ужасная боль! И никакого соответствия между их шалостями и таким наказаньем (?), или, еще хуже, у того же Буша — мельничиха прищемляет головы воров крышкой сундука, просто откусывает их, как сахар щипцами. Я просыпаюсь по ночам в страхе. И все это со смехом (Буш!).

Когда одиннадцати-двенадцати лет я читала у Пушкина про Пугачева, то, дойдя до места казни, вскочила, вся затряслась и изо всей силы швырнула книгу в угол. Я реально присутствовала на казни и в этот момент ужаснулась возможностям человеческой души. С такой силой почувствовала я стыд за человека, что никак бы не согласилась прочесть вслух это место тому, кого бы я любила и уважала. Нельзя было бы после этого глядеть друг другу в глаза.

С Васей мы были неразлучны, вместе играли и часто засыпали, обнявшись в одной кровати. В ванне нас купали вместе, иначе мы не согла-

шались, и когда в дальнейшем нас решили купать врозь, мы страшно воспротивились, не понимая, для чего это нужно. Очень долго мы оставались совершенными детьми. В будущем мы мечтали пожениться и говорили, что у нас будут две девочки и один мальчик, но когда мы объявили о своем решении взрослым, они совсем не обрадовались и даже как будто рассердились, что нас очень огорчило и удивило.

На Страстной мы говели, но об этом раннем говении у меня не осталось воспоминаний. Ходили обычно с мамой в церковь к обедне (после с Домной Васильевной), и мама заставляла стоять тихо и не позволяла нам оборачиваться *.

Помню, как мы с Васей стрелой бегаем по всей квартире и у всех просим прощенья — и у папы с мамой, и у Паши, и у Домны Васильевны. И Варя из школы Левицкой пишет письма и просит ее простить. И все нас прощают. А потом мама дает нам с Васей по рублю на свечки и говорит, когда мы должны положить на тарелку батюшке. Мы боимся, что не увидим тарелочки или батюшка ее вдруг переставит. Домна Васильевна идет с нами в церковь в красной клетчатой кофте и плюшевой шляпе с пером. В церкви все ходят на цыпочках, и все шепчутся, и мы с Васей замираем от страха. За ширмочку идем вместе, держа за руки друг друга, и батюшка нас спрашивает всегда одно и то же — «таскали ли мы у мамы сахар?» И мы оба киваем головой и становимся на колени, и тогда нас батюшка покрывает эпитрахилью и читает молитву. Теперь попробуй до утра не шалить и не согрешить! Утром нас будят, но ничего не дают пить, а только одевают в белые костюмчики и ведут в церковь. Причащаться мы очень любим и очень любим теплое вино и лиловую душистую салфеточку, которой обтирают рот. Папа нас водит иногда причащать и поднимает к чаше, а потом они с Васей входят в алтарь.

В Пятницу мы красим яйца, у нас у всех стаканчики с краской и уксусом, кучки мраморной бумаги и переводные картинки. Вася и Таня некоторые яйца разрисовывают, — они оба хорошо рисуют, а у меня получается грязь, и Х. В. расползается в разные стороны. На подоконниках в детской стоят тарелочки, и в них зеленеет овес, который мы сами сеяли с Васей, и туда мы кладем крашеные, обтертые маслом яйца. Мама дает нам чистить изюм и миндаль, выдавая нам по стакану, но обратно она получает на донышке, так как всякая изюминка нам кажется «испорченной» и потому поступает в рот. Вечером мы, младшие, ползаем на коле-

* Как-то Клавдия Лукашевич (детская писательница), увидя нас стоящих в церкви очень внимательно и смирно, — написала письмо папе и просила отпустить нас к ее внуку в гости. У него оказалось столько игрушек, как ни у кого.

Клавдия Лукашевич подарила нам свои фотографии с надписью.

нях по коридору в кухню, откуда несется пар и аромат, и в темноте наедаемся теста. Утром мама с озабоченным лицом приносит в детскую коробочку с касторкой. Варя и Вася ее не любят, а мне нравится, что она — круглая и внутри переливается, и, кроме того, она сладкая, и, отобрав у них шарики, — бегу за ширмочку, где глотаю все три порции сразу.

Всю Страстную у мамы лицо озабоченное, и она поминутно гонит нас из кухни, куда влечет нас неудержимая сила, и, несмотря на клятвы, что мы ничего лизать не будем, нас выгоняют из кухни. И Паша на нас не смотрит и тоже не пускает в кухню. И вот последний момент: детская, на противне вносят «мазурки», последнее, что вынимается их духовки, — и мама, уже совсем обессиленная, пересчитывает их и кладет на сложенную в несколько рядов скатерть. Кругом в столовой лежат белые кучки, откуда струится пар и аромат. Паша вся красная, и лицо ее так блестит, будто все смазано жиром. От кондитера Иванова привозят огромные бабы, а в Субботу к вечеру приезжает папа на извозчике, и за ним вносят белые высокие свертки — горшки с гиацинтами*. Теперь все!

Вечером нас укладывают рано, но спать невозможно, только прикрываешь глаза, притворяясь спящей, когда кто-нибудь входит в детскую. Иначе тебя не возьмут к заутрене. А у самой бьется сердце, прислушиваешься, как в столовой мама распоряжается готовить стол, и все думаешь, что тебе подарят. Мама приносит в спальню какие-то большие свертки — и круглые, и квадратные, — невозможно по форме понять, что в них такое, а от нас их прячут и гонят нас спать.

За нашей детской зеленой ширмочкой, расшитой птицами и цветущими ветками, горит лампа, а на рабочем столе, у Домны Васильевны, лежат кучки цветных лоскутков и моя кукла. Ей шьют к празднику новое платье. Накануне мы с Домной Васильевной ходили в Гостиный двор и выбирали в «остатках» лоскутки. А на стуле рядом лежит чистенькое белье и белая шерстяная матроска, как у Васи. А у Вари — воздушное розовое платьице с цветочками. Позволит ли мама распустить волосы и сделать бант? Боже! Как бьется сердце, — невозможно совсем заснуть!.. Столько мыслей в голове!..

У нас, детей, тоже готовы подарки. Вася на деревянной шкатулочке нарисовал мальчика и слепил козлика; я нарисовала звезду, раскрасив ее цветными карандашами, а, кроме того, мы все выучили стихи и утром будем читать их в спальне папе и маме. У старших тоже приготовлены подарки — кто нарисовал, а кто написал сочиненье и стихи.

---

* Папа не всегда ездил за цветами, последние годы чаще ездила Домна Васильевна с нами, детьми, на Сенной рынок. Но папа всегда любил, чтобы были цветы.

Вера украсила свой листочек картинкой с летящим ангелом. Она больше всех любила сочинять стихи.

Милая мамуля, Ангел дорогой. Я люблю тебя от всего моего сердца, и ангел предсказал мне, что всю жизнь не забуду маминой ласки.

На память

Я люблю тебя, мамуля,
Ужасно люблю.
Люблю тебя, как Ангел Бога.
Люблю тебя, мамуля.
Уж очень много,
любить я больше не могу.
Любить тогда я перестану,
когда закроются глаза.

Вера.

Милому папочке и милой мамочке

На город великий и тихий
Спускалася темная ночь.
На небе воздушном и синем
Луч месяца тихо сиял.
Прижавшись с Васюткой крепко,
Стояли обнявшися мы у окна,
Смотрели на месяц прекрасный
И им любовалися мы.
И мчались пред мною картины
То первая краше второй,
то третья счастливей седьмой!
И мчались они предо мной,
Как ветер пред грозною бурей.
И ветер несется все дальше и дальше,
Не зная покоя, не зная и радостных дней.

Вера

Заутреню в раннем детстве я почти не помню, так как всегда уже стоишь в каком-то сне и от колебанья свеч и огней, которыми залита церковь, и от струящегося ладана – весь воздух дрожит и колеблется, а, кроме того, мне всегда от духоты делалось дурно, и папа уводил меня на лестницу *.

* Когда я была совсем маленькой, я принимала священника за Бога и приставала к папе: «Папа, это Бог?» Об этом выкрикивает Мережковский в одной из своих книг.

Как-то с папой мы были в церкви на 12 Евангелиях, около Царскосельского вокзала, кажется, «Введение во Храм», и у меня загорелись волосы, когда я захотела перекреститься. Они сразу вспыхнули. Папа бросился ко мне (нас разъединила толпа) с выражением дикого ужаса (очень помню) и, руками охватив мою голову, — потушил.

Помню только, что мы очень любили, когда папа под конец раздаст нам, детям, мелкой монеты, и на паперти всем нищим суешь монетки и говоришь: «Христос воскрес!» А воздух весенний и влажный, весь дрожит от колокольного звона, и целая вереница цветных фонариков освещает улицу. А дома уже стоит приготовленный стол, накрытый белоснежной скатертью, стоит окорок с выстриженным бумажным хвостом, освященная пасха и кулич с воткнутыми в него бумажными цветами на проволоке, крашеные яйца в зеленом овсе на тарелочках и много голубых, розовых и белых гиацинтов, так чудесно благоухающих. Но тут уже совсем спишь и, едва успев отковырнуть цукатинку из пасхи, доползаешь до кровати, где и засыпаешь блаженным сном без всяких сновидений.

Глава 9

Помню до маминой болезни большую елку, которую устроили для Тани и Веры и их подруг. (После маминой болезни таких больших елок уже не устраивали.)

Мама весь день ездила в город покупать подарки и приезжала измученная и ложилась на диван, а мы с Васей бегали и приносили ей лепешки из глины в марле, — у мамы болело сердце; потом, помню, писалось множество записок и прикалывалось к каждой игрушке, чтобы знать, кому из гостей какой подарок, и все это укладывалось на стол; лучше всех был большой серебряный олень... Комната была переполнена детьми, и елка гнулась от множества игрушек и сластей, пылала веселым счастливым огнем, трещали хлопушки, вспыхивали внезапно бенгальские огни и рассыпались звездочками. Я едва пролезала между большими девочками — никто такую мелочь не замечал, и никто со мною не играл. Потом был спектакль в детской комнате, и одна девочка, Ися Абель*, Верина подруга, с прелестным нежным личиком, изображала ангела и появлялась из-за комода. На ней была надета длинная ночная руба-

* У этой девочки в дальнейшем была трагичная судьба. Она была единственной дочерью у своих родителей, и, когда в начале революции они оба умерли от испанки, девушка бросилась под поезд, будучи не в силах вынести одиночество.

ха и привязаны крылья за спиной из марли и проволоки, и она очень походила на тех ангелов, которых я видела на рождественских открытках, стучащих в двери бедняков с большими звездами, приколотыми к жезлу.

Всегда, когда зажигали елку, приносили подносы с винными ягодами, орехами, финиками, вяземскими пряниками и прочими сластями, а мы, дети, декламировали. Папа сидел весь сияющий. Лучше всех была Варя. Она представляла цариц, которых видела в театре. Надев полотенце на голову и что-либо длинное и спускающееся до полу, она произносила диалоги, и все ее движения теряли вдруг обычную резвость и исполнялись горделивым царственным спокойствием, а лицо просто горело вдохновением. Лучше всего она изображала Магду из .... Папа очень любил, когда Варя играла. У нее было ярко выраженное сценическое дарование, и очень грустно, что ей не дали возможности (ошибка семьи) пойти по этому пути. Она вечно играла, и, так как ей не хватало сцены, — она играла в жизни, и под конец уже нельзя было отличить, когда она только играет и когда она действительно переживает, да и сама она, я думаю, этого не знала.

После у нас стали украшать елку только снегом и свечами (ах, этот декаданс!), и как же скучно было смотреть на это дерево! Мне думалось, что все немного притворяются, восхищаясь «строгой прелестью и иллюзией настоящей снежной елки». Курсистки — Алины подруги, — усталые от экзаменов, садились на диван, кутаясь в серые вязаные платки, и декламировали «Умирающего лебедя». Какая тоска! Это вместо золотых орехов, пряников, яблок, хлопушек, от которых деревцо гнулось, но продолжало весело полыхать огнями, уверяя, что ему совсем не тяжело, и источаться плодородием и добродушным весельем! «Пожалуйста, пожалуйста, я еще немного продержусь, а потом вы можете меня съесть!!»

За утренним кофе мы иногда получали открытки (с маркой, по почте, — гордость!), подписанные — «Папа», или «Папа и мама», или — очень часто — «Кое-кто»... Старшие сестры получали какие-нибудь художественные репродукции, а мы, мелкота, — чаще всего «хорошенькие головки», иногда подкрашенные и посыпанные блестками. Папа думал, что это нам должно было очень нравиться, и даже когда мы все выросли и по всякому поводу уверяли, что «знаем весь Эрмитаж» *, — папа все продолжал присылать такие же открытки, а мы про себя смеялись, но ему не говорили. Если подписано было «Кое-кто», мы к нему пристава-

* Характерное выражение у нас: «Я всё видел», «все говорят», — обязательно — «все» и «всё».

ли, но он ни за что не сознавался и делал лукаво-невинное и даже несколько кокетливое лицо*.

Мне

(На обратной стороне изображена женщина, держащая в руках кувшин. У нее завитые волосы и платье с блестками. Подкрашено голубым). (Год 1911, 1912?)

Моей шалунье,
Моей резвости.
Знаменитому Пучку
И дочери.
Папа.
Христос Воскресе! Целую!

Никогда не узнаешь,
какой друг написал.
Этот друг о тебе
вспоминает
и даже слезы льет,

---

* Вот надписи на открытках, которые сохранились.

«Милая Таня!

Папа тебя всегда любит видеть за роялью, когда ты играешь грустную песенку. Поэтому он купил эту картинку и посылает тебе. Христос Воскресе!

Твой папа.

(1906 г.; на обратной стороне «Маленький Гендель» — ночью играет на рояле.)

Если кто говорит и ничего не разберешь, — знай, это Таня! Если кто подпрыгивает на одном месте, как козочка, — знай, это Таня. Но если кто помнит добро, — то это тоже Таня. Кто подслушивает, любопытствует, — это все Таня.

Почтальон.

(1907 г.; на обратной стороне — поющие ангелы «С Рождеством Хр.».)

С Р. Х.!

Моя Танечка! Радуй нас на будущий год, как радовала этот. Мы всем тобою довольны.

Папа и мама.

(1909—1910 г. примерно; на обратной стороне — Мадонна Рафаэля.)

потому что ты его
мало любишь.

Кое-кто
(1913 г.)

(На обратной стороне — девочка с шарфом на голове, заколотом розами. Подкрашено.)

Когда мне было уже 13 лет, папа подарил мне сказку «Лесная царевна» (изд. Кнебель) с надписью:

> На память о дорогой «Дюймовочке», как ее читала и перечитывала наша с мамой милая дочка Надюша — последняя теперь красная девочка «Дюймовочка», купленная ей папою.
>
> 31 марта 1914 г.
>
> Папа Надин
>
> В. Розанов.

В этой сказке «Лесная царевна» нарисована в красном платьице и золотой короне, потому папа называет ее «красной Дюймовочкой».

Дюймовочку Андерсена я очень любила, и папа поэтому часто звал меня этим именем.

Когда ко мне пришли подруги, я спрятала книжку, так как мне было очень стыдно, что папа забывает, что я уже большая, и все еще дарит мне сказки.

Глава 10

Вспоминая детство, я не помню себя отдельно с мамой. Мама всегда в доме, всегда в заботе о нас, но вот с мамой наедине, — интимно, в «душевном касании» я не помню. Думаю, что и другие дети — тоже, за исключением Тани, которая жизненно пребывала с родителями.

С Алей — наоборот. Аля отчасти заменяла нам маму, у которой не хватало сил для нас (болезни), столь разных по характеру и трудных для воспитания. Аля любила нас страстно, даже до болезненности. Иногда она вставала ночью и наклонялась над нашими кроватями, прислушиваясь — «дышим ли мы?», так как вечно была полна страхов, что с нами что-нибудь случится. Мы отвечали Але той же нежностью и даже влюбленностью. Вера посвящала ей стихи и клала их ей потихоньку на стол. (АЛЕ. «У Али где-нибудь есть крылушки. Она такая добрая и хорошая и милая, что подумаешь, что это — ангел»).

Аля очень много внесла в нашу духовную жизнь. Когда мы ложились спать, мы с волнением ждали ее прихода, — она присаживалась на кровать к кому-нибудь из нас и рассказывала сказки. Вера тоже рассказывала, всегда очень страшные, отчего мы дрожали и не могли заснуть

(вроде игры в «потемки»), но все же это было не то, что Аля, которая рассказывала незабываемые по красоте сказанья. Помню, как чудесно она рассказывала о «Зигфриде», а потом о «Рустеме и Зорабе», и мы слушали, затаив дыхание в совершенном трепете. Она рассказывала в продолжение нескольких вечеров, и ожиданье их делало весь день праздничным. Как же хорошо, что она пренебрегла правилом тушить свет сразу после того, «как дети лягут», и вносила в нашу детскую кусочек чудесного, волшебного мира, к которому мы все были так жадны! Как бы мы ни расшалились, одна ее угроза, что она не придет к нам вечером, делала то, что мы моментально становились кроткими и послушными, как ягнята.

С Алей всегда был как бы «немножечко праздник» (в противоположность маме). Когда идешь гулять, она непременно придумает какой-нибудь сюрприз, хотя бы купит шоколадную плиточку с орехами или поведет в кино, где мы с одинаковым волненьем, держа друг друга за руки, смотрим с ней ужасные драмы; если забежишь к ней в комнату, — обязательно достанет из своего шкафчика плитку «Галла-Петер», который у нее не переводится. Даже в простом домашнем платье, обычно черном, она выглядела все-таки празднично.

Аля была очень высока ростом, но удивительно легка, воздушна. Я, девочка, легко ее поднимала, несмотря на ее рост. Лицом она не была красива (единственно красивы были руки, — узкие и длинные), так как благодаря пороку сердца у нее на лице были красные пятна, от которых она вечно лечилась... Но все ее движения и ласки были исполнены женственного очарования, которое привлекало к ней решительно всех, кто ее знал...

Странные были ее глаза и улыбка, — ничего нельзя было прочесть в них — смеется она или грустит...

Глава 11

Теперь Варя и Вася тоже учатся. Варя вместе с Таней в школе Левицкой в Царском Селе, Вера — в Стоюнинской гимназии, куда и меня собираются отдать, а Вася — в Тенишевском училище. У Вари и Тани форма: синий английский костюм, белая фланелевая блузка, красный галстук и пояс и значок подснежника (эмблема школы) на красной кепочке. У Веры — голубой закрытый передник, а у Васи — никакой формы, только новенький ранец за плечами. Иногда с Домной Васильевной я захожу к Вере в гимназию и всегда вижу ее несущейся вихрем по лестнице или бегающей с ватагой девочек в гимназическом саду, с распущенными волосами. Она совсем мальчик по виду.

Теперь я одна завтракаю со взрослыми, папа, как всегда, сидит, поджав ногу, и никогда не ест сладкое, а пьет чай с черной («блестящей») корочкой, и если ему предлагают конфеты, — он даже сердится. «Вот мое сладкое!» — говорит он, отламывая хлебную корочку. За завтраком всегда одно и то же: котлеты, гречневая каша с распущенным маслом и печеный картофель, обтертый солью. После завтрака мне дают яблоко. Можно сказать, что все свое детство я просидела с открытым ртом, готовая проглотить ложку.

Мне всегда доставались вещи моих сестер, из которых они вырастали, так что мне никогда не шили «новое», и я говорила, что единственное в доме новое я имею еду, потому я к ней хорошо отношусь.

Аля готовила меня для поступления в гимназию. Так вот, как сейчас вижу, — утро, я бегу с книжками в Алину комнату, и мы весело болтаем, смеемся, шутим. Аля дает мне деревянную коробочку с кольцами, чтобы поиграть с ней, а сама укладывает волосы короной вокруг головы (у нее очень длинные волосы и совсем золотистые) и садится на маленький диванчик сбоку от стола, где сижу я, против окна. Мы обе знаем, что омрачает и сделает нас несчастными в наш очередной урок, и поэтому мы немного плутуем и откладываем его напоследок. Первое — Закон Божий, который я очень люблю и могу без конца рассказывать о Гефсиманском саде и Голгофе. Потом: чтение и письмо, — все идет отлично, стихи мне ничего не стоит запомнить, и я декламирую их с должным выражением и пафосом. Но теперь уже все... теперь начинается наше взаимное мученье. Мы все еще энергичны и веселы, во всяком случае мы притворяемся такими... На столе появляется задачник. Аля с мольбой призывает к себе терпенье, а мне хоть капельку здравого смысла и, указав на очередную задачу, — откидывается на свой диванчик. Я читаю вслух и ничего не понимаю... «Ну, как, Пучок, поняла?»... Ее тон утрированно ласков. Я бодро киваю головой, но я ничего не поняла. Аля это знает отлично. Я знаю, что она втайне так же, как и я, ненавидит этот мерзкий задачник, — эти поезда, которые, не спросясь нашего желания, мчатся в разные стороны, эти бочки, которые безудержно изливаются целыми ведрами. Я готова весь день просидеть около них, затыкая их пальцем, вместо того чтобы высчитывать потом!.. Я медленно переписываю задачу, насколько возможно оттягиваю время и тщательно закругляю цифры... Ну, теперь уже все! Последнее слово, — «решенье», — которое я вывожу с бесконечной медлительностью, волей-неволей уместилось в должные клеточки. Я тру лоб, закрываюсь от Али ладонями, будто усиленно думаю, и тупо смотрю на бумагу. Я знаю, что Аля наблюдает за мной, и слышу ее голос, так сладко приправленный, но внутри кипящий почти ненавистью... «Ну, как?» — «Сейчас, Алечка!» Я знаю, что сейчас ее лицо из доброго превратится в чужое, враждебное, ненавистное, и предчувствие этих минут

для меня страшнее всякого наказания. Наказание отдельно, само по себе, совершенно не страшно: если бы наказывали с веселым и добрым лицом, — одно удовольствие! Но вот эти перемены в лице меня наполняют невыразимой тревогой. Я слышу знакомый хруст пальцев. Аля выходит из себя, молит о терпении: с отчаянной решимостью я подглядываю решенье — подвожу черту и быстро ставлю нужную цифру. Аля берет тетрадь, и через минуту тетрадь летит на пол: слезы, крик, ломанье рук, — Аля в бессилье на кровати, — с ней очередной сердечный припадок. Меня, как преступника, выталкивают из комнаты, потом призывают, и вскоре мы лежим друг у друга в объятиях, обе равно несчастные, обильно поливая друг друга слезами и давая обещанья... которые все равно — мы знаем — бессильны когда-либо выполнить. Эти детские уроки по арифметике вызвали во мне не только величайшее отвращение ко всему, что касается математики, но и внушили мне глубочайшее убеждение в абсолютной моей тупости, в невозможности никогда ничего в ней понять, так что даже не стоит и пытаться понимать, и в дальнейшем я придерживалась того же мнения. Я окончила гимназию, ни разу не сделав самостоятельно задачи. Все люди в моем представлении делились на людей, любящих и понимающих математику (сверхчеловеков!), и на людей непонимающих, обыкновенных, с кем общение уже возможно.

Признаться, я и теперь от этого не свободна!

Глава 12 (Театр)

Театр мы, все дети, очень любили, но по мере вырастания старшие сестры охладевали к нему, только у Вари влечение к нему осталось навсегда. Я же в дальнейшем больше всего любила ожиданье, блеск, нарядную праздничную толпу, а главное, закрытый занавес, навсегда сохранивший для меня свое очарование. То же, что представляли на сцене, меня редко удовлетворяло. Ожидание всегда было лучше, может быть, потому, что я не видела замечательных актеров.

В театр меня первый раз взяли на «12 братьев» («Дикие лебеди» Андерсена), и, конечно, я была вся в трепете, — там были эльфы, феи, принцы и злые колдуньи, и дома я убегала в темную комнату и ... все то, что видела на сцене. Потом меня взяли на «Руслана и Людмилу», и Таня перед этим объяснила мне, что будут только петь и не скажут — «Подай самовар!», а «П-о-о-дай са-а-мо-вар!» Я не понимала, для чего это нужно. В театре, сидя в ложе, я умирала от волненья, глядя на закрытый занавес, ожидая, что вот-вот он взовьется и передо мной откроется «мой» волшебный мир, и не могла понять, почему в оркестре так хорошо играют, а публика все ходит, свет не тушат, и занавес не подымается. Среди оперы мне стало скучно. Я ничего не понимала, — пенье мне надоело, и я оживлялась только тогда, когда появлялся Черномор или тан-

цевали феи. Но чарующее и незабываемое впечатление (уже позднее) оставила во мне «Синяя птица», когда приезжала труппа Художественного театра и играла в Михайловском театре. В дальнейшем воспоминания об этой сказке сводились к одному сияющему синему-синему свету и порхающим золотым птицам. Это так напоминало мои детские сны! Чудная сказка! И Метерлинка я гораздо глубже, выразительнее почувствовала тогда, чем позднее, спустя двадцать лет. Захотелось пережить прежнее очарование, я пошла вторично и взглянула уже серым, скучным глазом. Кот походил на Милюкова, а пес на одного знакомого. И не увидела ни этого удивительного синего света и сияющих птиц — просто темноту и лучи прожектора.

Никогда не надо пытаться пережить то, что некогда было пережито душой, такой еще свежей и так жадно раскрытой миру...

Однажды мы с Васей испытали жестокое разочарование.

Папа подарил нам по рублю, и мы решили пойти в театр. Из всех названий в репертуаре нас больше всего заинтересовали «Мертвые души», которые шли в Народном доме. У папы есть чудная статья «Как хорошо иногда не понимать» («Среди художников»). Папа прямо волшебник! Кажется, он подглядел в нашу детскую, когда мы с Васей не спали и всю ночь шептались, думая о тех ужасах, которые завтра увидим, — конечно, кладбище, мертвеца, привиденье! Уже с поднятием занавеса мы держали пари, в какую из трех дверей войдет привидение.

Боже, как мы томились и ерзали на стульях, видя обыкновенных людей!.. Но все еще надеялись, что в следующей сцене непременно будут мертвые. Ведь сказано же в заглавии!

Уходили мы из театра — мрачные, молчаливые, жалея свои рубли и чувствуя себя обманутыми.

Глава 13 (Гимназия)

Я не помню, как я пошла первый раз в гимназию, не помню и самого экзамена, но отлично помню свое возвращение: наверху, на площадке лестницы, стоят папа, мама и Аля, все трое слитые воедино, в одно общее чувство глубочайшего негодования и даже презрения, а я медленно поднимаюсь по ступенькам, всем телом ощущая давление сверху чего-то тяжелого, гнетущего. Из этого я заключаю, что я провалилась и, конечно, по арифметике! Вероятно, увидев задачу на доске, я просто в отчаянии отвернулась, зная, что не могу ее решить. Думаю, что по отдельным предметам было благополучно, так как переэкзаменовки не было, и я была принята.

Первый гимназический год! Утро. Я иду с Домной Васильевной, — с ранцем за плечами и корзиночкой завтрака в руке. Молочный туман стоит стеной вокруг меня, и тускло пробивается свет утренних фонарей. Морды лошадей, вынырнув на мгновение, снова теряются в неизвестно-

сти, и откуда-то доносятся окрики извозчиков. Домна Васильевна простится у дверей, и несколько мгновений я вижу ее острое черное перо, а потом и оно становится серым, прозрачным, и вся она растворяется в тумане. А в гимназии — сумерки, горят электрические лампы и много чужих маленьких девочек, так бегло решающих задачки у доски, из которых ни одна не хочет с тобой дружить!

Мама в последний раз остригла мне волосы на лето перед поступлением в гимназию, а там все девочки были с косами, и только их и любили. В классе были две девочки-подруги — Муха Гвоздева и Малиновская, — обе с длинными по пояс косами, и их называли «королевами», и они всеми командовали. Меня же никто никогда не принимал в игру (прыганье через веревку) и называли «мальчиком». Помню, что, когда Домна Васильевна вела нас с Васей в церковь, обоих одинаково одетых, — старухи толкали меня в спину и шипели: «Мальчик, сними шляпу!», и я со слезами на глазах должна была всем объяснять, что я — девочка. Я тоже хотела быть «королевой», как Гвоздева и Малиновская, и страстно мечтала о длинных волосах. На ночь я повязывала голову шарфом, закручивала концы наподобие кос и всячески играла ими, как будто у меня действительно были волосы.

Учительница, классная дама Марья Семеновна, в пенсне и с неизменными спицами в руках, меня не любила. Другие девочки, будучи дежурными, умели делать салфеточки из бумаги, вырезая ножницами хорошенькие узоры, и класть их на кафедру, а я ничего этого не умела, и тетради мои были в кляксах, и сама я всегда перемазывалась чернилами, раньше чем бралась за вставочку. Я сидела на самой последней парте, около окна, и, глядя на улицу, с тоской думала, что столько лет придется испытывать эту муку.

Вера прибегала ко мне в перемену, и в ней одной я чувствовала опору в своем одиночестве, и еще я всегда старалась встретить на лестнице Верину учительницу русского языка — Ольгу Николаевну Тиблен, — худенькую, маленькую с добрыми грустными глазами, которая, обняв меня, ласково трепала торчащую прядь волос над моим лбом, называя меня «петушком». Потом она была и моей учительницей. Папа, будучи в дурном настроении, увидев какую-то тему сочинения у Веры, рассердился и обругал Ольгу Николаевну в газете, но эта благородная женщина не только не проявила какой-либо обиды на нас, но всегда очень тепло относилась к нам, и мы ее любили всем сердцем.

Глава 14

Только когда мы с Васей и Домной Васильевной ходили покупать новые тетради в маленький подвальчик на углу Кабинетской и Ивановской улицы, я чувствовала себя счастливой, — мы покупали тут разные



цветные ленточки и переводные картинки и еще рельефные картинки в виде почтовых голубей и роз, которые дома приклеивали с ленточкой к промокашке, а что лучше всего — покупали дешевенькие сказки в издании Горбунова-Посадова со множеством ярких картинок, так хорошо пахнущих типографской краской, с еще слипшимися страницами.

Единственным светлым пятном были уроки музыки. Даже гаммы я играла с наслаждением, сама удивляясь, как из-под моих пальцев бегут какие-то звуки, и воображая себя настоящим музыкантом. Но когда приходила мама, все очарование проходило. Она садилась рядом, с озабоченным лицом, в своей серенькой в клетку шелковой блузке, и поминутно ногтями проводила по ней. Этот звук меня терзал! Мама не умела читать ноты, но не сводила с них глаз, дабы внушить мне уверенность, что никакие мои ошибки и злонамеренья не ускользнут от ее наблюдения. Она заставляла меня играть по часам, без перерыва, так как подозревала меня в лени (старшие сестры не любили играть), а я только и думала, что вот-вот она опять ногтями проведет по шелку, томилась и ерзала на вертушке-стуле.

Я не обладала музыкальным слухом и не обнаруживала никаких способностей к музыке, но учительница любила меня за старанье, и я уже играла на классных вечеринках маленькие пьесы, как однажды, придя домой, мне сказали, что урока не будет, так как мне полезнее больше кататься на коньках, чем сидеть за роялем. Обидно! Каток я ненавидела. Мы ходили с Домной Васильевной, и у меня поминутно замерзали ноги, а Домна Васильевна не позволяла часто бегать в «грелку», говоря, что я должна кататься, а не стоять около печки, и я снова бежала на лед, но всегда с окоченевшими ногами. И я ненавидела этот морозный солнечный день, когда каждый предмет стоит выпукло-обнаженный в своих четких границах, так неуютно и холодно вокруг!

Эта нелюбовь к зимним солнечным дням у меня осталась навсегда. Только в зрелые годы я иногда любила такие дни, когда все деревья стоят сверкающие и запушенные снегом на фоне синего неба, но там была мягкость всех очертаний.

Я была слабого здоровья, и, кроме того, врач нашел у меня искривление позвоночника и посоветовал сделать гипсовый корсет.

Мы поехали с мамой к Лесгафту, где меня раздели и подвесили, облепив какой-то массой. Когда мы вернулись домой, все были в отчаянии, особенно Аня, так как круглые сутки я должна была находиться в этом гипсе, что при моей живости было бы крайне мучительно. Меня это заинтересовало, а кроме самой новости мне нравилось, что дома меня все жалеют и волнуются, и я сама себя приятно жалела.

Но родители не решились на это лечение, а через год или два приехала княжна В. Гедройц, придворный хирург и в прошлом папина ученица

(в гимназии), и, осмотрев меня, просто велела лежать каждый день подолгу на голом полу. И летом мы лежали вместе с мамой, которая принимала солнечные ванны в черном батистовом капоте, а я лежала рядом с плиточкой шоколада, которую мне давали «в утешение». Но мне нисколько не было трудно, так как, лежа, я всегда придумывала сказки.

Глава 15

В 1908–1909 году мы жили летом в Финляндии, в Териоках (деревня Лепенень). У меня остались скучные воспоминания о холодном сером море, за версту от берега которого высился длинный и плоский камень, о пляже, в песке которого торчали палочки сухого выветрившегося тростника и лежали груды одних и тех же раковин («беззубок»), а вдоль берега тянулись ряды кабинок для купанья. Мама сидела на берегу в белой войлочной шляпе, с мохнатой простыней и с часами в руках, и не позволяла нам долго купаться, а мы, в розовых полосатых костюмах, ползали на животе около самого берега, перебирая руками дно и изо всех сил брызгая ногами, кричали: «Мамочка, ты только посмотри, как мы плаваем!» Но мама отвечала: «Десять минут прошло, дети, выходите сейчас же!»

У нас была лодка, в которой мы ежедневно далеко заплывали в море и руками ловили шары, всевозможные хитроумные приманки для рыб. Помню, нам весело было тогда ловить руками колюшек и в песке устраивать каналы от моря, так что в наших песчаных крепостях образовывались большие водоемы, куда свободно заплывали маленькие рыбешки, и все же в памяти моей встают только бессолнечные хвойные сады, дорожки которых усыпаны сухими иглами, дачи, стоящие забор к забору, и широкое скучное шоссе, по краям обложенное кусочками острого гранита, в канавах которого мы искали сморчков.

Но у меня остались хорошие воспоминания, как Вася, я и Домна Васильевна ранней весной поехали в Териоки одни, — старшие еще учились. Кругом не было дачников, и мы жили, как островитяне. Домна Васильевна жарила нам блины к ужину на больших сковородках, а не на обычных, и это было так приятно!.. Прямо к даче прилегал луг, а от него на пригорке начинался бор, и тут впервые я увидела подснежники, еле видные под нерастаявшим снегом, которых потом совсем не любила, так как они были связаны с воспоминаниями гимназических экскурсий. Всегда привязанные к корзиночке с завтраком, они своими поникшими головками и вялой листвой были живым олицетворением унылых петербургских окрестностей. Но тут они меня очаровали, точно я увидела таинственную жизнь под землей, пока еще другой глаз не подсмотрел. Свежесть их листьев, таких упругих и нежных, была совсем не такой, как в городе!..

Мы копали огороды, засевали цветочные клумбы, и в тряпочках на блюдце у нас прорастали огуречные семечки... У нас появился лучший друг «Яло», — так звал его Вася, — черный мохнатый пудель, который ходил за нами по пятам. Мы его особенно любили за то, что сзади, около хвоста, благодаря длинной шерсти, у него висели бубенчики, и когда взрослые говорили, что их надо срезать, мы волновались и кричали, что от этой операции «Яло непременно умрет!».

Животных мы очень любили, но нам никогда не разрешали держать собак или кошек, так как мама, зная нашу порывистость, считала нас неспособными к разумному и терпеливому уходу и разрешала только канарейку, а мы очень просили и приставали к папе, чтоб он подарил нам жеребенка, которого купить очень выгодно, — «он стоит всего три рубля», — и папа соглашался, только чтобы мы ему не надоедали.

За грибами мы ходили рано, вместе с Домной Васильевной, но я не любила это раннее вставанье, так как не могла пить натощак холодное молоко. Кроме того, я испытывала неприятную внутреннюю дрожь и, войдя в лес, быстро продрагивала от утреннего холода, чувствуя болезненное ощущение во всем теле, вернее, в «поверхности кожи». Особенно неприятна с этой дрожью была и вечная паутина, опутывающая лицо. Но Таня всегда была очень оживленная, и ее красный бантик в косе быстро мелькал между деревьями, и она кричала: «Еще один белый! Вот красный! Это мой!» Она была мастерица искать и находить самые незаметные грибы, чуть выглядывающие из-под земли или прикрытые листьями. А я была большой разиней и видела только тогда, когда кто-нибудь кидался сорвать, и я спешила перегнать и уже смотрела не на землю, а по направлению чужих взглядов. Моя корзинка была наполнена сыроежками, которых старшие даже не брали, а, кроме того, волнуясь, что у других больше, я плутовала и клала червивые, чтобы не отставать от них. Но на обратном пути Домна Васильевна и Таня, усевшись под деревом, с ножом разбирали грибы, и когда очередь доходила до моей корзинки, больше половины из них выкидывали... Мне бы только до дому донести, чтобы показать, что у меня не меньше. Но Таня и Домна Васильевна говорили, что черви из моих грибов переползут в другие и заразят их, и я шла с пустой корзинкой и надутыми губами. Но я очень любила в полдень собирать ягоды. В Финляндии черника растет целыми зарослями. Мы, тройка, бежали, растопырив руки, охваченные жадностью, и кричали: «Моя плантация!» И тут же, не сходя с места, наполняли свои кружки, а также и рты.

Как-то к вечеру пошли мы в лес, недалеко от дому, за маслятами и, рассыпавшись в разные стороны, время от времени аукались друг с другом. Маслята растут целыми семьями. И они реже бывают червивыми, чем красные, подберезовики, так что я была полна воодушевления,

что принесу не меньше других, и совсем забыла о времени... «Вот еще эту семейку соберу!» — думалось мне... Когда же я опомнилась и окликнула своих, то в ответ услышала только эхо. Я начала кричать и звать, но в ответ слышала только свой голос. Место мне было хорошо знакомо, и дача наша была недалеко, но я моментально почувствовала одиночество и потерянность, которых боялась с младенчества, — «Меня все забыли, и я навсегда останусь в лесу и умру здесь...» Желая себя успокоить, я говорила, что сейчас ко мне придет принц в зеленой тирольской шапочке с пером и спасет меня. Но в лесу было тихо и уже начинало смеркаться, и мне делалось все страшнее и страшнее. «Но принц придет, непременно придет!» — кричала я, уже заливаясь слезами и бегая между елочками. В это время я повстречала дачников и попала на такое место, откуда дача наша была видна. Меня еще не хватились — времени прошло мало, это мне «со страху показалось», и вся семья садилась ужинать на террасе. Я побежала мыть руки, очень счастливая, что пришла домой, и ничего не сказала о своих страхах, так как стыдилась показать себя трусихой.

Глава 16

В 1910 году отец с матерью вместе с Еленой Сергеевной Левицкой отправились за границу, в Германию. Мама ездила лечиться. В последний раз они путешествовали, так как, вернувшись из-за границы, мама заболела, — у нее случился удар, от которого она никогда уже не смогла оправиться. А мы, дети, с Алей и Домной Васильевной поехали в Малороссию, в местечко Ярейски, Полтавской губернии.

Дача, которую подыскали для нас наши знакомые Лихачевы, находилась далеко от станции, в глухой деревне. Когда мы подъехали, то увидели большой белый дом с колоннами, с широкой и красивой террасой. Но как только мы вступили на лестницу, моментально обвалились несколько ступенек. С удивлением мы вошли в дом. Десять огромных, совершенно пустых комнат как будто вымерли. Вошел дворник, — горбатый и одичалый, который с трудом отвечал на Алины вопросы. Только мы присели на стулья, — подломились ножки. Аля ходила с тревогой, ожидая, что вот-вот от одного нашего дыхания повалятся потолки. Кое-как допросились самовара. Накрыли на стол, но как только вздумали поставить его, — раздался треск, и стол повалился на бок. Большего развала нельзя было себе представить. Все рамы в окнах были гнилые, и ни одна дверь не запиралась. Нас, детей, это мало трогало, — мы радовались обилию комнат и мечтали, что у каждого из нас будет отдельная спальня (с момента, как мы научились говорить, — каждый из нас мечтал об отдельной комнате).

Вокруг дома был огромный запущенный сад с цветущим прудом и со множеством фруктовых деревьев.

У меня был большой резиновый мяч, и я побежала с ним на заросшую около дома площадку. Как обычно, со всех сторон сбежались деревенские ребятишки, с любопытством рассматривая городскую девочку. Больше всего их заинтересовал мяч, которого они никогда не видели, и, робко придвигаясь, чтобы дотронуться до него, они спросили — что это? Тогда я сделала таинственное лицо и прошептала: «Это черт. Он сидит внутри и прыгает». Ребята шарахнулись. Я ударила мечом о землю, и он высоко подскочил вверх. Моментально все дети с криком бросились в кусты. Я взяла мяч подмышку и важно шагала по пустой площадке. Я чувствовала себя настоящим «Куком» среди дикарей. Любопытство было сильнее страха, и постепенно ребятишки начали снова приближаться. Тогда я опять закричала: «Черт!» и бросила мяч, и они снова — горохом, врассыпную. Долго я их морочила. Это было страшно весело. Никто из детей не решался дотронуться до него пальцем, и я была в их глазах настоящим божеством, которое самого черта бесстрашно держит в руке.

Первая ночь в этом доме напугала все семейство. Кое-как мы разместились, устроив сенники и осторожно пробуя кровати, не доверяя их прочности. Аля была в подавленном состоянии, но мы, дети, быстро заснули, утомленные путешествием, как вдруг, среди ночи, нас разбудил шум и удары в дверь. А в дверях не было запоров и на ночь устроили болты. Они качались под напором. Кто-то кричал и пьяным голосом требовал впустить его в комнаты. Все было очень страшно. Ведь в доме не было мужчин, и Аля с Домной Васильевной были с нами одни. К двери приставили столы и стулья. Долго еще продолжались удары, потом все затихло. Кое-как дождались утра. Оказалось, что дворник, напившись до потери сознания, вздумал требовать денег. Он сам пришел извиниться наутро. Но Алины нервы не выдержали, и через несколько часов все испуганное семейство, еще не пережившее революцию и напуганное только пьяным дворником, — погрузило свои чемоданы на брички и бежало.

Но за время пребывания здесь произошло событие, памятное на всю жизнь. На дворе водилось много домашней птицы, и я, как все дети, очень любила цыплят. Я погналась за цыпленком, чтобы поймать и подержать его в руке, а он в испуге, изо всех сил махая крылышками, побежал к траве. Трава была очень высокая... и то тут, то там зигзагами мелькала его головка. Я никак не успевала схватить его... И вот тут произошло ужасное...

Я была в сандалиях (они скользят), и в тот момент, когда я уже нагнулась, чтобы схватить его, — цыпленок вдруг побежал обратно, прямо на меня, и попал под ноги. Я почувствовала особое ощущение (всегда помню) в подошве сандалии и поняла, что я его раздавила...

Я лежала на траве, не в силах взглянуть на свою жертву, в диком, слепом отчаянии. Все помертвело, застыло в природе. Как бы «земля остановилась»!

Никакие отчаянные самооправдания, что я только хотела его поцеловать, что я не виновата, меня не облегчали, не успокаивали.

Я чувствовала себя огромной, косной, безобразной, раздавившей маленькую чудесную и трепетную жизнь. Полное ощущение «каинства» и одна мысль: Вот я жила «до этого», и вот я теперь буду жить «после этого»!

Это первое сознание греха и преступности и мое отчаяние глубоко запали в душу.

Некоторое время мы жили на бивуаках, а потом устроились в нескольких верстах от этой дачи, у одного священника, который уступил нам половину своей квартиры.

Вера уже с этого лета почти не гуляла с нами (младшими). Она читала все время и ходила одна, а Таня, забрав ящичек с акварелью, рисовала окрестные пейзажи. Она любила рисовать и брала даже уроки.

В это лето мне больше запомнилась Варя. Она была очень упряма и с раннего детства проявляла характер, который не могли сломить никакие наказания. Ее дома прозвали «неукротимой». Аля нас всех страстно любила, но в отношении Вари этого не было, и хотя никогда она не сознавалась, мы, все дети, чувствовали, что Варю она не любит или не так любит, как всех остальных. Дети очень хорошо чувствуют неравенство в отношениях, и я болезненно переживала это ее равнодушие к Варе. Когда я была совсем маленькой, и мы жили в Гатчине (1906 г.), — Варя в чем-то провинилась, и Аля, войдя в детскую проститься с нами на ночь, сказала Варе, что она к ней не подойдет, так как она дурная девочка и что-то еще, но только в тоне ее я почувствовала что-то холодное, жесткое, совсем не такое, как бывало, когда Таня и папа сердятся и кричат... Я лежала лицом к стене с бьющимся сердцем. Когда Аля подошла поцеловать меня, я ей крикнула в слезах, что не хочу, чтоб она целовала меня, раз она Варю не любит... И странные люди — взрослые, — она рассердилась и, назвав меня капризной, ушла, не понимая, что в душе у меня была целая буря оттого, что мою сестру мои не любят.

В Малороссии мы однажды спрятали Варю в саду, думая, что Аля ее накажет за какую-то шалость, и до самой ночи она просидела в кустах, куда мы ей потихоньку носили еду. Я вызывающе глядела на Алю как на мучительницу Вари, страстно желая обнаружить в ней тревогу за ее исчезновение. Она была холодна и спокойна (конечно, она догадывалась, что Варя поблизости и беспокоиться нечего).

Варя, видя мою чувствительность, очень любила играть на ней. Ночью, когда мы лежали в постели, она рассказывала мне шепотом, что она

«подкидыш», что у нее другие отец и мать, намекая на каких-то «князей». Она никак не соглашалась признать себя не дворянского рода, — впоследствии она примирилась с отцом, — своей известностью он вносил некоторую поправку к неаристократическому происхождению. Но за мамой не числилось никаких заслуг, и поэтому она не могла рассчитывать иметь такую шикарную дочь. В выборе матери она долгое время колебалась между какой-то неопределенной княгиней и своей крестной матерью, — писательницей Микулич, — чей нарядный, элегантный облик вполне импонировал ей. В конце концов ее выбор уже остановился на ней, и бедный папа, который терпеть не мог Микулич и находился с ней в ссоре, по словам Вари, оказался связанным с ней более чем тесными узами.

Варя представлялась в моих глазах окутанной тайной, и я следила за ней тревожными глазами, а она очень мною командовала. Кроме того, меня удивлял ее характер, — ее накажут и посадят в чулан (ничего иного не могли придумать для ее усмирения), а Варя выйдет из чулана спустя некоторое время, гордо подняв голову, с усмешкой и никогда не попросит прощения. Я же была очень слабохарактерна, и можно сказать, что из меня можно было лепить, как из воска, только затронув «чувствительность»... Меня всегда пугали Алины сердечные припадки, которые, при ее мнительности, проходили особенно тяжело. Аля кричала, что она умирает и слепнет, и, слыша ее крики, я бросалась на кровать, зажимая пальцами уши, молилась и плакала от страха и жалости. Вот почему я так боялась, когда кто-нибудь из нас упрямится и грубит, не обращая внимания на то, что Аля волнуется, и вот сейчас — «это начнется»!

Я очень боялась ссор в доме и переживала их мучительно, с каким-то «потускнением» всего. «Вот сейчас начнут кричать и умрут», — казалось мне. Но в смысле шалостей я была равна со всеми. Варина же твердость и даже некоторая жесткость характера меня пугала, но вызывала одновременно уважение и удивление как противоположное мне. Но иногда проявлялась и ярость.

Животных мы никогда не мучили, а всегда с Васей поймаем мышонка, то, поцеловав в мордочку, посадим в картонную коробочку, проткнув в ней дырочку. Но Варя, которая вечно «играла», взяла на себя роль «жестокой». И однажды, когда мы втроем играли в саду и развели маленький костер, — бросила муравьев в костер. Впервые я почувствовала к ней ненависть, — она представлялась мне чудовищем, и я кинулась на нее с кулаками, не помня себя от ярости. Такие моменты ослепления и бешенства я неоднократно испытывала в жизни, и чаще всего к Варе. Но и во мне, как и во всех нас, проявлялась порой жажда нравственного мучительства. Несколько таких моментов осталось в моей памяти. Первый — на Кавказе, когда я, мучаясь сама, напугала своих сестер и Васю,

а второй — здесь, в Малороссии. Пришла дама с пятилетним мальчиком, и Аля, позвав меня, велела мне с ним заняться. Мне хотелось бегать, а совсем не возиться с мальчиком, и, уведя его в глубь сада, я тут же посадила его на ветку дерева. Сама же отбежала в сторону и спряталась. Поблизости была стреноженная лошадь, которая щипала траву. Передвигаясь с места на место, она подскакивала и при этом резко вскидывала голову. Она была совсем близко от дерева, и мальчик, испуганно схватившись за дерево, кричал и плакал. Я дразнила его и, подбежав на минутку, снова пряталась в кустах. Конечно, скоро я его сняла и, утерев ему слезы, преспокойно отвела его к матери. Но все же этот момент «мучительства», я прекрасно помню, — был.

Глава 18*

25 августа мы вернулись в Петербург уже в новую квартиру — Звенигородская, д. 18. Отец с матерью приехали раньше нас, и мама занялась ремонтом и подготовкой квартиры к нашему приезду, так что, когда мы вошли, — все сияло чистотой. Родители были очень довольны путешествием, — вид у мамы был цветущий, только она жаловалась на усталость от устройства новой квартиры.

Мама привезла мне из Берлина хорошенькое зеленое платьице, отделанное кружевами, а остальным детям также привезла подарки. Наша новая детская сияла белизной, и мы все чувствовали себя очень счастливыми и от встречи и от множества впечатлений. Все дома было ново и празднично.

Наступило 26 августа. И с этого дня весь дом повалился на бок.

Мама сидела за столом, — в белом матинэ, довольная и цветущая, — и разливала кофе. Потом папа и все дети разошлись по комнатам, а я осталась с Васей, мамой и Домной Васильевной за столом. Мама мыла чайную посуду, а я передавала чашки. Вдруг она, держа полотенце, подняла руку и, указывая Домне Васильевне на оставшуюся недомытой чашку, начала: «Передайте, пожалуй...» и, оборвав фразу, зашевелила губами, ее рука упала, и всем телом мама стала клониться набок и тяжело повалилась на пол... Мы кинулись к ней, зарыдали. Сбежались все. Папа, растерянный, с трясущимися губами, стал трясти маму за спину, думая, что она чем-то подавилась. Мама задыхалась и делала какие-то гримасы. Ее понесли на балкон, — мама все так же мучительно задыхалась, а вместо слов изо рта ее вырывалось какое-то мычание.

* В рукописи Гос. литературного музея этой главе предшествует краткая глава 17, начинающаяся словами: «Перед тем как вернуться в Петербург, мы поехали в Киев...» (*Ред.*)

Мы, дети, сбились в кучу, дрожа от страха и ничего не понимая, что случилось. Помню, как маму унесли в спальню, вызвали врача. Врач констатировал паралич...

Когда я приоткрыла дверь в одну из комнат, — то увидала папу... Он лежал ниц перед иконой и рыдал. Казалось, что кто-то подрубил ему ноги, и он всем телом рухнул на пол.

Стоя в церкви, я никогда не видала отца «молящимся», т. е. чтобы молитва разливалась по лицу (как у мамы). Обернешься на папу, — он стоит скрестив руки, с расширенными зрачками, пронзительно всматриваясь и вслушиваясь в то, что совершается в церкви, весь охваченный идеей, но не молитвой. А рыдающим я его никогда не видала ни до того, ни после. Здесь же вырывалась отчаянная мольба к Богу...

Не помню, когда нас пустили к маме... Она лежала в постели, а мы толпились у ее ног. Она смотрела на нас и, мучительно кося рот, пыталась что-то сказать...

Нам, детям, объяснили, что мама переутомилась с устройством квартиры, и с ней сделался нервный удар.

Так мы и думали, пока не стали взрослыми.

У мамы скоро возвратился дар речи. Потом она уже не лежала в постели, а папа купил ей передвижное кресло, и ее возили.

Помню, как первый раз маму подвезли в столовую к завтраку. Все ободрились или старались быть бодрыми: «Вот маме и лучше. Мама опять скоро будет здорова!» — говорили мы.

На мамином месте сидела Домна Васильевна и разливала чай. Мама же лежала в кресле и странно, будто чужой, гостьей чувствовала она себя среди нас. Она, казалось, говорила грустно: «Какая же я хозяйка дома теперь, когда не могу встать и пойти посмотреть за всем, что делается в доме. Теперь я завишу от всех. Теперь вы мне нужны, а я вам не нужна!»

Мама по природе была очень энергична и самостоятельна. А теперь она была принуждена, чтобы ее одевали и раздевали. И это причиняло ей невыразимое страдание. Сколько раз я видела, как она здоровой рукой обнимет за шею горничную, лицо сожмется в слезах, и, крепко целуя девушку в щеку, она твердит: «Спасибо, спасибо!»

Мама потом всю жизнь страдала от своей зависимости, и это перешло у нее в болезненную мнительность, что она всем в тягость и никому не хочется возиться с ней. «Мне Маня опять сделала больно, когда меня одевала. Она нарочно делает всегда больно», — говорит, бывало, мама, сидя за столом.

Когда я однажды пришла из гимназии, то не узнала маму. Она остригла свою чудную каштановую косу и выглядела такой чужой и странной. И это был как бы первый укор всем!

Понемногу мама стала ходить, тяжело опираясь на палку, а потом даже и сама подыматься с дивана. Рука ее всегда висела беспомощно плетью с чуть согнутыми пальцами вовнутрь, к ложбиночке, всегда холодная и такая нежная, шелковистая! У мамы были очень хорошенькие руки — маленькие и женственные. Из нас, детей, никто не унаследовал их.

Жизнь же наша потекла своим чередом. Мамина болезнь для нас, детей, стала привычной. Но в доме уже никогда не дышалось легко. Мы росли, шумели, бунтовали, но — всегда ударялись в стенку. Шалостей мы преодолеть не могли, но постоянно ощущали душевное беспокойство: «Мы просто разбойники!», как нам говорят.

Мама же вечно лежала на диване, сжав на груди свою больную руку, — в спальне, двери которой непременно должны быть открытыми: «Руки нет, ноги нет, я не могу поспеть за всеми и буду смотреть, что вы все делаете и куда вы все спешите».

А то, что мы делали, маме чаще всего казалось дурным.

Дом, в котором мы жили, был расположен недалеко от Семеновского плаца. Он был неправильно выстроен — все полы в квартире были с резким наклоном, и при каждом шуме проезжающей телеги дом весь трясся. Родители, а главным образом Аля, постоянно говорили, что дом непременно обвалится, и своим страхом заражали и нас, детей. Я боялась спать. В нашей детской балконная дверь, и от уличного фонаря ложатся на полу светлые холодные пятна, четко рисуя ее переплет. От проезжающей телеги дом ежеминутно дрожит. Все время прислушиваешься — вот-вот сейчас начнется! У папы есть толстая книга с иллюстрациями — Библия, а там есть картина, как Самсон разрушает храм, расшатывая колонны. Вот сейчас так и будет — повалится потолок, рухнут стены и мы все провалимся в нижний этаж. А сверху на нас еще — этажи, крыша! Ах, скорее бы ночь проходила! Стоишь в кровати и молишься: «Господи, сделай так, чтобы только не сейчас, не сегодня, пусть завтра, но только бы не сейчас!»

Днем в гимназии, среди уроков, игр, шалостей, среди конкретности всех окружающих — ночные страхи забывались. Вспоминая детство, я думаю, что эта тревога началась только с этой квартиры, а именно от кривых полов и дрожащих стен, но, кажется, она началась и раньше... не помню, только после она уже не проходила. Моя жизнерадостность всегда побеждала, и все же, идя из гимназии, уже подымаясь по лестнице, я испытывала страх и некоторую тревогу. Кажется, у всех нас, детей, имелись тайны — маленькие тетрадки, в которых мы записывали самое важное и тщательно их скрывали и только в минуты особой дружбы мы посвящали в них других. Я помню свою тайну — маленькая синяя тетрадь — $^{1}/_{4}$ обыкновенной школьной тетради, — где нарисовано «Надя

спит», «Надя ест», «Надя молится» и «Надя умирает». (Такая тетрадь была и у Вари.) Я думала, что только эти четыре божества осветят мой жизненный путь, и вполне ими довольствовалась. Но у папы в бумагах я недавно нашла другие «наши тайны». Моя и Варина «тайна» записаны вместе в одной тетради.

Варина тайна

«Я собираюсь себя убить, но моя душа говорит, — не убивай себя, — это грешно! Я ночь целую (всю) молюсь, чтобы мне жилось хорошо. Мне страшно всегда ночью бывает, — я всегда целую образ, каждую минуту. Когда я целую образ, мне всегда бывает лучше».

Конец тайне Вариной.

Надина тайна

«Мне всегда ночью страшно. Я думаю, что дом горит. Я думаю, что я себя убью».

Когда весной 1906 года мы ехали на дачу в Гатчину, папа нашел у Веры ее «тайну» и ее «мечту».

Тайна — 9 лет

«Однажды, когда я была в театре на Пиковой даме, мне очень понравился один мужчина, который там приставлял, и я его полюбила, и теперь я помню его лицо.

О, это было задумчивое лицо, сидя в театре у меня текли слезы, я думала, что он увидит их, а он и меня не видел. С большим горем пришла я домой в этот одинокий дом и, упав около кушетки, я плакала и плакала... Но эти слезы не были капризные и злые: о нет, — эти слезы были (от?) печали, которых вперед (прежде) у меня не было.

Я знаю, что он меня не знает и не думает, что какая-нибудь девочка и полюбит его и ему и в голову это не приходило. Он может быть и женат.

О, как грустно! С этих пор я стала грустна и ни за что не выйду замуж. Пусть он выходит замуж, не будет знать он печали, а я буду жить печально. И как камень лежит у меня на душе».

Мечта

«Когда я буду большая, я буду жить в маленькой комнате. Я никогда не буду жената и умру неженатой.

Я полюбила его, и за другого я не хочу и хочу подражать Матери Божьей, которая тоже не была жената. И это исполнится наверное. Я так уверена, как еще в жизни не была уверена».

«Мечта» ее разительна! В свои 9 лет она вещe угадала свою судьбу...

Глава 19

Кроме Тани, которая рано стала тиха и задумчива, мы все, остальные дети, были очень шумливы. Аля рассказывала, что всегда со страхом приходила к Варе в гимназию, стараясь не встретить ее классную даму — Людмилу Владимировну Лосскую, жену проф. Лосского (урожденную Стоюнину), но та, только завидев ее, бежала за ней «развальцей» и кричала: «Александра Михайловна, одну минуточку, подождите!» Аля летела стремглав, делая вид, что не слышит ее окликов, но Людмила Владимировна пересекала ей путь и, теребя золотую цепочку от часов, приколотую к синему переднику, слегка шепелявя, начинала длительное повествование об очередных Вериных шалостях. Она была первой шалуньей и за пределами своего класса; училась довольно хорошо, но могла учиться гораздо лучше, так как была способная, но предпочитала вместо уроков всю ночь напролет читать книги; великолепно делала гимнастику (бег) и славилась танцами.

Таня — любимица папы и мамы, — у нее отдельная комната, которую мама всю неделю держит запертой на ключ (до ее приезда из школы Левицкой в субботу), чтобы мы, дети, туда не забрались и не навели бы ей беспорядка, — и мама к ее приезду ставит в вазочку живые цветы... Таня никогда не шалит, всегда о чем-то советуется с мамой, и к нам, детям, относится как к неодушевленным предметам, то целует, тискает и поет при этом глупую песенку своего сочинения: «Что бывает лучше, как пороть детей!», а то вдруг заволнуется, накричит и велит наказать. За это мы на нее злимся и ее боимся больше мамы и папы. Они все сделают так, как Таня скажет... Кроме того, она помешана на чистоте, не доверяет никому и присутствует за нашим вечерним умываньем. Когда мы размещаемся в кроватях, Таня быстро обегает нас всех, тормоша, покрывая короткими, частыми поцелуями наши головы, спины, ноги, среди запыхания и смеха, отчего мы всячески стараемся освободиться. Но, внезапно обеспокоившись, она откидывает одеяло и тут обнаруживает наши грязные пятки! Она всплескивает руками и испускает крик ужаса! «Вы совершенные дикари, — кричит она пронзительным голосом, — вы определенные дикари, и вас следует отдать в воспитательный дом!» И как мы ни убеждаем ее, что это природный цвет нашей кожи, Таня уже несет таз с губкой и с остервенением принимается за мытье. А то поймает, посадит рядом и тут сразу вынимает шпильку и начинается пытка — чистка ушей! Как она нас донимала!

Как-то однажды летом мы все гуляли в лесу, а я думаю: «Вот позлю Татьянку, скажу, что уши не мыла». Сорвала траву тимофеевку и сунула щеточку в ухо. Подбежала к Тане и дразню: «А у меня уши грязные!» Таня меня за руку схватила, а я хочу траву вынуть и не могу, — она все

глубже уходит внутрь. Я испугалась и убежала. Дома я ничего не сказала, но от боли не могла спать и все прижималась ухом к подушке, думала, что умру, так было больно. Но говорить боялась... У нас дома узнают — все взволнуются, а от волнения начнут сердиться, а потом ссориться и на меня рассердятся и не пустят к девочке в гости (к боли же я была очень терпелива в детстве, и даже в семье ходила «легенда» о том, как двухлетней мне нянька прищемила парадными дверьми палец (шрам остался на всю жизнь), и я будто бы совсем не плакала, а утешала только родителей). В ухе же тогда сделалось у меня воспаление, и только месяца через два врач вытащил траву из уха.

Но это было уже позже, когда мне было лет 12 (Сиверская) — период Таниного абсолютизма в доме, когда и «папу с мамой» она могла оставить без сладкого.

Таня приезжает из школы Левицкой каждую субботу, а Варя нет. Она постоянно сидит в карцере. Об этом она сообщает в письмах, так как между начальницей Еленой Сергеевной Левицкой и родителями — дружба, то Варя отлично знает, что все ее проступки будут известны дома во всех подробностях, и она дипломатически спешит первая сообщить обо всем и своей откровенностью смягчить родительское сердце и внушить им надежду на ее исправление в будущем.

У Вари были две подруги — Кира Нилова и Катала Полевая, но в полном составе налицо их никогда не бывало, — они по очереди сидели в карцере. Когда я приезжала в школу, Варя подводила меня к запертой двери и, присев на корточки, беседовала со своей заключенной подругой — «колодницей», как их называли. Можно сказать, что вся дружба их протекала через замочную скважину. Главная причина их наказания была (кроме лени), — постоянное кокетство с мальчиками и короткие юбки, которые она себе устраивала при помощи английских булавок, пренебрегая установленной формой. Елена Сергеевна Левицкая вела неутомимую борьбу с этим, и Варина характеристика, присылаемая вместе с аттестатом на Рождество и летние каникулы, — вся пестрела обвинениями в ее неисправимом легкомыслии. Она всегда недоумевала и считала «явной придиркой» все эти отзывы, которые ужасали домашних. «Я спросила нашу воспитательницу, почему в характеристике моей нет ничего хорошего, а она мне отвечала, что Елена Сергеевна ничего не находит во мне хорошего», — как-то писала она жалобное письмо домой.

В школе Варя принимала вид испуганного и зализанного котенка, так гладко за уши были притянуты ее толстые белые косички, но с этим она еще мирилась, но только не длинные юбки! Она соглашалась лучше безвыходно сидеть в карцере, чем отказаться демонстрировать свои хорошенькие ножки, даже в красных шерстяных чулках, и стоило только воспитательнице выйти из класса, как все булавки пускались в ход, и она

из строгого английского костюма делала балетную «пачку». Кроме того, она хотела играть на сцене, танцевать и делать сокольскую гимнастику, в которой проявляла большую ловкость. Весной у них устраивались гимнастические праздники, и на большом лугу возводилось строение наподобие амфитеатра, где восседали зрители, а ученики школы под духовой оркестр проделывали всевозможные упражнения. Дети, одетые в синие с белым костюмы и в своих красных кепочках, были очень красивым зрелищем. Они составляли сложные фигуры, устраивали пирамиды, и среди этой живописной группы я всегда наблюдала за ярким огоньком Вариной кепочки, бодро взбирающейся к верхушке пирамиды. Но больше всего она любила играть (театр) и танцевать, и с самых младших классов она танцевала в группе старших учеников. Не знаю, от кого мы унаследовали эту любовь и способность к танцам, но все мы, сестры, славились в школах как танцорки, — даже Таня, которая в отличие от нас танцевала всегда немного меланхолично и плавно, склонив набок голову. Кажется, мама молоденькой девушкой страстно любила танцевать. Учение же Варю вовсе не интересовало, и она приносила эту жертву только ради семьи. Она училась положительно плохо, но никогда не унывала и отыскивала положительные стороны во всех случаях жизни, даже когда в пятом классе осталась на второй год... «Знаете, — говорила она, таинственно подмигнув, — у меня, кажется, будет отличный аттестат...» Через несколько дней приходил аттестат, весь усеянный двойками, за исключением гимнастики и танцев, где непременно стояли пятерки. Но Варя, невзирая на отчаяние домашних, по-прежнему хранила дух бодрости и лукавства... Приехав домой, цветущая, со своими льняными волосами и ямочками на щеках, она прямо шла к папе в кабинет и, целуя его, присаживалась на ручку кресла, глядя своими большими недоумевающими глазами, и папа, готовившийся сурово встретить свою «неисправимую дочь», моментально терялся перед этой несокрушимой бодростью и мало-помалу сам начинал ею любоваться. Мама и Аля очень на него раздражались, но папа не терялся. Варя же была так непохожа на всех нас, что казалось, будто в наше семейное гнездо положили чужое яйцо, откуда вылупился птенец вызывавший удивление и любопытство в самих родителях. На одной фотографии она снялась вместе с папой, и надо сказать, у папы так гордо и кокетливо закинута голова, будто он хвалится перед всем миром своей дочерью.

Когда приходили гости, папа, если был в хорошем настроении, то обычно говорил: «Все мои дети — умные, талантливые, но одна дочь у меня красавица». Как-то раз он прошептал эту фразу новоприбывшему гостю и заинтересовал его. Мы все собрались к чайному столу, в том числе и Варя. Гость, быстро оглядев нас всех, нагнулся к папе и спросил нетерпеливо: «Послушайте, Василий Васильевич, где же ваша красави-

ца?» Папа смутился и что-то пролепетал. Но, конечно, в сердце уже твердо сказал: «Дурак, ничего не понимаешь!»

Бывало, придя к нам в детскую, Варя останавливалась против меня и Васи и говорила: «Ну, покажитесь, кто из вас похорошел? Пожалуй, Вася. Пусть Вася приезжает меня навестить в школу, а ты, Надя, останься!» Но, когда, случалось, я удостаивалась выбора, она давала мне точные инструкции, с каким бантом и в каком платье я должна к ней явиться, чтобы, не дай Бог, я не вздумала ее скомпрометировать. Своей школой Варя гордилась. Их школа была по образцу английской, большинство детей были из буржуазных классов (высокая плата за ученье), и очень много внимания было уделено на внешний лоск. Среди питомцев школы было развито тщеславие, и для Вари была благодарная почва. Она была очень недовольна, что у нас дома горничные не носят кружевных наколок на голове и вообще нет ни малейшего «шика». Не соглашалась идти пешком до Царскосельского вокзала (возвращаясь в свою школу, расположенную в двух шагах от нашего дома), чтобы товарищи по школе не заподозрили ее в бедности. Как-то, приехав к Варе, я застала ее в уборной, — она стояла в группе девочек и, вертясь перед зеркалом, подкалывала себе юбку. Бросив на меня критический взгляд, достаточно ли я «шикарна», она спросила громко, чтобы слышали все подруги.

— Надя, а как поживают наши лошади?

— Какие лошади, Варя? — растерялась я.

— Ах да! Я забыла — они ведь сдохли, — и, вздернув мой бант, энергично увела меня в класс. (Этим вопросом она хотела показать, что у нас есть собственные лошади.)

Помню, что у них в школе было очень холодно, температура порой доходила до 0°. Приезжая к Варе, я чувствовала себя вскоре продрогшей до костей. У воспитанников было специальное английское шерстяное белье, и они не так мерзли, хотя руки у всех были красные от холода. У Вари и Тани были цветущие лица, но руки были совершенно опухшие и посиневшие, и Таня очень от этого страдала. На мой взгляд, их школа представляла огромный ледник, где вся продукция в виде питомцев школы была обязана сохранять свежий вид. Не понимаю, как Таня так долго могла терпеть эту стужу. Вероятно, в ней она создала ту инерцию, которой потом она отличалась. Папа же был очень увлечен методами новой школы, резко отличающейся от всех русских школ «с развальцей», а также самой начальницей — энергичной и волевой. По его мнению, школа Левицкой может оздоровить Танину слишком хрупкую душевную организацию. Таня пробыла там до 1912 года, после чего перешла в шестой класс гимназии Стоюниной; Варя же оставалась там. Для нее предназначалась «Крепкая узда».

Таня страдала от постоянной муштровки и от пустоты внешнего воспитания, и вместо того чтобы усвоить дух бодрости и здоровья, постепенно сжималась и все больше теряла свою жизнерадостность. Варя же уважала железную дисциплину, которую применяли к ней, она бы посмеялась, вздумай подойти к ней «с сентиментальными методами воздействия»; кроме того, иностранное слово «карцер» ей гораздо больше нравилось, чем русское — «чулан», и она произносила это слово с видимым удовольствием. Он никак не мог сокрушить ее непокорного духа, но она считала справедливым этот метод воздействия. Это настоящее «английское», значит, это «шикарно». Я думаю, что она в точности уподобилась бы тому анекдотическому туристу, который, приехав в Англию, нашел страну очень культурной, раз даже извозчики говорят по-английски. Варя нашла бы ее «шикарной!».

Утром их будил колокол, и еще до утреннего завтрака, одевшись, они должны были совершать бег (верстку) по кругу — большому полю. Варя просыпалась как боевой конь, заслышавший звук трубы, и через несколько минут уже стояла в шеренге, выставив правое плечо и ногу, готовясь к бегу. А Таня (у нее хранится фотография) только что проснулась, заслышав утренний колокол и, приподнявшись на руках, всей позой и страдальческим выражением лица олицетворяет собою мученицу, которую сейчас начнут муштровать.

Вася уже учится во втором классе и очень старательно готовит уроки. Наши парты (дома) стояли рядом, и когда Вася пишет цифры, он сильно нажимает перо, и все цифры у него с хвостиками и вылезают из клеточки. Он любит решать задачи и понимает их, и это единственное, что прокладывает стенку между нами. Но мы все еще очень дружим и купаемся вместе в ванне. У него есть стеклянные пробирки и спиртовка, и он делает какие-то опыты по естествознанию. Он всегда боится, что недостаточно усвоил уроки, и, встав раньше, сидя в рубашонке в постели, твердит заданное. Труднее всего ему писать сочинения. Ему купили верстак, и Вася на нем строгает, выпиливает полочки и ножи и еще лепит из глины и рисует. У нас с ним канарейка. Чтобы заставить ее петь, надо дуть в жестяной цилиндрик с длинной трубочкой, наполненной водой, и тогда получается звук, очень похожий на пенье птиц. Мы с ним дуем часами, пока не отламывается язык. Когда мы остаемся одни в детской, мы крадемся на балкон, ложимся на живот и, просунув голову через решетку, поливаем на улицу. А иногда и плюем. Тут у нас целые состязания. Это очень интересно. Только один раз мы попали даме на шляпу, и она вдруг завернула в наш подъезд, — мы спустили занавеску и сидели дрожа, что сейчас придут с дворником и поведут нас в участок. Но никто не пришел, а только после этого мы уже боялись плеваться.

Против нашего балкона казенная лавка, к ней ежеминутно подъезжают ломовики, а потом выходят оттуда с бутылкой и очень ловко выбивают пробку ладонью и запрокидывают ее в горло. Мы с Васей тоже учимся этому.

Нет, вдвоем нам не бывает скучно.

Я учусь в первом классе, и так как у меня уже отросли волосы и имеется подобие косичек, то я начинаю приобретать подруг. Первая моя подруга — маленькая Таня Гузарчик, от которой я получила первое по счету письмо (открытку) в жизни, когда мы жили летом в Луге, и папа по этому поводу написал «Поспешно» («Опавшие листья»). Это все была правда, так как я действительно была полна гордости, получив письмо от «собственной подруги, живущей где-то отдельно», и поэтому очень хорошо помню эту открытку с припиской: «Я расскажу тебе важный секрет». Я ее долго берегла, как берегла, кажется, все, что только попадало мне в руки, обещаясь сделаться Плюшкиным. Сколько я себя помню, во мне всегда жило сознание: «Как хорошо мне это будет потом вспомнить». Уже в отрочестве, а особенно в юности «воспоминания» занимали большое место в моей жизни. Я любила и берегла их, хотя они всегда вызывали грусть, как о чем-то невозвратимо ушедшем. Но в этом-то и заключалось их очарование. В сущности, лицо мое, как бы обращенное вперед (в реальности), было одновременно в повороте назад. Каждое мгновенье настоящего я ощущала в его преходящести.

Когда мы ехали в поезде из Киева в Петербург, я смотрела в окно, следя за деревьями, бегущими мимо нас. Тогда впервые осознала я бег времени, его неудержимую стремительность. Тотчас эти деревья, телеграфные столбы были черточками циферблата, по которому бежала стрелка времени, четко отсчитывая мгновенья жизни. Я смотрела в сторону паровоза, на самый отдаленный предмет, пока он неминуемо приближался и вскоре убегал из глаз, и тогда, сколько возможно высунувшись из окна, я старалась как можно дольше удержать его, пока он окончательно не исчезал за стенками вагонов. «Вот еще одна минуточка убежала. Я уже ни за что не верну ее. А если бы и вернула, то она уже будет “не та!”».

Глава 20. Гимназия

Арифметику у нас преподавал Николай Николаевич Ковригин, типичный чиновник какого-нибудь департамента. Небольшого роста, в зеленом мундире, застегнутом на все пуговицы, он резко отличался от всего педагогического состава нашей гимназии. На его бесцветном лице с рыбьими глазами и рыжеватой бородкой выделялся один только сухой, крючковатый нос. Он никогда не улыбался и был воплощением су-

хости и педантизма. Сидя на его уроке и глядя на его сухопарую фигуру и уморительный нос, я, как всегда, предавалась мечтательности вместо того, чтобы слушать его объяснения, и всегда одна и та же мечта приходила мне в голову — вот он сейчас вызовет меня к доске, и в тот момент, как я должна буду ему отвечать, с меня спадет мой передник и вместо него появится газовая юбочка, вся усыпанная звездами, а в руке волшебная палочка, и я начну говорить, только он ничего не будет понимать, потому что я буду говорить, как птица, а потом я начну летать по всему классу, и он будет за мной гоняться и ловить меня, но я подлечу к самому потолку, и он меня не достанет. И все девочки будут прыгать и ловить меня, но я улечу в окошко...

Странно, что так свободно в мечтах я превращалась в летающее существо, но никак не могла снова воплотиться в человека. И я помню, как меня утомляло это бесконечное летанье и невозможность спуститься на землю, так как в ту же минуту меня поднимало вверх. И это было как во сне.

Но в первом классе произошло событие, очень памятное по тому мучительному чувству стыда, которое я долго не могла забыть.

В 1910 году умер Толстой, и дома у нас шли постоянные разговоры на эту тему, и мама рассказывала о своей поездке с папой в Ясную Поляну. И я все это слушала и живо представляла. Но бурная моя фантазия шла дальше, и мне рисовалась целая картина моей собственной поездки в Ясную Поляну.

В гимназии у нас устраивались литературные вечера, посвященные памяти Л. Н. Толстого, с читкой его произведений, и на уроках русского языка мы постоянно читали его повести. На одном из таких уроков, после «большой перемены» (к концу дня), когда на улице сгущались сумерки, а в классе горели электрические лампы, учительница Прасковья Францевна Куделли (ныне крупный партийный работник) беседовала с нами о Толстом. Не помню своего состояния и не могу поэтому дать отчета, только вдруг я подняла руку и сказала: «А я была у Толстого в гостях». Прасковья Францевна внимательно на меня поглядела, девочки зашевелились, приготовившись слушать: «Ну, расскажи!» — сказала Прасковья Францевна. Я встала и начала... Боже, что это было! Я говорила о том, как вместе с папой и мамой приехала в гости к великому писателю и вскоре сделалась центром внимания всей Ясной Поляны, как Толстой, посадив меня на колени, вел со мною конфиденциальную беседу и когда прощался, то на глазах его блестели слезы, и он целовал меня и махал мне рукой, когда я уезжала. Я долго говорила в полной прострации, все больше и больше разгораясь, как вдруг услышала трезвый голос: «Она врет все!» Я полетела камнем на землю. Прасковья Францевна смотрела неодобрительно, а девочки оживленно шептались и пересмеи-

вались: «Вот наврала-то! Вот хвастунья-то!» Прозвучал звонок (перемена), и дети гурьбой бросились из класса.

Можно ли глубже врасти в землю? Я не могла пошевелить ни одним членом, вся будто обратившись в соляной столб. Как-то, наконец, я спряталась в гимназической уборной. Там, забившись в угол, я рыдала от стыда, отчаяния, своего позора... Как мне хотелось умереть тогда!.. В эту минуту вбежала Вера. Она узнала о случившемся и бросилась искать меня. Она ни о чем не спрашивала, не требовала объяснений, а только, укрыв меня своим серым вязаным платком, ласково меня утешала... Она поняла одно, что я невыразимо несчастна, а «люди жестоки и злы», и вся поднялась на мою защиту. Мы долго стояли обнявшись, пока я не перестала плакать. Тогда она отвела меня в класс и стояла около меня, показывая всем девочкам, что у меня есть защитник.

Странно, дети не дразнили меня и будто совсем забыли о случившемся. Только я много лет подряд не могла думать о нем без мучительного стыда.

Глава 21

Что я могу сказать о папе в период моего раннего детства? Помню, когда мы шалили и не слушались, папа сажал нас на буфет. Это было очень страшно. Ноги едва достигали до <...>.

Вот большой кабинет, заставленный книжными полками, тахта, крытая желтым ковром, на котором мы с Васей играем «в тигров». На ночь из нее вынимается постель (у родителей до переезда на Коломенскую не было отдельной спальни). Папа сидит в табачном дыму, в соломенном (четырехугольном) кресле, поджав одну ногу. Голова всегда наклонена вбок, чтобы дым не ел глаза. Когда папа пишет, можно бегать, шуметь, можно играть на рояле (он стоит тут же). И, что самое приятное, — нажимать при этом педаль. Но надо стараться, чтобы все шумели сразу, а не закричал кто-либо в отдельности. Даже маленький взвизг ведет за собой катастрофу, — папа непременно вскочит, закричит и погонится за нами, чтобы ухватить за ухо. В эти минуты яростное лицо его очень страшно, и мы все его боимся. Ночью на папином столе всегда горит свет, и нам кажется, что папа никогда не спит. Он спит только днем, после обеда—завтрака, и в эти часы нужно вести себя очень тихо, так как не дай Бог разбудить его криком, — папа ужасно бывает сердит. Тогда всем попадает.

Утром папа подымается рано и моется за мраморным умывальником. Мама моется так: надует щеки и потом хлопает ладошками, и получается очень смешной звук, а папа фыркает и трясет головой. Я думала, что все родители так моются. Потом папа с полотенцем еще долго ходил

взад и вперед с пронзительно устремленным куда-то взглядом и в глубочайшей задумчивости. За кофе папа сидит поджав ногу, блестящий и вымытый, с мокрой головой и набивает гильзы. Иногда он дает мне набивать и сердится, когда я много рву их машинкой. Покупает их папа всегда на Невском, около Мойки.

В кабинете (одновременно и гостиной) на стенах висят витрины с монетами. Папа чистит их щеточкой, и у него пальцы всегда от них зеленые. Часто он покупает фальшивые (обманывают) и потом дарит их нам по штучке. А иногда в детскую Домна Васильевна приносит кучу таких монет и шьет маленькие мешочки для них и привешивает их к занавескам для тяжести.

По воскресеньям утром приходят студенты и, сидя за круглым столом красного дерева, где стоит итальянский светильник и лежат альбомы, — срисовывают для него монеты. Нам, детям, стыдно, что папа занимается и с ними не говорит... Посредине комнаты на стене висит большая картина — «Афинская школа» Рафаэля, и папа говорит, что в древности каждый юноша избирал сам себе учителя и беседовал с ним, сидя на улице или около храма. Мне это очень нравится, и я думаю, что я бы тогда лучше училась. На черной книжной полке статуя сидящей Изиды с Озирисом, а на стенах висят картины Нестерова и «Форнарина» Рафаэля, «Сотворение мира» Микель-Анджело, «Артемида Эфесская», «Леда» — Леонардо да Винчи (которую потом взяла себе Вера), — все в хороших репродукциях — и деревянное резное изображение Савонаролы. А в плюшевой красной рамочке около дивана — портрет-фотография Симочки, — умершей у нас молоденькой гувернантки, которую я совсем не помню, но мама и папа ее очень любили и жалели. В углу стоит лепной бюст Н. Н. Страхова (Танин крестный).

К папе, когда он пишет, всегда можно подбежать и приласкаться (но только не долго!).

В раннем детстве из гостей помню только Евгения Павловича Иванова, по нашему прозвищу — «Рыженький» из-за его огненно-рыжих волос, Светозара Степановича Радамановича, которого мы, дети, звали просто — сербом, по его национальности. Верно, помнятся только те, кто уделял нам внимание и играл с нами. А остальные составляли неопределенную массу папиных гостей, совсем для нас неинтересную. Смутно помню Алексея Михайловича Ремизова с супругой своей, толстой Серафимой Павловной, которые, кажется, всю жизнь были влюблены друг в друга. Мама говорила, что они в житейских делах были беспомощны как дети и прибегали к маме за советом, как повесить на окне купленные занавески.

В почти родственной близости к нам была семья Ивана Федоровича Романова (Рцы). У него было пять дочерей и один сын, и с ним жила

и свояченица его Елена Ивановна. Папа крестил у него дочь его Софочку, а Ольга Ивановна — Таню нашу.

Девочки старшие — Дада и Софа — постоянно у нас летом гостили. Папа и мама очень любили эту семью. После смерти Ивана Федоровича они жили не только скромно, но даже бедно, но все же семья их была вся крепкая и любящая.

В близких отношениях были мы с семьей Валентина Александровича Тернавцева. Валентин Александрович был моим крестным, и я очень гордилась, что у меня такой красивый крестный. Он входил в детскую (высокий, черноволосый — настоящий итальянец) — полный жизни и огня и, широко раскрыв руки, гудел: «Ну, крестница!» И я бежала к нему, мгновенно взлетая кверху на его могучих руках. У него в подарок я получила первые деньги — 3 рубля, — целое богатство, которое я не знала, как употребить. Мне посоветовали домашние купить глобус. По-моему, он меня совсем не интересовал, но в угоду старшим я его купила, утешив себя тем, что на оставшиеся деньги купила маленькую коробочку «барбарисок». Я всегда смеюсь, что это — позорное воспоминание детства. С Тернавцевыми у отца с матерью был «вечный роман» — то ссорились, расходились, то вновь мирились. И всегда, в случае маминого заболевания, папа писал испуганные записки Марье Адамовне (жене Валентина Александровича) — «Варя больна — приходите». И снова была дружба. Аля же одно время жила у них, так как по просьбе отца они спасали ее от Распутина, стремящегося привлечь Алю к себе. В 1900 году Валентин Александрович с моими родителями вместе ездили в Италию. Аля была дружна с его женой Марьей Адамовной, очень грустной, красивой, болезненной дамой. У них было пять человек детей, все красавцы как на подбор, — три сына и две дочери. Удивительная порода! Два сына — старший Ася и Валя (товарищи нашего Васи) были убиты в Первую империалистическую мировую войну. В Валю я была немного влюблена, когда мне было двенадцать лет. Валя же влюбился в одну девочку и посвятил меня в свою тайну, и я, испугавшись, что время слишком быстро бежит и я еще не успела влюбиться, поспешила объявить себя также влюбленной. С Мусей и Ириной я дружила. Я была старше их и читала им сказки или срисовывала сквозь папиросную бумагу девочек с модных журналов, что приводило их в восхищение, так же как моя длинная коса, и они ластились ко мне, как два котенка, в своих накрахмаленных передничках, и твердили нараспев: «Надя, ты настоящая художница, поступай в Академию!»

Но «Рыженький» (Е. П. Иванов) и «серб» (Светозар Степанович Радаманович) занимали самое большое место в нашей детской жизни, и того и другого мы любили со всем детским пылом. Они играли с нами, и мы лазили на их плечи, трепали их бороды и мяли крахмаленные во-

ротнички, которые тут же за негодностью приходилось класть в карман. И вот странное дело, — так и расстались мы с ними, т. е. в детской любви-обожании, но чем дальше шло время, тем больше в сознании изменялись эти образы. Светозар Степанович, чем глубже уходил в даль, тем яснее выступало другое лицо, как будто первый очерк в детстве был нарисован симпатическими чернилами, и от дыхания времени контур его исказился и вышло иное лицо, скорее неприятное, отталкивающее (до нежелания его видеть!), а ведь *ничего* не прибавилось во *внешнем* течении жизни. А Евгений Павлович, наоборот, — его духовное очарование все больше вступало в силу. С ним, правда, связь почти не прерывалась. И отец и мать его очень любили («без перебоев», столь частых у нас в доме), и воскресный обед становился вдвойне праздничным, когда в дверях появлялось его бледное («пронзительное», как сказал Блок) лицо в ореоле растрепанных, дыбом стоящих, огненных волос. «Рыженький пришел!» — и всей гурьбой мы кидались ему навстречу.

Мы, младшие дети, у него в семье почти не бывали, но знали, что у него есть сестра Марья Павловна, которой папа посылал свои книги и от которой ко всем праздникам приходили письма и поздравления, — и знали, что она никогда не выходила из дому, так как страдает тяжелой болезнью — астмой. Она простудилась молоденькой девушкой на похоронах отца, когда плакала на морозе. Ее образ для нас, детей, был таинственен и романтичен. Впоследствии я увидела ее, и она оказалась такой, как я ее представляла: грустной и пленительно нежной, в своем старинном черном блестящем платье с белой косынкой у горла.

У него было еще два брата — Ал. Пав. и Павел Павлович, — и сестра по матери — Клеопатра Михайловна, и все они были прекрасные (по слухам, разговорам). От всего их дома веяло чистотой и душевным благородством.

В дальнейшем из всех детей Евгений Павлович был ближе всего к Вере.

Когда к нам приходили гости, то нас, младших, не пускали в гостиную, но папа всегда с кем-нибудь из гостей приходил в детскую и, тыкая пальцем в наши кровати, — светился весь гордостью.

Обычно много гостей съезжалось в воскресенье — старшие дети сидели в гостиной, а мы с Васей пили свое молоко и шли в детскую. Когда бонна тушила свет, начиналась самая интересная жизнь. Наши с Васей кровати были с решетками, и мы сверху их накрывали одеялами, устраивали уютные домики с крышами. Но, конечно, не хватало самого главного — угощенья. Мы прислушивались, как в столовой накрывали на стол, и, соскочив с кроватей, устремлялись к двери, подсматривая в щелочку, что делается в гостиной. Всегда в определенное время матушка Антонова (священник Антонов одно время — в 1910, 1911, 1912 (?) году



бывал у нас очень часто) садилась за рояль и пела романсы, и непременно: «Мухи, как черные мысли». Мухи нас не интересовали, но это был сигнал, что скоро пойдут к чаю. И тогда тихонько, ползком или на цыпочках, в одних рубашонках, мы пробирались в столовую, трепеща от страха. Тут одно мгновенье мы замирали от восторга перед роскошью стола, как Алладин перед «сокровищницей разбойников», затем кидались и набирали в подолы конфеты, печенье, по дороге залезая в вазы с вареньем, и потом стремглав летали в детскую. Тут начинался пир!

Мама недоумевала при виде беспорядка, который обнаруживала, войдя в столовую, и однажды нас подкараулили. Это все та же Домна Васильевна!

Мы только что набили свои подолы и, перемазанные вареньем, устремились в детскую, как она выскочила из-за угла. Надавав нам шлепков, она посадила нас на стулья у дверей — в одних рубашках, со всеми уликами налицо! Боже, какое отчаяние! Мы в рев. Васю она любила и скоро отпустила, а меня пригвоздила к стулу, и я сидела, томимая ужасом, что сейчас войдут гости и увидят мой позор. Кроме того, это было так несправедливо — почему Васю простили, он даже старше меня и мальчик, а мне было так стыдно, что сказать не могу. Но потом она надо мною сжалилась и отпустила.

Глава 22

В детстве звали меня «Пучком», «Дюймовочкой» и «Русалочкой», но никто не догадался назвать меня «Гаргантюа». А я была настоящим Гаргантюа, так как ужасно любила сладкое. Я мечтала о нем наравне со своими феями, и надо сказать, что мечты мои были действительно грандиозны и они же довели меня до первого преступления.

Но что такое «молочные реки с кисельными берегами»? Молоко, которое нас заставляют пить перед сном, и кисель, который у нас бывает, когда в доме прачка и мама облегчает работу на кухне? Или даже — пряничный домик в сказке о Ване и Маше, — маленький домик, где стены из пряника, а окошечки из леденцов, и дети по кусочку обламывают от него в рот, а не глотают его всего сразу? Нет, в моих мечтах создавались целые шоколадные города, огромные замки, сделанные из бисквита, пудры, наполненные вареньем и шоколадным кремом, и деревья, на которых растут пьяные вишни. Я мечтала, что, когда я вырасту и буду очень богата, я буду ездить в карете с открытым ртом, и в меня будет литься непрерывный поток шоколада. Мне давали после завтрака и обеда яблоко, — обычное «золотое семечко». Яблоки закупались во время ежедневных прогулок с Домной Васильевной во фруктовом магазине на Гороховой улице. Но у меня были собственные сбереженья. Под маленьким синим диванчиком в столовой и между дверьми в прихожей (выходные)

лежали кучки печенья, пряников и великолепного шоколада, который называют «хворостом», но только не фруктового, а из чистого шоколада. Все это была «добыча» с чайного стола или буфета, когда мне удавалось «стащить». Время от времени, приподняв бахрому дивана, я обозревала свои богатства.

И вот пришли полотеры и, отодвинув диван, удивились, обнаружив странное место хранения. Когда я пришла из гимназии, на меня никто не смотрел и отговаривались, пряча улыбку, а Васютка, блестя своими черными глазками, примостившись к краю стола, где шила Домна Васильевна, написал четверостишие — «Мишка-воришка» и приколол к моему фартуку. Тут же мы с ним подрались. Хотя дома об этом со мной никто не говорил, а только смеялись, я была все же смущена и надулась.

Но страсть моя не уменьшилась, пока не довела меня до преступления, после чего пошла на убыль. Около нашего дома была мелочная лавка, из открытых дверей которой несся запах печеного хлеба, капусты, постных пирогов, а на окне, привалившись к пыльному стеклу, лежала куча дешевеньких «бомбошек» в прозрачных бумажках, и через них сквозили розовые, зеленые и лиловые шарики. Возвращаясь домой из гимназии, я всякий раз останавливалась перед этой грудой сластей, гадая, какое варенье положено внутри них. Дома таких конфет не бывало, а если бы я попросила, мне непременно достали бы из буфета что-нибудь другое, сказав, что *то* — «гадость» и «с краской», и вообще никак бы не поняли, что мне нужно. Тут было *то*, — их так чудесно звали «бомбошки» — и была их груда. И я хотела именно груду, а вовсе не одну-две, как мне бы дали. Грандиозность-то и томила мое сердце. Если бы у меня было двадцать копеек, то на эту монету все мои карманы и руки были бы наполнены ими. Я отходила от окна и медленно шла домой, но сердце мое было отравлено мечтой. Несколько дней я боролась со своим желаньем, но все было тщетно, и тогда я похитила у Али из сумочки двадцать копеек и побежала на улицу. С первого же момента, как конфеты очутились в руке, — все очарование пропало. Я чувствовала только свое преступление. Придя домой, я убежала «кое-куда» и, плача, пихала их себе в рот, чтобы только поскорее покончить с ними, которые уже потеряли всякий вкус, стали отвратительны и ненавистны. Наконец большую половину я тут же выбросила, чтобы скрыть улики своего преступления, а главное, освободиться от них... Теперь наступили ужасные дни. Ни на кого смотреть я не могла. А главное на Алю, которая всегда особенно меня ласкала. Что мне делать и как ей сознаться? Я вертелась в кровати, терзаемая совестью. Лучше бы, если бы я обманула папу и маму, которые бы рассердились, нашумели, но Аля никогда не станет громко бранить, а станет холодной-холодной и совсем чужой, но *все же останется ласковой.* И это хуже всего.

Долго я боролась с собой и все же сказала Але и полностью почувствовала глубину своего паденья. Аля отнеслась так, как я ожидала, — стала холодна, грустна, задумчива и подарила мне к Новому году открытку — хорошенькую девочку, держащую в руках котенка, в которой своим бисерным почерком писала очень ласково и так, чтобы поняла только я, что она хочет, чтобы я «кое в чем исправилась».

Глава 23

У нас в доме, кроме Домны Васильевны, которая заведует хозяйством и обшивает нас, детей, еще всегда жили воспитательницы — француженки или немки. Мама приглашала таких, которые совсем не говорят по-русски, но мы подвергаем остракизму все языки мира, так как очень трудно, при нашей торопливости, когда мы говорим все сразу и в перебивку, еще думать о переводе. Проще тогда объясняться жестами. В самое короткое время наши фрейлины уже свободно болтали по-русски, а мы ни одного слова по-немецки. Они сменялись в нашем доме очень часто, и мы к ним были совершенно равнодушны. Помню только одну Софью Федоровну, седую чопорную даму с немного оттянутыми губами, которая приглашена была главным образом для меня. Она серьезно со мною занималась и приносила всевозможные головоломки, которые мы вместе с ней складывали, приучала меня к порядку и внимательно относилась к моей внешности, стараясь во всем придать изящество, что мне нравилось, так как я была кокеткой с самого детства. Мама же терпеть этого не могла и требовала, чтобы я зализывала щеткой волосы, чтобы видны были уши, и я в таких случаях искала поддержки у Али, которая всегда шла навстречу моему кокетству. Эта воспитательница меня не ласкала, но я ее уважала и слушалась. Кроме того, одна я не шалила особенно (дома), меня всегда воодушевляла только компания, и воспитательницам было легко со мною. Но все остальные воспитательницы были бесцветной массой, мы их не слушались и изводили своими шалостями. Помню, в году 1908 (1909?) после обеда мы все сидели в детской, кроме Тани, а очередная наша фрейлина прилегла на кровать и тут же заснула, повернувшись к нам спиной. Мы вздумали играть в извозчиков, запрягли стулья, которые отлично заменили нам лошадей, и, весело ударяя веревкой, прищелкивали языком. Во рту у каждого была свернутая бумажка. Но это нам скоро надоело. «Знаете, — сказала Вера, — надо закурить по-настоящему». Достать папиросы можно было только у папы, и выбор пал на меня. Это было серьезное поручение. Папа спал после обеда, и нужно было пробраться к нему в кабинет и стащить со стула папиросы, не разбудив его. Время самое опасное для нас. Я была горда доверием и для большей важности через всю квартиру ползла на четвереньках. Приоткрыв тихонько дверь, чтобы не скрипнуть, едва дыша от

страха, я доползла до папиного стула, стоящего в изголовье кушетки, на которой папа спал, как всегда накрывшись стареньким черным в полоску одеялом (он укрывался им только днем неизменно). Я захватила горсть папирос и поползла обратно. Папа продолжал спать... Тут началась настоящая игра в извозчиков. Мы щелкали кнутами, покрикивали «Но!», и у каждого во рту дымилась папироса. Вскоре вся комната наполнилась дымом. Нас всех стало тошнить по очереди. Фрейлина проснулась и, увидя столь странное зрелище, вскрикнула и бросилась из комнаты к папе. Папа был в ярости (разбудили!), и все главари были наказаны как попало.

Шалили мы ужасно. Мы порой сами пугались, чувствуя, что никакая узда для нас уже не существует. Глядя на маму, я думала, что, когда я вырасту и у меня будут дети, я привяжу к их ногам длинный-длинный шнурок и буду держать его все время в руке, чтобы они не свалились с крыши и не потонули бы. Мы сами удивлялись, как мы носили еще свои головы. Как-то мама перед отъездом на дачу, предвкушая все волнения, связанные с нашими шалостями, купила большой кнут и повесила «для устрашения» на стену. Мы обязаны были взирать на него, как на медного змия, но мы предпочитали его вовсе не замечать, и, так как ущерба от этого не получалось, то вскоре он обратился в семейную реликвию. Но для мамы он служил нравственным подспорьем, и она одна на него взирала с верой. Варя находила мамин поступок «крайне неэлегантным».

Глава 24

Потом — в 1911—1912 году — Аля тоже не жила с нами, а сняла себе квартиру на Ивановской улице, в маленьком деревянном доме и жила с подругой своей, курсисткой Натальей Вальман. Не знаю, в этот ли период или, может быть, раньше, она увлекалась священником Медведевым, которого отец не любил, и Аля ушла из-за разногласия. Его фотографическая карточка (кажется, он был духовником Али) стояла всегда на ее письменном столе. Аля занималась на курсах Раева и Бестужева и все экзамены сдавала отлично, но все ее занятия шли как бы шутя, без особой затраты энергии.

У нее постоянно бывали подруги-курсистки — простоватые, шумные, безразличные к внешности и очень провинциальные, и Аля среди них казалась особенно женственной.

Я любила эту ватагу Алиных подруг, особенно когда они меня с Васей качали на ногах, и они постоянно говорили, какая я счастливая, что я еще маленькая и вся моя жизнь впереди. Мне не хотелось вырастать, — жизнь взрослых скучна! — они не играют в лапту, не бегают, а главное, они не читают сказок. Но есть одно, что меня пленяет: дамы носят длинные платья со шлейфом и, когда переходят улицу, так красиво поднима-

ют свой шлейф сзади. (Гуляя с Домной Васильевной, я тоже потихоньку это проделывала за спиной, хотя платье мое выше колен.) Потом они говорили, какая ждет меня впереди счастливая жизнь, так как к тому времени, как я стану большая, женщины получат все права, и я смогу сделаться ученой, математиком, даже министром. Но я остаюсь равнодушной к своему блестящему будущему. Они все были суфражистки, а я никогда, ни в отрочестве, ни в юности, не увлекалась этим течением. В дальнейшем «суфражистка» стала условно нарицательным именем людей, особенно чуждых моему существу, хотя бы это даже и не касалось политики, а совсем иных понятий, суждений всегда крайне определенных, точных и ограниченных. Суфражистки мне нравились только в кино, так как однажды я увидела великолепную драму с очень нарядной красавицей-суфражисткой, которая принесла министру адскую машину и в последнюю минуту спасла его, так как, оказывается, оба они были влюблены друг в друга. Но Алины подруги не были похожи на эту суфражистку, а больше смахивали на тех, которые были изображены на картинах журналов — с раскрытыми ртами, дерущимися зонтиками и бьющими стекла. Они были обыкновенны и не романтичны. В них не было «женской тайны», которая меня притягивала в отрочестве (О. М. Нестерова).

Впоследствии я не любила ходить с ними в музеи или слушать, как они читают стихи, так как это не шло к ним, и я никогда не могла понять, почему они так восхищаются тем прекрасным, таинственным, что есть в стихах и картинах, и не хотят внести в свою жизнь. Почему они хотят быть только зрителям, а не участниками? Но в детстве я любила бывать среди их веселья и шума, потому что они со мной возились и меня баловали. Однажды Аля взяла меня с собой на курсы Раева и показала на одну курсистку. Она бежала вихрем по лестнице и, завидя Алю, с визгом схватила ее за руки и закружилась. У той девушки были жиденькие волосы, скрученные узелком на затылке, пронзительный голос и резкие движения. Ее широкая, длинная юбка нескладно путалась вокруг ног. Она походила на переодетого мужчину. Только темные глаза ее были странные, с тяжелым и упорным взглядом. Аля назвала ее — Наталия Аркадьевна Вальман.

У Али возникла с ней дружба, которая тянулась до конца жизни. В 1911 (1912?) году они жили вместе на Ивановской улице, а с 1913 года переехали к нам. Потом, в 1916 году, снова уехали.

Мы, дети, очень к ней привязались, и они занимались с нами языками. Она была очень способная, блестяще окончила Раевские курсы, а потом университет. Мои родители ее не любили. Временами отношения улучшались, а потом снова обострялись. В связи с этим и с Алей бывали

столкновения. Аля очень любила Наташу, а та была рабски ей предана. На нас, детей, она оказывала определенное влияние.

Начиная с 1920 года (поездка в Киев), особая Алина нежность устремилась на меня. Аля любила брать меня с собой в гости и называла меня «дочкой». Многие находили сходство между нами, и, пожалуй, я внешне больше всего походила на Алю и Веру, которые между тем были совершенно различные.

Аля любила водить меня в «молитвенный дом» или миссионерское общество, которыми Аля очень увлекалась одно время, ища действенной христианской жизни. Как-то, помню, было собрание (какое общество?), в зале Тенишевского училища. Публика была разнородная, в платках, шляпах, некоторые стояли на коленях и плакали. Мы пробыли недолго, и я старалась не смотреть. Чувство неловкости было сильнее любопытства, и я стремилась скорее уйти, не сознавая причин этой неловкости и даже тягости.

Глава 25

Аля была дружна с замечательными женщинами — с гр. В. Перовской и... Они обе были прекрасны и духовны и делали много добра, устраивая приюты для слепых и детей-калек. Я бывала там с Алей и, стыдно сознаться, — мне всегда хотелось уйти оттуда. Все было прекрасно, чисто, благородно, и все было холодно. Я думала только одно, — я не так хожу и не так говорю, потому что и руки, и ноги, и все движения мои казались мне грубыми и несоответствующими с этим местом. И одна только мысль: «Не уронить бы, не разбить» и вообще, если можно, не дышать, потому что и дыхание казалось здесь грубым. Глядя на больных детей, я думала — как они должны стесняться всех, кто к ним подходит. Вероятно, это чувство было настолько сильно, что я совсем не запомнила ни одного лица ребенка, которое, естественно, должно было бы меня заинтересовать.

Однажды, придя из гимназии, незадолго до летних каникул, я увидела в нашей детской на диванчике среднего роста сухощавую даму, в белой английской блузе с глухим воротом. Темные волосы, гладко зачесанные к вискам, лежали короной на затылке, а тонкий сжатый рот и все ее немолодое лицо казалось энергичным и строгим.

Аля сидела рядом и говорила с ней вполголоса, и лицо и поза ее выражали благоговенье. Аля позвала меня, и, когда я сделала ей книксен, — дама едва улыбнулась своими тонкими губами (если сокращение лицевых мускулов можно назвать улыбкой), и лицо ее снова стало строгим и серьезным. Эта дама была Августа Ивановна Ветнек — миссионерка, женщина замечательная, несколько лет прожившая на о-ве Суматре, среди прокаженных. У нее были фотографии, на которых она была пред-

ставлена с другими миссионерами среди банановых деревьев, пальм и дикарей. Аля через Перовскую познакомилась с ней, говорила о ней родителям, и она была приглашена к нам в качестве воспитательницы. Раз с дикарями она справлялась отлично, — значит, и с нами должна справиться.

Это лето (1911 года) мы проводили в Луге. У Августы Ивановны была отдельная комната, и она выглядела всегда строгой, аккуратной, подобранной.

Мы, дети, совсем стихли. При ней невозможно было шалить, бегать, драться. Она постоянно разговаривала с Алей вполголоса, прогуливаясь по дорожкам сада, и у Али был очень серьезный и грустный вид. С нами она не забавлялась больше. Она не рассказывала нам ни о Зигфриде, ни о Рустеме и Зорабе, а подарила каждому из нас по Евангелию и просила нас слушаться. Августа Ивановна только во имя христианского подвига согласилась жить с такими разбойниками!

Теперь ежедневно, еще до утреннего кофе, было организовано чтение Евангелия и общая молитва. Наверху, где спали мы, трое младших, — собирались, кроме нас, Августа Ивановна, Аля, Таня (Веру не помню), и Таня обычно запаздывала и вбегала последняя, запахивая на ходу свой серый халатик, с лицом, несколько смущенным и, как мне казалось, сердитым даже. Затем все садились за стол, и Августа Ивановна первая начинала чтенье, открыв очередную главу Апостолов. Дальше читала Аля, и так шло по кругу. Потом Августа Ивановна, закрыв лицо руками (тут все сразу закрывали лицо), читала молитву, но не положенную церковью, а так, «непосредственно идущую из души». Когда она умолкала, начинала Аля. Состояние неловкости, которое поднималось во мне, с первого же момента, доходило до предела, и, ерзая на стуле, я вместо того, чтобы молиться, сквозь раздвинутые пальцы наблюдала за выражением лиц которые казались мне ужасно неестественными, и мне делалось стыдно за всех и хотелось скорее бежать на балкон пить кофе и вообще, чтобы нам можно скорее все это кончить... Потом Августа Ивановна занималась со мной, сидя на нашем балкончике. Она была педантична и требовательна и, если я плохо училась, давала в наказанье мне зубрить французские стихи. Нельзя было даже подумать о какой-нибудь шалости, игре с ней или ласке. Она тоже никогда не ласкала нас. Помнится, что на ночь она нас крестила и колола в лоб сухими губами. К обеду, к чаю мама обычно звонила в колокольчик, чтобы было слышно во всех уголках сада. Но папа, невзирая на звонок, хлопал в ладоши и кричал: «Обедать! Обедать! Обедать!» И на этот бодрый окрик мы весело сбегались со всех концов. За обедом всегда оживленно. Папа сидит поджав ногу и первый придвигает к себе дымящуюся тарелку с отварным мясом и отрезает от мозговой косточки всегда один и тот же жирный кусочек,

густо посыпав его солью. А перчит как суп! Вся тарелка становится красная. Мама всегда спрашивает, когда на второе курица или дичь: «Кому какой кусок дать?» И мы все в один голос кричим — «Белое!» У нас у всех был отличный аппетит, и мы любили даже суп, особенно Варя. Так интересно обедать! Мы, тройка, даже торговали за обедом: я тихонько продам Варе суп за сладкое; конечно, и суп жалко, но тут ничего не поделаешь — игра!

Мама не позволяет запаздывать к обеду и вскакивать из-за стола, если нужно достать ложку из буфета, стоящего тут же, рядом. «Это не порядок», — говорит мама и звонит горничной. Если мы расшалимся и потихоньку деремся ногами, папа, делая сердитое лицо, поднимает ложку и говорит: «Вот сейчас стукну по лбу, как моя мамаша!», но никогда не стукнет, а только сам ущипнет за ногу Васю, иногда даже пребольно, но лицо все же не сердитое, а хитроватое, задорное, мальчишеское. Папа любит шутить с прислугой и даже иногда подойдет и поцелует в щеку, и они смеются. Прислуга папу любит и не боится.

А теперь у нас за столом тихо. У Али вид грустный и удрученный, папа совсем смолк, а мама смотрит на Августу Ивановну холодными и недобрыми глазами. Она, может быть, и рада, что мы «угомонились», но она не говорит нам: «Пожалуйста, *не расстраивайте* Августу Ивановну, берегите Августу Ивановну», как просит нас обычно, а просто говорит: «Делайте, как говорит Августа Ивановна!»

Мы, тройка, шептались: «А правда, папа не любит Августу Ивановну и мама тоже?» И все были одного мнения: папа и мама ее не любят, а папа даже боится. Мы отлично чувствовали, *что папа с нами заодно.*

Глава 26

Утро. Я сижу с Августой Ивановной на маленьком балкончике нашей детской. Чудесный жаркий безоблачный день. На полу, на песчаных дорожках сада играют солнечные блики. На столе лежит немецкий учебник — Глейзер-Петцольд — и я читаю рассказ об охотнике и зайце. Потом я должна рассказать собственными словами. Читая, я думаю о большой прогулке, которую задумали мы сегодня, о том, где сейчас Варя и Вася, и еще обо всем сразу, но только не о рассказе. А главное, я никак не могу вчитаться и запомнить слово «...». Теперь я рассказываю сама, но, когда мне нужно сказать «...», я запинаюсь. Августа Ивановна повторяет уже несколько раз. Я слышу звук, но он не дошел до сознания, и через несколько минут я опять запинаюсь и закусываю губу. «...», — говорит Августа Ивановна и выпрямляет спину. «Надо постараться запомнить, — думаю я, — она уже сердится, надо непременно запомнить!» И я напрягаю мускулы, делая ударенье на «запомнить», а это ужасное слово с непостижимой легкостью выскальзывает из моего напряженно

сдвинутого лба. Нет, мускулы не помогают. «Ты упрямишься, — говорит Августа Ивановна, краснея от гнева. — Ты нарочно!» — «Нет, не нарочно, — отвечаю я, опустив голову и упираясь ногами в перекладину, — я не лгу, я не могу». Она схватывает меня за руку и тащит вниз по лестнице в свою комнату. — «Ты скверная, лживая и упрямая девочка!» — говорит она и запирает меня на ключ.

Я ненавижу ее, я ее презираю. Она должна мне верить... Через час она открывает дверь и приносит мне коробку с леденцами в хрустящих бумажках. «Возьми конфету!» — «Я не хочу», — говорю я, упираясь в стену и махая головой. — «Ешь, тебя угощают взрослые, ты не должна отказываться, — говорит она ледяным голосом, — а должна сказать спасибо и взять». Я чувствую, как на лице моем появляется глупая плохая улыбка, и я беру конфету...

Я бегу в сад и изо всей силы ударяю пятками в землю, как бы отбрасывая ее. «Зачем, зачем, зачем ты так противно, глупо улыбнулась?!»

Глава 27

Августа Ивановна едет по своим делам в Петербург и берет меня с собой. Она останавливается на Кабинетской улице у своего брата, директора мужской гимназии. Он один в огромной пустой квартире, и вся мебель стоит в чехлах.

За столом сидим втроем и молчим. Он на меня не смотрит. Я не знаю, как мне поступить, если мне предложат вторую тарелку — отказаться или сказать спасибо и взять. Боже! Только бы они не предложили! Потом они уходят, и я сижу одна в пустой гостиной, где все накрыто белыми чехлами. Я боюсь подглядеть, что под ними спрятано, и даже боюсь шевелиться, так как мне кажется, что я непременно что-нибудь разобью, и представить себе их холодные лица при этом я не могу от страха... Потом Августа Ивановна стелет мне на диване постель и ставит рядом ночные туфли. Она крестит меня и колет, как всегда, — губами. Я остаюсь одна...

Нет, тут никак невозможно, вытянувшись стрелкой, побежать босыми ногами по стенке. Дома я без этого не засну. Здесь нужно лежать тихо, чтобы не скрипнуть диваном.

Глава 28

Я иду с Августой Ивановной по городу. Петербург летом: пыль, духота, известка. На углу, около строящегося дома в лесах, стоит нищий и кланяется. Я останавливаюсь и вопросительно взглядываю на нее. У меня нет своих денег, и мне стыдно у нее просить. Подаст ли она? *Теперь все решится.* Она понимает мое движенье и, взяв за руку, легонько подталкивает вперед: «Иди! Иди! Грешно поощрять лентяев. Они долж-

ны работать, а не просить милостыню»... Папа и мама всегда подают бедным и никогда «так» не сказали бы. Я легонько отстраняюсь от нее и иду, опустив голову и шаркая ногами...

В церковь мы, младшие, ходить не любим. Я люблю только зайти вечером на минуточку, когда темно и нет службы (по-моему, и Вера не ходила). Я ничего не понимаю, что говорит священник. Еще интереснее бывать, когда открываются царские врата и выносится Чаша, и тогда немного обидно, что причащаешься не ты. А еще лучше, когда обносят тарелочку для церковного подаяния. Мама дает деньги, и можно положить на первую тарелочку монету, взять сдачу и положить на следующую. А можно и тут взять сдачу и положить на третью, — всем поровну. Но передний (староста) может подумать, что ты пожалел и взял обратно, он ведь за спиной не видит, что ты положил на вторую. Надо скорее догнать его и посмотреть ему в лицо, чтобы он увидел, что тебе не жалко, или дождаться, когда он будет обходить второй ряд. Нехорошо, если он меня забыл и будет думать, что «та девочка пожалела». Надо сейчас догнать...

Мы, дети, идем с Августой Ивановной по городу (Луга) мимо церкви. Я вбегаю на паперть. «Мне хочется пойти в церковь!» — говорю я вызывающе. Варя и Вася тоже переглядываются и тоже просятся в церковь. Мы все хотим молиться! В церковь никто не смеет запретить ходить, и мама нас посылает. Что она может сказать на это? Мы смотрим ей в рот. «Идите вперед и не бегайте по сторонам, — сухо говорит Августа Ивановна. — Не обязательно ходить в церковь, можно молиться и дома. Как сказано в Евангелии: “Если двое или трое собраны во имя Мое — там я посреди них”».

Мы переглядываемся и смущенно замолкаем.

Когда на улице дождь, то вечером, после чая, мы, тройка, сидим в детской за столом, за которым утром читаем Евангелие. Августа Ивановна учит нас штопать чулки. До нее мы никогда ничего не штопали и не шили. У нас с Варей по деревянной ложке и по паре чулок. Васе тоже дают что-нибудь делать. Августа Ивановна собирается нам читать. «Почитайте нам Гоголя!» — просим мы. — «Гоголь нехороший писатель, — говорит Августа Ивановна, — вам не следует его читать». — «Гоголь нехороший писатель? Он — классик! *И мы его проходим в школе*». Вера нам чудесно читала «Сорочинскую ярмарку» как Хивря, стоя в телеге, ругалась с парубками — «Чтобы ты подавился, негодный бурлак!» Как мы смеялись! Мы хотим еще услышать про Хиврю. Можно еще про... которого тоже читала нам Варя. Но у Августы Ивановны всегда с собой

книги. Это — «Пуговица Тэдди» и «Белые одежды». В них рассказывается, как дети не слушаются, крадут чернослив и отрывают пуговицы, которые накануне заботливо пришила им мама. Там дети обычно расстегивают свои штанишки и подают матери прут с надеждой, что это их исправит. Обычно они заболевают, делаются кроткими и послушными и просят читать им Евангелие. Они умирают и в этот момент спускается ангел, держа в руке белую чистую одежду, в которой они улетают на небо, а та — грязная, в пятнах — одежда, означающая непослушание, краденный чернослив и оторванные пуговицы, — остается лежать на земле.

Они такие трогательные — эти умирающие дети. У меня щиплет в носу. Сейчас я начну хныкать. Августа Ивановна подзывает меня показать свой чулок и велит прочесть стихотворение «Христова овечка», которое разучивала с нами.

Я иду с бьющимся сердцем и, остановившись перед ней, прямо глядя ей в глаза, с отчаянной решимостью быстро-быстро, чтобы не остановили:

У попа была собака,
Он ее любил,
Она съела кусок мяса,
Он ее убил...
В землю...

Августа Ивановна вскрикивает, схватывает меня за руку и тащит вниз по лестнице. Я подгибаю колени, вырываюсь и хохочу до истерики.

Варя и Вася радостно подпрыгивают на своих стульях. Меня вталкивают в пустую комнату и запирают на ключ.

Августа Ивановна уехала в конце лета. Отъезд ее я не помню.

Мы, дети, видели одно, — мама и папа никогда не говорили, что плохо себя держали и ее «не сберегли». Нам казалось, что родители даже немного вздохнули после ее отъезда. Одна Аля говорила, что с такими ужасными детьми не мог жить такой прекрасный светлый человек и что мы ее «не стоим».

Мы оказались страшнее чернокожих.

Глава 29

Из родных отца я знала очень немногих. Дедушка умер, когда папа был совсем маленький, а мать умерла тоже очень рано. У отца было четыре брата — Николай, Федор, Дмитрий, Сергей — и три сестры — Вера, Павла, Любовь. Вера умерла молоденькой девушкой, о Любови я никогда не слышала ни одного слова, а о Павле слышала уже после, что это было существо очень несчастное и вконец опустившееся. Я не помню,

чтобы папа когда-нибудь рассказывал о своих братьях и сестрах, и мы, дети, совсем не интересовались родней. Но память старшего своего брата Николая, умного, энергичного, который рано ушел от семьи (погибающей в нищете и внутреннем раздоре), успел получить сам высшее образование и под конец сделался директором Нижегородской гимназии — папа очень чтил. Николай Васильевич помог и отцу выкарабкаться из семьи, взял его к себе и дал ему образование.

Папа всю жизнь вспоминал его с благодарностью.

У Николая Васильевича было пять сыновей: Владимир, Петр, Михаил, Алексей, Николай и дочь Наталья. Они бывали у нас, когда я была совсем маленькая (Алексей и Наталья и после приезжали). Они были «нигилистами» и «революционерами». Владимир, черноволосый, с круглыми черными глазами, был роста необыкновенно высокого. Входя в детскую, он нагибался в дверях и всегда головой задевал за нашу висячую лампу. Жена его Элла Германовна была типичная нигилистка по виду.

Я смутно помню, что, когда он сидел в политической тюрьме «Крестах», мы с Васей и Домной Васильевной ездили его навещать — сначала на пароходе, а потом шли по длинному темному коридору с солдатом. Когда нас ввели в камеру, то Володя встал и занял все пространство. В детстве я после слышала, что папа взял его на поруки и внес за него тысячу рублей, и он бежал за границу. То же говорила и Ольга Николаевна, — жена Алексея Николаевича Розанова (племянника), — но в папиных заметках «Опавшие листья»... написано, что Элла Германовна откуда-то раздобыла ему денег, и это меня смутило и было мне не совсем понятно.

Чаще всего приезжал к нам Алексей Николаевич — студент-геолог — и Наталья Николаевна — старая дева, страдающая желудочными болезнями и, несомненно, истеричная. Аля ее не любила, и когда однажды Наташа гостила у нас (помнится, в Луге), произошла большая ссора между нею и Алей. Все сыновья Николая Васильевича были способные, энергичные. Папа переписывался с ними и внешне относился очень хорошо (Наташе посылал деньги и подарки), но мне кажется, что это было в память брата, из чувства долга к нему. Они были самоуверенные и, несмотря на способности, духовно ограниченные, и папу это раздражало. Но Наташу он любил. Поэтому я была очень удивлена, когда в 1918 году, проездом через Москву, зашла ее навестить, и она с большой иронией и не без злобы говорила об отце, так что я сидела как на иголках и постаралась поскорее уйти. Но, правда, она была истерична, и даже братья отказывались жить с ней.

Году в 1911—1912 (?) приезжал сын другого брата — Сергея, племянник Геннадий Сергеевич, студент Казанского университета, на вид

провинциальный и очень неуклюжий, простоватый. Больше никого из родных отца я не знаю.

Из маминой родни знала я только старшего брата ее — юриста — Тихона Дмитриевича Руднева, впоследствии прокурора в Полтавском суде. Он жил всегда в Полтаве и приезжал к нам очень редко. Это был крепкий, высокий мужчина, с головой, стриженной ежиком, весь волевой, энергичный. Тихон Дмитриевич страдал язвой желудка и был, кажется, тяжелого нрава, но был очень умен, честен и прям. Мама его уважала и даже немного побаивалась. Она с ним переписывалась и в важных жизненных решениях обращалась к нему за советом. Тихон Дмитриевич был против брака мамы с отцом, «из себя выходил» и требовал, чтобы папа бросил ухаживать за сестрой, раз он жениться все равно не может. Но в дальнейшем отношения между отцом и Тихоном Дмитриевичем были хорошие. Папа его очень уважал.

Семья Тихона Дмитриевича состояла только из жены Марьи Ивановны, — существа очень кроткого, терпеливо выносящего его крутой нрав, — и дочери Нины Тихоновны, хорошенькой, белокурой девушки.

Постоянным огорчением мамы был другой брат — священник Иван Дмитриевич. Он был добрым человеком, но страдал запоем, и мама говорила, что бывали случаи, что он служил обедню в нетрезвом виде и однажды чуть не уронил чашу. На Алю этот случай произвел очень тяжелое впечатление. Об Иване Дмитриевиче услышала я от мамы любопытный рассказ, который я записала с ее слов: «Мать моя после смерти мужа во всех житейских делах спрашивала совета у о. Амвросия. Брат мой Иван Дмитриевич стал вдруг пить, тогда он был еще учителем. Вот мать моя поехала в Оптину и дорогой думала — "Меня-то батюшка сейчас примет, а Ивана-то нет". А о. Амвросий-то Ивана сразу принял к себе, а мать палкой поколотил и про сына сказал, что он будет у престола молитвенником. Подивилась мать, что про сына-пьяницу батюшка так говорит. А потом он сделался священником и всех родных умерших своих поминать стал...»

Маминого дядю (брата Дмитрия Наумовича Руднева), архиепископа Ярославского Ионафана, умершего в 1906 году, я совсем не знала, но Флоренский как-то, придя к нам, возмутился, что у нас в доме не висит портрета этого «замечательного человека». Флоренский часто бранил нас за то, что мы не интересуемся родней.

Бабушку Александру Андриановну (мамину мать) я никогда не видела. Мы, дети, к ней не ездили (кажется, Таня была в раннем детстве), а только писали ей письма. Родители все время с ней переписывались и ездили к ней в Елец. О бабушке я больше всего слышала от Али, которая относилась к ней с глубокой нежностью, а также очень любила дедушку своего — Павла Николаевича Бутягина (со стороны Алиного от-

ца — Михаила Павловича Бутягина), человека замечательной доброты. Свое детство и отрочество Аля провела в доме бабушки Александры Андриановны и дедушки Павла Николаевича, — среди духовенства, и детство свое вспоминала с умилением и всегда выражала сожаление, что мы, дети, не ездили в Елец, не видели бабушки и не испытали ее доброты и ласки. Она же ездила туда каждое лето. Аля была очень связана со своей родней, и у нее навсегда сохранился глубокий интерес к духовенству и к его быту. Мама же постоянно говорила: «Терпеть не могу генералов и попов». И когда я подружилась с девочкой, дочерью генерала, то не знала, как ее позвать в гости — боялась, что мама встретит ее неласково. Мама не перенесла в наш дом традиции ее родни. Она редко говорила о ней, может быть, в силу своей замкнутости, а может быть, из каких-нибудь тягостных воспоминаний, так как незаконный и со стороны церкви преступный брак ее с отцом, вероятно, был осужден ее родней. Но это только мое предположение, основанное на некоторых «летучих» фразах, слышанных в юности, которых я не помню, но которые оставили определенное впечатление.

Со стороны первого мужа маминого, — Михаила Павловича Бутягина — была обширная родня, и Аля говорила, что характеры многих из них были очень любопытны. Александр Павлович, Алин дядя, красавец собой, человек бурного темперамента («широкая русская душа»), любил сумасшедшую езду на тройках, кутежи, карты и в результате своей бурной жизни довел свою семью до полного разорения. Его жена — Варвара Мелентоновна, у которой, кажется, было семь человек детей (малолетних), после смерти его оказалась на улице (дом описан был за долги), и они в буквальном смысле умирали от голоду, пока родня не пришла им на выручку. Когда мы переехали в Сергиев Посад в 1917 году, папа ездил к ним в Москву, где они все жили, и они ездили к нам. Все дети были очень способные и даже даровитые, а одна дочь — Варвара Бутягина — известна как поэтесса (книга стихов «Лютики»). Но из всей родни Аля больше всего любила (кроме дедушки и бабушки) дедушку Дмитрия Андриановича, — брата бабушки, — человека светлой души, и тетку Марью Павловну, «маму Маши», как ее звали, ангельской доброты, которую и мама очень любила. С ее дочерью Лизой Глаголевой Аля в детстве дружила.

Бабушка умерла в 1911 году, в ноябре. В моей памяти осталась только общая атмосфера печали в доме, закрытые двери, сумерки, и я с Домной Васильевной идем покупать венок на Владимирскую улицу. Аля уехала в Елец. Она долго оплакивала бабушку. Бабушка оставила Але какое-то наследство, кажется, продали домик, я не знаю подробностей, но только Аля часто поминала: «Это бабушкины деньги».

Глава 30

Память отца, Михаила Павловича Бутягина, который внезапно ослеп, а потом буйно помешался и умер, для Али была священна. Она почти не помнила его. В день свадьбы мамы с отцом Алю увезли в «Казаки» (под Ельцом). У Али остались болезненные воспоминания об этом времени. В период ранней ее юности было что-то тяжелое, что мне неизвестно. Папу она обычно звала «Василий Васильевич» и только иногда «папочка». Отношения с ним, как и с мамой, были неровные. Порой очень нежные, а порой – полный разрыв. Аля держалась в семье самостоятельно и независимо. Папа ее очень ценил, хотя и враждовал с ней часто. Аля увлекалась революционным теченьем и даже одно время была связана с нелегальными кругами. Это тоже служило почвой для столкновения с отцом.

Аля боялась «тяжелой наследственности». Безумие и слепота отца вечной угрозой стояли в ее душе. Она была убеждена в неминуемой своей печальной судьбе. Когда у Али бывали сердечные припадки, ей казалось, что она слепнет, и тут она рвалась из рук и кричала. Она боялась смерти, но еще больше боялась слепоты. К слепым у нее было чувство, смешанное из острой жалости, страха и любопытства. В каждом слепом она видела своего отца. Во время войны в 1916 году Аля ухаживала за слепым офицером (который влюбился в нее), отдавая ему все свое время. Она была в смятении. Ей казалось, что она не имеет права его покинуть и должна остаться с ним навсегда. Ее отговаривали, убеждали, что это бред и фантазия, – Аля продолжала терзаться угрызениями совести.

Потом она все же ушла от него.

Аля страшно боялась грозы. Когда она разражалась, Аля опускала шторы, ложилась на кровать, укрывшись лицом, чтобы только ничего не слышать и не видеть. При каждом ударе грома она вскакивала, вся помертвев от страха, и хватала за руки окружающих.

Смерти Аля очень боялась.

Глава 31

Во втором классе я много болела и пропускала уроков, так что в конце года мне дали по трем предметам обязательные письменные работы. По годам мне еще рано было переходить в третий класс, кроме того, я была слабого здоровья, и родители запретили мне заниматься летом. Но главное, – папа, увлеченный школой Левицкой, задумал и меня с Васей поместить туда. Когда мне об этом сказали, я заплакала. Левицкую я боялась. Она приезжала к нам летом в Лугу и сидела за обедом, затянутая в корсет, прямая и строгая, и я глядела на нее, как кролик на удава. К гимназии же я привыкла, много шалила, и у меня были подруги, с которыми я играла в казаки-разбойники. Об одном эпизоде, совсем было

мною забытом, рассказала на днях моя приятельница — Лидия Михайловна Энгельгардт, с которой я дружила во втором классе. Я ей сказала, что мой папа — писатель, и просила хранить это в тайне, а она сказала, что ее папа — нотариус, и не просила из этого делать тайну. Наш класс разделился на две партии — одни были казаки, другие — разбойники. Лида была казачьим атаманом, а я разбойничьим. Мы были противниками по игре, но продолжали дружить. Но тут произошло событие, очень нас взволновавшее. Одна девочка из моей партии — Люба Гаймансон — изменила мне и перешла к казакам. Лида была потрясена этим предательством. В своем заявлении она посвятила целую главу, озаглавленную — «Предательство Любы Гаймансон». Она не приняла ее, так как считала меня своей подругой. Лида пришла и рассказала мне эту новость. Я пришла в такое же волнение. Конечно, тут же я сказала, что она настоящий друг, и мы всю жизнь будем верить друг другу. У нас началось совещание. В это время вошел папа. Наша беседа была вполне конфиденциальна, и я была недовольна папиному приходу. Папа же заинтересовался, видя нас в таком волнении, и мы ему сказали, что я атаман разбойничий, а Лида — казачий. Папа стал смеяться. Лида была очень мала ростом и совсем худышка. В свои десять-одиннадцать лет она казалась семилетним ребенком, но была исполнена важности. «Ты приготовишка?» — спросил папа ее. — «Нет, я старше Нади, я не маленькая». Папа взял ее на руки и поцеловал. Она обиделась. — «Я не маленькая, — твердила она, — я — казак». Но папа, взяв ее в охапку, продолжал носить по комнате, крепко к себе прижав. Он поднес ее к полке, где стояли мои книги: «Елена Робинзон» и другие. «Хочешь взять себе?» — «Не хочу!» — сказала она сердито. («Глаза у Василия Васильевича были остренькие, как иглы, и так и искрились смехом!») Мы не понимали, почему папа смеется. — «Папа, нам надо совещаться, папа, не мешай нам!» В волнении, вперебивку мы рассказали ему о предательстве Любы Гаймансон. Папа был в восторге. Он потешался над нашей серьезностью.

— Она тебе изменила? — спрашивал он Лиду.

— Папа, ты все путаешь, не ей, а мне!

— Не понимаю, — говорит папа. — Ты — разбойник? — пристает он к Лиде.

— Нет, я казак, она — разбойник.

Но папа ничего не понимает и опять задает те же вопросы.

Я умоляю его не мешать совещанию.

— Ухожу, ухожу! — смеется папа и машет рукой. Но мы слышали, как он подслушивал у дверей. Потом просовывается голова: «Ну, как, кончилось совещание?» —

— Да нет же, папочка!

Но папа не мог угомониться.

Придя в гимназию после летних каникул, я должна была объявить девочкам, что осталась на второй год. Мое самолюбие страдало, и я спешила объяснить каждой, что осталась по вине родителей, которые запретили мне заниматься летом. Они с живостью выражали свое сочувствие и на молебне тянули меня в свою колонку, тогда как я должна была стоять с другим уже классом, но я, страдая от гордости, холодно принимала их дружеские излияния и старалась высказать полнейшее равнодушие к своим прежним подругам.

Новый класс встретил меня дружелюбно: я быстро освоилась, приобрела подруг и в ближайшие дни зарекомендовала себя первой шалуньей. Наша гимназия была либеральная, передовая, в ней отсутствовала казенная дисциплина, и на наши шалости смотрели сквозь пальцы, считая их вполне естественными для детей. Я же все больше и больше привязывалась к гимназии, так как здесь, среди конкретности окружающего, мне дышалось легко и свободно, я забывала о той тревоге, которую всегда ощущала дома, а моя живость находила свободный исход. Я носилась ураганом по лестницам, а на гимнастике во время итальянской лапты в меня никто не мог попасть мячом — на всем бегу я плашмя бросалась на пол, и мяч летел мимо меня. Добрейшая Серафима Васильевна, учительница гимназии, вскрикивала в испуге: «Когда Розанова падает, слышно до Исаакия, как ломаются ее кости!» Мои знаменитые падения кончились тем, что я отбила себе почки, и врач прописал мне особый бандаж и запретил всякие резкие движения. Бандаж я носила, но в лапту продолжала играть. С таким же увлечением предавалась я танцам. Балетмейстер, сухонький старичок в лакированных туфлях, преподающий также в Морском корпусе, очень меня полюбил. Когда на урок приходила начальница гимназии, он вызывал меня продемонстрировать перед ней какой-нибудь танец, и я слышала, как, наклоняясь к ней, он шептал: «В балет бы ее, в балет!» Старушка неопределенно качала головой — убежденная шестидесятница — она меньше всего хотела, чтобы из стен ее гимназии выпархивали балерины.

Глава 32

В 1912 году страна праздновала столетие Отечественной войны.

В газетах, журналах, в кино, в витринах писчебумажных магазинов и на конфетных коробках изображались героические эпизоды 1812 года.

В каждом дворе ребятишки маршировали под командой какого-нибудь малыша и устраивали сражения. Мы, гимназистки, тоже не остались глухи к торжествам, и у нас в классе началась игра в Отечественную войну.

Я была выбрана Александром Первым, а другая девочка — Маруся Свинцевская — Наполеоном, так как профилем она немного походила на Наполеона, и мы с ней соперничали в гимнастике и беге. Во время перемены мы устраивали два враждебных лагеря, между которыми происходили сражения, взятие в плен и т. д., а кроме того, устраивали парады с барабанным боем и маршировкой. Игра эта стала средоточием моей жизни, я едва учила уроки и все вечера дома клеила себе из золотой и серебряной бумаги короны, медали и другие знаки отличия, так как народ мой был нерадив, и обо всем приходилось заботиться самой. У меня был Кутузов и адъютанты, которые делали мне торжественные донесения. Я была крайне деспотичным монархом.

Я не понимала, как девочки могут слушать объяснения учителей, когда сейчас со звонком у нас начнутся сражения, и сидела как на иголках, глядя только на дверь. Я требовала от своих подчиненных энтузиазма, но им так надоел мой деспотизм, что постепенно они начали дезертировать в армию Наполеона. Я была несведуща и не знала, что только царь и полководцы любят сражаться, а народ предпочитает заниматься мирным трудом. И когда мои солдаты после звонка бежали играть в «школу мячика», я выходила из себя, призывая их к долгу, умоляя слушаться моего командования и обещая высокие награды. Если бы я могла, я бы всю армию приколола английскими булавками к своему фартуку, но они все от меня удирали.

Наполеон пользовался большим авторитетом — это была очень прилежная ученица, вполне понимающая своих солдат, которые не желают получать двойки, и вместе с ними, пренебрегая подчас парадами, сидела на подоконнике, зажав пальцами уши, и зубрила урок.

Так прошло несколько месяцев, пока классной даме не надоела моя постоянная возбужденность и ссоры, и она решила прикончить с этой игрой, предложив решить победу единоборством.

В гимназическом саду, окруженные своими солдатами, мы с Свинцевской начали бороться. Через несколько минут я лежала, положенная на обе лопатки, несмотря на то, что извивалась, как змея. «Наполеон выиграл!» Я вскочила в слезах и, топая ногами, закричала, что мне дали подножку. Ложь! Все было честно. Она была просто сильнее меня. Но я была вне себя и переживала все муки проигранного сражения и стыд перед собственными солдатами.

— Неправда, все видели, что тебе никто не давал подножки! — сказала классная дама и велела идти на урок.

Больше мы не играли, но все атрибуты власти — корону, медали, ленты — я долго хранила у себя.

Глава 33

В 1912 году летом мы жили на Сиверской.

В первые годы болезни мать перед отъездом на дачу ездила сама за покупками, взяв кого-нибудь из детей. Помню, как маму долго одевают в прихожей и медленно ведут под руки с лестницы, уже поджидает заранее приготовленный извозчик, и мама тяжело усаживается в пролетку. Лицо ее напряженное и озабоченное. Сначала мы едем в Перинную линию, к маленькому магазинчику около Городской думы, где мама закупает чулки и носки. Приказчик выбегает из магазина, угодливо кланяясь, и помогает маме выйти из экипажа. Мама садится в угол, к окну, где выбирает целый час. Нас — пятеро и, если каждому купить хотя бы четыре пары носок, то и то получится двадцать пар! Нельзя к маме приставать: «Мамочка, вот эти носки с полосочкой мне!»

— Не раздражайте меня! — скажет мама и махнет рукой. Потом мама едет в Гостиный двор и покупает часто целый кусок материи, чтобы не думать, а купить сразу всем детям на платье. Только Тане все покупают отдельно, по ее выбору и самое лучшее. Нельзя с мамой повертеться у зеркала и сказать: «Мамочка, мне это не идет».

— Терпеть не могу, чтобы дети думали, идет или не идет!

И о цене полюбопытствовать нельзя. — «Дети не должны интересоваться деньгами».

Когда мама покупает нам готовые вещи, она всегда выбирает с запасом: «Через год, через два вырастешь и будет впору!» Нет, с мамой покупать мы не любим! Куда приятнее с Алей, которая покупает так, чтобы сразу было красиво, и всегда с ней можно советоваться и бегать вертеться к зеркалу. «Как это изящно!» — скажет Аля и поцелует, а на обратном пути купит еще плиточку шоколада, чтобы отпраздновать покупку.

Мама ездит из магазина в магазин, и весь кузов пролетки уже переполнен свертками: мама покупает подарки всем нянюшкам в гимназии, Домне Васильевне, прислуге, каким-то знакомым и родственникам и, наконец, совсем обессиленная, приезжает домой и падает на кушетку.

Сборы на дачу всегда беспокойны. Я удивлялась, когда подруги называли это время самым веселым в году, и поддакивала из самолюбия, чтобы не показать, что дома у нас не так.

Но я ненавидела эти дни. Та особая тревога, которая никогда не покидала наш дом, в эти дни становилась нестерпимой. Мама, устав от уборки квартиры на лето, во время которой ей всегда казалось, что все делается не так, как нужно, бессильная принять непосредственное участие — сбегать, запереть, позвать — только задыхалась в волнении о папе, нас, детях, прислуге, дворнике, швейцаре и, лежа на диване, держала ключи в руках от совершенно пустых шкафов. Но они олицетворяют по-

рядок, и мама никогда не соглашалась выпустить их из рук. В них все же заключалась «иллюзия власти», служившая ей утешением. На вокзале папа с растерянным лицом ищет маму, а мама — папу. И уже в вагоне, совсем задохнувшись, мама в последний раз пересчитывает: «Все ли места (корзинки, сундуки)?». Какое же здесь удовольствие?! Забавна была Варя в дороге. Она сидела, выпрямив спину, и при каждом толчке испуганно вскидывала глаза и закусывала губу. Она очень боялась крушений и оберегала собственную жизнь!

Дачи нанимались всегда комфортабельные, городского типа и с большим садом. Как мы с Васей интересовались садом, так Варя интересовалась фасадом — достаточно ли шикарно выглядит дом снаружи. На этот раз все обстоит отлично — по соседству с нами жил товарищ министра, и Варя была спокойна и довольна.

У папы приблизительно с 1912 года под тюфяком кровати лежала кипа дешевеньких брошюрок Шерлока Холмса (15—20), какие продавались у газетчиков, с самыми занимательными названиями: «Еще воры», «В тисках преступления», «Похищение драгоценностей», «В лапах...» Мама гнала нас из-под кровати, куда мы забирались, томимые любопытством, и втихомолку шуршали страницами. «Вася, ты портишь детей!» — говорила мама с досадой. Папа тоже сердился и гнал нас, но после обеда всегда укладывался спать с одной из таких книжонок.

Однажды папа вздумал прогуляться по парку с Варей, Васей и мной и, отойдя немного от дому, вынул из своей крылатки (плаща) брошюрку, на обложке которой была изображена женщина, летящая со скалы с распущенными волосами и искаженным от ужаса лицом. Наверху стояли два злодея, оскалив зубы.

— Только не говорите маме, — сказал папа, и мы уселись в кружок. Неизвестно кто из нас больше волновался — 11—12—13 или 55 лет.

Папа тряс головой: «У...у...у...» А мы придвигались ближе. Давно был слышен звонок на обед, к которому опаздывать не разрешалось, но мы не могли оторваться от книги.

Перед домом папа еще раз велел нам хранить тайну, и мы вернулись, как четверо набедокуривших школьников, из которых папа был главным зачинщиком. Папа и после нас гнал, когда мы подбирались к его куче книг, боясь недовольства мамы, но главным образом оберегая свой клад, боясь его расхищения. Но мы все же умудрялись таскать.

В дальнейшем, идя из гимназии к подругам, я всегда останавливалась около газетчика, проверяя, все ли книжонки у папы имеются, а подруги говорили: «Чего ты все смотришь? Ведь такую литературу читают одни уличные мальчишки да подонки общества!» — А мой папа читает! — всегда хотелось огрызнуться мне, но я молчала, так как давно поняла, что дом наш «особенный», и тут никто ничего не поймет. Придя



домой и застав папу с книгой, небрежно цедила: «Опять своего Шерлока!» — но потихоньку таскала и читала у себя под подушкой.

Папа, сколько помню, никогда не гулял, а если и пойдет, то около самого дома, где и присядет отдохнуть на пенечке. Обычно папа сидел на террасе, поджав ногу и набивая гильзы, а мама ставила около него тарелочку со свежей клубникой (с грядки), которую папа очень любил. Мне кажется, что папа мало замечал природу, занятый всегда своими идеями и упираясь главным образом в то, что «на солнце жарко, а в тени холодно».

К сожалению, мы не ездили в деревню, а жили всегда на дачах, и это притупило наше чувство природы. Мы мало гуляли, а больше сидели по комнатам и читали книжки. Мама же ходила, хромая, из комнаты в комнату, умоляя нас выйти на воздух. «И для чего было нанимать дачу, раз вы все сидите и читаете? Читать можно и в городе!»

Один Вася только по-настоящему пользовался дачей и, не любуясь природой попусту, весь дышал ею — бегал по лесу, лазил по деревьям (неоднократно ломал ноги и лежал в больнице), удил рыбу и плавал. Он чудесно плавал и нырял — у него была настоящая страсть к воде. Наше любимое занятие с Варей было часами наблюдать за Васей. Он же, польщенный нашим вниманием и криками восторга, проделывал перед нами просто акробатические номера.

Правда, мы много шалили с соседними ребятишками, по-испански забронировавшись в плащи, залезали в чужие сады и крали яблоки, наслаждаясь зрелищем хозяйки этого сада, мирно распивающей чай на нашей террасе в обществе мамы, при подозрительном треске беспокойно озирающейся всякий раз в нашу сторону. Играли мы и в Шерлока Холмса, бегая по чердакам и крышам, и приходили домой в разорванном платье и с разбитыми носами. Но «гуляли» мы мало.

Природу, по крайне мере я, — начала чувствовать позднее, с возрастом, особенно когда жила в Уссикирке в 1916 году (за Белоостровом) — чудесном местечке, со множеством озер и такими лугами клевера, что и теперь, как вспомнишь, — остановишься внезапно и всей грудью потянешь этот ни с чем не сравнимый аромат — «солнце пахнет травами душистыми». А еще больше чувствовала я природу в деревне, в Рязанской губернии, где уже жила круглый год в 1919—1920 году. О! Это — целая поэма! В дальнейшем я уходила порой из дому в семь часов утра с завтраком и возвращалась с заходом солнца, просто не будучи в силах уйти от ее очарования. Но кажется мне, бывают единственные моменты в жизни полного проникновения в природу, когда она целиком охватит душу, и это уже как «чудо», и один раз я это пережила в 1921 году, в Сергиевом Посаде.

Нам нужно было напилить шесть кубометров (трудовая повинность). Каждой квартире сдана была делянка в лесу, и мы должны были пилить с корня, а после сложить по правилу, и управдом выверял метры. Выдали нам по одному фунту хлеба, и несколько соседок и мы наняли мужика и пошли вчетвером, — он, Таня, Наташа Вальман и я. Отправились на двое суток и ночевали в лесу, на открытом балкончике какой-то дачи. И вот утром, проснувшись, я встала и, когда сходила с террасы, то так и раскрыла рот и двигалась как зачарованная. А сказать не знаю что. И ничего не было особенного, и много мест видела гораздо красивее, и были обычные деревья — береза, да осина, да ель.

А вот только, как Снегурочка, выросшая среди природы, не замечала ее, а как Весна надела ей венок, она вся затрепетала и поднялась навстречу ей: «О мама, какой красой зеленый лес оделся!» А до того знала только, что «на солнце жарко, а в тени холодно».

Глава 34

Естествознание я не любила в гимназии. Урок зоологии. На кафедре стоит прут с почками, в банке разрезанные пополам лягушки с растопыренными лапами и несколько живых тараканов. «Натюрморт» из живой природы!

Совсем не слушаешь, что говорит учитель.

Другое дело ранней весной пойти с Варей и Васей к пруду и набрать в таз головастиков. А потом в детской, под кроватью, устроить болотное царство...

Так мы и делали, но вскоре житья не было от лягушек. Они наводняли не только сад, но даже и дом, прячась под кроватями, столом, залезали под платье, всякий раз заставляя испуганно вскрикивать домашних. Как-то мама пошла перед ужином прогуляться по саду, как всегда медленно двигаясь, опершись на палку, и время от времени останавливаясь, чтобы передохнуть. Я шла рядом. Вдруг мама испуганно вскрикнула и, неловко переступая ногами, палкой старалась что-то отбросить от себя. Потом, махая ею, она ударила лягушонка. — «Черт!» — закричала я, топая ногами, не помня себя от ярости. — «Черт!» — повторила я, дрожа всем телом, но уже вся во власти охватившего меня бешенства.

Мама стояла передо мной молча, подняв голову. Лицо ее было печально и гневно. В эту минуту оно было прекрасно.

— Господи, Господи, что же я делаю?!

— Черт! — продолжала я, тряся губами.

Вечером я сидела в своей комнате, оставленная без ужина. Таня вошла ко мне: «Ты не права, — сказала она спокойно, без обычного раздражения, а мягко и вдумчиво. — Как ты не понимаешь, что мама сделала это невольно, защищаясь от лягушки!»

— Она жестокая! — повторяла я с отчаянием.

Разве вдумывалась я тогда, что мама была беспомощнее всякого лягушонка, всякого насекомого, способного летать, прыгать, защищаться! Когда мама хотела подойти поцеловать нас, то, нагибаясь, она с трудом переставляла ноги, чтобы удержать равновесие и не свалиться.

Но тогда я ничего не хотела видеть...

Ночью, лежа с открытыми глазами и глядя в темноту, я ощущала страх и потерянность. Будто все ангелы покинули меня. Я поняла, что перешагнула черту, через которую нельзя переступать *безнаказанно*, забыла страх, который должна была носить в сердце, *преступила через заповедь, возвещенную в огне и вырезанную нам на скрижалях.*

Невыразимый страх и печаль давили мне сердце.

Вернулись мы с Сиверской на новую квартиру. Коломенская 33, квартира 21.

С этой квартиры мои воспоминания становятся более отчетливыми. Дом наш, серый и мрачный, был расположен в одном из самых неприятных кварталов Петербурга. Но мама стремилась выбирать квартиры поближе к гимназии. Папа обычно занимался устройством квартиры, принося домой книжечки с образцами обоев, и с большим воодушевлением выбирал их вместе с нами. Наши вечные стремления иметь каждому отдельную комнату делали въезд очень шумным. Мы, младшие, влетали в квартиру и, взволнованно усевшись на подоконниках, утверждали, что комнаты уже заняты, после чего в них водворялись старшие, а нас уже размещали к ним, как добавочный ассортимент. Аля поселилась с нами вместе с Наташей, как всегда, изящно и строго обставив свою комнату.

Наша последняя воспитательница, которая жила с нами на Сиверской, истощила терпенье: она была очень глупа, и кроме того, к удовольствию нас, детей, и ужасу родителей у нее оказались фальшивые волосы и подозрительный цвет лица, после чего на семейном совете было решено отныне никого к нам не приглашать, а поручить наше образование Наташе Вальман, которая, продолжая заниматься на курсах, взяла на себя обязанность помогать нам готовить уроки и заниматься с нами языками. Мы были счастливы, так как горячо к ней привязались.

Меня поместили в комнату Тани, которая к этому времени ушла из школы Левицкой и поступила в Стоюнинскую гимназию в шестой класс. Первые дни нашего устройства причиняли мне одни огорчения. Таня хотела не загромождать комнату вещами и вешать как можно меньше картин на стены и по принципу симметрии, а я — как можно больше и «лесенкой». Мои сокровища из всех подаренных мне открыток — зайчиков, слонов, с каждым из которых было связано отдельное воспоми-

нание, — Таня беспощадно изгоняла из комнаты, чтобы не «заводить пыли», и даже мою чудесную «Мадонну со слезой», нарисованную на стекле, которая так хорошо светилась, если ее подвесить к окну, — Таня не допускала. Мои рыдания прерывала Аля, которая брала мою сторону, но в их внезапном молчаливом соглашении я видела уступку и даже некоторый «обман», что еще больше меня сердило. Васин письменный столик с несколькими вещицами, даренными ему по случаю того, что они «никому не нужны», стояли в столовой, сам же он временно спал с родителями. К вещам он был равнодушен так же, как и к своему углу.

Теперь у родителей была отдельная спальня с зеркальными окнами, отделанная золотисто-розовой драпировкой. В своем кабинете папа заменил витрины для монет шкафом красного дерева со множеством мелких полочек, крытых синим бархатом, на которых лежали зеленые коробочки с монетами. Папа любил, чтобы вещи всегда были красивы и удобны, и всегда очень тщательно обдумывал все детали покупки.

На высоких полках (до потолка) папа поместил свою библиотеку старинных книг и, сидя на полу в теплом домашнем френче (толстовке), весь в клубах дыма, целыми днями разбирал библиотеку.

Верина комната была смежная с родителями, удлиненной формы, с одним окном. Запершись на ключ, чтобы никто не входил к ней, она устраивала ее по своему вкусу. Все стены ее были увешаны репродукциями с греческих скульптур, а в углу, на маленьком аналое стоял в раме лик Христа Леонардо да Винчи (из «Тайная Вечеря»), перед которым она зажигала лампаду. Шторы были спущены иногда даже днем, и комната освещалась розовым светом висячего фонаря.

Осенью мама лежала в клинике Елены Павловны, на Кирочной улице. Папа почти круглые сутки проводил у мамы, а мы приходили навещать ее после гимназии вместе с Домной Васильевной.

Палата, в которой лежала мама, была удлиненной формы, с одним окном, выходящим в сад, со всех сторон окруженный больничными корпусами. Видны были у окна черные мокрые стволы деревьев, а по аллеям, усыпанным листвой, бродили фигуры в больничных халатах. Папа сидел за маленьким столом у окна, всегда в глубокой задумчивости и грусти, и писал или же дремал против мамы на клеенчатом диванчике. А мама всегда лежала с лицом, обращенным к двери (противоположной окну). Папа привозил ей большие коробки шоколадных конфет в красных бумажках, и мама позволяла нам есть сколько нам хочется, так как думала, что нам скучно сидеть с нею.

Вечная тревога не покидала ее, она поминутно расспрашивала о доме и о каждом из нас.

— Деточка, ты очень шалишь?

— Не очень, мамочка. А у меня были подруги в гостях!

— Не зови их часто. Але ведь трудно. Она ведь одна у нас. Берегите ее, дети!

Мама все смотрит на дверь.

— Кто-то прошел сейчас, посмотри.

— Нет, мамочка.

— Ты встань, посмотри, ведь слышу. Это, верно, сестра прошла.

И вся в беспокойстве...

— Мамочка, позвать тебе сиделку, чтобы тебя повернуть?

— Я сама, сама. Не зови. Они ведь не любят, когда их зовут. Поддержи меня только.

И, задыхаясь, обнимает за шею, силясь повернуться на бок.

— Какие они грубые, эти сиделки, — говорит мама. — У меня все тело в синяках, так больно они поворачивают. Они нарочно это. Они злые.

Теперь мама лежит, повернувшись лицом к стене, тяжело и часто дыша.

— Ну, идите домой, — говорит мама грустно, так как ей кажется, что нам скучно с нею. — Идите!

Один раз в клинике я видела маму оживленной и даже торжественной. Она лежала в белом кружевном матинэ, и лицо ее сияло спокойствием. Ее приехал навестить епископ Финляндский Сергий.

Таня сказала мне: «Это большая честь оказана матери нашей. Он приехал к ней как к супруге Розанова». (Епископ Сергий знал Розанова лично по выступлениям его в Религиозно-философском обществе и, видимо, уважал.) Я не поняла Таниных слов. Ведь то был не артист, не художник и не поэт, я недоумевала. Я тогда не знала, как мама всю жизнь страдала за свое незаконное венчанье с отцом и совершенное ею преступление против церкви.

Свою «безымянность» она приняла как крест и в письмах к нам, детям, подписывалась только «мать» или просто «Варвара». Мы недоумевали и даже сердились на эти «странности», не понимая, сколько глубокого и поэтического смиренья она вкладывала в эту подпись.

Глава 35

Аля вносила много оживления в наш дом. Она заказывала совместно с нами обед из тех блюд, которые мы особенно любили, и вечером, кутаясь в мягкую шаль, играла с нами в карты и другие игры, поставив на столик тарелочку грецких орехов. Она принимала живое участие в нашей школьной жизни и разрешала нам ходить в гости и звать к себе своих подруг и товарищей. С мамой же приходилось хитрить. Она внезапно могла изменить решение и в последний день запретить идти в гости. Заранее подготовляясь к неудаче, я вынимала из папиного альбома самую «хорошенькую открытку» вроде «Мальчиков с дыней» Мурильо и, не

меняя почерка, писала от имени родителей той девочки, к которой собиралась идти, самое горячее приглашение и просьбу к моим родителям — осчастливить их моим приходом. Не имея денег на марку, я клала ее на столик в швейцарской, откуда забирали почту. Я зорко следила, когда эта открытка вносилась в квартиру, и бежала следом за ней к маме, которая торопливо подымалась с кушетки и взволнованно искала огня. Прочтя, она спокойно клала ее на стул у своего изголовья. Тогда, обеспокоенная, я брала ее в руки и, издав восклицание, снова подавала маме: «Мамочка, смотри, сами родители зовут меня в гости, нет, ты только прочти!?» — Да ты это все сама придумала, и почерк-то твой, и даже без марки! — говорила мама совсем равнодушно. — И зачем ты только у папы таскаешь открытки? — Я бросалась искать поддержки у папы. И папа, занятый в это время спором со всем христианским миром, обзывал меня «чепухой» и всех моих подруг «чепухой», после чего вновь погружался в табачный дым. Вся в слезах я бежала к Але, которая всегда становилась на защиту моих интересов и всячески меня утешала.

Глава 36

В классе у нас готовился спектакль «Сказка о царе Берендее», и я должна была играть королевича. Первый настоящий спектакль, в котором я играла главную роль! Счастье и гордость заливали меня. Каждый вечер я стучалась в комнату Веры, умоляя ее прослушать и прорепетировать со мной. Она никогда не отказывала мне, а я не стыдилась ее, как других, полностью раскрываясь перед нею. Она понимала меня, и мое волнение, и мои честолюбивые мечты. Вера была так же серьезна, как я, и я знала, что никогда не только не обнаружу в ней насмешки, но и тех обидных похвал, которые так щедро сыплют взрослые и за которыми всегда чувствуешь веселую иронию и снисходительность к твоему возрасту. Никому из домашних я не разрешила идти на спектакль и позвала только Веру. Последнюю ночь я пролежала в постели не закрывая глаз, в ужасном волнении и весь день ходила по комнатам, бессильная чем-нибудь заняться, поминутно присаживаясь на стул и сжимая руки, не зная, что делать с сердцем, готовым от волнения выскочить из груди.

Наша классная комната (гимназия) была похожа на мастерскую модного магазина. На партах стояли картонки с грудой бумажных цветов, лент и перьев и всюду валялись обрезки материи и гофрированной бумаги. Матери и сестры, вооружившись ножницами, помогали нам доканчивать костюмы.

У меня были ленты и шлем из серебряного картона и большой щит, тоже склеенный из картона. Девочка — Лида Карякина — с пышными белыми волосами и низким голосом играла царя Берендея, и когда ей приклеили бороду и надели корону, она сделалась настоящим Беренде-



ем. Другая девочка — Лида Хохлова — тоненькая и грациозная, с смуглым личиком и темными глазами, играла царевну Светлану, дочь Берендея, которую я доставала с морского дна, куда ее унесли чародеи. Она была в длинном платье, отделанном кружевом, и с золотой короной, расшитой цветными камушками. В своем волнении мы не обращали внимания друг на друга, и я никак не предполагала в этот вечер, что, решившись на подвиг, иду добывать себе ту, которая вскоре станет мне другом на всю жизнь.

Эмма Васильевна, классная дама, с светлыми рыбьими глазами и необъятным торсом, вся красивая от волнения, в последний раз делала наставления, хотя мы, участники первого акта, толпились у дверей, от волнения присев на корточки, поминутно крестясь и подглядывая в замочную скважину в зрительный зал. Там за стеной слышался шум отодвигаемых стульев и топот множества маленьких ног. Приготовишки, самые любопытные зрители в мире, энергично занимали места.

Спектакль начался. Я шевелила губами и слышала рядом свой голос, совсем отдаленный от меня, которым я не могла управлять, и руки и ноги мои механически делали какие-то движения, независимо от моей воли и вовсе не чувствуя под собой твердости пола. Постепенно я овладеваю собой, возвратившись из какого-то сна.

Все шло отлично. Но вот начался акт в лесу, где я, сидя за стулом, покрытым зеленой тряпочкой (означающим куст), подкарауливаю Василису Премудрую и, схватывая ее посреди хоровода русалок, я крепко держу ее за руки и не отпускаю. Но что случилось? Она произнесла свой монолог, а я произнесла свой, а теперь я слышу опять ту же реплику и механически повторяю опять те же слова. Ее лицо заливается краской, а голубые глаза становятся совсем круглыми от испуга. Она забыла свою роль! Теперь все погибло! Моя роль! Мои слова! С отчаяньем я сжимаю ее руки, безмолвно умоляя ее вспомнить слова. Но она ничего не помнит. Мы стоим друг против друга, бормоча все то же. Теперь я в бешенстве ломаю ей пальцы, и ее рот кривится от боли, а голубые глаза наполняются слезами. Маленькие зрители уже задвигали стульями, сейчас они хором будут кричать, что мы позабыли роль. Но вот в дверь просовывается необъятный торс классной дамы, и она во весь голос подсказывает нам слова. Теперь ее не остановишь. Она продолжает кричать на весь зал, и нам приходится перекрикивать ее. И все же спектакль идет отлично, и дети от удовольствия стучат ногами и хлопают в ладошки.

После спектакля я бегу в класс снимать костюм. Все шумно поздравляют нас. Вера помогает мне раздеваться.

— Ну как, Вера, хорошо я играла? — «Очень. Все хорошо играли». — А я? Я? — «И ты тоже. Очень хороший спектакль. Все молодцы!» — Все,

все! Зачем она *так* говорит?! Мне стыдно спросить: «Вера, *я лучше всех* была?» Но жажду услышать только одно: — «Все дети были милы, но ты была — изумительна!»

Глава 37

Старшие сестры Таня и Вера читали с раннего детства непрерывно. Таниными любимыми книгами в детстве были «Мученики Колизея» (Катакомбы) Евгении Тур, «Слепой музыкант» Короленко, дальше Лермонтов, Пушкин, затем в 15—16 лет — Достоевский, а с 17 лет она читала почти одну философию.

Я ее начинаю помнить с томиком Пушкина, которого она читала вполголоса, взволнованно и мрачно. С Пушкиным она не расставалась.

Вериных любимых книг в детстве я не знала, помню только серенькую истрепанную книжку «Мученики науки», подаренную ей папой, которую она особенно любила. Она собирала у себя портреты великих ученых. Вера читала за обедом, за чаем, во время уроков в классе и, запершись у себя в комнате, до самого рассвета. Таня писала: «Вера, когда читает, делается, как зверь, а читает она очень много, не переставая. Я такое чтение сравниваю с коровой, которая ищет траву не переставая и не разбирая вкусную и какую траву ищет, так и Вера читает, скорей пожирает, без разбору, без перестановки». В 12—13 лет она увлеклась Гоголем, потом Лермонтовым, Пушкиным, но кажется мне, что Лермонтов был ей ближе: с 15 лет начала читать Достоевского, а к 18 годам прочла всего Достоевского, Ницше, Розанова, не говоря о современных писателях — Мережковского, Бердяева, Булгакова, Флоренского и т. д., а также очень много читала немецких и греческих философов. Увлекалась она космографией, делала какие-то записи, чертежи. Толстого она не любила. «Он чересчур здоров», — говорила Вера презрительно. Она уверяла меня, что не читала «Войны и мира». Я думаю, что это было так, и она говорила правду о себе. Вспоминая в детстве Таню, я представляю ее всегда в уютном сером халатике, в кровати, у изголовья которой, на стене, в черной рамочке изображен святой Серафим Саровский с вязанкой дров. Таня лежит, свернувшись калачиком, и читает Канта. В узенькой вазочке срезанные один-два цветка. Вся комната (с малым количеством вещей) наполнена солнечным светом и воздухом. Двери в другие комнаты *могут быть* раскрыты. Есть какая-то воздушность перспективы. У Веры — никакой. Спущенные занавеси, даже при дневном свете затемненный свет настольной лампы, двери плотно закрыты, кругом ворох бумаг, книг, все клубится вокруг; на транспаранте, на обрывках бумаг наброски какого-то лица, напоминающего череп, со скорбным ртом, идея лица Сверхчеловека, познавшего «добро и зло». Она читает Заратустру и судорожно пишет на полях заметки.

Если бы Тане или Вере предложили живописно передать свое мироощущение, Таня непременно выбрала бы акварель и даже пастель и все изобразила бы в пепельных тонах и как бы завуалированных слезами. Вера бы, наоборот, — непременно схватила бы масло, употребив всю палитру и широкие жирные мазки. И между тем лицом они обе были обращены в одну и ту же сторону, заворожены одним миром идей (В. Р.), но все органы восприятия были разные. Я думаю, что Таня гораздо раньше Веры не только выработала вкус, но как бы с самого почти младенчества ее эстетическое восприятие отбрасывало то, что не было абсолютно художественно, тогда как Вера личным опытом проходила через все искания и ошибки.

Вера рано замкнулась в себе и отделилась от семьи (в сущности, начиная с 11—12 лет) и постепенно оградила себя от всего, что касалось «быта».

В семье она была вспыльчива и неуживчива, но это проявлялось только в том случае, если кто-нибудь вторгался в ее внутренний мир.

Мама, страстно любившая Таню, которая целиком жила домом, постоянно раздражалась на Веру. Когда мы, думая «пошалить», тщательно прикрывали дверь в мамину спальню, мама взволнованно кричала с кушетки: «Не закрывайте дверь! Я хочу вас видеть. Почему вы закрыли дверь?» Вера же всегда сидела, запершись на ключ, изредка допуская только меня. Кроме того, ее утром нельзя было добудиться в гимназию. Эти утренние вставания всегда были бурны. Мама, волнуясь, что Вера опаздывает на урок, шла к папе, призывая его проявить отцовскую власть, но стоило ему с грозным видом показаться в дверях, как в него летели подушки, одеяла, сопровождаемые диким криком Веры: «Оставьте меня в покое!»

Никто не знал, что Вера легла на рассвете, всего за час или два, как пришли ее будить, и для нее эти вставания сопряжены были с мукой. Но было и другое, что окончательно приводило маму в отчаянье: Вера по ночам уходила из дому.

Мама, среди ночи, обеспокоенная все ли в порядке, поднималась и обходила все комнаты, и тут в прихожей обнаруживала исчезновение Вериного пальто. Задыхаясь, она шла к Вере в комнату и находила ее пустой. Поднималась буря.

Вера не объясняла своих исчезновений, и когда мама, полная самых нелепых и тяжелых подозрений, обрушивалась на Веру, — она с побелевшими губами и диким выражением лица молча хлопала дверью.

Никто из семьи не знал, что то был один из самых тяжелых и решающих периодов ее жизни, период религиозных исканий, сомнений и духовных провалов... К ним я вернусь.

Страстно любя отца, она по ночам писала ему длинные письма, которые наутро бросала в корзину. Но дома видели одно: во-первых, Вера всех от себя гонит, во-вторых, не моет чайной посуды и презирает «быт» и, в-третьих, уходит по ночам из дому. Поэтому мама требовала, во-первых, чтобы Вера пускала ее, когда она сочтет это нужным (не помогало), во-вторых, покупала Вере все хуже, чем Тане, в наказанье за плохое поведение и, в-третьих, обвиняла Веру в «тайных злоумышлениях» (В. Р.), раз она не ночует дома. Папа, встревоженный маминым состоянием и одновременно в ярости, что ему не дают писать, — обрушивался на Веру, крича, что все «пошлость» (любимое папино словечко) и чтобы она сняла со стен «голых мужиков». Вера бледнела, молча хлопала дверьми, не выходила к столу.

Я презирала папу, что он «не интеллигентен» и «не понимает греческой скульптуры», а Таня плакала и твердила, что Веру следует посадить в тюрьму. Эти столкновения с Верой привели моих родителей в конце концов к тайному решению «выдать Веру замуж». Об этом оригинальном событии узнала я много лет спустя от С. А. Цветкова, папиного друга, которого папа, помимо его желания, прочил себе в зятья.

Приблизительно с 1911—1912 года у отца возникла переписка с одним молодым литератором С. А. Цветковым (редактор «Русских ночей» Одоевского). В то время он жил в Москве. Имя Цветкова с этого времени поминалось в доме: «Сегодня опять письмо от папиного молодого друга», — говорила мама. А папа называл его: «Мой благородный Цветков, мой милый Цветков». Дружба эта длилась до самой смерти отца, его любовное отношение к нему было неизменно, и С. А. ответил ему самой благородной и возвышенной дружбой. Он заботился после смерти отца не только о его литературном наследии, работая над архивом с величайшей тщательностью, разыскивал его корреспондентов и собирал письма отца, не останавливаясь ни перед какими трудностями, но даже взял некое «опекунство» над оставшимися членами семьи (столь беспомощными в жизни), помогая во всех жизненных делах и решениях. Это — подлинная, интимная и прекрасная любовь-дружба!

В первый раз Сергей Алексеевич приехал к нам зимой 1913 года, в период, когда в семье у нас возникло много конфликтов, и папа просил его приехать. Мы, дети, с любопытством ждали его приезда. Он оказался еще совсем молодым человеком, высокого роста, сдержанным, несколько европейского вида. Из-за небольшой асимметрии лицо его казалось несколько сердитым, но все же очень приятным. В отличие от остальных «папиных гостей» он не отнесся к нам как к неодушевленным предметам (что порой меня так обижало) и сразу расположил меня к себе, заговорив со мной о школе и о книгах, которые я читала. Когда он вошел в детскую, я учила наизусть стих Пушкина «Анчар», и он спросил меня,

кого я больше люблю — Лермонтова или Пушкина. Я сказала, что Пушкина. «Так и должно быть, — ответил он мне, — в детстве любишь больше всего Пушкина, потом Лермонтова, а в зрелые годы снова возвращаешься к Пушкину, и так уже до конца». Дальше мы совсем подружились, и, сидя у него на коленях, обняв его за шею, я спросила его, почему он не женат. Это излишнее любопытство к семейной жизни посторонних я целиком почерпнула от папы! По его словам, я сделала довольно справедливые догадки о причине его холостости. Дети принципиальнее взрослых, — теперь я бы, наверно, растерялась перед множеством причин, отчего человек может быть неженатым. Тут же я ему предложила дожидаться, пока я вырасту, и тогда жениться на мне, но он не внял моей просьбе и выбрал себе другую спутницу жизни. В тот период я прочла «Айвенго» и несколько других романов и нашла, что романтическая жизнь гораздо интереснее гимназической и изводила Наташу Вальман, подбрасывая кверху учебники и категорически заявляя, что немедленно собираюсь замуж. Она уговаривала меня подождать немного.

О намерениях родителей я так же, как и остальные дети, совершенно не догадывалась. Правда, мы слышали, как папа и мама шептались друг с другом, но объясняли это тем, что они совещаются относительно Веры и надеются, что Сергей Алексеевич благотворно на нее подействует. А между тем между папой и Флоренским шла переписка по этому поводу, папа ему написал о своих планах, а Флоренский резко восстал против них. Он написал ему, что еще недостаточно в таком ответственном деле одного пожелания Василия Васильевича, и, помимо даже его дочери, еще существует сам Сергей Алексеевич Цветков, который должен строить свою жизнь по своему усмотрению, а не по желанию Василия Васильевича (от Флоренского Цветков и узнал впоследствии о всех этих подготовлениях).

Вера (она так никогда и не узнала подлинную историю) сидела запершись в своей комнате. Она, как и все мы, предполагала, что папа вызвал Цветкова для ее «усмирения». Она была настороже и внутренне протестовала. Хорошо, что она не знала истины. Она бы растерзала «жениха»! Вера долго не хотела к нему выходить. Папа суетился. Он всячески старался оставить их наедине, а Сергей Алексеевич, хотя и далек был от существа дела, все же чувствовал во всем что-то неладное. Когда он уезжал, папа все уговаривал его писать Вере, но Сергей Алексеевич отказался ввиду слишком недолгого знакомства.

Женитьба не состоялась!

Среди нас, детей, возникла идея, которая долго держалась у нас, именно о возможности «похищения Веры». Дело в том, что мама на Сергея Алексеевича смотрела подозрительно, хотя прямо и не высказывалась против него. Оценивая его как будущего зятя и боясь «обнаружить

в нем «декадента»» (мамины страхи), она старалась выяснить, каковы его взгляды на супружескую жизнь, верность, любовь. Твердость его взглядов удивила маму, но все же не рассеяла ее подозрений. Вообще все это было непонятно, таинственно, и мы, дети, так и решили, по маминому настороженному виду, что мама боится, как бы Сергей Алексеевич не «похитил Веры».

Могла ли такая чепуха возникнуть где-нибудь, кроме нашего дома?

На этом сватовство кончилось.

Глава 38

Летом в 1913 году родители мои, взяв из детей одну Варю, поехали в Бессарабию к Евгении Ивановне Апостолопуло, в ее имение «Сахарна», где у нее был винокуренный завод. Сама Евгения Ивановна была больна раком груди, но вся излучалась энергией и волей. Она жила гражданским браком с Драгоевым, и я помню, как он привозил нам большие листы, на которых изображены были причудливые цветы и птицы — народное творчество молдован. Они висели у нас в детской над кроватями. Родители мои очень любили обоих супругов, но особенно Евгению Ивановну, и даже мама, обычно пугливая и недоверчивая, была горячо к ней привязана.

Мы же, остальные дети, вместе с Алей, Наташей Вальман и Домной Васильевной поехали в Сергиев Посад, в Вифанию, где Павел Александрович Флоренский подыскал нам дачу. В то время между Флоренским и отцом шла переписка, и имя его постоянно произносилось в доме. Флоренского я смутно помню еще студентом, когда он приезжал к папе на Коломенскую и ночевал у папы в кабинете за ширмой. Папа говорил, что это необыкновенно умный студент, но он мне казался таким странным и некрасивым со своим длинным носом и волосами до плеч, в студенческой фуражке, которая ему очень не шла, и в зеленой форменной тужурке, так не гармонирующей со всем его обликом. Тогда я не видела за внешней некрасивостью другое «высвечивающееся» лицо, которое эти черты, столь некрасивые в своей схеме, — делают значительным и необычным.

В 1913 году, когда мы приехали в Сергиев Посад, он уже принял священство и служил в церкви при Красном Кресте, где было общежитие для престарелых сестер милосердия, и жил со своей женой Анной Михайловной, маленьким сыном Васютой и тещей Надеждой Петровной Гиацинтовой в маленьком деревянном доме на Штатно-Сергиевской улице в доме Озерова. Часто приходил он к нам в Вифанию, неся на плечах своего сына, в белой рясе, подпоясанной узенькой тесьмой с вышитой на ней молитвой. Между Алей и Павлом Александровичем установилась дружба еще до нашего переезда в Сергиев Посад, и он прислал Але книгу

своих стихов «В вечной лазури» с надписью: «Хоть и не виданное мною, но все же дорогой Шуре на “утешенье”».

Чудесен был Сергиев Посад в те отдаленные годы! Лавра с ее поразительной архитектурой, запечатлевшая несколько столетий, была в то время не мертвым музейным памятником, а живым источником жизни, хранилищем драгоценной культуры, к которой ежедневно стекались толпы народа, неся в свою очередь и свои материальные и духовные дары. В воскресные дни по всем дорогам шли богомольцы, — старики и старухи с посохом в руках и котомками за плечами, молодые бабы в подоткнутых праздничных юбках, таща за собой белоголовых ребят, нищие всех возрастов, калеки, слепые и богатые досужие барыни в экипажах, запряженных парой.

Воздух был напоен колокольным звоном, несущимся из Лавры, Вифании, Гефсимании, Черниговской (которая особенно славилась своим серебряным звоном), «Параклита» и из отдаленного Хотьковского монастыря. После обедни нищие и богомольцы толпились у трапезной, и на расписную паперть выходила монастырская братия, разнося квас и прочие монастырские угощения.

Вифания расположена в трех верстах от города, и по воскресным дням мы ездили туда на базар, предварительно отслушав обедню в Троицком соборе. Эти поездки мы очень любили. С Васей мы по очереди садились на козлы, и время от времени кучер давал нам подержать вожжи.

Базар, развернутый под монастырскими стенами, поражал своим изобилием. Стон стоял в воздухе от блеяния коз, поросячьего визга, ржанья, мычанья, кудахтанья всех четвероногих и пернатых существ. Бабы в пестрых ситцевых юбках торговали молоком и сметаной, приоткрывая чистую тряпицу с соломою. Вдоль стены, внизу, до самой церкви «Параскевы-Пятницы» шла бойкая торговля в ларьках — там сергиевские кустари предлагали свои изделия. Тут и Лавра со всеми своими соборами и церквушками, обнесенная белой стеной с башнями, будто пряничными и облитыми сахаром, и монахи с монахинями с псалтырем в руках на узенькой дощечке, и раскидные книжечки с житием преподобного Сергия.

Хорошо нам жилось в то лето. Вифания — живописный уголок. Вокруг нее монастырские угодья, густые смешанные леса, полные грибов и ягод, широкие просторы полей и пруды, со всех сторон окруженные лесом, с маленькими островками, где так приятно было греться на солнышке после купанья. Вася подружился с сыновьями преподавателя Вифанской семинарии — Изюмова, двумя босоногими загорелыми мальчиками, и целыми днями плавал и удил с ними рыбу. Как-то взял и меня с собой рано утром. Я сидела, взволнованно трепеща при каждом движении поплавка, но больше я не ходила. Кругом себя я видела только рыб.

Закроешь глаза и видишь, как миллиардами плавают вокруг тебя рыбы, блестя чешуей, и во сне опять те же рыбы в несметном количестве.

Дача наша, как все вифанские дачи, была мало благоустроенная, заброшенная, с деревянными бревенчатыми стенами и покосившейся террасой. Как-то приехал к нам Анатолий Александрович Александров (издатель «Русского Обозрения») со своей женой Евдокией Тарасовной, оба толщины необъятной, и как вошли на ступени — моментально обломали крыльцо. Правда, под него нужно было подложить сваи, чтобы крыльцо могло выдержать такой груз! Ни один из извозчиков не соглашался везти их обратно вместе, опасаясь за свой экипаж.

Иногда вечерами ходили мы к монастырской гостинице и, заказав самовар, пили чай с земляничным свежим вареньем в саду, над самым озером. Из монастырской кухни приносили жбаны с квасом и чудесный печеный хлеб, такой вкусный, что и сейчас хочется потянуть носом.

Наташа Вальман своим нигилистическим видом наводила страх на сергиевских жителей. Она была стриженая и походила на переодетого мужчину. Когда по дороге встречали мы богомольцев, они крестились и ахали. Ее принимали за Антихриста. Неожиданно познакомились мы с семьей Зверевых, оказавшихся нашими очень отдаленными родственниками с маминой стороны, по Ельцу. В жизни не приходилось мне видеть столь безалаберную семью. Сама Зверева, уже пожилая женщина, седая и стриженая, вся пропитанная табаком, на вид типичная шестидесятница, а была по существу женщина набожная, добрая и в высшей степени бесхарактерная. Оставшись вдовой с пятью детьми, она едва сводила концы с концами, получая грошовую пенсию. А между тем дом ее был полон народу. Молодежь постоянно окружала ее, любя ее за горячее сердце и живой ум. Вечерами в доме устраивали танцы. Мебели не было никакой, несколько поломанных стульев выносили на террасу, и молодежь плясала без помехи. Но стоило только ударить к вечерне, как Е. С. моментально прекращала веселье. Молодежь крестилась и спокойно подсаживалась к столу. Здесь была бедность, торчащая из всех углов, а между тем дышалось легко и свободно. У нас в доме было довольство, совершенный внешний порядок и необъяснимая тягость. В чем дело? Я не могла понять причины и смотрела на все с любопытством. С одной ее дочерью, Валерией (у нее было три сына и две дочери), тоненькой, грациозной быстроглазой девочкой, я сдружилась. Как-то купаемся вместе, и Валя скидывает рубашонку.

— Валя, что это? Почему ты вся в красных пупырышках?

— Блохи, — спокойно отвечает Валя и прыгает в воду.

Положительно я была в восторге. Мы с Верой часто оставались у них ночевать, так как до дому нам было идти три версты с лишком. Наигравшись с Валей вдоволь, мы укладывались вместе на скрипучую постель,

прикрывшись рваным стареньким одеяльцем. Проснувшись утром, Валя стягивала его с меня и старательно начищала им свои туфли. Все это было так удивительно, ново, что я глядела раскрыв рот. Молодежь относилась к Вере с поклонением и некоторым страхом. Она казалась им необычайно умной, оригинальной и образованной. Вера была властолюбива, и это общее поклонение доставляло ей удовольствие.

Когда мы приезжали на дачу, мы, дети, первым делом устраивали себе шатры. Мы, «тройка», устраивали его обычно недалеко от дачи и все вместе играли. Вера же строила себе шатер где-нибудь в отдаленном месте и не терпела, чтобы кто-нибудь заглядывал к ней.

Теперь она уходила из дому на целый день. Внешне она была спокойна, держалась, как всегда, немного отчужденно, не принимая участия в нашей жизни, но с Таней не ссорилась и вообще никому не грубила. Наоборот, она была в непрестанной задумчивости. Аля была довольна, что Вера «угомонилась». Из всех сестер Вера выделяла меня одну, разрешая приходить к себе в комнату, помогала мне писать школьные сочинения, подолгу разговаривала со мной. Когда мы ехали из Малороссии домой, Вера как-то увела меня в сторону и рассказала мне о каком-то священнике, который ради любви к несчастным, голодным людям встал во главе их с крестом и пошел к царю просить для них хлеба. Но люди его не поняли и убили. Он хотел принести им счастье ценой собственной жизни, но они его предали... Вера говорила шепотом и очень взволнованно. Я ничего об этом не знала, и каждое Верино слово принимала как нечто необычайное и важное. Она умела так горячо говорить, и я слушала ее жадным сердцем. Я гордилась и счастлива была ее доверием. С этого времени между нами протянулись нити дружбы.

Однажды она позвала меня: «Пойдем, я покажу тебе свой шалаш, но дай мне слово, что ты никому не покажешь дороги». Не надо было меня просить об этом. Именно «тайна» и была всего важнее для меня. Вера повела меня путанной тропинкой через поле, лес и какое-то болото, и там, на опушке открывшейся лужайки, указала на свой шалаш. Сложенный из тонких березовых стволов, покрытый густыми ветвями, он походил на жилище отшельника. Внутри его разбросаны были бересты, исписанные синим и красным карандашом, также при входе ножом были вырезаны какие-то изречения на стволах. Все они касались Бога, бессмертия, плоти, любви, смерти, красоты. Эти слова она писала с большой буквы. Текста я не помню. Тут же на березовой коре были нарисованы лица с огромными черепами и опущенными углами рта, которых она рисовала всюду.

Вера сказала задумчиво: «Я хотела бы жить только так. Это мой идеал».

Мы долго просидели вдвоем. Здесь проводила она не только дни, но и ночи. Аля узнала об этом случайно, в конце лета. Вера спускалась из окна и уходила ночевать в свой шатер.

В один из воскресных дней отправились мы всей семьей в Хотьково. Чудесный был день, солнечный, жаркий, и от колокольного звона, наших белых праздничных платьев и светлых зонтов так весело было на сердце. В монастырской гостинице мы отдыхали за самоваром, закусывая пирожками и крутыми деревенскими яйцами. Потом отстояли обедню и пошли осматривать церковь. Вера была с нами, но все шла в отдалении, и помнится мне, что не входила в церковь, а стояла где-то в притворе или даже на паперти.

К вечеру мы возвращались усталые, разморенные зноем, но очень счастливые и все такие же праздничные. Аля обещала, что будет мороженое к ужину, и мы весело спешили домой.

Вера шла позади нас в розовом платье из легкой ткани. Она все больше отставала от нас. Я обернулась и посмотрела на нее. Меня испугала необычайная тяжесть в ее лице и во всем ее облике. Это не была тяжесть, которая идет от физической полноты. Нет. Вера была высока ростом и стройна, и платье на ней было воздушно. Но тем более поразила меня эта тяжесть. Мне стало очень тревожно и не по себе. Точно на весь этот сияющий день вдруг надвинулись тучи.

Мы шли с Верой вдвоем по узенькой мощеной улице Вифании мимо собора. Вера была очень бледна и молчала всю дорогу, время от времени искоса на меня взглядывая. Вдруг она взяла меня за руку: «Пойдем в собор!» Я сделал движение назад: «Вера, ты что?» В ее голосе мне послышались угрозы.

Был праздник Преображения, и вся церковь была украшена гирляндами свежей зелени с вплетенными в нее бумажными цветами, и у самого алтаря, справа, высилась гора, тоже вся разукрашенная цветами. По лицу Веры бродила недобрая усмешка. Неловко и в страхе я тоже пыталась улыбнуться. Сердце мое отчаянно билось. Тут было острое любопытство и страх.

Вера подвела меня к образу у левого притвора и, остановившись перед ним, плюнула в него.

Глава 39

У нас в гимназии перед летними каникулами раздавали обычно список книг, рекомендуемых для чтения. В тот год в числе книг были названы «Герои древности» Гульда. Кроме того, перед отъездом на дачу папа подарил мне толстую книгу «Мифы» — очерки из истории народных сказаний, которой, по его словам, он увлекался в юности.

Эти две книги стали для меня целой эпохой. Читать я любила, хотя и читала, конечно, меньше старших сестер.

В 10 часов вечера, когда, собрав в ранец учебники и выпив положенное молоко, я укладывалась спать, приходила мама посмотреть, все ли в порядке, и потушить свет. Но над моей кроватью приходилось окно, выходящее в коридор, где постоянно забывали гасить электричество, и я, дождавшись, когда мамины шаги затихнут, вскакивала на спинку кровати и, прислонясь к стенке, продолжала читать. Свет был очень слабый и высоко висела лампа, так что книгу приходилось держать на вытянутых руках. Кроме того, стоять на тонких железных перекладинах было больно и неудобно, и все же я продолжала читать, пока совсем не затекали ноги. Больше всего любила я исторические книги, в которых описывались героические подвиги, примеры дружбы, величье души, непременно высокое и трогательное. В детстве любимыми моими книгами были «Последние дни Помпеи», «Катакомбы» — Евгении Тур, потом «Спартак» Джованноли. Хотя над «Хижиной дяди Тома» я заливалась слезами, да и прочла с увлечением все книги, какие полагается читать детям, включая Чарскую, и любила Пушкина, Лермонтова, особенно Жуковского («Рустем и Зораб»), но «Бедный рыцарь» Пушкина прошел через мое детство-юность, оставшись навсегда любимейшим стихотворением. И все же книги из античного мира мне были дороже всех книг!

В какие же странствия пустилась моя душа, когда я прочла «Мифы» и «Герои древности»! Если прошедшее всегда имело особую власть надо мной, то теперь, читая о навсегда погибшем прекрасном мире, о Троянской войне, «Золотом веке», — я испытывала настоящее страдание. Вся пластика той эпохи была так созвучна моей душе, будто я сама некогда жила там, и это было единственное и естественное мое бытие. Каким же тусклым казалось мне теперь окружающее! После легких туник, хитонов, сандалий современная одежда казалась безобразной, и я клялась, что, когда вырасту, буду одеваться, как гречанка.

Увлекалась я Спартой. Одно смущало меня: новорожденных, если они были некрасивы и слабы, сбрасывали с Тарпейской скалы в море, чтобы не обременять страну ненужными гражданами. Я тоже была не очень здоровым ребенком, а вот теперь «совсем ничего», и разве справедливо, если бы меня в свое время сбросили со скалы, как щенка?! Тут было что-то жестокое и не совсем благородное, и я старалась не вникать глубоко, как если бы близкий мне человек совершил поступок мало достойный, и, боясь потерять свое уважение, я поскорее отвернулась, чтобы его не заметить. В сущности, я укусила саму сердцевину язычества, и на мгновенье вкус его показался мне горьким.

Но все остальное прекрасно! Там девушки наравне с юношами метали диски и копья, а женщины, когда их сыновья или мужья шли на вой-

ну, подавали щит со словами: «С ним или на нем!», «Победи или умри!» Дома я горячилась: «Когда я вырасту, и у меня родятся дети, я тут же выкупаю их в ледяной воде, буду заставлять их ходить голыми круглый год и буду так же их сечь, как секут спартанских мальчиков в храме Дианы!» Не было таких истязаний, которых бы я не предназначала своим будущим детям в целях воспитания их воли. А мальчик с лисицей? Мальчик, который украл и спрятал лисицу под свой плащ и, сидя за столом, ел свою черную похлебку, пока она грызла ему живот, так что, встав, он тут же упал и умер! С этих пор мальчик с лисицей стал моей путеводной звездой.

Я удалилась в сторону, описывая свое увлечение Грецией, длившееся много лет. Вернусь к Вифании.

Обычно, когда мы расставались с родителями на лето, между нами шла переписка. Мы описывали события нашей жизни, и папа каждому из нас отвечал. Письма того времени сохранились, и хочется их привести:

1) Письмо папы Тане

Здравствуй, милая Таня!

Сегодня, в понедельник, и мама и я вспомнили твой трудный экзамен по химии и помолились Богу о своей деточке, чтобы он укрепил ее силы и дал спокойствие для ответа. Жаль, что мы не сказали тебе, чтобы ты телеграфировала. Ведь телеграмма не дорога, ибо очень коротка, так как адрес содержит всего одно слово. На всякий случай запомни этот адрес и запиши для себя.

Резина

Евгении Ивановне Апостолопуло

Выдержала Таня

А она уже поймет, что нам, и передаст.

Если будет не трудно, захватите для Флоренского портрет мой с Варей. Он просил очень, и я обещал.

Прощай. Твой любящий папа.

От Пучка и Шуры сегодня получили первое письмо и были очень обрадованы. Наташе передай записочку прилагаемую.

2) Милая Танюшка!

Мы с мамой легли уже в постель, и я вспомнил тебя и мне захотелось тебе сказать

Прощай!

Милая, если бы ты знала, как мы оба тебя любим, и неужели тебе не говорит об этом сердце.

Папа

Приехали, моя дорогая, опять к Евгении Ивановне!

Устали очень. Посылаю цветочек тебе. Он называется <...>. Прощай, милая. Мы всегда с тобой душою. Наде, Васе, Вере, Шуре, Наташе, Домне Васильевне, Паше мама и я кланяемся.

3) Милая и дорогая наша Танечка! Что-то мне взгрустнулось по тебе и очень, очень я скучаю и даже тоскую, что не вижу дорогого худенького личика и таких добрых глазок, как ни у кого, и я не слышу твоего взволнованного голоса. Я рад, что все наши дети очень понравились Цветкову. Ведь это он разыскал в Петербурге в Публичной Библиотеке рукописи «Русских ночей» князя Одоевского и вообще он чрезвычайно образованный и начитанный человек, а главное, очень развит, что не всегда бывает и с учеными. В письме он очень много писал о Васе, который ему очень понравился, а тебя называет «говорушкой», т. е. что ты много говоришь.

С Александровыми будьте похолоднее и держитесь подальше. Они очень навязчивы, везде и ко всем лезут, но это страшно фальшивые люди. И маме и папе вашим они в старые годы причинили много горя, — не уплачивая денег за статьи.

Я рад очень, что ты читала «Сумерки просвещения», хотя не думаю, чтобы там все могло сделаться тебе понятным; это очень обширно, потому что связано с европейской цивилизацией, и ты еще не можешь усвоить.

Больше же всего меня радует, что ты любишь Церковь. Без этого мы не можем понять России, а русский человек, не знающий России, может только ей вредить, и таких, к сожалению, большинство молодых людей. Они все упоены собой и все хотят служить народу, призывая его к революции, но это кончается только тем, что несчастных рабочих и мужиков ссылают, а молодые люди убегают за границу и оттуда показывают язык.

Все это так глупо и вместе так трагично, что было бы странно, если бы с нашими детьми что-нибудь подобное произошло.

Варя чудно все время держала себя здесь.

Сейчас она стала за мамой ухаживать: одевала, раздевала, надевала туфли со шнурками и делала «кое-что» на ночь, — и все это не только очень мило, но и вполне охотно. Вообще она мне очень понравилась, так выдержана и вся такая самостоятельная и немножко гордая, что к ней очень идет, а вместе простая, не чванливая. Впрочем, у нас все дети не чванливы, и это их лучшая черта. Это признак ума, потому что нет более безошибочного признака человеческой глупости, как чванство и высокомерие. Здесь была Александра Ивановна Помер (фамилия неразборчиво написана) с дочкою замужнею, и я очень наблюдал и видел, что Варя и им очень понравилась.

Варя себя отлично держит, — с достоинством и вместе совершенно свободно.

Мама все переживает все ваши письма, и я вижу, что перечитывание их доставляет мамочке самое живое удовольствие в свете. Она постоянно о всех вас говорит, и вы точно у нас перед глазами. Васе я написал о тарантуле. Ты ему не говори, что это вовсе не так страшно, сам я постараюсь ему изложить, так как он любит все страшное и огромное. Правда, это ядовитый паук и от него пухнет бык, если он укусит, но вообще они не попадаются часто, да и сами убегают. На человека им бросаться незачем, и они людей не едят, а нужно, чтобы человек босою ногой наступил нечаянно на него, чтобы он укусил.

Прощай. Люблю. Целую.

Папа.

4) Милая Танюшка, пишу тебе в вагоне. Едем с мамою в Киев к мощам Варвары Великомученицы. «Среди художников», что я издаю, это все в доме знали, так как Шура и Наташа мне переписывали статью для этой книжки. А много об изданиях я не говорю, боясь «сглазить» книгу и что-нибудь не выйдет или не удастся. Только от этого. Ну, кажется, мы опять дружны, и нижняя губка уже не дрожит? А потом ты лучше других можешь судить, как может много (значить) взгляд и пожатие пальчиков, особенно на краю стола.

Вот ты, верно, забыла. А я помню. Едем в IV классе. Мама сказала, что на богомолье так нужно. Вагон полон жидов, <...> и детей.

Мама терпеливо выносит, я смеюсь.

Папа.

Приехали на станцию Слободки и ждем поезда на Киев. Мама решила ехать ради «богомолья» в III классе, завтра в 8 ч. утра будем в Киеве.

Знаешь, я пережил с Варей одно очень хорошее впечатление. Накануне ее отъезда она перешла к маме на постель, т. е. прислонилась к подушке. Они обе думали, что я сплю, но я уже проснулся. Варя каждый вечер уходила со свечой после ужина вниз в «музей» и проводила там часа $1^1/_2$, т. е. от 8 ч. до $9^1/_2$ ч. Мы не знали, что она там делает. Оказалось, что она взяла Пушкина, Жуковского, Гончарова у Евгении Ивановны и все там читала. Вот она маме и рассказывала, что прежде я, бывало, возьму «Капитанскую дочку» но ничего не понимаю, а читаю с пропусками и перелистываю листы. Все-таки приятно, что «читаю Пушкина». А теперь все понимаю. И она рассказывала маме о «Метели», и «Гробовщике», и «Станционном смотрителе». Это, знаешь, самые тонкие и не читаемые и мало известные повести Пушкина. И вот я слышу, что Варя их так полюбила

и понимает. Потом об «Ундине» и «Наль и Дамаянти» Жуковского. Все прямо удивительно. Тон такой любящий и понимающий. Это был самый большой мой праздник за лето. Теперь я вижу, что все наши дети очень хорошие и хорошо, что мы их побраниваем, и они не избаловались. Все дети очень развитые, со вкусом к литературе и рассуждающие.

Дай Бог, чтобы дело шло так и в будущем.

Мы можем ни перед кем не опускать глаза со своими детьми. А какие в ком еще остаются недостатки, то нужно к ним быть терпеливее. Совсем темно. Прощай. Мама очень, очень тебя целует и удивляется, что вы не получаете от нее писем. Она почти каждый день вам пишет.

Папа.

Милая Танюшечка, что ты все заботишься о пустяках! Хотя я имею 5000 р. долгу в типографии (считая с теми книгами, которые печатаются и будут готовы к августу), но зато напечатано моих книг (если все продадутся, на 19 000 руб.), и значит уплатится из продажи долг и еще останется книг на 14 000 р. И если продастся только половина из них, то будет 7000 руб. чистого дохода.

Мама поправляется. Рука выше подымается, походка прямая, силы больше, и она все смеется и радуется. Нам весело. Очень хорошо, что Евгения Ивановна и Андрей Константинович довольны Варею. Евгения Ивановна много с нею беседует и чудесно на нее действует. Нам кажется, что вы не читаете наших писем. Мы вам все описывали. Как вам понравились о. Павел, жена его, Вася, и Андреев, и Цветков?

Напрасно Шура не отпустила Васю к Флоренскому на охоту. Была бы большая польза. Целую тебя, Веру, Васю и Надю, и Шуру и Нату крепко.

Папа.

На статью Мережковского я не обратил внимания. Он моложе меня, и твой папочка знает, что умнее его. И это не от хвастовства, а так есть на деле. Шурушка! Отпусти Васю охотиться с о. Павлом. Ведь они не будут стрелять, а только гулять в лесу.

В. Р.

Мама — Тане

Милая Танюшечка,

Мне очень задуматься пришлось: ты писала и просила, чтобы я тебе свою жизнь описала, оттого что я с ошибками пишу, ты, верно, не так поняла из моего письма. Я живу очень, очень хорошо. Порядок в жизни (какой здесь есть) мне всегда не (был) тяжел, а скорее — одна радость. (Это тот порядок, какого) я несколько лет дома не могу

устроить. Я очень поправилась и у меня сил больше стало и я хожу совершенно (мало) хромаю, лекарств не принимаю и все-таки чувствую себя хорошо (все приписываю) порядку и чистоте воздух(а). Варя за мной очень хорошо ухаживает, и я вас всех отдала на волю Божию, только о себе думаю, чтобы поправиться. Жаль вас всех. Взяла дачу (вам около Москвы). Но вышло, из писем ваших видно, что вы мало поправляет(е)ся... Ты так мало заботишься, думай о себе. Ты перешла без занятий летних. Зачем (ты) занимаешься, лучше гуляла бы больше на воздухе. Зачем о Варе так мучаешься, ей 15 лет, она сама понимает, она не глупая, ты совершенно своими заботами себя мучаешь, самые хорошие годы, не перейдет, больше учиться не будет. (Мало ли есть не кончают курса, но Бог даст она кончит.) Книги она привезла все с собою и скоро будет здесь заниматься по геометрии. Об экзаменах она сама тебе пишет. Андрей Константинович не выгонял ее (из-за стола). Это бог знает откуда взяла Надя. Ею очень довольна Евгения Ивановна. Она ей внушила хорошие правила и мысли. Ехать я не собираюсь никуда, мне очень хорошо и я поправляюсь, что меня радует, буду жить (до) конца (августа). Зачем ты по нас скучаешь, милая, у тебя нервы расстроены о детях. Ты ведь (с) Шурой и Наташей, ты ее очень любишь. Ходи почаще к Шуре в комнату и образ жизни веди правильный. У нас жары еще не видали. Варю отправляю 12-го июня вечером. Елена Сергеевна написала, что это не шутка для меня, если все заботы о ней, если она ее не заставит усесться за книгу. Зачем ты о папином долге беспокоишься, столько книг, неужели не расплатится. (Он говорит, что это нисколько не опасно), а ты от своих забот старух(а) будешь. Ты приезжай молодцом в Петербург, бери все от жизни. Эти книги задушили тебя; и молодость не увидишь. Напиши, какая жена Флоренского, образована или нет, пожалуйста. Целую тебя крепко. Твои письма не один раз читаю (а «двадцать» – неразборчиво). Прочитаю и папа тоже. Он очень мил и покоен, тоже поправляется, хотя письма Страхова кончил корректуру. Домне Васильевне очень кланяюсь. Напиши, машинку взяли ли вы. Целую Шуру, Наташу, Веру, Васю, Надю.

Письма родителей к Але и Вере не сохранились, также и к Васе, но зато два Васиных письма, на мой взгляд, прелестных.

1)

19-го июня

Дорогой папочка. 19-го июня я поймал щуку на 1 фунт, величиною с $^{1}/_{2}$ аршина и налима $^{3}/_{4}$ фунта, а 18 поймал щуку $^{3}/_{4}$ фунта, также я ловлю карасей, так вчера я поймал их на $^{1}/_{2}$ фунта. И завтра у нас будет уха из 2 щук, которые равняются $1\,^{3}/_{4}$ фунта и 1 налима,

который равняется + $^{3}/_{4}$ фунта и карасей, которые равняются $^{1}/_{2}$ фунта и того уже будет из 3 фунтов. Здесь мне очень весело, я познакомился с двумя мальчиками, которых рекомендовал нам Вознесенский. Я хожу босиком. Сегодня я бы поймал 2 щуки и 1 налима, но одна щука сорвалась, должно быть, была очень большая. Я каждый день купаюсь и переплываю $^{1}/_{2}$ залива и обратно, то есть весь залив в одну сторону.

2) Дорогой папочка, за все лето я поймал 1 пуд 3 $^{1}/_{4}$ ф. Причем ловил вьюнов, карасей, линей, окуней, щук, налимов, ершей, плотву, язей.

Причем щук ловил на 1 фунт приблизительно с $^{1}/_{2}$ ар. длины. Лето я провел очень весело. У нас здесь есть родственники. Около нас находится монастырь. Монахи здесь совсем не похожи на монахов, они пьют и гуляют. Здесь очень много грибов, ягод. Наварили варенья целых 20 фунтов.

Варенье сварили из крыжовника. Здесь очень много зверья, так я нашел барсучью нору. Также здесь есть дикие утки, цапли, кулики, тетерева, *куропатки*. Я руками поймал одного дрозда. Вера и Таня сидят дома. Вчера к нам приезжали родственники. Две девочки и молодые люди. Я плаваю $^{1}/_{4}$ версты не отдыхая, научился посаженкой и теперь обгоняю тебя, ныряю под водой 3 саженки, бросаюсь вниз головой с аршина высоты над уровнем моря. Ногами вниз я бросаюсь с 2 саженях над уровнем воды. Могу опускаться на дно не глубже сажени. Здесь очень, очень весело. Мне даже не хватает дня и я не прихожу даже пить чай.

Прощай. Вася

В 1914 папа подарил ему «Опавшие листья» с надписью:

Моему СЫНУ,
который ВСЕГДА БУДЕТ
ПОБЕЖДАТЬ,
а пока ПЛАВАЕТ,
НЫРЯЕТ,
ЛОВИТ РЫБУ
Васе Розанову
его любящий и уважающий
ПАПА
сию книгу сочинивший
В. Розанов
20-го февраля 1914 г.

Я же папе писала о своем увлечении историей — и что самые мои любимые книги это «Последние дни Помпеи», «Катакомбы», «Спартак» и еще одну книгу, которую я сама, правда, не читала, но мне рассказывал. Это «Камо грядеши». И что, лежа в постели, я всех героев вижу перед своими глазами. Ну так же и то, что «у нас 9 цыплят, 1 петух и 3, кажется, курицы» и что ночной сторож у нас «такой хороший, какого я в жизни не видела», что «погода у нас смешанная» и «Вася удит массу рыбы и сейчас идет страшный дождь».

Мама — Наде

(письмо трудно разобрать)

1) Милый мой Надюш!

Что же ты сюрприз не приготовишь. Я ломаю голову какой. Пожалуйста, приготовь только тебе... (неразборчиво) Надо все кончить. Жду непременно. Еще целый месяц остался. Хороши твои портреты, больше всего Верин и Тани (похож?). Теперь нарисуй свою дачу, пожалуйста, или Васю попроси. Так мне хочется к вам приехать. Жду с нетерпением рисунок.

От папы не жди ответа, он тебя очень любит, но устал писать. Я ему не даю пера, чтобы писал, пускай на балконе читает и отдыхает. Если подруга Алю не беспокоит, то приглашай ее. Я боюсь, что Алю вы утомили. Ведь она одна у меня, у нее папы нет, за нее некому заступиться. Так ты, душка, береги, ты ее любишь, задуши ее (поцелуями подразумевается) крепко, крепко, пожалуйста, и Наташу. Душу тебя крепко (подразумевается поцелуями).

Мама.

Милая Надюшечка-Пучок!

Я тебя очень, очень люблю и письма твои один восторг. Слышу, что ты Алю не расстраиваешь, слушаешься, и я скорей поправлюсь. Не пишу не потому, что тебя забыла. Каждый день все письма читаю твои. Последнее самое ласковое, дорогая деточка. Жаль, что я тебя с собой не взяла вместо Вари. Ты это все могла сделать.

Целую Варвара

Милая Надюша,

Прости меня, что я на твои письма не отвечаю. Папа всегда спешит так он любит твои письма и когда получает, всегда целый день веселый и все говорит: вот мой Пучок какой славный. Варя уже уехала, твое письмо не застало. Вот что я тебе расскажу — теперь утром одеваю чулки, подвязки, юбку, капот, все сама, только ботинки папа одевает. Это меня очень радует, что я папу не беспокою. Ты пишешь, что родственников нашла, у меня нет таких. Ты, деточка, поменьше

зови подруг, все Але забот. Берегите ее. Она вторая мать ваша и больная. Целую тебя крепко, крепко.

Мама

Папа — Наде

Милая Надюша! И мне и маме очень скучно, что не получаем от тебя писем и не знаем, что ты делаешь и как себя чувствуешь и с кем играешь. Мы живем очень хорошо. Варя ведет себя очень хорошо, и от нее нет никаких неудовольствий. Береги ты и Вася Шуру и Наташу и не расстраивайте их и слушайтесь их. Мама лежит все на солнце, чувствует себя недурно, только сил не прибавляется, но я приписываю, что она не принимает сердечных лекарств и углекислых ванн. Прощай, милушечка-Петрушечка, Пучечек наш славный! Любящий тебя на веки вечные.

Папа

Здравствуй, милая Надя! Твое письмо последнее — настоящий восторг! Мы с мамою несколько раз перечитывали его. Спасибо тебе, и мы рады, что ты так цветешь душой и весела. Мама прибавилась в весе на 12 фунтов. Она вешалась вчера. Прощай. Крещу тебя на сон грядущий. Поклон Домне Васильевне. Любящий Папа.

Дорогая моя Надюша!

Каких ты славных «Пусиков» и «Мусиков» написала нам с мамой. Мы с такой радостью читали твое письмо и видели, будто ты у нас тут сидишь и обнимаешь нас за шею обоих: такое впечатление произвело твое письмо. Особенно, что ты называешь меня «пусиком», а маму «мусиком». Очень радуюсь, что ты прочитала книгу «Мифы». Я в твои годы все читал рассказы из греческой истории и всю жизнь чувствовал от этого пользу. Вообще ты очень благоразумно читаешь и благоразумно ведешь себя.

Целую тебя 100 раз

Любящий папа

Милая моя и наша милая Надюша!

Ты ведь и не знаешь, что когда мы получаем от тебя письмо, то это точно бриллиантик закатывается к папе и маме в ушко, и бриллиантик этот светленький и веселый и поет он славные песенки. Мы видим по тону твоих писем, что ты очень хорошо себя чувствуешь. А знаешь, Надя, я тебе скажу секрет, только никому не говори, ни Вере, ни Тане, ни Але, — что я написал здесь множество еще «Опавших листьев» и некоторые очень мамочке понравились. Только ты этого никому не говори, пожалуйста. У меня такая душа, что, если

кто узнает о моем секрете, я становлюсь к нему равнодушен, и потом уже ничего не пишу. Вообще здесь ко мне часто сходит вдохновение. Воздух здесь чудесный. Ночи теплые. Звезды и луна ярче, чем на севере. Мама часто вынимает все детские письма и перечитывает с большим наслаждением. Ваши письма ей лучше всякой книги.

Пусик и Мусик

Милая наша Надюшечка! Дорогой Пучечек! Если бы ты знала, как дорого и мило нам с мамой получать твои письма. Когда его получишь, то как будто видишь вас всех в Сергиевском Посаде, и даже точно съел тех самых грибов, какие вы набрали в лесу. Те особые строчки, которые ты мне написала и просила, чтобы их я один прочел, — я понял, благодарю за них и чувствую всю твою любовь и глубину души. Я жду не дождусь, когда мы увидимся. Мне все хочется, чтобы зимою ты побольше сидела с мамою и со мною, нам уже недолго жить и хочется, чтобы хоть кто-нибудь из детей был поближе к нам. У тебя такое отзывчивое сердечко, что тебе не будет с нами скучно. Ну, прощай, Пучечек дорогой и ненаглядный.

Целую твои добрые и веселые глазки

Твой любящий Папа и Мама

100 раз целуем Пучка

Пусик и Мусик.

Милая моя Пусики и Мусики!

Письмо твое было для меня и для мамочки, как утренняя роса, упавшая на цветы. Каждое слово письма, как светлая капелька на душе. Особенно хорошо, кроме веселого и счастливого тона, как ты описала книги, которые читаешь. Это прекрасно и само по себе, так как чтение по истории украшает человеческий ум, и потом ты, хоть и маленький Пусик и Мусик, а уже скоро будешь большая. У мамочки левая рука стала гораздо сильнее. Сегодня она утром сказала мне: «Давай-ка твою руку!» Я протянул правую. Вдруг она ее сжала с такой силой, что было почти больно. Я спросил, так как лежа не разобрал — неужели это больная рука. Она сказала: «Да, больная». Я удивился.

Мне ужасно хочется котлет с картофельной мукой, здесь мяса совсем нет, едим суп с цыплятами и жареных цыплят. Здесь у Евгении Ивановны чудные огромные персики растут, нынешний год созрели первый год, и вчера съели три первых персика. Прямо с дерева. Они до того вкусны, что ты не можешь представить себе.

Мне ужасно жалко сестру Михаила Васильевича Нестерова, и я попросил бы тебя поцеловать его от моего имени, но, может быть, Пусик и Мусик и согласился бы, да, боюсь, ученица гимназии Стоюни-



ной очень гордая и обидится такой просьбе. Потому и не прошу. Но передай ему мое глубокое сожаление. Передай тоже мой поклон Константину Васильевичу Андрееву, Павлу Александровичу, Анне Михайловне и еще Васе Флоренскому.

Прощай, мое ненаглядное сокровище, которое мы оба с мамой так любим и не дождемся времени, когда опять обнимем и поцелуем. Ужасно интересно, как мне сюрприз.

Твой любящий Пусик Папа.

В связи с папиным письмом хочется сказать о М. В. Нестерове. В начале 1900 (1907) годов возникло это знакомство, и, сколько я помню себя, у папы в кабинете всегда висели две его картины, подаренные им. Это «Св. Зосима» в лодке и акварельный эскиз к картине «Два Лада» (в память выставки Нестерова 1907 г.).

Когда в 1910 г., проездом через Киев, мы осматривали Владимирский собор, смутно помню, шли мы по какой-то висячей галерее, и вдруг глазам моим представилось верхнеалтарное (?) изображение Рождества Христова, будто все исходящее сияньем. Вероятно, это происходило благодаря особому расположению окон, но только я не смогла оторвать глаз от этого синего струящегося света и чудесных лиц пастухов. Больше я никогда не бывала в Киеве и не знаю, правильно ли я говорю, но только запечатлелось в моей памяти это сиянье и тишина собора. Нестеров (во время своих поездок в Петербург) приходил к нам, и его посещения всегда вызывали в нас, детях, особое волненье и радость.

Нестеров был одним из тех, к кому папа в течение всей своей жизни относился с неизменной любовью и любованием: «Прекрасный Нестеров» всегда добавлял папа, когда речь заходила о нем.

Я не буду касаться отношения отца к Нестерову как к художнику, — папа много писал о нем. Под конец своей жизни он написал к готовящейся монографии о Нестерове текст, по прочтении которого Нестеров отказался, в силу своей скромности, печатать при жизни своей, находя оценку отца чрезмерной. Кажется, в настоящее время эта рукопись находится в Пушкинском Доме. Нам, детям, полностью передалось отношение отца к Нестерову. Мы тоже готовы были, схватившись за репродукцию его с картины «Царевич Убиенный» (особенно нами любимого), рвать ее на части, уверяя, что «она моя», т. е., что «она ближе мне, и я лучше ее понимаю, чем ты», но мы любили его не только как художника. Придя к нам, он держал себя с той обаятельной простотой и вниманием к окружающим, какое только свойственно людям настоящего ума и сердца.

Встречаясь порой со «знаменитостями», меня всегда поражала та пустая, надутая важность, с какой они держались в среде обыкновенных

смертных, и последним ничего не оставалось, как только кланяться и извиняться за то, что они существуют на свете. Кажется, проткни иголкой, — из них пузырями пойдет одно самодовольство.

О Нестерове я буду писать ниже — в то время я еще мало помню его, и сохранилось в моей памяти главным образом ощущенье того особенного радостного волнения, с каким мы, все дети, поджидали его к нам. Судя по моим детским письмам к отцу, М. В. бывал у нас, но ничего этого я не помню, а только запомнилось мне одно утро. Мы с Алей идем к Вифанским прудам. На берегу сидит Михаил Васильевич с альбомом и рисует карандашом. Через плечо увидела я противоположный берег и узнала дерево. Мне очень хотелось посмотреть альбом, но М. В. встал и закрыл его. Они пошли с Алей вперед, а я шла сзади. Я тогда получила папино письмо, и мне очень хотелось передать папины слова, но я не решалась заговорить. Иду сзади и мучаюсь. Иду и мучаюсь. Так и не решилась, только через двадцать пять лет выполнила папину просьбу.

С нами в то лето жила в качестве прислуги наша прежняя няня Паша, исполняя теперь должность кухарки, и горничная Катя, очень некрасивая, с голубыми навыкате глазами и неприятным выражением лица.

Мы, дети, были равнодушны к ней, а мама ее недолюбливала, но Аля вдруг страстно к ней привязалась. Катя отвечала ей тем же, и между ними установилась странная дружба, длящаяся до самой Катиной смерти в 18-м году. Аля почитала ее чуть ли не праведницей и смерть ее оплакивала, как самого близкого человека — сестры, матери. Мы ничего не понимали в этой очередной Алиной фантазии.

На обратном пути, проездом через Москву, мы осматривали Третьяковскую галерею и Музей изящных искусств. Из всех картин в Третьяковке больше всего понравился мне «Иван-царевич на сером волке» Васнецова и «Княжна Самойлова» Брюллова, верхом на прелестной черной лошадке с развевающейся вуалью. Конечно, и в том и в другом пленил меня ретроспективный романтизм, к которому я тяготела с детства.

Но Музей изящных искусств произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я ходила по залам на цыпочках, чуть дыша от волнения, узнавая всех богов и героев, которых вычитала из папиных «Мифов». Аля дала мне денег, и я купила много снимков с античных скульптур.

Забавна была Катя (Аля всюду таскала ее за собой). Упершись в дверях и закрыв передником лицо, она трясла головой, отказываясь смотреть на «голых мертвецов», и никакие уговоры не могли заставить ее на время отложить свою стыдливость. Так и пронеслась она по залам с головой, укутанной передником.

Как странно возвращаться домой в городскую квартиру. После маленьких комнат с низкими потолками и бревенчатыми стенами — огромной кажется наша квартира, и все прислушиваешься к своему голосу,

будто к чужому в непривычном уже резонансе. А вечером, когда зажигается электрический свет, как все неожиданно ярко! Сквозь блестящие вымытые летние ставни, еще без драпировок, — смотришь на полыхающий огнями город, прислушиваешься к его шуму, и грусть теснит сердце. Все это было когда-то, точь-в-точь, все так знакомо, и сейчас будто все происходит во сне...

Эти мгновенья, повторяющиеся из года в год, запечатлеваются в сердце, и каждый раз, повторяясь, они вызывают в памяти смутные далекие ассоциации. Да, да, точно так поразил меня шум города, когда меня, маленькую, сонную (проездом через Москву на Кавказ), поднесли к окну, и я увидела голубые улицы...

За лето соскучившись по своим книгам и безделушкам, и сейчас так весело с Васей перебирать их и расставлять по местам. Наши парты с Васей стоят рядышком, поджидая своих хозяев. Новый класс, новые предметы (с этого года русская история), новые учителя, завтра молебен — сколько всяких событий впереди! Как все легко и весело начинать! Вася за лето вытянулся и говорит то басом, а то вдруг фальцетом.

Папа и мама тоже довольны поездкой. Варя отлично вела себя, и папа говорит, что Варя очень хорошо танцевала с молоденькими девушками на вечеринке у Евгении Ивановны. Но папа такой смешной! У него длинные волосы по самые плечи. Папа смеется: «Варя меня просила отпустить волосы, говорит, что все писатели носят длинные волосы». В Бессарабии, изнемогая от жары, бедный папа терпеливо выносил эту пытку, чтобы заслужить Варино одобрение. Волосы делают папу смешным. В его лице, в манере держать себя нет ничего «профессионально-писательского», никакой «литературной осанки», и длинные волосы смахивают на бутафорию. «Ну мы снимемся всей семьей, Варя об этом просила, а потом я остригу их», — добродушно смеется папа. И Варя горда, что ее папа по виду «настоящий писатель». Правда, за столом теперь не так весело и привольно. Мама не позволяет вскакивать с места, а летом, на даче, только и ждешь, что Аля пошлет то принести ей воды, то платок носовой, и можно летать стрелой через все комнаты, да еще по лестнице через ступеньки. Але постоянно что-нибудь требуется. Варя терпеть не может, когда Аля ее посылает, говоря, что это ее «унижает», а я только и жду, чтобы вскочить по первому требованию. Но хуже всего то, что Татьяна никому не дает говорить, она весь обед говорит с папой о Канте. Таня упивалась Кантом, как я впоследствии Пиквиком.

«Пуч! Пуч! — воскликнула Татьяна, стараясь, по своему обыкновению, поцеловать в нос. — Я мыслю, значит, я есмь!» — «Отстань, Татьяна, надоела!» — Но на меня уже сыплется град поцелуев, шлепков, среди восклицаний, цитат: «Умозаключенье», «умозренье», и всякие, всякие «умы». «Это такая же гадость, как математика! — кричу я в волнении. —

А разве, по-твоему, алгебра не может быть музыкой?» — спрашивает Наташа, глядя в пространство шальными глазами. «Ну, нет, это такая же скука и мерзость, как ваша философия!» Кант мой враг. Он всегда мешал нашим общим прогулкам в Вифании. Ни от кого нельзя было дождаться ответа, никто не обращал на меня внимания, занятый спором о нем. Мне важно, чтобы папа увидел, как я знаю историю, спросил бы меня, но Таня разве даст говорить? — «Ах, не пищи, Надежда!» — морщится Таня и машет рукой в мою сторону.

Склонив набок голову и скосив глаза, она быстро, взволнованно спорит с папой. Таня очень похожа на папу. У нее все лицо в веснушках, и папа зовет их «конопатками». Он говорит, что это самое прелестное, что есть в лице. Красивые, правильные, классические лица папу совсем не интересуют. Они для него то же, что «Аполлон Бельведерский», в котором не выражена «душа тела». Папа явно не любит его, и я в постоянной обиде за Аполлона. Но это еще ничего, только бы он не задевал мою.

— Папа, спроси меня про Алкивиада или Фемистокла! — бросаюсь я к папе, когда Таня умолкает на минуту. — Нет, нет, спроси раньше Таню, кто набирал камушки в рот и перебивал шум моря, укрепляя свой голос? Нет, Таню спроси — я-то знаю! — И стоит Тане запнуться, как я, прыгая на стуле, кричу: «Демосфен, Демосфен!»

— А кого богиня Фетида окунала ночью в огонь, а днем мазала амврозией? Ага, Татьяна, не знаешь! Папа! Я знаю — Ахилла.

— Ну, конечно, ты умная, ты ученей меня во сто раз! — смеется Таня и пытается лезть с поцелуями. И это может ужасно злить. Нечего все обращать в шутку, когда я явно доказала, что историю я лучше знаю, чем она, а мы ее еще не учили.

Папа сияет: — «Я доволен тобой! — говорит папа, горделиво склонив набок голову и опустив глаза. — Я разрешаю тебе подойти и поцеловать меня в щеку!»

Но не дай Бог, когда папа в плохом настроении вздумает экзаменовать нас. Всегда с географии начнет: «Василий! Какая самая большая река в мире?» А потом непременно о Тигре и Евфрате. И когда мы завираемся, папа говорит возмущенно: «Болваны! И чему только учат вас в ваших знаменитых гимназиях!»

Дома папа при каждом случае обрушивается на профессоров: «Эти пошлые бездарные профессора», «эти дураки-ученые». И вообще, кажется, все ученые и профессора у папы «тупые и безмозглые дураки».

В моей голове совершенная путаница. В эту общую кучу «ученых», озаглавленную папой «дураками», у меня сыплются Галилеи, Коперники, Гусы.

— Ты не уважаешь науку, Надя? — говорит подруга, удивленно раскрывая глаза.

— Они все дураки! Ах Боже! Наука — такая пошлость!

— Ты говоришь глупости! — возмущается девочка, которая ничего подобного не слышала дома. — Нет, я преклоняюсь перед наукой! Как ты можешь так говорить? Объясни, почему?

— Дураки! — упорно повторяю я, бессильная привести какой-либо аргумент и от этого еще больше злясь. — Просто они дураки, вот и все!

Когда папа собирается ехать с нами, детьми, он покрикивает, торопит, сердится и, стоя в передней в расстегнутой шубе на медвежьем меху, кричит на всю квартиру: «Мама, платок!» Мама, хромая, с испуганным лицом спешит к нему, держа в руке чистый платок.

Перчаток папа не носит. Он гордится, что в самые морозные дни не надевает перчаток. (Я — мужчина!) Выйдя на улицу, папа грозно кричит: «Извозчик!» И со всех сторон подкатывают к подъезду извозчики.

— Полтинник! — кричит папа и идет вперед.

— Шесть гривен. Пожалуйста, барин!

— Полтинник, грабители, лентяи! — (Нет, папа настоящий барин.)

— Папочка, брось торговаться. Найми скорей, вот у этого лошадь хорошая!

Папа негодующе идет вперед. Извозчики вереницей следуют за ним, стоя на козлах, отстегивая рукой полу одеяла.

— Пожалуйста, барин!

Папа садится, ворча.

— Папочка, скажи, чтобы ехал как можно быстрее!

— Пошел, — говорит папа, — только скорей!

Лошадь едва передвигает ноги, совсем дохлая. Папа сопит носом — платок спрятан в карманах брюк, не достать.

Через пять минут папа толкает извозчика в спину.

— Женат?

— Женат, барин.

— Дети есть?

— А как же, пятеро ребятишек.

— А самому сколько?

Теперь папа сидит на кончике сиденья, нагнувшись вперед, а извозчик бочком на козлах, и говорит всю дорогу.

Приехали. Папа вылезает и, повернувшись спиной к извозчику, роется в мелочи.

— Ну, ну, — говорит папа полушепотом, тыча ему в руку лишний двугривенный, — ну ты добрый человек, ты труженик. Ну, Бог с тобой, поезжай!

Помню, как с папой ходили на 12 Евангелий.

С утра мы, «тройка», разыскивали свои подсвечники, розовые, голубые, зеленые, чистые от воска. Достаем растрепанные книжечки 12 Евангелий. Мы говеем и ведем себя тихо.

В доме в каждой комнате горит лампадка. Мы идем в церковь на Кабинетскую улицу, где служит старенький и очень добрый священник Слободской. Папа его любит и после обедни заходит к нему. Теплый ясный вечер. Кругом лужицы воды, и в каждой лужице дрожит огонек.

Около старика и дети продают пучочки верб, переплетенных с брусничными листьями.

От самой паперти вдоль лестницы стоят молящиеся со свечечками в руках, внимая слабо доносящемуся голосу священника.

— Папочка, не будем заходить далеко, станем ближе к выходу!

После того, как у меня однажды загорелись волосы, я боюсь тесноты, но папа двигается все дальше и дальше, тяжело дыша, протискиваясь через самую гущу. Когда же конец?..

У самой середины, где священник читает Евангелие, папа останавливается. Теперь он стоит скрестив на животе руки, держа свечу, с пронзительным, устремленным неподвижно в одну точку, широко раскрытым взглядом. Кажется, он ничего не замечает вокруг, весь обратившись в слух. Когда полагается по уставу становиться на колени, папа становится и истово кланяется. И по окончании, подойдя к священнику, непременно целует крест, а потом руку.

Мы идем из церкви со свечечками. Вереница народу, и каждый несет огонек из церкви в свой дом. Папа очень сосредоточен. Он все останавливается против ветра, загораживая рукой свечу.

«Папочка, моя потухла. Папочка, дай зажечь!» Папа сердится. Он боится, что мы загасим его свечу. Но сегодня Страстной Четверг, в душе умиление, и папа только ворчливо говорит нам: «Осторожно! Смотрите, не задуйте мою!»

Вот повернули за угол, рядом наш дом.

— Погасла! — кричит папа в отчаянии, и мы кольцом окружаем его. — Нет, зажглась, слава Богу!

Горничная Маня открывает дверь.

— Мама! — кричит папа с порога. — Мама, скорей! Донес!!!

В столовой на подносах стоят приготовленные лампады, и вскоре множество огоньков разносятся по комнатам.

Аля страдает бессонницей. По ночам она тоскует, будит Наташу и просит читать ей Псалтирь. Утром она долго лежит в постели с распущенной косой в белой ночной кофте. На ночном столике маленькое Евангелие, желтая книжечка университетской библиотеки «Опасный возраст» и песни Сафо и Алкея. Над изголовьем «Молящаяся Русь» Нестерова в белой раме. Наташа приносит ей в постель утренний завтрак.

— Алечка! — смеется Таня, присев около нее на корточки и скосив по обыкновению глаза. — Ты ужасная выдумщица и фантазерка! Сколько ты путалась в жизни со всякими проповедниками, миссионерами, сек-

тантами, помнишь Б. А. и И. П.? И почему-то они все такие добродетельные, скучные и ужасно глупые. Просто понять невозможно!

Аля смеется не разжимая губ, вся дрожит смехом.

— Алечка, ты христианка? — тормошу я ее.

— Аля-то? — воскликнула Наташа, с хрустом потягиваясь всем телом и смотря вдаль шалыми глазами. — Аля — язычница! — И барабанит пальцами по стеклу.

— Как страшна старость, — говорит Аля с внезапной тоской. — Как я боюсь ее. Какая же ты счастливая, детка, что вся твоя жизнь впереди!

Я ковыряю шовчик на ее подушке, боясь взглянуть на нее. (Бедная Аля! Ей скоро тридцать лет, наверно, она совсем старая.)

— Пучочек, милый, ты боишься смерти?

— Нет, Алечка, совсем не боюсь.

Ее лицо становится искусственно ласковым.

— Ах, зачем вам бояться! Вы, дети, то же, что ангелы. У вас грехов нет!

А в ласковых словах звучат уже льдинки.

Аля в белом шифоновом платье с зеленой гирляндой у пояса. Какой-то праздник, кажется, канун Нового года. Мама отдыхает в лечебнице доктора Шернваля. Аля в доме за хозяйку.

Стол сервирован по-праздничному. Аля сама украшает его, на столе бутылки шампанского. Аля, подхватив меня, кружится со мною по комнате. Как я люблю Алю!

— Алечка, милая, я могу, смотри, я могу поднять тебя кверху! — И я, право, приподымаю ее от земли. Аля — воздух!

— Ты, Аля — русалочка! — кричу я.

— Алечка! — болтаю я слабеющим языком (шампанское легким хмелем кружит мне голову). — Алечка, хоть раз в жизни скажи правду! — Но она зажимает мне рукой рот и опрокидывает меня на диван, а я, покрывая ее поцелуями, продолжаю кричать: «Алечка, милая, скажи правду!»

Аля идет со мной по Знаменской улице, прикрыв лицо вуалью.

С Алей так приятно ходить, она идет очень плавно, а я тормошусь рядом, все время подталкивая ее и забегая вперед. Мне все хочется взглянуть ей в лицо. Но ничего не прочесть в нем, — и губы, и глаза, и голос — все противоречиво, за затуманенным взглядом дрожит смех и что-то еще, еще, чего не поймешь.

Ах, какая ты вся русалочка, как ты вся ускользаешь из рук!

— Алечка, можно с тобой, я провожу тебя! — Но она, легонько ударив меня, устремляется всем корпусом вперед и губы ее дрожат смехом.

Она останавливается на углу Бассейной, но я уже совсем решилась и держу ее за руки и не пускаю. Снежинки порхают, ложатся Але на шляпу, легкими звездочками покрывают ей плечи.

— Я пойду и подсмотрю, куда ты идешь! — хохочу я, но Аля прячет улыбку, и снова тень закрывает глаза. Она опять неуловима, очень спокойна, и во взгляде ее проступает холодок. Сейчас она станет стеклянной.

— Иди же домой, иди! — говорит она нетерпеливо и поворачивает за угол.

Я вижу, как она быстро входит в узенький темный подъезд. Ах, Аля, какая ты вся лукавая!

В младших классах Вера жила общей жизнью со своими товарищами, и девочки ценили ее не только за ее смелость и дерзновенные шалости, но и за то, что Вере можно было высказывать тайны. Она никогда не выдавала их и не смеялась над ними. Она была очень серьезна. Смеха (насмешки) Вера не знала, т. е. никогда не могла посмеяться *над доверием*. Вера была честолюбива, горда и любила властвовать. Постепенно девочки стали чуждаться ее. В ней появились «странности», которые пугали их, и они чувствовали, что Вера не такая, как они все. Вера жила в гимназии одной жизнью, дома, в своей комнате — другой, главной. И постепенно это главное вытеснило все остальное. Она разошлась со своим классом. Вера казалась им «страшной», даже «ненормальной», а они для нее стали толпой. Толпа была ей всегда враждебна.

В 5—6 классе у Веры появилась подруга — Маруся Тартаковер, полная, среднего роста еврейка с красивым ярким лицом. Девочка эта рано осталась сиротой — ее родители были зверски зарезаны ночью. Вместе со своей сестрой Сильвией Маруся жила у писательницы Лаппо-Данилевской, у которой был людный литературный салон. И Вера с Марусей вращались среди «декадентов». Обе они были заражены современностью. В те годы был расцвет декадентства, и Вера с подругой жадно впитывали новые идеи. После гимназии Маруся почти ежедневно приходила вместе с Верой, и они вдвоем запирались у нее в комнате, и часто Маруся оставалась у нее ночевать. Они читали современную поэзию, ходили на выставки, занимались философией и увлекались футуризмом. Увлеченье футуризмом сказывалось еще в каких-то необыкновенных и экстравагантных костюмах, которые Вера пыталась устроить, но мама, вечно недовольная Вериным поведением, стремилась как можно скромнее одеть Веру, даже в виде «наказанья за ее дурной нрав», что в высшей степени обижало Веру. Вера любила красивые вещи, любила общество и успех, и эти мелкие унижения причиняли ей огорчение. Ее попытка «оригинально одеваться» была в результате смешна, так как убога по выполнению.

В те годы впервые на литературной эстраде появились люди «в желтых кофтах», которых толпа освистывала и забрасывала апельсиновыми корками. Домашние посмеивались над футуристами, но Вера увидела

в них «мучеников идей», которых толпа не понимала, а Вера всегда страстно противостояла толпе. Она приходила в ярость, слыша дома насмешки в сторону футуристов. С домом она разошлась. Но, конечно, декадентство было главным источником, которым она питалась.

Теперь, когда уже создалась некая «историческая перспектива», иначе оцениваешь этот период. Сейчас, вероятно, многие из тех, кто некогда был апологетом, с иронией вспоминают свои увлечения и благополучно доживают свой век. Некоторые, более вдумчивые, может быть, не только с иронией вспоминают свои «опыты» и «игру в демонизм». Как-то на уроке литературы умный талантливый Владимир Васильевич Гиппиус (двоюродный брат З. Гиппиус и друг А. Добролюбова) в связи с Гоголем сказал: «Если бы писатели отдавали себе отчет, какое влияние оказывают их книги на людей, многие из них сожгли бы свои произведения». Я очень тогда задумалась.

Есть холодные, эстетствующие умы, способные проповедовать и делать только великолепные жесты без всякого ущерба для своего благополучия, и есть юные существа, смотрящие на мир расширенными глазами, с жадным ищущим сердцем, которые, раз услышав и приняв какую-нибудь идею, тут же воплощают ее в жизнь. И непременно на личном опыте, и все возмездие за эти опыты несут они одни.

Такова была и наша Вера.

Она очень любила Марусю. Любовь эта носила страстный и мучительный характер, свойственный одиноким душам. Она ежедневно писала ей письма, и даже когда они разошлись, Вера до конца своей жизни любила ее. Маруся была проще ее и не понимала ее: «Я была только сосудом, который Вера наполняла до краев», — сказала мне Маруся много лет спустя. И под конец она испугалась и отошла от Веры. От нее я узнала, что идеи «демонизма» больше всего владели Верой в тот период. Она была больна идеей, что ей надлежит совершить какую-то «страшную жертву» и «внести в мир зло и тьму». В тот период в основу своей идеи она ставила красоту плоти, обожествление ее и поклонение ей.

Я писала, что Вера не выносила прикосновения, и стоило в шумливом месте схватить ее за руки или легонько толкнуть — она менялась в лице. «Не трогайте меня!» — говорила Вера глухим голосом. Маруся говорила, что несмотря на постоянную ночевку у Веры в комнате, она ни разу не видела Веру обнаженной. На гимназических экскурсиях, которые длились по 10—12 дней (поездки в Нижний Новгород, Киев, Соловецкий монастырь) и больше, девочки спали все вместе, совершенно не стесняясь и бегая друг перед другом раздетыми. Только одна Вера никогда и ни при ком не раздевалась и не умывалась. Слишком мучительно сочетание исступленного целомудрия и страстности одновременно, и охваченная этой борьбой Вера изнемогала. Она никого не любила, ду-

маю, что первого, кто «коснулся» бы ее, Вера растерзала, да и сама бы себя убила с отчаянья. Вера постоянно пребывала в соприкосновении со смертью. Мысль о смерти была так соблазнительно страшна, что, можно сказать, все свое отрочество-юность Вера прошла на острие ножа — «Вот легонько только двинусь — и конец. И это так просто, и тут-то я увижу Тайну».

Флоренский сказал: «Вера была ребенком, который с детства играл с огнем». И так близко подбегала к нему, что не раз вспыхивало платье: «Сейчас суну палец в огонь, потом руку, а потом и вся загорюсь».

Одиннадцати лет она нарисовала чернилами около своей кровати гроб и пальцем написала «Вера хочет умереть».

Папа писал «Мимолетное»: 10/VI-1914 г.

В самом деле, именно с 11 лет, и даже раньше, всегда (об этом ниже) она жила вне себя. И мысль «куда устроить себя», «как мне понравиться?», «что я буду делать с собою» — ей точно не приходила в голову. Она всегда жила «вне дома», вне земли, в звездах, скорее всего — в воздухе, летая, стремясь и, бедная, ушибаясь. Точно птичка — сюда-туда... Крылышки устали, дома (точно) нет (в ее идеях).

Буду ли я, отец, и мы все «дома» затруднять ее. Часто видно, что она очень страдает. Да и забота о других до 11-ти лет.

Если я после 11 лет как-то потерял ее, то до одиннадцати больше всех... даже не любил, а уважал ее.

Толстенькая, грузненькая, медлительная в 6, 7, 8, 9 лет, она ловила и никак не могла поймать «курицу» или «цыпленка». А главное — всех-то, всех сестер и брата, — «оберегала от опасностей» — от собак, от волн моря, от подходящего поезда. Глаз ее непременно на другом, чаще всего на резвушке Тане, которая не щадила себя в беге, в проказах. И вот все за ней смотрит младшая ее на год Верочка: «Таня, не подходи к собаке!» «Таня, в тебя плеснет волна».

И бродит, бродит моя Верушка за Татьяной. С 11-ти лет, когда она «вышла из дому» и, очевидно, что она ушла «спасать вообще людей».

С этим я связываю «Вера хочет умереть», так как спасать такую махину не очень легко ни для 11-ти, ни для 13-ти, ни для 15-ти лет.

В 15 лет, искушая себя «Тайной», она выпила карболовой кислоты и обожглась. В испуге она бросилась к Але, и та повезла ее к врачу. От нас, детей, это скрыли.

Наташа Вальман сказала, что в 15 лет Вера поражала своей усталостью от жизни, как будто она все взяла, все испытала и больше у нее не остается жизненных сил.

И та же Наташа говорила: «Вера такой доброты, что кажется, будто она только и ищет случая отдать за кого-нибудь жизнь. Именно ищет его...»

У нас в гимназии устраивали живые картины, и я участвовала в группе, долженствующей изображать васнецовскую картину «Иван-царевич на сером волке», причем девочка, играющая волка, была зашита в настоящую волчью шкуру. Я представляла Ивана-царевича, и у меня был кафтан из красного кумача, разукрашенный бумажными золотыми позументами, настоящая боярская парчовая шапочка, отороченная мехом, и, что самое главное, — красные сафьяновые сапожки.

После были танцы и, так как я была одета в мужской костюм, то все девочки стремились танцевать со мной. Я носилась вихрем по зале, как вдруг ко мне подошла девочка, мало заметная в классе, и робко попросила меня потанцевать с ней. Я уже готова была с кислым видом взять ее за талию, когда подбежала моя обычная партнерша, хорошая танцорка, и я, быстро освободив руки, кинула небрежно: «Да ведь ты не умеешь танцевать!» и... — улетела.

Только в этот момент я повстречалась глазами с Верой. Она стояла у стены, вместе с Марусей, и пристально смотрела на меня. «Им, наверное, нравится, как я танцую», — думала я, и еще больше пристукивала каблуками и махала головой. Взглядывая на Веру, я встречала только холодный пристальный взгляд, но, полная тщеславия, не отдавая отчета в причине ее холода и все больше стараясь ей понравиться: «Наверно, она мною любуется!»

После вечеринки я дождалась Веру и ее подругу Марусю, которая шла ночевать к нам, и мы втроем отправились домой. Я шла рядом и все ждала, что они, наконец, заговорят и станут восхищаться мною. Но они обе молчали, и я постепенно уже злилась и начинала дерзить. Вера шла по-прежнему молча. Тогда я начала ломаться, забегать вперед, всячески стремясь обратить на себя внимание, толкаясь и наступая ей на ноги. «Это она нарочно молчит, я ведь знаю, что я хорошо танцевала, и мне очень шел костюм. Это она назло мне! Противная!»

Наконец, исчерпав все средства, я убежала от них вперед, чтобы как-нибудь досадить им обеим. И совсем забыла об этом, но год или два спустя я сидела у Веры в комнате, и она, как всегда, танцевала для меня, читала стихи. Я сидела на диванчике, поджав под себя голые ноги, следя за ней влюбленными глазами.

— Знаешь, — задумчиво сказала Вера, остановившись передо мной и взглядом уносясь «куда-то», — я всегда чувствовала тебя страшно мне близкой, будто ты моя дочь, но однажды я поняла, что мы разные и ты совсем другая, чем я. Что в тебе есть жестокость и ты способна оттолкнуть человека. Это было на вечеринке, когда ты танцевала, и к тебе подошла девочка, и ты оттолкнула ее и пошла с другой. Меня это поразило. Маруся, которая вместе со мной наблюдала эту сцену, сказала: «Какие, оказывается, вы разные с Надей. Ты бы никогда не смогла так сделать».

И это правда. Я никогда бы не могла оттолкнуть человека, подошедшего ко мне, обидеть его ради своего тщеславия. Мне всегда мучительно жаль людей, может быть, оттого, что я очень много страдала.

Глава 40

Если в раннем детстве Вера нежно была привязана к Але, то постепенно, как я уже говорила, ее привязанность перенеслась на меня. Она всегда бережно относилась ко мне, но с годами сближение наше становилось все теснее. Мое чувство к Вере носило характер тайной влюбленности, я не ласкалась к ней (как к Але) и тщательно скрывала свои чувства, но тревожно следила за ней, стараясь проникнуть в тайники ее сердца. Вера знала это, и в конце концов между нами установились странные и не совсем сестринские отношения. Они приняли характер тайных свиданий.

— Ты мне очень близка, Надя, — говорила она, значительно взглядывая на меня.

В младших классах, когда я вечно писала сочинения «на вольную тему» (сказки или сцены из жизни первых христиан), я бегала к Вере за советами. От всех домашних я тщательно скрывала свои писания, боясь насмешки, но Вера, сама патетическая, принимала их так, как мне хотелось, т. е. в высшей степени серьезно. «Мы очень похожи друг на друга», — говорила мне Вера, и я гордилась. Одной мне она разрешала по вечерам сидеть в своей комнате, когда она занималась. Но разве можно было это сравнить с теми ночами, которые мы проводили вместе!

Ночью, когда я уже лежала в постели, а Таня спала, свернувшись калачиком, в комнату, в одних чулках, прокрадывалась Вера. Укутав меня одеялом и бережно обняв меня, мы на цыпочках пробирались к ней в комнату. Ее комната была смежной со спальней родителей, и это был опасный переход. Что было бы, если бы мама увидала нас! Но мы бесшумно прокрадывались мимо и осторожно повертывали ключ.

О, эти ночи! Каким блаженством тайны наполняли они мое сердце!

От висячего фонаря комната утопала в розовом полумраке. В углу, на низеньком аналое стояло изображение Христа Леонардо да Винчи, перед которым Вера зажигала лампады. «Я преклоняюсь перед тем, что прекрасно», — говорила она.

Стены были увешаны репродукциями с античных скульптур, так что все мои боги окружали меня в эту ночь.

Укутавшись в одеяло, поджав голые ноги, я садилась на маленький диванчик, а Вера читала мне сказки Оскара Уайльда: «День рождения инфанты», «Молодой король», «Душа рыбака». Однажды она показала мне книжечку, всю подчеркнутую синим и красным карандашом. В ней были рисунки: женщины, похожие на стебли, с худыми лицами, узкими глаза-

ми и большим порочным ртом. «Нравится тебе?» — спрашивала Вера. — «Да, да!» — отвечала я, затаив дыхание. И она читала мне «Саломею».

Вера говорила: «Из всех цветом я больше всего люблю настурции. Это живое пламя, и они так созвучны моей душе». И еще она говорила: «Мы должны обоготворить свое тело. Это самое прекрасное, что создало божество. Если бы я осознала совершенную красоту своего тела, я бы вышла перед толпой обнаженная и заставила бы ее поклониться!»

— Вера, — спрашивала я, — как рождаются дети? Ты когда-то говорила, что в цветочном магазине покупают какие-то зерна. Но это ты говорила, когда я была маленькая, на Кавказе».

— Они рождаются от поцелуя, — отвечала она, затемняя свет лампы.

— Надя, я хочу танцевать! — Она подвязывала шарфом темно-серый халат, а голову обертывала куском яркой материи. Стриженая, со стройными ногами, она походила на мальчика.

Почти не двигаясь, на кончиках пальцев, заломив руки над головой, точно в молитве, и откинув назад бледное лицо, она делала какие-то медлительные, кругообразные движения корпусом, сильно сгибаясь назад. Лицо было бесконечно скорбно. Столько тоски было вложено в этот странный танец! Не буду описывать его, пусть лучше скажут другие.

Как-то в гимназии, на вечеринке, девочки играли в фанты, и Вере выпал фант протанцевать что-нибудь. Она вообще слыла отличной танцоркой. Девочки думали, что она сделает несколько обычных «па», и вот она начала.

В дневнике 19-го года у меня записан рассказ Маруси: «Вера была в простом платье, поверх старый вязаный платок. Сначала она отказывалась, действительно, было трудно протанцевать в таком костюме. Но вот она встала и обвела круг в танце. Мы все положительно замерли. Это было что-то изумительное. Она была точно хрупкая точеная статуэтка. Ее движения, все, все было необычайно. Мы все молчали».

В прошлом году, т. е. спустя 25 лет, встретила я случайно Верину одноклассницу (из не любивших ее). Она неожиданно заговорила о Вере: «Ваша сестра изумительно танцевала. Никогда не забуду, как однажды нас всех поразила своей импровизацией. Мы так и замерли. Прямо мертвое молчание в зале было».

А сама Вера об этом случае рассказывала несколько лет спустя:

«Когда я села на место, то почувствовала ужасную неловкость. Понимаешь, все кругом молчат. Я решила, что провалилась. После Маруся сказала мне о произведенном впечатлении, и я впервые поверила в свой дар».

Помню, она называла свои танцы «танец Саломеи», потом «Незнакомки» и еще как-то. С бьющимся сердцем, замирая от счастья, я просила: «Еще, еще!» И она опять танцевала.

Сквозь щели занавесок уже проступал мертвый петербургский рассвет, чаще слышался стук проезжающих телег, и сонные дворники в тулупах выходили с метлами расчищать снег. Через два-три часа должны нас будить в гимназию. Скоро прислуга встанет.

Тихонечко, босиком прокрадывалась я обратно в свою комнату и долго еще лежала с раскрытыми глазами, переживая блаженство этих часов.

Никто никогда не узнал о них.

В одну из таких ночей Вера сказала: «Хочешь, я почитаю тебе Блока?» И она прочла мне «Снежную маску».

Помню, первое стихотворение было: «Вновь оснеженные колонны», потом «Песни Фаины».

Жадно поднялась я навстречу доселе неведомому мне миру, который в такой красоте раскрыла мне Вера.

И она крепко взяла меня за руку и повела за собой...

Но мальчик с лисицей протестовал!

Я избрала его своей путеводной звездой, и все мои спартанцы выразили неудовольствие. В конце концов я чувствовала себя так хорошо в их компании, что даже в период своих странствий я оставалась им верной.

Мальчику с лисицей я никогда не изменяла.

Я хотела быть такой же смелой и выносливой, как он, и неустанно тренировала себя. Летом я заставляла себя без всяких ужимок входить в самую гущу крапивы и не дергать при этом ногами и, несмотря на весь страх перед холодной водой, — кидалась с разбегу в озеро, ни разу не взвизгнув. Ночью я просыпалась (это вошло в систему) и говорила: «Ну, милая, очень тебе нравится лежать в теплой постельке? Ступай на пол!» И я вылезала из своего уютного гнездышка и укладывалась на полу. Я нарочно еще дразнила себя: «Ну как? Очень тебе хочется лечь обратно? (О да, да!). Ну, тогда еще полежи немного!» И я терпеливо лежала. И даже, тогда, когда я совсем готова была юркнуть в постель, тот же неумолимый голос останавливал меня: «Ну, милая, а теперь покажи, можешь ли ты полежать на железной решетке». И я стаскивала свой матрац и ложилась на пружины.

Что может быть красивее загорелых ног в ссадинах? Как они благородны! Всех девочек я разделяю по количеству царапин на хорошеньких и некрасивых, причем обилие царапин обеспечивает первенство. После Пасхи, когда мама разрешает одеть носки, я всеми способами разукрашиваю свои ноги так, чтобы они имели вид побывавших в сражении.

— Ох! — вскрикивают девочки, когда, поскользнувшись на полу (гимназии), я расшибаю колено и из-за сорванной старой корочки обильно льется кровь. Они окружают, чтобы под руки вести на перевяз-

ку к Анюточке (нашей няне), но я еще легонько нажимаю на рану, чтобы кровь текла сильнее, и, отстранив всех, гордо иду одна, для виду нарочно прихрамывая.

И когда ты сидишь на стуле, и Анюточка оперирует своими примочками, и потом девочки становятся в круг, гримасничают, переступая с ноги на ногу, вскакивают, всячески показывая свое сочувствие, и смотрят тебе прямо в рот, и тут нужно одно мгновенье «передернуть лицом», «изобразить судорогу», а после заговорить как ни в чем не бывало.

Какой героиней ты выходишь из кабинета!

Как-то, войдя в класс, я замерла на пороге. На парте, окруженная девочками, сидела моя подруга Люся Белянинова с головой, забинтованной так, что видны были только одни ее черные, лохматые глазки. Оказывается, дома, уча уроки, она качалась на спинке кресла и так удачно упала, что расшибла не только голову, но даже лицо.

Я, которая своими паденьями во время лапты стяжала громкую славу, ни разу не сумела разбиться настолько, чтобы меня забинтовали!

Я не могу отвести глаз от Люси и весь урок сижу спиной к кафедре, изнемогая от зависти и совершенно влюбленная.

Я не только лежу на полу и на железной решетке, но и подвергаю себя бичеванию, как подвергали спартанских мальчиков в храме Дианы. Взяв ремень, я щелкаю себя по рукам и ногам, но против воли рука моя задерживается в воздухе, удар получается малочувствительным.

Нет! Наедине с собой я честна!

— Вера! — зову я, уже лежа в постели, пройдя через все «спартанские процедуры». — Вера, пожалуйста, подойди ко мне!

— Слушай, Вера, ты можешь меня побить ремнем?

— Ты что, Надя? Что за безумные выходки?!

О, я знаю, что Вера любит меня «особенно», между нами тайная связь, и я смеюсь и похаживаю и подзадориваю ее ремнем.

— Я себя закаляю. Ты меня можешь бить, а я не стану кричать. Смотри! — Я ударяю себя по голым ногам. — Э! Боишься?! (Не бес ли скачет за моими плечами?)

— Ну, давай! — говорит Вера, щуря глаза и усмехаясь. И я кубарем лечу к постели и зарываюсь в подушки.

— Бей, не жалей!

Ого! Вера ударила больно. — «Еще, еще!» — кричу я, болтая ногами. Но что это такое? Она с ума сошла? Удары так и сыплются на меня. Стиснув зубами подушку, крутясь от боли, еще пытаясь смеяться, я вскидываюсь к Вере и слышу:

— Вера, что это значит?

В дверях в черном платке стоит испуганная Маруся. Вера застывает с ремнем в руках, и на мгновенье я вижу ее растерянное лицо и нехорошую усмешку.

— Мы играем с Надей, просто валяем дурака! — И как ни в чем не бывало целует меня в лоб. — Спокойной ночи, Надя! — говорит Вера, в упор глядя на меня. Она отбрасывает ремень в сторону и уходит за Марусей, закрывая за собой обе половины двери.

Много лет спустя Маруся сказала мне:

— Это было ужасно. Я только видела ваше смеющееся лицо, голые детские ножонки и Веру с ремнем. На меня напал ужас, что вы погибнете в ее руках.

Впоследствии Вера говорила: «Надя, у меня на душе страшный грех перед тобой».

И я каялась о. Алексею Зосимовскому.

Нет, я была подобна клякс-папиру, на котором прерывистой линией, образуя водянистые пятна, отпечатывался Верин резкий законченный облик. Только отдельные черточки ясно обозначались на нем. И если Вера шла по дороге, крепко нажимая всей ступней, так что ноги ее были сплошь изрезаны острыми камнями, то я двигалась за ней, легонько ступая на пальцы.

И там, где она говорила: «Как это горько!» — я говорила: «Нет, это сладко».

Два момента постоянно возникают передо мной.

Аля лежит в постели в белой ночной кофте, с распущенной косой, и, приподнявшись на подушки, с диким выражением лица худыми длинными пальцами хватает свои губы, будто силясь удержать какие-то слова, готовые вырваться у нее.

И другой.

Утро. Спущенные шторы, беспорядок в комнате, всюду валяются книги, бумаги, записи, на неубранной постели, лицом к стене, лежит Вера. Тоненькая косичка, переплетенная тесемкой, вздрагивает между плеч, и, закрыв ладонями лицо, Вера плачет бессильными детскими слезами.

Будто на одно мгновенье она осознает, как непосильна ей ноша, которую она взвалила на свои детские плечи, и вот, сокрушенная ею, она упала внезапно и заплакала бессильно, жалобно, как ребенок.

Я не знаю, откуда выхвачены эти моменты, я никак не могу втиснуть их в свои воспоминания, но они так реальны перед глазами, как будто это было вчера.

Глава 41

Этот год памятен мне знаменитым «делом Б». У меня не сохранилось воспоминаний о страстных спорах, которые велись у нас в доме и которые в конце концов привели к семейному разладу. Создались два враждебных лагеря – отца и Али. Папа в те дни казался внезапно состарившимся. Порой он был гневен, но чаще задумчив и очень печален; а Аля была холодная и торжествующая.

Был папин кабинет и Алина комната. Я бегала между ними. Аля звала меня к себе и, усадив на диванчик, угощала шоколадом и говорила: «Бедненькая! Я не могу видеть, как тебя развращают эти гнусные разговоры!» А папа, когда встречался со мной, обнимал меня дрожащей рукой и говорил: «Посиди с нами, деточка. Не ходи "туда". Там "зло"».

И так как папа был раздавленный и слабый, а Аля дерзновенно-торжествующая, то меня влекло к папе. Не разум говорил, а сердце. Я, как губка, впитывала все разговоры вокруг, и в голове моей был полный сумбур. То, что говорил папа, вызывало подчас во мне бурное негодование, порой отчаянье, потому что никак не связывалось с моим отношением к миру, и я не могла принять «жестокость», но между тем в словах его заключалась некая «тайна», «влекущая глубина», которая наполняла меня тревогой. Все то, что говорила Аля, было внешне благородно, возвышенно, человеколюбиво, понятнее для моего разума и совершенно просто. Аля говорила, «как все» (гимназия), и я для душевного равновесия охотно присоединялась бы к ней, но невольно смущенным сердцем я прислушивалась к папе и тянулась к нему.

Я училась в либеральной гимназии, где находились дети передовой интеллигенции, и каждый из нас подобно фотографической пластинке отображал мировоззрение своих родителей. Дети еще непримиримее взрослых: в своих спорах они первым делом защищают мнение своих родителей, их авторитет, собственную веру в их честность и абсолютную мудрость. Класс дружелюбно относился ко мне, но теперь исчезла прежняя непосредственность в отношениях. Я была представительницей «чужого», враждебного лагеря».

Еще до своего ухода в гимназию, за утренним кофе я успевала пробежать лежащие на столе вырезки из газет (которые ежедневно присылались папе), все столбцы которых были усеяны ругательствами по адресу отца. Потом, едва сдерживая слезы, я отправлялась в гимназию, где, как я знала, 99% читают именно эти газеты (т. е. их родители, а значит, и дети). Во время перемены в зале, на площадках лестницы девочки собирались группами и оживленно беседовали, но стоило подойти мне, как в группе происходило замешательство.

Мы взаимно лгали друг другу. Вежливым обращением они хотели показать, что их отношение ко мне не изменилось, не считают меня ви-

новатой в том, что отец мой «негодяй» (ну, конечно, мы все были «широких взглядов»), и по-прежнему считают меня отличным товарищем (о, конечно, не единой «конкретной фразы» не было сказано — произнести ее — и началась бы схватка!). Я тоже показывала с веселым лицом, что всего интереснее на свете — игра в лапту, но мои уши, мои глаза беспокойно впитывали в себя все шепоты, летучие словечки, мимолетные взгляды, и, неестественно веселясь, я искала момента незаметно ускользнуть в уединенное место, чтобы как-нибудь успокоить свое мятущееся сердце. Думаю, что это время дало первый толчок моей затаенности, сильно развившейся с годами.

Это было диаметрально противоположно Вере: ее волнение непременно выражалось по внешней линии, и, страстно противостоя толпе, она открыто выражала и защищала свои идеи, не допуская никакого компромисса. Я могла сколько угодно внешне пребывать с нею, оставаясь внутренне одна.

Среди учениц нашего класса была девочка Эсфирь Старобин, или просто «Этя», забавное существо крохотного роста, с беспокойными глазами и целой копной вьющихся черных волос. Она очень походила на обезьянку, сходство с которой увеличивалось благодаря выпуклой удлиненной верхней челюсти. Этя была рассеянна и неряшлива. Во время полуденного завтрака девочки сторонились ее, так как вечно из ее корзиночки выползали тараканы.

Утром, по обычаю, опаздывая в гимназию, она брала извозчика и ехала на самом кончике сиденья, спустив ноги на подножку экипажа, в расстегнутом пальто, с шапкой, сбитой на затылок, отчего все ее пышные волосы разметались по ветру. Соскочив с извозчика, она по дороге сбрасывала пальто, испуганно озираясь, пролезала в класс, таща за оборванный ремень свой ранец, из которого с грохотом сыпались учебники, тетради, перья. Случалось, что только она успевала расположиться за партой, в дверях появлялся наш швейцар в ливрее Антон: «Барышню Старобин извозчик спрашивает. Забыли-с заплатить».

Весь класс покатывался со смеху.

Этя была очень способная к математике и на уроках приходила в крайнее возбуждение, вскакивала, кричала, жестикулировала. Когда учитель писал на доске какую-нибудь сложную задачу, предлагая классу ее решить, Этя вскакивала на кафедру, то отступая, то вновь наступая, хватала учителя за пуговицы, пока он, взяв ее за руки, не водворял на место. Мы развлекались тем, что сзади держали ее за передник, не давая сорваться с места. Но в общем класс относился к ней дружелюбно.

Как-то я зашла к ней в гости и впервые увидела типичную семью «мастерового еврейства». В полутемной квартире, пропитанной кухонными запахами, с грязными обоями и ломаной мебелью, копошилось

семейство Старобин. Множество ее братьев и сестер, мал мала меньше, как две капли воды походили на свою сестру, такие же черномазые обезьянки, а мать, маленькая, назойливая и крикливая, отягощенная нуждой, но с страстной настойчивостью и упорством, которым обладает эта нация. Отец Эти умирал от прогрессивного паралича и впал уже в помешательство. Этим и объясняются странности в характере девочки.

Мы жили поблизости друг от друга — я на Коломенской, а Этя — на Лиговке, и из гимназии нам было идти по дороге.

— Идем, Розанова! — кричала Этя.

— Идем, Старобина! — отвечала я.

Любопытное было путешествие. Уже с самого начала мы подымали волнующую нас тему, так что, пройдя Николаевский рынок, дойдя до угла Коломенской, мы останавливались, разгоряченные от волнения, и стояли здесь часами, в продолжение которых Этя то наступала, то отступала от меня, беспокойно вращая глазами и хватая поминутно за пуговицы.

Я не помню в точности нашей беседы, но все сводилось к одному. Я убеждала ее, что не она, Этя, не Лилли и Сарра, очень славные девочки, совершают ритуальные убийства, но что это существует так же бесспорно, как то, что мы топчемся сейчас на углу Коломенской и Разъезжей. А она говорила, что семья ее нерушимо чтит субботу и выполняет все обряды по закону Моисея, но «пусть она будет не Этя», если когда-нибудь это делается. Я уверяла ее, что они, евреи, не любят Россию и желают ее гибели, а Этя уверяла, что они страшно любят Россию и жаждут ее прогресса. Я говорила, что уважаю их религию, но и они должны относиться серьезно, когда у нас идет Закон Божий, и она вполне соглашалась и говорила, что вполне его уважает. Потом я уверила ее, что Мессия уже «был», а она говорила, что «нет», но придет. Я говорила, что очень люблю древнееврейский народ, который написал чудную книгу Библию и «Песнь Песней», но, словом, я говорила все то, что говорил папа, а Этя говорила все то, что говорила ее мама.

Этя говорила, что евреи признают большой талант моего отца, а я намекала «не без загадочной и скорбной усмешки», что они его хотят убить.

После ряда прощаний мы снова топтались на месте и спорили, пока, наконец, не расходились, но вполне дружелюбно.

И на другой день опять:

— Идем, Розанова!

— Идем, Старобина!

В вечер оправдания Бейлиса постоянно раздавались телефонные звонки: «Поздравляем Василия Васильевича с оправданием...» и смех в телефон. В папином кабинете горела одна настольная лампа, мама ле-

жала на диване, а папа ходил, сгорбленный, из угла в угол. Аля летела к телефону в черном шелковом платье, веселая, торжествующая, и звонила подругам. Наташа пронзительно смеялась и, подхватив Алю на руки, кружилась с ней по комнате.

Нарочитость их поведения поразила меня своей жестокостью. Я спряталась от них, чтобы они не позвали меня к себе.

Потом, громко смеясь, они ушли в кинематограф.

Вера стояла лицом к окну в полумраке своей комнаты. Она подозвала меня и шепотом рассказала, что раввины прислали папе письмо, в котором клялись, что один из его детей будет убит, как Ющинский, в отомщение.

У меня стучали зубы. Вера прижала меня к себе и сказала: «Надя, мы все погибнем!»

Кое-как я добралась до постели и продрожала всю ночь.

Глава 42

В связи с делом Бейлиса и выступлениями отца в печати по поводу ритуальных убийств поднялась целая волна общественного негодования, которое кончилось исключением отца из Религиозно-философского общества.

Уже в 1912 году, когда вышло «Уединенное», началась бурная полемика, и в газетах постоянно появлялись ругательные статьи по поводу цинизма В. В. Розанова. И по другой линии шло преследование, так что вскоре книга была объявлена под судом.

Не знаю, в связи ли с ней или просто одновременно какой-то господин вызвал папу на дуэль. Легче представить папу с подойником в руках, нежели с револьвером. Папа предложил свои условия в поединке: из огнестрельных оружий он соглашался только на пушку, а из острых и колющих — на вилку.

Не знаю, как дело уладилось.

Смутен в моей памяти и момент исключения отца из Религиозно-философского общества. Думаю, что если бы отец сильно это пережил, я непременно что-нибудь да запомнила бы. Ведь помню его, как живого, в момент, затронувший его душу и воображение. Как-то в газетах было напечатано событие — сгорела маленькая Тамарочка Ауэр, дочь художника. Она жила вдвоем с гувернанткой на даче (отец в то время был за границей), и, когда начался пожар, гувернантка бросилась спасать свои вещи, забыв о ребенке. На папу это событие произвело страшное впечатление. Помню его, бледного, с дрожащими губами, как он ходит по кабинету, задыхаясь от волнения. Это была его *личная боль*. Папа, прощаясь с нами на ночь и крестя нас, говорил, чтобы мы помолились о Тамарочке.

Через папу она сделалась нам всем близкой, как бы нашей сестрицей, и не знаю, как другие дети, но многие годы подряд я никогда не засыпала, не помолившись о Тамарочке, поминая ее вместе с бабушкой и дедушкой. А потом жаль было оборвать, точно проститься с детством и ее обидеть. «Почему я должна ее оставить вдруг и не помолиться сегодня?» И оставить я не могла.

И иные, более ранние, моменты помнятся мне — когда Синод хотел отлучить папу от церкви. Помню, как мама плакала, а мы, дети, сидели в детской, где горела лампадка, и мама просила нас вести себя тихо и вслух почитать Евангелие. Мы тогда ничего не понимали и между тем были проникнуты важностью события. Мне только помнится, как папа был скорее в шутливом или, вернее, ядовито-шутливом настроении, но не подавленном или резко негодующем.

По поводу исключения отца из Религиозно-философского общества, конечно, соберется обширный материал, который полностью осветит этот момент его биографии. Я же, главным образом, всматриваюсь только в настроение домашних, т. е. в то, что непосредственно меня затрагивало. Поэтому больше мне помнится Вера. Бледная, напряженная, она была очень молчалива и с какой-то страстной решимостью в лице. В вечер заседания она пошла в Религиозно-философское общество вместе с папой и с Евгением Павловичем Ивановым, с которым была в дружбе.

Вера мне говорила, что пошла она на это собранье с вызовом, показать свое презрение к толпе. Отец, в глазах Веры, был «пророком, гонимым в своем отечестве», и не знаю, что творилось в ее разгоряченном мозгу, но думаю, что шла она с мыслью о каком-нибудь страшном своем выступлении. Что-то такое непременно должно было твориться в ее душе. Здесь не было игры, «жеста». Вера была искренна, даже по существу простодушна, так как вечно смотрела на мир «расширенными глазами» (В. Р.), крайне «патетично и прямо» (В. Р.), и то, что могло казаться со стороны «позой», было только проявлением ее смятенного духа.

После исключения отца из Религиозно-философского общества все сторонники Мережковского отошли от отца, и в доме у нас стало бывать меньше народу.

Глава 43

Таня и Вера рано начали читать отца, и каждая, согласно своему душевному ритму, откликнулась на его идеи.

Вера со своей бурной, фанатической душой видела в нем «одинокого и непонятого мыслителя, гонимого толпой», увлеченная ницшеанством, она преклонялась перед отцом как перед «восставшим и страдающим богоборцем». Его идеи возмутили ее душу, и она пустилась в трудные странствия.

Таня, отнюдь не патетичная, а скорее мечтательная и мрачная, с раннего детства полюбившая церковь, тревожно внимала отцу.

Таня унаследовала все самые трудные стороны отцовской души — его трепетность, страх перед жизнью и ощущение собственной слабости.

И папа в ее ощущении был «не страдающим богоборцем», а «маленьким, одиноким, грустным», и это маленькое, одинокое и грустное она трепетно любила. Я писала, что Таня с детства полюбила Пушкина и с Пушкиным не расставалась никогда. В 15 лет — Достоевского и отца, в 18—19 лет она читала преимущественно философию и от нее уже перешла к творениям св. отцов Церкви. В них она нашла ту совершенную форму, которая полностью удовлетворила ее эстетические и этические потребности.

В сущности, она прошла мимо декадентства. Конечно, она читала современную литературу и даже с известным увлечением, отдавая дань тому или другому художнику, но никогда они не довлели над ее душою, никогда она не следовала их путями.

Таня в раннем детстве была очень трудна: бурная, непокорная, деспотичная, с уклоном в «мучительство», она внезапно переродилась. Было что-то такое в ее детстве, чего мы не знаем, но что в свое время причинило ей страданье, о котором знали, вероятно, только родители и, испуганные ее недетской печалью, окружили ее особым вниманием.

Я говорю только на основе «догадок», но уверена, что это было так. Я знаю, что Таня ребенком вместе с родителями ездила в Саровскую пустынь (именно они повезли ее), и с этим моментом связаны были какие-то очень серьезные ее переживания. Она о них не заговаривала, но я всегда обращала внимание на особое волнение, когда разговор касался этой поездки. Только изображение св. Серафима Саровского до сего нынешнего дня неизменно висит над ее изголовьем. В детстве (раннем) она была грациознее всех нас и душой особенно нежная, но ее нервность делала ее трудной для общения. Мы — бурные, непоседливые, — не могли примириться с ее чрезмерной серьезностью. Мы раздражали ее своей живостью, а она докучала нам своей грустью. В сущности, у нее почти не было «детства», и в 16 лет мы прозвали ее «бабушкой». Кроме того, нас обижало особое положение, которое она занимала в доме около родителей.

Таня родилась через два года после смерти первой дочери, Надюши, умершей от менингита в 1893 году. Ее похоронили как «Надежду Николаевну Николаеву», отказав родителям вписать имя и фамилию отца («Дочь вдовы»). В «Споре об убитом ребенке» и «Наши возлюбленные усопшие» папа ответил...

Понятно, как трепетали родители, когда появилась Таня. Я знаю, что, приехав в Петербург с грудной еще Таней, папа на вокзале, взяв ее

на руки, ходит взад и вперед мимо чиновников (перед их носами) со своим бунтом в душе и утверждением: «Смотрите, Бог благословил наш брак и послал ребенка».

Папа писал, что из всех детей «метафизически» он чувствовал связь только с Таней. Да и никто из нас не был так похож на отца и в физическом плане, и интимными сторонами души. И мама, которая мир воспринимала трагически, в Тане нашла родственное существо и страстно привязала ее к себе. Они обе были деспотичны: мама ревновала Таню и не отпускала от себя; Таня смотрела на родителей как на маленьких детей, которых «еще надо учить» и которые всегда могут натворить глупостей, но за это именно особенно и любила их. Если мы все стремились уйти из дому, в котором всегда было как-то грустно, и порезвиться на стороне, то Таня стремилась как можно больше быть дома и непременно с родителями.

— Сейчас, мамочка... — крикнем мы, когда мама позовет, и... убежим. А Таня спешит мелкими шажками и уже хлопочет и волнуется около мамы.

И обычно вечерами, когда папа сидел за письменным столом, Таня укладывалась с мамой на кушетку, за ее спину, и они долго шептались, и время от времени Таня, приподнявшись на локтях, быстро, взволнованно покрывала мамину шею и спину поцелуями. Мы, остальные дети, не очень ласкались к маме, «вечно подозревающей нас в дурном». Но, видя Таню с мамой, мы довольно переглядывались.

— Она все-таки трогательная, Татьяна! — скажет Варя, сморщив нос и приподняв крючком указательный палец, похожий на толстую сардельку. — Все-таки приятно, что Таня у нас такая. Только ни за что не будем ей говорить.

— Не будем.

Втайне мы уважали умную Таню.

Варя уважала ее уже за одно то, что она «блестяще» подготовила ее к переэкзаменовке. Варя сдала алгебру на 4. Получить Варе четверку, это все равно что обыкновенному смертному получить мантию ученого. И что самое удивительное, Таня, занимаясь с Варей, совсем ею не раздражалась. Варя утверждала это. Вспоминая свои уроки с Алей, когда из моих рук крутили веревки, я раскрыла рот от изумления. Нет, мы уважали Таню, но боялись ее. Порой она изводила нас своими ласками. Вася краснел до корней волос, когда Таня, придя за ним в Тенишевское училище, при всех товарищах норовила поцеловать его в нос, называя при этом «Черносливчик». Меня в гимназии она позорила, крича на весь зал: «Здравствуй, Пучок!», как будто это глупое прозвище она не могла оставить до дому. Наши мольбы только смешили ее.

Правда, мы никогда не были уверены, что ее ласки внезапно не кончатся криком или наказаньем. Ее настроения менялись мгновенно. Мы все же в глазах Тани были какими-то «зверьками», которые вечно путаются под ногами: мешают папе работать, досаждают маме и наводят беспорядок Тане. Но когда мы заболевали и лежали в постели с обычной порцией касторки, Таня приходила в восторг: «Какие вы милые, когда вы лежите и не бегаете и не путаетесь под ногами!»

Я писала, что мама исполняла маленькие Танины желания, но не потому, что Таня была требовательна. Отсутствие в ней всяких желаний, свойственных ее возрасту, заставляло маму искать случая побаловать ее, отвлечь от чрезмерной серьезности.

Но вернусь к книгам.

Как я писала, Таня с детства любила церковь, и ее религиозно-мечтательная душа раз навсегда прилепилась к православию. Протестантство и католицизм были всегда ей чужды.

Сила и глубина отцовского писания ее захватывала, но одновременно приводила в трепет. Я помню, с каким волнением она читала «Темный лик» («Русские могилы»).

Душа ее была очарована и испугана огромной силой религиозного вдохновения этих людей, предававших себя смерти, и, может, те выводы, которые делал отец, наполняли ее смущением, и страхом.

Ее религиозное сознание не могло принять отцовской идеи, но она не имела за собой ни личного духовного опыта, ни достаточной зрелости мысли, чтобы противостоять ему.

Папу (который лично болел за этих удивительных людей) она ощущала в корне глубоко-религиозным, понимающим красоту церкви и христианства, и это, главным образом, приводило ее душу в смущение.

Мама делилась с Таней своими интимными переживаниями, и Таня рано узнала «о семейной тайне» и о «церковном преступлении». Думаю, что это была одна из причин ее крайней нервности.

Когда в 1917 году мама пришла сказать мне и Варе об этом факте, мы не поняли его значения. Смущенная неожиданным признанием, я, согласно своей натуре, первым делом взглянула на этот факт с «романтической» точки зрения, найдя и папу и маму не подходящими для «романа», и в этом разрезе задала Тане несколько вопросов. Я вижу, как сейчас, ее внезапно посеревшее лицо и дрожащие губы — быстро, отрывисто она переставляла какие-то ненужные безделушки на столе, и постепенно голос ее перешел в взвизгиванье: «Вы глупые, ничего не понимаете, мама с папой очень плохо поступили, очень, очень плохо, они преступники перед церковью, это такой грех, мы еще не знаем, что будет». Она заплакала. И если мы, все дети, чувствовали вечную тревогу, которой не могли найти объяснения, то Таня уже находила для нее по-

чву: «Мы все будем несчастны», — постоянно твердила она. Она часто лежала, повернувшись лицом к стене, и плакала.

Одним вздохом с раннего детства Таня вобрала в себя все печальное, что было в семье, и сделалась в доме немного Кассандрой, которая все плакала и твердила о скорой гибели.

Мы старались противостоять ее тревоге, но Таня всегда возвращала нас к ней, и мы тяготились Таней.

Глава 44

Папа писал в «Опавших листьях»: «Интересно, что думают детишки о своем папе?»

Теперь я могу ответить тебе.

1) Таня, читая, трепетала, как огонек, то вспыхивая, то замирая, то в умилении, то в страхе. Но всегда в слезах.

2) Варя читала твои книги напролет целые ночи и дни и иногда тихонько уходила из дому и бродила по улицам, полная чувства безумной к тебе нежности и одновременно смятения. Но ты знал, что ее никогда нельзя добудиться по утрам и она кричит, что не хочет идти в гимназию и хлопает дверью. И потому вы часто бывали в ссоре, и ты не получил множества писем, которые она писала тебе по ночам.

3) Вася больше всех книг, и твоих в том числе, любил рыбную ловлю и плаванье.

5) А я? Я очень любила тебя как «папу», но считала про себя, что ты пишешь «неважно».

Впрочем... В папиных бумагах я нашла вырванный из школьной тетради листок в 2 линейки (значит, I—II класс гимназии, 10—11 лет), исписанный неровным детским почерком:

4 выписки из книги «Опавшие листья» литератора и философа В. В. Розанова. (Самые любимые тексты из прочитанного).

Читаю:

1) Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва, где «я не могу», где «я могу», — нет молитвы (очень верно).

2) Только горе открывает нам великое и святое. До горя — прекрасное, доброе, даже большое. Но никогда именно *великого*, именно святого... (Страшно верно.)

3) Совершенства нет на земле... Даже совершенной Церкви. (Очень верно?)

4) Валят хлопья снега на моего друга, заваливают до плеч, головы...

И замерзает он и гибнет.

А я стою возле и ничего не могу сделать (очень верно)?

5) Душа еще жива. Тело умерло (очень верно).

6) Душа озябла...

Страшно, когда наступает озноб души (очень верно), и т. д. и т. д. 13 цитат.

Я смеялась до слез. Ну, ну, не предполагайте какой-нибудь исключительной зрелости мысли и чувств. В нашем доме не подчеркивать, не писать на полях, не делать выписок — невозможно! У Веры кипа тетрадок с выписками, и на всех полях книг написано «верно», «не верно». А я подражаю ей по мере сил. Но, милая, не скрывай, я отлично помню, как мама скажет, бывало: «Сегодня хорошая Рождественская передовая отца. Возьми, почитай!»

Читаю. Ну и скука! Вместо сочельника какая-то сцена в редакции, совершенно не интересная, ничего красивого, непонятно, что может нравиться.

И постоянный вздох про себя: «Если бы папа умел писать, как Лукашевич, или Евгения Тур, или Сенкевич!». Милая! Я вижу, как ты трясешься и негодуешь. Постой, я знаю, что ты писала это очень серьезно и в *совершенной тайне*. И все же мне кажется, что «озноб души» ты знала только после катка.

Ты действительно промерзла до основания!

Глава 45

Но этот год знаменателен событием, сыгравшим не только большую роль в моей жизни, но как бы определившим все мое отрочество-юность. Оно озарило таким ярким светом мою жизнь, что и поныне я различаю его сиянье.

У нас в доме в течение последних лет шли постоянные разговоры об Айседоре Дункан, и все домашние, начиная с папы, ею восхищались.

Год назад, вечером, когда я лежала в постели, Аля вошла проститься со мной в розовом театральном капоре и сказала, что они «идут на Дункан». Сквозь открытую дверь я видела, как оживленно одевались в прихожей папа, Таня, Наташа. Я шалила в постели, не чувствуя зависти. Эта Дункан танцует среди сукон, без декораций, вероятно, очень серьезно, «по-ученому» и совсем не красиво. Другое дело, когда из леса вылетают феи в газовых юбочках, такие хорошенькие, кудрявые, и танцуют на кончиках пальцев! Я спокойно уснула в эту ночь.

Если бы я только знала, что год спустя эти танцы произведут неизгладимый след в моей душе, — я бы ухватила их за подолы, залилась бы слезами, но я умоляла бы их взять меня с собой.

Теперь, прочтя «мифы», я жадно расспрашивала о Дункан и мечтала увидеть ее.

Весной в 1914 году в Петербург приехали ученицы Айседоры Дункан. Сама она не приехала. В зале консерватории был объявлен вечер их танцев.

Папа взял ложу, и мы отправились всей семьей. Как ни велико было мое волнение, я была далека от мысли, чем станет для меня этот вечер.

Когда занавес поднялся, глазам представилась пустая сцена, и только с высоты мягкими благородными складками падали синевато-серые сукна. И вот из глубины сцены под легкий аккомпанемент выступили девушки в прозрачных хитонах пепельно-желтого тона. Они двигались медленно, чуть поднимая руки, как бы пробуждаясь от сна, а потом все быстрее, шире, свободнее, и вот они уже понеслись с воздетыми руками, высоко взбрасывая ноги в бурной радостной пляске.

Их было четверо: две высокие белокурые девушки с косами, заложенными вокруг головы, одна — с длинными «английскими локонами», может быть, чересчур хрупкая, несколько «современного вида», а последняя — ростом ниже других, широкая в костях, с сильными ногами. Она показалась мне вдруг ожившей «раненой Амазонкой», репродукцию с которой я хранила в числе любимых скульптур.

С первого момента, когда в глубине сцены появились четыре фигурки в легких хитонах и, потянувшись всем телом, всплеснули руками, — я вся замерла. Передо мной вдруг предстал тот мир, который я считала невозвратно потерянным и о котором так страстно, безнадежно мечтала с тех пор, как прочла «Мифы».

Они продолжали плясать, то взявшись за руки, сплетаясь в хоровод, будто нимфы, изображения которых я видела на барельефах и вазах, то неслись в воинственной пляске, в развевающихся красных хитонах, держа в руках незримые копья, и я видела перед собой Троянскую войну, когда боги и смертные слились в одной страстной битве. Весь, весь античный мир встал перед моими глазами! И как же затрепетала моя душа!

Растерянная, не зная, что делать с собой, бессильная вместить в себе всю красоту, которая разбила мне сердце восторгом, я сидела, вцепившись в барьер ложи, не утирая слез, которые обильно текли по щекам, и чувствуя, что вот-вот они перейдут в неудержимое рыданье.

Варя посмотрела на меня и удивленно раскрыла глаза. Она уже подняла указательный палец к губам, удерживая смех, и я, боясь услышать насмешку, соскользнула с кресла и, остановившись в дверях аванложи, нагнулась, будто поправляя шнуровку ботинка, и продолжая плакать, стиснув ладонями рот.

Им бросали цветы на сцену, и они сложили их в один огромный букет, и потом, взявшись за руки, танцевали вокруг него.

Публика толпилась у сцены — мы тоже подошли ближе. Они вышли прощаться, запахиваясь в халатики из мягкой фланели, совсем домашнего покроя. Несколько студентов бросили им записки к ногам.

Вся сжавшись, я смотрела с мольбой: «О милые, только не поднимайте, не смотрите!» (Разве нимфы могут быть обыкновенными барышня-

ми?) Но ни одна из них не сделала жеста, чтобы поднять, и они отодвигались вглубь занавеса без поцелуев в публику, без отдачи себя толпе. Будто четыре нимфы из свиты Артемиды-охотницы, и вздумай Аполлон взглянуть на них нечистым взглядом, он был бы тут же разорван собственными псами.

Еще долго неистовствовала толпа, потом свет потушили.

В гардеробе, среди разъезжающейся толпы, я повстречала свою одноклассницу Лиду Хохлову, которая в сказке о царе Берендее играла царевну Светлану. В черном бархатном кафтанчике с пунцовыми ленточками в темных волосах, она шла за руку со своей воспитательницей. Мы взглянули друг на друга: ее смуглое личико пылало, а черные глаза были влажны. «Значит, она тоже...» И, чтобы что-то сказать, я спросила равнодушно, преодолевая смущенье:

— Тебе понравилось?

— Да, — сдержанно ответила девочка.

Мы держали друг друга за руки, чуть покачиваясь, не зная, о чем говорить.

Домой возвращались в трамвае. Повернувшись к окну, избегая вопросов, я смотрела на огни города, как вдруг внезапно с нами поравнялся автомобиль. Произошел затор, и наши окна соприкоснулись. В освещенной кабине, наполненной живыми цветами, я увидела девушек. Они сидели, откинув с головы покрывала, закутанные в меха. — «Только бы никого не было с ними, только бы они *остались* такими же!» И я впилась в их лица. В кабине я никого не разглядела, но на их лицах я не увидела выражения, какое бывает у «барышень, когда их провожают», и вот они жеманятся, болтают вздор. Нет, нет, если бы я увидела, все мои мечты разлетелись бы в прах: «Тогда они только играют в Грецию и притворяются нимфами!» Но на их лицах разливалась та же прелестная, нежная, чистая улыбка. «Милые, милые!» — шептала я, прижавшись к стеклу, в то время как их лица расплывались в моих глазах, наполненных слезами. — Если бы вы только знали, какая я "ваша", как я люблю вас! Если бы я могла быть с вами!»

Трамвай тронулся, и одновременно, скользнув, автомобиль скрылся из глаз...

Долго еще я плакала в постели, накрывшись с головой одеялом, от неутолимой любви к Греции, пока не заснула в слезах.

И теперь, озираясь, я говорю: «Это был счастливый день в моей жизни!»

С Дункан началась новая эра для меня. Если первые чтения из древней истории раскрыли мне красоту античного мира, но одновременно заставили страдать о невозвратимости этой эпохи, то Дункан явилась

как вестница, как обещанье, что еще не все потеряно и может вернуться вновь.

Тень Греции прошла по Европе, и на мгновенье она подняла свое лицо, обрюзгшее и тяжелое, и улыбкой проводила меня. И меня коснулась она, и так близко, что душа моя, затрепетав, неудержимо полетела следом за ней.

Мне не пришлось увидеть самое Айседору Дункан. Вскоре разнеслась трагическая весть о гибели ее детей. Слухи о ней доходили, самые разноречивые, но в первые годы войны говорили, что она уехала на фронт сестрой милосердия.

Через учениц я полюбила самое Айседору Дункан. Вернее, они слились в один ее образ, навсегда утвердившийся в сердце. Я никогда не засылала, не помолившись о ней, ее детях и не поцеловав на прощанье их портретов. Они стояли на ночном столике, у кровати, так что, засыпая и просыпаясь, я видела их около себя.

Ночью, когда все спали, я босиком, в рубашке пробиралась в папин кабинет. В углу теплилась лампада, а на черной книжной полке стояло изображение Изиды с Озирисом на руках. Посреди кабинета помешался круглый бабушкин стол красного дерева с итальянским светильником. Места было очень мало, и все же я танцевала с такой радостью в сердце, что долго потом лежала, уткнувшись лицом в подушку, в неизъяснимом волнении.

В 1914 (?) в Петербург приехала секретарь Айседоры Дункан Алиса Франк, чтобы произвести набор детей в школу Айседоры Дункан, открывавшуюся в Париже. Папа по просьбе Франк написал статью в «Новое Время». Аля поехала к ней в «Асторию» с визитом, взяв меня с собой. Я смотрела на эту маленькую, некрасивую и энергичную женщину с завистью и горечью одновременно. «Любит ли она Грецию? Почему же ей выпало такое счастье быть около Дункан?» Узнав о цели ее приезда, я молила Бога о совершении чуда.

За утренним кофе кто-то из домашних сказал: «А что если Варю отдать в школу Дункан?» А Аля заметила: «Надю бы нужно, но это немыслимо». Я вскочила: «Отдайте меня к ней, ради Бога, отдайте!» Мама покачала головой: «Тебя нельзя отпустить, ты мала еще (ох, младшие никогда не вырастают в глазах родителей!), а Варя привыкла жить вне дома. Варю бы хорошо пристроить туда, может быть, Дункан лучше Левицкой с ней справится, все равно толку нет в ее учении. Одни глупости в голове!»

Варя, конечно, взволновалась (Париж! Шикарная жизнь!).

— Я по натуре артистка, а вы заставляете меня учиться и губить свой талант. Конечно, вы просто обязаны отдать меня танцевать! — Она даже заплакала от жалости к себе.

Меня охватило бешенство. «Вы ничего не понимаете. Варю отлично можно отдать в балет, она не любит Дункан! Отдайте ее в балет, путь она дергает там ногами, а мне не нужен он. Дункан моя, моя, моя, а не ее! Отдайте меня к ней!»

Я была как в горячке. Аля слабо защищала меня: «Невозможно представить, как тебя не будет дома».

— Не любите меня, ради Бога, не любите! — колотила я себя в грудь. Правда, я была в совершенном беспамятстве.

Теперь, спустя двадцать пять лет, я с участием вспоминаю себя. Разве я могла передать свое отчаянье? Дома привыкли смотреть на меня, как на «маленькую», и я была бессильна рассказать свою душу, заставить их поверить, что Дункан раскрыла мне самое себя... (А ведь и теперь я думаю о себе совершенно так же, как и тогда.) Они же думали: «Девочке понравилось *красивое зрелище*, и вот ей взбрели в голову всякие фантазии, и начались всякие сумасбродства». Они рассердились и ушли, предоставив меня «злым капризам».

Вечером приехала Алиса Франк. Я не могла выйти к ней из-за распухшего лица и в чулках, стоя у двери, слушала разговор. Она сказала, что в школу принимают преимущественно бедных детей и не старше 7—8 лет.

Я вернулась к себе и легла на кровать, повернувшись лицом к стене, с таким чувством, будто у меня ушли все силы.

Я видела этих детей на прощальном вечер в «Астории». Они были прелестны со своей естественной грацией в коротеньких светлых хитончиках. Они делали какие-то упражнения, а потом просто бегали, прыгали и резвились под музыку. С какой болью в сердце я провожала их мысленно! Есть ли один из них, который носил бы в себе хоть крупицу страстной любви к античному миру?

Но они были совсем малютки с бессмысленными личиками, и их судьбой распоряжались родители.

Год спустя мне пришлось увидеть Карсавину. Был большой концерт в Павловске с участием всех знаменитостей. Имя Карсавиной было окружено ореолом. Я видела ее прекрасную голову на фотографиях и ехала со смущением: «А вдруг она произведет на меня такое же впечатление?»

Занавес поднялся, и из-за кулис выпорхнула Карсавина. Она была очень хороша в своей гордой, победоносной красоте. Я сидела, напрягая мускулы, готовая протестовать, но постепенно размягчаясь, и, наконец, облегченно откинулась на спинку кресла. Даже и тени «того» волнения я не испытывала, глядя на нее.

Она, действительно, летала, как «пух из уст Эола», и я искренне любовалась ею и аплодировала изо всех сил. Но душа оставалась невозму-

тимой. Я могла говорить, обращаясь к Вере: «Как она чудно танцует! Хорошо, если она еще повторит этот номер».

И довольная вернулась домой: «Очень хороший был вечер».

Папе прислали приглашение на вечер танцев. Некая Исаченко-Соколова открыла школу пластических танцев на Ивановской улице. Папа взял с собою Варю и меня. Может быть, их туда поместить, они все чего-то просят и отчего-то волнуются!

В небольшой квартире толпилось много народу, и сама Исаченко-Соколова стояла в дверях, задрапированная в голубой плащ из великолепной шерстяной материи, в высоких светлых сандалиях, с папиросой в зубах, и, щуря глаза, приветствовала гостей. Такие дамы могут быть владелицами какого-нибудь модного ателье, могут быть хозяйками литературного салона, но при чем тут Греция? Я негодующе глядела на нее, всячески донося до нее свое презрение. Удивительно, как она не обратилась в соляной столб и продолжала любезно беседовать с папой, который, тыча ей в грудь указательным пальцем, шептал, что «все его детишки страшно любят античные танцы и у всех есть положительно вкус...»

Потом все пошли в зал. Очень тоненькая девушка со смуглой оливковой кожей танцевала египетские танцы. Ее звали Цециания, и она, право, была хороша со своим восточным лицом и угловатыми движениями. Потом выступали другие девушки лет 15—16, не старше... Я ничего решительно не помню.

У меня вертелась только одна мысль в голове. Они все здесь только представляют и играют в Грецию. Все для публики только. Я представляла себе, как, сбросив свои хитоны и греческие повязки, они наденут свои модные платья и станут как все решительно барышни в мире. «Но, может быть, — говорила я себе, — может быть, они научат меня движениям, а я вложу в них свою душу?»

Я была в разладе. На обратном пути папа был в благодушном настроении: «Детишки танцевали какие-то греческие танцы, и все обстоит отлично. Дома ждет самовар». (Конечно, он остался совсем равнодушен.)

— Папочка, я не поступлю туда, — сказала я твердо. И папа ответил: «Ну, ну!» и встал против ветра, старательно зажигая спичку, чтобы закурить.

Он уже весь предался собственным мыслям, куда мне не было доступа...

Дункан прошла через все мое отрочество и юность, несмотря на то что я никогда больше не видела не только ее, но даже учеников ее школы. После революции, когда она вновь появилась в Москве, вокруг ее имени шла шумная молва. Я всегда с тяжелым сердцем прислушивалась к ней и не пыталась увидеть ее вновь.

Когда я прочла ее книгу «Моя жизнь», — я испытала растерянность. Ничего не осталось от того светлого образа, который я создала своим детским воображением и поклонилась раз навсегда. И только через два года, прочтя эту книгу вторично, я не только приняла полностью, но полюбила ее еще больше, еще ближе стала она, только уже иначе. Я не ходила смотреть на ее учеников: разочарование могло вытеснить из сердца тот единственный и неповторимый вечер. И все же, когда я вижу на улице расклеенные афиши с жирным шрифтом: «Ученики школы имени Айседоры Дункан», я всегда испытываю легкий укол в сердце. Будто некогда, встав на распутье, я не сделала должного шага, и моя жизнь потекла не по тому руслу, как ей надлежало. Не по тому сужу, что друзья мои говорили обычно: «У тебя был единственный и подлинный дар — это танцы» — Нет! Оценка могла быть ошибочна и пристрастна, а потому, что я ощущала в себе какой-то вечный полет, непрестанное волнение, которое всегда хотелось вылить в движении.

«Вот отсюда, вот отсюда!» — И она снова подняла обе руки к груди, смотря прекрасным взором на нас...

И пока *здесь* есть — выходит вот это! — И она всем корпусом, всей жизнью поднялась кверху.

О как мне это понятно.

— Это так, — говорю я, проходя мимо, — но разве смогла бы ты потом танцевать? Разве ты могла бы в дальнейшем принять эту жизнь (а ты так только мыслила) и не чувствовать раздвоения? Разве душа твоя не знала иных устремлений?

— Но, может быть, я тогда избежала бы «многого» и была бы счастлива?

И опускаю голову...

Нет, Дункан была единственная, и все попытки следовать за нею мертвы, беспочвенны. Один раз еще было дано человечеству увидеть сон о Золотом веке.

А теперь — танки, пулеметы, удушливые газы...

Хитон и противогаз? Брр... Не подходит.

А ее личная судьба разве не олицетворение Рока, мстящего за дерзновенную мечту воскресить было язычество?

Ты страшных песен мне не пой —
Про древний хаос, про родимый...

Глава 46

Лето 1914 года мы провели в Луге, где папа вторично снял дачу.

Первая половина лета прошла очень оживленно. По соседству с нами жили актеры московского Малого театра с 12-летней дочерью и вдова-

генеральша, еще моложавая дама, но очень чванливая, с двумя сыновьями кадетами. С этой девочкой и двумя кадетами мы, младшие, сдружились и целыми днями вместе гуляли, катались на лодке и играли в теннис. Кроме того, актеры предложили нам устроить домашний спектакль и репетировали с нами пьесы и сцены из «Снегурочки». А между тем уже приближалась историческая катастрофа, события следовали одно за другим. Помню день объявления войны.

Мы обедали на балконе, когда принесли газеты.

Огромными буквами был напечатан манифест. Тут же были нарисованы солдаты разных величин. Это были показатели численности армии каждой страны. Наш солдат был самый большой.

При слове «война» я закружилась по комнате, а потом с восторженным криком «Война, война!» бросилась со всех ног извещать прислугу. Наташа, которая всегда была добра ко мне, обрушилась на меня с гневом: «Как тебе не стыдно?!— крикнула она, задыхаясь. — Несчастье обрушилось на мир, а ты радуешься?! Разве ты не понимаешь, сколько людей погибнет, какой ужас!!»

Я остановилась как вкопанная. Разве я мыслила конкретно? Слово «война» означало только блеск, мужество, героизм. Но домашние были в таком тяжелом душевном настроении, что поневоле я затихла.

Каждый день с волнением ждали газет.

Наша юная компания горячо относилась к событиям. Мы бегали в город на вокзал, где с пеньем национальных гимнов отправляли эшелоны солдат. Вагоны были украшены зеленью. Военная музыка заставляла трепетать каждую жилку, и я плавала в патриотизме.

Саша — старший кадет лет 15—16, очень красивый и статный юноша — чувствовал себя центральной фигурой в нашем кругу, он надеялся на ускоренный выпуск и разговаривал с нами, как опытный стратег, и заявлял, что война продлится не более полугода (так думало большинство). Его младший брат, хрупкий белокурый кадет лет 12, с нежным личиком и звонким голоском, — не спускал влюбленных глаз со своего старшего брата. И все же жизнь наша ничем не нарушалась, и мы все так же проводили время и подготовлялись к спектаклям.

Как-то вечером на нашей теннисной площадке собрались знакомые дачники, в том числе и актеры, и, наигравшись в теннис, остались у нас ужинать всей компанией.

На балконе горела большая керосиновая лампа, вокруг нее кружилась мошкара, и мы все уютно сидели за ужином, наслаждаясь вечерней прохладой. В это время соседняя прислуга принесла повестку нашим гостям. Это был призыв в армию. Жена актера, прочтя ее, побелела и ухватилась за стол. Они тут же встали и ушли, тесно прижавшись друг к другу. Он был веселый, добродушный толстяк, а она высокая, мужественная,

вся волевая. Никогда не забуду особой тишины, внезапно водворившейся. Тогда я впервые почувствовала, что значат шаги приближающейся катастрофы. Это была реальная война, которую я не понимала дотоле.

Поздно ночью мелькали тревожные огоньки в их даче: они спешно готовились к отъезду в Москву.

Наша жизнь нарушилась. О спектакле забыли и думать. Дома только и говорили о войне.

За обедом папа, сидя, как всегда, с поджатой ногой, внезапно требовал внимания. Мы уже знали, в чем дело. Это было очередное папино «изобретение». Хитро прищурившись, сопровождая движения полушепотом, папа при помощи вилки, солонки, перечницы и прочих приборов строил хитроумную ловушку, в которую, по его расчетам, должны были попасться, по крайней мере, несколько сот немцев одновременно. Они всегда были чрезвычайно просты и убедительны, и мы, дети, волновались, что папа не спешит заявить об этом куда следует. Не проходило обеда, чтобы папа не придумал чего-нибудь нового. Кажется, все его мысли переключились на тему «изобретательства».

Но лето 1914 года, наступившее началом мировой катастрофы и огромных исторических сдвигов, — знаменательно и для интимной жизни нашей семьи.

Вера первое время не жила с нами.

У нас в гимназии, начиная с 4-го класса, каждую весну организовывали экскурсии, и чем старше были классы, тем экскурсии были более дальние и продолжительные. Ездили в Нижний Новгород, в Киев и в другие города. Теперь Вера окончила гимназию и поехала со всем классом в последнюю экскурсию в Соловецкий монастырь.

Я выбежала ее встречать, когда она, вернувшись с экскурсии, приехала к папе на дачу. Она ехала на извозчике в сером дорожном костюме, сосредоточенная и усталая. Она не обратила на меня внимания. Никогда она так внутренне не удалялась от дому. Она была крайне нервна, раздражительна и, казалось, с мучительными усилиями преодолевала тяжелую обязанность хотя бы обеденные часы проводить вместе со всеми. Все остальное время она проводила, запершись у себя в комнате. Меня она просто не замечала. Я считала, что занимаю большое место в ее жизни, и была оскорблена ее равнодушием. С досады я примкнула к Варе и Васе. «Подумаешь, демон!» — кричали они из-за угла, и я вторила им, вымещая свою обиду. Как-то, расшалившись, мы забежали в коридорчик, откуда шла лестница во второй этаж и в нем помещалось внутреннее окно, входящее в комнату Веры.

— Давайте, посмотрим, что делает Вера!

Вскарабкавшись на перила, мы заглянули в окно.

Вера сидела в полуоборот за столиком, будто в глубокой усталости. На столе горела керосиновая лампа, а вокруг в беспорядке лежали груды тетрадей.

Это было несколько мгновений, и не могу даже точно сказать, что именно увидела я, но что-то вдруг ужасно меня поразило. И мы со своей шалостью вдруг представились отвратительными, точно мы совершили святотатство, так грубо, жестко заглянув в ее душу. Именно контрастность «нашего» и «ее» мира меня поразила.

Помню, она, услышав шум, встрепенулась и увидела нас. Внезапно лицо ее вспыхнуло гневом. Но она не закричала на нас.

Заливаясь краской стыда, я соскочила с перил и убежала.

Когда в папиных рукописях я прочла одну сцену с Верой, я вспомнила этот вечер. И была поражена. Папа подслушал Верину душу, ее вздохи и шепоты. Все интонации схвачены с такой поразительной правдой, что я воскликнула: «Да ведь это момент ясновидения!»

Из ненапечатанной рукописи отца
«Мимолетное»

Прошел дождь. И, думая, что Вера, запертая с утра до ночи в свой комнате, угрюмая, раздраженная и грубая, что-нибудь «дурное делает» у себя — я вышел в сад.

Был первый час ночи. Все давно уснули. Я встал из-за монет (античные, определяю).

Комната ее была угловая с окном «уже на ту сторону», — и надо было почти продраться между каких-то кустов вообще и деревьев сирени. Трудно. Далеко. И задетое дерево так и охватывало тебя вторичным дождем с листьев дерева. «Но, наконец-то, я вижу, что делает Вера ночью!»

И я терпел и лез, терпел и лез. А вот и полным светом освещенное ее окно.

Столик маленький, кой-какой, стоял в углу. Весь с книгами и тетрадями, довольно хаотичными. И моя Верочка, поставив локоть руки на стол и касаясь щекой кисти руки, сидела, устремив глаза в какую-то беспредельную даль. Я довольно психологичен и написал «О Великом инквизиторе» Достоевского, так что умею различать тени лица. Ни гнев, ни порок, ни тайное злоумышленье от меня не укроются. И подозрительным и придирчивым взглядом я взглянул на «злую Веру».

Я ее считал злой, потому что она была постоянно груба. К тому же не хотела наливать чай. Я ее считал и глупой, потому что была предана глупым темам гимназии.

Прокурор и отец судил свою дочь. Тайно и мысленно.

Передо мной сидело воздушное лицо. Комната — была. Лампа — да. Но заметно было, что она отсутствовала из комнаты. И даже отсутствовала вообще в нашем доме, в котором было так жестко и неуютно.

И перешла куда-то...

Куда — я не знал.

Милое, доброе, в высшей степени умное лицо горело какой-то задумчивостью, в котором — я ясно видел — не было червячка. Вместе с тем, как можно было ожидать в ее годы (15—16 лет), мысли не перенеслись к «кому-то», кто завладел ее сердцем. Лицо было глубоко свободно и самостоятельно. В лице была восхищенность, но общим миром идей. Как будто она кого-то страстно убеждала и убедила. Спорила — и победила. Но самая победа разлилась по нему мягкостью и примирением.

— «Вот я шла трудной дорогой. В лохмотьях и через грязь. И все думали, вы, люди — (непременно вообще), что я иду через грязь и в этих лохмотьях по любви к самой грязи и лохмотьям. И я не оправдывалась, не опровергала, потому что Вера гордая. Но я для вас же старалась и о вас же думала, — все люди (непременно — "все").

Мне нужно было доказать трудную истину, которую вы все отвергали, но которая есть именно истина. И вот я пришла. Во мне нет больше сил, и я умру. Я умру, потому что я отдала из себя все силы, какие были, и мне нечем больше жить. Я уже кашляю, и вы это знаете. Пусть. Мне ничего не нужно. А только вы будете помнить все, несчастные и злые люди, что Вера была совсем не то, что вы о ней думали...

И ты тоже, мой несчастный папочка, так глубоко ошибаешься. Но я уже ушла и не с вами. Нельзя ничего поправить, и все кончилось».

Я долго стоял. Очень долго. С полчаса. Она не шевельнулась. И эта же чудная, чуть-чуть наметившаяся улыбка в губах, и вдохновенное лицо, героическое и вдохновенное. Часто это было, я не понимаю, но, очевидно, и для нее это была счастливейшая минута в жизни. Ведь такие минуты вообще редки...

...«Вера в странствиях», — подумал я, — «недобрая». Господь с нею. У всякого свои пути.

И перекрестил через стекло окна.

Небо было беззвездное, совсем темное. И в темноте сада стояла черная ночь.

Подойдя к маме, которая, как всегда, «навстречу» проснулась, я сказал:

— Знаешь, мама, нам нечего беспокоиться о Вере. Она добрая. И ничего худого с ней не происходит. В ней нет злоумышления.

В конце лета, мама вошла, хромая, в нашу комнату (младших) и, тяжело опустившись на кровать, сказала:

— Вера собирается идти в монастырь.

Глава 47

Произошло что-то «катастрофическое» в ее жизни, которое послужило толчком к ее решению?

Маруся Тартаковер была единственно по-настоящему близка Вере. Правда, весной 1914 года между ними произошел разрыв, но все же Маруся вместе с Верой поехала на экскурсию в Соловецкий монастырь. (Окончив гимназию, с объявлением войны, Маруся уехала в Италию.)

Больше они не виделись.

Я встретилась с Марусей в 1919 году, после ухода Веры.

От меня она узнала о монастыре и была потрясена известием. В памяти сохранилась Вера, хоть и полная «каких-то религиозных исканий», но, главным образом, бурная, фантастическая, мучимая какими-то непонятными ей страстями, которые в конце концов испугали ее. Обе они были увлечены «современностью», и «по внешней линии» они шли рука об руку. И вот Маруся, вернувшись из Италии, избрала «артистический путь», а Вера — монастырь.

— Вера и монастырь — невозможно, — повторяла она. — Говорю вам, она никогда не говорила о нем ни слова. Я была убеждена, что Вера ведет самую светскую жизнь, ведь она так любила блеск, роскошь, была честолюбива. (Она вспомнила ее танцы.) Она так любила поклонение и славу.

— Скажите, она была влюблена в кого-нибудь?

— Нет. Никогда.

— Невозможно! Если она даже не встретила человека, внутренне ей близкого, она бы влюбилась в первого попавшегося, ну дворника, швейцара, все равно. Но немыслимо, что с такой страстностью души она никого бы не любила.

Мне было очень трудно отвечать ей. Я поняла, что она никогда не знала Веры.

— Она как-то совсем была иначе построена, чем мы, как-то выше нас, не от земли, — задумчиво сказала Маруся. — Но в монастыре она жить все равно не могла, — опять настойчиво повторяла она.

Так говорил самый близкий ей человек.

От Владимира Васильевича Гиппиус и еще третьего лица (по слухам) я знала: на одной экскурсии (гимназической) Веру застали молящейся около креста. Было ли это в последнюю экскурсию в Соловецкий монастырь или раньше, — я точно не знаю. Мне кажется, это было несколькими годами раньше. Гиппиус сказал мне: «Я видел, что у вашей сестры была болезненная религиозность». Правда, многие из ее класса считали ее «ненормальной». Библия, которую она прочла от «доски до доски», была вся исчеркана пометками на полях, и текст «Аз есмь огонь поядающий», помню, был резко обведен красным карандашом.

Среди «Заратустры», «Цветов зла» и груды книг современной поэзии лежала «Книга Иова», «Житие преп. Марии Египетской» и в рамке стояло чудное лицо друга прокаженных — Дамиана де Вестера.

На мой вопрос, какая Вера была во время экскурсии в Соловки, Маруся сказала: «Мы как-то, все девочки, стояли на палубе и любовались природой. Хватились, где Вера, побежали искать и нашли ее одну в каюте. Она делала какие-то выписки из книги, кажется, вашего отца. Нас это всех поразило».

Больше она ничего не могла мне сказать.

Глава 48

Я опять сижу в комнате Веры (вернулись с дачи). Горит настольная лампа, затемненная брошенным на нее лоскутом материи, на аналое, где горит лампада, по-прежнему лик Христа Леонардо, в светлой раме изображение Богоматери в голубом платье, вдохновенное лицо отрока Христа, обращенное к старцам, и простой деревянный крест.

«...Мне очень трудно жить, Надя. Я бы никогда не нашла себе покоя в миру. Если бы я не пошла в монастырь, я бы, наверно, вела самую бурную светскую жизнь. Но я бы, наверно, сошла с ума. А в монастыре, я знаю, я найду покой. Будут говорить (она усмехнулась), что я ушла из-за несчастной любви, что-нибудь романтическое. Какая чепуха! Я ухожу в силу идеи. — Она указала мне на "мыслителя" Родена. — Я очень люблю эту вещь».

«Если я кого любила по-настоящему в жизни, то только папу и... еще одного человека. (Она не сказала имени, но я знала, что это Маруся Т.) Этот человек меня не понял».

— «Папу я любила больше всех в мире. Я очень мучительно пережила его творчество. Он имел огромное влияние на меня. Достоевский, Ницше, отец и, наконец, Книга Иова — последнее, что решило мою судьбу».

«Мне очень тяжело было дома, в семье... Мне очень трудно жить с людьми. Я боюсь грубости и непонимания. Я всегда была страшно одинока».

— Вера, почему папу ругают, пишут, что он циник?

— Папа как-то написал, что новобрачных нужно оставить в храме с открытым звездным небом. Это вызвало бурю.

— Вера, но ведь это так хорошо?!

— Папа очень страдает. Он очень одинок и несчастен. Его не понимают. Надя, мне так страшно за будущее семьи. За нашу судьбу, всех, — она говорила шепотом, хрипло.

— Я все искала истину, красоту. Потому что это — едино. Баллада о Рэдингской тюрьме прекраснее всего, что написал Оскар Уайльд. Это

красота страданий. Я очень-очень много пережила, Надя. Мне часто казалось, что я схожу с ума. Я все искала истину. И путем своих исканий я пришла к аскетизму. Аскетизм — завершение всего. Это та красота, которую я неустанно искала...

У меня была всегда тяга к одиночеству. Я всегда преклонялась перед древними мудрецами и святыми, уходящими в пустыню. Там они постигали истину. Знаешь, когда мы уезжали из Соловецкого монастыря, ко мне вдруг подошла Евгения Августовна (классная дама) и сказала: «Вот, Розанова, где вам надлежало бы жить». Меня это поразило. Она точно определила мои мысли.

Она стояла рядом со мной, устремив глаза вдаль, совсем тихо.

— Я люблю свое прошлое. Оно — выстрадано. Но я отрекаюсь от него. То, что я нашла, неизмеримо выше того, что я оставляю. Это совершенная форма жизни. Мой старый мир мне дорог, как мое пережитое страдание. Я его люблю, но я его оставляю.

Много она говорила в ту ночь, но я запомнила хорошо только это. Тогда же сказала она о своей жалости к людям, о своей неспособности оттолкнуть человека.

— Вера, не уходи! Как же ты меня оставляешь?

— Нет, Надя, это решено безвозвратно.

Глава 49

Когда я стала читать Достоевского, то тогда в каждом герое находила какую-то черту характера Веры (Настасья Филипповна, до Ставрогина и Ивана Карамазова и т. д.). И когда прочла «Огненного Ангела» Брюсова, опять сказала: «Как похоже на Веру!» (последний период ее жизни).

Но никогда, с детства, не могла без волнения читать чудные строки Лермонтова «Ангела» и не сказать: «Вот она — Вера!»

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна.
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Как отнеслись дома к Вериному решению?

До меня доносились такие разговоры: «Василий Васильевич, наверно, протестующе отнесся к уходу своей дочери в монастырь. Ведь это идет в разрез с его мировоззрением?»

— Да, — отвечала я «ради приличия».

Но было не так.

И то, как отнесся папа, вызвало недоумение во всех нас, детях.

Папа отнесся одобрительно.

Наше недоумение никогда окончательно не разрешилось. Недавно мы с Таней вновь заговорили на эту тему. Таня сказала в раздумье: «Я думаю, что папа удовлетворен, что Вера не пошла по обычному пути, какие избирают девушки (Шура и т. д.), что в ее решении сказалась ярко выраженная индивидуальность, самостоятельность мысли, идейная устремленность. *Именно индивидуальность пути*».

Отец писал, что с детьми (кроме Тани) он не чувствовал «метафизической связи», как с мамой (через боль), то, что делает связь метафизической. Было «любованье», как вообще всегда было в отце «любованье душой». Но отец, с его впечатлительностью?..

Папа писал, что иногда события проходили мимо него, не задевая, и только спустя десять-двадцать лет они овладевали его душой...

Эту черту я наблюдала в отце.

Вере не было и 19 лет, но в душе ее возникла горечь. Точно никто не захотел заглянуть в ее душу, вникнуть в сложный мир ее переживаний. Именно «любование» показалось ей страшным, как равнодушие. В ту ночь она мне говорила об этом.

Мама?

Трудно сказать. В долгие часы, когда она молча лежала на диване, прижимая по обыкновению свою больную руку и порывисто, тяжело дыша, — какие чувства волновали ее?

Ведь я описываю только факты, и что они, в конце концов, как не скорлупа, которая дает представление о некоем ядре, дает представление о форме, строении его, но не говорит еще о содержании, «вкусе»?

Думаю, что мама со своей «вечной тревогой за какое-то неблагополучие» (В. Р.) не мыслила видеть нас счастливыми. — «В мире существует обман, горе, заботы. Она бы сломала себе голову. Может быть, это лучше всего остального».

«Все равно головы не сносить».

И озабоченно стала собирать Веру.

Аля очень тяжело переживала Верино решение. Она очень любила Веру, как любила нас всех тревожно, нежно, а Веру она особенно любила за ее в раннем детстве необыкновенную доброту, ласковость, когда она, грузненькая, неповоротливая, клала ей под подушку свои «мечты об Ангелах».

Но в целом в семье было недоумение.

Вера никогда особенно не посещала церковь, если ходила, то «ненадолго», «вечером» и в каких-то «особых своих настроениях». Если бы Таня... Таня с детства любила церковь, ходила к обедне и вообще была очень печальна, тиха. А Вера? С ее бурей?! — Невероятно!

Вера не пожелала идти в такой монастырь, где существовали «вклады» и можно было бы жить «на покое». Кроме того, она непременно хо-

тела, чтобы обитель была расположена вдали от города, как можно отдаленнее, и где бы существовал строгий устав.

Я знаю, что папа с Верой ездили в какой-то монастырь (?), во главе которого стояла игуменья Нина. После долгой беседы с Верой она сказала отцу: «Ваша дочь никогда не найдет покоя».

Папа узнал о монастыре Арсеньевой, дочери известного К. Р. Арсеньева. Обитель находилась в Псковской (?) губернии, в десяти (2) верстах от станции «Плюсса». В Петербурге же было монастырское подворье «Покрова Божьей Матери». Сама обитель была очень маленькая, в ней всего было сорок сестер-послушниц. Монастырь был со строгим уставом, «вкладов» не существовало, и все сестры трудились. Вера была захвачена «идейностью» монастыря и непременно хотела поступить туда.

Помню, как впервые к нам приехала матушка Мария. С утра я волновалась, узнав о готовящемся приезде. С решением Веры я чувствовала острую горечь потери, как будто она ушла и бросила меня на дороге. Я теряла самого близкого человека. Матушку я ненавидела заранее и клялась, что ни за что не подойду под ее благословение, что я презираю ее наравне со всеми священниками и монахами. Как-то я уже напугала Таню, демонстративно выйдя к какому-то очень крупному духовному лицу, посетившему папу, и вместо того чтобы подойти под благословение, просто сделала книксен. Таня тогда с утра уговаривала меня, сердилась ужасно, но «гордая ученица гимназии Стоюниной» (В. Р.), задрав кверху нос, твердила, что она не согласна «себя унижать».

Перед тем, как выйти к матушке, я повязала волосы красным бантом — то был символ протеста. Но не прошло и получаса, как я потеряла свой воинственный вид.

Я видела перед собой нежное, одухотворенное лицо и сияющие добротой грустные серые глаза... Она сразу угадала причину моей «воинственности» и отнеслась ко мне с веселой ласковостью, а в дальнейшем, узнав от Веры о нашей «особой дружбе», посылала отдельно привет «красному бантику» (так она меня прозвала).

Я помню Веру в тот вечер.

Что-то бесконечно нежное, робкое, доверчивое было в ее лице. Она не отводила глаз от матушки. И когда матушка, шелестя своей рясой, пошла в прихожую одеваться, Вера низко склонилась перед ней и поправила складки ее верхней одежды.

Перед тем, как принять Веру в свою обитель, матушка поехала с Верой к о. Алексею Зосимовскому (духовному отцу матушки). От него Вера должна была получить благословенье.

Вера рассказала ему всю свою жизнь, и о. Алексей благословил Веру идти в монастырь.

Домна Васильевна весь день сидит за швейной машинкой. На столе обрезки грубого простого полотна. Она пришивает метки к белью: рубаха до пят с длинными рукавами и стоячим воротом, безо всякой отделки. Рядом пачка простых грубых чулок.

Перед окончанием гимназии Вера сшила платье, впервые по своему вкусу: черное, узкое, с высоким стоячим воротом. «Марии Стюарт». Оно очень ей шло. Сейчас оно брошено в сундук.

В ее комнате стоят корзины, сундуки. Все уже уложено.

Мама тяжело дышит: «Не забыто ли что?»

Самого отъезда не помню.

Вскоре я получила от нее письмо.

Христос посреди нас!
Милая и дорогая Надя!

Обращаюсь к тебе с *большой* просьбой. Я отдаю на твое попечение всю мою библиотеку. Я бы отдала ее всем детям, но у меня там много *надписей* и *подчеркиваний*, и мне слишком неприятно, чтобы их читали или Таня, или Василий, или папа, или Варвара. Отдать им библиотеку — это значит допустить их войти в старый мир своих переживаний, а мне это делать совершенно не хочется.

Поэтому если ты немного любишь меня, то исполни мою просьбу: не давай ни одной книги из моей библиотеки *никому*. Пусть они хранятся у тебя.

Но храни. Ибо это мой прожитый мир. Те искания, которые привели меня к истинному пути. Ты очень близка мне, потому я отдаю их тебе. Отдать детям — все это будет растеряно: несмотря на то, что я распрощалась с миром, он остался для меня, как «великое пережитое».

Я знаю, что исполнить мою просьбу тебе будет очень трудно, но если будут очень приставать к тебе, давай читать книги *без надписей и подчеркиваний*. Книги с подчеркиваниями никогда не давай.

Мне будет очень тяжело. Все книги у меня записаны. Если пропадет хоть одна, мне будет известно. Потому записывай. Но старайся никому не давать.

Особенно храни Ницше «Заратустру».

Это мое завещание. Быть может, пройдет некоторое время, и я его подарю тебе совсем, но пока я даю тебе его только на хранение.

Береги его. Помни, что на страницах книг проходила душа моя в поисках за Истиной.

Целую тебя Вера.

Глава 50

Монастырь, куда поступила Вера, был строгого устава. Все сестры несли какое-нибудь послушание, которое сменялось вскоре на другое, и обычно первым послушаньем была работа на скотном дворе — наиболее тяжелая. Для Веры матушка сделала исключение и благословила ее на работу в трапезной.

Если принять во внимание, что, живя в семье, Вера никогда не мыла даже чайной посуды, то можно представить, как трудно ей пришлось и какой неопытной должна была она себя чувствовать среди сестер, простых деревенских девушек, привыкших всю жизнь проводить в физическом труде.

Мама говорила со вздохом: «Как-то она справляется там! Ведь она не знает, куда угли в самовар-то кладут, пар от дыма не отличит».

Однако письма ее дышали радостью.

Бедная Вера! Она не знала, что самые сильные переживания, даже страдания есть, в сущности, праздник души. Надо огромные духовные силы, чтобы удержаться на этой высоте и после пронести через всю жизнь то сокровенное, что раскрылось в душе в минуты ее величайшего подъема, как самый драгоценный дар. Не всегда душа может вынести этот «взлет», и тут вся опасность срыва...

Мама с Таней поехали к Вере в монастырь.

Таня вернулась недовольная. К монастырю она отнеслась критически: «Много вредных нововведений, матушка умничает!» Не понравилось Тане, что постоянно одно послушание сменяется на другое: «Только человек привыкнет, а его уже гонят на другое. Беспокойно!» И за мамой ухаживали суетливо чрезмерно, как за барыней — в церкви ковер под ноги расстилали. Нет, Таня была недовольна.

Не прошло и полугода, как Вера заболела. Непривычная пища, тяжелая физическая работа, ранние вставанья с восходом солнца — все вместе подорвало ее хрупкое здоровье. Она заболела катаром желудка, кишок, женскими болезнями, и ряд других недомоганий сказались тоже.

Матушка благословила ее посоветоваться с врачом, и Вера приехала домой.

Этот первый приезд ее! Я долго не выходила к ней, не будучи в силах справиться со своим волнением. А войдя, я холодно, не глядя, поцеловала ее. Сердце мое горело любовью, но одновременно протестовало.

Теперь она подолгу молилась в папиной комнате, не обращая внимания, если кто-нибудь находился в комнате. Зажигала тонкую восковую свечу и клала один за другим земные поклоны. И перед тем как сесть к столу, читала долго молитву и низко кланялась в пояс, благодаря за обед. Я не узнавала ее походки. Та Вера, в черном платье «декаданс»,

с короткими волосами, которая танцевала мне по ночам, читала Сологуба, Блока, Уайльда, и эта — в грубых деревенских сапогах, в черной косынке, повязанной до самых бровей, в длинной рясе... Из-под одеяла я следила, как она одевалась, мелко крестя ворот своей рясы и пояс, которым она опоясывалась.

Она понимала, что творилось в моей душе, но не меняла своего ровно-приветливого тона на другой и со всеми членами семьи была ровна.

По ночам я горько плакала, а днем держалась с ней вызывающе-холодно.

Только в вечер прощанья, когда она одевалась в прихожей, я сунула ей в карман записочку, написанную накануне и всю залитую слезами. Она ответила мне очень ласково, что поняла все, что творится во мне, что очень любит меня, но что ей трудно в настоящее время вникать в этот хаос.

Верино здоровье пошатнулось. Вскоре открылся и новый недуг — туберкулезный процесс в обоих легких, она сильно кашляла и температурила. К физической работе она была неспособна. В монастыре же не полагалось «жить на покое».

Только что вступив в обитель, едва прикоснувшись к монашеской жизни, вся еще «в бурях» — Вера снова вернулась в мир.

И началось ее хождение по мукам.

Она у нас. В воскресенье столовая полна гостями. Обычные гости: Василий Васильевич Андреев, создатель Великорусского оркестра (балалайка), чаще всего приезжавший после концерта, во фраке, в лакированных туфлях, с безупречным пробором на голове и с бородкой-эспаньолкой, весь сжатый, сухой. Под конец вечера он часто рассказывает еврейские анекдоты. Аля говорит, что в его крови должна непременно течь еврейская кровь, так как немыслимо с такой поразительной яркостью передавать мимику, интонацию, жесты. Потом — Тигранов, молодой философ, с рыжеватой миловидной женой. Папа говорит, что он очень умен и талантлив. Тигранов кричит, что Толстой — гениален, а Шекспир — «дурак», и читает вслух за столом «Хаджи-Мурат». Огромного роста Ордынцев, близорукий, с длинным носом и волосами до плеч, он пишет какие-то сказки из древнерусской жизни в декадентском стиле и одевается в боярский костюм, сафьяновые сапоги и шелковые рубахи. Мама говорит, что он «папин поклонник», что у него жена-красавица все от него убегает, и он к папе приходит и плачется.

Милый Евгений Павлович Иванов, — наш «Рыженький», право около которого сидеть за столом мы всячески оспариваем друг у друга — он потихоньку строит какие-то необыкновенные гримасы, и с ним рядом сидеть и весело и уютно; добродушная полная Зинаида Николаевна Барсукова с мужем Владимиром Федоровичем Высоцким; скульптор Шер-

вуд с некрасивой и вялой дочерью; поэт Садовский, бритый, с голым черепом, с черным цилиндром в руках, в белых перчатках. Когда-то Вера нравилась ему, и он в прежние времена имел обыкновение на этих вечерах преподносить ей белые лилии или розы.

Мама сидит в кресле и наблюдает, чтобы все было в порядке, а Домна Васильевна, в шелковой клетчатой кофте, разливает чай, и от волнения у нее шея и лицо в красных пятнах. Я никак не могу решить, красива и умна ли она. Она — черная, очень черная, значит, должна быть умна и красива, и все же я не уверена.

Вера к столу не выходит, и я несу ей чай на подносе.

— Прикрой, Надя, дверь поплотнее.

Я ведь нарочно не прикрыла совсем дверь в комнату, оставила щель, я хочу, чтобы она слышала разговор в столовой.

Я сижу в короткой матроске, с бантом в волосах. Вера против меня за моей партой, в черной рясе, опустив голову на руки, читает «Жития святых». Мое сердце колотится. Я все хочу найти прежнюю Веру.

— Вера, хочешь кого-нибудь видеть?

— Нет, Надя, совсем не хочу никого.

Она продолжает читать, и я снова бегу в столовую. Сейчас идет спор о Распутине. Папа говорит о какой-то огромной, таинственной темной силе в нем, а у нас в гимназии девочки говорят, что это просто грязный мужик и развратник. Я как-то повторила папины слова, и они возмутились, сказали, что я говорю глупости и что интеллигентный человек не может так рассуждать. Я разволновалась и убежала. Надо всегда помнить, что нельзя никогда рассказывать, что папа говорит, всегда из этого неприятности. За столом у нас так интересно, мне везде, где я ни бываю, кажется скучно, когда не говорят на такие интересные темы, так горячо. И все же я сижу как на иголках, меня тянет к Вере.

Она по-прежнему сидит, опустив голову на руки.

— Очень трудно мне дома. Весь этот душ, литературные споры, от которых я не могу укрыться, меня нервируют. Я не хочу ни с кем встречаться, а это так трудно у нас.

— Вера, у нас сегодня Евгений Павлович. Он спрашивал о тебе. Хочешь, я его позову?

— Не надо. Не зови.

— Евгения Павловича? Но он такой хороший, и он, я знаю, ужасно тебя понимает.

Молчит.

— Ну, позови его! — говорит Вера. И я бегу в столовую.

— Вера зовет вас.

На сердце так беспокойно. Я все бегаю то к гостям, то опять к Вере.

— Надя, что я будут делать больная? Ведь в монастыре можно жить только работая. А я потеряла свое здоровье. Матушка такая добрая, все меня утешает, поддерживает, молится за меня. Надя, если бы ты видела, какие там сестры чудные. Многие из них больны, и как они терпеливы. Это ангелы, Надя. Я не могу дождаться, когда снова вернусь в обитель.

А пока я вернусь опять к 1914 году, чреватому для меня не только печальными, но и радостными событиями.

Гимназия

У меня были две жизни, совершенно различные: одна — дома, другая — в гимназии.

Милая моя гимназия! И теперь еще воспоминания о ней согревают мне сердце. Я не могут писать о ней беспристрастно, мне всегда казалось, что ни в одном уголке земного шара не могло существовать такой чудесной гимназии. Правда, я не встречала ни одной из бывших ее учениц, которые бы не отзывались о ней с любовью. Высказывали такое мнение: гимназия не дала твердых знаний, но она научила «восприятию». Я думаю, что в этом высказывании была большая доля правды.

Начальницей ее была Мария Николаевна Стоюнина, жена известного педагога В. Стоюнина, а в прошлом его ученица. Вместе они и основали гимназию. Мария Николаевна хорошо знала Достоевских и была дружна с Анной Григорьевной.

Маленького роста, с лицом, сохранившим следы редкой красоты, с черной кружевной наколкой на седых волосах, вся энергичная, живая, стремительная — она несла неиссякаемый источник жизненных сил.

В годы, когда я училась, ей было свыше 60 лет, но она казалась моложе своей дочери, бесцветной и вялой Людмилы Владимировны, жены профессора Лосского (Вериной классной наставницы).

Рассказывают, что однажды во время полуденного завтрака, когда все учителя по обыкновению сидели за столом в квартире Марии Николаевны и обсуждали какие-то педагогические вопросы, нервный Григорий Михайлович Григорьев — учитель физики, еще сравнительно молодой (лет 45) — вдруг прервал общую беседу: «Вот мы все обсуждаем, волнуемся, хлопочем, а подумать только, что самое большое каждому из нас осталось прожить ну 10—15 лет, не больше!»

— Вот глупости! — неожиданно раздался возглас Марии Николаевны, поспешно входящей в комнату. — И эта фраза была произнесена с таким подъемом, волей к жизни, что все учителя восторженно ей зааплодировали. И что же? Не прошло трех-четырех лет, как Григорий Михайлович умер — его оплакивала вся гимназия, так все ученицы любили его, — а Марья Николаевна жива и поныне. После революции она с семьей уехала в Прагу; вместе с внуками своими прослушала курс

Пражского университета и вскоре вновь открыла там гимназию. Сейчас ей 90 лет, и, по слухам, она последние годы ослепла.

Какой талант жизни! Папа перед смертью сказал о ней: «Мария Николаевна — великая, героическая женщина!» Как достойна она этих слов!

По своим политическим взглядам Марья Николаевна была кадеткой, но хранила романтическое отношение к деятелям 60-х годов. Ее мечтой было, чтобы ученицы ее гимназии впоследствии украсили бы себя деятельностью на пользу родной страны.

Марья Николаевна не терпела «казенщины». Не желая вносить в стены своей гимназии хотя бы малейшего отпечатка ее, — ввела для своих питомцев особую форму — голубые закрытые передники, вместо обычных коричневых платьев и черных передников, установленных министерством.

Нашу гимназию подчас осуждали за отсутствие в ней строгой дисциплины и чересчур вольнолюбивый дух, царивший в ее стенах. Но мне думается, что эта ее отличительная черта носила в себе много хорошего. Нам, детям, так легко дышалось, как будто мы находились в стенах родного дома и к своим учителям относились доверчиво и любовно, без всякой боязни.

Правда, Мария Николаевна с большим талантом подбирала педагогический состав. В нашей гимназии учились свыше четырехсот человек, целый муравейник, и, однако, к каждому ученику был особый подход. Сколько индивидуальностей. И ни одна из них не была подавлена!

Были у нас прекрасно оборудованные физические кабинеты, где мы занимались опытами по физике, химии и естествознанию с талантливыми руководителями (Герд, Ягодовский, Григорьев), которые всячески поощряли учеников, если замечали в них живой интерес к естественному строению мира; организовывались кружки, устраивались вечера, на которых читали доклады на самые разнообразные темы. Как мы любили эти уютные и содержательные вечера!

В гимназии наблюдалось два течения: одно исходило от В. А. Герда — естественника, другое — от В. В. Гиппиуса — литературоведа, человека с религиозно-мистическим уклоном. Марья Николаевна, будучи очень религиозна, благоговела перед Гиппиусом и даже несколько трепетала перед ним, но, опираясь одной рукой на него, она другой рукой держалась за Герда. Думаю, нам все это служило на пользу, — каждый из нас свободно избирал тот путь, который был свойствен его душе.

Многих учителей я вспоминаю с чувством нежности и глубокой признательности. Но, кажется, ни о ком из детства у меня не сохранилось таких теплых воспоминаний, как об учительнице русского языка Ольге Николаевне Тиблен. Я стала заниматься у нее после того, как осталась на

второй год в одном и том же классе после своего заболевания корью. Она вела нас до пятого класса, а затем ее сменил В. В. Гиппиус. И я помню, как всем нам грустно было расставаться с ней и в душе мы чувствовали смущение. Будто, оставляя нас, она говорила тем самым: «Вы уже выросли, и я не способна вам дать того, что вы можете требовать, и передам другому, более мудрому и талантливому учителю». Маленькая, худенькая, всегда в одном и том же черном шерстяном платье, с грустными глазами и бесконечно доброй улыбкой. Будучи ребенком, она упала и повредила себе нос, так что на кончике его образовалась какая-то забавная нашлепка, и вообще все ее лицо по чертам было совсем не красиво и, однако, оно казалось прекрасным от того внутреннего света, которым вся она светилась.

У нее было больное горло, и она никогда не могла перекричать нас, и мы, видя, как ей трудно говорить, с такой энергией принимались успокаивать друг друга, что поднимали еще больший шум, а она только укоризненно качала головой, указывая на свое больное горло.

Я очень любила писать сочинения, особенно на волнующую тему, где давался простор для фантазии. Любила писать в классе, на перемене, среди невообразимого шума и беготни, которые, сливаясь в общий гул, служили прекрасным аккомпанементом моему вдохновению.

Бедная Ольга Николаевна! Я, право, за <...> ее сочинениями! Задано было сочинение на тему «Кориолан» Шекспира. Девочки, чтобы поскорее отделаться от урока, принесли по четыре-пять страничек, я же написала 22 страницы и подала Ольге Николаевне. Она не приняла и велела сократить. Нас было сорок человек в классе, и если бы каждая ученица писала по 22 страницы, то ей бы пришлось читать более восьмисот страниц. При всей ее терпеливости это было свыше ее сил. Я взяла домой переделать и принесла... 35 страниц! Я сама не ожидала, так получилось. Ольга Николаевна была в отчаянии. Отдавать еще было бессмысленно, я бы принесла шестьдесят. Она взяла. Конечно, она не читала. Она всегда протестовала против моей словесной безудержности — требовала лаконичности.

Я обожала Спарту, но никак нее могла усвоить одну из главных ее добродетелей.

Апофеоз своей фантазии и попросту словесной безудержности я продемонстрировала той же Ольге Николаевне. Разбирали «Моцарта и Сальери», и после урока девочки, толпясь около кафедры, кричали, что «есть такие темы», на которые ничего-ничего не придумаешь. Тогда я с задором сказала, что мне достаточно одного намека, и я напишу целое сочинение. Со мной заспорили, и я крикнула: «Давайте на пари! Я напишу об Изольде целое сочинение!» К следующему уроку я принесла школьную тетрадь, всю до конца исписанную. Пари было выиграно.

Но боже, что это была за чепуха! Половину тетради занимало описание наружности этой дамы, состоящее, по крайней мере, из двухсот эпитетов — остальное посвящалось их роману. Тетрадь переходила из рук в руки, и все, даже Ольга Николаевна, обессиленная моей фантазией, — от души смеялись.

Она никогда не кричала на нас, не бранила. Но никогда у нас не возникало желанья подшутить или досадить ей. Другое дело была наша классная дама — Эмма Васильевна. Она была чрезвычайно полна, с правильным, но совершенно не выразительным лицом и пустыми светлыми выпуклыми глазами. Она всячески стремилась привлечь нас к себе, войти к нам в доверие, употребляя для этого всевозможные средства, но мы не чувствовали за этим живого отношения и любви к нам и противились ей (большинство). Кроме того, для достижения какой-нибудь цели она не гнушалась ложью, и все эти мелкие уловки, которые мы отлично видели, — отталкивали нас от нее. Изводить ее было одно удовольствие.

По окончании третьего класса, весной мы поехали всем классом на экскурсию в местечко... Как я уже говорила, начиная с третьего класса, у нас каждый год проводились экскурсии, причем с каждым следующим классом они делались продолжительнее. С началом войны они прекратились, так что мне не пришлось поездить.

Мы поехали на два дня, т. е. с ночевкой. Герд (естественник) хотел наглядно показать нам систему трехполья. Но, конечно, не трехпольная система интересовала нас, а предстоящая первая ночевка всем классом вместе! Какие планы! Мы набрали в дорогу множество сластей, но Эмма Васильевна потребовала, чтобы мы все отдали ей с тем, чтобы она разумно распределила их между всеми детьми. Никто бы из нас не был обделен, но мы вовсе не собирались устраивать организованный чай и все потихоньку припрятали от нее. Отдав дань науке, мы расположились в небольшой даче, где для нас уже приготовлены были сенники, туго набитые соломой. Эмма Васильевна легла в смежной комнате, а Герд — в соседнем флигеле. Какое пиршество мы устроили! Какие великолепные акробатские и балетные номера демонстрировали мы друг перед другом! Взбешенная Эмма Васильевна, в ночной рубашке, влетела к нам в комнату, но мы одна за другой падали на свои сенники безгласными трупами, и она опять удалялась к себе! И опять шум, возня, хохот. Она совсем потеряла голову и перестала различать звуки, так что, когда на дворе кричали петухи или лаяли собаки, она опять бросалась к нам в комнату. Это еще более веселило нас!

Велено было написать отчет о поездке. Я посвятила трехпольной системе три странички школьной тетради, а наряду с этим написала длинное сочинение под заголовком «Как мы провели ночь на станции». Была устроена маленькая классная вечеринка с чаем, и мы по очереди читали

доклады. Наконец, очередь дошла и до моей «вольной темы». Я не пожалела красок. Лицо Эммы Васильевны из красного перешло в багровое. Среди чтения вошла Мария Николаевна. Но разве можно остановиться, когда двадцать пар глаз выжидающе смотрят тебе в рот! Возмущенная начальница встала и демонстративно вышла из кабинета. А милая Ольга Николаевна? Она только подошла ко мне и, с легкой доброй укоризной покачав головой, несколько раз постучала пальцем по моему лбу, и я едва сдержалась, чтобы не броситься ей на шею. Скажи она раньше слово, и я бы отказалась от своей дерзости.

Только один раз она рассердилась на меня. После урока она делала какие-то замечания по поводу моего сочинения, а я стояла рядом, сверля пальцем кафедру, и повторяла упорно: «А мне нравится. А, по-моему, хорошо!» — Вы чересчур самоуверенны! — сказала она, вспыхнув от досады, и тотчас же отвернулась от меня.

И в душе полное отчаянье: «Теперь уже она никогда больше не станет меня любить!»

Какая она была милая! Сколько я разыскивала ее, и напрасно. Она уехала в Екатеринослав в 1919—1920 году, и вскоре я потеряла ее след. Жива ли она? Может быть, в конце своей одинокой и трудной жизни она с грустью думала, что ее труд с нами прошел даром и память о ней давно исчезла! А я между тем не встречала ни одной из своих соучениц, которая бы не вспомнила ее с нежностью и теплотой. Как бы хотелось встретить ее и сказать ей, как много она дала нам всем и как благодарно мы ее помним.

Совсем другая была учительница географии Екатерина Ивановна Шмидт. Высокая, прямая, с нависшими седыми бровями и какой-то растительностью около подбородка, пропитанная табаком, она славилась своим криком. Не в ее стиле было говорить: «Что вы резвитесь, как козочки?» — «Что ты скачешь, как козел?» — кричала она громовым голосом, немилосердно при этом тряся за плечо. Попробуй «Эмка» тронуть нас пальцем, мы бы подняли крик: «Как вы смеете трогать нас! Безобразие!» и показали бы несуществующие синяки. Но на Екатерину Ивановну никто не обижался. За внешней суровостью мы чувствовали горячее и доброе сердце.

Право, мы ее совсем не боялись.

Младшие классы у нас были расположены в нижних этажах, а старшие выше, так что, передвигаясь по ступенькам знаний, мы одновременно переселились и одним этажом выше.

Мы (старшие) устраивали набеги на малышей и инсценировали «похищение». Меня всегда привлекали два толстых мальчика в матросских костюмчиках и с голыми ногами — внуки начальницы (сейчас профессора за границей). За нами был особый надзор. Это был лакомый кусо-

чек, и я как волчица накидывалась на них. Они подымали рев, и Екатерина Ивановна спешила на выручку. Грозно схватив меня за руку, она тянула меня на расправу к начальнице, которая жила на самом верху, а девочки, вцепившись в меня, повисали грудью. И так раздираемая на части я двигалась за своим карателем. Только опасенье, как бы шествие это не кончилось казнью, заставляло девочек отпустить мою руку. Вначале я еще продолжала смеяться, но чем выше мы поднимались, тем смех мой становился прерывистей. Она шествовала, как грозная Немезида, не поворачивая головы, не говоря ни слова, пока мы не достигали квартиры начальницы. Тут она разражалась бурной тирадой, тряся меня, как негодное дерево, от которого все же надеялась получить добрые плоды, после чего я летела стрелой вниз к дожидавшимся меня девочкам. Но никогда, ни разу она не пожаловалась начальнице.

Если ты отлично знаешь все города, реки, хребты, фауну, флору, и климат, то еще вовсе не значит, что Екатерина Ивановна скажет тебе «Хорошо!» О нет, на ее уроках рядом с картой всегда лежал длинный шест, и вот, когда, встав лицом к классу, ты вонзишь острие его в нужную точку, отчетливо произнося название, то лицо Екатерины Ивановны просияет удовольствием. Но если ты эту точку прикроешь своей спиной, то она с такой силой повернет тебя к классу лицом, что из твоей головы могут выпасть все решительно точки. Но ставить дурные отметки она не любила.

— Ты, Розанова, плохо мне отвечала, и я тебе ставлю «неуспешно»! — грозно кричит она на весь класс.

— Не надо, Екатерина Ивановна! Не ставьте Розановой плохую отметку, она после Рождества вам ответит! — раздается чей-нибудь голос. Это ей только и нужно.

— Ни за что! — кричит Екатерина Ивановна. — Как я ей поставлю «успешно», раз она не знает урока?

— Пожалуйста, Екатерина Ивановна, поставьте ей «успешно»! Обещай, Надя, что ты после Рождества все будешь знать!

— Ну! — грозно обращается она ко мне. — Что ты скажешь? (Она всех называла на «ты».) Будешь ты заниматься на праздниках?

— Буду!

— Будешь? Если я тебе задам Аргентину и Бразилию, ответишь ты мне после праздников?

— Ответит! — кричат девочки. — Мы берем ее на поруки!

— Слышишь? Встань лицом к классу и обещай, что ты хорошо ответишь.

— Обещаю, — лепечу я. (Так страшно, когда класс берет на поруки!)

— Хорошо. Ну смотри ж, я поставлю тебе «успешно».

Но всю свою доброту она выказывала на выпускном экзамене.

Если формулировать мое пребывание в гимназии, оно сводилось к одной цели: не слушать того, что говорит учитель (исключенье — история и литература), добиться, чтобы голос учителя превратился для моего слуха в какой-то неясный гул и не мешал бы мне свободно предаваться своим размышлениям, вернее, мечтательности.

Математику у нас преподавал Сергей Иванович Полькр. Это был маленький сухой старичок, весь пропитанный табачным дымом, в засаленном сюртуке, с болезненным лицом, всегда немного сгорбленный: с усталой старческой походкой. Обычно он приходил на урок опаздывая, и мы весело хором приветствовали его: «Сергей Иваныч, опоздали, а мы вас ждали-ждали-ждали!» Сергей Иванович смущенно улыбался и на ходу кланялся во все стороны. Ученицы любили его, и Сергей Иванович отлично это чувствовал и отвечал тем же. Ко мне он испытывал какую-то непостижимую слабость. Как он впервые убедился в моих несчастных способностях к математике, я не помню, но убеждена, это было так твердо и непоколебимо, что он никогда больше не пытался углубить мои знания. Он никогда не спрашивал меня, а я следовала единственной формальности — перед уроком списывала с чьей-нибудь тетради готовое решенье, не интересуясь, на какое правило следовало подобное решенье. Мой ранец был наполнен стихами, и на уроке я сидела заткнув уши, погруженная в чтение (целая стопа книг Анненского, Блока, Гиппиуса открыто лежала на парте). Сергей Иванович отлично это видел, парта моя была близко от кафедры, но Сергей Иванович делал вид, что ничего не замечает. Случалось, что среди урока мне присылали записку: «Розанова, придумай что-нибудь. Скучно». Задача была почетная, и я с готовностью бралась за нее. Надо было как-нибудь прервать урок.

В то время, как Сергей Иванович с мелом и задачником в руке писал на доске какие-нибудь цифры, я внезапно поднимала руку. Сергей Иванович подозрительно выглядывал из-под очков:

— Розанова, что вы хотите спросить? Чего вы не поняли?

С лицом, покрасневшим от сдерживаемого смеха, я громко на весь класс задавала вопрос: «Сергей Иванович, верите ли вы в бессмертие?» Вопрос был так неожидан, что Сергей Иванович снимал очки: «Розанова, — говорил он с добродушной укоризной, — этот вопрос нужно отложить. Сейчас идет урок алгебры». Но меня уже подхватила волна и понесла за собой. — «Сергей Иванович, одно только слово скажите — верите или нет!» И весь класс в один голос кричал: «Сергей Иванович, скажите, скажите!!»

Лица были такие молящие и, несмотря на явную шалость, так искренне звучали голоса, столько живого интереса слышалось в них, что Сергей Иванович, обессилев, махая руками, чтобы как-нибудь водворить тишину, усаживаясь за кафедру, начинал говорить о бессмертии.

Говоря по правде, его рассуждения не очень интересовали меня, дома говорили гораздо интереснее на подобные темы, и я только краем уха слышала его теории о Мировом Разуме. Общее возбуждение и шум. Звонок прерывал беседу, но и после урока девочки толпились вокруг старичка, закидывая его вопросами, и потом шумной толпой провожали его по лестнице до самой учительской.

Однажды за 15 минут до звонка, спросив целый ряд учениц, он внезапно вызвал меня к доске. Это было так невероятно и неожиданно, что я, растерянно прижимая руки к груди, спросила:

— Сергей Иванович, — меня?

— Ну да, вас, идите!

— Меня?!

— Ну да, да, ступайте к доске!

Он не смотрел на меня, сердитый, уставившийся в задачник. По классу точно волна пробежала. Девочки были в курсе моих познаний.

Первый внезапный испуг вдруг пропал и вместо него какая-то отчаянная решимость овладела мной. Сквозь стенное окно видно было, как оставалось 5—10 минут (до конца урока), надо было, по возможности, оттянуть время. Подойдя к доске, я объявила, что мел такой маленький, что писать невозможно, надо идти за ним в кладовую.

— Ну бегите, бегите скорее!

Вихрем помчалась я по лестнице к кладовой, где лежал в ящике большой кусок мела, и сердце мое кричало в груди в какой-то бурной веселости. Когда я вбежала в класс с куском мела, Сергей Иванович со строгим лицом начал мне диктовать. — «Подождите, Сергей Иванович! — остановила я его. — Нельзя писать, доска грязная. Сейчас я ее вымою». Рукомойник был в конце класса, и, схватив губку, я наполнила ее водой. Началось мытье.

— Готово?

— Нет, нет! — Я мазала мелом и губкой одновременно, так что доска все время оставалась грязной.

— Довольно, Розанова, пишите!

— Невозможно, еще надо мыть!

И опять бегом к рукомойнику. А стрелка часов все двигается. В классе слышался подавленный смех. Теперь около доски образовывались целые потоки мутной воды, и весь мел набух от нее.

— Пишите сейчас же!

— Еще один только раз, видите, доска не смывается.

Я опять бросилась к умывальнику. Сергей Иванович хотел схватить меня за передник, но я вырвалась и побежала. Девочки уже стонали от смеха. Сергей Иванович бежал за мной, по-старчески шлепая своими плоскими ступнями, не сгибая колен, стараясь схватить меня. Тогда

я вскочила на парту и через головы девочек устремилась к умывальнику. Эмма Васильевна, которая присутствовала на уроке, пораженная моей дерзостью, казалось, онемела от гнева — она сидела, откинувшись на стуле, упершись руками в маленький стол, тараща свои светлые рыбьи глаза, не говоря ни слова, задохнувшись от гнева. Кажется, вот-вот с ней должен был случиться удар, таким багровым стало ее лицо. А Сергей Иванович только бежал, махал платком и сквозь кашель твердил: «На место, на место!» Но каждая морщинка на его добром лице дрожала от смеха. Прозвучал звонок.

— Ура! Перемена! — закричала я и спрыгнула на пол.

Старик, задохнувшись от бега, утирал платком голову. Эмма Васильевна, сверкая глазами, вышла за ним из класса, о чем-то негодующе шепча ему на ухо. Девочки окружили меня. Кто-то сказал:

«Знаешь, я слышала, как Эмма Васильевна говорила — Вы недопустимо относитесь к Розановой. Так нельзя! Вы ее выделяете, нельзя поощрять подобные шалости!» Сергей Иванович слушал смущенно.

Больше он никогда уже не вызывал меня. Между нами точно установилось немое соглашение. Два раза в год он ставил мне отметки: в первом полугодии — «Не вполне успешно», и во втором полугодии — «Неуспешно». Или — «Неуспешно и обязательно работать летом». Переэкзаменовки никогда не давал. Он отлично знал, что экзамен мне все равно не выдержать.

Все шло отлично. Он мудро решил, что с четырьмя правилами арифметики я спокойно буду плавать по житейскому морю.

Т. В. Розанова.
Примечания к книге Н. В. Розановой «Из моих воспоминаний»

М. Н. Стоюнина, начальница гимназии, писала мне в 1919 году: «У меня хранится ее (Верино) сочинение, которое она для меня написала, будучи в подготовительном классе (и потихоньку положила на мой письменный стол во время акта), полное фантазии, героических чувств и любви к отцу. Уже тогда было видно, что это за горячее сердце и восторженная головка...»

В 1920 году, когда из Сергиевского Посада я приехала в Петербург на несколько дней навестить своих друзей, Владимир Васильевич Гиппиус, который в старших классах у нас читал литературу, узнав о моем приезде, просил меня прийти к нему.

Владимир Васильевич — писатель и поэт (псевдоним — Бестужев), но главным образом талантливый литературовед и блестящий ора-

тор — был двоюродным братом З. Н. Гиппиус и идейно связан с Мережковским. В годы студенчества он был близок к А. Добролюбову и одно время жил с ним вместе в одной комнате на Пантелеймоновской улице, которую они устроили наподобие гроба, оклеив ее черными обоями. Оба были провозвестниками декадентства.

Гиппиус встретил меня словами (выписка из моего дневника 1920 года):

— Когда я узнал о вашем приезде, я очень захотел вас увидеть, чтобы сказать об одном. Это грех моей жизни, это подлость, которую я сделал в жизни. Я, может быть, недолго проживу, и я хотел бы, чтобы вы это знали. Может быть, вы даже запишите это.

Когда решили Мережковские исключить вашего отца из Религиозно-философского общества, то в их квартире происходили бурные заседания. Я выступал на них. Я говорил, что нельзя из-за политических выходок исключать таких членов, как Розанов. Пусть все, что он говорит, отвратительно, скверно, но его литературное значение от этого не меньше. Он остается как писатель. Я им прямо сказал: «Если бы это сделал Толстой, Соловьев, Достоевский, — исключили бы вы их?» На это Философов сказал, что им необходимо исключить его, как вредного члена, что он мешает им для проведения их идей. Мережковские требовали, чтобы я подписался, но я не соглашался. Когда настал день — я не пошел на собранье и послал записку: «Примыкаю к мнению большинства». В этом была моя подлость. Как мог я это сделать? Но, понимаете, я был страшно связан с Мережковскими. Я ходил к ним не как родственник, а как человек, близкий их идеям. Они играли роковую роль в моей жизни. Я не мог порвать с ними, связь была такая, что, порвав ее, я как бы убил часть своей души. И я выбрал Мережковских. Но, уходя, я сказал: «Я вам этого никогда не прощу». С этого времени я перестал ходить в Религиозно-философское общество, и в корне подорвалось мое отношение к Мережковским.

— Знаете ли вы о существовании в Религиозно-философском обществе ордена масонства? Он был основан Мережковскими. И вот из-за этого они не могли оставить Розанова. Они звали меня вступить в него, ко мне приходил один человек, но я наотрез отказался.

В этот вечер он много говорил о моем отце и своем отношении к нему и о Мережковских. Я тогда все записала в дневник.

— Знаете ли вы, — спросил меня Гиппиус, — что Мережковский творил под влиянием вашего отца? Я расскажу вам следующий факт: я пришел к Мережковским. Дмитрий Сергеевич сидел на диване и читал только что вышедшую «Легенду о Великом инквизиторе». Он был в восторге. И после этого начался целый ряд его статей о Достоевском. Только Аполлон Григорьев мог говорить о Пушкине так, как говорил ваш отец

о Гоголе. Как для Аполлона Григорьева Пушкин был вопросом жизни, так и для вашего отца выяснение Гоголя, суд над ним был его личным вопросом, и оттого это единственная по силе и глубине критика. И потому так хороша и книга Мережковского «Толстой и Достоевский», что она проникнута духом книги вашего отца.

Об «Уединенном» и «Опавших листьях» Мережковский говорил ему, что, читая их, он зачаровывается обаянием его стиля, и только когда начинает рационально мыслить, — начинает и спорить, и ненавидеть.

— Мережковские, — сказал Гиппиус, — всегда играли двойную роль в отношении декадентов. Помните вы его статью в книге «Не мир, но меч», страницы о Добролюбове? Ведь это все неправда. Они даже его *не принимали вначале* (я ведь очень близок был с Добролюбовым), а после в книге своей он называет его «Франциском Ассизским».

Владимир Васильевич рассказал мне характерный анекдот. Когда он женился, то вскоре после этого события пришел к Мережковским. Они встретили его «завываньем» — как мог он это сделать? Как мог он, читая Ницше, вдруг жениться подобно всем смертным? Владимир Васильевич рассердился и ушел. А через несколько дней он сидел на литературном собрании рядом с папой, и папа, нагнувшись к нему, прошептал:

— С законным браком, батенька!

— И так это вышло хорошо! — воскликнул Гиппиус. — Только так и нужно было!

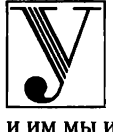
Приложения

ВОСПОМИНАНИЯ В. Д. БУТЯГИНОЙ-РОЗАНОВОЙ

Воспоминание мамы

(Мама рассказывала, а я сидела в отдалении и записывала.)

Флоренский посоветовал мне как-нибудь записать то, что мама говорит, ——— ———— ее язык оч. красивым и изобразительным, и я решила как ниб. записать.



У нас был учитель Петропавловский в Ельце (приготовительного класса) и он заболел. Д-р сказал, что он обкушался блинами. Лечили его плохо, дал он ему плохое лекарство, желчь разлилась, и он умер у нас в доме. Был он у нас нахлебник, и им мы и кормились, без него бы умерли с голоду. Аля его так любила, что когда его, бывало, дразнили, а дразнили его чаще всего [за] кокардой на плече, говоря: «Ему на шляпу будто кто плюнул», — и плакала и набрасывалась на тех, кто дразнил. Папа его любил. Мать моя во время его болезни все за ним ухаживала, а я мало! Веселая была. Но когда он умер, я оч. плакала.

С тех пор В. В. стал бывать у нас. Мать моя после † мужа во всех житейских делах спрашивала совета у о. Амвросия. Я как-то хотела телеграфисткой уже сделаться, выучилась и хотела уже поступить, мать написала о. Амвросию и он не разрешил, сказал: «Пусть живет при матери дома». Как-то мать хотела дом продать, написала батюшке, а он не позволил. А после этим домом мы все и жили, продали бы его — умерли бы от нищеты.

Брат мой стал вдруг пить, тогда он был только учителем. Вот мать моя поехала с ним в Оптину и дорогой думала: «Меня-то батюшка сейчас примет, а Ивана-то нет», а о. Амвросий-то Ивана сразу принял к се-

бе, а мать палкой поколотил и про сына сказал, что он будет у престола за нее молитвенником. Подивилась мать, что про сына пьяницу батюшка так говорит, а потом он сделался священником и всех родных умерших своих поминать стал. Когда В. В. стал бывать у нас в доме, мать написала о. Амвросию, прося разрешить Розанова сделать нахлебником, то о. Амвросий не благословил, сказал, чтобы дочь свою подальше от этого человека держать, а замуж когда захотела ———————— —— мать написала, [о. Амвросий] [запретил матери] и он не благословил. Мать моя этого хотела и духовник ее о. Иоанн тоже хотел этого брака, тихий, добрый он был, мы, дети, его очень любили. Брат же мой, Тихон Дмитр. требовал, чтобы он бросил за мной ухаживать, т. к. жениться все равно Тих. Дмитр. сказал папе, чтобы вызвал жену, а вида не давать, а в это время заставит ее дать ему свободу. Разве папа мог? Он первым делом пошел на базар гвозди купить, чтобы заколотиться от нее.

Он никак не мог устроиться. Мать ему прислугу дала. Она ему рубашку сожгла (на отдушину повесила). Он ее за нос взял и по комнате повел, она прибежала к нам: «Матушка, матушка, я с ним жить не могу, он меня за нос водит».

Утром мы все ходили в Рим, приходили к обеду (я ему холодную воду, но он оч. сердит был), а в 3 часа ночи поднимался и на маленькой бензинке кипятил кипяток, чай заваривал, без этого не мог писать и что видел накануне записывал.

В Риме по Бедекеру стал В. В. нам переводить и быстро так, что я рот разинула, а Тернавцев говорит: «Не слушайте, Вар. Дмит., он все выдумывает, я сам было заслушался».

Отец В. В. лесником был, осматривал леса, простудился и умер от скоротечной чахотки.

Папа ухаживал за мной страшно неуклюже и смешно. У меня бывала подруга Ольга Рязанова, у ней был родственник священник в селе Пально. У ней он останавливался, а я в это время была, он и говорит: «Приезжайте на праздник престольный». Ольга говорит: «Можно подругу прихватить?» — «С удовольствием» и я говорю «с удовольствием». Я говорю, нельзя ли и В. В. прихватить? Я иду на Успенскую улицу и говорю: «Не хотите ли, В. В., ехать?» Я говорю, только на извощике мы впереди, а вы позади, а там соединимся». Поехали за реку Сосну. Он (В. В.) с тросточкой, в белых клетчатых штанах поехал, франт. Мы говорим: «Пересядьте к нам». Ольга очень веселая была. Подъезжаем весело, у попа он остановиться не может. Мы спрашиваем, где остановиться? «На постоя-

лом дворе. Завтра мы вас выручим». Ольга говорит, приходите в церковь и молебен закажите, батюшка вас пригласит». Матушка молодая пришла, мы кушаем, а сами все посмеиваемся. Ночью лежим и думаем. Утром к обедне. Мы матушке говорим, что с нами учитель гимназии приехал, в церкви будет, его познакомили (запись потеряна или прерван был разговор).

Папа все хотел, чтобы я в белом платье была, купил он кашемировое, синеватое, как грязное, я все не хотела, говорю, что неудобно, как матери скажу, это щекотливо. Мама говорит, что это неудобно. Дала лучшей портнихе, Кожуховой. Сшили его, а мать захотела пальто, купили серый драп, я выдумала серую шляпу. Одела я и пошла причащаться у Бутягиных. Стали спрашивать, я сказала. Приехала домой, а В. В. у нас, пришел поздравлять. Он у окна сидел, не узнал.

В платке (платье?) снялась с папой. В нем и замуж выходила. Папа в М. поехал, привез мне крест с голубой эмалью и цепочку и обручальное кольцо и потом 2 ситца на капот — один полосатый, другой желтый; кремовый с разводами по 12 арш. я лучшей портнихе отдала.

В. В. часто квартиру менял. Сначала в доме Рогачевых во флигельке на Успенской улице (в Ельце), потом — перешел против покровки (Покровский?), две комнаты имел, а потом уже к нам, против Введенской церкви. С ним Коля, племянник, жил.

Мать моя, когда отец приходил, а по воскресеньям каждый день, обедать ходил, мать говорит: «Ты здесь сиди, а ты здесь!» Но мать я обманывала и бегала к нему. После обеда мать его меховой шубкой накрывала. С Тихоном В. В. все спорил, а с Мар. Ив. хорош был.

В день свадьбы Алю в Казаки отправили и прислугу Марью-дуру. Мать одна осталась. За 2 дня он к нам с имуществом переехал.

Когда я к В. В. ходила, он меня только черным хлебом угощал и чаем с молоком. А на столе у него бутылка водки стояла и штопор на самом видном месте, а сам никогда не пил. К нему учитель француз пьяница приходил, Морисонка, для него и покупал.

(*Нрзб.*) устраивал, вино покупал, мне фрукты покупал, — уважал его. Тюлевые занавески я купила, повесила. Он обстановку любил, угостить любил. Навоз для топки покупал. Вместо воза — 40 возов на весь дом. Так и отапливал. До меня он за многими ухаживал. Первова жену, гимназистка, ветренная, ухаживала за красивыми и ветренными, за Трави-

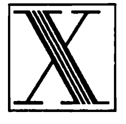
ной женой ухаживал, когда муж у ней умер, все ей пардон с траурными шляпками носил. Когда за мной стал — всех оставил.

Ложки серебряные, мое приданое, мать от Иннокентия (преосвященного) получила в наследство, одеяло шелейное и дюжину ложек серебрянных с ним я замуж выходила. ————————

Сегодня 21-го мая (3 июня) Конст. Вас. Вознесенский, университетский тов. папы, с которым он жил одно время в одной комнате, сказал, что когда папа венчался на первой жене, Сусловой, то шаферами пригласили его и Матф. Кузьмича Любавского. Был среди них Белкин, красивый, Аполлон Бельведерский, он говорит: «Давайте увезем Ваську», — но они не решились, т. к. были приглашены и должны были свою должность исполнить.

Мама говорила Вознесенскому: мать моя детей учила, сама безграмотна была. Приехал Иннокентий, он любил к нам приезжать на лошадях. «Когда, Ал. Андр., дети приходят?» — «Никогда, никогда не приходят», — растерялась она. Иннокентий спросил: «Сколько они тебе платят». — «3 руб. в год», — отвечала она. — «Так пусть они к тебе никогда не приходят, я тебе буду присылать». И присылал. Да он скоро умер.

В. И. Стукачева
ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЬИ РОЗАНОВА


Хочу записать неск. слов, хотя уже поздно, 1 час. ночи. Сейчас возвратилась из семьи Розановых. Прелестно. Дети все разные, есть даже на английский тип с овалом больших голубых глаз, и даже распущенными по пояс светлыми пепельными волосами, подобранными косым пробором с черным бантом. У всех у них красивые пальцы, даже прекрасные: такие длинные, бледные, «аристократические». У всех прелестные девственные рты, и все серьезны.

Старшая дочь, его родная, — вылитый отец: глазами и вообще будто обликом психологическим.

Это не то я хочу сказать, что она «простая» или что она имеет отношение к «Новому Времени», нет, — все это случайно и заработок у него, тут дело не в газете, но я говорю о способности к собранности, т. е. о возможности сосредоточения всего духа на чем-либо серьезном, говорю, может быть, о глубине. Я не знаю насколько она добра, этого я не знаю, но она несомненно умна и суждения ее метки, зрелы и по существу.



Около самовара хозяйничает удивительно самостоятельно, мне бы, кажется, и чашки ни одной не налить, так бы все и пролила, а она замечательно: даже ничего не пролила, и чай по вкусу наливает. В глазах коричневых невольная (для нее, а не для посторонних) тоска, тоска этой юной души по зародившейся, но еще может не отвеченной любви. Это красивое очертание щек (линии их, овал), когда девушка в тоске по любви, и эти юные красные уста, слегка опущенные углы их и как бы не удовлетворенная.

Но уже сквозит во всем и упорство: и крепкое пожатье тонких пальцев указывает на характер. Раза 2 я поймала ее испытующий взгляд на мне: «Откуда ты? И что общего у тебя с отцом? И что тебе надо?» Я это заметила. Но т. к. в гости не навязывалась ничуть, а меня сами позвали, и т. к. мне ничего не надо от него, то я сидела спокойной, с чистой спокойной совестью. Рядом сидела его падчерица, за дочку она у него. Тоже хорошая девушка. Косы удивительные: пепельные и жгутом в косу вокруг головы, и даже к лицу надвинуты. Запрыщавила немножко, но это от отсутствия мужчины, т. е. половой жизни; нет «обмена соков», как говорит «писатель Розанов». Это пройдет сейчас же под поцелуями любви.

Умна. Говорит, что пишет в «Р. Мысли».

И опять пальцы очаровательны, впрочем, я пристрастна к рукам и волнуюсь при их красивости. Еще одна — попроще и с моментального взгляда (Варя), но всмотревшись в косу тоже пепельную и, следовательно, тоже красивую, в глаза, в довольно большой нос — чувствуется хорошее и даже может она добрая. Потом еще сидел мальчишка (по возрасту), гимназист 15 лет. Вихрастый, верно, какой был папаша в таком возрасте. Сидел и пыжился. Глаза чуть не выскочили от жару — «горели», губы горят, а сам мальчишка, на меня все смотрел, с первого момента, как только я вошла, — верно, отец чего-н. набрехал... кхе, «меткого», как он сказал бы, а я скажу — лишнего. Я сделала вид, что «не замечаю», что он всю меня ест (по-детскости и неопытности), но когда на него посмотришь, хоть случайно, то он вспыхнет и глаза «в землю», ну уж я не смущала, не смотрела: «пускай кушает [прыщик], что мне, жаль, что ль». Я же была холодна — вот до чего вытравила жизнь проклятая чувства всякие. Ну теперь, сидит сам (да, кстати: дети его все хорошо воспитаны и скромны — это оч. б. приятно видеть). Я же перед ними сидела «цукахой», — с руками на столе, когда пили чай, горбилась. Нет, Петербург дает все-таки лоск, хотя они все очень милы и нет этой современной неестественности.

Мне даже понравилось, что ушли раньше спать, сначала угостив, — это страшно мне понравилось: самостоятельность, я б не могла, хоть неможилось, а сидела бы, безвольность все.

Ну, отец, — В. Розанов. В семье он прелестен и даже сравнить его нельзя с его книгами (в дурных и ненужных местах).

Простой (впрочем, он вообще такой и есть); дети к нему хороши и просты и может быть не врут ему и не выдумывают. А одна (Варя) так и сказала: «Послушаем, что папа говорит о своей молодости».

Это мне очень понравилось. Это показывает, что она ценит отца, дорожит им, против обыкновений детей некоторых 20-го века...

Не знаю: не была ли я фамильярная, или черезчур «проста» в обращении вообще, может это и не понравилось детям: его-то я не боюсь нисколько.

За столом было все хорошо: вкусно и много, не по-ресторанному, и просто необычайно, а между тем «интеллигентно». Ели все, кто хотел, я не смотрела — кто, что и сколько, но жевали и подчищали по-детски, не ломаясь и не жеманясь, как я это делаю.

...Длинно переписывать, не хочется: о ком говорили приблизительно........

У Розанова дети просты и здороваются сразу и приветливо и просто. Ну, ах, и мальчишка, пыжоночок, дурачок, а мне все равно....

. . . .

. . . .

Да, а жена не здорова и лежала, я все-таки вошла на цыпочках, взглянула изголовье больной женщины, завязанной платком: вот и «святая Варя» (я просто Варя), милая, милая: жизнь никого не щадит и за ласку принимаемую надо платить, надо болеть, и страдать.

Как бы их устроить — позвать их к себе.

В. В. РОЗАНОВ В ДНЕВНИКАХ И ПИСЬМАХ СОВРЕМЕННИКОВ

З. Н. Гиппиус

О БЫВШЕМ

(из Дневника 1901–1903 гг.)

1901

З*апишу* историю начиная с нашего, как оно родилось и шло до нынешнего часа.

А нынешний час: полночь, суббота, двадцать восьмое октября тысяча девятьсот первого года.

Последовательно, если возможность будет, стану записывать до конца, *или Дела, или* (события в) моей жизни.

1899

В *октябре* тысяча восемьсот девяносто девятого года, в селе Орлине, когда я была занята писанием разговора о Евангелии, а именно о плоти и крови в этой книге, ко мне пришел неожиданно Дмитрий Сергеевич Мережковский и сказал: «Нет, нужна новая *Церковь*».

Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для нас следующее: Церковь нужна, как лик религии евангельской, христианской, религии Плоти и Крови.

Существующая Церковь не может от строения своего удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких по времени.

После того мы поехали в Петербург. Но медлили говорить с другими.

Однако я сказала Дмитрию Сергеевичу: поговори. Потому что мы собирались уехать на целый год.

Он написал два письма: одно Дмитрию Владимировичу Философову, а другое Василию Васильевичу Розанову, без определенных объяснений, а лишь с намеками.

И было у нас два разговора: один с Дмитрием Владимировичем Философовым, а другой с Василием Васильевичем Розановым.

Оба они мысль о Церкви приняли к сердцу, хотя и не одинаково, а каждый сообразно своему существу. Розанов все потерял, кроме жизни, искал, но не знал, хочет ли принять Христа.

Философов ничего не имел, *искал* и хотел бы принять Христа.

На том уехали мы из России, не возвращаясь год и ни с кем больше во весь год не говоря, потому что нам еще смутна была наша мысль, страшна и очень дорога.

1900

Четырнадцатого сентября девятисотого года приехали мы, я и Дмитрий Сергеевич, в Петербург, где нашли дела людей, ищущих веры и недовольных, в прежнем положении, а сочувствие единомышленников — ослабленным и охолодившимся.

Розанов, занятый своими мыслями, усмотрел опасное в тайне, о которой мы просили, и, тайны не признавая, открыл кое-что, по-своему объяснив, жене. И она ему не советовала говорить с нами.

А Философов отдалился от этой мысли, потому что отвык от нее без нас.

Одному же, утопая, нельзя выбраться на берег.

Мы двое, я и Дмитрий Сергеевич, хотя и двое, но во многом как бы один человек; и поскольку нас было двое — мы были сильны, а поскольку стали один — слабы.

И надо нам было третьего, чтобы, соединясь с нами — разделил нас.

Потому я сказала: сговоримся с кем-нибудь одним вперед.

Дмитрий Сергеевич думал сам, как я, и, придя ко мне однажды, сказал, что уже имел разговор с Философовым, который из всех стоял ближе к нам и нашим мыслям.

Но были мы нетерпеливы и самонадеянны и лишь немного выяснившуюся нам мысль сочли ясной совершенно.

И тайна была уже нарушена, а потому решили мы сказать многим, которых считали одних с нами исканий, чтобы вместе прийти к последнему уяснению мысли и ее осуществлению.

Было нас людей, о том сообща говоривших в самом начале, *семеро: мы двое, Философов, Розанов, Перцов, Бенуа и Гиппиус (Владимир)*.

Но вскоре пришли, через тех, еще Нувель, да Баксту было сказано, да раз Дягилев пришел, когда уже все всем по-своему стали говорить и рассказывать.

А Розанов не всегда ходил. И многие уже с трудом приходили, и никто не понимал *друг друга*, и приходили не для одного общего дела, а ради различных побуждений.

И так случилось, что мы двое как бы с одной стороны стояли, а те все — против нас, и никто уже о деле не помнил.

Сошлись мы однажды у Перцова, в этот раз были: мы двое, Перцов, Розанов, Дягилев, Философов и Гиппиус.

Говорили о символах, о Евангелии, и было нехорошо, потому что никто никого не понимал и все боялись. Дмитрий Сергеевич говорил искренно, но не надо было тогда так говорить, и всем было нехорошо.

После того долго не собирались. А потом *мало-помалу* стали собираться у нас опять, но уже боялись говорить о действиях, и даже Евангелия вместе не хотели читать, а так, разговаривали и отвлеченно спорили, и было нехорошо и неприятно, потому что спорили о подробностях, скрывая от себя, что мы в Главном не согласились, в том, о чем спорить нельзя.

Сходились тогда: мы двое, Бенуа, Нувель, Философов, Гиппиус и Перцов.

Розанов больше не приходил. Да в нем и словесно даже была другая вера.

И Философов чаще не приходил. А между тем с ним одним мы в Главном были согласны, и даже не в одном Главном.

Но было так: внутренне различные были *внешне связаны*: Философов, Нувель, Бенуа; а внутренно связанные: мы двое и Философов — были внешне разделены.

Внешняя связь жизни тяжело переступила для недавно проснувшейся души. Благо, когда нет сразу этого разлада. У нас не было, а Философову сразу это было дано. Я поняла, какие тут силы нужны даже не для полной победы.

Так и шло. А когда на споры приходил Философов, было еще хуже. У него — этот разрез, разлад, и у них — какая-то странная борьба, закрытая, с нами за него. Но *о Деле* никто как бы не помнил.

Сознания того, что происходит, ни у кого не было. Но боль была у всех. *Главное, — нерешенное,* — лежало между нами.

Перцов думал о себе.

Гиппиус — не знаю, только не *о Деле.*

Бенуа — о своих эстетических болях, о семье и о Философове.

Нувель — не о себе, но о своей влюбленности в Философова (но я тогда не знала).

Розанов — о семье, о поле, и Божескую боль хотел утолить кумиром.

И все были правы, искали Бога, были жалки и не могли найти.

И в нас двоих — лежала слабость, только *о Деле* мы больше помнили. Пусть хоть потому, что *Оно* было *наше* прежде всего. *Наш путь был легче.*

«Нерешенной» загадкой пола все были отравлены. И многие хотели Бога для оправданья пола.

И Философов хотел *и* для оправданья. Но сам не знал, что не только для этого.

Дмитрий Сергеевич не для оправданья, но тоже был отравлен этой входящей, — *не главной* — мыслью.

Я не знала, но чувствовала ее не главность; но знала, что они теперь не поймут.

Христос — решенная загадка пола. Через влюбленность в Него — свята и ясна влюбленность в человека, в мир, в людей.

Свою душу надо слушать.

Так шло — и мне стало нехорошо, точно мы умираем.

Сил мало — надо собрать их в одно.

Философов — первый, кто подошел к нам; единственный — который близок. Один — кто может помочь. И хотя страшно было подумать и почти дерзко надеяться, что у него хватит сил на то признание внутренней связи важнее внешней, через которое он должен был переступить, — я ему написала, что хочу говорить с ним.

А Дмитрию Сергеевичу я ничего не сказала, потому что все равно знаю его и недуманные еще мысли.

Когда я еще ничего не говорила, Философов сказал: «А было бы не то, если б мы сначала *остались втроем*».

То, что он это сам сказал, а не согласился со мною, когда я бы стала то же говорить, — было мне радостно — до счастья.

Мы хорошо говорили вместе — и почти стало явно, всем троим, что мы — в *Главном согласны, все трое.*

Но потом, когда первые шаги были уже как бы решены и собрания наши для нас перестали быть главными, случилось, что один из бывавших с нами заметил это и сказал, что ему больно. Это был Нувель, и хотя я ничего не знала, но не чувствовала его мне близким; пусть, думала я, вина на мне, но я и для себя ищу, а с ним — не найду. А чтобы дать ему — ничего еще не имею.

Тогда он, Нувель, пришел ко мне и сказал: «А может быть, вы не Бога ищете, а Философова, потому что у вас к нему личное влечение».

Говорю об этом, потому что это важно, потому что он меня смутил, и я остановилась, и со мной в то время и Дмитрий Сергеевич остановился.

Испугавшись — я стала глядеть внутрь себя, но ничего не могла увидеть, потому что влюбленность в Христа, как большой свет, заслоняла все в душе и я не знала, что там. Но как раньше я никогда в себе этого не видела, то и осмелилась не бояться. Я же думаю, что пол — через Бога, а не Бог через пол.

Но оба они, и Дмитрий Сергеевич, и Философов, еще *думали*, что без пола нельзя подходить к Богу, а потому я решила, что пусть они, если боятся бесполого Круга, — надеются, что есть пол хоть во мне, влечение к одному из Круга. Пусть не знают, но надеются.

Еще Нувель сказал мне: «Если бы Философов наверно узнал, что вы в него не влюблены, — он потерял бы всякий интерес и к вам, и ко всему делу».

Пусть вина на мне, что я поверила. Но смотрела вперед, прямо, и только одного хотела, чтобы мы все трое соединились, связались *Главным*. А правду потом все не через меня, а через Него поймут.

И вот теперь я подхожу к бывшему между нами тремя, и очень трудно писать, *потому что не знаю как*, и потому что не знаю еще, было ли это нам в оправдание, в исцеление — или в суд и осуждение. Но либо одно — либо другое. Потому что это великая тяжесть, только не знаем мы, на левой или на правой чашке весов она лежит. *Каждый из нас отвечает за двух остальных, а потому еще страшнее.*

Одно мне явно: если боимся, если не приложим к этой тяжести еще и еще — значит, не верим — а значит, и не хотим, чтобы она оказалась лежащей на правой чашке; а если победим страх перед Сыном любовью — и с левой переложится на правую, ибо отдадим себя Ему вместе с грехом нашим, а в Нем — нет греха.

Было это в Великий Четверг, двадцать девятого марта тысяча девятьсот первого года — 1901.

1901

Пишу в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое декабря, тысяча девятьсот первого года.

О том, что было в Великий Четверг.

Постом Дмитрий Сергеевич заболел, но выздоровел. А после я заболела и не выздоровела, но стала выходить, хотя было очень трудно, и страшное что-то, потому что я и слова и звуки слышала, как сквозь густой туман. Но зато внутреннее во мне все сосредоточилось.

И во вторник я пошла купить чашу церковную и прочее. И долго искала, говоря, что в дар и в сельскую церковь. Серебряной или золотой нельзя было купить, потому что дорого. И я купила позолоченную, и все прочее к ней позолоченное. Стоило семнадцать рублей.

И красного атласу, чтобы самой сшить покрывало, и золотой тесьмы для креста. А потом пошла купить свечей восковых для трисвешников, которые раньше были заказаны, и три свечки потоньше, для нас. И еще купила три прямых, острых, серебряных креста с цепочками, нательных, чтобы нам надеть.

Свечи я уж в среду купила, и дождь шел и снег, а я ничего не слышала от болезни, но все ходила. И была у меня мысль, чтобы в среду мы пошли в церковь, исповедались, приобщились утром в четверг в церкви, *перед нашим.*

Для того, чтобы не начинать, как секту, отметением Церкви, а принять и Ее, ту, старую, в Новую, в Нашу. Чтобы не было в сердце: «У нас не так, иначе, а вы — не правы».

И теперь думаю, что так надо было. Именно тогда надо. Но силы у меня не хватило, хотя и как убеждать — я знала. В Дмитрии Сергеевиче я была уверена, что он поймет, если долго говорить, — и сделает. А к Философову, я знала, надо пойти в четыре, пять часов, взять его с собою, не говоря ничего, привести в ту церковь, где ждал бы Дмитрий Сергеевич и шла бы исповедь — и все трое мы тогда сделали бы, что нужно. Философов понял бы, потому что я сделала бы это как власть имеющая, если б сделала. Но я не сделала, потому что я не «власть имеющая», потому что не верила в себя. Сила *одних* мыслей — великая слабость в человеке.

А словами — об этом и совсем нельзя было тогда говорить.

В среду вечером я поехала к доктору, в первый раз, к незнакомому. Его не было дома, меня провели в кабинет. Я легла на диван — и вдруг сразу заснула, точно умерла. Это было в самом деле страшно, из меня будто дух был вынут на пять часов подряд. В два часа меня разбудили, едва-едва, горничная и жена доктора, которого я так и не видела, и совсем с тех пор не видела. Я странно приехала домой — все спали, а я была точно не я и села шить — и шила до утра, до света.

А утром пришел столяр, чтобы сделать угольник к образу, в столовой стояли цветы, которые прислал Философов для вечера, но их было мало, хотя и много.

Я уже не могла идти, и Дмитрий Сергеевич пошел купить просвиры и купил, а потом опять сел за стол, все писал и составлял порядок чтений и действий. Потом опять пошел купить еще цветов. И прислали большое Евангелие от Философова.

Но нельзя мне было не идти, и я пошла, и долго искала виноград, потому что он был не по времени, и нашла. И вино купила сладкое, красное, крепкое, какое в Церкви.

Потом, идя через площадь, встретила Минского, но не могла говорить с ним. А пойдя к маме, взяла сестер, и мы зашли в собор, и стали в притвор.

И ничего не было слышно, только дуло, и свечка колебалась, и солдаты вздыхали. Мы хотели хоть пение услыхать, но за дверью ничего не было слышно. Дождь накрапывал.

Мы совсем почти не обедали и молчали друг с другом. Потом вечер наступил и длинно так шел. Цветы отовсюду пахли.

Я думала, что это совершенно невозможно и что мы с глазу на глаз этого ожидания не выдержим. И вдруг приехал Чигаев, и это было хорошо. Он говорил о цветах, и Дмитрий Сергеевич с ним облегченно говорил, и так было будто ничего, только я молчала, сказав, что больна.

В одиннадцать часов мы опять были одни. Все шло по-своему, и двенадцать мне приготовили постель. И день кончился.

Я так длинно пишу, потому что не смею и не знаю, как начать. Лучше бы, может, вовсе не писать. Но пусть как умею, только пока, а то мелочи забудутся.

Когда было двенадцать часов и больше и я, посмотрев из-под двери, увидела огонь везде потушенным, мы заперли все свои двери. И, затворив занавеси на окнах в средней комнате, вынесли оттуда диван и всю мебель, какую было возможно, кроме стола большого, четырехугольного, и четырех стульев. Три я раньше принесла из столовой, а один был.

Стол отодвинули на середину и накрыли скатертью белой, блестящей, новой, которая не употреблялась ни ранее, ни с тех пор.

И на столе три тресвешника, соль, хлеб и нож, длинный и тонкий, а на скатерти цветы и виноград, и цветы растущие. И виноград и цветы на подсвечниках.

А чашу и вино, и спирт, чтобы согреть его, я оставила в дальней третьей комнате. В первой комнате, на столе под лампадкой лежали наши свечи, с цветами и лентами, как венчальные, и три наших креста.

Когда мы всё кончили, Дмитрий Сергеевич умылся и надел чистое белье, а я, вместо платья, надела белую сорочку, новую, которая не употреблялась ни ранее, ни с тех пор.

И мы думали, что уже поздно, но было только половина первого. Дмитрий Сергеевич пошел к себе и лег, и я легла, и все засыпала внезапными мгновеньями и тотчас же просыпалась.

Впрочем, душа была от ожидания холодна и недвижна. Просыпаясь, я думала, что Философов не придет. Да и невозможно ему прийти. Да и хорошо бы ему не прийти.

Но он пришел, как было условлено. Было двадцать минут второго. В первую комнату, где была я. Я погасила лампу и сказала Дмитрию Сергеевичу, который встал, надел сюртук и тоже пришел в первую комнату.

И все мы были растеряны, испуганы, холодны и стыдились себя, — думаю, что все. Но со всем этим было и что-то другое еще.

Но я и о себе не всё знаю, лучше говорить только верное, то есть только действия — движения и слова.

Мы сели, и Дмитрий Сергеевич сказал: «Спросим себя в последний раз, может быть, лучше не надо». Но ведь уж все равно, если б и почувствовал кто, разве была бы сила уйти?

Кресты наши мы надели друг на друга, в самом начале, чтобы потом сменить их. Просили прощения друг у друга, кланяясь, и целовали руки — в ладонь. И, зажегши свечи, прочли молитву, а потом читали, наклонив свечи, Ветхий завет.

И еще раз спросили себя и друг друга: «Идти ли нам туда?» И опять я хотела сказать: «Нет, я не могу». Но было поздно.

Оставив их – я пошла в третью комнату, согрела вино, приготовила его и, закрыв, вынесла в среднюю комнату на стол.

А когда была одна и грелось вино, не было у меня никаких мыслей и никаких чувств. Об этом я думала.

Вернувшись, сказала: «Пойдемте». Но сняла раньше все кольца, все обязательства прошлого, и все за мною сняли и положили.

А колец у меня семь: и ни одного случайного, все же — символы моих кровных, плотских и духовных связей вне Бога.

Придя в комнату со свечами, мы зажгли каждый от своей по три. И сели так: к востоку, к окнам, стул был пустой. Против него сидел Философов. По левую руку от него сидела я, а по правую Дмитрий Сергеевич.

И прочитав молитву, мы разрезали хлеб и опустили его в закрытую чашу.

Первый раз читали Евангелие: было то место, где сказано: «Кто не возненавидит отца своего, и мать свою...» А я не могла тогда этого примирить в себе, потому что знала себя привязанной любовью извне, и очень сердце болело.

И сказала: «Я не могу этого понимать. Что мне делать? Как же явить ненависть? А если нету ее, как идти и думать о Сыне?»

Тогда Философов сказал: «А разве мы, сойдясь теперь, уже не явили ненависти?..»

И от этого, тогда сказанного, короткого слова я после много поняла, и в тот час мне было от него успокоение и надежды.

И для меня – действительно то слово было истиной; потому что от того дня я взяла последнюю силу над моей любовью, что была извне, и ненависть *стала необходимой, как любовь; — от Любви.*

И в первый раз мы встали, и каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложки. И каждый целовал чашу.

Сев, молились, как умели, и читали из древних, и свои слова говорили, после же другое место читали из Евангелия.

И во второй раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши, и каждый целовал чашу.

Сев, снова молились, читая молитвы и читали откровение святого Иоанна, а потом Тайную Вечерю в Евангелии от Иоанна.

И в третий раз встали, и каждый дал каждому пить из чаши и есть с ложечки, и *последний* выпил все, что было, и каждый целовал чашу.

После третьего раза каждый поцеловал каждого крестообразно: в лоб, в уста и глаза.

И кресты наши мы сняли, смешали и опять надели друг на друга, чтобы и не знать, который чей на ком.



В то время рассвело, но не ясный был день, а мутный, серый, дождливый.

Но все-таки был свет.

А потому мы задули свечи, и прибрали, что могли, вместе, и спрятали. А потом вышли в первую комнату и простились. Философов кольца забыл и вернулся от дверей. А я свои не надела до утра.

Было тогда часов пять утра, или около пяти. Когда он ушел и остались мы двое, я села на стул в первой комнате и сидела молча. Дмитрий Сергеевич тоже сел против меня и говорил слова, по которым я поняла, что он пережил это с той же и важностью, и печалью, как я.

А я сказала: Ничего не совершено, но почти сделан первый шаг на пути, возврата с которого нет, остановка на котором — гибель. И каждый теперь зависит от каждого. И это умножение Я, утроение Я — невыносимый ужас для слабого сердца и для ответственности будущего.

И Дмитрий Сергеевич, посмотрев на меня, испугался, и я подумала, что он часто будет стараться не сознавать этого, пока не сознает окончательно. И я буду стараться не сознавать иногда, чтобы вырваться. Но нельзя, — как нельзя и останавливаться.

Все это я думаю — еще крепче — и теперь.

1901

Пишу на другую ночь, двадцать пятого декабря, того же года.

Они оба счастливее меня и смелее меня, как дети смелы, ибо не знают скорби, пока она не наступила.

Они думали, что уже совершилось нечто для того времени; а это был как первый слог необходимого слова, и еще хуже жажда знать его, ибо когда произнесешь первый слог — знаешь, что оно есть, и не знаешь его. И если медлить со вторым — забудется первый, и опять нет Слова.

Есть радости, начало которых, одно начало, — как скорбь. «Женщина, когда рождает младенца, терпит скорбь; но когда родит — не помнит уже скорби от радости, потому что родился человек в мир». Я не говорю, что должна быть скорбь до последнего совершения; но и *совершение первого шага — как бы рождение.* А у нас не было рождения, потому что не было всего первого шага. А в половине — скорбь и ужас. А если остановка — конец.

Таков был мой страх и моя скорбь. И мое неверие, и неправда, и слабость. Но все равно. Вот как было у нас дальше.

Всё, что я старалась сказать, у меня не сказывалось. И стала я молчать, как молчала о поле, оставив их думать, как им было нужно. И я была одна, а они двое вместе против меня.

Тут жизнь пришла, чтобы научить. Дмитрию Сергеевичу еще раньше писала одна женщина из Москвы. Я отвечала за него, а когда она приеха-

ла — он пошел к ней, и она ему физически понравилась. После Пасхи она опять приехала, влюбленная в него. И вот он свое исключительно физическое, только плотское влечение стал оправдывать мыслями о святости пола и о святой плоти и стал говорить о том, что «она может войти через пол», — а она совсем чужая, простая, как Божья тварь, и неподвижная.

И всё тут смешалось, стало смешным и ужасным, и нельзя уж было понять, где грех.

Мы собирались и говорили только о поле, и Дмитрий Сергеевич все говорил Философову, и только был занят и говорил об этом, думая, что говорит о Главном.

Философов сознанием был с Дмитрием Сергеевичем, а бессознательно как будто нет, но может быть, это «нет» шло у него от эстетики и от брезгливости.

Так и шло, и нельзя было из этого выйти, отойти от пола пока, как я хотела, как, думаю, нужно.

Если нельзя — нужно покориться. Если это теперь стоит между нами, если Дмитрий Сергеевич все-таки имеет силу говорить об этом *о себе* — пусть оно, хотя бы в прошлом, будет не темно между нами. Я дала Философову свою историю, которая записана.

Было при том два моих греха: первый — нельзя делать перед близким то, что он не имеет силы сделать. А я это знала.

Второй: нельзя делать, что делаешь, не до конца. А я сделала дело высокого доверия — с недоверием. Помня о *Главном* и боясь за него — я вспомнила, как они оба, и Дмитрий Сергеевич, и Философов, боятся бесполого Круга, не понимая, что *иной родиться и не мог*. Помня о *Главном*, и боясь за него, и не веря вполне совершению сознания, я вспомнила слова Нувеля: «Если бы Философов узнал наверно, что вы в него не влюблены — он потерял бы всякий интерес и к вам, и к вашему делу», — и я вырезала полстранички из тетради, где как раз *говорилось* о нем и обо всем этом. Может быть, не так, слишком резко, зато было и о его силе, о том, что он сильнее нас, и это я хотела ему дать, но нельзя было иначе вырезать.

Я предвидела, что это вырезанье может быть понято обратно. Но это нужно *Главному* (если) — пусть. А условное личное унижение — что за пустяк. Поскольку это мне неприятно — постольку унижение мне нужно и полезно.

Но если это не нужно, а вредно Главному? А как я знаю? Я не умею и думать об этом. Кажется, вернее, что нужно.

Так я думала. Но тот, кто не доверяет, не дает вперед своему Я — уже неправ. Это мой грех.

И теперь не смогу думать обо всем этом изнутри и решить, почему оно было. Скажу только, что было.

От этих моих двух грехов, после, в Философове родилась ко мне враждебность. Неопределенная, как все нехорошее. А мы уехали в Москву. Там Дмитрий Сергеевич сошелся с этой бедной, влюбленной в него женщиной и чувствовал себя и самодовольно, и трусливо. Я молчала.

Когда мы вернулись, я думала, что все-таки нельзя мне пользоваться тем, что близкие уснули. Лето подходило, когда мы, по условиям *жизни*, должны были разъехаться на полгода. Позор стоял у дверей, а они не слышали и не жалели ни себя, ни меня.

Тогда я позвала Философова и говорила с *ним*. А он говорил о *своей* слабости, не замечая, что эта слабость — вольная и в зависимости от слабости Дмитрия Сергеевича, с которым он сочувственно соединился. Я хотела схватить его за плечи и крикнуть: «Позор! Вы сильнее нас!» — но зачем? Разве он поверит? Быть слабым соблазнительнее. Бросить Философова, Дмитрия Сергеевича, уйти? Этого нельзя мне сделать физически, ибо тогда *всё* обратится в Грех и задавит меня же. Обманывать себя можно, а сделать нельзя. Никогда.

Однако тогда я его во многом убедила. Он на другой день пошел к Дмитрию Сергеевичу и сказал, что мы должны еще сойтись для молитвы два раза. Дмитрий Сергеевич согласился, и боялся, и стыдился Философова. Друг друга они и боялись, и стыдились.

Но тут случилось вот что: Дмитрий Сергеевич захотел опять *ехать* в Москву, на один день, без меня, чтобы проститься с Образцовой, которая уезжала в Крым.

И при этом требовал, чтобы я сказала, что ему нужно ехать, что это хорошо *для Главного* (!!), чтобы сама его отправила.

Я потерялась. Это очень было трудно. Я спросила у Философова, что мне делать. Но ему это, кажется, просто надоело и стало скучно.

А Дмитрий Сергеевич говорил: «Если ты меня отправишь, как я за то буду потом молиться!» Я чувствовала, что бледнею от страха. Но он ребенок иногда.

Он и уехал, а я осталась и прожила три дня в молчании, одиночестве и ужасе близкой *смерти*.

Философов в это время заболел, а когда выздоровел, то стал относиться ко мне с враждебностью, похожей на ненависть. Это было непонятно, но я не могла на этом останавливаться. Надо было еще раз сойтись хотя бы в оправданье прошлого.

К этому я шла, уже почти ничего не думая, просто, тупо спасая себя от немедленного самосъедения.

Когда я опоминалась и взглядывала вокруг — видела странные вещи: Дмитрия Сергеевича, углубленного в нетонкую психологию пола, и Фи-

лософова, говорящего мне: «У меня нет любви к вам, лично к вам, и даже нет желания любви», и мысленно: «Напрасно ты в меня влюблена».

Но мне было не до того, я молчала, да и что бы я могла говорить? И думать нельзя было, ни глядеть пристально, а то стал бы думать, что это «ужас смехотворности маленьких людей, задумавших большое дело».

И накануне нашего отъезда, пятого июня, мы, в час ночи, пришли в квартиру Философова, в Соляном переулке. Он жил один.

Весь день была гроза. У меня волосы точно живые на мне, это всегда очень страшно. Мысли уходят.

Я написала странную молитву, которую принесла и хотела прочесть им раньше. Но Философов не понял, что я хочу, и сказал «не надо». Да я бы и не могла, увидев его недобрые глаза, за которыми я не видела его мыслей.

Я принесла большие красные цветы без запаха. В комнате за столовой стоял в углу столик с белой скатертью, образ и лампадка. Мы сели за стол посередине, где стояли мои цветы.

Сидели мы, как и тогда, в четверг. Я чувствовала ужас и стыд, почти отчаяние оттого, что *они делают это не для себя, а для меня. И что если бы не я, то этого бы не было. И что если это так, то нельзя.*

Ненависть Философова ко мне заметил Дмитрий Сергеевич и сказал: «Да за что вы на нее сердитесь? Помиритесь, поцелуйтесь».

А я уже ничего не замечала; только думала, к чему мы пришли.

Поцелуй — глубокий символ. Я не целую никого. Поцелуй женский в щеку, в воздух, нечестный поцелуй, он кажется мне грехом.

Мы читали Евангелие, а потом встали к образу и прочли заранее написанные молитвы, из молитвослова и наши, всего пять.

И тогда стало лучше немного, и простились мы лучше, чем встретились.

И с Дмитрием Сергеевичем я поцеловалась с миром (мгновенным) в душе, с честным желанием веры ему и в то, что Бог его отпустит.

Философов сказал: «Все-таки ведь вы уходите лучшие, чем пришли?» И это была правда.

И если, с такими душами придя, мы уходим лучшие — какою силой мы пренебрегаем!

Наступило лето. Я жила с одинокими мыслями, потому что Дмитрий Сергеевич был все еще в поле, мы совсем ни о чем с ним не говорили, точно по молчаливому соглашению. О Философове я не хотела ничего думать, а он, как я и предполагала, нам не писал.

Я, впрочем, думала, что враждебность его, как вряд ли понятная ему, уляжется от времени. Это меня нисколько не радовало, а было неприятно. В Главном (везде, где оно) — не Время повелевает мною, а Я — Временем. Времени нет роли.

Теперь должна еще сказать о Нувеле.

Во время весеннего моего метанья я все старалась обманывать, поддерживать себя мыслью, что в крайнем случае *я уйду от них обоих*, от Дмитрия Сергеевича и Философова. (Знала, что обманываю!) Но надо было жить как-нибудь дальше.

И в эти дни я говорила со всеми, искала огня у всех. Говорила с Минским о нем. Говорила с Нувелем, возвращаясь в белую ночь от Розанова. Нувель мне показался страдающим, и что-то искреннее мелькнуло в нем.

Накануне отъезда моего, днем, Нувель был у меня — но тут он мне показался только любопытствующим. Я его никогда не любила. Но знала ли я его?

Он сказал: «Пишите мне, прошу вас. Мы должны узнать друг друга. Вы оттолкнули меня, когда я шел к вам. Вы виноваты». Я сказала: «Да, может быть. Хорошо, я напишу, как вы просите, первая».

В переписке стало все настойчивее выясняться, что у нас главное — не общее; потому что мы писали мимо друг друга.

А особенно ужасны были наши свидания. Их было несколько. Первое в конце июня, потом еще два-три.

Пока можно было скрывать от себя и друг от друга, что мы говорили мимо друг друга, не соединенные ничем, — я скрывала, в слабости.

Я виделась с ним, говоря себе, что для того вижусь, чтоб любить себя и его. А выходило, что я, во время этих свиданий, презираю и себя, и его и ничего сделать нельзя.

Он говорил, а я ничего не говорила, только слушала. И это был мой позор и падение, *потому что* я уже знала, что для нас Главное, — разное; а я слишком слаба для этого человека, я сама нуждаюсь, чтобы мне давали.

Не надо подробностей. Я и сама себя не хочу обличать. А другого прямо не смею.

А кончилось так: на третье, кажется, свиданье у меня не стало сил, и я сказала: «Боюсь, чтобы нам не ошибиться. Не в разное ли мы верим? Не различного ли хотим? И направления у нас одинаковые ли?»

И сказала ему тут в первый раз, — какое у меня отношение к *его* главному, т. е. к Философову.

А говорили мы сначала так: он говорил, что его «призвание» — «спасти» Философова, а я говорила, что у меня другое призвание, и вообще все во мне совсем иначе.

А потом мы уже стали говорить прямее, и тогда выяснилось, и для него, что между нами нет ничего общего.

Последнего слова, однако, с прямотой, словами, не было сказано, т. е. что «нет ничего общего», а сделалось так, что прекратилась переписка после нескольких его злых писем; злость под разными предлогами.

Что мне делать! Я слишком слаба для него. А он не дает мне силы.

О бывшем у нас я не говорила ничего даже тогда, когда он говорил «мне все известно», любопытствуя. Заслуги моей нет, ибо я просто не смогла бы сказать. И так я говорила мало, но я слушала о Нувеле, не противореча от себя, а стараясь стать на его точку зрения, поддакивала на все о нем, *и так больше, чем нужно.*

Говоря, в тот единственный раз, о себе и о Философове *мою* правду — я сказала и мои мысли о поле, как опять не Главном, непременно *не* первом.

Конечно, он не согласился, или не понял, а сказал: «Розанов — наш учитель. Его одного можем мы слушать — и вы должны бы. Берегитесь (если все-таки хотите сохранить Философова для ваших дел) сказать ему то, что мне сказали о себе — к нему. Я его знаю лучше вас».

Но я тогда же подумала, что этого больше не будет. Дмитрий Сергеевич, как ни ужасен иногда, — равен мне; я, как ни бездарна иногда, — равна ему; Философов, как ни тоньше, ни благороднее, ни сильнее меня, — равен мне; я, как ни живее и ни стремительнее Философова, — равна ему.

Уничтожив этот принцип — мы уничтожим и себя, и друг друга, и бывшее между нами.

Потому не буду ни снисходить, ни прощать, ни лгать хотя бы для «благих» целей, а только относиться как к равным, вернее — как к себе.

Нувель считает себя выше меня, а я — себя выше него. И ничего не будет между нами, так же, как если бы я считала себя ниже его и он себя — ниже меня.

Он почти страшен отсутствием понятия о Любви. Жалость ему заменяет любовь. Говорил «я готов полюбить вас» — когда готов был пожалеть. А не находя, за что жалеть, — ушел со злобою. Я все-таки не знала вполне, а то оставила бы по слабости, пусть жалеет — «любить» за «несчастную любовь».

Я говорила ему об этом. Он даже согласился. Потом забыл. Ему все легко и все все равно.

Влюбленность не связана, вне Бога, с любовью.

Так мы разошлись — и даже не очень честно, — до времени.

А у Дмитрия Сергеевича свершала свое течение жизненная комедия пола, безбожная, а потому идущая помимо его воли.

Очень жалко было эту женщину, милую Божью тварь. И она спасется, только каждому свои пути.

Когда уже осень пришла и Дмитрий Сергеевич, я видела, был попрежнему, по-старому, свободен от внешнего налета под-временной жизни (хотя мы упорно о Главном с ним не говорили), — я подумала, что *пора заговорить.*



И первого сентября 1901 г., возвращаясь из лесу, при закате, на широкой песочной горе, сказала:

«*Что* ты думаешь делать эту зиму? Продолжать наши собрания?»

Он не очень решительно посмотрел на меня и неуверенно сказал: «Да, я думаю — продолжать. Собрать их всех и предложить, хотят или не хотят молиться вместе? Там и посмотрим. Да, я думаю...»

Хотела я спросить: «Кому, чему молиться вместе?» Но не спросила, и вообще в тот день ничего не сказала.

А второго, сойдя вниз к завтраку, сказала ему:

«*Последняя мечта наша* — не создание *Храма*, а созданье *Церкви*. Совместная молитва соединяет, а жизнь разъединяет. Символы — не действия. Мы сделали полшага к *нашему* Храму, но не сделали в то же время ни одного движения к *нашей* Церкви, — потому у нас почти и не вышло ничего. Разве не стоял между нами тремя все время страшный и нерешенный вопрос: "А какое отношение все это имеет к моей жизни?"»

Дмитрий Сергеевич сказал: «Да».

А я опять сказала: «Мы теперь не должны и говорить о далеком, очень уж мы беспомощны и ничего почти не сделали. А не думаешь ли ты, что нужно начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону, пошире, и чтобы оно было в *условиях жизни*, чтоб были деньги, чиновники и дамы, явное, — и чтобы *разные люди сошлись*, которые никогда не сходятся, и чтобы...»

Тут Дмитрий Сергеевич вскочил, ударил рукой по столу и закричал: «Верно!» Я была очень счастлива, но мне хотелось договорить:

«...*и чтобы* мы трое, ты, я и Философов, были в этом, соединенные *нашей* связью, которая нерушима, и чтобы мы всех знали, а нас, о нас, никто не знал *до времени*. И внутреннее будет давать движение и силу внешнему, а внешнее — внутреннему».

Договаривать этого и не нужно было, ибо Дмитрий Сергеевич уже сам всё понял.

Мы в тот день ходили в осенний лес и все только об этом одном говорили.

Но и эта мысль, даже эта, была слишком далекой, и хотя много из нее начало осуществляться, но не совсем так и не все. Впрочем, жизнь научит, если не покоряться ей, как щепка покоряется ручью.

Приехав в Петербург восьмого октября, — мы принялись за дело. Сначала говорили со Щербовым. Потом стали другие собираться около — Тернавцев, Розанов, другие.

И определенно мысль наша приняла такую форму: создать открытое, официальное (условия жизни, как входящее) общество людей религии и философии, для свободного обсуждения вопросов Церкви и культуры.

Не буду писать подробно, как это созидалось, с какими суетами, с какой внешней политикой.

Философов был болен, мы его не видели, но у нас была твердая вера в него, уважение к неизбытному прошлому и надежда на скорое пополнение сил, *которые, однако, приходили к концу.*

Когда Дмитрий Сергеевич пошел в первый раз к Философову, я не знала, говорить ли ему? Если он болен — сразу ли поймет *всё!*

А мы однажды видели Философова в сентябре, на полчаса, приехав из Луги.

Мы не позволили себе иметь никакого впечатления от этого свиданья. Что было — то было, а если было — то есть, и так нужно. А что будет — то будет лишь потому, что было бывшее.

От Него и с Ним.

Однако повсюду уже говорили об обществе, а потому надо было сказать Философову изнутри, потому что и общество, и мы от него зависели.

Перед открытием учредители были у Победоносцева, утром, а в тот же день были, вечером, у митрополита Антония. Философов у митрополита не был, потому что еще болен, и были: Розанов, Тернавцев, Мережковский и Миролюбов.

Победоносцев принял их весьма официально. А митрополит Дмитрию Сергеевичу очень понравился и все кругом, и чай, который он разливал, и тихие речи, которые он говорил.

Устроено всё было с немалой помощью Скворцова, чиновника при Победоносцеве, имеющего репутацию миссионера-гонителя и *жаждущего* оправдаться перед «интеллигенцией», а потому чрезвычайно деятельного в деле «сближения Церкви с интеллигенцией».

29 ноября было первое Религиозно-Философское собрание в зале Географического общества.

Это внешнее дело, может быть еще слишком отвлеченное, недостаточно жизненное, ушло вперед от нашего внутреннего дела, а потому, несмотря на внешний успех, оно нетвердо и хаотично.

Внутреннее же дело остановилось из-за болезни Философова. Уже чувствуется влияние присутствия дела внешнего на возможности, перспективы внутреннего, — и наоборот. Но стрелка весов должна стоять прямо, а теперь она колеблется.

Внутреннему делу предстоят такие трудности, что страшно и думать, но они вот, при дверях. И каждый день времени — тут как год.

Писать о них нельзя, ибо я пишу только о *Бывшем.*

28 января 1902

«Мне отмщение, и Аз воздам»

Пишу двадцать восьмого января тысяча девятьсот второго о том, что было с нами после этой записи.

Осенью (1901) Философов, все больной, написал, что хочет видеть нас еженедельно без посторонних, и таким днем была назначена среда, и в среду вечером он к нам приходил.

Говорили мы о внутреннем деле, о его необходимости, и во всем были согласны. Я стала работать над молитвами, беря их из церковного чина и вводя наше.

И потом все вместе читали и обсуждали, и остановились на службе вечерней, которую составили и обсудили.

Каждый раз многое изменяли и дополняли, и не нравилось мне, что я делаю больше них, а они лишь принимают и вставляют.

Но многое и сообща было найдено и создано.

На первом Собрании Религиозно-Философского Общества Философов был, но очень удивил меня. Собрание было таково, как и могло, и следовало ему быть, а он точно остался недоволен.

Я написала письмо, анонимное, Скворцову, о котором знал Философов, и даже сам приписал post-scriptum, и письмо это было нужно, и Скворцов его на заседании прочел, что тоже было и нужно, и хорошо, а Философов сказал мне: «Никогда не испытывал такой муки». Смешно?

Потом мы долго не видались, а я написала ему: «Вы должны прочитать на следующем заседании реферат, который мы вместе напишем».

Он ответил: «Я безусловно против чтения рефератов, не буду писать. Приду тогда-то».

Пришел он днем, а вечером мы уезжали в Москву. И был между нами разговор.

То есть Философов стал вдруг говорить, что у него свои дела и огорчения, что в «Мире Искусства» все против него, а что он считает себя с ними больше связанным, а нам он не равен, а только игрушка в наших руках, и все такое.

Я молчала, потому что слов не находила. А Дмитрий Сергеевич говорил с ним, напомнил ему бывшее и то, как мы в нем нуждаемся теперь, и что можем все трое от него погибнуть.

Где кровь заметалась, то куда ни двинься прочь, кто ни двинься — через кровь переступишь.

И так мы говорили, пока Философов вдруг не встал и, со словами: «Кончим, пожалуйста, этот тяжелый разговор», — не подошел к Дмитрию Сергеевичу и не поцеловал его, прибавив: «Простите меня».

Потом подошел ко мне с тем же словом, я молча наклонила голову.

Но он взял за руку и сказал: «Нет, встаньте, посмотрите на меня, поцелуйте меня и в самом деле простите».

Всем нам сразу после того стало легче, а была раньше мука до слез.

Дмитрий Сергеевич ушел гулять, а мы с Философовым сидели еще до обеда и говорили обо всем.

Было это пятого декабря 1901, накануне Николина дня, соборный колокол гудел, и Даша зажгла мою лампадку.

А вечером мы уехали в Москву.

На прощанье я опять говорила Философову о реферате.

Из Москвы мы писали ему письмо — о том месте Евангелия: «Кто любит отца, или мать, или жену более Меня — недостоин Меня». И еще: «Если рука твоя соблазняет тебя...»

Великие эти слова — о ненависти. И страшные.

Когда мы приехали из Москвы — в тот же день я получила от Философова написанный реферат и записку, где он писал, что опять болен и рад, что мы вернулись.

Через несколько дней мы были у него, и я читала ему его переписанный мною реферат.

Он сказал: «А у меня к вам просьба; вот корректура статьи Бенуа, ответ мне. Я хотел бы возразить, один я не сумею, помогите мне».

Дмитрий Сергеевич сказал: «Конечно, мы все вместе это сделаем».

На вопрос о моем московском письме Философов сказал, без всякого раздражения: «Бог с ним... я его боюсь».

С рефератом были у нас кое-какие письменные недоразумения, он изменял, чуть-чуть, переписанное мною, я восстановляла, но это пустяки.

Реферат прочел Тернавцев на заседании, потому что Философов совсем опять разболелся, жил у Дягилева и не выходил.

1902

Пишу вечером четвертого марта того же года, продолжение предыдущего.

После второго заседания Философов был у нас однажды днем, и на среду, второго января, назначена была у нас общая молитва, вечерняя служба, которую Философов с нашей переписал в свою тетрадь.

Мы решили сшить одежды не белые, а красные, потому что белых еще не были достойны (сказано: «Побеждающему дам белые одежды»), форма их — эпитрахиль до полу.

Философов настаивал на белом бархатном кресте спереди, что и было принято.

Числа двадцать третьего я начала шить эти одежды из красного шелка, все, как было условлено.



К первому января они были готовы. За день не хватило белого шнура для обшивки третьей одежды, и я ездила за шнуром.

1902

Первого января 1902 днем пришел Философов, и сидел в комнате Дмитрия Сергеевича, и списывал в свою книжку поправки Дмитрия Сергеевича и разные изменения.

Потом мы пошли в другую комнату, пили чай и говорили, Философов был немного молчалив, но он был болен.

И Философов спросил, готовы ли одежды, и просил меня их показать. Я встала, но в эту минуту позвонили.

И пришел Скворцов, во фраке, и стали говорить о реферате Дмитрия Сергеевича, на Собрании 3-го января. Он должен был читать о «Святой Плоти», но я не советовала, ему тоже не хотелось.

Об этом рано было говорить.

И Скворцов предложил читать другую часть, а именно «Об отлучении Толстого», на что мы все сейчас же согласились.

Потом Скворцов ушел, и Философов опять сказал: «Покажите одежды».

Я вынула его эпитрахиль. Через голову нельзя было надевать, если сшить — отверстие слишком широко, а потому там была белая петля и красная, горящая пуговица.

Эти горящие пуговицы очень нравились Дмитрию Сергеевичу, и он сказал, что хорошо их надеть на голову, на узкой красной ленте, и накануне примерял и радовался.

Философов встал и надел на себя свою эпитрахиль, стоял прямо, а я стала на колени, на ковер, чтобы видеть, до полу ли одежда.

Она ему была длинна, но он сказал: «Ничего, это лучше, будешь помнить, чтобы не запнуться».

Дмитрий Сергеевич сказал ему о пуговице, и я взяла ленту с нею, и повязала ему на лоб.

Так мы на этом решили, и должен он был прийти завтра в половине одиннадцатого, на том ушел.

Я купила большой плоский бокал, стеклянную чашу для вина, а вино у нас было приготовлено, белое, и еще другое, игристое, — шампанское.

2 января 1902 г.

Дмитрий Сергеевич второго числа целый день ходил, купил цветов, и масла душистого, и кисточку с крестом, и пять хлебов.

Ритуал был у нас с Дмитрием Сергеевичем переписан у каждого в одинаковую красную тетрадку.

Сначала Дмитрий Сергеевич купил хлебы слишком маленькие, потом пошел опять и купил пять больших, круглых.

В десять часов я сказала, что так как «может быть, придет Дмитрий Владимирович, то чай надо подать ко мне».

Мы хотели чай и самовар прикрыть, и тогда к нам бы не вошли. А что Философов у нас будет — лучше было сказать.

И когда все было принесено и ушли, Дмитрий Сергеевич вынул и развязал наши тресвешники, они были мутные, потускневшие, и чем-то закапанные, я стала чистить, и что-то отлетело и попало в глаз.

Свечи вынули и вставили, потом вынули свечи поменьше, три, с цветами и лентами.

Цветы с весны засохли, и я стала развязывать ленты, сидя у огня, и к каждой свече привязала по три свежих цветка, два красных и один белый.

Дмитрий Сергеевич ходил и все прибирал и устраивал, вынул ту скатерть, весеннюю, ни разу не употребленную с тех пор, положил ее вдвое на круглый стол, а на стол поставил свечи.

Когда я уже последний цветок привязывала, Дмитрий Сергеевич сказал:

«Вот, он пришел».

Звонка я не слыхала.

И Дмитрий Сергеевич быстро пошел в переднюю, а я осталась.

Он тотчас же воротился и сказал: «Возьми, возьми, вот письмо от него. Не придет».

Надорвал конверт — и отдал мне. «Читай, я не могу».

Я прочитала письмо вслух.

Письмо было такое: «Благодарю вас, друзья мои, что вы мне указали пути. К вам сегодня не приду. Не кляните меня и верьте, что я все-таки вас душевно люблю».

Мы молчали, а потом я сказала: «Пойди к нему».

Дмитрий Сергеевич сказал: «Постой... постой. Надо понять. Надо подумать. Что-нибудь случилось».

Я встала и стала переносить чайный прибор в столовую, одну вещь за другою.

Дмитрий Сергеевич ходил за мной, взад и вперед. Потом сказал: «Я пойду».

Оделся и пошел, а я все переносила чашки и самовар, а когда все перенесла, вынула свечи и связала, спрятала скатерть, но подсвечников не могла одна увязать.

Дмитрий Сергеевич тотчас же воротился и сказал: «Меня не приняли. Он спит. Это неправда. Он сам принес письмо. Что нам делать?»

Я сказала: «Вот, давай увяжем подсвечники». И мы их с трудом увязали и спрятали.

Потом я отвязала цветы от свечей и бросила в огонь. Они тотчас же почернели и сгорели.

Дмитрий Сергеевич сказал: «А хлебы? Их надо тоже сжечь. Будут ли гореть?»

Он принес хлебы, и я, сидя у камина, ломала их на куски и бросала в огонь.

Хлеб был мягкий, свежий. Но не чернел, горя, а весь кусок занимался тихим, синим пламенем и распадался в пепел.

Но горел долго, и когда все пять сгорели, было уже поздно.

Дмитрий Сергеевич говорил: «Это я виноват, не бойся. Я мало сил тратил на это дело, не все сделал, что мог. Мы мало дали, — и вот, все у нас отнялось. Не бойся».

Мы тихо, шепотом, говорили с ним, а потом он ушел к себе.

Я долго была одна, а потом опять он пришел, уже раздетый, и принес Новый Завет, и сказал:

«Вот, я открыл, посмотри, какие слова».

Было это из посланий Павла: «Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать...»

Потом опять говорили мы тихо, и он ушел.

Утром третьего января Дмитрий Сергеевич пошел к Философову в библиотеку. И вернувшись, сказал мне:

«Он обещал прийти сегодня днем и поговорить с нами. Я сказал, что почему он сразу не скажет, что же случилось, и что об этом нельзя писем писать, и что не уверен, точно ли он придет, лучше подожду его, но он ответил, что ждать нельзя, что он придет наверно, а сказать, говорит, он должен перед нами двумя».

В пять часов от него пришла записка, из редакции Дягилева:

«Дмитрий Сергеевич, я все еще нахожусь в состоянии колебания, и пока я в этом состоянии — прошу вас оставить меня в *полном* покое».

Мы помолчали, а потом Дмитрий Сергеевич сказал: «Я пойду к дверям редакции и буду его там сторожить. Я не понимаю. Я не верю».

И пошел. Перед обедом вернулся, ничего не сказал, лег.

У него очень голова болела, а вечером надо было читать.

Если бы не его реферат был, — мы б в Собрание не поехали. Нельзя было ехать.

Он вперед ехал, а я после поехала.

Расписываясь в книге — я вдруг увидела, рядом с дягилевской, подпись: Д. Философов.

Мы никак не могли думать, что он поедет в Собрание. Все было непонятно, темно до корня.

Войдя, я села у дверей и не двигалась. Дмитрий Сергеевич читал вяло, насилуя голос. Было много народу.

В перерыве кто-то мне сказал: «Какое лицо у Философова! Краше в гроб кладут».

Соловьева прибавила: «Точно из "Песни торжествующей любви" — Тургенева».

В перерыве же я столкнулась с ним во второй комнате. Мы молча подали друг другу руки, и я отошла.

С ним был Дягилев и другие из «Мира Искусства».

Я, отойдя, сказала Дмитрию Сергеевичу: «Он здесь, ты можешь поговорить с ним, если захочешь».

Дмитрий Сергеевич ответил: «Я не сказал тебе, я видел его в редакции, и он сказал, что дня через три-четыре сам придет, непременно, и тогда поговорим».

Я ответила: «Ну, этого не будет. Он не придет. И уедет за границу».

А были раньше слухи, что он поедет за границу лечиться, но он отрицал.

Дмитрий Сергеевич на слова мои возразил: «Я спрашивал его, и он сказал: "Я *не* уезжаю"».

В этот вечер в Собрании я потеряла из кольца большой бриллиант.

Пятница прошла, и ничего, — в ожидании нам (известного заранее) приговора.

Дмитрий Сергеевич писал письмо за письмом и рвал. Я ничего не писала.

В субботу утром привезли из корпуса к нам племянника Дмитрия Сергеевича, маленького кадетика (отец Дмитрия Сергеевича просил взять на 1 день).

Он был хороший мальчик и все бегал да играл в солдатики. И мы с ним должны были играть в солдатики.

Вечером у нас был народ, молодые профессора Академии, Розанов, Минский.

Розанов сказал: «Бедный Философов! Сегодня узнал, что он сильно болен и его увозят за границу».

Потом вечер прошел, и все ушли.

Дмитрий Сергеевич сказал: «Я не пошлю ему этого письма. Он действительно болен. И это у него тоже от болезни, иначе нельзя объяснить. Он не сознает, что он делает».

Я взяла письмо и спрятала. И сказала: «А завтра еще надо будет последнее от него перенести. Какое унижение — не нас, а...»

Дмитрий Сергеевич сказал: «Молчи, не надо. Тут была кровь — и будет кровь. Ведь ему от этого можно уйти — только в смерть».

Я ответила: «Свое можно простить, а не наше — не нам прощать».

На другой день, в воскресенье, я опять играла с Борей целый день в солдатики. А к обеду должны были прийти отец и брат.

Мы играли с Борей в столовой. Ему было ужасно весело. Когда позвонили, я прошла к себе.

Это был Дмитрий Сергеевич. Он протянул мне распечатанное письмо: «Посмотри. Это невероятно. Ты была права».

В письме стояло: «По зрелым рассуждениям я должен написать следующее. Я выхожу из нашего союза не потому, что не верю в дело, а потому, что я *лично* не могу в этом союзе участвовать».

Далее еще несколько таких слов с повторением и подчеркиванием, что он верит в *общее* «дело», но все-таки, благодаря каким-то *личным* соображениям, принужден его разрушить.

Боря поселился со своими солдатиками ко мне, а потом сейчас же пришел отец и, кажется, брат (или не брат?), и было шумно.

Потом, после обеда (это было шестого, в Крещение) Борю увезли в корпус. И я не очень хорошо помню, что было потом.

Только вечером поздно Дмитрий Сергеевич сказал мне: «Знаешь, это что-то столь невероятное, что мне кажется, будто я сошел с ума. Я пойду к Дягилеву».

Я удивилась: «К Дягилеву?»

Дмитрий Сергеевич сказал: «Ну да, я по крайней мере буду знать, Дягилев ли тут причиной или нет. Что бы он мне ни говорил — по тому, как он будет говорить, — я это узнаю».

И утром он пошел, и вернулся, когда я еще лежала в постели.

Дягилев, по словам Дмитрия Сергеевича, — очень удивился и как будто ничего не знал, и даже обиделся, что не знал. Конечно, Дмитрий Сергеевич ничего ему не объяснил, а только сказал, что Философов без причины с нами поссорился, не на личной почве, и уклоняется даже от разговора.

Дягилев будто бы сказал, что, по его мнению, это все от болезни. «Он безумно испугался своей болезни».

Я вспомнила, что Философов несколько дней тому назад — ну, может быть, недели полторы — писал: «Я не боюсь болезни, я тут не мнителен...».

Испугался болезни? Как? Богооскорбление, Богоубийство — как лекарство от болезни? Мы не очень поняли.

Затем Дягилев сказал, что он в ужасном «настроении» и что лучше его теперь не тревожить, что через три дня он уезжает, а что он, Дягилев, ему ничего не скажет даже об этом разговоре.

На том и разошлись они.

Дмитрий Сергеевич сказал: «Я уже столько унижений вытерпел, что могу терпеть и дальше. Я виноват, виновата и ты. Я до такой степени ни-

чего не понимаю, что готов предположить и то, что виновата тетрадь, которую ты дала читать ему вслух. Не понимаю, как виновата — но все возможно в этой слепоте».

Может быть, и тетрадь. Может быть, и болезнь. Может быть, и он. Может быть, мы. Как мы не знали, так и до сих пор не знаем. Глухая петля.

Личное оскорбление — лучше; там можно простить. А здесь нет права простить. И жалость — человеческая — к оскорбляющему. Того, Кого нельзя оскорблять.

Может быть, первые, те, оставшиеся ученики Его — сквозь боль, ужас и негодование — жалели Иуду.

Дмитрий Сергеевич сказал: «В первый раз в жизни я так ясно и близко увидел — Зло. И такое именно, какого боялся: тупое, слепое, грубое и грузное. Страшное не ужасом, а отвратительностью и глухим бессмыслием».

И прибавил: «Я неверно сказал о личном унижении. Какие тут нам могут быть унижения! И пускай будут».

Я согласилась с ним, так думала и раньше. Унижений и для меня нет.

Но пока он болен — оставим его. Подождем. А потом... Простить ведь нет права.

Дмитрий Сергеевич все-таки решил еще написать ему, и было написано два письма, одно Дмитрием Сергеевичем (переписано мною), другое нами обоими.

Первое, в понедельник, — довольно сдержанно говорило о том, что мы не верим ничему личному, способному разрушить общее, и был вопрос: «Неужели уедете, не простившись с нами?»

Во вторник на это письмо была строчка ответа: «Не зайдете ли ко мне днем в пятницу?»

Мы знали, что он выходит, Дмитрий Сергеевич видел его на извозчике, знали, что в пятницу вечером он уезжает. Днем в пятницу он звал нас, чтобы избежать свидания — по крайней мере наедине.

Так мы ему и написали, опять сдержанно и сердечно.

Ответ через два дня: «В пятницу я уезжаю. Еду лечиться и ни на какие разговоры не способен. Шлю вам мой привет, надеюсь встретиться с вами окрепшим. Преданный вам...»

Ему отмщение — и Он воздаст. И если Он захочет, и укажет, — мы будем орудием.

29 марта 1902

Пишу двадцать девятого марта, в годовщину Бывшего. Тьма внешняя с нами. На небе сегодня встанет заря ясная, ибо небо чисто, но на земле, где мы, темно. Его воля во всем.

29 марта 1903

Пишу двадцать девятого марта тысячу девятьсот третьего года, *во вторую* годовщину Бывшего.

С тех пор случилось вот что.

Философов приехал из-за границы прошлой (02) весной на шестой или пятой неделе поста.

За время его отсутствия мы часто бывали у его матери, которая *сама* все время нас приглашала, и писала письма, и была в Собраниях.

Философову это не нравилось. Но это неважно.

Дмитрий Сергеевич по приезде пошел к нему в библиотеку. Он сказал: «Теперь я здоров. Теперь я могу говорить». И пришел днем.

Пополневший, тщательно одетый, в ярком свете весеннего дня, и очень холодный и грубый.

Повторял все то же, с прибавлением: «Мне скучно. Это неинтересно».

Позвонили. Случайно приехала его мать. Она — добрая, экспансивная, немножко глупая, либерально-суетливая старая женщина, слезливая. Мне ее всегда нежно-жалко. А Философов с ней неуловимо нехорош.

Так это вышло. Она посидела и уехала. А он остался и опять мертвенно и безнадежно страшно.

Так и расстались. «Знакомство» как будто сохранилось.

В четверг на Страстной, было это тринадцатого апреля, я написала с вечера Дмитрию Сергеевичу письмо (со среды), что надо нам *двоим* молиться, как будто еще нас трое, а так этого дня пропустить нельзя.

Он понял. Было тепло и ясно. Я приготовила немного цветов, просвиру и белого шипучего вина. Мы хотели только молиться вместе и читать Евангелие.

Вечером нас неожиданно позвала мать Философова. Он и не знал.

Пошли. Я отнесла одну из трех приготовленных красных лилий — ей, в его, третьего, дом.

У Философова было темное, злое лицо. А Дягилев был грубоват. Около часу мы ушли.

А в два часа мы приготовились, как могли, я оделась, мы постлали скатерть (ту) в средней комнате, поставили чашу (ту) пустую, прикрытую.

Вино же пилось из стеклянной чаши, простой, ели хлеб, и вино было не красное.

Стул Философова был оставлен, пустой.

Мы молились по вечерне и читали, и были минуты незабываемой радости, чистой, как светлое вино.

Радости — и надежды.

Мы молились, как умели, и о нашем третьем, который ушел.

Заутреню мы были в Академической церкви, на хорах.

И не хватало света и радости даже в это радостное богослужение, в светлый праздник.

Но страшна и прекрасна была церковь потом, опустевшая, запертая, — из верхних окон.

Клубы неподвижного сизого дыма, красный отсвет костров, бледные очи весенней зари.

Так это кончилось. А Философов совсем не пошел к заутрене. Оделся — и вдруг остался дома, один. Мать его говорила потом.

Мы виделись изредка. Собрания наши шли живо, интересно, и уже из них стала возникать новая идея — идея журнала.

Но мне было ясно, что Собрания — внутренно кончены, потому что нет внутреннего круга.

Мы узнали много новых людей, узнавали все больше, из кого состоит Церковь Православная, которая, как тогда еще казалось нам, нуждается в движении, в приятии нового, в изменениях, ибо в ней не отвечающая нашей душе косность.

Постом Дмитрий Сергеевич читал у митрополита Антония последнюю часть Гоголя, где это говорится. Читал против моего совета, ибо уже ясно было, что учащая Церковь не поймет нас, только обидим ее.

Так и случилось. Я тоже была на чтении у Антония.

Священник Альбов представил свой реферат о преобразовании Церкви (очень скромный и наивный). Антоний запретил его даже и читать в Собрании.

Вот из кого состоит ныне православная учащая Церковь: из верующих слепо, по-древнему, по-детскому, с детской, подлинной святостью: отец Иоанн Кронштадтский. Ему мы, наши запросы, наша жизнь, *наша* вера — непонятны, ненужны и кажутся проклятыми. Из равнодушных и тупых иерархов-чиновников. Из полулиберальных индифферентистов, милых: Антоний. Из добрых и тихих полубуддистов: отец Сергий. Из диких и злых аскетов мысли. Из форменных позитивистов, мелочных, самолюбивых и грубых: отец Соллертинский. Из позитивистов-нравственников с честолюбием жестких: отец Гр. Петров. Попадаются такие блестящие, интересные схоластики умом и нутром — как архиерей Антонин, притом, конечно, совершенные еретики, не верующие в подлинность исторического бытия Христа.

Этот архиерей Антонин, ныне епископ Нарвский (недавно), летом даже сходил с ума. Теперь поправился.

Профессора Духовной академии — почти сплошь позитивисты, иногда карьеристы, а есть и с молодыми, студенческими душами; но и они мало понимают, ибо глубоко, по воспитанию, некультурны.

Так вот из кого состоит в данный момент истории Православная Церковь.

Говорю теперь *зная*, имея опыт. И веруя в ее подлинность, истинность невидимой Церкви.

Но не веруя, что она есть последняя, окончательная, все уже в себя включившая Церковь.

Ибо ведь недаром она, видимая, из людей состоящая, такова. Отстранив всех, лишь по внешности в ней находящихся, — получила *одного* отца Иоанна и к нему приближающихся.

Все ли человеческое разумение, все ли ответы на нашу боль и муки, всего ли Христа *уже* включает в себя святость отца Иоанна?

Увы, увы! Как отсечь нам *наше разумение* любви, нашу жажду святости разуменной молитвы — о жизни, о мысли, о всем человеке, во всем его теперешнем существе.

«Буду молиться сердцем — буду молиться и умом...» — сказал апостол. А отец Иоанн, вся Церковь — не учат нас молиться и умом.

Но возвращаюсь. Мы видались изредка с Философовым. Когда мы уезжали — за Волгу — он даже провожал нас. Когда вернулись (в июле), он пришел первый.

Мы говорили о внешнем. В последний день я неожиданно встретила его с Дмитрием Сергеевичем на Караванной. Мы проводили его до библиотеки. И тогда вдруг заговорили и рассказали ему о нашей молитве вдвоем, в четверг. Он молчал. Потом сказал: «Вы все-таки не покидайте меня».

Летом стал осуществляться журнал. Странно, какое безумие! Точно не мы сами делали. Без денег, безо всего...

Осенью опять мы иногда видались с Философовым. Он бывал у нас, говорили о журнале, внешнем, — а когда о внутреннем, он молчал.

Какое у него страшное, мертвенное, покойницкое молчание.

Осенью, в одну тяжелую минуту, я написала ему: «Вернитесь к нам!»

Какие сухие слова в ответ! Потом пришел. Я была одна. Мы кое-как говорили. Уходя, сказал: «...но если бы я вернулся — то уже навсегда».

Еще был разговор с юрьевским священником, Егоровым. Этот священник сам предлагал новую Церковь, Иоанновскую.

Но Дмитрий Сергеевич и не верил ему, и Карташов (профессор Духовной академии, странный, юный культурностью, полуживой человек, полупонимающий, задерганный воспитанием, тянущийся к культуре, ее не постигающий и — до конца не верующий) был против него.

Говорили мы пятеро. Философову тоже не понравился священник.

Уходя, Философов сказал мне в дверях: «А вы верите в Карташова?» Я сказала: «Не знаю; ведь он...» Философов сказал: «Да, может быть, он все это принимает только из полубессознательного желания быть во

всем с вами. Ведь он влюблен». Я: «Он очень чистый человек». Философов: «Да, знаю. Но тут все смешано в сознании. Вот и я многое... потому что дорожу дружбой вас обоих. А насколько у него сильнее, если он влюблен. Я — и то все боюсь, что вы меня бросите...»

Я сказала, что это надо выяснить.

Пошли журнальные дела. Собрания очень выродились, да ведь для нас они больше не нужны. И журнал — последний толчок, по инерции, все от того же *Бывшего.*

Со всеми друзьями Философова, благодаря журналу и их отношению к нему (не хотели соединиться, обиделись), — мы разошлись. Они отошли. И там пошли нелады. С Дягилевым многие поссорились. Философов приник к Дягилеву. И был с нами все мертвее. Все страшнее. В молчании.

Последний раз я видела его в самом начале марта, на большом вечере «Нового Пути». Он сидел в другой комнате. Дмитрий Сергеевич был болен. И ни разу с тех пор не зашел к нам, и не написал, и не приходил туда, где мы. И все это глухо, страшно.

Двадцать шестого марта Дмитрий Сергеевич был в редакции «Мира Искусства». Говорил с Дягилевым, а Философов почти не говорил с ним.

А сегодня вечером, 29 марта, он уехал с Дягилевым на два месяца в Италию. Видел его еще Минский, и с ним, когда он говорил о нас, о Собрании, Философов был груб.

Двадцать шестого я получила письмо от Карташова, где он говорит, что не может более причащаться в Церкви, и умоляет меня и Дмитрия Сергеевича совершить с ним в Великий Четверг вечерю любви, *не* Евхаристию, а лишь помолиться вместе, т. е. то, что мы делали вдвоем прошлый год.

Карташов ни о чем Бывшем не знает.

Мы послали это письмо Философову с приписками, что он убил нашего действенного Бога, сделал нас слабыми и жалкими. Что он в последнее время преступил даже *человеческие* пределы с нами, но связь не порвана, тщетно. Просила письмо вернуть.

Сегодня получила его назад.

Некоторые слова моей приписки подчеркнуты синим, и вся моя отчеркнута с замечанием «Декадентство!». Приписка Дмитрия Сергеевича оставлена без внимания.

До этого, до такой грубой ненависти у него еще не доходило. В отношениях последнего времени — мы еще никогда не были.

Вот что осталось от Бывшего. Вот куда привело. Боже мой, дай нам сознание греха!

Неужели так и останемся мы во тьме? О, я виновата! Философов слаб, а когда Дмитрий Сергеевич сказал: «Я буду с вами, как со слабым,

буду вам приказывать, это мой крест...», я воспротивилась... Я хотела опять равного... Вижу, виновата... Господи, прости меня! Дай мне опять света... Так тяжело.

Пишу в Великий Четверг того же года, третьего апреля.

1903

Я что-то глубокое поняла. Поняла правду и милость Божью. И почему Философов должен был уйти. Так — хорошо.

Господи, призри на любовь мою! Дай света, чтобы видеть волю Твою! Склоняю голову. Отдаюсь Твоей любви. Аминь.

1903

Страстная суббота, 5 апреля, того же года.

Сегодня светская (синодальная) власть запретила Религиозно-Философские собрания, вопреки доброй воле митрополита Антония. Повод — донос Меньшикова и мелкая пресса.

<...>

ИЗ ДНЕВНИКА С. П. КАБЛУКОВА

18 февраля 1909 г. Вчера в № 38 «Русского Слова» напечатана прекрасная статья В. В. Р<озанова> «Анн. Павл. Философова». Особенно хороша в ней характеристика моего доброго знакомого, Виктора Петровича Протейкинского, человека замечательных душевных качеств и весьма самобытного, оригинального в лучшем смысле этого слова (Л. 21).

22 февраля. Сегодня днем я был у В. В. Розанова. Он отдал мне для печатания в ж. «Н. Вр.» «Итальянские впечатления». Шрифты и бумагу я выберу по образцу «Любовь сильнее смерти» М-ского (изд. «Скорпиона»). Кроме этого я взял у него старинный (XVII в.) требник с выписками из «Чин... иноках», чтобы сделать перевод для «Темных лучей» на русский язык, статью «Родительство и церковь» не пропущенную в печать ред. «Н. Вр.» и еще две статьи «Афродита и Гермес» и «Судебное недоразумение в Берлине» – о книге А. Фореля «Половой вопрос» и о «Процессе Эйленбурга». Последние две предложил «Весам» и затем «Золотому Руну». Случайно зашел разговор о м<инистре> вн<утренних> д<ел> П. Столыпине. Розанов охарактеризовал его как добродушного, простого и неглупого русского дворянина, помещика серьезного, с большой силой воли и совсем не жестокого. Я напомнил ему о «столыпинском галстуке». Вот ответ Розанова почти буквально. «Его брат, А. А. С-н говорил мне, что П. А. давно хотел отменить усиленные охраны, военно-полевые суды и казни, но Николай II-ой не позволит этого, он мстит России за перенесенные унижения во время Р<усско>-я<понской> войны и за октябрьские дни 1905 года. А Николай II, – продолжал Розанов, – есть мелкая, мстительная и низкая душонка, человек очень жестокий, хотя производящий самое чарующее впечатление на всех, кто с ним имел дело. Подобного лицемерного и лживого государя не было в России со времени Александра I-го. Он совершенно не имеет

ума государственного и в делах государственных есть как бы пустое место. С. Ю. Витте он ненавидит, а Витте его очень боится (признание С. Ю. Витте А. С. Суворину)».

Конечно, Розанов хвалил А. С. Суворина и подарил мне текст адреса Суворину от сотрудников «Нового Времени», Розановым написанный. Р. утверждает, что С-н (А. С.) много левее и порядочнее своей газеты и говорит, что у него имеются письма А. С. Суворина, в коих тот ругает некоторые статьи в газете «непечатными словами». Будто только старость мешает ему отнестись к курсу газеты внимательнее. К общественным недостаткам С-на Р-в относит его взгляды на евреев и на университетский вопрос. Р-в прямо говорит, несмотря на это, я люблю и уважаю Ал-сея Сер-ча, ибо он из корысти не менял взгляды, тогда как А. А. Суворин из отчаянного юдо-, финно-, украйно-, польско- и т. д. «фоба» вдруг превращался в «фила» (Л. 22—25).

3 марта. Вчера вечером мною сданы в печать «Итальянские впечатления» В. В. Розанова. Бумага «верже» желтоватая, шрифт и формат, как у книги Д. С. Мережковского «Любовь сильнее смерти» изд. «Скорпиона» (Л. 62).

5 марта. В статье Вас. Варварина (В. В. Розанова) в № 52 «Русского Слова» (5 марта — «У гроба о. Иоанна Кронштадского») сказано: «...на всенощной в самом конце ее поют... "Свете тихий, святые славы"» и пр. Это очень хорошо! Очевидно, для В. В. Розанова вечерня и «всенощная» одно и то же... (Л. 78)

7 марта. На вчерашнем собрании у Вяч. Ив. Иванова присутствовали: председательствовавший Д. В. Философов, В. В. Розанов, С. А. Алексеев, Вяч. Ив. Иванов и С. П. Каблуков... По предложению комиссии, Совет общества созывает закрытое заседание действительных членов об-ва в четверг 12-го марта в $8^1/_2$ ч. веч. на кварт. Вяч. Иванова по следующей программе: 1) Выбор новых действительных членов Об-ва С. П. Каблукова и Д. Вл. Знаменского...

После заседания присутствующие обменялись мнениями о В. В. Розанове как о гениальном противнике христианства (Л. 79—81).

15 марта. Сегодня же Варв. Дм. Розанова сообщает, что В. Вас. желает напечатать «Ит. вп.» в количестве 2400 экземпляров (Л. 107).

22 марта. В «Новом Времени» напечатано письмо В. В. Розанову еп. Вологодского Никона, по поводу откр. письма Р-ва Никону по во-

просу о праздниках. Должен признаться, что в этом письме Никона очень много верного (Л. 122).

26 марта. Вчера вечером, около 7 ч. был у меня В. В. Розанов, желавший видеть корректуру своей книги и принесший еще две статьи для нее, но не застал меня дома... Упомянутые статьи носят заглавия «Возможный "гегемон" Европы» и «Дрезденская Мадонна». Вторая вполне уместна в «Итальянских впечатлениях», а первую, по-моему, печатать в этой книге совсем не место. Это я и написал Розанову в письме от 26 марта, вместе с объяснением причин моего отсутствия из дома 25-го вечером (Л. 154).

27 марта. В мартовской кн. ж. «Весы» напечатаны статьи В. В. Розанова «Судебное недоразумение в Берлине» под заглавием «Нечто из тумана "образов" и "подобий"», мною для него взятым и с моими сокращениями — того, что в ней говорилось о Вильгельме II, которого я считаю пошлейшим, хулиганнейшим и гнуснейшим из императоров (Л. 155).

30 марта. «В «Нов. Вр.» Розанов в неподписанной передовице говорит о тайне «Умершего и воскресшего Бога» — статья плохая. Он же в «Русском Слове» дал куда более интересную статью «Между скорбью и радостью», где говорит об утопичности самой мысли о возможности белого христианства, осью «которого была бы не Голгофа, а Вифлеем и чудо радости дарующего Воскресенья» (Л. 165).

1 апреля. Сегодня я был у Вас. Вас. Розанова и взял у него для чтения статьи 1) «Отчего падает христианство» — доклад, прочитанный весною 1907 г. в СПб. Р. Ф. Об-ве... Затем взяты мною статьи «Дрезд. Мадонна», «Религия Кальвина», «Капище Молоха», «По католической Германии», «Гегемон Европы» для напечатания в виде прибавления к «Итальянским впечатлениям». В. В. был нездоров, посему я избегал разговоров на «серьезные темы» (из боязни утомить его) (Л. 170).

12 апреля. Сегодня я получил письмо от художника Льва Самойловича Бакста, приглашающего меня завтра для переговоров об обложке «Итальянских впечатлений». Одобряя выбранную мною виньетку, он советует набрать слова «В. Розанов. Итальянские впечатления» шрифтом 30-х годов, обещая даже нарисовать заглавие в случае, если такого шрифта нет в типогр. Суворина (Л. 156).

13 апреля. Сегодня я был у Л. С. Бакста, обещавшего завтра прислать рисунок обложки для «Итальянских впечатлений» (Л. 157).

16 апреля. Вчерашнее заседание Христианской секции, собравшее чуть не более 50-ти человек, прошло очень интересно... Д. С. Мережковский правильно сказал, что Розанов лукав и хочет разрушить дело христианства в России. Это было на сегодняшнем собрании: при этих словах Вас. Вас. Розанов хитро улыбался (Л. 18).

24 апреля. Сегодня вечером я получил сброшюрированную в оригинальной обложке книгу В. В. Розанова «Итальянские впечатления», которая поступит на днях в продажу в кн. маг. Ив. Ив. Митюрникова по цене 1 р. 50 к. (так назначено мною ввиду того, что печатание 2400 ех. книги обошлось около 900 рублей) с уступкой М<итюрникову> 35%.

27 апреля. В. В. Розанов уехал на Гоголевские торжества в Москву. Сегодня в «Нов. Времени» напечатана его статья против Д. С. Мережковского («Мережковский против "Вех"». — *В. С.*) — против его выступления с критикой «Вех» на РФО (Л. 45).

3 мая. Повестка РФО о засед<ании> 3 мая: Доклады 1) В. В. Розанов. О радости всепрощения (Прочтет Карташев). 2) В. И. Иванов. Евангельский смысл слова Земля (Л. 72).

12 мая. Вчера вечером, вернувшись от Д. Вл. Знаменского, я нашел у себя на столе присланный Розановым экз. «Итальянских впечатлений» с такою странною надписью: « Преданному и самоотверженному оруженосцу, — но не Санчо Пансо, Сергею Платоновичу Каблукову "рыцарь печального образа". В. Розанов» (Л. 113).

Июнь, 10. Сегодня получено письмо от В. В. Розанова, живущего по соседству (Тюрсево, дер. Люпенке), приглашающего меня в воскресенье или утром или в пять часов пополудни (Л. 172).

16 июня. В воскресенье был у Вас. Вас. Розанова, живущего в Тюрсево, в 11-ти верстах от меня. Он очень мил и трогательно забавен в своей неприспособленности к «хозяйству» жизни. Рассеян безмерно, ибо постоянно углубляется умом и мыслью в занимающие его вопросы, действительно значительные и интересные, но зато он подлинно глубокомыслен в высшем и лучшем значении этого слова. Рассеянность эта проявилась на днях в таком случае: поехал он в Пр-г на ночь, а с утра следующего дня занялся посещением знакомых дам, побывал у сестры А. В. Карташева, где познакомился еще с двумя девицами и зашел к Марии Адамовне Тернавцевой. После «трудового» дня приходил в редакцию, где и встречают его вопросом: «В. В.! Почему это вы сегодня без галстука?!» Это его смутило, рассказывая мне этот случай, он сказал, что

женщины очень коварны, и что М. А. Т. должна была сказать ему, что он позабыл надеть галстук, и дать галстук мужа. Но она промолчала, хотя, конечно, заметила... Иной раз ему случается попасть в поезда, не доходящие до Териок... Оставаясь в Петербурге, он почти голодает, питаясь яйцами, так как не может есть в ресторане, — противно и невкусно. В поезде и в трамваях делает попытки заговорить с попутчиками, но тщетно, ибо его замечания встречаются холодным молчанием глупых (о, да!) пассажиров. Но все это ничего не значит по сравнению с следующим неанекдотом: он написан и едва не напечатан в «Н. Вр.», трогательный и сочувственный некролог живого человека. Дело в том, что недавно скончалась в Луге мать Вл. Сол-ва Поликсена Владимировна Соловьева, имеющая дочь того же имени, по отчеству Сергеевну, незамужнюю и известную в литературном мире поэтессу, пишущую под псевд. «Allegro». Р-в узнал от жены Репина, что умерла Поликсена Соловьева, и не разузнав точно, какая именно, написал прекрасный некролог Соловьевой-Allegro и сдал в печать. При чтении корректуры в редакции обратили внимание, что некролог говорит о П. С. С. Недоразумение выяснилось и статье не дали хода. Но В. В. мало смущен этим и хочет даже послать текст некролога мнимоумершей поэтессе, которая, я думаю, прочла бы его не без удовольствия. Один оттиск он подарил мне и таковой найдется у меня среди других статей Розанова.

Он ничего не читает, ибо думает, что знает все, что может дать и сказать наша цивилизация. Обещая М. Гершензону отзыв о книге Волынского «Ф. М. Достоевский» и не хочет ее читать, жена Репина (Нордштрем Р.(?)) посвятила ему свою книгу «Крест материнства», из нее он прочел лишь первые 50 стр., да и то после того, как автор спрашивал отзыв. Теперь он занят мыслями об издательстве своих статей, конечно, при моей помощи. Мы решили выкупить «Темные лучи», допечатать их, это — во 1). Затем издадим «Книгу афоризмов» и «Корни русского сектантства» — сборник статей о русских сектах. Для «Весов» он пишет статью о Гоголе, для чего ему понадобилось «Στρώματα» Кирилла Ал., а напечатанную статью «Афродита и Гермес» («Весы». Май с. г.) хочет послать ректору Петерб. академии еп. Феофану, ибо там упоминается о значении тетраграммы имени Божия, а Феофан — специалист этого вопроса.

Мы много беседовали о Гр. Петрове. Наконец, и В. В. пришел к выводу, что сей мученик — сущий пустоцвет, самый обыкновенный либеральный поп, не чувствующий и не понимающий вовсе ни мистики, ни метафизики христианства, а годный, да и то «с грехом пополам», быть дамским проповедником «разбавленного христианства в 60%». «Его и сравнивать с Михаилом нельзя», — сказал В. В. и отметил безмерное славолюбие Петрова и муки его от сознания падающей популярности.

Еще В. В. жаловался на притеснение редакции «Н. Вр.», требующей от него коротеньких статей, вроде тех, как пишет Вл. Азов и др., разбивающей даваемые им большие статьи и не позволяющей писать фельетоны. Это утешает Вас. Вас. и утомляет его и раздражает нервы (Л. 9–15).

26 июня. Я был у Вас. Вас. Розанова, где и ночевал с 23 на 24 июня. Темой нашего разговора были «Елевсинские таинства». Р-в думает, что на этих мистериях предавались содомии, лесбосской любви, кровосмешению и др. половым «аномалиям». Интересно также его объяснение нектара и амвросии греческих мифов как половых выделений мужских и женских «genitalia». Сравн. «спермин» пр. Пеля, жидкость Броун-Секара — как «эликсиры молодости». Красоту монашества он видит в «духовной» содомии, крайне редко принимающей формы мужеложества. Указывает на «Федра» и «Пир» Платона как на идеологию содомии. Среди его знакомых он знает один случай кровосмешения (отца и дочери) из высшего петерб. об-ва, несколько случаев садизма и содомии, последнее у Чайковского, Леонтьева и ? (жив, почему Р-в не хочет говорить фамилии). Вл. Соловьева он также связывает с некоторыми половыми аномалиями, на основании одного письма.

Его статья о Гоголе, первая половина которой уже отправлена в «Весы» имеет в виду «Страшную месть», темою которой является также кровосмешение (Л. 29).

12 июля. В «Нов. Вр.» помещена сегодня статья В. В. Розанова «Схоластическое законоучительство». В ней много верного, но много и курьезов. Напр., утверждается, что пс. 50-ый, «написанный после соблазнения Д. чужой жены»... «вообще не может быть почувствован и понят ранее 40 лет. «Даже объяснить ребенку 50-го пс. или вечерних молитв — невозможно, ибо объясняющий будет краснеть и сбиваться, стараясь в объяснении сокрыть главное, через что молитвы и псалмы становятся понятными». Вообще говоря, скажу я, это неверно. В числе утренних и вечерних молитв не все имеет предметом своим освобождение от сладострастных искушений плоти и к числу таких именно принадлежит известная молитва «Ангел Христов», которую Р-в напрасно относит к числу «неудобопонимаемых». Но все, что говорит он о преподавании литургики, догматики, истории соборов и ересей, а также высокомерии и отчужденности, о сухости и формализме «законоучителей», есть правда (Л. 81).

13 июля. Вчера я был у В. В. Розанова, передавшего мне материалы по сектантству, «афоризмы» и «после арифметики». Среди последних оказалось 3 экземпляра полной редакции его реферата «О церковной юрисдикции или о Христе — судии мира» — без цензурных пропусков.

Один экз. я взял для себя. Затем он передал еще письмо к нему З. Н. Г<иппиус> и статьи свои «На лекции о Достоевском» (Н. Вр. 4. 7. 09 г.) и «В русском мире» («Русское Слово» 11 июля 09 г.), а также письмо к нему о Вл. Соловьеве за подписью «Старый публицист». Последнее письмо и статью просил вернуть. Беседа наша была посвящена вопросу о будущих изданиях: решено выкупить «Лучи» за 1000 рубл., докончить их печатание у Суворина и печатать немедленно брошюру «Русская церковь», а также «Афоризмы». После конкурса по делам Пирожкова г-н Спешнев сообщил Розанову, что его книги идут недурно, лучше всего продается «Ослабнувший фетиш», затем «Легенда о Великом Инквизиторе», которой осталось 7400 ех. (из 10 т. напечатанных Пир-м вместо условленных 5000) и «Около церковных стен». От «Литер. очерков» и «Сумерк. просв.» осталось по 50 ех. «Природа и история» и «Религия и культура» имеют в 100 ех. каждого названия.

Характерно и то, что мерзавец Карбасников, подсказавший Спешневу запросить с Р<озанов>а 1000 р. за «Лучи», предложил Розанову продать издание ему, К<арбаснико>ву. У В. В. хватило догадки не согласиться. Ибо горе авторам, которые попадаются в лапы этому рыжему прохвосту. «Объегорил, так что мое почтение». Мы обойдемся и без Карбасникова... Новые издания начнем с августа (Л. 81).

20 июля. Вчера вместе с Р. я был у Ильи Ефимовича Репина, на даче гражданской жены его Н. Б. Нордман в Куоккала, называемой «Пенаты». Г-жа Нордман устраивает по воскресеньям «чаепития с народом»... Это чаепитие происходит в их саду, в беседке, где теперь поставлен 9-ти ведерный «самовар», по словам Н. Б., неизвестно кем им присланный. Перед беседкой на лужке положили огромный флаг с вышитой по белому фону красным надписью «Коопераут». Этот флаг на двух огромных шестах, довольно тяжелых, тащил Вас. Вас. и его горничная Саша до места назначения. Предлагали и мне эту честь, но я уклонился.

В беседке сапожник давал урок кройки и шитья сапог. Когда кончились его объяснения, поспел самовар и принялись за чаепитие, а по окончании чаепития устроились танцы на небольшой площадке рядом с беседкою. Танцевал «народ» модные танцы под гармошку. Танцы эти были на время прерваны пением сапожника и некоторых мужчин под аккомпанемент балалайки. Пели песни, подобные «частушкам», жалкие по музыке и мелодии, но интересные по содержанию, которым являлось сатирическое изложение событий последних лет, как-то: японской войны, забастовки 9 января 1905 г., манифеста о свободе и пр.

В этих песнях зло и остроумно достается всем — Витте, Дурново, Алексееву, Стесселю и прочим героям петербургским и портартуровским до «высокого человека небольшого роста».

...Положили апельсин
У Дворцова моста,
Где высокий господин
Небольшого роста.

Доставалось и И. Кронштадтскому. Песня о Порт-Артуре весьма интересна, и я жалел, что не взял с собою карандаша, дабы записать некоторые куплеты.

Во время чаепития я разговорился с самим Репиным об Иисусе Христе в живописи по поводу снимка с картины В. Поленова «Христос перед Пилатом». Фигуру Христа я считаю крайне неудачной и, сказав это Репину, я прибавил, что, по моему мнению, Христос вообще не изобразим в живописи и я предпочитаю условное письмо иконографии. На это Репин ответил, что с мнением о «неизобразимости» Христа он почти согласен, ибо по собственному опыту знает, как трудно написать что-нибудь отвечающее требованиям этой темы. Он убедился в этом, когда написал икону Иисуса Христа по просьбе «Петровского об<щест>ва». Переделывал картину много раз и все неудачно. Так и отдал икону, сам будучи неудовлетворен ею. А хотел изобразить лик «Нерукотворного Спаса». Христа на упомянутой мною картине Поленова не считает удачным, но Пилат ему кажется вышедшим хорошо. Наилучшими живописными изображениями Иисуса Христа он считает картину Иванова «Явление Христа народу», картину Крамского в Третьяковской галерее, образ Спасителя в час<овне> Петра В<еликого> на Выб<оргской> стор<оне>, который он считает великолепной картиной подлинного византийского духа, и «Святое семейство» Рафаэля в Эрмитаже. Последнюю картину он считает лучшим произведением Рафаэля после «С<икстинской> Мадонны» и находит, что в ней знаменитому художнику удалось выразить божественность, «сверхчеловечность» младенца Христа, лик и взор коего особенно отличны от земного лица Иосифа Обручника и полуземного лика Мадонны. Много слабее этих картин известный «Христос» Ге и «Христос с динарием» Тициана, написавшим вместо «Бога и человека» Христа «великолепного римского патриция». По дороге на станцию я передал этот разговор Вас<илию> Вас<ильевичу> и сказал, что считаю лик Христа неизобразимым. «Вот я и говорил и писал то же», — живо сказал «Вася-Васек». Я прибавил: «И это потому, что И<исус> Х<ристос> — Бог». Но такое утверждение не приемлемо для Розанова. После беседы Репин предложил мне осмотреть его мастерскую... Перед отъездом он в течение часа нарисовал акварельный портрет Вас<илия> Вас<ильевича>. По моему мнению, вышел не подлинный Розанов, лик которого зело не красен, а идеализированный дружественною рукою мастера. Сам Р<озано>в думает то же, но Репин не согласен с этими суждениями.

Мы уехали от него в 7 ч. 25 м. на поезде 7 ч. 50 м. На вокзале в Куоккала Розанов вдруг стал прощаться со мною и поцеловал, к немалому моему изумлению, ибо до Териок нам ехать было вместе. Ехали и туда и обратно в 2-м классе. По дороге я выразил Розанову свое мнение о Репине, очень высокое, а о г-же Нордман весьма ей нелестное. Последняя, кроме больших претензий да нелепого идеализма с оттенком слащавой слезливости, ничего не имеет. Мозг у нее птичий, и видно, что о многом в жизни она даже не думала. Несомненно, это существо весьма поверхностное. Восхищается речами «кадетов» в 3-й Думе, поездкой Родичева и Милюкова в Англию, считает Андреева чуть ли не гениальным писателем, признавая значительным «Красный смех» и отрицая наилучшую его вещь «Рассказ о семи повешенных». Но довольно об этом ничтожестве. И при том она более чем некрасива, так что я удивляюсь Репину.

В заключение еще два слова о сапожнике-певце. Это несомненно человек замечательный, выдающийся в своей среде. А интересные песни его, насмешливые и почти не грустные, несомненно, рождены фабрикой, отхожими промыслами и в нашей местности, а не великорусской деревней, ибо они не музыкальны и, кроме того, пересыпаны вставками фраз из стихотворений (напр<имер>, из «Бесов» Пушкина). Некоторые куплеты их, очевидно, «рискованны», и, по слову Р<озано>ва, «духовная цензура» мешала ему петь все без пропусков. Духовная цензура = внутр<еннему> чувств<у> такта, меры, приличия.

25 июля. 23 в Петербурге я виделся с Н. М. Максиным, Д. А. Черкесовым и Д. Вл. Знаменским. Последний передал мне переписанное им во время своего пребывания в Костроме и Галиче окончание статьи В. В. Розанова «Люди 3-го пола», которая заканчивает его книгу «В темных религиозных лучах». Сам В. В., приехавший в Петербург накануне, тоже навестил меня, принес свою статью «Русская Церковь» для печатания. Посмотрев на меня и Максина, присутствовавшего в это время, он сказал:

— Ну до чего вы оба различны! Совсем разные типы, разные организации!

И пояснил, что по его мнению бывают люди линейные, круглые и квадратные. Меня отнес к линейным, М-на — к круглым. На мой вопрос о признаках, характерных для этих трех категорий, сказал, что круглым свойственна неподвижность, спокойствие и благодушие, линейным же стремительность: «они — стрела». «Квадратности» отвечает грубость и угловатость («углы»). Себя назвал «линейно-круглым», т. е. типом неустойчивым, и указал на свои непоследовательности во взглядах. На мой вопрос о Мережковском, Зин. Ник. и Тат. и Над. Ник. Гиппиус назвал первого линейным, «Тату и Нату» круглыми (после некоторого

раздумья), а З. Ник. — зигзагообразной, «как молния». «Она — новая». Я заговорил о «союзнике» Ржавском в Курске, лично известному Максину. Р-ский обвиняется в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки. Я высказал мысль, что деторастление есть один из видов psychopat<ia> sexual<is> и не подлежит суду. Р<озанов> не согласился и указал на магометан, где бывают случаи замужества 9-ти и 8-летних девочек. Напр., любимая жена Магомета (Айчиа?) была взята им 8—9 лет. Правда южанки ранее других достигают половой зрелости. Еще говорил В. В. о значении обрезания для полосочетания. Мысли его по этому вопросу точно формулированы им на последних стр. последнего издания «В мире неясного и не решенного» (Л. 133).

6 августа. Вчера отправлено мною письмо Зин<аиде> Николаевне в Гамбург (Bad-Homburg) с «гнусным» фельетоном В. В. Розанова: «Сентиментализм и притворство как двигатели революций» (Н. Вр. 17.VII. 09 г.).

Письмо Зин. Ник. из Villerville sur mer (Calvados): 11 авг. нов. ст.:

...статью Розан<ова> не читали, ибо «Нов<ое> Вр<емя>» не видим. Если будете такой добрый, пришлите.

Сегодня в «Н. Вр.» фельетон Розанова об «Истории одной жизни» Мопассана. Статья умная (Л. 163).

11 февраля 1910 г. Свидание с В. В. Розановым и типографщиком Ваксбергом; у первого принято решение относительно книги «В темных религиозных лучах» ввиду полной невозможности выхода книги в России будут сделаны матрицы с 13-ти последних листов. С этих матриц будет напечатано 1000 экземпляров в Гельсингфорсе для продажи в Финляндии и Европе. Такое же число ранее напечатанных 22 листов переводится Розановым в Г-с. Ваксберг обещал 10 ех. Розанову, полных, напечатать уже. Всего у него будет напечатано 15 экз. Экземпляр, переданный Розановым Бельгарду, испещрен цензорскими пометами. Не тронуты только статьи «Трепетное дерево», «По тихим обителям» и «Темный лик». Долг Р-ва Ваксбергу — всего 500 р. За выкуп книги — 800 рублей (Л. 178).

23 июня. От З. Н-вны узнал, это «Речь» сообщает сегодня о предложении епископа Саратовского Гермогена происходящему в Казани Миссион. съезду ходатайствовать перед Синодом об отлучении от Церкви Л. Андреева, Мережковского, Розанова и «всей вообще безбедной интеллигенции». Мы смеялись над этим выступлением епископа, не встре-

тившего сочувствия своему предложению даже среди прочих участников съезда (Л. 56).

17 сентября. Сегодня имел разговор по телефону с З. Н. Гиппиус... Еще говорили о Розанове по поводу его последнего нововременского фельетона о «русской революции». З. Н. не хочет слышать даже его имени, и называет его «явлением», а не человеком и пакостью, разлагающейся грязью. Это, пожалуй, верно... (Л. 84)

13 декабря. В пятницу 10 декабря поступила в продажу книга В. В. Розанова «Темный Лик» (СПб., 1911. 2 р. 50 к.), напечатанная в количестве 2000 экз. Книга эта – извлечение из предполагавшейся к изданию его книги «В темных религиозных лучах (Метафизика христианства)», корректура которой была выполнена мною. Из этой книги цензурою исключен отдел «Черточка к черточке» – всего 46 стр. (стр. 102–147), в том числе и мое письмо к В. В. Розанову, много примечаний в статье «Русские могилы», а самим Розановым отдел «Люди 3-го пола», каковой он изучает отдельною книгою, также, конечно, с цензурными искажениями первоначального текста (Л. 136).

25 октября 1911 г. Прочтя сегодня полученную от А. П. Никифоровой ст<атью> Розанова («Отойди, сатана», Нов. Вр. окт. 1911 г.) я сказал Дм. Вл. Философову, что предлагаю ему обсудить вопрос об исключении Розанова из Рел. Ф. Об-ва, прибавив, что я считаю для себя невозможным участвовать в общественной организации, терпящей Розанова в своей среде после его недопустимых выражений о первом русском философе Влад. Серг. Соловьеве. Думаю, что и без меня очень и очень многим и давно уже следовало бы обсудить этот вопрос (Л. 22–23).

ИЗ ДНЕВНИКА М. М. ПРИШВИНА

1908 (?) [Петербург]

9 *декабря* [У Ремизова]. Манасеина, видно, славная и умная женщина и так любит свое дело. Я заметил в ней искреннее увлечение литературой, в частности, как это приятно, моей книгой. Она сказала очень метко, что моя книга и русская, и в то же время общекультурная. Я рассказал о своем впечатлении от Мережковских: они «личники», за пять шагов от них веет холодом, но в то же время чистотой. Правда: чистоту в человеке дает только развитие личности, быт нечист, если не считать «страны непуганых птиц». Но такой страны может быть вовсе и нет? На последнем рел<игиозно>-фил<ософском> собрании Розанов по поводу моей книги высказал такое убеждение о существовании такой страны. Это был замечательный разговор уже потому, что я торжествовал над ним свою победу. И разве это не победа: мальчик, выгнанный им из гимназии, носивший всю жизнь по этому случаю уязвленное самолюбие, находит своего врага в р<елигиозно>-ф<илософском> собрании, вручает ему свою книгу с ядовитейшей надписью: «Незабываемому учителю и почитаемому писателю» – и выслушивает от него комплименты. Вот победа! А он-то и не подозревает, с кем имеет дело. Разговор, насколько я помню, был такой. В<асилий> В<асильевич>, встретив меня, взял за руку, отвел в сторону и серьезно, очень серьезно – я это заметил – стал восхищаться книгой: «Лопка! – какое чудесное слово, и об охотнике хорошо, и о грехе хорошо, и о детях птицы хорошо... вы интересный человек... а когда я там смотрел в собрании, вы мне казались каким-то статуеобразным...»

– Вы меня считали за тупого человека? – спросил я.

– Нет... плотный вы... а в книге охотник... живой...

Еще он мне говорил там, как все эти лопки и птицы изменились в культуре, сколько мы потеряли...

Страна обетованная, которая есть тоска моей души и спасающая и уничтожающая меня, – я чувствую – живет целиком в Розанове, и другого более близкого мне человека в этом чувстве я не знаю. Недаром он похвалил меня еще в гимназии, когда я удрал в «Америку»...

— Как я завидую вам! — говорил он мне.

К одному и тому же мы припадаем с ним, разные люди разными путями. Отчего это? Что это значит? Когда-нибудь я буду много думать об этом. Но теперь (некогда).

Розанов и Мережковские прельщают меня своей противоположностью: бытовики и личники.

1909

3 февраля. Читал ст<атью> Шестова (Русск<ая> м<ысль> 1) о Толстом: приложение розановских идей...

10 марта. Религ<иозно>-филос<офское> собрание с Тернавцевым. Он абсолютная мерзость: большие красные губы, школьный смех, этот страшный смех откуда-то, инквизитор или черт, грузный... [*1 нрзб.*] интонация... вертелся, как крест показали... Ангел с закрытыми глазами... Мережковский и другие – интеллигенты и там (черт) Россия, непонятная логика (александрий<ская> византийская), загадочные корни в православии... ясность в Европе... интел<лигенты>-европейцы... Тернавцев не интеллигент... Отвращение Ивана Александровича к этому народному... лукавству... Розанов подошел. — Хорошо? — Хорошо! А он всурьез: а то собрались книжники! И сам он: рядом с Татьяной, извилина в подбородке, обывательский глазок, смерд и [*1 нрзб.*] дряблый, и все это дряблое богоборчество и весь он как гнилая струна, и кривой (сбоку) подбородок с рыженькой бородой и похоть к Татьяне... он живет этой похотью... это его сила.

22 ноября. Розанов требует меня к себе...

28 ноября. Состоялось свидание с Розановым. — Пришвин был тихий мальчик, очень красивый... — А я бунтарь?.. — У меня с одним Пришвиным была история. — Это я самый... — Как?!

Встретились два господина, одному 54 года, другому 36, два писателя, один в славе, сходящий, другой робко начинающий. 20 лет тому назад один сидел на кафедре учителя географии, другой стоял возле доски и не хотел отвечать урока...

— Это была когда-то. Я не мог иначе поступить: или вы, или я. Я посоветовался с Кедринским, он сказал: напишите докладную записку. Я написал. Вас убрали в 24 часа. Это был единственный случай...

— А с Бекреневым? — хотелось спросить.

Он рассказывает: как плохо ему жилось учителем гимназии. Теперь вот учат, а тогда... Место покупалось у попечителя... Розанов мечтатель,

а тут нужно было что-то делать до того определенное... Казалось, что с ума схожу... И сошел бы... Я защищался эгоистично от жизни... В результате меня не любили ни ученики, ни учителя... Потом служил в контроле. Там подойдет начальник: «Ну, вы что тут делаете?..» Несколько примеров, как он выполнял свои обязанности... — Вы женаты? — Да... — А где же кольцо?.. На лопке? На крестьянке? Вы приведите жену...

Мой фантастический полет... Я говорил часа три подряд. Меня слушали, переспрашивали... Когда я сказал о том, сколько потеряло человечество, меняя кочевой образ жизни на оседлый, Роз<анов> сказал: это Ницше, Ницше... Когда я говорил о насекомых, жена Р<озано>ва ужасалась и говорила: а как же... Розанов: это надо понимать... — и хитренькая улыбочка... Нет, — говорит жена Р<озанова>, — Вас<илию> Вас<ильевичу> нельзя уже ехать: 54 года. Вас<илий> Вас<ильевич> с ружьем у дикарей!

Он дарит мне свою книгу с трогательной надписью. Завет... Если бы дети были здесь... Какое воспитательное значение это имеет... Меня зовут на обед...

Так закончился мой петербургский роман с Розановым... В результате у меня книга его с надписью: «С большим уважением» «на память о Ельце и Петербурге». А когда-то он же сказал: из него все равно ничего не выйдет! И как и сколько времени болела эта фраза в душе... Умер тот человек... Умер и я со всей остротой болей... Поправляюсь, выздоравливаю, путь виднее, все уравновешеннее... Но почему же жаль этих безумных болей... Выздоравливаешь и тупеешь...

Мне всегда казалось: я не такой, как все, я рожден для чего-то особенного и вместе с тем: роковым образом я не сделаю того, что указано мне судьбой... в этом виноват кто-то искони... учителя? Буржуазия?.. Потом: кто-то исказил природу, совершил грех...

Теперь я думаю: очень возможно, что я что-нибудь сделаю не как все, что я для этого рожден... Но что же из этого?

Жизнь перелилась в какой-то другой план...

19 января. Собрание Религ<иозно>-ф<илософского> общества для исключения Розанова. Когда-то Розанов исключил меня из гимназии, а теперь я должен его исключать. Не хватило кворума для обсуждения вопроса, но бойцы рвались в бой: всеобщее негодование по поводу этой затеи Мережковского. Сутолока, бестолочь, какой-то армянин в решительную минуту добивается слова, чтобы сказать: «В Р<елигиозно>-ф<илософском> обществе аплодисменты не допускаются». Кто-то просит изменить «параграф». Гиппиус же [*1 нрзб.*] и щурится, изображая кошечку. Карташов взводит очи горе. Мережковский негодует. Вяч. Иванов настроился на скандал. Чулков говорит об антиномии. Стахович спрашивает, что такое антиномия. Старухи-теософки, курсистки, про-

фессора, литераторы [*1 нрзб.*] возражает баптист, попы, восточный человек, увесистые хайки и честнейшие ученые жиды. Теряю всякую способность наблюдать, думать, разбираться, сберегать услышанное, хаос. Вот и все, что вышло из общественной затеи Мережковского. Лет пять тому назад взял я себе напрокат «Светлого иностранца» и теперь возвращаю: не то.

Киевская черешня и ветхозаветная смоковница. Всем известно, что Мережковский влюблен в Розанова, и сам Розанов пишет в «Уединенном»: «За что он (Мережковский) меня любит?» А вот теперь Мережковский хочет исключить Розанова из Р<елигиозно>-ф<илософского> общества. Возмущение всеобщее, никто ничего не понимает, как такая дерзкая мысль могла прийти в голову: исключить основателя Р<елигиозно>-ф<илософского> о<бщества>, выгнать Розанова из единственного уголка русской общественной жизни, в котором видно действительно человеческое лицо, ударить, так сказать, прямо по лицу. И мало ли еще чем возмущались: говорили, что это вообще не по-русски как-то — исключать и многое другое. Какая-то девственная целина русской общественности была затронута этим постановлением совета, и люди самых различных партий, толков и между ними настоящие непримиримые враги Розанова — все были возмущены. Словом, произошло полное расстройство общественных основ этого маленького петербургского муравейника, где время от времени собираются чрезвычайно разнообразные люди высших интеллигентных профессий. И замечательно, что все эти [*1 нрзб.*] расстройства общественного во имя самой общественности.

Я очень хорошо понимаю Мережковского и лиц его окружения в совете. Понимаю мучительное состояние верующего или страстно желающего верить и в то же время проповедовать в обществе воистину мертвых (и мертвые восстанут, но когда!). Мережковский пытался уже испробовать организацию секций, в которых могли бы собираться более активные люди, подбирал молодежь, но эти секции [*2 нрзб.*] говорили о Боге, а действия равно никакого не было, почему? оставляю вопрос для будущего. Но вот настал подходящий случай — дело Бейлиса: вот, казалось бы, можно высказать [*2 нрзб.*]. Ожидали, что общество [*2 нрзб.*] будет закрыто, но демонстрации не вышло, до смешного жалкий вечер, где Ветхий завет перепутался с делом Киева, какая-то смесь винегрета из киевской черешни и ветхозаветной смоковницы. А в это самое время Розанов и писал свои наиболее возмущающие общество статьи. Конечно, виноват во всем Розанов, с ним работать нельзя, нужно отделаться. Совет ценою своего собственного существования поставил вопрос об исключении: если Розанова не исключат, Совет уйдет.

— Розанов тогда может быть здесь первый человек! — сказал Мережковский.

А в это время как раз кто-то крикнул:

— Это у вас от лукавого!

[*1 нрзб.*] да, но не совсем, я вполне понимаю Мережковского, душевное состояние и сломанные стулья. Возмущаются просто фактом исключения, но это не просто исключение, это должно быть созидание чего-то похожего на секту. Ведь Мережковский этим отсекает любимейшее существо, Розанова, который сам заявлял: «За что он меня любит!» Розанов для Мережковского не просто облик Розанова, а «всемирно-гениальный писатель», какой-то предтеча Антихриста, земля, пан и мало ли, мало ли что. От всего этого нечистого он теперь отсекается, а члены Религиозно-философск<ого> общества возмущаются чисто по-обывательски. Мережковский вообще совершенно не способен быть в жизни, он не человек быта, плоти и крови. Я никогда не забуду того его спора с социал-демократическим рабочим. В ответ на поставленный ему вопрос о необходимости в человеке сознания своего собственного бессмертия рабочий говорил:

— Накормите меня.

Тогда Мережковский, возмущенный грубостью ответа, вдруг неистово закричал:

— Падаль, падаль!

Это было, конечно, чисто философская «падаль», то есть то, что падает, умирает, а рабочий принял за настоящую, ругательскую, и пошло, и пошло.

Вот то же происходит и теперь в Рел<игиозно>-фил<ософском> обществе, и все [*1 нрзб.*] общество поступит по законам обычной этики «падали» и не поймет и не пойдет за Мережковским. Но не будем сильно обвинять обывателей, потому что ясно, в этом призыве Совета не хватает одного тоже необходимого звена человечества, которое мы назвали бы мудростью.

10 февраля. С Розановым сближает меня страх перед кошмаром идейной пустоты (мозговое крушение) и благодарность природе, спасающей от нее.

Есть такое положение идейного истощения, когда вдруг окажется, что вокруг нет идеи, а деревянная подстройка для дома, и что всю жизнь трудился не для дома, а для подстроек. Вот тогда охватывает чувство страха за все; кажется, я весь не такой, как все, и в прошлом где-то я осужден, шевелится прошлое, как болото черное, вздымается пучина, трясется, и вот сейчас полетят вниз в пучину деревянные подстройки. И падают подстройки ненужные, и падает с ними гордый строитель. Зато открываются двери дома и начинается «жизнь».

Бывает, остается подпертая «жизнью» мечта о прежнем строительстве: женатый поэт. Бывает (чаще) полное погружение в «жизнь» (Пуш-

кина забили, что Пушкин! Гриша). И бывает, когда человек проклинает все гордое, идейное и эту «жизнь» благословляет как святую. Вероятно, это состояние высшей гордости и приводит к Антихристу, как у Розанова. Библия для него просто маска.

Поэзия Библии, поэзия семьи, а не самая Библия, не самая семья. Так оно и есть: семья Розанова — надрыв, семья — коллекция грехов.

Но есть действительно какой-то еще больший грех в интеллигентском [*1 нрзб.*], то есть умственном, грех самоубийства, и вот если взять самоубийцу и Розанова... (это два полюса, одинаково ужасные для среднего человека), то и начинается великий спор. Вот откуда и надо анализировать Розанова: ничего среднего — или убью себя, или принимаю все.

Розанова ненавидят интеллигенты, как люди здоровые, массовые.

Значит, чтобы понять это состояние «антихристово», нужно понять самоубийцу: как одно переходит в другое. В обществе крушение революции — вехи. Психологически: Розанов с книгой «О понимании» и «Уединенное». Фауст и Маргарита.

«*Маргарита Розанова*». Каждый раз, когда я вижу в ресторане этого нервного господина с лицом сокрушенного гения, с ушами без мочек и с ним эту женщину-гору, красную немку, и слышу его тайный насмешливо над собой голос «живу с немкой», мне вспоминается Розанов и его Маргарита — библейская женщина с огромными чреслами. Розанов, сокрушивший себя над книгой о понимании — ...Фауст, библейская женщина его Маргарита... А вот Розанов без мечты, голый Розанов, голая Маргарита.

Розанов — слабость, превзойденная хитростью: всех обманул, себя, жену, детей.

1915

Апрель. Каждый даровитый писатель окружен слоем какой-то ему только присущей атмосферы — обаятельной лжи. И можно себе представить «честного» человека, который ненавидит эту ложь: таков И. Н. Игнатов, по существу своему враг искусства, но ставший критиком, таких много честных критиков. Горький, Чуковский, Ремизов, Розанов, Сологуб — все это чрезвычайно обаятельные и глубоко «лживые» люди (не в суд или осуждение, а по природе таланта). *Так что правда бездарна, а ложь всегда талантлива.*

Меня занимает сейчас «ложь» Горького. Например, Розанов — тот сознает необходимость этой лжи, стоит на ней, и его называют циником. А Горький не сознает, верит в свою ложь, и его признают за святого. Положим, святые, как и поэты, существа тоже лживые, действуют тоже об-



маном. Сумма всего этого обмана называется религией и искусством. Сумма той бездарной правды — наукой. Но знание опять-таки талантливо, хотя и не лживо, знание есть вечный памятник войны между талантливой ложью (мистика) и бездарной правдой (рационализм). Много ли нужно дарованья, чтобы стоять на $2 \times 2 = 4$, и сколько дарованья нужно, чтобы представить людям 2×2 как 5. Типы $2 \times 2 = 4$: Голованов, Игнатов, «Русские Ведомости», Венгеров и проч<ие> (мосты, немецкие военные операции, учебники, «общественность»). Типы $2 \times 2 = 5$: Кукарин, Розанов.

Умрите и будете *знать*.

1919. [Елец]

22 мая. В судьбе моей как человека и как литератора большую роль сыграл учитель елецкой гимназии и гениальный писатель В. В. Розанов. Ныне он скончался в Троице-Серг<иевой> лавре, и творения его, как и вся последующая литература, погребены под камнями революции и будут лежать, пока не пробьет час освобождения.

Я встретился с ним в первом классе елецкой гимназии как с учителем географии. Этот рыжий человек с красным лицом, с гнилыми черными зубами сидит на кафедре и, ровно дрожа ногой, колышет подмостки и саму кафедру. Он явно больной видом своим, несправедливый, возбуждает в учениках младших классов отвращение, но от старших классов, от восьмиклассников, где учится, между прочим, будущий крупный писатель и общественный деятель С. Н. Булгаков, доходят слухи о необыкновенной учености и даровитости Розанова, и эти слухи умиряют наше детское отвращение к физическому Розанову.

Мое первое соприкосновение с ним было в 1886 г. Я, как многие гимназисты того времени, пытался убежать от латыни в «Азию». На лодке по р<еке> Сосне я удирал и, конечно, имел судьбу всех убегающих: знаменитый в то время становой — удалой истребитель конокрадов Р. Крупкин ловит меня верст за 30 от Ельца. Насмешкам гимназистов нет конца: поехали в Азию, вернулись в гимназию. Всех этих балбесов, издевающихся над мечтой, помню, сразу унял Розанов: он заявил и учителям и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика. Я сохранил навсегда благодарность к Розанову за его смелую, по тому времени необыкновенную защиту. Но тот же самый Розанов изгнал меня за мальчишескую дерзость из 4 класса, оставляет в душе моей след, который изгладился только после того, как много лет спустя я нашел себе удовлетворение в путешествиях и занялся литературой. Мы встречаемся с Розановым уже в 1908 г<оду> как члены С<анкт>-П<етербургского> религ<иозно>-

фил<ософского> общества. Розанов, уже седой и благообразный старик, кается мне в своих грехах с молодежью, сознается, что был тогда в тяжелых личных условиях, и если бы не нашел себе выхода в столицу, то кончил бы плохо в Ельце. Русский Ницше, как называют Розанова, был глубочайший индивидуалист, самовольник, величайший враг того среднеарифметического общественного деятеля. Он позволял себе все средства, чтобы отстоять свою индивидуальность, как в жизни, так и в литературе. Во всей русской и, может быть, мировой литературе нет такого писателя, который мог бы так обнажаться. Исповедь Руссо — ничто. В Рел<игиозно>-фил<ософском> обществе Розанов выступал со своим страшным вопросом к Богу нашей эры — ко Христу. На пути критики христианства он встречается с другим замечательным писателем нашего времени, Д. С. Мережковским, этим светлым иностранцем, проповедующим реформацию и христианское возрождение. Немногие писатели и поэты остаются не затронутыми вопросами, поднятыми в Р<елигиозно>-ф<илософском> обществе, — это Куприн, Бунин, Андреев и некоторые второстепенные. Что же касается Горького, то он, будучи в это время в Италии, все-таки присутствует здесь: о Горьком читают рефераты, о том, как он, тоже индивидуалист, поклоняется «народушке».

13 октября. Сегодня я назначен учителем географии в ту самую гимназию, из которой бежал я мальчиком в Америку и потом был исключен учителем географии (ныне покойным) В. В. Розановым.

1920

26 декабря. Снилось, что я будто у св<ященника> Александра Петровича Устьинского, и мы с ним решаем, что у него на даче это лето будут гостить Лев Толстой и Розанов. С этим поручением приглашения я являюсь к Розанову. Вас<илий> Вас<ильевич> сидит за столом и с необыкновенно гаденьким видом показывает кому-то порнографическую картинку, уснащая глубокомысленным замечанием религиозного содержания. Меня встречает неприязненно, я объясняю ему о даче, но забываю фамилию Устьинского. — Что же это такое? — изумляется он. — Да я, — говорю, — и единицу за это в гимназии получал, что вдруг самое главное и очень мне известное забуду.

И в эту минуту сам себя вижу: лоб очень большой у меня, бугроватый, лоснится и не помнит ничего.

Розанов однажды высказал, не помню только где, в частной ли беседе, переданной потом Гершензону, или же в газете, куда он вливал чуть ли почти что не свои ночные горшки, — что славянофильство есть самое вкусное блюдо в России, и Гершензон, как еврей, сумел этим воспользоваться. Гершензон этого не мог Розанову простить никогда.

1922

14 апреля. У Гершензона. Он рассказывал, что Розанов незадолго до смерти сказал ему: «С великим обманщиком Христом я теперь совершенно покончил». Еще говорил Гершензон, что основное в натуре Розанова было — трусость и что понимать его слова про Обманщика нужно так: «Покончил, а может быть, и все неправда» — и тут же перекрестился. И что вся гениальность Розанова в этом, верно, и заключается, в этом «может быть».

21 декабря. Есть еще, как я считаю, гениальный и остроумнейший писатель, за которого я хочу заступиться: он мог писать и о рукоблудии и подробно описывать свои отношения к женщине, к жене, не пропуская малейшего извива похоти, выходя на улицу вполне голым — он мог!

И вот этот-то писатель, бывший моим учителем в гимназии, В. В. Розанов (больше, чем автор *Капитала*) научил, вдохнул в меня священное благоговение к тайнам человеческого рода.

Человек, отдавший всю свою плоть на посмешище толпе, сам себя публично распявший, прошел через всю свою мучительную жизнь святостью пола, неприкосновенно — такой человек мог о всем говорить.

1924. [Талдом]

12 сентября. Розанов запел свою песнь о евреях в тот момент, когда о своем народе сказал «подлый народ», боюсь, что и я к тому же приду...

В. Розанов. Апокал<ипсис> 26, № 6—7, ст. 85: «...среди “свинства” русских есть, правда, одно дорогое качество — интимность, задушевность. Евреи — тоже. И вот этою чертою они ужасно связываются с русскими. Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек».

Вот гениально, и трогает до слез своей правдивостью!

22 сентября. До чего хорошо написал Ремизов о Розанове во 2-м №-е «Окна» и тоже Гиппиус в 3-м «Окне». Вот старики! у нас тут и не веет даже...

1925

25 октября. Я работаю, ориентируясь на современного читателя, почти исключительно в интересах своего матер<иального> существования (впрочем, почти не считаясь с этим), я ориентируюсь на то, что останется от меня на будущее, и сужу свое дело лишь долготой существования. Значит, это все равно как я был бы родоначальник и думал о продолжении своего рода.

Вот не помню, что именно Мейерша — эта торговка, ставшая женой диакона от Мережковщины, — сказала о. Николаю, монаху, о своих надеждах, возлагаемых ею на детей. Но меня тогда поразили слова монаха

в том смысле, что дети — только продолжение нашего горького опыта жизни. И возмутило! и я увидел в существовании о. Николая Опоцкого отталкивающий от себя труп (синева подкожная и темнота, запах монаха — не плохой, но... как от сырой стены). Вот из этой правды чувств возник и у Розанова весь его бунт. И сила Розанова в этой близости к нам всем, кто, проводив одну весну, с радостью ожидает другую и знает, что никогда одна весна не бывает такой, как другая, и что переживание жизни мной и моим сыном, т. е. в двух лицах, а не в одном моем, т. е., положим, тот же один аршин, разделенный между мной и сыном пополам, даст в сумме не прежний аршин, а, напр<имер>, 1 ар<шин> $^{1}/_{4}$ верш<ка>. В этой $^{1}/_{4}$ вершка, ускользающей от учета христианского разума и потому являемой ему как зло, как черт, вся наша радость земная, тот хвостик животного, постоянным движением которого сопровождается жизнь. Не духовная жизнь, не плотская, а просто жизнь — драгоценнейший поток (старуха 80 л<ет> дорожит жизнью: имела опыт! а юноша не дорожит — кто прав?).

29 октября. Розанов — гениальный и дал, вероятно, единственные в мире мысли о вопросах пола, но прием, которым он выделил вопросы пола и поставил их в фокус исключительного внимания, конечно же, парадокс. Совершенно так же, как выделил он как священное начало жизни человека — половой акт, можно выделить и пищеварительный процесс с его конечным выделением священного навоза, удобряющего землю для растений и прекраснейших цветов, и так же, как о браке, можно написать и о желудке.

1926

6 мая. Общаясь с декадентами, я всегда испытывал к ним в глубине души враждебное отталкивание, доходившее до отвращения, хотя сам себя считал за это каким-то несовершенным человеком, низшего круга. Но Ремизов понимал меня лучше, чем я сам себя, и, кажется, очень любил. Розанов, по-моему, не был тем хитрецом, о котором пишет Горький, он был «простой» русский человек, всегда искренний и потому всегда разный. И потому он был в нашем кругу, с Ремизовым, а на другой совершенно против<оположной> стороне были Гиппиус, Блок и другие.

14 октября. Вот я думаю, догадываюсь, что и Розанов, защищаясь от мертвого света угасших светил (лунный свет), избрал себе быт Авраама как оружие живой жизни против мертвых образов лунного света.

1927

1 января. Розанов всю жизнь и занимался этим, чтобы втянуть Христа в дело повседневной жизни.

9 февраля. Из больших писателей, мне кажется, Ремизов глубоко любил и признавал только Розанова, он был тайным врагом Мережковского, Гиппиус, Блока. Признавал еще Белого в его «бешенстве». Ремизов не своими писаниями, а своей личностью сделался единственным моим другом в литературе, хранителем во мне земной простоты.

16 марта. Был у дочери Розанова, Татьяны Васильевны. «Хорошо, — говорит, — что вы любите природу, значит, человека не любите, нельзя его любить». Совсем розановская манера, и лицом и натурой совсем Розанов. Она говорила, что Василий Васильевич приходил иногда со службы расстроенный, чем-нибудь его обидели, и он дома плакал, ложился в кровать и плакал, как ребенок. И она тоже мучится службой и тоже, наверно, плачет от нее.

22 марта. Вчера пришла Т. В. Розанова в семь вечера и была до 1 часа ночи. Я таких людей еще не встречал, в ней было мне то, чего я ожидаю себе найти в работе над детским рассказом. Это желанный человек, в свете лучей от которого насквозь все мои люди. Почему-то мне прежде всего пришла на память Дуничка, о которой с детства слышу: «святая». И что же? эта «святая» теперь на подножном корму у большевиков, которых ненавидит. И какой надрыв вся ее жизнь: все эти тридцать лет учебы в дерев<енской> школе ведь совершенно то же, что годы заключения В. Фигнер. Очень похожи. Ужасно, что ведь это лучшее революции!

Что особенно поразительно — это одни и те же переживания от «Лунных людей» Розанова вплоть до пренебрежения газетами: «Я весь Шанхай и весь Китай и Англию — все узнаю не по радио, а по копеечке на булке: копейка прибавилась, копейка убавилась».

Очень некрасива, невзрачна, но так оживленна, так игрива в мысли, что становится лучше красивой. В этом общении, чисто духовном, есть особенная сладость какая-то, и стало сильнее, что может сравниться лишь с самой игрой, мартовской любовью. Вероятно, это сила религиозно-преображенного эроса. Но Еф<росинья> Пав<ловна> ее не ревновала (как всех) ко мне, и к этому не ревнуют.

Т<атьяна> В<асильевна> рассказывала, что когда ее позвали в ГПУ для допроса и там помучили ее глупыми вопросами до того, что когда она зачем-то вышла из комнаты, она легла на диван и уснула. Это ее и спасло: гепеусты образумились и выпустили. И, кажется, это они же способствовали ее устройству на службу в музее. «Вам, — говорили, — там хорошо будет с монахами».

Еще рассказы ее о какой-то «боли», которая началась у нее после чтения «Людей лунного света», кстати, простудилась и думала, что боль от простуды. Пошла к докторам, ей сделали операцию, боль не перестала. Потом она стала мучительно работать над преодолением «Лунных людей», и когда преодолела, боль прошла.

Таким образом, у этой девушки и у меня лучшие силы ушли на преодоление боли, причиненной одним и тем же (впоследствии любимым) человеком, ее отцом и моим учителем. В психофизическом мире ее «православие» вполне соответствует моей «природе»: то и другое для спасения себя самого, но не для учительства (ни Боже мой!). Однако и мне, и, вероятно, ей эта найденная самость представляется не индивидуальным достоянием, а общим, назовем это «Христос и Природа»: очень возможно, что в моей природе есть тайный руководитель Христос, а в ее Христе — природа. Для меня самое главное кажется в том, что оба мы свое мученичество преодолели и стали мучениками веселыми.

25 марта. Тат<ьяна> Вас<ильевна> сказала об отце: он был неверующий, да, в этом все: не верил.

27 утро месяца марта. Кажется, Розанов неправ, принимая, что православие презирает плоть. Напротив, оно старается сделаться хозяином плоти; может быть, и все православие можно рассматривать как методу овладения своей плотью.

К обеду пришла Т<атьяна> В<асильевн>а, и я читал ей «Курымушку». Под конец пришла Григорьева и помешала. Т<атьяна> В<асильевна;> сказала, что Розанов и должен был меня исключить. Она забыла, что худ<ожественное> произведение, трагедия, в которой все люди должны делать так, как они делают. Но в действительности ведь было вовсе не так: Розанов был виноват.

29 марта. Т<атьяна> В<асильевна> Розанова горячей душой, с огромным интересом в течение 4-х часов чтения слушала повести мои о Курымушке. Но она слушала по человечеству (или сказать: религиозно), повторяя иногда: «Господи, до чего же у нас с вами похоже!» А когда доходило до природы, напр<имер>, это место «Гусек», столь прославленное всеми ценителями моих писаний, — по-моему, она просто не слушала, наверно, во всяком случае, не все принимала. Это замечательно подтверждает понимание православ<ной> души Розановым. Но, по-моему, он и сам едва ли не подходил к природе — сказать: супранатурально. Впрочем, очень возможно, что ошибаюсь. Во всяком случае, понимание природы, о котором я говорю, есть чувство самого тела, сказать так: телом сливаюсь с природой и это описываю. А то можно описывать или догадку, или отражение в голове.

31 марта. Розанова вернула «Кащееву цепь», и было очень неприлично это: все-таки несомненно это жест, иначе она сама бы занесла книгу, жест очень тонкий вышел. В общем, мира с покойным Вас<илием> Вас<ильевичем> не происходит.

Мне принесли большой портрет Розанова, сделанный с маленькой карточки, которая висела под большим портретом Курымушки. Портрет

мне так понравился, что я переменил решение подарить его Татьяне В<асильевне>, поставил его на полочку, а маленький снял с гвоздя для Т<атьяны> В<асильевн>ы. Через несколько часов в комнате у меня все переменилось: пока Розанов был маленький и висел под большим портретом мальчика, он возбуждал во мне любовь, жалость и чувство большого светлого примирения. Но когда портрет стал большим, я стал испытывать, встречаясь с ним глазами, все более и более неприятное чувство, как будто я опять вернулся в тот гимназический класс, из которого меня выгнали. Сегодня утром я снял портрет большой, повесил маленький, и стало хорошо. А большей портрет сегодня же направлю к Татьяне Васильевне.

1 апреля. Были у Тат<ьяны> Вас<ильевны> Розановой. Рассказывала о конце В<асилия> В<асильевича>. Он оставался, оказывается, до конца при своем, что христианство создало революцию. Письма за 4 дня до смерти.

3 апреля. Т<атьяна> В<асильевна> — портрет Розанова. Ее лицо так просто, что на улице не заметишь. Она истощена и жизнью, и постом своим. И вот при всей своей невзрачности, при невозможности думать о ней как о женщине, она вносит в мою душу атмосферу какого-то тончайшего сладострастия — что это? понять еще не могу. Она так утонченна, так умна душой, что все мои лучшие и интересные люди вспоминаются как примитивные, даже Дуничка и Форш.

В тот раз она сказала: Розанов был неверующий, он верил в себя, в свое открытие. Сегодня, напротив, говорила, что именно он был верующий, потому что ему [*1 нрзб.*] близок был Христос, и он кончил тем, что два раза причастился (странно, однако, почему она об этом говорила не горячо, а как бы вопросительно: что это значит?).

Перед самым концом Розанов что-то увидел, и ему это большое надо было скорее сообщить Флоренскому, послал Таню: беги, беги скорей. Но Флоренский почему-то не пошел.

Она еще говорила мне, что я слишком верю в людей, что в людей нельзя верить. Да, это очень верно, что я держусь верой в людей и что в Бога начинают, должно быть, по-настоящему верить, когда теряют последнее зерно веры в человека... Ефрос<инью> Павловну, естественного человека, это возмутило, она смешалась и поколебалась.

Розанов страдал детской верой в людей, он потому и обнажался, что как бы хотел сбросить с себя на народе все и найти себе людской путь.

Но это же и верно! это светлый героический путь. А неверие в человека есть несчастие, есть болезнь роковая... Люди, ну а дети? Вот, вероятно, тут-то, в этом месте, и поймал старец Марью Моревну и опутал ее Кащеевой цепью, непременно ему надо разбить все ее связи, чтобы безраздельно одному пасти ее душу. В этом духовном союзе есть больше

сладострастья, чем в плотском: тут оно тоньше, слаще, длительней. А если нет сладострастия, то власть сама по себе дает удовлетворение. (При первом знакомстве: — Вы природу любите, это хорошо, значит, не любите человека.)

Т<атьяна> В<асильевна> сказала: — Нас соединяет не христианство, а чуткость и сложность переживания: сколько вы накрутили себе...

13 апреля. Искусство — продолжение жизни, а жизнь играет богами, как куклами. Почему и явился такой Розанов: ему в жизни во всем было отказано, и когда явился наконец талант, он был ему все: и богатство, и вечная юность — все было ему в таланте. Тогда он проклял черного бога, мешающего жить, и объявил религию человеческих зародышей, религию святого семени.

14 апреля. Меня продолжает волновать Татьяна Васильевна, и все происходит во мне совершенно так же, как бывает у влюбленных. А между тем Татьяна Васильевна столь непривлекательная как женщина, что даже Ефросиния Павловна не ревнует. Она объясняет мой интерес к ней пережитым с В. В. Розановым. Но мне кажется, не совсем это верно. Я думаю, что моя страсть влюбленности была от одиночества, от жажды встретиться с понимающим другом.

Убегая от жизни, которая ей непереносима, она запостила себя до умора. Ее жизнь продолжается только в расчете на смерть. Своим бытием она доказывает «темный лик» христианства, открытый ее отцом.

21 апреля. В Петербурге среди писателей было трое совершенно «русских»: Розанов, Ремизов и Пришвин, к этим же я могу присоединить Т. В. Розанову, но Щеголева, напр<имер>, нельзя — почему? он не меньше «русский», но не то. Вот почему: как все на свете имеет оборотную сторону и лицевую, так и человек имеет лицо и кишки, и лицо считается лицом и кишки кишками, а честь им разная, — у Розанова все пошло на лицо, у Щеголева от лица отнимется сколько-то на кишки. Вот в этом русская жизнь, ее все рыцарство: чтобы отстоять это во всем до конца: в кишки должно идти из земли, но не от лица. У Розанова, сотрудника «Нового Времени», писателя с органическим пороком, лицо оставалось до того чистым, что он до старости краснел, если приходилось соврать. Другие делали лица по-европейски (честные кадеты), по-народнически, но это цельное, честное европейское лицо имело глубокую червоточину...

2 мая. Великий богоборец Розанов. Его семья воистину, как в греч<еской> трагедии, несет небесную кару за спор отца с богами (муки Тантала).

Спасение по всему смыслу трагедии должно явиться в последний момент борьбы, человек всю свою жизнь положит и за то, что он положил ее, — спасется. Так, если церковь Христова есть путь спасения, то это не

значит, что она освобождает его от борьбы, напротив, она включает его только в трагический круг, поселяет в нем трагическое сознание. Вот почему и Толстой и Розанов, не посещая церковной службы, не причащаясь, — больше христиане, чем другие, это истинные современные подвижники христианства, и в особенности Розанов, который только умирая разрешил себе причаститься.

15 мая. Вчера была Т. В. Розанова. Боюсь, что она со временем станет совершенной ханжой. В среду мы пойдем с ней в четыре д<ня> искать могилу Розанова.

18 мая. Мы ходили на могилу Розанова: мы с Е<фросиньей> П<авловной>, Тарасиха и Таня.

План могил

Могила В. В. Розанова на кладбище Черниговского скита в расстоянии 21 метр 85 сант<иметров> по бетонной дорожке от крайнего приступка паперти церкви Черниговской Богоматери; под прямым углом от этой точки на запад, как раз против третьего окна четвертого корпуса, в трех метрах находится центр могилы Конст. Леонтьева, и по той же линии к третьему окну в расстоянии от половины до одного аршина находятся три могилы семьи Розановых, левая, по всей вероятности, В. В. Розанова.

Чугунный памятник К. Леонтьева опрокинут, центральная часть его с надписью выбита. Очертаний могилы Розанова на земле почти не было заметно.

Корпуса Черниговского скита населены преступниками и проститутками (исправительный дом имени Каляева). Тане Розановой одно время предлагали должность «ухаживать за проститутками». Такая злая ирония: Розанов писал так любовно о «священных проститутках» у дверей храма и вот лежит теперь прямо у храма, в котором не служат, окруженный обыкновенными проститутками, и дочери его предлагают за ними «ухаживать».

Тарасиха положила два красных яйца на могилу Конст. Леонтьева, тогда среди окружавших нас преступников было заметно движение броситься на них.

Тарасиха, конечно, черносотенка, а теперь стоит за совет, за большевиков, ненавидит жидов, кадетов, Керенского. Сама при большевиках отлично живет. Через нее отлично, прямо насквозь понятно, почему черносотенцы были сразу поглощены большевиками и отлично устроились жить в кишках революции. Розанов звал Тарасиху «бабой Ягой». Это понятно: она груба, форсирует мадам сан жен, а он любил внутренних, извне стыдливых людей. Розанов был сам нежный, тихий человек с таким сильным чувством трагического, что не понимал даже шуток, са-

тиры и т. п. Розанов мог быть, однако, очень злым. Тарасиха деревенская баба и знает всех писателей, Толстого близко даже.

25 мая. Розанов, конечно, страшный разрушитель, но его разрушение истории, вернее, разложение, столь глубоко, что ближайший сосед его на том же пути неминуемо должен уже начать созидание. Ведь борьба с Христом сводится в конце концов к борьбе с историческим уклоном людей, с изменой их вечной трагедии: человек, представленный в образе Христа. Отняв у людей исторического Христа, Розанов предоставляет рост человека естественным силам (полов), которые вырастают тоже трагически (то есть в Христе). Вот почему сосед Розанова неминуемо должен начать созидание.

Вот и Розанов пленяет меня изначальной силой, это титан, который в настоящее время вызвал на бой богов.

28 мая. По словам Т<атьяны> В<асильевны>, у Розанова в натуре вообще отсутствовала «категория игры» (загубленное детство! а ведь у нее тоже игра отсутствует, у нее почему?). Итак, формула: натуральный человек, homo sapiens, — игра = человек (трагическая натура). Христос тоже не играл (загубленное детство: был у Христа-младенца сад) и тоже обращался к детям: будьте как дети. Надо больше думать об этом: очень возможно, что в этом и заключается происхождение трагического.

1928

6 сентября. Общее Мережк<овского>, Розанова, Блока, Разумника, Ремизова и, я думаю, всех, всех: искание пути к «народу» (славянофильство).

7 сентября. «Старец» (о. Ал<ександр> Устьинский) — с ним неразлучно связан трактир Капернаум. Устьинский был учителем Розанова (он вмещает идеи Розанова: ведь Розанов из Устьинского, из разложения православия).

1929

29 марта. Вот где-то тут, в чувстве рода, свершающего свой суд надо мной, надо искать Розанова. Я знаю это в себе: страх и ужас от борьбы крови моей матери с отравленной кровью отца: «Тут ничего не поделаешь». Есть какой-то Христос, для которого необязателен род и быт. Не все ли равно, подлинный он или только извращенный церковью: это реальная сила, которая может последнего в роду, над которым уже занесен меч рока, поставить на высокую ступень самоутверждения в духе и огромного влияния на людей. Но в моем состоянии тогда было так, что «Ина» как женщина недоступна, и я весь тут в своей самости уничтожен-

ный, раздавленный — скажи мне тут о Христе! Я хочу женщину, а не Христа!

Почему Розанов до того страстно боролся с этим Христом, что похож на легендарного богоборца, полубога?..

Уединенное

Конечно, глупости, что все началось в нем от затруднений в разводе. Все началось от чувства предельной самости: ее, этой родовой земли, в себе только-только чтобы самому прокормиться, удержаться, не сойти с ума; необходима жестокая экономия, защита, война; все внимание, весь дух бойца, устремленный в обладание, через это накал в себе белый. И вот Голубой соблазняет все бросить. Так происходит знаменитый розановский + и —: родовое с плюсом, противуродовое с минусом, отражение земли, пола. А что глазу видно? Победоносцев бесполый, но почему-то сильный, Мережковский — «говорящие штаны», «Зинка» Гиппиус, женщина-поэт, физически неспособная рожать, бесчисленная бюрократия, паразитирующая на мужиках...

Розанов добрался и до «сладчайшего Иисуса», который является нам в творчестве, и увидел там, что «Сладчайший» (радость творчества) обретается за счет того же пола, что весь «эрос» находится внутри пола и христианская культура — это культура, по существу, эротическая, но направленная против самого рождения человека, она как бы паразитирует на поле, собирает лучи его и защищается духами от пота и вони.

Вот и добрался в Розанове до того, чем и сам живу.

10 октября. Моя «поэзия» происходит вся из врожденного религиозного чувства, которое при дурном уходе за ним со стороны семьи, школы и церкви обрушилось на собственные силы, и это, в свою очередь, привело к необходимости «самоутверждения». Розанов и «невеста» были полюсами моей боли земной.

1930

25 октября. Думаю о Ницше. Вот человек, взявший на себя бремя двух тысячелетий: такую задачу взял на себя этот человек, чтобы все, постепенно пережитое человечеством, накопить в себе лично, как одно чувство.

«Немцы» для него значит идеализм или обман.

Психологически я примыкаю к Ницше в двух точках:

1) Помню в юности, как я устанавливал ценность только личного («немцы» — это даром через традицию).

2) «Помоги, Господи, ничего не забыть и ничего не простить»: эта молитва относится к тому, что люди устанавливают свой оптимизм («немецкий идеализм») на забвении отцов, трагедии и т. п.

3) Ненавижу своих прозелитов.

Розанов, вникнув в меня, сказал: «Это от Ницше». Конечно, я не знал Ницше, но я был Ницше до Ницше, как были христиане до Христа. Сам же Розанов есть Ницше до Ницше. (Это значит, бросив все, начать это же лично, все взять на проверку с предпосылкой «да» вместо «нет», как нигилисты.)

Итак, Ницше – это переоценить все на себе, оторвать человека от традиции и вернуть его к первоисточнику.

Мережковский сказал, что Ницше под конец в своем Дионисе узнал Христа.

Следовательно, и Ницше и Розанов отрицают Христа исторического, церковного.

А что же сам Христос?

У Достоевского Великий Инквизитор иронически защищал традицию против «самого» Христа.

Да, все сводится к тому, существует ли творческое начало (бог) вне меня или же это из меня только.

Вот еще: в состоянии Заратустры в сверхчеловеческом и есть именно то, в чем и Ницше и Розанов обвиняют Христа: «да» за счет отрицания рода.

1935

1 января. Бывает, жизнь как бы вскипает, и вот тут в личном сознании является решимость что-то сбросить с себя такое, из-за чего между людьми и бывает весь спор: самую жизнь готов бываешь отдать. Тут вот и рождается герой, и этому героическому действию, преодолевающему всеобщее родовое стремление жить, и посвящено учение Христа. Но бывает, иному человеку надобно жить как всякой твари, и жизнь эта его очень далека еще до точки вскипания, а от него со стороны требуют подвига. Он не может... и он будет отстаивать обыкновенную жизнь и против героического подвига будет стоять, как против чумы и всякого рода смертельной опасности. Так история борьбы Розанова с Христом мало чем отличается от маленькой истории рядового солдата с Керенским. «Зачем, – сказал он, – я пойду в наступление, если за это мне впереди будет только могила?» Так что если нет внутреннего согласия на героический подвиг и он ему навязывается, то, конечно, «жизнь» надо отстаивать, и эта жизнь паршивенького человечишки в ее голой животности перевесит из-за своей правдивости пустой раздутый баллон героического подвига и победит.

14 сентября. У Розанова жена *поглощает* мужа, у Толстого муж *убивает* жену. Таковы границы мировой катастрофы. А я хочу направить силу творчества на рождающую женщину (то же, что овладеть машиной

и сделать ее «Машкой»), сделать, чтобы рождающая женщина стала Мадонной, чтобы зачатие было «беспорочным», «непорочным», а человек рождался во плоти. А ведь так же оно и есть у Христа (а сделала порочным церковь).

3 октября. Была Т. Розанова, и с ней разговор на эту тему: как охранить себя от «глупцов», и необходимо ли для этого создать личину и что если остаться без личины, то надобно юродство, но юродство церковью допускалось неохотно, и правильно: с ним легко попасть на путь своеволия демонизма (хороший пример сам Розанов).

1937

3 мая. Читаю с великой пользой розановские «Опавшие листья». Розанов в одном месте говорит, что встреча его (возле Введения) с семьей его жены (Бутягиной) открыла ему мир благородных людей, что он впервые понял порядочность и возможность счастья. Надо это понимать для всех: каждый, входя в семью своей будущей жены, впервые *лично* встречается вообще с семьей (до сих пор, как несовершеннолетний, он не мог понимать и ценить семьи, в которой родился).

Розанов дивится и не понимает после всех неприятностей «любви» Мережковского к себе и отмечает, что, однако, сотрудничать с Розановым (Варвариным)в «Рус<ском> слове» Мережковский отказался. В этом случае Розанов — русский кустарь и обыватель, а Мережковский — европеец, воспитанный человек в том лучшем образе, каком мы представляем себе иностранца.

6 мая. Под влиянием Розанова («Опавшие листья») думаю о линии между его «смирением» и «самодовольством». Несколько успокоил себя своей работой для детей. Но вполне успокоить нельзя, потому что как бы там ни было, но писатель всегда эгоист и отчасти обманщик, потому что личную жизнь свою маскирует общественным служением. (Разобрать.)

9 мая. Прочитал Розанова «Опавшие листья», хорошая книга, и человека жалко, Розанова.

10 мая. А<нна> Д<митриевна> рассказывала, что у нее был один знакомый горбун, духовно преодолевший свой горб, очаровательный человек (В. В. Розанов в «Опавших листьях» — в этом роде: и какой христианин!). Благодаря горбу видна всякая мелочь в людях, все зло, а творческая сила сверх зла приводит к любви, но чисто языческой, к красоте.

21 мая. Борьба с Христом Розанова имеет подпочву хорошей русской некультурности. По существу, Розанов именно и есть христианин, но только хочет подойти к Христу сам и не дается себя подвести..

22 мая. Розановское азиатское лукавство и европейское рыцарство Мережковского (Герцена): об этом можно думать всю жизнь!

Мало ли было такого рыцарства в эсерах, но все оно растаяло, как леденцы, непонятно, чем сейчас может держаться честный человек, прямой. В такой доблести теперь подозреваешь просто глупость (и свою собственную). Честность, прямота, рыцарство – все это качества *типовые.* Розановское я, как solo, должно все это разложить. И как разлагающий фермент, чистое solo, он остается, конечно, тогда как выродилась общественность честного типа. Мережковский должен был подлежать разложению вместе со всей общественностью и государством.

В цинизме своем Розанов мог бы идти беспредельно, так как границей такого цинизма могло быть некое состояние общества, в которое он должен был упереться: «дальше идти некуда». Но государство было мягкое, церковь бессильная, общество шло навстречу революции.

Человек достигал «своим способом» того, в чем ему было отказано природой (В. В. Розанов: некрасивое лицо свое заменил красотой слов и т. д.).

3 июня. Мои поиски «простоты» (заработок, природы и все проч.) есть путь «мусорного человека» (Розанов) к правде Христа.

Чтобы приблизиться к Христу, не обязательно все написанное признать пустяками – нет! Но то хорошее, что написано, надо считать как если бы не я написал, а кто-нибудь другой: не я, так другой бы написал, не все ли равно! Мне это было «дано», как и всякому, у кого есть талант.

4 июня. Сильнейшее впечатление от «Опав<ших> лист<ьев>» Розанова, переживание. Вот, оказывается, вот пример, как неверно наше понимание, что к Христу, к церкви можно прийти путем догадки, что ли, додумался и переменил во Христе свою жизнь. Это юность, нигилизм и толстовщина. Жизнью своей приходят, к этому подводит жизнь и становится ясно. Личная жизнь прежде всего, как вот бывает, как сейчас, и жизнь общества, государства. Бывало, догадываешься, что вот то-то произошло от церкви, и останавливаешься с этим на середине. А теперь нет никакой середины, все среднее сгнило до основания.

7 июня. Розанов восставал и против Христа, и против церкви, и против смерти, но когда зачуял смертное одиночество жизни, то все признал, и Христа, и церковь, выговаривая себе только право до конца жизни — право на шалость пера.

11 июня. Розановские «Опавшие листья» интересны лишь потому, что свой интимнейший спор семья, дети и пр<очее> в свете великих проблем... гениальность в этом же и состоит: здесь только раскрыто сердце, а у других: только то и читаемо, где сердце, чья душа: «я». Чтоб «он» стал как «я». «Я» выведенное: т. е. «я» — единство с «он».

17 июня. Смерть есть смерть не тем, что умрешь, кончишься, а что все в мире представится тебе в ином измерении. Вот, напр<имер>, Розанов сколько наговорил против Христа, против монашества, церкви, а пришла смерть — и все это признал. Чуть-чуть это напоминает ту перемену, которая наступает в отношении к детям: казалось, в отрочестве, что любить своих детей невозможно, а когда проходит отрочество, юность и мужчина становится отцом, — какая прелесть свои ребятишки. Иное измерение! Так и в свете смерти все переменяется, и вот эта перемена именно и разлучает с живыми.

29 июня. Да, это нечто новое, до этого я дожил, и «Опавшие листья» Розанова сыграли в этом свою роль, были последним толчком.

30 июля. Розанов — послесловие русск<ой> лит<ературы>, я — бесплатное приложение. И все...

6 августа. Все, что пишет Шкловский о Розанове, есть демонстрация книжности своего еврейского ума. А сам Розанов вырос из русской культуры свободно и радостно, как цветок.

8 августа. И еще одно удивительное единство во мне — Розанов. Он своей личностью объединяет всю мою жизнь, начиная со школьной скамьи: тогда, в гимназии, был он мне козел, теперь в старости герой, излюбленнейший, самый близкий человек.

Шкловский, книжный ум и еврей, изучил Розанова, разложил его неглупо на составные части и стал ему подражать. Умен, в этом глуп, не может понять, что такой органический талант, как Розанов, живет, растет, зреет на человеке, как яблоко на дереве.

В литературе русской всегда было так, что тем выше литературное производство, чем автор меньше думал о себе как литераторе и представлял себе, будто он вообще открывает каким-то своим способом Америку. Таким был Розанов всю свою жизнь, и вдруг оказалось в последних трех книгах, что он литератор, поэт Божиею милостью. Так было: вопреки всему Розанов оказался литератором. А Шкловский разбирает и доказывает, как хитро строил Розанов свои вещи, и даже указывает Розанову на то, где пришла ему в голову та или другая мысль, например в ватерклозете, Шкловский называет «пейзажем». Умно до глупости, и для чего-то нужно.

9 августа. Читал о Гете и думал о Розанове, что один на пьедестале, а другой без памятника, и место, где зарыт, забывается: нет никакой отметины на месте могилы, и ежедневно там по этому месту люди ходят.

11 октября. Читаю Пушкина, вспоминаю Горького и завидую полноте жизни таких людей, вернее — широте. Близок мне по жизни В. В. Розанов, это и дочь его говорит Тат<ьяна> Вас<и-льевна>.

1939

3 мая. Сверхчеловек и Род Розанова – противоположное разрешение вопроса о личности и обществе, данное в Евангелии Христа. Вопрос о личности поставлен для разрешения на тысячи лет, а *Я* короткое и все *Я*, проходящие как туман, сопровождающий *Необходимость* и *Надо* и есть поправка к *Хочется*.

1940

18 августа. Розанов боролся на два фронта, один фронт – ему была безбожная интеллигенция, другой – суеверие церковное.

25 декабря. Вечером читали Блока более двух часов, и ясно предстало люцифер-хлыстовское происхождение этой поэзии. Вспомнилось: в Р<елигиозно>-ф<илософском> собрании Розанов из толпы людей вытащил за рукав Блока и сказал мне: – Вот наш хлыст, и их много, все хлысты.

1941

9 октября. Помню, кажется, Блок мне сказал: «Между тем как пройдешь через все подполье, то почему-то показывается из этого свет...» И Розанов такой, и целая большая среда особых специфически русских людей сознательно тяготеет к подполью, к этому свету гнилушек.

11 ноября. Вчера я Ляле на ночь сказал, что смотрел на Распятие и думал о смерти, а когда смотришь на цветок или на ручей, то чувствуешь радость жизни и думаешь о детях, о будущем, о светлом пути человека в его возможностях. «А я с 12 лет думала о Христе как светлом пути в жизни и в беспредельность», – ответила Ляля.

И вероятно, ее чувство Христа вернее моего рассуждения, навеянного, вероятно, Розановым и подобными. Распятие, вероятно, не есть образ смерти, а образ творческого усилия личности, сжигающего плоть свою для прыжка в бессмертие. Распятие есть образ творчества личности, пренебрегающей в этот момент радостью жизни.

29 декабря. Розанов в своих «Людях лунного света» слишком поторопился снабдить минусом пол девственниц. Он того не понял, что этот минус, который характерен для всякой женской особи, на первых порах убегающей от самца, таит в себе будущий плюс. Так что если это принять во внимание, то и религию Христа надо понимать не концом, а началом, не вырождением, а возрождением.

1942

26 февраля. Розанов увлекся своей биографией, это дало живость его писаниям, обеспечивая уверчивость читателя. Но философия его, при-

вязанная к своему личному опыту, несет на себе все последствия такой искусственной связи: нельзя создать новую Библию на лично семейном опыте. Дело в том, что семейная жизнь есть нечто такое, чего осмыслить нельзя, пока из нее не вышел. Вот я то же самое создал из своей семьи, какую-то легенду о великом Пане, охотнике, а может быть, даже и патриархе родовом. А после оказалось все это маскировкой, прикрывающей свою неудачу, свою бедность. Розановская любовь, розановская семья тоже одна из форм таких маскировок.

Вспомнились отношения А. В. Карташова и Татьяны Н. Гиппиус, напоминающие наши отношения с Лялей. Эти отношения, со стороны глядя, не казались увлекательным примером. И это надо усвоить для себя: ни в коем случае, никогда свой личный мир не ставить в пример. Так что на очередь: истребить в себе все следы влияния на себя Розанова и личный опыт свой не обнажать.

28 февраля. В некоторых вещах моих рассказ от своего лица вполне понятен: назвать *Смертный пробег, Жень-шень* и друг<ие>. А в некоторых (*Родники Берендея, Домик в Загорске, Очерки с фотографиями*) это «я» становится какой-то не очень приличной выходкой.

Это бывает по причине подмены целого «я» как личности частным своим «я» в его бытовой ограниченности. Эта подмена происходит неспроста, тут можно найти элементы паденья духа, удовлетворяемого ползаньем вместо полета. Впрочем, у меня это является результатом дурного литературного воспитания и подражания Розанову. А у самого Розанова... Впрочем, я, совершая подмену, гляжу на Розанова, а Розанов глядел на К. Леонтьева или на Ницше, подменившего Христа Сверхчеловеком. Важно только, что тут или там совершается подмена целого частью, и это является грехом против целомудрия. Иначе сказать, один кто-нибудь в свою целую бочку меда вливает одну ложечку дегтя. А другой в свою бочку дегтя влил ложечку меда.

1 марта... Действительно ли мои провалы в писании происходят от нескромного самообнажения, выражения словом того, что происходит и должно происходить непременно в молчании. И нет! Понимаю так, что в поэзии все возможно и нет дурных материалов. Провал происходит от подмены поэзии, именно подмены и больше ни от чего.

У Розанова замечательно, что он с целомудрием, детством, невинностью играет, как кошка с мышкой. Неправду записал я выше — это я, подражая невольно ему, проваливаюсь, а в том-то и есть Розанов, что он не проваливается. Гениальность его существа в том и состоит, что он попал в какой-то люфт, свободно пристроился между Богом и Дьяволом и свободно, как ребенок, играет то с тем, то с другим.

Обращаюсь к вам лично, В<асилий> В<асильевич>, как бы вы сами лично отозвались на мои догадки:

— Ничего, все правильно — доходишь, только лучше доходи в пользу меня. Я ведь действительно очень мало в жизни получил для себя, ну, скажи, что я получил? И оттого, что ничего особенного не дано мне, Господь Бог разрешил мне поиграть с тем, о чем люди не только говорить, а и думать не смеют. Я ведь русский человек, живу между Европой и Азией и все жду, когда же я к какому-то делу-назначению буду приведен. А пока что на досуге...

— Главное, чего вам не дано, В<асилий> В<асильевич>, это любви к женщине в смысле дон-жуанского святого мгновенья, как любви одной, раскрывающей в человеке личность. Вы свою неудачу перемогли творчеством, изобразив свою семейную жизнь как роман. Вам это можно было сделать, потому что семья была для вас невсерьез, а как опыт ваш для творчества, если бы иначе, вы бы не написали о ней и эта жизнь вошла бы в состав вашей личности и осталась бы в ней тайной.

17 марта. Читал Розанова, у которого было взято все, на чем он стоял: его семья, Россия, церковь — все, все это ушло в его книжечки. Вдруг стал понятен загадочный смысл еврея Вальбе, который назвал еврейскую жадность героизмом и что евреи «спасут Россию». Он этим хотел сказать, что лучшие русские живут только в духе и им не хватает костяка, чувства привязанности к земным вещам.

Узнал от Ляли, что Новоселов ушел от Толстого, потому что тот был весь в душевной жизни, но не в духовной. Она и о Розанове говорила, что сам по себе он не мог быть духовным и ему необходим был кусочек материи, по которой он, как по лесенке, достигал духовного мира. (Недаром в одной книге он поместил портрет своей семьи всем обезьянником: этот обезьянник и был той лесенкой, по которой он восходил к своим мыслям о семье.) Все это верно, только Толстой как художник пользовался лесенкой и достигал тоже этим способом состояния духовной жизни. И всякий художник...

Ляля еще говорила, что мой путь будто бы противоположен розановскому.

16 августа. Всякое искусство предполагает у художника наивное, чистое, святое бесстыдство рассказывать, показывать людям другим такую интимно-личную жизнь свою, от которой в былое время даже иконы завешивались. Розанов этот секрет искусства хорошо понял, но он был сам недостаточно чист для такого искусства и творчеством своим не снимает, а, напротив, утверждает тот стыд, при котором люди иконы завешивают.

18 сентября. Есть люди как Горький, как Розанов и, вероятно, в какой-то мере и я — это люди озарений, вспышек в момент соприкосновения всей своей личности с каким-то родственным материалом. В результате вспышки, похожей на короткое замыкание, личность человека

отдает себя материалу, и эта глина со вдунутой в нее душой получает самостоятельное, независимое от ее творца существование и убеждаемость. Происходит в момент такого озарения нечто вроде деторождения: родиться может такое, чего в обычном состоянии родителя вовсе и нет. Смотришь так на Розанова и особенно на Горького и думаешь, как думали о Мессии: может ли выйти что-либо путное из такого Назарета? А глянешь — и вышло! Так, на что уж досадная фигура Горького, а почитаешь некоторые вещи и подивишься: откуда взялось?

Есть такие люди... А я мечтаю всегда о человеке, который всегда *при себе* и расходует себя не вспышками, а ровно всегда и всюду, как горит свеча.

1943

7 августа. Хорошие это люди — и Горький, и Ценский, и Леонид Андреев, наверное, вначале был тоже неплох, но все это какие-то не вполне серьезные и даже чуть-чуть дурашливые люди. Все их высказывания неглупы, грамотны, но в то же время чувствуешь, что самое главное, что-то истинно свое они дурашливо обходят. А настоящие писатели, Гоголь, Достоевский, Пушкин, даже Чехов, даже Лесков, именно за это свое (самое главное) цеплялись. Да и современники Горького — Мережковский, Розанов, Блок — были серьезные люди.

23 октября. Розанов, по признанию его современников, был самым лживым писателем («с органическим пороком», — писал о нем Струве). И как не подумать о лжи, если он об одних и тех же вещах в разных газетах писал противоположные мнения. А между тем это был поэт правды.

15 ноября. Открыл себе, что мой стиль речей в обществе и в писаниях с обращением к хорошему человеку-другу, заправленный во мне речами Репина, писаниями Розанова, принят мною от народа и является исконным русским стилем начиная от протопопа Аввакума. Калинин тоже так говорит, обращаясь к хорошему человеку.

1944

14 января. Англичане всегда удивляют своей откровенностью, о чем ни спроси, о самом интимном, и он всегда охотно ответит.

Это, конечно, прием очень культурных людей, особое искусство говорить о себе и тем самым еще лучше себя самого укрывать. Но бывают среди всех народов мудрецы, которые всерьез охотно выворачивают свою жизнь на рассмотрение всех желающих: для них, впрочем, вся эта жизнь для общего глаза несерьезна. Они открывают себя, хорошо зная, что самое сокровенное свое, как ни раскрывай, не раскроешь, и то при тебе останется, а эта жизнь как у всех — пусть ее и знают все, и на это вообще наплевать. Розанова помню таким, Репина отчасти. В прежние времена

в простом народе все сплошь друг другу исповедовались из потребности посмотреть на себя со стороны, проверить жизнь свою в общем взгляде.

13 июня. В моей крови есть неприязнь к учительству, я могу быть самим собой только с людьми равными. Но где они, равные? И вот почему, встречая человека нового, я мгновенно нахожу в себе, в нем такого же, как я, частично отбрасывая из себя все лишнее, и великолепно беседую, как с равным. Эту же эластичность чисто русскую и, может быть, и татарскую (их поговорка: если товарищ твой кривой, старайся поджимать глаз ему под пару) я наблюдал у Розанова, Ремизова, Репина и многих других выдающихся русских людей.

22 июня. Розанов восставал на Христа, как декадент, извращенно. Христос есть начало изменений, а бояться движения может или совсем примитивный человек, или потерявший смысл. Ведь в мире так много покоя, так много молчания, что нечего за это беспокоиться, и если бы даже и победило Слово и род человеческий бы прекратился, то ведь это и слава Тебе, Господи (так и Толстой говорил о прекращении рода).

1947

5 февраля. Мысль известная-переизвестная, ношеная и, казалось, изношенная, а вдруг опять вернется и станет поперек пути, как забор. Так в последние дни стала мне против жизни православная мысль о смерти, все то, с чем Розанов выходил против Христа, а Мережковский возражал ему тем, что стрелы его направлены против церкви, но не против Христа. Я сам был под влиянием Розанова и освободился от этой тяги к «язычеству» только с приходом Л<яли>. Она мне собою показала пример возможности во Христе любить жизнь, а не смерть: эта жизнь — как суровая борьба за любовь.

1949

12 декабря. Вчера достал и увидел в первый раз своими глазами книгу Розанова «О понимании».

14 декабря. Начинаю понимать, что «молитва» Розанова направлена к *живому человеку*, и тем самым священному, начиная с жизни его в утробе матери. Этот живой человек (личность) в нем единственная и незаменимая противопоставляется им всякой схеме, всякому отвлечению, и это у него как бы культ человеческого эмбриона. Или мне что-то передалось от Розанова, или я тоже родился другим «священным эмбрионом», но что-то влечет меня к этому святому мыслителю и порочному человеку (порочен тем, что сказал, о чем нельзя говорить, заглянул, куда нельзя заглядывать).

1950

26 марта. У Ксении Некрасовой, у Тани Розановой, у самого Розанова, наверно и у Хлебникова и у многих таких, души не на месте сидят, как у всяких людей, а сорваны с места и парят в красоте; а то бывают души, установленные в добре, — скучные души, а то как у Ляли душа, как осиновый листик сидит на черенке добра и трепещет: эта душа и знает, что сорвется и упадет, как все, но значения этому не придает, сознавая в себе душу бессмертную (оттого и трепещет листик).

28 марта. Читал на ночь письма Блока Розанову. И в ночь в полусне мне было видно, что Блок, конечно, и безошибочно, пусть вопреки даже всей своей физической природе, шел с большевиками (интеллигенцией, с «белым венчиком из роз»), а Розанов шел с народом. В этих двух лицах, Розанове и Блоке, раскрывается распад интеллекта и народности. В этом распаде и продолжается наша жизнь до сих пор: в каких-то судорожно насильственных попытках большевиков заместить свое интеллигентское (да!) nihil народностью. В этом свете насквозь виден и я сам, как писатель, усердно замещающий свой nihil народностью начиная с книги «В краю непуганых птиц».

ИЗ ДНЕВНИКА С. Н. ДУРЫЛИНА

1919 г.

2 *января.* <...>

Вчера после обедни, — а она была торжественная, с молебном, на новолетие: третье в этом году по счету: первое, церковное, 1 сентября, второе — новостильное, никем не почувствованное, и третье это: какое? но поздравляли друг друга с новым годом, желали счастия, — и<,> обедав дома<,> я пошел к Василию Васильевичу. Он именинник. Он лежит ногами к теплой печке, на высокой кровати, весь укутанный всем, чем можно, на голове розовый шерстяной капор. Он осунулся, нос обострился, — глаза карие и точно в них что-то притушено: будто пламя лампы убавлено, слабо горит, но еще не мерцает, а горит, — и глаза глядят из-под нависающих куделяшек капора, — и, видно, лежит и думает.

— Что, жестокий Сережа! — встретил меня. Он звал меня к себе на праздники через Мишу и говорил, что проклянет, если не приду. А я не хотел идти из-за прошлого свидания и ужасного моего чтения 2-го послания к Солунянам, когда В. В-ч выискивал мнимую жестокость апостола Павла, а Коля не мог терпеть и возражал ему. Но обычная его ласка к людям взяла верх. Я дал ему папироску. Он, по собств<енному> желанию, соборовался и во второй раз причастился.

— Священник читал так грустно, что нельзя было без волнения слушать, — сказала В<арвара> Д<митриев>на. — А он рассердился на меня, и, было, вдруг не захотел причаститься. — В. В-ч делает движенье против этих слов.

— Вас очень полюбил этот священник, — сказал я.

— Он — настоящий священник.

В<арвара> Д<митриев>на ушла.

И вдруг В. В. заплакал, — жалко, беспомощно, безнадежно. Я наклонился к нему и поцеловал его в лоб, отстранив капор.

— Какой ужас, — зашептал он.

— Черные воды Стикса. Они заливают все. Они во мне, они со мной. Нет, ты пойми, ты пойми.

— Черные воды Стикса. Они холодом пронизывают каждую ниточку во мне.

Я ничего не находился сказать ему, а он задыхался от тоски, — от черной, страшнее которой я не видал.

— И все уйдут, все уйдут, все уйдут...

Он тихо, старчески, какими-то жидкими частыми-частыми слезками — рыдал — и вдруг зачастил — слеза за слезой, слово за словом, слово за слезой, слезу за словом: все учащая, учащая до какой-то страшной нечеловеческой мелкой дроби слезной:

— Уйдут, уйдут, уйдут, уйдут, уйдут... у-й-д-у-у-у-у-т...

— Не плачь, папочка, — донесся голос В<арвары> Д<митриевны> из-за стены. А он плакал, он отбивал тихую слезную дробь, жалобную, как у ребенка...

— Страшно: все уходят. Ты тут — и уйдешь. О<лсуфьев> придет — и уйдет. Как может это быть с человеком? И как не сойдут с ума все от этого! уйдут, уйдут, уйдут, уйдут.

Я знаю, я знаю: я не умру, когда ты будешь здесь, или о. Павел, или Ю<рий> А<лександрович>, — а вот через десять минут, как ты уйдешь — я умру. Уйдут, уйдут, уйдут, уйдут...

Я не выдержал и стал целовать его. Потом воткнул ему в рот папироску. Он курил до бумаги, курил бумагу. Он дрожал от какого-то внутреннего и внешнего холода.

— Господи! Зачем ты сотворил холод! — вдруг вырвалось у него.

Попросил снять с него валенки и шерст<яные> чулки и положить в печку. Я прикрыл ноги одеялом и растирал рукой. — Теплого молока бы: согреть изнутри. — Я одел его во все теплое.

— Я должен работать. Руками карякать — писать. Для них [семья].

Опять плачет.

— Мокринский сказал мне: у них есть ты. Я тогда у него поцеловал руку.

И благодарная память о тех, кто ему помог (в сущности, — луковкой, не больше), кто его накормил — охватила его.

— Надо нищих кормить. Завтраком. Теплым. Русов меня накормил карпом, и все мне подкладывал, и все кусочки подкладывал. Я так никогда не ел — вкусно, в масле. Сам он нагрел. Он робко с женой<.> «Жену не будем беспокоить». И все мне подкладывал.

— Сходите к Гольдовскому. Еврей; присяж<ный> повер<енный>, мой университет<ский> товарищ. Я у него выпил 4 стакана кофе с молоком.

«У нас корова дает прекрасное молоко». Пойдите к евреям — и попросите для Розанова — ну, объясните им там — щуку. Она в масле. Их питание. От нее здоровье...

Потом обо мне. Я ему сказал о своих «пьяных истории».

— С этого ты начнешь следующую свою книгу. История еще не написана. Смотрели не туда, куда нужно. Ничего не увидали — не увидали, на ком стоит история: нянь, тетушек, кормилиц, тихих.

Он стих. Перекинулся с В<арварой> Д<митриевной> и Надей словом о Мережк<овских>.

— Да вот говорят: декаденты плохо живут с женами. Это не правда. И Мережковский и Бердяев отлично.

— О. Павел тверд. Он многого не видит, оттого, что не хочет. Он гениален, — ну, конечно, он гениальный. Но зачем он спорил с Тареевым? Бездарный дурак. Надо было обойти.

— Как ту, что лежит на дороге.

— Да. А он упрям. Папироску.

Он посучил губами.

— Будет. — (В<арвара> Д<митриевна>) — Ты третью. Вот уйдет С<ергей> Н<иколаевич> — тогда для развлечения.

— Ну, для праздника (я).

Я вставил ему в рот.

— Ты все прожег на себе.

Я стал прощаться, обещав придти писать под его диктовку. Он обрадовался.

<—> Хотите? — Конечно, хочу. — Несколько слов о Тане Сид<оровой>. Она — родная. Я поцеловал его. Ушел. А он остался лежать — весь в холоду, все с думой, с «каряканьем», в розовом капоре, худой, маленький, с остреющим носом, с карими глазами, с страшной дробью: «уйдут, уйдут, уйдут». И знает, и знает — что уйдет, скоро уйдет. И трепещет «черных вод Стикса».

По дороге встретил брата и Ю<рия> А<лександровича>. Они шли к В. В.

<...>

Сегодня хоронили архиепис<копа> Никона.

В. В-ч про него сказал Ю<рию> А<лександровичу>: «Жил некто Бобчинский в Посаде и хотел пойти к нему (Никону) и все объяснить, — и не успел сделать. Это — я».

3-го <января>, четверг. <...>

А 1-го, когда В. В-ч плакал с страшной дрожью <«>уйдут, уйдут<»> и Надя и я растерянно молвили ему, что-то вроде: «да нет же: все тут, все встретимся, нет этой черной воды», он замахал на нас (внутренно, ибо

так-то не может: лежит) и что-то страшно отрезал: «Ничего не понимаете. Уйдут, уйдут. Вы ничего не знаете, а я знаю. Черные воды Стикса». Точно они уже заливают его: да он так и думает: холод внутри, холод снаружи, холод сжимает, как тиски. «Каждую ниточку». И слышать не хочет, кажется ему глупым, детски-незнающим всякий, кто не верит, что есть эти — черные воды и что они, — они, — самые сильные в мире: не верят, потому что не знают... Какой ужас! И он знает, что умирает.

За его душу великая идет борьба. Про него Сергей П<авлович>: «Можно только говорить: вот эта мысль, этот поступок его не христиански, ложны, а про всего его — нельзя».

3-го. Вечером. Был у В. В. Ему худо. Язык плохо слушается, — как страшно: не повинуется. Речь не выходит. Он тих и сам про себя жалуется: «Я все хнычу». Но не хныкал. Я принес ему стакан меду от С<офьи> В<ладимировны>. Он скушал ложечку. «Я только капельку».

«Я все читал: гиметский мед. Что такое?»

Я сказал. «Ну, вот я его мысленно ел прежде». Молчал. Принесли бумагу и чернила — молчал, что-то думал, что-то думал выразить, но он был так беспомощен, так явно — уже вне писания, даже и «карякания» своего!

— Я знаю, что скоро умру, но когда — не знаю. Я весь словно в каком-то мареве.

Помолчал.

— Поцелуйте меня.

И мне что-то зашептал:

— Матовое. Матовое. — И еще что-то: «я ведь знаю, что это — грех...» И мучительные усилия что-то сказать. Язык не хочет служить мысли. И другим шепотом, ясней, тверже, так, что Надя слышала:

— Христос Воскрес!

Я, пораженный, не нашелся, что ответить. И опять:

— Христос Воскрес!

Тут я наклонился над лицом его, — над милыми смотрящими глазами и сказал:

— Во истину воскрес!

Потом он опять замолчал. Только прислушивался к разговору с Надей, с В<арварой> Д<митриевной>. Он не спал ночь.

— Мамочка милая, неоцененная, труженица моя вечная, ты лучше дочерей, ты всех у меня лучше, но лучше и тебя — сон.

— Усни, папочка.

Я поцеловал его и мы вышли.

В столовой остановились стенные часы. У В<арвары> Д<митриевны> были слезы на глазах.

— Это к большому несчастью.

— Что вы, В<арвара> Д<митриевна>. Вот у меня давно стоят, и я жив... <—> пошутил я.

Но это несчастье будет, скоро, будет. Он слабеет. Ко всем мирен. Ни к кому вражды и суда. Т<атьяна> В<асильевна> говорит: «Он проживет еще неделю». Все просил перевернуть его на левый бок. Мы перевернули.

4-го <января>.

1-го В<арвара>Д<митриевна> подала мне тетрадочку. «Прочтите нам с В. В.». И вдруг вопль протеста Нади: это были ее стихи — обратный Блок: «Неведомый друг» вместо «Прек<расной> Дамы» — переписанные отцу на именины, как в детстве, в маленькую домодельную книжечку.

В. В.: «Отчего С<ергею> Н<иколаеви>чу не прочесть мне стихов?<»>

Я: «Я же не литератор» — и упчеляю <так!> Надю в другой комнате, а В. В. с постели:

— Неправда, не правда, неправда. Он настоящий писатель.

Вечер. Был у В. В. Ему получше. Ночью спал и не курил. Лежит весь с головою укутан. «Так хорошо». И просит не раскрывать его. И голос идет из груды теплых вещей, а лица не видно. Потребовал, чтобы меня напоили чаем. «И с сахарином». Потом заснул. Из Оптиной были худые вести, но батюшка радостен и бодр, и всех утешает. «Не наше дело» — говорит С<ергей> П<авлович> о судьбах Оптиной.

Прочел сегодня около 10 листов «Описи». В. В-ч 2-го говорил С<офье> В<ладимиров>не: «Нам все надо бросить, — все, все решительно — и спасать друг друга. Я все думаю: какой смысл в том, что все сюда собрались. Он должен быть. Он есть». <...>

10 января, четв<ерг>.

<...> 7-го зашел к о. Павлу. Он: «Я видел сегодня во сне Троицу: мне виделись иконы св. Троицы». От него к В. В-чу. Он здоровее, двигает левой больной ногой, капризничает. «Вы — сад, В. В. У вас — в сочинениях — поляна для вечерка, тень — для солнечных часов, кустарник...» (я). — Вот кустарника-то много (Сережа проворчал). — Это верно. Да, да. Это очень верно, — отозвался В. В. Капор мы с него сняли. «Я ел манную кашу. Дьявольски, т. е. ангельски, вкусно».

18 пят<ница>. <...>

В. В-чу вчера было очень плохо. Не мог говорить. Ничего не ел. К вечеру попросил, чтоб его причастили. Причастился, исповедовавшись, в третий раз. И стало лучше: ел, пободрел, заговорил. Сегодня Варвару Дм<итрие>вну соборуют. Им пришли деньги от Горького. Таня гов<орит>: «Вокруг нас что-то делается». В. В-ч так же думает. Он слаб.

ИЗ ПИСЬМА СВЯЩ. П. А. ФЛОРЕНСКОГО К М. И. ЛУТОХИНУ

5—6 сентября 1918 г.

Глубокоуважаемый Михаил Иванович!

Спешу ответить на сегодня полученное письмо Ваше. О Вас. Вас. сказать могу лишь очень немного, ибо иначе — надо говорить слишком много. Существо его — Богоборческое: он не приемлет ни страданий, ни греха, ни лишений, ни смерти, ему не надо искупления, не надо и воскресения, ибо тайная его мысль — вечно жить, и иначе он не воспринимает мира. Вас. Вас. — есть такой шарик, который можете придавливать — он выскользнет, но который не войдет в состав целого мира: он сам по себе, per se est, или, по крайней мере, potat se per se esse*. Это — стихия хаоса, мятущаяся, вечно-мятущаяся, не признающая никакой себе грани, — хаоса не понявшего и не умеющего понять своей конечности, своей условности, своей жалкости вне Бога. Бейте его — он съежится, но стоит перестать его бить, он опять возьмется за свое. И потому Вас. Вас. надо глотать целиком — если можете и хотите, и отбрасывать целиком — если не умеете и не желаете проглотить. Меня удивляет, как это ни Вы, ни другие не видят непрерывности мыслей, настроений и высказывать В. В.: право же, он говорит теперь то же (в сущности дела), то же именно, что говорил раньше. Спорить тут бесполезно, ибо В. В. не умеет слушать, не умеет и спорить, но по-женски твердит свое, а если его прижать к стене, то негодует и злится, но конечно не сдается. Если бы действовать на него не логически, а психологически, то он (и это не было бы корыстно, расчетливо, а произошло бы само собою) стал бы говорить иное, хотя и не по существу, а — по адресу. Например, если бы его

* мог бы быть сам по себе (*лат.*).

приютил какой-либо монастырь, давал бы ему вволю махорки, сливок, сахару и пр., и пр., и, главное, щедро топил бы печи, то, я уверяю, В. В. с детской наивностью стал бы восхвалять не этот монастырь, а по свойственной ему необузданности обобщений, чисто детских индукций ab exemplo ad omnia* — все монастыри вообще, их доброту, их человечность, христианский аскетизм и т. д. И воистину, он воспел бы христианству гимн, какого не слыхивали по проникновенности лирики. Правда, этот гимн, если бы внимательно вслушаться в него, оказался бы восхвалением христианства не за христианственность, а за некоторые нейтральные черты в нем, но он был бы сладостно действен, общественно (т. е. для дураков, кои не умеют разбираться в сути дела) более полезен, нежели все говоримые проповеди, вместе взятые. Но вот, приехал В. В. в Посад. Его монастырь даже не заметил, — конечно! — в Посаде выпали на долю В. В. все те бедствия, которые в гораздо большей степени в это же время выпали бы в СПб., в Москве и всюду. Нахолодавшись и наголодавшись, не умея распорядиться ни деньгами, ни провизией. ни временем, этот зверек-хорек, что ли, или куничка, или ласка, душащая кур, но мнящая себя львом или тигром, все свои бедствия отнес к вине Лавры, Церкви, христианства и т. д., включительно до И. Х. Почва была подготовлена: семейные истории В. В., уже давно намозолившие ему шею, подготовили его бешенство против консистории, Церкви, Христа. Кое-что в словах его, ложно выраженное, содержит правильное постижение хода мировой истории. Но все же так это выражается. Ложно, по основному направлению В. В-ча, по его складу духа, не приемлющему никакого «нет», никакой задержки, никакого «должен», — стремящегося излиться, как льется поток воды, и не переносящего ни малейшей препоны на самое короткое время.

Ваш священник Павел Флоренский

---

* от частного к общему (*лат.*).

ИЗ ПИСЬМА СВЯЩ. П. А. ФЛОРЕНСКОГО К М. В. НЕСТЕРОВУ

Дорогой, глубокоуважаемый Михаил Васильевич! С несказанною радостью получил сейчас Ваше письмо... Начну с Вас<илия> Вас<ильевича>. Да, он умер, 23 января 1919 г., после одной из бань, решительно ему запрещенных, его постиг удар; в параличном состоянии он пролежал несколько месяцев, очень неистовствуя и измучив родных. Но наряду с делами почти безумными с ним происходил и благотворный духовный процесс: В<асилий> В<асильеви>ч постигал то, что было ему непонятно всю жизнь. Он «тонул в бесконечно холодной воде Стикса», тосковал «хотя бы об одной сухой нитке от Бога», между тем как стигийские воды проникали все его существо. «Вот каким страшным крещением сподобил меня Бог креститься под конец жизни», — сказал он мне при посещении его. Потом у него началось странное видение: «все зачеркнуто крестом». Я: «У вас двоится в глазах, В<асилий> В<асильевич>?» — «Да, физически двоится, а духовно все учетверяется, на всем крест. Это очень странно, очень интересно». Мне он продиктовал нечто в египетском духе на тему о переходе в вечность и об обожествлении усопшего: «Я — Озирис и т. д.». Много раз приобщался и просил его соборовать, он нашел тут священника о. Павла себе по нутру. Твердил много раз, что он ни от чего не отрекается, что размножение есть величайшая тайна жизни; но принял как-то и Христа. Были у него какие-то страшные видения. Когда увиделся с ним в последний раз, за несколько часов до смерти, то В<асилий> В<асильеви>ч встретил меня смутно — уже прошептанными словами: «Как я был глуп, как я не понимал Христа». За последнее слово не ручаюсь, но, судя по всем другим разговорам, оно было сказано именно так. То, что он говорил затем, я уже не мог разобрать. Это были последние его слова. Перед смертью В<асилий> В<асильеви>ч продиктовал своим

бывшим друзьям и в особенности тем, кого считал обиженным собою, очень теплые прощальные письма. Мирился с евреями. Погребение его было скромное-прескромное, но очень благообразное и красивое. Собрались только самые близкие друзья, бывшие в Посаде. И гроб — Вы знаете, как тут трудно добыть гроб, — попался ему изысканный: выкрашенный фиолетово-коричневой краской, вроде иконной чернели, как бывает иногда очень дорогой шоколад, с фиолетиной и слегка украшенный, — крестиком из серебряного галуна. Повезли мы В<асилия> В<асильеви>ча на розвальнях, по снегу, в ликующий солнечный день к Черниговской и похоронили бок о бок с К. Леонтьевым, его наставником и другом. Все было мирно и благолепно, без мишуры, без фальшивых слов, по-дружески сосредоточенно. Однако это был лишь просвет. А потом и пошло и пошло. Словно все бесы сплотились, чтобы отомстить за то, что В<асилий> В<асильеви>ч ускользнул от них. — Для могильного креста я предложил надпись из Апокалипсиса, на котором В<асилий> В<асильеви>ч последнее время (пропущено слово) и на котором мирился со всем ходом мировой истории: «Праведны и истинны все пути Твои, Господи». Представьте себе наш ужас, когда наш крест, поставленный на могиле непосредственно гробовщиком, мы увидели с надписью: «Праведны и немилостивы все пути Твои, Господи»...

В. В. РОЗАНОВ В ДОКУМЕНТАХ ЭПОХИ

СУД НАД РОЗАНОВЫМ

Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества

Доклад Совета и прения по вопросу об отношении общества к деятельности В. В. Розанова. Стенографический отчет

Председатель. Слово принадлежит Д. В. Философову.

Д. В. Философов. Как видно из документов, оглашенных председателем Общества, Совет предложил В. В. Розанову добровольно покинуть Общество, на что Розанов ответил отказом, находя, что исключение по § 26 представляет «свой интерес».

Затем, из постановления Совета от 16 ноября видно, что Совет просил Розанова покинуть Общество по двум мотивам. Во-первых, потому, что последние выступления его в печати несовместимы с порядочностью, и, во-вторых, потому, что Совет считает невозможной совместной работу с ним в одном и том же общественном деле.

Позвольте мне сделать несколько дополнений в развитии этой краткой формулы.

Прежде всего, предлагая Розанову покинуть Общество, а затем предлагая Обществу формально исключить из числа членов, Совет отнюдь не имел в виду суда над личностью Розанова. Совет находит, что не дело Общества судить своих сочленов за их частные поступки. Этой точки зрения члены Совета придерживаются со дня своего вступления в ряды руководителей Общества.

21 ноября 1908 года в московских газетах появилось письмо, подписанное членами Совета Московского Религиозно-философского общества. В письме этом московский Совет доводил до «общего сведения, что он предложил такому-то члену Общества (в письме это лицо было на-

звано) выйти из состава Общества за ряд действий явно предосудительного характера».

Московский Совет этим не ограничился. Он обратился к Совету петербургскому с просьбой последовать его примеру и публично заявить, что означенное лицо удалено и из числа членов петербургского Общества.

На эту просьбу петербургский Совет ответил самым решительным отказом. Брать на себя роль судей, отпускать или не отпускать грехов своих сочленов Совету казалось прямо чудовищным. А потому в списках действительных членов петербургского Общества означенное лицо числится до сих пор.

Поставив на повестку предложение об исключении В. В. Розанова, Совет отнюдь не изменил своим прежним взглядам и находит, что суд над личностью, над ее частной жизнью для таких организаций, как Религиозно-философское общество — есть вещь совершенно недопустимая. Но речь идет не о Василии Васильевиче Розанове, а об известном публицисте и замечательном писателе Розанове, о его многочисленных, совершенно публичных выступлениях, причем особенно существенными являются в данном случае не столько даже общественные идеи г-на Розанова, сколько те приемы общественной борьбы, к которым он прибегает.

Среди некоторых членов Общества существует взгляд, что Религиозно-философское общество, поскольку оно занимается чисто теоретической разработкой религиозных и философских вопросов, — должно отличаться абсолютной терпимостью, придерживаться совершенной свободы мнений.

Теоретически это положение правильно, но, как все отвлеченные принципы, оно не легко воплощается в жизнь. Да, наше Общество — религиозно-философское, а потому оно и теоретическое, занимающееся обменом мнений, но оно есть вместе с тем и *общество*, т. е. известная общественная организация, имеющая свое *лицо*. И как бы ни отстаивали полную терпимость, все равно до конца ее провести нельзя, не жертвуя *лицом* Общества, его особенностью, его отличием от других аналогичных организаций. Существуют границы терпимости, переступив которые, Общество теряет лицо, становится случайным сборищем людей, а сама терпимость переходит в цинизм, в полное равнодушие к слову; свобода мнений переходит в блудословие, в чем обвинял наше Общество еще так недавно один из видных публицистов, и против чего Совет энергично восстал.

Редактор газеты «Колокол» г-н Скворцов очень резко обрушился на нас (19 января 1914, «Колокол») за нетерпимость. Когда такие упреки исходят от лиц, подобных г-ну Скворцову, они значительно теряют свою



остроту, но все-таки послушаем, в чем же, по мнению г-на Скворцова, состоят главные задачи Общества, его работа.

«В заседаниях, прениях и суждениях, — отвечает г-н Скворцов, — религия и философия требуют свободы, — прибавляет он, — а гг. Карташевы за такую свободу подвергают членов остракизму».

Устами г-на Скворцова да мед пить. Действительно, религия и философия требуют свободы. Но такой свободы в России нет. Нет именно потому, что торжествует своеобразная терпимость г-д Скворцовых. Закрывать на это глаза — значит быть или лицемером, или недальновидным. Именно потому, что в России нет ни свободы мысли, ни свободы совести, ни свободы общественной жизни, безразличная ко всему терпимость есть величайший цинизм. И если мы желаем освободить Общество от одного из самых ярких представителей темных и злых общественных сил, представителей насилия, нетерпимости, кощунственного злоупотребления религиозными ценностями, — не потому, что мы уважаем слово, знаем, что слово имеет свою цену, что оно не звук пустой, и чем оно талантливее, тем оно ответственнее, особенно в России, где искони существует страшный окрик «Слово и Дело».

Для нас религиозные ценности тесно связаны со свободой, и те, которые пользуются ими в целях насилия над совестью и даже жизнью, — для нас нетерпимы. Относиться к Розанову только эстетически, любоваться его талантливостью, — это значит презирать Розанова, не считать его реальной силой. Те, кто во имя отвлеченного начала не хотят сделать выбора между Розановым и нами, те, кто во имя ложно понимаемой культурности находят, что писания и общественные выступления Розанова — только талантливая литература, не больше, не хотят видеть, что за этой литературой скрывается страшное влияние на жизнь, что для миллионов людей, которые стонут от насилий, чинимых розановским лагерем, решительно все равно, — будут ли их мучить талантливо или бездарно. Культурным воздержанием вопроса не решишь. Надо сделать выбор. Жизнь этого требует. Воздерживаться в данном случае от выбора — не значит воздерживаться от политики. Безучастное созерцание, величественное молчание есть уже громадное действие. За этим молчанием скрываются очень громкие слова, оправдывающие то, что есть, оправдывающие связь религии с застоем и смертью.

Вся деятельность нынешнего Совета была направлена на то, чтобы разорвать эту связь, чтобы показать, что религиозные темы — суть темы жизненные. На этой почве происходил обмен мнений, иногда очень страстный. Благодаря такому обмену мнений постепенно выяснялось лицо Общества, образовывался подбор участников в наших работах, намечались те пределы терпимости и свободы, за которыми начинается или беспросветный цинизм, или величайшее насилие. Происходил этот

процесс естественно, и, конечно, Совету в голову не приходило насильственно удалять инакомыслящих. Просто сторонники застоя, несвободы, использования религии как политического средства для замораживания России и оправдания вещей, оправданию не подлежащих, сами себя устраняли от деятельного участия в работах Общества. Этих лиц и по сию пору довольно много в списке действительных членов. Розанов по этому пути самоустранения не пошел. Вместе с тем, он человек настолько сильный и яркий, что, конечно, не может числиться «в мертвых душах». И вот в Обществе постепенно нарастало недомогание. Лицо его оставалось искаженным, его деятельность не могла развернуться. Слова начинали терять свою цену, потому что не только противоречили друг другу, а как бы уничтожали друг друга. Обществу стал грозить распад, потеря лица, потеря всякого общественного значения, превращение его в столь любезную г-ну Скворцову говорильню. Конфликт назревал давно и, наконец, обострился до крайности. Для Совета получилась полная невозможность дальнейшей планомерной работы, и Совету пришлось перед лицом Общества поставить ребром вопрос: с кем оно желает идти дальше — с Розановым или с Советом. Выбор сделать необходимо. Общество должно исключить или нас, или Розанова. Именно так мы вопрос и ставим. В этом смысле мы нисколько не посягаем на свободу господ членов Общества. Если большинству религиозно-общественные взгляды и действия Розанова кажутся приемлемыми, — оно имеет полную возможность оказать ему доверие своими голосами и тем самым исключить нас из Общества. Но совершенно невозможно, не презирая самое Общество как организацию, борющуюся за свое определенное лицо, не презирая Совета и самого Розанова, воздерживаться от всякого выбора и во имя отвлеченного начала впадать в полное равнодушие.

Совет этот выбор сделал. Раз и навсегда. Сделал его и Розанов.

О совершенно неприличных и нетерпимых среди уважающих себя людей выступлениях Розанова в печати можно было бы написать целые тома. Но мы ограничимся только двумя примерами.

Сперва возьмем его выступление в органе Московской Духовной академии («Богословский вестник», март, 1913 г.).

Там появилась статья Розанова под названием «Не надо амнистии».

В феврале многие ждали амнистии, и вот один наивный юноша посылает Розанову следующее письмо.

«Молю вас, остановите кампанию “Нового Времени” против амнистии. Кому будет плохо, если сотни и тысячи несчастных, истерзанных, замученных жестокой судьбой вернутся в семьи. Зачем поддерживать эту жестокость, это посрамление всего лучшего, что есть в неокончательно загаженной душе человеческой? Я спрашиваю вас, во имя чего это новое надругательство, этот новый позор? Кому помешают полутру-

пы, из которых, быть может, половине суждено только приехать и умереть в России? Зачем еще мучить, травить, изгонять? Видали вы эмигрантов за границей? Наблюдали вы их беспросветную жизнь, их муки? Кто искупит их, чем они будут искуплены? А тюрьмы, клоповники, очаги тифа, низости человекообразных зверей, гнусные насилия? Вы вместили в душе много, очень много. Страшно вас читать, о вас думать. Как бы я хотел вас умолить, чтобы вы сами, вам одному известными способами, сделали что-нибудь, что нужно сделать...»

Что же отвечает Розанов на этот, может быть, наивный, но столь благородный вопль.

Приведя письмо полностью, он отвечает:

«Тащите все, по бревну, по доске, тащите, кому что надо, — бери один крышу, другой стены, третий забирай печь, убивайте скот ее (России), коровенку ее, лошадь ее, жгите гумно и хлеба, ломайте соху и борону, и грабли, и заступ, и серп, и прялку.

Вот смысл революции» (с. 646).

«Они захотели — эти "деточки" — "могилки на родной стороне". Нет у них родной стороны.

А потому естественно, что подобных воров и разбойников в Россию пускать не следует.

Блудного сына надо простить, но только *раскаявшегося*, а нераскаявшегося: *Христос не указал*. Да и не нужно» (с. 647).

И Розанов энергично протестует, что эмигранты «полутрупы».

По его мнению, это все «женихи», которые ищут богатых невест, чтобы, «развалившись в креслах, проповедывать свои замечательные идеи то у банкира, то у богачки-помещицы, то у многотысячного инженера» (с. 647).

Приструнив эмигрантов: «Чего расхвастались. Сидите смирно» (с. 649), Розанов заканчивает следующим образом: «Выбор нужно сделать такой: чтобы Россия отвернулась от своих тысячелетних хранителей и сберегателей, проливших за нее кровь, и уж воистину перерядившись в мачеху, в парадную кокотку, вдруг поклонилась Плеханову, Кропоткину и "женатому" Морозову с "Грозой и бурей" в кармане.

Не будет. Не будет гадостей, и эмигранты не вернутся. Дом их сожжен ими самими. Сожжен ими в сердце своем. Нет у них родной земли. Нет им ни жизни, ни могилы в проклятой (ими) "отреченной" земле. Отреклись, — пусть отречение будет полным».

С точки зрения «свободы слова» нельзя бороться с Розановым. Он проявляет свое святое право на свободу мнений.

Но такая свобода нам кажется мерзостью из мерзостей, потому что это издевательство насильника, потому что эти слова ежедневно пере-

ходят в дело, потому что во имя насилия здесь привлечено имя Христа, который будто бы миловать не указал.

И заметьте. Статья помещена в «Богословском Вестнике», органе Московской Духовной академии; ей как бы дана санкция церкви. Конечно, богословский журнал не есть голос церкви, но, разрешаемый духовной цензурой, он впредь, до дальнейших опровержений, все-таки выражает этот голос, и статья Розанова не могла быть понята читателями иначе как руководственное мнение правящих кругов церкви, как мнение редактора, П. А. Флоренского, который состоит профессором Академии, готовит русских юношей к пастырской деятельности.

О, мы, по мнению отвлеченных поклонников свободы слова и терпимости, низко пали: в наши мирные, отвлеченные рассуждения врывается политика. А вот «Богословский Вестник» политикой, и притом погромной, заниматься вправе, — это Христос указал; и когда «душа» петербургского Религиозно-философского общества (выражение Кассия из «Нового Времени») отводит свою душу на страницах богословского журнала, мы должны молчать, твердо следуя доводу: «Не судите, да не судимы будете».

Нет, мы не верим, мы не хотим думать, что Розанов действительно душа Религиозно-философского общества. Это наваждение. А если он и вправду душа, то нам здесь не место. Пусть Общество, наконец, выскажется, пусть определит, где именно его душа, но да не будет оно двоедушным.

Сам Розанов говорит, что надо сделать выбор. О, он человек умный и чуткий. Он ясно видит, что теперь, сегодня, не одна Россия, а две России, и что нравственный долг каждого сознательного человека, каждого живого общественного организма, которые желают иметь свое лицо, — сделать выбор. Потому что пребывать между двумя станами, значит — пребывать в небытии. Но Розанов не остановился на своем призыве к последней жестокости.

Он пошел дальше. Я говорю о его выступлении по делу Бейлиса.

Нас обвиняют, что мы и в этом пункте занялись политикой. Это глубоко неверно. Вопросы политические решаются в другой плоскости. И если некоторые из представителей Совета выступали по этому делу политически, то вне стен этого собрания. Как руководители Религиозно-философского общества, мы лишь восстали против попрания религиозных ценностей, мы подняли голос против принесения национальных религиозных святынь в жертву грубой политики насилия и расовой ненависти.

Здесь Розанов особенно отличился. Даже известное своей терпимостью «Новое Время» и то не вместило кощунств и доносов своего постоянного и славного сотрудника. Розанову, этой душе Религиозно-



философского общества, пришлось перекочевать в татарскую орду «Земщины».

5 октября 1913 года в «Земщине» появилась статья Розанова «Андрюша Ющинский». Не буду приводить обильных цитат. Слишком тяжело повторять лицемерные елейные слова, под которыми скрыты призывы к погрому, крови и мести. Но вот последние слова Розанова: «Кто как хочет думает. Для меня — Андрюша Ющинский есть *мученик христианский*. И пусть дети наши молятся о нем как о замученном праведнике. Да не мешало бы помолиться и в больших церквах, всенародно».

Можно как угодно относиться к православной церкви. Но даже враги ее должны понять, что такого унижения она не заслуживает. Нельзя, стыдно, позорно публично издеваться таким образом над церковной святыней, над ее мучениками.

Но Розанову и этого мало. В той же газете, а именно 22 октября 1913 г., он помещает обширную статью: «Наша кошерная печать». Здесь уже полный и самый отвратительный цинизм, перемешанный с доносами и призывами к погрому.

Именно в этой статье Розанов произносит свою знаменитую фразу:

«Если Вера Чеберячка все-таки не взяла сорок тысяч за покрытие Бейлиса — жму ей издали руку, как и всем притонодержателям и сутенерам, все-таки не убийцам, — то ведь русские литераторы берут сотняжки за такое обеление Бейлиса, и даже "имена" берут четверть предложенного ей... Немножко хлебца и немножко славцы; и эти бедные русские сыты. Они продадут не только знамена свои, не только историю, но и определенную конкретную кровь мальчика».

Но кто же эти русские писатели, продавшие свою совесть, свои знамена и кровь христианского мученика за сотняжки?

Розанов называет их: это Кондурушкин, Пешехонов, Милюков, Мережковский, Философов. Всем им он грозит местью «необразованного русского народа», и на Философова и Мережковского спешит сделать форменный донос:

«Ваша, ваша (т. е. жидовская) Россия. У нас нет отечества. Так торопятся Мережковский и Философов со своим другом Минским и со своим другом Савинковым-Ропшиным в Париже».

Упоминание наших фамилий ни меня, ни Мережковского нимало не трогает. Это, во всяком случае, прежде всего наше личное дело. Мы бы охотно промолчали, как молчат те лица, фамилии которых упомянуты Розановым наравне с нашими. Но вот в чем осложнение. Помимо того, что мы литераторы и публицисты, мы облечены доверием Религиозно-философского общества и входим в состав его Совета, в состав Совета того самого Общества, «душой» которого, по мнению некоторых, является Розанов.

Допустим на минуту, что Розанов прав, что мы действительно продажные люди, что у нас нет ничего святого и что на нас следует призывать месть русского необразованного народа.

Но как же тогда Общество терпит, чтобы во главе его стояли такие люди?

А если Розанов не прав, то не будет ли желание сохранить и его и нас в одной и той же общественной организации проявлением не благородной терпимости, а равнодушного цинизма?

Мы отлично знаем, что насилие и свобода понятия антиномичные. Доведите понятие свободы и терпимости до пределов — получится цинизм. Доведите до таких же пределов ограничение свободы во имя интересов общественных — получится изуверство. Весь вопрос в мере. Не мы выдумали Розанова и самое «дело» о нем. Его выдумала русская жизнь, условия русской общественной деятельности. И нам кажется, что дальнейшая терпимость по отношению к Розанову была бы именно тем цинизмом, который нарушает меру допустимой терпимости.

Мы не стоим за формальный путь юридического исключения Розанова. Все эти споры о кворуме и параграфах нам глубоко чужды. Мы хотим услышать живой голос Общества, увидеть его лик. Мы слишком его уважаем, чтобы думать, что состояние двоедушия — естественное его состояние.

Пусть исход сегодняшнего голосования будет не в нашу пользу. Мы покоримся и уйдем. Мы тогда будем бороться с тем обществом, которое открыто признало Розанова своей «душой». Но достойнее иметь розановскую душу, нежели пребывать в двоедушии или быть бездушным механизмом, говорильной машиной. Лучше примкнуть к лагерю Розанова и брать на себя ответственность за действия этого лагеря, нежели заниматься совершенно безответственными словопрениями на усладу жадной до зрелищ и диспутов толпы. (*Аплодисменты.*)

Председатель. Господа, тут не принято аплодировать, и я бы покорнейше просил воздерживаться от знаков одобрения и порицания. Из того, что вы заслушали, следует, что раньше, чем решать вопрос об исключении В. В. Розанова, необходимо решать предварительный вопрос, — признает ли собрание себя правомочным этот вопрос поставить на разрешение. Я бы покорнейше просил членов собрания высказаться и по этому поводу.

С. А. Алексеев. По докладу, который мы только что выслушали, можно думать, что Совет Религиозно-философского общества вовсе не имел в виду производить суд над В. В. Розановым. Д. В. Философов в самом начале своей речи подчеркнул, что Совет не имел в виду судить его. Я не могу согласиться с таким заявлением. Я здесь нахожу какое-то вопиющее противоречие.

Нам было прочтено письмо г. председателем Общества. Из этого письма видно, что В. В. Розанов обвиняется в общественной непорядочности. Что же — это обвинение не есть суд? Или слово непорядочность не имеет смысла? Что за противоречие? Засим, если нам предлагают исключить члена Общества, очевидно, за какую-то вину, то нельзя же исключать, не установив виновности. Преступление оглашено, и логически ясно, что суд над Розановым нужно сделать. Какая-то странная робость чувствовалась в словах докладчика, когда он сказал то, что является самым существенным.

Я протестую не по поводу исключения В. В. Розанова, а именно по поводу суда над В. В. Розановым. Ибо для меня ясно, и я утверждаю, что Совет призывает нас к суду.

Всем ясно, что суд вещь тягостная. Не только в Евангелии вы найдете слова: «Не судите, да не судимы будете», но и всякая религия в числе основных своих положений прямо или косвенно устанавливает, что осуждение других есть одно из самых тяжелых религиозных преступлений. <...>

И вот, я считаю, что суд для Религиозно-философского общества недопустим по принципу, по идее самого Общества. Из доклада Д. В. Философова выходило, что Религиозно-философское общество будто бы принуждено к этому суду над Розановым. Я тщетно старался услышать какие-нибудь доводы в этом отношении; я слышал только голословные утверждения.

Кто следил за деятельностью Религиозно-философского общества, прекрасно знает, что участие Розанова в то время, когда он стоял более близко к центральному ядру Общества, заключалось в том, что он читал рефераты, сидел и слушал. Розанов давно уже не выступает и вообще не приспособлен выступать в публичных собраниях, так что общая работа Общества с ним по существу почти невозможна, тем более она невозможна теперь.

Я думаю, что после всего происшедшего Розанов не только не пойдет сюда говорить, на что он физически не способен, но не придет сюда и слушать. (*Голос: это фактически неверно!*) И потому заявление о невозможности совместной работы не имеет смысла; давно уже никакой совместной работы здесь не было и не может быть. Да и вообще совместной работы, в практическом смысле, как сказал Д. В. Философов, не может быть между членами Общества. Д. В. Философов говорил, что лицо нашего Общества вынуждает нас к категорическому выбору. Я опять не могу с этим согласиться. У Религиозно-философского общества нет никакого лица: достаточно прочесть список 45 членов его, чтобы убедиться, какая это разнородная компания; если же брать с точки зрения политических партий, то здесь можно насчитать 5—6 партий. Какое же это лицо, о каком лице мы здесь заботимся?

Затем, я не могу не сказать нескольких слов о преступлении Розанова. Хотя я считаю, что судить его мы не имеем основания, так как цель нашего Общества — только теоретическое обсуждение вопросов, и ничего практического наше Общество не должно иметь и по заданиям своим не имело, значит, при этих теоретических спорах необходима максимальная терпимость, — но я все-таки вынужден тем огромным обвинительным актом, который был прочитан и который так красноречиво и ярко обрисовал перед нами преступление Розанова, коснуться самого преступления.

Я начну с того, что преступление Розанова стародавнее. Мы все прекрасно знаем Розанова. Разве он когда-нибудь был осторожен в своих словах, разве было время, когда он не был ядовит и зол? Мы это прекрасно знали, и когда ядовитость Розанова распространялась на церковь, ядовитость иногда злобная, мы только благодушно говорили: «Василий Васильевич, по обыкновению, нам сегодня наврал», — и больше ничего. Теперь мы вознегодовали, когда злое слово Розанова направилось в ту сторону, которая, по убеждению Совета нашего Общества, является противоположной Розанову. Итак, преступление Розанова, его злоязычие, старо.

Здесь многие приводили жестокие слова Розанова и говорили: «доколе же мы будем терпеть», «quousque tandem Catilina» — слышали мы от Совета.

Но как будто только один В. В. Розанов жесток в словах. Господа, нужно быть немножко искренними и признать, что партийные страсти, которые неизбежны во всяком обществе, приводят к злобе и жестокости. Неужели только один Розанов говорил нам жестокие вещи? Что же, мы стали бы изгонять из нашего Общества и Константина Леонтьева, который тоже говорил жестокие вещи? Неужели ужасные жестокости говорил только Розанов, неужели все, особенно крайние партии, не неизбежно жестоки, и не только в словах, но и в делах?

Розанов до сих пор был жесток только на словах, но ведь мы знаем, что то, что находится на крайних полюсах, жестоко и в делах. Что же мы тут начинаем восклицать?

Господа, Совет Религиозно-философского общества предлагает нам судить Розанова, предлагает обвинить его в непорядочности. По этому поводу я только хочу напомнить чрезвычайное обстоятельство, на которое очень мало обращают внимание, а именно, что из всех категорий людей-злодеев, к каким бы партиям они ни принадлежали, Иисусу Христу были наиболее враждебны те, которые с уверенностью говорили: я хорош, а этот не хорош.

Господа, нам, членам Религиозно-философского общества, предлагают сказать: мы порядочны, а В. В. Розанов непорядочен. Ибо нельзя

обвинять в непорядочности других, не будучи твердо убежденным в своей порядочности. Я предлагаю членам не подавать совсем голосов.

Свящ. П. В. Раевский. Для Религиозно-философского общества наступает момент, когда должно выясниться лицо его. Что это за Общество?

Я следил за деятельностью Общества с самого начала его существования. Тогда еще мы все видели и чувствовали, что начинается великое религиозно-философское движение; я с удовольствием наблюдал выступления здесь, в Обществе, и В. В. Розанова. Розанов и в религии, и в философии явление незаурядное, из ряда вон выходящее, и я думаю, что ставить вопрос об исключении человека, который для религии и для философии представляет величину громадную, значило бы отрицать само Религиозно-философское общество. Если Религиозно-философское общество ставит подобного рода вопрос, то, значит, оно хочет отказаться само от себя, оставляя на себе только ярлык Религиозно-философского общества.

Я удивляюсь, как можно ставить в Обществе вопрос об исключении Розанова. Когда наблюдаешь временное, случайное явление, то невольно увлекаешься не существом дела, а частностями. Мне кажется, что Совет Религиозно-философского общества также увлекся частностью. Общество захватила какая-то волна, которая иногда и раньше поднимала его ладью на свой гребень.

Я помню очень шумное заседание Общества по поводу интересной книги «Вехи». Помню доклад Мережковского по поводу этой книги. Опять-таки, можно соглашаться или не соглашаться с авторами этой книги, но, во всяком случае, говорить о том, что эти господа поступают, как мужики Достоевского, которые хлестали свою лошаденку по глазам, — я этому удивляюсь.

Хотя я маленький человек и ничего не сделал ни для философии, ни, может быть, для религии, кроме того, что я священник и служу службу Божию, — я все-таки не понимаю, как можно религию и философию приносить в жертву общественности.

Рассмотрим вопрос с точки зрения религии. Как Христос относился к людям, которые к Нему приходили, — были ли то иудеи, ревнители или зилоты и фарисеи? Он ведь не спрашивал их, кто вы такие, как смотрите на еврейский вопрос или как вы смотрите на Мережковского или Философова, если бы они в то время существовали? Подобного рода вопросы едва ли приходили Ему в голову, и теперь едва ли могут приходить всякому христианину.

Слушая рассуждения по поводу «Вех» или теперь рассуждения по поводу Розанова, я хочу задать вопрос словами В. Соловьева: «Что это, — словесность или истина?» Когда Белинский писал известное письмо

против Гоголя, то это была истина, но в то же время и словесность, потому что Белинский, как не религиозный человек, не мог серьезно относиться к тому, что сделал Гоголь в конце жизни, когда начал «Переписку с друзьями». Он не мог оценить этой метаморфозы Гоголя, и поэтому в нем, с одной стороны, было много словесности — с точки зрения религии и философии, но с точки зрения общественности в нем было много истины.

Вот было выступление Сикорского на процессе в Киеве. Представьте себе, что университет Св. Владимира поднял бы вопрос об исключении этого профессора из состава университета. Можно смотреть на заслуги Сикорского как угодно, но мешать одно с другим нельзя. Я так же удивился бы исключению Сикорского из Киевского университета, как удивляюсь вопросу об исключении Розанова.

Возьмем философа Бэкона. Нам известно еще из семинарских учебников, что он был знаком со многими великосветскими домами. Значит, с точки зрения Философова, Бэкон непорядочный человек? Простите, но в этом случае аналогия напрашивается сама собой. Или, например, Мечников, ныне здравствующий, или умерший Менделеев? Я слышал, что эти люди в делах общественных мало понимают или, выражаясь нашим жаргоном, люди правые. Представьте, что в Пастеровском институте в Париже поднялся бы вопрос об исключении Мечникова потому, что он правых убеждений, или известного ученого-химика Менделеева — уволить из академии за правые убеждения? Я этого не понимаю. Простите, что я говорю вопросами, я не готовился к речи и говорю экспромтом. Я удивляюсь, и должен сказать, что в Религиозно-философском обществе не дано ответа на вопрос В. Соловьева: «Что это, — словесность или истина?»

Председатель. Предоставляю слово председателю Совета для одного очень важного заявления.

А. В. Карташев. В виде продолжения официального материала, который мною доложен был собранию в самом начале, я имею сообщить еще два новых документа. Эти документы отделены от прочитанной мною ранее официальной переписки, так сказать, исторически значительным промежутком времени, ибо они получены председателем Общества уже в последний момент, т. е. за два с половиной часа до настоящего собрания. Между тем по своим формальным признакам они должны представлять особые мнения членов Совета П. Б. Струве и А. Н. Чеботаревской к давнишнему заседанию Совета еще от 11-го декабря. Оставляя под сомнением юридическую допустимость столь позднего представления особых мнений, так как на основании протокола Совета от 11 декабря 1913 г. уже состоялось прошлое Общее Собрание 19 января, которое лишь по случайному недостатку кворума не было окончательно решаю-

щим, президиум, однако, не уклоняется от приобщения к делу этих особых мнений как таковых.

П. Б. Струве пишет следующее: «Я высказываюсь вполне определенно против исключения В. В. Розанова по двум основным соображениям.

Во-первых, поведение Розанова — и именно это я высказал совершенно категорически в своих последних статьях о Розанове, после которых я сознательно и последовательно не возвращался к суждениям о личности и поведении этого писателя — по моему глубокому убеждению, совершенно устраняет применимость к нему начала вменения. Я вполне определенно считаю Розанова морально невменяемым. Поэтому в его деле, на мой взгляд, отсутствует основное субъективное условие разумного суда над человеком.

Во-вторых, Религиозно-философское общество само по своим задачам не может притязать на функции суда, хотя бы морального, над отдельными лицами. Таким образом, исключение из Общества как действие дисциплинарно-судебное есть действие, не соответствующее природе такого общества, как Религиозно-философское. В силу этого в данном случае отсутствует и основное объективное условие разумного суда.

По этим двум соображениям я решительно высказываюсь против внесения в Общее Собрание предложения об исключении В. В. Розанова».

В письме к председателю Общества, сопровождающем текст прочитанного сейчас особого мнения, П. Б. Струве делает заявление об одновременном с подачей этого мнения выходе своем из состава Совета Общества, о чем и просит сообщить сегодняшнему Собранию.

Почти одновременно с этим, в тот же час, получено особое мнение от члена Совета А. Н. Чеботаревской, которое формулируется так:

«Пользуясь правом приложить особое мнение к протоколу заседания Совета Религиозно-Философского Общества от 11 декабря 1913 г., считаю долгом своим заявить следующее:

Высказав сожаление в заседании 11 декабря 1913 г. по поводу того, что вопрос об исключении В. В. Розанова возник в предыдущее заседание Совета, во время отсутствия моего из С.-Петербурга, я выразила затем убеждение, что никакого рода суды не входят в круг деятельности Религиозно-философского общества, и призываю воздержаться от дальнейших шагов по исключению В. В. Розанова.

Настоящее заявление покорнейше прошу огласить в Общем Собрании сего 26-го января ввиду того, что в газетах и повестках, разосланных членам, по отношению к принятию Советом постановления об исключении В. В. Розанова было упомянуто "единогласно"». <...>

Вяч. И. Иванов. Господа, я не хотел бы в своей очень краткой речи останавливаться на религиозных мотивах. Развивать этого я не буду.

Я скажу только, что если Религиозно-философское общество действительно хочет носить имя религии, то вопрос о суде невозможен принципиально, исключение Розанова для нас невозможно, несмотря на то отношение, которое он вызывает в нашей психологии и наших этических чувствах, несмотря на все и quand même * исключение его все же невозможно по религиозным мотивам.

В какой мере Религиозно-философское общество признает эти мотивы, остается невыясненным, но я с особенной энергией хотел обратить ваше внимание на то, что писатель вообще не судим и суду не подлежит. Писатель и потомство посмеются над таким судом, если бы он мог состояться; писатель презирает этот суд. Я теперь говорю только о писателе. Что касается Розанова, мы видим в нем человека; но все, выступавшие с попытками обвинения, выступали, я бы сказал, с робостью, даже с нравственной трусостью; говорили, что не человека судят, что не смеют судить человека.

Хорошо, итак, человека мы не судим. Кто же остается, кто осуждается — писатель? Многие говорили: мы судим Розанова-писателя. Вот я и хотел указать, что писатель не судим. Однако остается что-то, и по моему мнению, подлежащее суду. В Розанове это осталось бы, если бы он был в тесном и настоящем смысле общественным деятелем. Тогда это было бы просто и грубо.

Если бы Розанов устно или письменно высказался буквально так: господа, поднимайте погромы, — если бы он призывал к кровопролитию, тогда подобные призывы выпадали бы из сферы писательской деятельности и подлежали бы суду как заявления, манифестации общественного деятеля, и я тогда первый стоял бы за всевозможное опозорение Розанова.

Но здесь дело иное. Я встречаю с его стороны заявления, может быть, мне непонятные по своей психологической и этической связи, заявления парадоксальные, больше того, отвратительные, внушающие глубокое омерзение, — но если это омерзительное стоит в связи с писательской деятельностью, то здесь мой суд умолкает; писатель, целиком взятый, столь нежный и целостный организм, что разбивать его на части и вырывать их из контекста нельзя. Тогда пришлось бы исключить и Достоевского, и Сологуба, и, конечно, Мережковского исключили бы 100 раз и т. д. Мы исключили бы и Гоголя, если бы жили в эпоху «Переписки с друзьями» и проч., и всякий раз поступали бы смешно и неплодотворно.

Розанов, несомненно, писатель крупный, громадного содержания, писатель, переживающий ту роковую для всякого писателя эпоху, которая проводит его через всевозможные чистилища и унижает иногда до

* вопреки всему (*фр.*).

последних унижений. «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

Да, он писатель, и потому в моих глазах не подлежит суду. Но, кроме того, он не только писатель; это общественный голос в стране, где имеется величайшая общественная опасность, и мы ее пережили в 1905 году. Когда торжествовало правительство, то оно, пожалуй, проявляло меньше нетерпимости, чем можно было прочесть в обещаниях партий, готовивших себе торжество. Эти партии обещали нам одну страшную нетерпимость, жестокую цензуру, сыск над писателем и т. д. Принципиально нельзя становиться на эту дорогу. Может быть, пройдет немного лет, и мы увидим, что это была слабость, а не истина, — это вопрос о Розанове. Может быть, дело будет идти не о том, чтобы исключить из литературного общества какого-то одного литератора, чтобы сделать демонстрацию, чтобы подчеркнуть то, что было 30 раз подчеркнуто и в чем никто не сомневается. Может быть, через короткое время это будет действительно, и тогда посмотрим, что будут говорить. Тогда, может быть, вспомнят и мои слова те люди, которым в настоящее время это непонятно.

Писателя не должно судить и писателя вовсе не нужно исследовать. Дайте ему амнистию раз навсегда, проявите к нему великодушие или благодарность — как хотите.

Затем, как Розанов исключается? Как Розанов, т. е. разом — и как человек, и как писатель, и как общественный деятель? Мне хотелось только сказать, что общественное мнение, сила его в стране, — это, конечно, залог свободы, но сила общественного мнения обратно пропорциональна принудительности.

Итак, если Розанов вас возмущает, проявите общественное мнение именно в том, в чем оно естественно проявляется, т. е. в формах, которые лишены принудительности. Вы скажете: мы общество, и, значит, наш вотум — общественное мнение. Но это софизм.

Это будет вотум большинства или это будет показатель того, как разделились не только умы, но сердца, и психологии, и совести по вопросу о Розанове.

Нет, общественное мнение покоится на том, о чем говорил проф. Гредескул. Каждый отлично знает, как ему относиться к Розанову, каждый свободен поступать, как ему подсказывает совесть. К чему непременно эта принудительность, непременно подчеркивание, исключение по такой-то статье? Зачем внесение отвратительных полицейских и судебных навыков в эту свободную сферу, где, казалось бы, мы должны так свободно дышать? Убеждаю Вас не исключать Розанова...

А что касается до неодобрения Розанова, то, мне кажется, это было бы риторическим заявлением. Нам говорят: Религиозно-философское

общество должно выявить одно лицо, не быть двуликим и двоедушным.

Господа, я боюсь пожелания, чтобы Общество получило одно лицо и одну душу. Я уверен за себя, что у меня есть лицо и душа, также уверен за другого и третьего, кого я люблю, кто мне дорог, знаю колеблющихся, знаю, что они переживают, — но знаю также, что у каждого из них есть свое решение. Однако если давать Обществу одно лицо и подводить всех под одну линию, это не значит, что Общество получит одно лицо, это значит, что оно обезличится.

Что же будет? Будет нивелировка, какой требуют Мережковский и Совет, и только. Это неладно.

Религиозно-философское общество должно быть многоголосым и многодушным, и если из этой какофонии голосов, из этого многодушия будет создаваться гармония, при которой хоть и будут различия, но будет торжествовать одна нота господствующая, как, например, ясно слышалось у всех без исключения ораторов осуждение Розанова за эти гнусные выходки и по поводу амнистии, и по поводу Ющинского, — тогда родится мнение без принуждения; это будет гораздо полнозвучнее, полнодейственнее и, главное, будет цветистее. А мы будем иметь спокойную совесть, и нам не будет казаться, что мы жертвы какой-то искусно ведомой, с хорошими целями, но все же тиранической демагогии.

Н. А. Макшеева. Исключение Розанова... Как больно ударяют эти слова в самое сердце тех, кто бывал еще в первых Религиозно-философских собраниях, кто чутко следил за выступлениями этого особенного, проникновенного до гениальности, парадоксального до безумия человека. Сколько он поднял вопросов, самых жизненно насущных, как он умел их поднимать!.. «Не я интересен, а моя тема», — говорил он, и поистине, его темы были животрепещущи. Чего стоил один семейный вопрос, которого он был поэтом, рыцарем: ведь его усилиями было улучшено положение внебрачных детей.

Да, этот человек будил, толкал, сам толкался в двери церкви, готовый целовать каменные плиты, под которые сам же подкладывал динамит. Все в нем переплетено из противоречия, из дерзости и самоуничижения, из возвышенного и смешного. И с этим считались, и это нравилось, пленяя и друзей, и врагов, потому что было своеобразно, потому что вносило поток свежего воздуха под своды, закопченные схоластикой. Но из-под налета копоти открывались дивные фрески, способные зачаровать дерзновенного борца. Застрельщик вызывал отпор, заставлял вооружаться тех, кто ранее бездействовал, — гонения естественно вдохновляют апологетов.

Этого человека приветствовали, превозносили до небес, называли русским Лютером, доходили до крайностей, которыми так изобилует

русская жизнь. И теперь его же, В. В. Розанова, хотят исключать из Религиозно-философского общества, которое он питал своими вдохновениями, которое развилось под толчками его искрометной мысли.

Почему же теперь Религиозно-философскому Обществу расходиться с Розановым из-за политики, когда оно прежде терпело его кощунственные речи (вспомним слова о злом Боге, стоившие закрытия первых Религиозно-философских собраний)? Иррациональный по природе, Розанов способен на всякие крайности, в нем настроение не знает узды, но таково его внутреннее существо, отсюда проистекают и его очарование, и слабость.

Мне лично представляется странным, каким образом он, поэт Ветхого Завета, восстает теперь против еврейства, подрубает корни дерева, на котором он сидит. Но непоследовательностью он себя обессиливает, при разномыслии же существует полемика, а не отлучение. Религиозно-философское общество не политическая партия, требующая от своих членов идти в ногу. Тем пышнее оно расцветает, чем разнообразнее выражены его мысли, включая в себя и славянофильское настроение, и призывы к новой общественности. К. Леонтьев мог бы сидеть рядом с Вл. Соловьевым.

Розанова надо сохранить в интересах самого Общества, как большую двигательную силу. Он говорит, что поэт носит музыку в душе, а у него она звучит. Ради этой музыки прощались ему самые его уклонения от христианства, особенно после того, что он плакал горькими слезами в «Уединенном» и «Опавших листьях». — «Смысл Христа не заключается ли в Гефсимании и Кресте? — начинает прозревать он. — Тогда все объясняется. Тогда Осанна... — Но так ли это? Не знаю...

Если он утешитель, то как хочу я утешения, и тогда Он — Бог мой. Неужели? Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, что я с таким смертельным ужасом боюсь; неужели думать — встретимся! Воскреснем! И вот Он — Бог наш! И все объяснится».

Розанов идет ко Христу, идет, как и все мы, спотыкаясь. Но нам ли его отвергать?

А. В. Карташев. Е. В. Аничков сущую правду сказал, что ему, как молодому члену Общества, и непонятно, и чуждо, почему это люди, которые больше всего знают и любят Розанова, так настойчиво от него отделяются. Это очень верно и очень показательно. Стараются не судить Розанова те, кому от него ни жарко, ни холодно, люди, к нему равнодушные, ничем, ни в настоящем, ни в прошлом, с ним не связанные. Вот ввиду этого я и хочу подойти к вопросу, так сказать, исторически, чтобы осветить его новым членам, не знающим прошлой жизни нашего общества. Почему вопрос этот так обострился, почему вылился в такую фор-

му, какую многие называют политической, что, конечно, неточно и потому неверно?

Розанов был столпом и соловьем Религиозно-философских собраний, существовавших не по закону, а по благодати до 1903 г. Эта эпоха была совершенно другая сравнительно с теперешней; другая и для Религиозно-философского общества, и для всей русской жизни в ее целом. То было время самых широких сочетаний весьма разнородных лиц и общественных групп, чаявших освобождения России. То же полусознательное, полуинстинктивное предчувствие кризиса произвело на свет Божий и это причудливое сочетание епископов, архимандритов, миссионеров, литераторов из салонов кн. Мещерского и Суворина с «нечестивой» компанией из «Мира Искусства» с прибавкой нескольких народников, получившее название «Религиозно-философских собраний». Но все это было давно. Заниматься теперь старческими воспоминаниями о тех «Собраниях», как делали сегодня некоторые. значит старчески ослепнуть по отношению к настоящему. То было и быльем поросло.

Все стало новым с 1907 г., когда настоящее Общество открылось по действующему закону об обществах. Лично я тогда всеми силами противился открытию этого Общества. Мне оно представлялось каким-то незаконнорожденным и мертворожденным, без живой души, без ясного лица, без права на существование. Зачиналось оно не органически, а по механическому подражанию старому: были религиозно-философские Собрания — пусть опять будут Собрания. Опыт прошлых Собраний инстинктивно подсказывал мне, что слов уже было сказано достаточно, что наступило время молчать, думать о выполнении сказанных слов и копить силы для новых выступлений. Но люди новые, учредители этого Общества, С. А. Алексеев и Н. А. Бердяев, не имевшие опыта, «рвались в бой». Глубоко раскаиваюсь в том, что я не только смирился пред наличностью чужих и, как мне казалось, религиозно немудрых пожеланий, но и позволил себя уговорить председательствовать на открытии Общества. Меня упрекали тогда, что я произнес вступительную речь каким-то мертвым, упавшим голосом и сказал что-то очень пессимистическое. Но откуда было взяться вдохновению, вопреки убеждению? Я старался быть объективным, сказать о том, что есть, не преувеличивая, подчиняя свои чувства желанию большинства. Но, очевидно, внутренняя безнадежность выявилась в моей полусаркастической характеристике ближайшей возможной деятельности Общества. Я сказал, что открывается, в сущности, религиозно-философская говорильня. Действительно, слишком разношерстны были учредители по своим религиозным устремлениям, никакого единого духа среди них не чувствовалось, никакой широкой общественной потребности момента не чувствовалось

в этом предприятии; то была потребность небольшой группы лиц. Что действительно единого в этом сочетании: правоверный чиновник Святейшего Синода В. А. Тернавцев и свободный философ С. Л. Франк? Получилась неизбежно одна теоретическая говорильня. Вообще, я не против такого учреждения. Говорить можно и о религии. Но Религиозно-философское общество говорильней быть не должно, как не может быть ею никакое общество, причастное к религии, ибо бесконечная говорильня в религии есть кощунство. И правы те наши критики, кому и нынешние наши разговоры о религии кажутся пустословием, развратом и т. п., правы, если действительно нет за этими разговорами каких-либо действий. Я разумею религиозную жизнь, заправляющую всей жизнью, всем поведением человека, его делами личными и общественными. И вот таких-то действий за спиной нового Общества тогда, в 1907 г., не нарождалось; оно долгое время было томительной говорильней.

Розанов, по существу своему писатель-говоритель, любитель слов и сыпатель их безотчетный, конечно, чувствовал себя в таком обществе, как рыба в воде. Но само Общество не могло рано или поздно не спросить себя: как же его работа относится к окружающей жизни и как эта жизнь относится к нему? Нужно ли оно ей и она ему? Эта самопроверка жизнью тем более неизбежна, что общество явно имело не научный и академический, а, так сказать, публицистический характер. Волновавший тогда и до сих пор волнующий русское интеллигентское общество вопрос о пересмотре его философского и общественного (в широком смысле) мировоззрения, появление «Вех» и борьба около них не могли не отразиться на темах Религиозно-философского общества. Религиозно-философское общество, таким образом, натолкнулось на реальность общественной жизни и должно было ясно ориентировать себя в отношении к ней. До сего времени Розанов был в Религиозно-философском обществе на своем месте. Речи шли о вещах прохладных и неответственных. В новых темах общества он почуял резкий перелом. Это прямо вспугнуло Розанова; он инстинктивно почувствовал, что говорильня кончается, роль безответственного сыпателя слов прекращается. Как только Розанов стал это чувствовать, он от нашего Общества публично отказался. Те, кто по благодушию или сердолюбию думают, что, голосуя против Розанова, посягают на ценное для него право быть членом Религиозно-философского общества, пусть утешаются тем, что он сам. в 1909 году, 17 января, письмом в «Новое Время» отрекся от нашего общества, написал, что выходит из состава Совета Религиозно-философского общества, в котором он в то время и не состоял, приняв по недоразумению за участие в совете сидение за зеленым сукном. Это был, в сущности, его публичный выход из самого общества, ибо с тех пор он

принципиально не проронил в нем ни единого слова, несмотря на неоднократные приглашения, символически садясь в задние ряды. Он ничего теперь не теряет, он давно ушел от нас и нас презирает. Вот текст его письма в редакцию:

«Вследствие совершенно изменившегося характера Религиозно-философского общества в Петербурге я нахожу себя вынужденным выйти из состава *Совета* его, дабы не нести ответственности за измену прежним, добрым и нужным *для России* целям. В последнем, в *исторической* нужности прежних целей, конечно, не доведенных и до половины, а лишь намеченных, так сказать, пунктиром, и лежит повод, заставляющий меня оставить то дело, которое я столько лет любил и до некоторой степени жил им. Тут нет ничего личного. Возникло у вошедших в состав совета новых лиц намерение оставить прежние цели и Общество из *религиозно-философского* превратить в *литературное* с публицистическими интонациями, какие в нашей литературе всегда и везде присущи. Таким образом, самое имя его уже является только псевдонимом, и вообще все становится не прямо, не договорено, несколько мистифицировано. Что это — так, видно из того, что в зале собраний уже послышались из публики возгласы недоумения о том, что собираются сюда слушать *о религии*, а вместо этого приходится выслушивать литературные счеты, сшибки литературных самолюбий. Но громко недоумевавшие об этом не знали, что, конечно, они и являются не в прежние Религиозно-философские собрания, *которых более нет*, а нечто совсем новое, чем *сознательно* (в совете общества) решено было заменить или, точнее, подменить их. Ибо для нового содержания просто нужно было основать новое Общество, — благо теперь это не слишком затруднено, — а не пользоваться старым именем, в то же время вытеснив все старое содержание.

Перемена эта, инициатива которой исключительно принадлежит Д. С. Мережковскому, Д. В. Философову и З. Н. Гиппиус, вовсе не участвовавшим в собраниях 1907—1908 гг., вызвала многочисленные печатные протесты старых участников Собраний, и столько же устных, в составе самого Совета. К протестующим принадлежат С. Л. Франк, П. Б. Струве, Н. А. Бердяев (по инициативе которого общество было возобновлено), В. А. Тернавцев, П. П. Перцов (редактор и издатель «Нового Пути», где печатались протоколы собраний 1902—1903 гг.). Общество, имевшее задачи *в России*, превратилось в частный, своего рода семейный кружок без всякого *общественного значения*. И те немногие, которые прислушивались к бывалым прениям в нем не в одном Петербурге, но и в провинции, не могут даже и интересоваться, кто выходит или кто входит в этот литературный салон. Был кристалл и растворился: прежняя форма не держит его частиц и не крепит в себе. По-видимому,

обязанность сообщить об этом Обществу лежала на самом Совете; но он этого не сделал, и я, как былой член Совета за все время существования Собраний, позволяю себе и нахожу обязанным себя сделать это в мотивированном выходе».

Понимая общество по-своему, Розанов, таким образом, был прав. Замечательно, что за эту же перемену Религиозно-философское общество упрекнули и две либеральные газеты, которые перепечатали письмо Розанова. Им тоже было бы приятно. чтобы это общество держалось вне жизни и, как нежданный самозванец, не впутывалось бы в расчеты их реальной политики. Не то же ли отношение большинства нашего либерального общества к данному вопросу мы видим и сейчас? Таким образом, Розанов убежал от начавшего нарождаться лица этого Общества. Благодаря этому изменению переменился и состав его представителей, и деятельность участников. Лишь немногие из старых представителей, сохранившие личные связи с некоторыми членами, остались. Весь состав Общества постепенно переменился. Духовенство, по старой памяти стремившееся в Религиозно-философское общество, увидев, что здесь уже не интересуются никакими церковно-практическими вопросами, почти без остатка покинуло нас навсегда. Был момент, когда с миссионерскими надеждами устремились сюда теософы, но вскоре если не с обидой, то с разочарованием увидели, что здесь им не место. Словом, все церковные практики, чистые мистики, теософы, сектанты, люди, жаждущие благочестивых умилений, с ропотом и осуждением ушли отсюда. А сюда стали приходить главным образом лица почти обыкновенного интеллигентского типа. Религиозно-философское общество просто влилось в общий состав русской интеллигентской, общественной жизни и стало вместо философско-академического и религиозно-эстетического, каким было прежде, религиозно-общественным. Ибо такова природа того культурного потока русских интеллигентских интересов, к которому примкнула жизнь Религиозно-философского общества.

Таким образом, это общество стало не просто механическим сборищем, не концертным залом с платными входными билетами. а некоторым организмом. В нем сложилось некоторая живая душа с более или менее определенным характером. И эта душа стала создавать, так сказать, естественный подбор новых членов. Несмотря на кажущуюся случайность роста членов Религиозно-философского общества, конечно, он совершается на деле не без определенного критерия, не без минимальных требований по отношению к их общественной характеристике. Этот критерий в самой общей и растяжимой форме можно свести, если хотите, и к формуле общественной порядочности. Это не выдумка и не результат самоуправства только немногих деятелей Общества, как пред-

ставлял Розанов в его открытом письме, а факт, создавшийся естественным, непроизвольным образом.

Совершенное заблуждение думать, что, приходя сюда, люди выходят из границ нашей обычной жизни, попадают в храм, или на небеса, где жизнь течет по каким-то благодатным законам. Нет, здесь люди сидят в том же самом широком русском обществе, где критерий общественной порядочности не только нельзя считать неуместным и, будто бы, даже оскорбительным, но наоборот, где равнодушие к этому критерию является вопиющей ненормальностью. И те, кто сейчас защищают здесь Розанова, поступают с непостижимой непоследовательностью, ибо везде, во всех своих специальных делах и общественных предприятиях, они строго руководятся критерием общественной порядочности. Почему же они, отбрасывая от себя Розанова как общественно непорядочного человека, надевают его на шею нам? П. Б. Струве с позором выщелкнул Розанова из «Русской Мысли», ибо «Русская Мысль» есть почтенная общественная организация. Розанова, даже под псевдонимом, изгнала от себя (и рада, что сделала это своевременно) также одна большая либеральная газета. Как видите, все общественные организации, спутавшиеся с Розановым, здоровым и бесхитростным жестом постарались очиститься от него, разумеется, не из-за его какой-то личной преступности (на что стараются здесь свести разговоры очень многие), а именно из-за его *общественной* недобропорядочности. Испугались не свободных мыслей и свободного писателя, а союза с недоброкачественной *общественной* силой. Правильно испугались того, чего почему-то не дозволяют пугаться нам. Все Розанова выбросили за борт, и он остался только еще у нас. И мы потому выступаем в этой роли последними, что раньше нас изгнавшие его никогда хорошенько не знали его, до сих пор не знают и, тем более, никогда не любили. Он остался у нас до сих пор только благодаря нашей упорной любви к нему, любви, не исчезающей и теперь, а также благодаря глубокой, может быть преувеличенной, оценке его религиозной мысли.

И вот, когда религиозная совесть возложила на нас крест последнего разрыва с любимой, но демонической силой, господа презиратели Розанова, точно сговорившись, целой компанией стараются сбросить его на нас, как какую-то нечисть. «Мы, люди почтенные, либеральные, с нечистью дел не имеем, а вы, Религиозно-философское общество, на то и созданы, чтобы быть складочным местом для всякой всячины без разбора; мы скуем вас золотыми цепями широчайшей “философской” терпимости, и сидите тут смирно вместе, задыхайтесь в этом эстетическом болотце, а мы, “Русская Мысль” и тому подобные деловые организации, будем процветать, заботливо отгораживаясь от всякого рода Розановых».

Господа, это было бы чистейшим лицемерием, если бы не находило себе некоторого объяснения в столь характерной для нашего момента путанице идей. Эти защитники Розанова велят нам не реагировать на него никаким действием. «Это, — говорят, — политика. Вы же будьте не политиками, а паралитиками, оставьте Розанова и нас в покое». Им этого хочется, потому что они не понимают нашей трагедии с Розановым. Презренная и ничтожная в их глазах величина, Розанов не заслуживает таких тревог. Не знаю, так ли это даже с точки зрения одной голой политики, так ли Розанов недостоин никакой борьбы с ним? Но для нас его общественная непорядочность вырастает в трагедию разрыва с ним потому, что мы подходим к ней *не только политически*. И в последнем качестве, конечно, достаточно мотивов для разрыва. Но, надо откровенно признаться, что нас другая «муха укусила», что общественная непорядочность Розанова есть верный симптом и символ иной, враждебной нам, враждебной правде Христовой *религиозной силы*. И нам важно знать, чует ли это наше Общество, желательно ли ему смешение нас с Розановым в одну культурно-пикантную кашу и чувствует ли оно религиозную преступность такого смешения?

Нами двигает сознание, что розановская непорядочность не есть проблема приватной нравственности, а есть значительный общественный фактор. Мы не презираем эту силу, а должны бороться с ней. Эта реакционная и вместе религиозная сила заключена не в каком-то невменяемом преступнике, или выродке, не в простом пошляке, а таится в талантливой, Богом помазаной личности, которой дано чрезвычайно много писательских возможностей. Таких песен, которые поет и еще воспоет Розанов, хотя бы, например, современному чудовищу национализма, не способен петь никто из его собратьев. Все эти Столыпины, Меньшиковы, Ренниковы в сравнении с ним — атеисты, прозаики, деревяшки. Розанов истинный поэт и гипнотизер, хватающий за сердце. И он входит теперь в новую силу, он, как блудный сын, из скитаний по идейным чужбинам возвращается теперь в родное ему лоно славянофильского национализма и православия. И церковь с радостью принимает его, прощает ему все грехи, все кощунства, ибо умеет ценить такие силы, ей они до зареза нужны. А Розанову, окрыленному этим мощным союзом, предстоит еще вспыхнуть ярким пламенем таланта писательского, пламенем новых истерически-любовных слов националистических и церковных и затем вскоре зачахнуть, пропасть, умереть для жизни, ибо на этом роковом пути есть только соблазн разрешения вопросов жизни, а не само разрешение. Этот путь изжит, исчерпан до конца, соблазн его колоссальный, а конец — удушение и смерть. И это упрек не только русскому национализму и русскому православию, а и всем их подобиям, всем веро-

исповеданиям во всем мире. Таково наше отношение к Розанову как к религиозно-общественной силе.

Наш долг — размежеваться с нашим религиозно-общественным антиподом, но мы не выдвигали на первый план этого специфического мотива, зная, что он пока еще не стал общепонятным. Мы выдвинули лишь общепонятную интегральную часть нашего главного критерия — общественную непорядочность. И — о ужас! — на нее уже не реагируют. Когда, например, Е. В. Аничков сегодня сказал, что не мы кого-то гоним, а что нас гонят и мы только защищаемся, — священник о. Н. Р. Антонов крикнул: «Это к делу не относится!». Вот, господа, показатель той общественной безграмотности, той наивности, если не лукавства, которые ослепили наше Религиозно-философское общество и позорно завертели его около трех сосен. Непонимание того, что борьба с Розановым есть защита от торжествующих насильников, — скандал нашего времени. Перестали понимать это не только батюшки, которым Бог простит. К сожалению, чем дальше, тем более становятся общественно-индифферентными, т. е. безграмотными, и наши интеллигенты, преимущественно новейшей формации. Откуда эта тьма неведения, мрак окаменения сердечного, эта слякотная хмара надвинулась на наше общество? Куда девался в нем элементарный социальный разум? Какая губка, с какой ядовитой кислотой смыла с его золотого сердца так украшавшую его нравственную чуткость? Кто другой произвел это духовное опустошение, как не модернистский индивидуализм, эта культурная эпидемия последнего времени? Не он ли обольстил мышление интеллигентной толпы, будто только теперь она прозрела все тайны жизни, только теперь все взошли на высшую ступень культуры и получили право быть утонченными сверхчеловеками за пределами мещанской морали? Не замечая своей моральной наготы, духовного измельчания и опошления, они уверяют, что они суду уже не подлежат, они выше всякого суда. Ну, конечно, выше, ибо у них самих нет того критерия, который судит! Они действительно искренне к «добру и злу постыдно равнодушны». И нас учат тому же, и возмущаются нами, что мы так дики и так отсталы. Даже ссылаются на Евангелие. Воистину прав был Е. В. Аничков, когда говорил, что незачем в данном вопросе апеллировать к евангельским текстам, что это кощунство. И правда, зачем эта схоластика, эти цитаты из Иоанна, что — «Я не сужу никого», когда у того же Иоанна читается: «Я суд миру сему»; «Отец не судит никого, а весь суд отдал Сыну». А у Матфея читается: «Не мир принес Я, но меч»? К чему кощунственная схоластика хладных сердец, когда ясно, что религия, более чем другие культурные силы, всегда и прежде всего судит, ибо тотчас же призывает к действию, мечом неумолимым отсекает зло от добра и не тайно, а явно, в конкретных актах воли и внешнего, житейского устройства? Разделяет отца

с сыном, мать с дочерью, приносит революцию в простейшие социальные отношения?

Весь суд над Розановым есть суд этого принципиального, религиозно-социального порядка, а не суд над моральными качествами частного человека. Уж если на то пошло, то я должен признаться, что среди нашего Общества мне известны лица морально гораздо более предосудительные, чем Розанов, насколько я его знаю, но эти вопросы частной морали нас не касаются. Розанов, если хотите, добропорядочный обыватель среднего калибра. Нападать на его частную нравственность с нашей стороны было бы верхом нелепости. Конечно, приватные качества личности далеко не безразличны для писателя и общественного деятеля, но поймите же, господа, что даже и к ним мы имеем право подойти только со стороны подсудности и взаимной ответственности *общественной*. И в этом порядке писатель-публицист, как выдающийся деятель слова, без всякого сомнения, есть подсудная общественная сила. И даже более того, он не есть отдельное индивидуальное явление. Ведь за ним всегда стоит масса его единомышленников. Он и заслуживает особенного внимания и особого суда именно потому, что в нем мы считаемся не с личностью, а с представителем целого лагеря. Здесь говорилось о нашем деле, как о борьбе двух лагерей. Конечно, в этом вся суть его. Конечно, обывательский и филантропический взгляд, будто кто-то обижает почтенного по талантам члена Общества, взятого как отдельная личность, в данном деле наивен, недостоин серьезных, взрослых людей. Конечно, сводятся счеты двух лагерей, и лагерей не политических, а религиозных. В религии также есть два разных духа: дух освобождения и дух порабощения, тонкий, лукавый дух, убивающий и ворующий человеческую свободу под видом высочайших мистических переживаний. Мы признаем, что Розанов действительно значительный деятель религиозно-философской мысли в России, но чей он слуга? Какого из двух религиозных духов? Какого из двух религиозных лагерей? И какому духу должно служить наше Религиозно-философское общество? Какое знамя должно оно поднять? Какие религиозные силы оно будет накоплять?

Да, мы хотим разделиться с Розановым, чтобы имя его не мешало нашему Обществу служить религиозной силе. освобождающей и самую религию, и самого человека, до конца освобождающей религию от всех позорящих ее оков и прежде всего — от позорящей ее роли служительницы всяческого порабощения. Мы хотим, чтобы Религиозно-философское общество не было местом убежища для усталых и сбившихся с пути, потерпевших кораблекрушение политиков после 1905 года, чтобы оно не было местом отдыха для современных модернистов, все понимающих, всем интересующихся и все превративших в пустую, бесплодную забаву оскопленного ума и сердца, а хотим, чтобы здесь было место, где духов-

но здоровые элементы Общества находили бы вдохновение и поддержку в нравственной ревности о правде Божьей на земле, как на небе. Под именем Розанова мы от глубины души боремся с величайшими культурными и религиозными соблазнами того националистического и церковного лагеря, для которого Розанов так характерен. Нам совершенно не важно, в какую юридическую форму облечь наше разделение с Розановым, важно лишь провозгласить, что мы не с его лагерем, что мы не в духовном общении ни с ним, ни с его пакостями, ни с его идеалами! Пусть его лагерь не отцеживает комара, не занимается юридической мелочью, «исключен» или «не исключен» Розанов. А пусть честно и серьезно считается с нами и знает, что мы не крючкотворствуем и не вертимся, а идем напрямик, что мы его честные и гордые враги!

Председатель. От действительных членов В. А. Степанова, А. Я. Ефименко, А. А. Мейера, Н. А. Гредескула, А. Г. Волочковой и Е. В. Аничкова поступило в Совет Религиозно-философского общества следующее предложение: «Ввиду неясности Устава при решении вопроса об исключении из Общества кого-либо из членов Общества и ввиду необходимости обсуждать вопрос по существу мы, нижеподписавшиеся, предлагаем вам вместо голосования об исключении Розанова из Общества на основании ст. 26 Устава, обсудить и голосовать следующую резолюцию: "Выражая осуждение приемам общественной борьбы, к которым прибегает Розанов, общее собрание действительных членов общества присоединяется к заявлению Совета о невозможности совместной работы с В. В. Розановым в одном и том же общественном деле"»...

Ввиду того, что Совет отказывается от первоначального предложения вынести на решение общества вопрос об исключении Розанова, я предлагаю голосовать прочитанную резолюцию. Разумеется, в голосовании могут принять участие только действительные члены Общества.

С. А. Алексеев. По поводу последнего предложения я буду говорить формально. Это предложение по существу действительно новое, ибо в окончательной форме, в качестве предложения, оно поставлено только сейчас. Многие из говоривших сказали бы совершенно другое, если бы это предложение было поставлено раньше. Я лично мог бы многое сказать.

Председатель. Это неудобно.

С. А. Алексеев. Я знаю, что это неудобно, и потому хотел бы, чтобы этому вопросу было посвящено еще отдельное заседание.

Председатель. Общество уже два заседания посвятило обсуждению этого вопроса, и его невозможно опять откладывать. Опять возникнут прения и с тою же страстностью. Этот вопрос надо разрешить сейчас (*голос*: «Почему?»). Затем, отвечая на ваше заявление, что это предложение новое, я должен сказать, что всякое предложение вытекает из прений.

Разумеется, это предложение новое, но оно вытекло из бывших здесь прений.

Свящ. К. М. Аггеев. Мне кажется, нужно пополнить редакцию, тогда она будет приемлемее для многих, которые иначе бы затруднялись присоединиться к ней.

Председатель. Не укажете ли, какая редакция вам желательнее? Я могу голосовать только конкретные предложения. Я просил бы всех представлять определенные резолюции. Я их все поставлю на голосование.

Свящ. П. В. Раевский. Я бы просил поставить на голосование вопрос об исключении.

Председатель. Совет отказался от своего первоначального предложения.

Д. В. Философов. От имени Совета делаю внеочередное заявление. Мы не отказывались ни от чего. Мы присоединились к внесенному предложению для того, чтобы доказать, что вовсе не желаем заниматься формальными вопросами, судейскими обязанностями. Мы присоединяемся к мнению шести уважаемых членов Общества для того, чтобы не порождать лишних разговоров и покончить ясно и определенно с вопросом. Меня крайне удивляет, что действительный член Общества священник Раевский считает возможным указывать нам, какие мы должны от своего имени предлагать резолюции. Если говорить откровенно, сегодня судили не только Розанова, сегодня четыре часа судили нас, и, следовательно, от нас зависит, что мы предложим на обсуждение Общества, тем более что вопрос стоит так: если резолюция не встретит большинства, мы слагаем с себя обязанности.

Председатель. Мы посвятили более трех часов прениям по вопросу об исключении Розанова. В результате этих прений возникло другое предложение. Я не могу его не голосовать. Я считаю себя нравственно обязанным все резолюции, которые будут предложены, проголосовать. Если Общество признает, что эта резолюция не была обсуждена, — оно ее отвергнет, но я не имею права не ставить на голосование то, что предлагается членами Общества. Вот почему я ставлю все резолюции, которые мне будут предложены. Пока я имею две определенных резолюции; одна из них мною уже была прочитана, и я ставлю ее на голосование. Другая резолюция гласит: «Выражая полное доверие Совету Религиозно-философского общества в его наличном составе и его религиозно-философской позиции, Собрание воздерживается от осуждения своего члена по соображениям принципиальным». Обе резолюции я предложу на голосование.

Д. С. Мережковский. Есть известный минимум, на который совет может идти, и этот минимум выражен в предложенной резолюции. В случае, если этот минимум не будет принят, то Совет уходит, ибо все

время так и ставился вопрос — или мы, или Розанов. Резолюции можно предлагать до бесконечности и смягчать, но мы не можем пойти дальше известного предела. Этот предел и указан внесенной резолюцией. Ни от чего мы не отказываемся. Для нас эта резолюция имеет, разумеется, значение не юридическое; но с самого начала мы не хотели стоять на юридической почве. Если Обществу не угодно будет принять эту минимальную формулу, то нам здесь больше делать нечего.

Свящ. К. М. Агеев. Изменения могут быть не по пути смягчения, а по пути усиления, что будет более соответствовать настроению присутствующих лиц. Я эту резолюцию оставляю, но только предлагаю прибавить: «Признав теперешнее миросозерцание В. В. Розанова глубоко противоречащим христианству и осуждая» и т. д.

Д. С. Мережковский. Нет, тут суд заключается в общественности. Мы не имеем права иначе судить: это будет уже инквизиционный суд.

Председатель. Теперь без четверти час. Вопрос достаточно обсуждался, и, очевидно, должен быть предел. Я прошу подавать резолюции, которые и проголосую. Пока у меня имеются две резолюции. Прения прекращены. (*Читает одно дополнение к резолюции*): «Общество считает, что присутствие Розанова в его среде будет явным насилием над обществом».

Я сначала проголосую предложение Совета, а затем дополнение. Ставлю на голосование резолюцию: «Выражая осуждение приемам общественной борьбы, к которым прибегает Розанов, общее собрание действительных членов общества присоединяется к заявлению Совета о невозможности совместной работы с В. В. Розановым в одном и том же общественном деле». Голосование будет происходить записками. Форма принятия — плюс, форма непринятия — минус. Форма воздержания — пустая записка.

(*Производится голосование записками.*)

Председатель. За принятие резолюции высказалось 41 лицо, за непринятие — 10 при двух воздержавшихся. Всего голосовало 53 лица. (*Аплодисменты*). Затем ставлю на голосование поправку к резолюции: «и полагает, что дальнейшее пребывание В. В. Розанова в среде Общества явится явным насилием над большинством общества». Ставлю на голосование это дополнение в том же порядке. Поправка отклоняется 24 голосами против 9.

Председатель. Объявляю заседание закрытым.

Дополнительное сообщение от Совета

После заседания 26 января Совет уведомил В. В. Розанова о принятой на этом заседании резолюции и послал ему в обычном порядке, как



не исключенному юридически члену Общества, повестку на следующее очередное собрание. На повестке данного заседания, между прочим, в числе лиц, предназначенных к баллотировке в действительные члены Общества, стояло имя С. О. Грузенберга, автора книги о Шопенгауэре и многих других философских трактатов, отчасти сопредельных с теологией.

По получении уведомления Совета и рядовой повестки, В. В. Розанов прислал председателю Общества следующее письмо, которое и было доложено ближайшему общему собранию без всяких комментариев:

Господину Председателю
Религиозно-Философского Общества в Петербурге

Милостивый Государь
Антон Владимирович!

Благодаря Вас за присылку повестки и официальной бумаги от имени Совета Общества, – я из первого документа усмотрел, что между прочими лицами баллотируется «в действительные члены» нашего Общества г. С. О. Грузенберг. Не находя никакой возможности находиться в одном Обществе с г. Грузенбергом по моральным причинам, существо коих после Киевского процесса должно быть Вам ясно, честь имею покорно просить Вас одновременно с принятием в действительные члены названного выше лица исключить меня из действительных членов Религиозно-философского общества. О чем прошу Вас официально доложить Совету Общества. Примите уверение в совершенном моем к Вам почтении.

В. Розанов.

Сознательно или нет, в данном письме В. В. Розанов смешал имя С. О. Грузенберга с представлением об известном защитнике Бейлиса – О. О. Грузенберге. Существа дела и того законного вывода, какой сделал из этого Совет, вычеркнув имя Розанова из списков членов Общества и прекратив ему с того момента посылку повесток, – это, конечно, нисколько не меняет. Если О. О. Грузенберг и не состоит в настоящее время членом нашего Общества, то, конечно, во всякий момент он может войти в него, если только пожелает.

Приведенной мотивировкой своего выхода из Общества В. В. Розанов встал на совершенно тождественную с Советом и большинством Общества точку зрения и открыто подписался под принципиальной правильностью всей постановки его дела в Религиозно-философском обществе. В. В. Розанов с некоторым запозданием признал и для себя обязательным то элементарное правило общежития, по которому не только сидение рядом, но даже зачисление в списки какой-либо организации не

есть факт безразличный для характеристики и общественной деятельности любого члена Общества, все равно — правого или левого направления.

Оправдав, таким образом, действия Совета и изобличив себя самого, В. В. Розанов лучше, чем кто-либо, изобличил несостоятельность и всех своих защитников.

В. В. РОЗАНОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ

М. М. Пришвин

КАЩЕЕВА ЦЕПЬ

Маленький Каин

Архиерей

Иногда попадешь в такую полосу жизни, плывешь, как по течению, детский мир вновь встает перед глазами, деревья густолиственные собираются, кивают и шепчут: «Жалуй, жалуй, гость дорогой!» Являешься на зов домой и там будто забытую страну вновь открываешь. Но как малы оказываются предметы в этой открытой стране в сравнении с тем, что о них представляешь: комнаты дома маленькие, деревья, раньше казалось, до неба хватали, трава росла до крон, и все дерево — как большой зеленый шатер; теперь, когда сам большой, все стало маленьким: и комнаты, и деревья, и трава далеко до крон не хватает. Может быть, так и народы, расставаясь со своими любимыми предками, делали из них богатырей — Святогора, Илью Муромца? А может быть, и сам грозный судия стал бесконечно большим оттого, что бесконечно давно мы с ним расстались? Так и случается, как вспомнишь, будто вдвойне: одно — живет тот бесконечно большой судия, созданный всеми народами, и тут же свои живут на каждом шагу, на каждой тропинке, под каждым кустом маленькие боги-товарищи. Никогда бы эти маленькие свои боги не посоветовали ехать учиться в гимназию, это решил судия и велел: «Собирайся!»

Милый мой мальчик, как жалко мне с тобой расстаться, будто на войну провожаю тебя в эту страшную гимназию. Вчера ты встречал меня весь мой, сегодня я не узнаю тебя, и новые страхи за твою судьбу поднимаются, как черные крылья.

Ехали по большаку. Город показался сначала одним только собором. Эта белая церковь в ясные дни чуть была видна с балкона, и что-то слы-

шалось с той стороны в праздники, о чем говорили: «В городе звон». Теперь таинственный собор словно подходил сюда ближе и ближе. Изредка в безлесных полях, как островок, показывалась усадьба с белыми каменными столбиками вместо ворот. Очень странно думалось, глядя на эти ворота: что, если заехать туда, будет казаться, будто много там всего и самое главное — там; а если выехать, то главное кажется тут, на большаке, этому конца нет, а усадьба — просто кучка деревьев. «Неужели и у нас так же?» — подумал Курымушка, но отстранил эту неприятную мысль хорошей: «У нас лучше всех». Показалась рядом с белым собором синяя церковь, сказали: «Это старый собор». Показались Покров, Рождество и, наконец, Острог — тоже церковь; среди зеленых садов закраснелись крыши; сказали: «Вот и гимназия»! В это время на большак с проселочных дорог выехало много деревенских подвод, растянулись длинною цепью, и это стало — обоз. Помещичьи тряские тарантасы обгоняли обозы, а какие-то ловкачи на дрожках на тугих вожжах, в синих поддевках и серебряных поясах, обгоняли тарантасы. Всем им навстречу возле кладбищенской церкви выходил старичок с колокольчиком. Никто почти ему не подавал, а он все звонил и звонил. В Черной слободе все подводы будто провалились: это они спустились тихо под крутую гору до Сергия. Ловкачи в серебряных поясах пускали с полгоры своих коней во весь дух и сразу выкатывались на полгоры вверх. Когда выбрались наверх из-под Чернослободской горы, тут сразу и стал перед Курымушкой собор, и тут на соборной улице, в доме, похожем на сундук, у матери прямо же и начался разговор о Курымушке с тетушкой Калисой Никаноровной.

— Необходимо свидетельство о говении, — говорила тетушка Калиса Никаноровна. — Неужели он у тебя еще не говел?

— Не говел. Какие у него грехи, вот еще глупости!

— Ну, да, конечно, ты — ли-бе-рал-ка, а все-таки без свидетельства в гимназию не примут. Веди сегодня ко всенощной, сговорись с попом: он как-нибудь завтра его исповедует.

Какая-то не то музыка, не то работа большой молотилки чудилась теперь Курымушке, но совершенно не так, как в деревне: там гудит на гумне молотилка, а в саду сами по себе птицы поют, — тут все и ездят, и ходят, и говорят под эту музыку. Не успел о чем-нибудь подумать, как это прошло, и под музыку началось думанье о совершенно другом; в голове стало тоже все быстро крутиться, как в молотилке. Даже и в соборе это не успокоилось, — напротив, тут уже совсем разбежались глаза — столько людей! И между ними дорога малиновая уходит к золотым воротам, слышится оттуда ангельское пенье, и батюшка в золотой ризе копается над чем-то. Чудесно! Хотел Курымушка о чем-то спросить мать, оглянулся, а ее нет как нет! Спросил господина, тот улыбнулся и ничего

не сказал. Другой показал на малиновую дорогу, и Курымушка по дороге этой идет вперед, всех спрашивает: «Где моя мама?» Ничего не отвечают, а только улыбаются, а он все дальше и дальше идет по малиновой дороге, и страх, похожий на прежний детский в лесу, одолевает его: он один среди этой толпы, где никто не знает ни его, ни его маму. Вот эта малиновая дорога ступеньками поднимается к золотым воротам, туда, конечно, надо идти, узнать у батюшки, тот все должен знать. Со всех сторон, слышит, кричат: «Куда, куда, вернись, стой!» — но это ему только ходу поддает, он почти бежит к батюшке для защиты от страшной толпы. И когда он прошел в царские врата, — «ах!» кто-то сзади. Кто-то фыркнул, батюшка обернулся, спросил:

— Тебе что, мальчик?

— Маму потерял, — ответил Курымушка.

И только он сказал, мамин голос зовет: «Иди, иди сюда скорей, я тут!» Хотел броситься назад, но батюшка ухватил его сзади за пискун-волос, потом за руку, ведет его куда-то, ставит перед иконой на колени, велит строго положить двенадцать поклонов. «Господи, милостив буди мне, грешному», — шепчет Курымушка свою любимую молитву. Через какие-то боковые двери батюшка ведет его, и тут ожидает мать.

— Что же он у вас, неужели в церкви никогда не бывал? — спросил батюшка.

— Мы в деревне живем, — конфузливо ответила мать, — в городе никогда не бывал.

— Ну, ничего, — заметив смущение матери, сказал батюшка, — всему свое время, а признак хороший — через царские врата прошел, он еще у вас архиереем будет.

— Архиерей, архиерей! — засмеялись на клиросе певчие.

И пока шли до самого своего места, везде смеялись и шептали:

— Архиерей, архиерей!

На другой день Курымушка был опять в соборе, но все было тут по-другому: ни малиновой дороги, ни огней, ни толпы, и только черные старушки в мантильках с гарусом впились кое-где глазами и сердцем в иконы. Курымушка стал, подражая старушкам, так же впиваться в иконы, а мать ему тихо шептала, что на исповеди все нужно открыть: все грехи, все тайны. Вот думать про это стало почти непереносимо, — разве можно так вдруг все и открыть, а если что-нибудь забудешь?

— А если забудешь, — спросил он, — Господь покарает?

— Забудешь, ничего, — ответила мать, — а будешь помнить, да утаишь, то покарает.

Но легче не стало от этого: «захотеть», — казалось ему, — можно все вспомнить, а можно не захотеть и будто все забыл; как же тогда быть, — за это покарает Господь, что захотел или не захотел?

— Надо полное раскаянье, — сказала мама.

— С чего же начать?

— Батюшка сам тебя спросит, и ты ему отвечай на все: «Грешен, батюшка».

Вот это очень хорошо, это твердо запомнил Курымушка и спросил последнее:

— Если я не грешен и скажу «грешен, батюшка», за это покарает Господь?

— Нет, это ничего, мы во всем немножко грешники.

Тогда из боковой двери вышел батюшка в черном, кивнул головой, мать сказала сначала: «Иди», — а потом: «Стой, подожди, вот возьми двугривенный и отдай батюшке за исповедь».

Так было с этим «грешен, батюшка» все хорошо наладилось, и вдруг этот несчастный двугривенный все дело испортил, явилась дума: «Когда отдать его и как отдать, а главное, если надо говорить "грешен" и открываться во всем, то как в то же время держать в зажатой руке двугривенный и думать, как его отдать?»

— Веруешь в бога? — спросил батюшка.

— Грешен! — ответил Курымушка.

Священник будто смешался и повторил:

— В Бога Отца, Сына и Святого Духа?

— Грешен, батюшка!

Священник улыбнулся:

— Неужели ты сомневаешься в существе Божием?

— Грешен, — сказал Курымушка и, все думая о двугривенном, почти со страстью повторил:

— Грешен, батюшка, грешен.

Еще раз улыбнулся священник и спросил, слушается ли он родителей.

— Грешен, батюшка, грешен!

Вдруг батюшка весь как-то просветлел, будто окончил великой тяжести дело, покрыл Курымушке голову, стал читать какую-то молитву, и так выходило из этой молитвы, что, слава тебе, Господи, все благополучно, хорошо, можно еще пожить на белом свете и опять согрешить, а Господь опять простит.

Главное же Курымушке стало хорошо оттого, что двугривенный можно теперь и не отдавать: вывел он это, верно, из того, что раз всякая тяжесть с души снималась, то и двугривенный тоже. Он поцеловал крест и спокойно опустил двугривенный в карман. С сияющей улыбкой ожидала его мать, встретила, будто давно с ним рассталась, спросила:

— Ну, как, все свои тайны открыл?

— И открывать-то нечего было, — победно ответил Курымушка, — он их и так все простил, он добрый.

— И ты отдал двугривенный?

— Нет, не отдал, это не нужно.

— Не взял?

— Я не давал. Это не нужно оказалось; молитва такая есть — все прощается.

— Как не нужно? Иди сейчас, отдай и покайся.

— Не пойду!

— Как ты смеешь! Так завтра нельзя причащаться, ты деньги утаил, это грех, пойдем вместе, пойдем!

Больно было, что мать не понимала, как прощен был двугривенный, и вот это всегда самое плохое на свете: «Я не виноват, а выходит, виноват, и никак нельзя этого никому объяснить, даже мать не понимает». Курымушка заплакал, мать приняла это за каприз, тащила его за рукав, громко шептала у алтаря, вызывая: «Батюшка, батюшка!» Он вышел. Мать объяснила ему грех Курымушки: не отдал деньги и теперь вот плачет.

— Ничего, ничего, Бог простит, — ответил батюшка, поглаживая его по голове, — и смотрите еще — он у вас архиереем будет.

На другой день после причастия было получено свидетельство о говении, мать спешила в деревню к посеву озими. Из окна своей комнаты у доброй немки Вильгельмины Шмоль Курымушка видел, как гнедой Сокол долго поднимал мать на Чернослободскую гору и у кладбищенской березовой рощи, где выходит непременно старичок с колокольчиком, мать скрылась. Березки кладбищенской рощи уже стали желтеть, и это как-то сошлось с желтой холодной вечерней зарей, и желтая заря сошлась с желтобокой холодной антоновкой в крепкой росе; все свое, деревенское, встало неизъяснимо прекрасным и утраченным навсегда. Особенно больно было какое-то предчувствие, что мать никогда уже не вернется такой, как была. Это схватило, сжало всю душу мальчика, он положил голову на подоконник, зарыдал и так все плакал и плакал, пока не уснул под уговоры доброй Вильгельмины.

Коровья смерть

Бывает, на берегу лежит лодочка, к ней уже и чайки привыкли, садятся рыбу клевать; странник лег отдохнуть, но вот подошла волна, схватила и понесла куда-то лодочку с человеком, только человек тот ни при чем: нет у него ни весел, ни руля, ни паруса. Так вот и Курымушку волна подхватила и выбросила на самую заднюю скамейку. Тут сел он рядом с второгодником, по прозвищу Ахилл. Гигант второгодник был

всем хорош, слабость его была только одна: несчастная любовь к Вере Соколовой. Ахилл сразу все рассказал Курымушке про учителей.

— Директора, — сказал он, — ты не бойся — он справедливый латыш! Был бы ранец на плечах, все пуговицы пришиты, не любит, если сморкаешься на себя и носишь на куртке сморчок, разное такое — к этому привыкнешь. Инспектор тоже не страшен, — он любит читать смешные рассказы Гоголя и сам первый смеется; угодить ему просто: нужно громче всех смеяться. Когда он читает, то хохот идет в классе, как в обезьяньем лесу, за это и прозвали его *Обезьян*. Есть еще надзиратель *Заяц*, сам всего до смерти боится, но ябедничает, доносит, нашептывает; с ним надо поосторожнее. *Козел*, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому — что на ум взбредет, и с ним все от счастья. Страшней всех учитель математики *Коровья Смерть;* тот как первый раз если поставил единицу, так с единицей и пойдешь на весь год. Твоя фамилия очень плохая — начинается с буквы А, первый всегда будешь попадать, тебе нужно хорошо выучить первый урок, а то сразу под Коровью Смерть попадешь, и тут тебе крышка.

— Почему же он называется Коровьей Смертью? — спросил Курымушка.

— Вот почему: ежели он тебе единицу вначале поставил, и ты с этой единицей пошел на весь год, то ты уже больше не ученик, а корова.

— Ты сам — корова?

— Был прошлый год коровой, тут все назади были коровами, но я надеюсь в этом году попасть в ученики. Ты это сам поймешь сразу. Вот он идет.

Коровья Смерть, рыхлый и серый лицом, вошел с костылем, сел на кафедру и ногу положил отдельно на стул: в ноге, сказали, у него подагра. Все вынули синие тетрадки и стали под его диктовку писать весь час правила.

— Это вызубри, — учил Ахилл, — назубок, тебя завтра первого спросит. Смотри не подведи, а то с тебя рассердится и пойдет — много лишних коров наделает.

«Не подвести бы класс!» — опасливо думал Курымушка дома, приступая к зубрежке. В слове «класс» ему сразу далось что-то очень хорошее, за что нужно стоять и Боже сохрани подвести. А что учителя — враги классу, то это само собой понятно. Зубрить Курымушка начал возле того самого окошка, откуда виднелась кладбищенская березовая роща, за которой далеко в полях был рай. Так ему теперь представлялся их дом в саду. Очень было трудно зубрить, думая о желтобокой антоновке, но он честно вызубрил, а утром повторил, и когда в гимназию шел, все твердил: «Сложение есть действие...»

— Хорошо вызубрил? — спросил Ахилл.

— Хорошо.
— Ну-ка!
— Сложение есть действие...
И стал.
— ...посредством которого... — подсказал Ахилл.
— Да, да... посредством которого...
— Стой, идет!
— Идет, идет, идет! — прошумело в классе и стихло, как перед грозой.
Далеко слышался в коридоре стук костылем. Коровья Смерть приближался, в классе все мертвело и мертвело. А когда Смерть вошел и сел на кафедру, Курымушке все стало бледно вокруг и слабо в себе. Немо прозвучало какое-то ужасное слово, невозможно было его принять на себя, а все-таки слово это было: *Алпатов.*
— Тебя, тебя! — шептали вокруг.
— Алпатов здесь?
— Здесь, здесь! — крикнули за Курымушку и толкали его вперед между партами, дальше еще толкнули, и так дошло до самой кафедры, и все шло как с самого начала: без весел, без руля, без паруса волны несли куда-то Курымушку.
— Дай тетрадь!
Курымушка подал.
— Что есть сложение?
— Сложение есть действие...
Запнулся.
Везде в классе, как тетерева в лесу, шипели и бормотали:
— ...посредством которого, посредством которого...
— Молчать! — крикнул Коровья Смерть.
Курымушка погрузился куда-то в глубокую бездну и уходил туда все глубже и глубже.
— Долго ли ты будешь молчать?
Жужжала муха осенняя, летала по классу, будто над ухом молотилка гудела, и стукалась в стекло, как топором: бух! бух! Тут было как на стойке по зрячей дичи.

Есть такие шальные лягаши: видит, у самого носа его птица сидит в траве, и стоит, не тронет, только глаза огнем горят и где-нибудь у задней ноги еле заметно шерсть дрожит и дрожит, так стоять бы ему до смерти, но птица шевельнулась... и — вот зачем левая передняя нога на стойке у лягаша подогнута, — эта левая нога теперь метнулась, как молния, и полетел шальной пес с брехом по болоту за дичью.

Курымушка тоже, как птица, шевельнулся и посмотрел искоса на учителя: у-у-у! — что там он увидел: у-у-у, какая страсть! Коровья Смерть, чуть-чуть покачивая головой сверху вниз, выражая такое презрение, та-

кую ненависть, будто это не человечек стоял перед ним, а сама его подагра вышла из ноги и вот такой оказалась — в синем мундирчике, красная, потная, виноватая. Курымушка скорей отвел глаза, но было уже поздно — раз птица шевельнулась, стойка мгновенно кончается. Коровья Смерть спросил:

— Отец есть?

— Нет отца, — ответил тихо Курымушка.

— Мать есть?

— Есть!

— Несчастная мать!

Надорвал синюю тетрадку до половины, сказал:

— Стань в угол коровой.

Вот если бы теперь, в этот миг, Коровья Смерть не грозил каждому в классе, с какой бы беспощадной жестокостью все крикнули бы Курымушке: «Корова, корова!» — но уже и другой стоит, потупив глаза.

— Отец есть?

— Есть.

— Несчастный отец. Стань в угол коровой.

Третий потупился.

— Мать есть?

— Есть.

— Несчастная мать. Стань в угол коровой.

Вторая корова, третья, четвертая, и Ахилл тут с разорванной тетрадкой на второй год в коровы попал.

«Раз это так водится, — подумал Курымушка, — то с этим ничего не поделаешь, я тут не виноват, так и маме скажу: не виноват, и, конечно, она это поймет».

— Теперь, брат Алпатов, — сказал после урока Ахилл, — можешь не учить правила совсем; выучишь, не выучишь — на весь год пойдет единица: ты теперь — корова.

И правда: на другой день у Курымушки было опять то же, очень коротко и легко, на третий, на четвертый; в субботу выдали «кондуит», и единицы в нем стояли, как ружья.

С легким сердцем возвращался домой Курымушка, решив твердо, что он не виноват: только эта легкость была совершенно особенная, не прежняя птичья, а вот как полетчик в цирке на канате: можно и оборваться. Но и это все прошло. Как только он увидел на дворе Сокола, все забыл и бросился на лестницу наверх и на ходу уже чуял носом: яблоки, яблоки, яблоки. Мать тоже услыхала его и тоже бросилась к лестнице, тут они и встретились и слились, как два светлых луча.

Только скоро набежала туча на солнышко.

— Как твои дела? — спросила мать.

— Ничего, — ответил Курымушка, — дела как дела.

— Кондуит отдали?

— Отдали.

— Покажи!

Тучка растет, растет, и вот они, единицы, как ружья, стоят.

— Что же это такое?

— Я не виноват, — сказал Курымушка, — учителя несправедливые.

Мать заплакала. Курымушка бросился к ней и вместе заплакал.

— Мама, милая, ты не на меня это... не на меня... это они несправедливые, я не виноват.

И этого она понять не могла. Как она не могла этого понять! Ее лицо говорило: «Может быть, это правда, — ты не виноват, но мне-то что! Мне нужно, чтобы у тебя выходило».

Сразу она стала будто чужая, так и уехала будто чужая. Сухими глазами провожал ее из окна Курымушка на Чернослободскую гору, предчувствие тогда не обмануло его, маму он теперь совсем потерял.

Грустно качала головой добрая Вильгельмина.

Козел

В актовом зале, где каждый день в без четверти девять вся гимназия, от приготовишек до восьмиклассников, выстраивалась на молитву амфитеатром, большое огорчение Зайцу доставляло параллельное отделение первого класса: великаны этого класса каким-то островом торчали среди всей мелюзги первых рядов, и на острове этом Рюриков был еще головой выше всех. Случилось, кто-то при постройке колонны задел этого Рюрика, тот ударил ответно и нечаянно сильно задел Курымушку. В этот самый момент проходила колонна восьмиклассников, и Курымушке при них особенно стыдно показалось спустить Рюрику свою горячую затрещину. Маленький Курымушка разбежался и со всего маху ударил Рюрика в ноги; тот хлопнулся плашмя — лицом в пол, а Курымушка сел на него верхом и лупил по щекам: вот тебе, вот тебе!..

— Молодец, свалил Голиафа! — одобрил весь восьмой класс.

— Рано, — ответил Курымушка, — дня два поучимся, а то выгонят.

— Нас с тобой все равно выгонят.

— Ну?! — удивился Курымушка.

Эта мысль ему еще не приходила в голову, и он про себя решил этим заняться, но сейчас из осторожности сказал:

— Все-таки, брат, лучше денька два погодим.

Дома он засел учить географию. Задано было нарисовать границы Америки. И вот когда он рисовал по атласу и заучивал названия, вдруг такие же названия пришли ему из «Всадника без головы», и стало представляться, будто он продолжает путешествовать с Майн-Ридом.

Долго он провозился над этим приятным занятием и сам даже не знал, выучил он урок или не выучил.

На другой день, как всегда, очень странный, пришел в класс Козел; весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица. Курымушкина парта как раз приходилась на линии этой дрожащей половицы, и очень ему было неприятно всегда вместе с Козлом дрожать весь час.

— Почему он Козел? — спросил Курымушка. Ахилл ответил:

— Сам видишь, почему: козел.

— А географию он, должно быть, знает?

— Ну, еще бы! Это самый ученый: у него есть своя книга.

— Про Америку?

— Нет, какая-то о понимании, и так, что никто не понимает и говорят — он сумасшедший.

— Правда, какой-то чудной. А что не понимают, мне это нравится, милый Саша, — ты этого не замечал, как тебе иногда хочется сказать что-нибудь и знаешь, ни за что тебя никто не поймет; вот бы хорошо иметь такую книгу для понимания.

Ахилл на это ничего не сказал, верно, ему не приходилось страдать болезнью непонимания, а Козел обвел своими зелеными глазками класс пронзительно и как раз встретился с глазами Курымушки. Так у него всегда выходило, — встретится глазами и тут же непременно вызовет.

Ни имен, ни фамилий он не помнил; ткнет пальцем на глазок, и выходи.

Курымушка вышел к доске.

— Нарисовал карту? — спросил Козел.

— Сейчас нарисую, — ответил Курымушка.

Взял мел и в один миг на доске изобразил обе Америки. Козел очень удивился. А Курымушка отчего-то стал смел — у него из головы не выходило: «Все равно выгонят». И он это не серьезно, а из озорства стал рассказывать про Америку какую-то смесь Майн-Рида и учебника.

Козел удивлялся все больше и больше, и глаз его стал такой, будто видит свое, а ухо, может быть, и не слышит. Курымушке отчего-то страшно даже стало, он остановился, покраснел.

— Ну, ну! — сказал Козел.

Курымушка молчал.

— Ты, брат, молодец.

А Курымушка сильней покраснел и рассердился на это.

— Знаешь, — продолжал Козел, — из тебя что-то выйдет.

Тут и случилось с Курымушкой его обыкновенное: вдруг самая ходячая фраза явится ему в своем первом смысле, а то обычное значение куда-то скроется.

— Как же это из меня выйдет? — спросил он, все гуще и гуще краснея, представляя себе приблизительно, как няня ему говорила, будто у одной барыни в животе развелись лягушки и потом вышли через рот.

— Как же это выйдет? — спросил он, краснея и ширя глаза.

— Через верх, конечно, — ответил Козел, — то каждый день через низ выходит, а то через верх.

«Не вырвет ли?» — про себя подумал Курымушка и хорошо еще — вслух не сказал, а то и так в классе все засмеялись; но Козел, как все, не умел смеяться, у него на лице вместо смеха делалось так, будто он ест что-то очень вкусное, сладкое и облизывается, — это и был его смех.

Козел облизнулся и сказал:

— Вот, вот выйдет из тебя, и будешь знаменитым путешественником. Садись. Очень хорошо.

И поставил пять.

— Ну, и счастливец, — сказал Ахилл, — в тебя, кажется, Козел втюрился.

— Вот, Саша, — сказал Курымушка, — я тебе говорил насчет понимания, как это трудно взять и понять. По-моему, это у него хорошая книга о понимании, и вовсе он не сумасшедший.

— Кому как, — ответил Ахилл. — Тебе вот вышло счастье, тебя он понял, а меня не понимает и все единицы жарит, — одному хорошо, другому плохо, это, брат, тоже непонимание.

Забытые страны

Занимаясь теперь с большим удовольствием и даже наслаждением картой Америки, Курымушка все раздумывал, что это значит — быть знаменитым путешественником. Явилась перед ним какая-то страна еще без имени и без территории; вот там, в этой стране, думал он, и есть настоящая жизнь, а тут у нас жить не стоит, тут — ненастоящее.

Он стал догадываться, где находится такая страна, и вспомнились ему голубые бобры, что они в Азии. Не в Азии ли и эта его страна? По карте он стал искать себе путь в Азию и, пока разыскивал, совершенно уверился, что желанная страна без имени и без территории находится в Азии. Путь туда он установил простой: по реке быстрой Сосне в Дон, из Дона — в Азовское море, в Черное, и потом уже и начнется Малая Азия; большую часть пути можно совершить даже просто на лодке; и хорошо, если к лодке приделать колеса, как у речных пароходов, и вертеть его с кем-нибудь поочередно; оружие можно достать у Рюрика.

Вот это и значит быть знаменитым путешественником.

В эту ночь Курымушка уснул очень поздно, все рисовал берега Азии, обводил лазурью моря Индии и Китая, вырезал из бумаги рельефы гор, окрашивал их коричневой краской. Ему казалось все уже готовым в себе самом, только непременно надо было с кем-нибудь поделиться, и тогда все это будет ясно, как в обыкновенной жизни, только для этого поделиться с кем-нибудь планом надо непременно. И он решил встать и пойти в гимназию как можно пораньше, там сговориться с Рюриком, подраться перед молитвой и в карцере все рассказать. С этим он уснул поздно ночью, и виделась ему одна из золотых березок, такая же, как в кладбищенской роще, но только действительно золотая, и чудесно звенит она своими нежными тонкими лепесточками.

«Не сон ли это?» — думает он во сне и берет за пазуху несколько золотых листиков.

— Auf, auf! Пора в гимназию идти! — услыхал он над собой голос доброй Вильгельмины. — Hallo, hallo! — И схватился за пазуху, стал искать там золотые листики, посмотрел на простыню, под подушкой — нигде ничего не было.

— Что ты ищешь, милый мой? — спросила хозяйка.

— Ах, это было во сне, — догадался он.

И потом со страхом подумал, не во сне ли была ему и та удивительная страна без имени и территории.

— Nun, nun, и карту нарисовал. Вот это мастер. Wunderschön! — сказала немка, и Курымушка очень обрадовался: неизвестная страна не была сновидением. Одно было плохо, что проспал. Он попал в гимназию, когда уже пели «...сокровище благих и жизни подателю», невозможно было без предупреждения подраться с Рюриком и попасть в карцер. Тогда мелькнул ему другой план: взять и вызваться на уроке географии, а потом вместо Америки показать карту Азии, рассказать путь туда, и если Козел одобрит — значит, верно, а после, на большой перемене, можно и с Рюриком подраться, и в карцер попасть. Для первой пробы он показал свою карту в классе, там сразу все задивились и, когда Козел пришел, стали ему показывать: им хотелось оттянуть время и заговорить его.

— Почему ты себе выбрал Азию, а не Америку? — спросил очень удивленный картой учитель.

— Америка открыта, — ответил Курымушка, — а в Азии, мне кажется, много неоткрытого. Правда это?

— Нет, в Азии все открыто, — сказал Козел, — но там много забыто, и это надо вновь открывать.

Тогда Курымушка про себя стал вспоминать, когда это он видал сон про забытые страны, и так это его обрадовало, что исполняется наяву.

— Нельзя ли начать открывать забытые страны с Малой Азии? — робко спросил Курымушка.

— Можно, только почему же именно с Малой Азии?

— Потому что туда легче всего проехать по реке быстрой Сосне в тихий Дон, в Черное море, и там прямо и будет Малая Азия.

— Отлично, можно начать с Палестины и, как делали рыцари, поклониться сначала там гробу Господню.

Козел увлекся, забылся и стал рассказывать о тайнах Азии, что там находится колыбель человеческого рода, исторические ворота, через которые проходили все народы. Неузнаваем был Козел, и так выходило из его рассказов, что гроб Господень и есть как бы могила человечества, а колыбель его где-то в глубине Азии, что все это забыто и нужно все вновь открывать.

— Вот вам пример, — сказал он в похвалу Курымушке, — как нужно учить географию. Вы занимайтесь, как он, вообразите себе, будто путешествуете, вам все ново вокруг в неизвестной стране, вы открываете, и будет всегда интересно.

«А почему бы и не поехать?» — чуть-чуть не сорвалось с языка у Курымушки, едва-едва он успел удержаться и прикусил язык.

— Садись, — сказал Козел, — я тебе еще пятерку поставлю, очень уж ты хорошо занимаешься.

— Ну, и счастливец, — приветствовал его на задней скамейке Ахилл.

Не знал только Ахилл, чем был счастлив Курымушка, так был счастлив, что больно становилось, и так непременно нужно было, чтобы и Ахилл был счастлив.

— Почему ты не хочешь быть счастливым? — спросил он.

— Не могу.

— Почему ты не можешь? Откройся мне, милый Саша, скажи, ну...

— Ну, я скажу: она меня не любит.

— Вера Соколова?

— Она!

— Ну, вот что я тебе посоветую, если она тебя не любит, тебе нужно уехать в другую страну. Поедем с тобою в Азию открывать забытые страны.

— Я бы поехал. Но как же уедешь?

— А вот подумаем.

На большой перемене Алпатов, Ахилл и Рюрик сговорились, спрятались в шинелях под вешалками против учительской и, выждав, когда Заяц с Обезьяном по звонку вышли оттуда, бросились и вцепились друг другу в волосы. Конечно, инспектор с надзирателем не могли догадаться, что так начинается экспедиция в забытые страны, и прямо же всех троих заперли в карцер.

Счастливо все шло необыкновенно; было так удивительно Курымушке, что Рюрик и Ахилл сразу все поняли. Как только он сказал про экс-

педицию в Азию через Иерусалим в забытые страны за голубыми бобрами, Рюрик ответил коротко:

— Это можно.

Ахилл еще короче:

— Ну, что ж.

Курымушка даже опешил и спросил:

— А как же оружие, лодка, съестные припасы?

— Оружие, — ответил Рюрик, — у меня есть на всех троих: три ружья, три сабли, три револьвера, у отца я стащу золотые часы, — на это дело не грех и стащить, — сегодня же я их продам, куплю лодку, припасы.

— Только надо делать как можно скорее, — сказал Курымушка, — чтоб успеть до замерзания рек пробраться в южные теплые моря.

— Завтра поедем! — сказал Ахилл.

Рюрик остановил:

— Не успеем завтра. Послезавтра.

— Я напишу прощальные стихи, — сказал Ахилл.

— Я составлю подробный план путешествия, — вызвался Курымушка.

— Тогда за работу немедленно, — распорядился Рюрик. — Ты, Алпатов, черти план, ты, Ахилл, пиши стихи, я буду считать, что взять с собой, послезавтра едем.

Кум

Как чудесно бывает, пока что-то заманивает в свою судьбу перейти, в то святое святых, где я сам с собой и, значит, весь мир со мной. Но сколько людей останавливаются в страхе у порога своей судьбы, у росстани, где все три пути заказаны. Тут, у росстани, впереди хоть и остается приманка, а уже дает себя знать за спиною котомка своей судьбы. Это сразу почувствовал Курымушка, едва только состоялось неизменное решение ехать открывать забытые страны. Начались заботы, и открылся чей-то голос, неизменно день и ночь в глубине души повторяющий: «Не надо, не надо, нельзя, так не бывает, этого никто не делает».

Так одному, а другой, как Сережа Астахов, со своими прекрасными бархатными глазами в длинных черных ресницах, ждет и мечтает, что своя судьба тихим гостем придет и ласково, как невесту, поведет его к своему алтарю. Вот тоже и Сережа Астахов, — чем не путешественник в забытые страны? Он знает время прилета и отлета каждой птички, знает, куда они, прилетев, деваются, как живут, где можно разыскать их гнездышко; облюбовал себе в полях и лесах все цветки и хворостинки, ему ли не ехать! А вот и в голову никому не пришло предложить ему путешествие, и, напротив, избрали его хранителем тайн: он передаст письмо Вере Соколовой, он обойдет дома путешественников и скажет хозяевам, что их заперли в карцер на двадцать четыре часа, чтобы о них не

тревожились. Стоило бы Сереже сказать: «Я с вами», — и он тоже бы поехал в Азию за голубыми бобрами. Но Сережа проплакал всю ночь и сказать не решился и так по своей застенчивости пропустил случай еще в детстве заглянуть в лицо своей судьбы. В назначенный час, перед уроками, Сережа спустился к реке, перешел деревянный, на бочках лежащий мост, от него завернул по берегу влево и тут увидел, как путешественники уже сдвигали с берега лодку. Какой-то мещанин в синей поддевке полюбопытствовал, куда едут ребята на лодке.

— В деревню на мельницу.

— Кто же у вас там на мельнице?

— Тетушка Арина Родионовна.

— Не слыхал. Есть Капитолина Ивановна, а Родионовны там не слыхал.

— Мало ли ты чего не слыхал, отстань, не до тебя!

Синий отошел к мосту, перешел на ту сторону и по ступенькам стал взбираться, все оглядываясь, на кручу высокого берега, где стоял-красовался собор. Тут на известной скамеечке, где всегда вечером кто-нибудь сидит и любуется далью, сел теперь в утренний час Синий. Он видел отсюда, как путешественники расцеловались с Сережей, сняли шинели, как блеснули на солнце вынутые из-под шинелей стволы ружей, как серебряное весло стало кудрявить тихую гладь воды, как Сережа тоже поднялся сюда, на лавочку, проводил путешественников глазами до поворота реки, где лодка скрылась, всплакнул и пошел. Синий сзади пошел за Сережей.

Возле женской гимназии Сережа умерил шаг и стал прохаживаться взад и вперед. Синий тоже стал прохаживаться по другой стороне улицы. Начали с разных концов показываться маленькие и большие гимназистки. Сережа каждую оглядывал, наконец, увидев одну, похожую на молодую козочку, подошел к ней, передал письмо и направился в мужскую гимназию. За ним вплотную сзади шел Синий. Сережа вошел в калитку гимназии, и только Синий за ним туда ногу поставил, вдруг с той стороны другой Синий закричал:

— Иван Парамонов!

Первый Синий обернулся.

— Бежи скорей, свиней резать начали.

Оба Синие сошлись на середине улицы и во весь дух пустились бежать в ту сторону, где начали резать свиней.

Только уже когда в городе появились объявления о трех сбежавших гимназистах, Синий явился в гимназию и дал свои показания. Прикатил в гимназию на шарабане становой Крупкин, за ним следовала телега с двумя полицейскими. Хорош и могуч был в гимназии знаменитый истребитель конокрадов, багрово-синий и весь наспиртованный. Гимнази-

сты всех классов видели, как Заяц и Обезьян в своих синих вицмундирах вертелись около громадного грузного человека, будто они были бумажные, долго ему что-то рассказывали и просили ни в коем случае не применять оружия.

Услыхав про оружие от бумажных людей, становой сказал:

— Едрёна муха!

И, не обращая больше на них никакого внимания, вышел из гимназии, сел в тележку и покатил. За ним покатилась телега с полицейскими.

— В Азию поехали! — сказали гимназисты.

От Веры Соколовой уже в двух гимназиях было известно и шепотом передавалось из уст в уста, что поехали именно в Азию.

— Как бы не вернули в гимназию?

— Ну, уж, брат, нет, — вспыхнул какой-то горячий гимназист, — теперь уж их не догонят.

Мало того, гимназисты — синие прасолы сошлись опять, обсуждали дело серьезно.

— Конечно, — говорил один, — Крупкин ловкач, да ведь мальчишки тоже отчаянные.

— Опять, у них вода, — говорил другой, — река быстрая и сама несет лодку, а ему нужно погонять и погонять.

Весь город ожил. Спроси вперед у любого, каждый бы рассмеялся над путешествием в Азию, ну а как уже уехали, так стало казаться, что хорошо, и отчего бы им и не доехать до Азии. Все спавшие на ноги стали и с радостью передавали друг другу: три бесстрашных гимназиста уехали от проклятой латыни в Азию открывать забытые страны.

Как раз в эти золотые, светлые сентябрьские дни на воле, о которой пишут и мечтают на лавочках, глядя в синюю даль, на этой настоящей воле был осенний перелет птиц с севера на юг над реками быстрой Сосной и тихим Доном, через теплые моря, на берега Малой Азии. Курлыкали журавли и, расстраивая свои треугольники, спускались отдыхать на низком берегу Сосны. Гуси строгими кораблями торжественно летели, отрывисто переговариваясь; они ночевали вместе с утками на воде, выставляя на своем берегу сторожей.

Лебеди совсем не отдыхали и летели так высоко, что только по серебру их грудей в чистом воздухе и по каким-то гармоническим, особенным ладам можно было догадаться о них. Белые рыболовы, чайки разных пород, еще не трогались и вились на своих гнутых крыльях у самой воды.

Этого наш Курымушка еще никогда не видал и не мог видеть, это можно почувствовать всей душой, только если сам сжег за собой корабли и сам вступил в этот птичий путь, исполненный всякого риска, всяких опасностей. Тогда уже знаешь наверное, что и они там в воздухе не про-



сто кричат, а, так же как мы, разговаривают. Хорошо было, что Рюрик с пяти лет бывал на охоте со своим отцом, все это знал и умел все объяснить, скажет: «Лебеди!» — и Курымушка на всю жизнь от одного слова знает, как летят лебеди и что это значит; скажет: «Гуси!» — и вот что-то очень серьезное, строгое залегает в душу от гусиного полета. Какие-то маленькие пичужки, серебрясь, попискивая, штук сорок зараз, как стая стрел просвистят; подумать только: завтра они перехватят Черное море! Хорошо на минутку выйти из лодки, выглянуть из-под кручи берега в поле и хоть не вкрасться, — где тут подкрасться в открытом, безлесном поле, — а просто посмотреть, как без людей хозяевами в полях ходят на длинных ногах журавли. Раз так видели дроф и даже пустили в них пулю из штуцера; столбом взвилась пыль от удара пули о землю, дрофы разбежались, тяжело полетели, встретились в воздухе с цаплями, не понравилось вместе, и разлетелись в разные стороны: цапли к реке, дрофы в степь. Страшно было в первый раз выстрелить из настоящего ружья, но виду Курымушка не подал, туго прижал ложе к плечу, выстрелил, но промахнулся. В другой раз Рюрик ему крикнул вовремя: «Мушку, мушку!» Он мушку навел, и летящая чайка упала; ее с радостью присоединили к мясному запасу в корме. Итак весь день прошел, и куда это лучше было, чем самые мечты о забытой стране: это Курымушке надолго осталось, что мысль про себя не обман, как все говорят, а вестник прекрасного мира и что этот мир существует.

Под вечер странно стали смыкаться впереди берега, кажется кончилась река, вот-вот лодка в берег уткнется, а смотришь — опять берега широко расступаются, проехали, и опять смыкаются, будто хотят лодку взять в плен. Позднее все стало как будто ловить лодку: тростники, кусты, деревья, но она все шла и шла по течению, и только это казалось, будто лодка стоит и вокруг все идет и ее окружает.

В темноте ночью, еще больше, чем днем, несметною силой шел перелет: прямо над самыми головами со свистом проносились чирки, кулики разных пород, тяжело шли кряквы и часто шлепались в воду на отдых. Дикие гуси возле самой лодки иногда спускались всем кораблем, кричали, хлопали крыльями так близко, что брызги летели в лицо. Как хорошо было все это слушать, притаив дыхание, в надежде, что глаз какимнибудь чудом в темноте рассмотрит и можно будет пальнуть из ружья.

Но холод осенней ночи пробирал все больше и больше, и особенно плохо было ногам в сырой, чуть-чуть подтекающей лодке. Попробовали саблями нарубить тростнику, сложили его на дно лодки, легли, но сырость и холод мешали. Если бы на берегу костер развести! Но условились в первую ночь не разводить огня и не выходить на берег, догадываясь, что Крупкин будет ловить, и так он по огню сцапает, что и за ружье не успеешь схватиться, — это нельзя. И что это: сон, бред или явь? Слышно

Курымушке самому себя, как сопит и как зубы вдруг будто сорвутся и начнут сами так яро стучать друг о друга, а на берегу все время без перерыва где-то по самому близкому соседству дикие утки между собой переговариваются, и, — что делает этот полусон! — понятен бывает их разговор. Одна говорит: «Пересядь сюда, нам будет потеплее», — другая: «Убирайся с моего места, я тебя не просила, вот еще!..» И так у них всю ночь: то кто-нибудь недоволен, а то вдруг лисицу или хорька почуют, и сразу все заорут так, что и мертвый проснется. Много разных снов ярких видится, что вот хоть рукой ухвати. Так увидал себя Курымушка на теплой чистой постели, и голова его лежит на пуховой подушке в белой наволочке; вот это настоящее было видение и открытие, — никогда в жизни ему не казалось, что так хороша может быть обыкновенная подушка, какая бывает у всех, на каких теперь все, все люди спят в городах и в деревнях, в богатых домах и в бедных.

Ужасный утиный крик перебил его сон. Он проснулся, понял, где он, но подушка так и осталась неотступным видением. В эту самую минуту слышит он у самого своего уха шепот Ахилла:

— Отпустите меня!

«Куда?» — хотел спросить Курымушка, но вместо звука вылетел с яростью треск зубов, челюсть о челюсть.

— И у тебя зубы трещат, — сказал Ахилл. — Ты их рукой придерживай, как я.

Курымушка попробовал, и, правда, вышли слова:

— Куда тебя отпустить?

— Я по бережку тихонько пойду, согреюсь как-нибудь и дойду.

— Куда ты дойдешь?

— Домой.

— До-мой! Ах, ты...

Не то было главное обидно, что вернуться задумал, а что мог себе представить, будто это так близко, что вернуться можно. Курымушке было, будто он уже и в Азию приехал.

— Баба, баба! — повторил он со злостью.

— От бабы бежал и к бабе тянет его, — сказал Рюрик.

— Ну, не буду, ребятушки, не буду, — спохватился Ахилл и, отпустив челюсть, затрещал зубами, будто фунтами орехи посыпались.

— Ишь сыпет, ишь сыпет! — засмеялись товарищи.

А Курымушке скоро опять подушка привиделась, и он стал с этим бороться, но только напрасно, — чем больше он ее отвергал, тем ярче она вновь показывалась: небольшая подушка, такая же чудесная, как на подушке чудесной снилась когда-то страна голубых бобров. Но вот между утками и гусями пошли совсем какие-то иные разговоры.

— Ты знаешь, о чем они сейчас говорят? — спросил Рюрик.

— Не знаю, а что-то случилось, и по всему берегу одно и то же.

— Это значит — скоро рассвет.

— А как будто еще темнее стало: звезд не видно.

— Всегда перед самым рассветом темнеет и звезды скрываются: меркнет. Я много с отцом ночевал на утиных охотах: всегда меркнет.

Правда, скоро стало белеть. Теперь не страшно и костер развести. Вот вспыхнуло на берегу маленькое пламя, на востоке начался огромный пожар, и потом, когда солнце взошло, как добродушно оно встретило это маленькое человеческое пламя, и как вкусен был чай с колбасой, и какая радостная сила от солнца вливалась в жилы: этой силой опять все живое поднималось и летело на юг, в теплый край.

— Гуси, гуси летят!

— А там смотри, что там?

— Тоже гуси.

— А там?

— И там гуси.

— Ложись на землю, готовь ружье, кряквы летят.

— Стреляй!

Одна шлепнулась, другая подумала, споткнулась и тоже упала.

— А ты, дурак, хотел к бабам идти!

— Дурак я, дурак!

На охоте всегда так: нужно одну только удачу вначале, и потом пойдет на весь день, будто каждая новая минута готовит новый подарок. Так прошел этот прекрасный день, и ночь прошла у костра в тепле, на сухом тростнике. И еще одна утиная ночь. В полдень третьего дня путешественники услыхали далеко на берегу колокольчики.

— Не становой ли нас догоняет? — спросил Курымушка.

— Очень просто, — ответил Рюрик. — Вот сейчас я это узнаю, он нам кум. Кроме шуток, с отцом ребят крестил, приятель отцу: кум.

Было там на берегу высокое дерево. Рюрик вышел на берег, взобрался на самый верх.

— Ну что, видно?

— Видно, едет шарабан.

— Становой?

— Не знаю, не разберу.

— Скорее же разбирай. Ну?

— Разобрал: становой!

И так он это спокойно сказал, будто в самом деле он своего кума встречает.

— Скорей же слезай!

— Подожди: за ним в телеге два полицейских.

— Слезай же, слезай! Это за нами!

Но Рюрик слезал не так, как хотелось Курымушке, и Ахилл равнодушно смотрел.

Курымушка вспыхнул от злости, но вдруг ему пришла одна мысль.

— Он нас не поймает, — сказал Курымушка, весь просияв, — слушайтесь только меня. Вытаскивай живо лодку на берег.

— Как вытаскивать, что ты? Удирать надо.

— Вы-тас-ки-вай!

Послушались, вытащили на берег лодку.

— Перевертывай вверх дном.

Тут все и поняли: под лодкой пересидеть станового.

Выбили живо лавочки, нос пришелся как раз в ямку из-под камня, и лодка плотно закрыла путешественников.

Колокольчики все приближались. Вот если бы мимо промчался! Но нет, — колокольчики затихли, и голос послышался:

— Едрёна муха! Зачем тут лодка на берегу? Стой-ка, я посмотрю.

Подъехали полицейские.

— Это их лодка! — сказал становой. — Только где же они сами?

— В деревне, ваше благородие, — сказал полицейский, — они там, наверно, заночевали, отдыхают, как-никак, а ночки зябкие.

— Ну, вы поезжайте в деревню, а я вот здесь вас подожду и закушу. Еремей, привяжи коня к дереву, Кузька, подай сюда из шарабана кулек.

Полицейские уехали. Становой вытащил из кулька четверть с водкой, поставил на дно и подумал, удивился: «Ночью дождя не было, а лодка мокрая».

— Вот едрёна муха! — сказал он.

Выпил чайный стакан, закусил, посмотрел следы на траве, как они все выходят от воды и ходят под лодку... И запел почему-то:

Чижик, чижик, где ты был?
На Фонтанке водку пил...

Выпил стаканчик, выпил другой и вдруг заплясал, припевая:

Выпил рюмку, выпил две —
Зашумело в голове.

— Молодцы, — сказал он вслух, — взяли себе да и поохотились, самое время: осень, перелет. Вот как найду их, так им дня три еще дам пострелять.

— Слышишь?—шепнул Рюрик Курымушке. — Надо бы сдаваться.

— Да, надо бы, — шепнул и Ахилл.

В ответ Курымушка ткнул в нос сначала одному, потом другому.

— Вот как поймаю, — продолжал становой, — прежде всего им водочки, ветчинки, чайку с французской булкой, а потом с ними на лодке дня на три зальюсь, будто их все ловил: отпуск себе устрою. А то и неделю промотаемся, надоели мне эти черти-конокрады.

Рюрик тихонечко пальцем тронул Курымушку, а тот ткнул его в бок кулаком.

С каждой минутой все ненавистней и ненавистней становились Курымушке его товарищи: превратить всю экспедицию в охоту, вернуться с позором в гимназию? Нет, если они сдадутся, он один убежит, но так не вернется.

А полицейские катили обратно.

— Вы умные люди, — сказал становой, — хорошо сделали.

— Точно так, — ответили полицейские.

— И порядочные дураки.

— Точно так, ваше благородие.

— Вот что, умные дураки, постелите-ка все это вон там, на траве, костер разведите, чайник согрейте. Так! Живо! Теперь нужно гостей звать.

— Слушаем.

— Куда же вы пойдете?

— Не могим знать, ваше благородие.

— Ну, так я вам скажу: лодку эту поставьте на воду и поезжайте гостей звать.

— Слушаем! — сказали полицейские и, взяв лодку за край, повернули на бок.

— Чижик, чижик, где ты был? Пожалуйте, гости дорогие.

— А! и кум тут! Ну, давай поцелуемся.

Становой с Рюриком обнялись, но Курымушка, пока они целовались, схватил ружье, отбежал к дереву и стал за него, как за баррикадой.

Ахилл как осклабился, так и остался с такою же глупою рожей стоять.

Не обращая внимания на Курымушку, такого маленького, Кум угостил вином Рюрика и Ахилла и, увидев четырех убитых крякв, так и ахнул:

— Да мы тут сейчас пир на весь мир устроим: ведь они теперь осенью жирные.

И велел четыре ямки копать; в эти ямки прямо в перьях уложили уток, засыпали горячей золой, костер над ними развели.

— А еще бы хорошо осеннего дупеля убить, да его бы во французскую булку сырого, а булку тоже бы в ямку, пока она вся жиром его пропитается. Ну, вот закусим, такая закусочка — едрёна муха, скажу я вам... Ну, вы чего дремлете, ребята здоровые, вам еще по стакану под ветчину, а потом и под утки начнем.

Выпили еще по стакану.

— Меня самого из шестого класса выгнали. Эх, было время! Вот было время! «Gaudeamus» знаете?

— Ну, как же!

И запели:

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.

А Курымушка так и стоял, все стоял за деревом, ожидая на себя нападения; первым выстрелом он думал убить станового, вторым — полицейского, затем броситься вперед, схватить второе ружье, другого полицейского взять в плен и на этих лошадях продолжать путешествие.

Так он думал вначале, а кумовство у костра все разгоралось, товарищи его покидали; они, пожалуй, пойдут за Кумом. Знал ли Кум его мысли? Верно, знал: он лежал на полушубке брюхом вниз, пел «Gaudeamus», а сам все смотрел на воду, будто чего-то ждал, потом вдруг крикнул Курымушке:

— Не зевай, не зевай!

А у воды совсем низко, будто катились, летели два чирка и прямо на Курымушку.

— Не зевай! — крикнул Кум. — Так-так-так-вот-вот-вот... стреляй!..

Курымушка выстрелил раз — промахнулся, два — чирок свалился в воду у самого берега. Сразу бросились и Курымушка, и Кум к утке, у Курымушки руки не хватало достать, а Кум дотянулся и, подавая ему утку, сказал:

— Молодец, азият!

Обнял его вокруг шеи правой рукой и, повторяя: «Молодец, азият», — усадил его возле костра на полушубок.

— Ну, ребята, — сказал он, — кажется, ужин поспел, давайте-ка под утку, я сам гимназист, да из шестого класса.

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus.

Все выпили, Курымушка тоже первый раз хватил, и прямо целый стакан.

— Молодец, азият! — похвалил становой.

Тогда мало-помалу Курымушке стала показываться та желанная теплая подушка в белой наволочке; еще он сопротивлялся, отталкивал ее, а она все наседала, наседала.

— Нет, нет! — крикнул он.

— Добирай, добирай! — кричал Рюрик. — Мы без тебя сколько выпили, добирай!

Курымушка выпил еще, и подушка, огромная, белая, теплая, сама легла ему под голову. Хор пел!

Наша жизнь коротка, —
Все уносит с собой,
Наша юность, друзья,
Пронесется стрелой...

Только под вечер Курымушка проснулся и услышал голос Рюрика:

— Куда же ты, Кум, нас, пьяных, теперь повезешь?

— Ко мне на квартиру, мы там еще под икру дернем — и спать, а утром вы по домам, и будто сами пришли и раскаялись.

Лобан

Вот если бы знать в свои ранние годы, когда встречаешься с первой волною своей судьбы, что та же волна еще придет, тогда совсем бы иначе с ней расставался, а в том и беда: кажется, навеки ушла и никогда не воротится. Старшие с улыбкой смотрят на детские приключения; им хорошо, они свое пережили, а для самих детей все является, как неповторимое. Долго не мог взять себе в ум Курымушка, почему так издевались над ним в гимназии, как за зверем ходили и твердили: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Разве нет забытых стран на свете, разве плана его не одобрил сам учитель географии, и если была не его одна ошибка в выборе товарищей, то ведь от этого не исчезают забытые страны, — их можно открывать иначе. В чем же тут дело? «Уж не дурак ли я?» — подумал он. И стал эту мысль носить в себе как болезнь. Пробовал победить сам себя усердием, стал зубрить уроки, ничего не выходило: Коровья Смерть как заладил единицу, так она и шла безотрывно. Смутная была догадка в душе, что если бы что-то не мешало, то мог бы учиться, как все и даже много лучше. Однажды Коровья Смерть задал такую задачу, что все так и сели над ней, все первые математики были спрошены, никто не мог решить. Вдруг Курымушке показалось, будто он спит-не спит и ему просто видится решение отдельно от себя; попробовал это видимое записать, и как раз выходил ответ. Всю руку поднять он не посмел, а только немножко ладонь выставил, и то она дрожала. Соседи крикнули:

— Алпатов вызывается!

— Ну, выходи, — сказал Коровья Смерть, — опять какую-нибудь глупость сморозишь. Это тебе не Азия!

Курымушка вышел и стал писать мелом на доске по своему видению.

— Как же это так ты? — изумился учитель. — Откуда ты взял это решение?

— Из головы, — ответил Курымушка очень конфузливо, — мне так показалось. Это неверно?

— Вполне верно. Только ведь как же ты мог?

И, к великому изумлению всего класса, сразу после единицы поставил три, и не простое, а, как воскресение из коровьей смерти, на весь год. После этого случая он стал усердней учить уроки, но так всего было много, что от силы было все выучивать только на три. Как учатся иные всегда ровно на четыре и даже на пять, понять он не мог. Тупо день проходил за днем и год за годом: глубоко где-то в душе, как засыпанная пеплом, страна лежала, дремала, и вот, — когда у Алпатова стали виться кольцами русые волосы и чуть-чуть наметились усики даже, когда почти все ученики стали мечтать о танцах и женской гимназии и писать влюбленные стихи Вере Соколовой, в начале четвертого класса, — будто из-под пепла вулкан вырвался, и опять пошло все кувырком.

Мысль, что он дурак, все-таки не оставляла Курымушку и втайне его очень даже точила: он не верил себе, что может окончить гимназию, так это было трудно и скучно, предчувствие постоянно говорило, что все оборвется каким-то ужасным образом. На первых учеников он не смотрел с завистью, — они просто учились, и больше ничего, — но настоящие умные были в старших классах, и многим он очень завидовал. Эти умные держались как-то совершенно уверенно, им было наплевать на гимназию, и в то же время они знали, что кончат ее и непременно будут студентами; это были настоящие умные — таких в его классе не было ни одного. Против его четвертого класса был физический кабинет, в нем были удивительные машины, и там восьмиклассники занимались, настоящие умные ученики, и среди них Несговоров был первый, к нему все относились особенно. Раз Курымушка засмотрелся в физический кабинет, и Несговоров, заметив особенное выражение его лица, спросил:

— Тебе что, Купидоша?

Каким-то Купидошей назвал.

Робко сказал Курымушка, что хотелось бы ему тоже видеть машины.

Несговоров ему кое-что показал.

— Перейдешь в пятый класс, — сказал он, — там будет физика, все и узнаешь.

— А сейчас разве я не пойму?

— Отчего же. Вот тебе физика, попробуй.

Дома Курымушка нашел в книге одно интересное место про электрический звонок, стал читать, рисовать звонки, катушки. На другой день случилось ему на базаре увидеть поломанный звонок, стал копить деньги от завтраков, купил, разобрал, сложил, достал углей, цинку, банку и раз — какое счастье это было! — соединил проволоками, звонок задергался; подвинтил — затрещал, еще подвинтил, подогнул ударник — он и зазвенел. Через два месяца у него была уже своя электрическая машина, сделанная из бутылок, была спираль Румкорфа: в физическом кабинете Не-

сговоров показал ему все машины, и при опытах он там постоянно присутствовал. Как-то раз он сидел у вешалок с одним восьмиклассником и объяснял большому устройство динамомашины. Несговоров подошел и сказал:

— Вот Купидоша у себя в классе из последних, а нас учит физике. Почему это так?

— Да разве нас учат? — вздохнул ученик и запел:

Так жизнь молодая проходит бесследно...

Несговоров тоже запел какую-то очень красивую французскую песенку.

Когда ябедник Заяц показался в конце коридора, Несговоров перестал петь.

— Спой, пожалуйста, еще, — попросил Курымушка, — мне это очень нравится.

— Нельзя, Заяц идет: это песня запрещенная.

Так и сказал: за-пре-щен-на-я. С этого и началось. Запрещенная песенка навела на мысль Курымушку взять как-нибудь и открыться во всем Несговорову. Но как это сделать? Он понимал, что открываться нужно по частям, вот как с физикой: захотелось открыться в интересе к машинам, сказал, его поняли, а что теперь хотелось Курымушке, то было совсем другое: сразу во всем чтобы его поняли и он бы сразу все понял и стал, как все умные. Ему казалось, что есть какая-то большая тайна, известная только учителям, ее они хранят от всех и служат вроде как бы богу. А то почему бы они, такие уродливые, держали все в своих руках и их слушались и даже боялись умные восьмиклассники? Просто понять, — они служили Богу, но около этого у восьмиклассников и было как раз то, отчего они и умные: им известно что-то *запрещенное*, и вот это понять — сразу станешь и умным. Каждый день с немым вопросом смотрел Курымушка во время большой перемены на Несговорова, и вопрос его вот-вот был готов сорваться, но, почти что разинув рот для вопроса, он густо краснел и отходил. Мучительно думалось каждый день и каждую ночь, как спросить, чтобы Несговоров понял.

— Чего ты смотришь на меня так странно, Купидоша? — спросил однажды Несговоров. — Не нужно ли тебе чего-нибудь от меня? Я с удовольствием.

Тогда желанный вопрос вдруг нашелся в самой простой форме.

Купидоша сказал:

— Я бы желал прочесть такую книгу, чтобы мне открылись все тайны.

— Какие такие тайны?

— Всякие-развсякие, что от нас скрывают учителя.

— У них тайн никаких нет.

— Нет? А Бог! Ведь они Богу служат?

— Как богу?

— Ну, а из-за чего же они и мы переносим такую ужасную скуку, и родители наши расходуются на нас; для чего-нибудь все это делается?

— Вот что, брат, — сказал Несговоров, — физику ты вот сразу понял, попробуй-ка ты одолеть Бокля, возьми-ка почитай, я тебе завтра принесу, только никому не показывай, и это у нас считается запрещенной книгой.

— За-пре-щен-ной!

— Ну, да что тут такого... тебе это уже надо знать: существует целая подпольная жизнь.

— Под-поль-на-я!

По этой своей врожденной привычке вдруг из одного слова создавать себе целый мир Курымушка вообразил сразу себе какую-то жизнь под полом, наподобие крыс и мышей, страшную, таинственную жизнь, и как раз это именно было то, чего просила его душа.

— Та песенка, — спросил он, — тоже подпольная?

— Какая?

— Мотив ее такой: там-та-та-а-та...

— Тише! Это «Марсельеза». Конечно, подпольная...

— Вот бы мне слова...

— Хорошо, завтра я тебе напишу «Марсельезу» и принесу вместе с Боклем. Только смотри, начинаешь заниматься подпольной жизнью — нужна конспирация.

— Кон-спи-ра-ция!

— Это значит держать язык за зубами, запрещенные книги, листки — все прятать так, чтобы и мышь не знала о них. Понял?

— Понял очень хорошо, я всегда был такой.

— Конспиративный? Очень хорошо, да я это и знаю: не шутка начать экспедицию в Азию в десять лет.

— Еще я спрошу тебя об одном, — сказал Курымушка, — почему ты называешь меня Купидошей?

— Купидошей почему? — улыбнулся Несговоров. — У тебя волосы кольцами, даже противно смотреть, будто ты их завиваешь, как на картинке, и весь ты скорее танцор какой-то, тебе бы за барышнями ухаживать.

Курымушка посмотрел на Несговорова, и до того ему показались в эту минуту красивыми его живые, умные, всегда смеющиеся глаза и над ними лоб высокий, с какими-то шишками, рубцами, волосы, торчащие мочалкой во все стороны, заплатанные штаны с бахромой внизу и подметки, привязанные веревками к башмакам, — все, все было очаро-

вательно. Всех учеников за малейшую неисправность костюма одергивали, даже в карцер сажали, а Несговорову попробовал раз директор сделать о подметках замечание...

— Уважаемый господин директор, — сказал Несговоров, — вам известно, что на моих руках семья, и у сестер и братьев подметки крепкие; вот когда у них будет плохо, а у меня хорошо, то очень прошу вас сделать мне замечание.

— Вам бы надо хлопотать о стипендии, — робко заметил директор.

— Обойдусь уроками, — ответил Несговоров. — К Пасхе у меня будут новые подметки, даю вам слово!

Как это понравилось тогда Курымушке!

— Знаешь, — сказал он теперь, — я сегодня же остригу волосы свои под машинку, с этого начну.

— И очень хорошо; у тебя есть серьезные запросы.

Не так запрещенная книга и «Марсельеза», а вот совершенно новый мир, открытый этим разговором, — ведь только звонок на урок оборвал разговор, а то бы можно и все узнать у Несговорова, всю подпольную и нелегальную жизнь — вплоть до Бога, — вот это открылось, вот чем был счастлив Курымушка.

«Начать, значит, с того, — думал он на уроке, — чтобы наголо остричься, это — первое; во-вторых, хорошо бы дать теперь же зарок на всю жизнь не пить вина...» Правда, вина он и так не пил, но хотелось до смерти в чем-нибудь обещаться и не делать всю жизнь. «Вот и вино — если обещаться не пить, то уж надо не пить ни капельки; а как же во время причастия пьют вино... правда, это кровь, но потом за-пи-ва-ют вином... Как это? Надо завтра спросить Несговорова, он все знает, и все теперь можно спросить».

Быстро проходил урок географии, ни одного слова не слыхал Курымушка из объяснений Козла, и вдруг тот его вызвал.

— Чего ты сегодня смотришь таким именинником? — спросил Козел.

Но что можно снести от Несговорова, то нельзя было принять от Козла: «смотреть именинником» было похоже на «Купидошу».

— А вам-то какое дело? — сказал он Козлу.

— Мне до вас до всех дело, — ответил Козел, — я учитель.

— Учитель, ну так и спрашивайте дело. Зачем вам мои именины?

— Хорошо. Повтори, что я сейчас объяснил.

Курымушка ничего не мог повторить, но очень небрежно, вызывающе сложил крестиком ноги и обе руки держал фертом, пропустив концы пальцев через ремень.

Тогда Козел своим страшным, пронзительным зеленым глазом посмотрел и что-то увидел.

Этим глазом Козел видел все.

— Ты был такой интересный мальчик, когда собирался уехать в Азию, прошло четыре года, и теперь ты весь ломаешься: какой-то танцор!

То же сказал Несговоров — и ничего было, а Козел сказал, так всего передернуло, чуть-чуть не сорвалось с языка: «Козел!» — но, сначала вспыхнув, он удержался и потом побледнел; наконец и с этим справился и сделал губами совершенно такую же улыбку, как это делал Коровья Смерть, когда хотел выразить ученику свое величайшее презрение словами «есть мать?» и потом — «несчастная мать!».

— Где ты научился такие противные рожи строить?

— В гимназии.

— Пошел на место, ломака, из тебя ничего не выйдет.

С каким счастьем когда-то Курымушка от того же Козла услышал, что из него что-то выйдет, а теперь ему было все равно: он уже почти знал о себе, уже начало что-то выходить, и уже не Козлу об этом судить.

Пока так он препирался у доски с учителем, на парту его Коля Соколов, брат известной всей гимназии Веры Соколовой, положил записку. Письмецо было очень коротенькое, с одним только вопросом: «Алпатов, согласны ли вы со мной познакомиться? Вера Соколова». Получить бы такое письмецо вчера — какие бы мечты загорелись! Ведь почти у каждого есть такая мечта — выше этого некуда идти, — как познакомиться с Верой Соколовой, да еще по ее выбору! С каким бы трепетом вчера он написал, что согласен, и просил бы назначить свидание. Но сегодня против этого, совсем даже поперек, лежало решение остричь наголо волосы и всю жизнь не пить вина; выходило — или то, или другое, а остричься и познакомиться с Верой Соколовой было невозможно. «Может быть, не стричься?» — подумал он и ясно представил, будто он с Верой Соколовой катается на катке под руку и шепчет ей что-то смешное, она закрывается муфтой от смеха и... «Нет, — говорит, — нет, не могу, я упаду от смеха, сядемте на лавочку». Садятся на лавочку под деревом, а лед зимний, прозрачный колышется, тает, и волны теплые несут лодочку. Кто-то загадывает ему загадку: плывет лодочка, в ней три пассажира, кого оставить на берегу, кого выбросить, а кого взять с собой. «Веру Соколову беру!» — отвечает он и плывет с ней вдвоем, а навстречу плывет Несговоров с Боклем в руке, поет «Марсельезу», посмотрел на Курымушку, ничего не сказал, ничего не показал на лице и все скрыл, но все понял Курымушка, как в душе больно стало этому прекрасному человеку.

Звонок последнего урока вывел Курымушку из колебания, он твердым почерком написал поперек письма, как резолюцию: «Не согласен», — передал письмо Коле Соколову и пошел из гимназии прямо в парикмахерскую.

— Nun, nun... wa-as ist's, o du, lieber Gott! — встретила его добрая Вильгельмина. — Такие были прекрасные русые волосы, и вот вдруг упал с лестницы: von der Treppe gefallen!

Курымушка посмотрел на себя в зеркало и с радостью увидел, что лоб у него такой же громадный, как у Несговорова, и тоже есть выступы и рубцы.

А прислуга Дуняша как увидела безволосого, так и руками всплеснула:

— Лобан и лобан!

Подпольная жизнь

Бывало, бросишь камень в тихое озеро — он на дно, а круги идут далеко, глазом не увидишь, и только по догадке знаешь, что катиться им по всей воде до конца. Брошена была когда-то и где-то одна мысль, как камень в воду, и пошли круги по всему человечеству и докатились до нашего мальчика. Мысль эта была: законы природы.

То был закон Божий, а то просто закон. В том законе нужно было только слушаться, в этом — узнавать, и когда узнал и стал жить по закону, то слушаться больше никого не нужно: это знание и дело.

День и ночь мальчик Бокля читает, много совсем ему непонятного было вначале, но когда ключ был найден — этот новый закон, то очень интересно было перечитывать и все подводить под него.

В том законе, которому учат в гимназии, есть какое-то «вдруг!», все учителя очень любят это слово: «и вдруг!» или... «а вдруг!», бывает даже: «вдруг — вдруг!». Каждый из учеников ходит в класс и учится, как машина, от часу до часу, но всегда ожидает над собой, или под собой, или возле себя это «...вдруг!». Надзиратель Заяц постоянно под страхом... «и вдруг!» оглядывается, прислушивается, лукавится. Козел, самый умный, и то, бывает, ни с того ни с сего мелко-мелко перекрестится, и Алпатов узнает в этих крестиках свое детское в саду, в полях, когда, бывало, идет по дорожке, и *вдруг* начинает из кустов такое показываться, чего отродясь не видал.

А если по новому закону жить, то никаких «вдруг» быть не может, всему есть причины. Так он, читая и думая, думая, потом добрался и к Богу, что он есть тоже причина, но вспомнил о причастии, когда священник говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите», — вот тут-то и может быть больше всего это «вдруг», об этом страшно и думать, и кажется, сюда не подходит новый закон.

Каждую большую перемену Алпатов ходит теперь с Несговоровым из конца в конец, восьмиклассник сверху кладет ему руку на плечо, Алпатов держится за его пояс, и так они каждый день без умолку разговаривают.

— Последнее — это атом, — говорит Несговоров.

— Но кто же двинул последний атом? Бог?

— Причина.

— Какая?

— Икс. А Бог зачем тебе?

— Но ведь Богу они служат, наши учителя, из-за чего же совершается вся наша гимназическая пытка?

— В Бога они верят гораздо меньше, чем мы с тобой.

— Тогда все обман?

— Еще бы!

— Я сам это подозревал. Но неужели и Козел не верит?

— Козел очень умный, но он страшный трус и свои мысли закрещивает, он — мечтатель.

— Что значит мечтатель?

— А вот что: у тебя была мечта уплыть в Азию, ты взял и поплыл, ты не мечтатель, а он будет мечтать об Азии, но никогда в нее не поедет и жить будет совсем по-другому. Я слышал от одного настоящего ученого о нем: «Если бы и явилась та забытая страна, о которой он мечтает, так он бы ее возненавидел и стал бы мечтать оттуда о нашей гимназии».

— Но ведь это гадко, — почему же ты говоришь, что он умный?

— Я хочу сказать: он знающий и талантливый.

— А умный, по-моему, — это и честный.

— Еще бы.

После этого разговора стало очень страшно; про это свое, что ему страшно, Алпатов ничего не сказал Несговорову, — как про это скажешь? Этот страх еще хуже, чем в лесу бывало: там догадываешься, а тут известно, что это старшие сговорились между собой и обманывают всех. Как тут жить среди обмана?

Раз он идет из гимназии и слышит, говорят два мещанина:

— Смотри!

— Нет, ты смотри!

— Господь тебя покарает!

— А из тебя на том свете черт пирог испечет.

Сразу блеснула мысль Алпатову, что они считаются маленькими в гимназии и их обманывают Богом, а ведь эти мещане тоже маленькие, и мужики, и другие мужики соседней губернии, и так дальше, и еще дальше, — значит, их всех обманывают?

«Кто же виноват в этом страшном преступлении?» — спросил он себя. Вспомнилось, как в раннем детстве, когда убили царя, говорили, что царь виноват, но где этот царь? как его достанешь?..

«Козел виноват!» — сказал он себе.

За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель.

«Что же делать? как быть дальше?» — спросил он себя, входя к себе.

— О мой милый мальчик, — сказала ему добрая Вильгельмина, — зачем, зачем ты остригся? Ты стал теперь такой умный.

— Чем же это плохо быть умным?

— Всему свое время, у тебя были такие красивые каштановые волосы, тебе надо бы танцевать, а ты по ночам книжки читаешь.

И от доброй Вильгельмины Алпатову так показалось: хорошо это время, когда он хотел танцевать, и как хорошо казалось тогда узнать тайны, а вот узнал... и что теперь делать? В эту ночь в первый раз он узнал, что такое бессонница, долго провертелся на кровати и только под утро уснул.

— Auf, auf! в гимназию! — звала его Вильгельмина.

А он все лежал и лежал. Какая тут гимназия! Разве в гимназии дело? И ему захотелось хоть гадость какую-нибудь, но делать сейчас же, немедленно... Вспомнилось, как в саду его братья выстраивались возле бани вместе с деревенскими мальчиками и занимались обыкновенным пороком, как и он тогда пробовал, но у него ничего не получалось. Теперь он тоже захотел это сделать, но опять ничего не вышло. «Этого даже не умею!» — подумал он с досадой, и сильное раздражение явилось: хоть бы кого-нибудь обидеть, но невозможно было сказать дерзость доброй Вильгельмине с двойным подбородком.

— Милый мой мальчик, — говорила она, — отчего ты такой бледный сегодня? О, зачем ты остригся?

Смутно бродил он мыслью в разные страны, как-то ни во что ею не упираясь, будто пахал облака. В гимназию не пошел, а прямо в городской сад, на самую отдаленную лавочку, и стал там думать о последней, казалось ему, неизвестной и большой тайне, — вот бы и это узнать. В классе была целая группа учеников, во главе с Калакутским, они между собой всегда говорили про это и знали все. Но это раньше так чуждо было Алпатову, что он их сторонился и даже боялся. Вот бы теперь их расспросить! И так случилось, что путь Калакутского из гимназии домой как раз был через городской сад, мимо этой лавочки. Алпатов задержал его и прямо спросил про это.

— Можно, — сказал Калакутский, — только тебе первый раз надо выпить для храбрости.

— Ну, что же, давай напьемся.

— Приходи ко мне в сумерки.

Началось ожидание вечера, страх не выдержать и осрамиться борол его. «Ничего, — борол он свой страх, — когда напьюсь, страшно не будет». И всю надежду возложил на водку. С тех пор еще, как он бежал в Азию и напился с Кумом, не пил он ни разу, но воспоминание о дей-

ствии водки было связано с большой белой теплой подушкой и крепким сном. Хорошее воспоминание! Водка может совершать чудеса.

Как только смерклось и стали зажигать фонари, он явился к Калакутскому.

— Ну, пойдем?

— Куда пойдем? — спросил Калакутский.

Алпатов покраснел, стыдясь напомнить. А Калакутский был такой: у него всегда в одно ухо вскочит, в другое выскочит, и что-нибудь делать с ним можно только в тот самый момент, когда в одно ухо вскочило, а из другого еще не выскочило.

— А! — вспомнил он вдруг. — Водки не купил, нельзя было, у нас сегодня гости.

— И не пойдем?

— Нет, отчего же, пойдем, — там выпьем, у них есть. У меня там есть приятельница Настя, она тебя живо обработает. Ты не думай, что это из корысти, — они нас, мальчиков, очень любят, только надо теперь же идти, до их гостей, и прямо к ним в комнаты. Неужели ты никогда не пробовал?

— Нет, я думал — нам это нельзя.

— Во-от! А я, брат, с десяти лет начал. Как же это ты вздумал?

— Да так, вижу, нет ничего — и вздумал.

— Как нет ничего?

— Учителя — обманщики, сами не верят, а нас учат.

— Неужели это ты только теперь узнал? А я с десяти лет понимал. Ты знаешь, Заяц-то наш к моей Анютке ходит, она мне все рассказывает, хохочет. Он страшный трус и тоже нашим путем ходит: заборами, пустырями, в одном месте даже в подворотню надо пролезть, ну, она и заливается. Ты представляешь себе, как Заяц подлезает в подворотню? А ты думал — они боги. Я тебя Насте поручу, она мальчиков любит. Понравишься, так еще подарит тебе что-нибудь. Ну, пойдем.

«Вся надежда на водку!» — холодея от страха, думал Алпатов.

Шли сначала по улице, Алпатов спросил:

— А Козел тоже ходит?

— Нет, у Козла по-другому: он сам с собой.

— Как же это?

Калакутский расхохотался.

— Неужели и этого ты еще не знаешь?

Алпатов догадался, и ужасно ему стал противен Козел: нога его, значит, дрожала от этого.

— Ну, здесь забор надо перелезть, не зацепись за гвоздь, — сказал Калакутский.

Перелезли. Ужасно кричали на крышах коты.

— Скоро весна, — сказал Калакутский, — коты на крышах. Ну, вот только через этот забор перелезем и — в подворотню...

Перелезли, нырнули в подворотню. С другой, парадной стороны двора ворота были приоткрыты, и через щель виднелся красный фонарь.

— Запомни теперь для другого раза, — шепотом учил Калакутский, — этот заячий путь — нам единственный, а с той калитки если войдешь, сразу сцапают. Теперь вот в этот флигелек нужно, и опять осторожно, чтобы хозяйка из окна не увидала: ведь мы с тобой бесплатные. Боишься?

— Нет, не боюсь!

— Молодец. Постоим немножко в тени: какая-то рожа у окна. Ну, ничего, идем.

В темном коридоре Калакутский нащупал ручку, погремел, шепнул:

— Отвори, Анюта!

— Это ты, Калакуша?

Она только проснулась, сидела на неубранной кровати в одной рубашке. Алпатову ничего не показалось в ней особенного: просто раздетая женщина и — ничего таинственного, как представлялось.

— Вот этот мальчик, — сказал Калакутский, — его надо просветить.

— Веди к Насте, она их страсть любит.

Пошли дальше по коридору. «Если так, — думал Алпатов, — то не очень и страшно». Но Настя оказалась большая фарфоровая баба с яркими пятнами на щеках.

— Поручаю тебе обработать этого кавалера, — сказал Калакутский.

И втолкнул Алпатова в ее комнату.

— Раздевайтесь, — очень ласково сказала Фарфоровая. — Пива желаете?

— Водки, — ответил Алпатов.

Она вышла.

Тогда стала ему Фарфоровая, как на первых уроках в гимназии Коровья Смерть: страшно и слабо в себе. «Не убежать ли теперь?» — подумал он, но вспомнил, что еще будет водка и после нее все переменится. Тоже был страшный становой, а потом стал милым Кумом.

Она принесла графин с двумя рюмками, на блюдечке было нарезано мясо: закуска.

— Миленочек, ах, какой ты хорошенький! Пил ли ты водку когда-нибудь?

— Пил! — И налил две рюмки. — За ваше здоровье!

Чокнулся и выпил.

И вот странно — обжег себе рот, водка настоящая, а никакой перемены от нее не было.

Налил еще, выпил и — опять ничего, и еще налил и — опять ничего, и еще...

— Миленочек, ты очень уж скоро, так ты совсем опьянеешь.

— Водка на меня не действует, — ответил Алпатов, — мне надо много выпить.

— Вот ты какой!

Она села в кресло, притащила его к себе на колени, обняла.

— Ах, какой ты хорошенький, миленочек, знаешь, я тебе сделаю подарок — вот.

И дала ему небольшой перочинный перламутровый ножик.

— Подождите, — освободился Алпатов, —я сейчас на двор схожу, мне нужно.

Шинель надел, а пояс забыл. Выпитая водка стала действовать, только в другую сторону, — видно, напрасно грешат на этот хлебный напиток. Или, может быть, невидимая, неслышимая, притаенная где-нибудь в уголку души детская прекрасная Марья Моревна оттолкнула от своего мальчика фарфоровую бабу с яркими пятнами. Водка действовала, но в другую сторону: бежать, бежать.

Он спрятался в тени ворот, собираясь перелезть в подворотню, но вдруг ему почудилось, что на той стороне есть кто-то.

«Не Заяц ли это лезет?»

Вылез кот и шарахнулся, другой кот бросился на первого, и оба с ужасным криком понеслись на крышу. Две старушки у других ворот разговаривали между собой.

Первая старушка сказала:

— Пост пополам хряпнул!

Вторая ответила:

— Коты на крыши полезли.

Первая сделала вывод:

— Значит, месяц остался до полой воды.

«Ведь вот как они странно выводят, — подумал Алпатов, — у них причины выходят совсем не так, как у Бокля».

Коты, сцепившись в клубок, ляпнулись с крыши прямо ему под ноги и бросились в подворотню. За котом бросился в подворотню Алпатов — и на забор, по кустам до другого забора, по улице.

Добрая Вильгельмина ничего не заметила в дверях, и он прямо пошел в постель, но водка теперь только и начала свое действие; всю ночь ему чудится, будто Заяц его преследует, он в подворотню, и Заяц за ним; по пустырям, по заборам, по крышам мчатся они всю ночь, только где-то у собора ему удалось наконец обмануть Зайца: с высокой горы он катился вниз кубарем, и там у реки опрокинутая лодка, под эту лодку нырнул он, а там... что там он увидел! Там сидел Козел и уединенно сам с собой занимался.

— Auf, auf! в гимназию! — звала его Вильгельмина.

С ужасной головной болью он встал и вышел к чаю.

— O mein lieber Kind, — воскликнула добрая Вильгельмина, — ты совсем больной, не нужно ходить в гимназию!

Но Алпатов пошел, у него было какое-то смутное решение начать свою жизнь совсем по-другому. Первый урок был как раз география. Вошел Козел, сел, заложил ногу за ногу и задрожал, заходила кафедра, затряслась половица и через половицу — и парта. Алпатов стал испытывать точь-в-точь такое же невыносимо противное, как от фарфоровой дамы. Своими зелеными глазами учитель стал перекидываться от лица к лицу. Алпатов упорно смотрел, и когда встретил, то видел, как они зло вспыхнули и остановились, как две кометы — злейшие на всем небе светила. Алпатов опять скривил губы, как Коровья Смерть, и от этого Козлу стало, будто он яд принял.

— Ты опять рожи строишь? — сказал он.

— А вы опять дрожите, — ответил Алпатов. — Мне это неприятно.

Класс притих, как перед грозой.

Козел перестал дрожать ногой и даже как будто сконфузился, стал шарить глазами в журнале, слепо вызвал кого-то. Только Алпатову нельзя было так оставаться, было начертано совсем не тут, что идти ему в это утро, идти до конца: далеко где-то в других временах и в других странах камень упал, и пошли круги по человечеству и сегодня докатились до этого мальчика. Он поднял руку.

— Что тебе надо?

— Позвольте выйти.

— Не успели начать урок и уже выйти. Что с тобой?

Сердце у него стучало. Он вспомнил, что Вильгельмина, принимая бром, жаловалась на сердцебиение, и сказал:

— У меня биение сердца.

— Ну, что же, — ответил Козел, — сердце у всех бьется.

В классе засмеялись. Победа была за Козлом. Алпатов сел на свое место.

Жалобно ударил колокол крестопоклонной недели: в церкви пели «Кресту твоему поклоняемся, владыко». При этом звуке Козел тихонечко и быстро перекрестился.

Алпатов встал.

— Тебе что?

— Пост пополам хряпнул.

— Ну, так что?

— Коты на крыши полезли.

— Что ты хочешь сказать?

— Значит, месяц остался до полой воды.

Козел хорошо понял.

Козел такое все понимал.

— Какой ты заноза, я никогда не думал, что ты такой негодяй. Сейчас же садись и не мешай, а то я тебя вон выгоню.

Алпатов сел. Победа была за ним. Козел задрожал ногою, и половица ходуном заходила.

— Вон вы опять дрожите, невозможно сидеть.

— Вон, вон! — кричал в бешенстве учитель.

Тогда Алпатов встал бледный и сказал:

— Сам вон, обманщик и трус. Я не ручаюсь за себя, я не знаю, что сделаю, может быть, я убью.

Тогда все провалилось: и класс исчез в гробовой тишине, и Козел.

Заунывно ударил еще раз колокол крестопоклонной недели. Козел перекрестился большим открытым крестом, принимая большое решение, сложил журнал, убрал карандаши.

— Ты — маленький Каин! — прошептал он Алпатову, уходя вон из класса.

— Козел! Козел! — крикнул ему в спину Алпатов.

Через несколько минут в класс вошел Обезьян; у него было торжественно-мрачное лицо, и он сказал:

— Алпатов, возьми свой ранец, уходи из класса и больше не возвращайся.

Алпатов не надел на спину ранец, как это непременно требуется, а взял его под мышку портфелем, запел:

Allons, enfants de la patrie!

И пошел в коридор мимо директора, не поклонился и все пел:

Contre nous de la tyrannie... *

По пути домой он зашел в лавочку, купил себе черные пуговицы.

— Что случилось? Что так рано? — спросила его добрая Вильгельмина. — Заболел?

— Меня исключили из гимназии, — сказал Алпатов.

— Wa-a-as-s?

Алпатов попросил ножницы, иголку с ниткой и пошел в свою комнату. Там он сел у столика, развернул свою заветную бумажку, положил на стол перед собой. И, отрывая блестящие серебряные пуговицы, пришивая черные, запел на весь дом:

* О дети родины, вперед!
На нас тиранов рать идет... (*фр.*)

Allons, enfants de la patrie
Le jour de gloire est arrivé *.

Верно, из всех хозяек этого города одна добрая Вильгельмина понимала эту песню во всем ее ужасном значении.

— Alles verloren! — шептала она с ужасом. — Armes Kind! **

А за дверью до самого вечера гремело:

Contre nous de la tyrannie...

* О дети родины, вперед!
Настал день нашей славы... (*фр.*)

** Все погибло! Бедное дитя! (*нем.*)

Сергей Гедройц

ЛЯХ

Брянск красив, пять гор, покрытых домами и садами, амфитеатром спускаются к Десне. У подножия их широкая Московская улица с деревянными тротуарами, кондитерскими и игрушечными лавками. Сестра живет на Комаровской горе; у них теперь собственный дом с очень милым садом. Сестра и Миля встречают нас приветливо и устраивают в детской, рядом с их спальней. Мы с интересом рассматриваем комнаты, знакомимся с Фросей, с кривой Феклой, кухаркой, и денщиком. У последнего лицо безусое, юное, вид скромный. «Он у меня не солдат, а красная девушка», — смеется Миля, а солдатик вспыхивает и торопится уйти.

Мама спит в гостиной на кушетке, и раньше чем уснуть, говорим с ней о доме, который кажется мне таким желанным.

— Дядю Федю можно будет видеть? — Маме вопрос мой, видимо, неприятен. Оказывается, у Маруси и Мили отношения с Никитиными испорчены, и бывать мне у них можно, но не очень часто и поменьше там болтать. У Веры Алексеевны и Ильи Андреевича бывать можно, но, повидимому, и с ними отношения холодные. Не хочется уходить от мамы, и я засыпаю прикорнувши возле нее.

127

Прогимназия — белое двухэтажное здание с железной крышей — находится на Московской улице. Первый этаж занят магазинами, второй — классами, учительской, рекреационным залом и квартирой начальницы. Прогимназия трехклассная, учительского персонала немного. Когда мы приходим для экзамена, Настю встречают в коридоре гулом голосов. Она всех знает; меня этот гул оглушает. Ученицы наполняют коридор, где ходят поодиночке и попарно. Приготовишки и первоклассницы бегают и прыгают, избегая проходящих учительниц; старшие, наоборот, под-

ходят к ним, и из углов коридора слышится: «Марья Ивановна — прелесть! Зинаида Андреевна — душка!»

У меня на душе тяжко. Нужно сдать экзамен во второй класс; боюсь провалиться. Экзаменуют в зале. Начальница, Екатерина Дмитриевна Орт, замечая мое смущение, берет за руку и ведет в зал, где за столом, крытым зеленым сукном, сидят четыре человека в темно-синих вицмундирах. Инспектор, Иван Игнатьевич Ильин, вежливо, но сухо усаживает меня напротив, и экзамен начинается. Спрашивают по русскому языку: это для меня не страшно; по арифметике, по закону Божию — все проходит благополучно. Мое внимание привлекает вошедший учитель, худой, с такими тонкими ножками, что вицмундир кажется висящим на нем как на вешалке, — это учитель географии и истории — Василий Васильевич Розанов. Становясь против него возле маленького столика, вспоминаю слова Насти о том, что, несмотря на его молодость, никто из учениц в него не влюблен. С любопытством рассматриваю его красное лицо, обрамленное рыжими волосами и заканчивающееся такою же жидкою бородкою. Засмотревшись на него, пропускаю смысл вопроса. Он краснеет и начинает быстро-быстро трясти ногой. Спрашивает меня про княгиню Ольгу. В «Задушевном Слове» старшего возраста только что прочитала я о ее борьбе с древлянами; отвечаю. Он покачивает головою и чертит на экзаменационном листе виньетки. Наблюдающая за нами начальница подходит, прислушивается и перебивает меня как раз в тот момент, когда я повествую о том, как Ольга послала пылающих птиц поджигать Коростень.

— Василий Васильевич, — восклицает она, — вы ведь ее по географии экзаменовать должны, а не по истории.

Розанов густо краснеет.

— Ничего, Екатерина Дмитриевна, я это ей зачту, — начинает он, и лицо у него такое смешное, что я не выдерживаю и прыскаю от смеха. Смеется и Екатерина Дмитриевна, а Василий Васильевич нелепо повторяет:

— Ну, это пустяки! главное, что она выдержала.

128

Все новое. Утром Ефросинья будит нас, и при свете ночника одеваемся бесшумно, чтобы не разбудить спящего ребенка, идем в столовую, где Ерофей, как звали денщика, кладет возле кипящего самовара две булки. К восьми в прогимназию. Раздеваемся в передней и вливаемся в общий поток, переполняющий коридор. Лица уже знакомые, Лида Пугачева, первая ученица, дочь булочника. Пашина Шиша (так называют все Пашу Шишкину) с хохотом проносится мимо, ряд девочек белых и черных, шумных и скромных, все в форме. У некоторых, в том числе и у меня,

белые воротнички; стриженых мало, и моя мальчишеская прическа привлекает внимание. Пущенная кличка «Вихор» звенит в устах второклассниц, и не знаю, как ответить на сыплющиеся на меня шутки, становлюсь угрюмой, забившись в глубь коридора, рассматриваю корешки книг в библиотечном шкапу, стараясь занимать как можно меньше места.

— Что забились в угол? — окликает меня Розанов, — книги хотите взять? — Приближается прыгающей неслышной походкой, улыбается, причем смеется каждая складочка лица его. Глаза поблескивают из-за очков. Останавливается, позвякивая ключами, и, открыв шкап, спрашивает:

— Ну, что хотите получить?

— «Обрыв» Гончарова, — прошу я.

— Второклассница... и «Обрыв»! — говорит Василий Васильевич и вдруг отчеканивает: —Нельзя!

— Тогда «Обыкновенную историю».

Розанов сердится:

— Ну, понимаете ли вы, что просите, — отвечает он сердито. — Разве можно начинать чтение с такой тяжелой вещи? Нет, вот вам «Фрегат Паллада», читайте и помните, что когда принесете книгу обратно, я спрошу, что вы вынесли.

Звонят, возвращаюсь в класс.

— «Вихор влюблен в Василия Васильевича», — дразнят меня. Собираюсь рассердиться, но начинается урок. <...>

131

Дело Ерофея пробудило в прогимназии интерес к любви. Попарно, группами и классом склоняется слово «любовь» и все рассматривается через призму влюбленности. То и дело упоминаются фамилии прогимназистов третьего и четвертого класса, ухаживающих за прогимназистками.

Признанной красавицей у нас считается грузинка Шах-Назарова, лицо которой отличается, кроме необычайной красоты, тем, что при темных глазах волосы ее светло-пепельного цвета. В нее влюблен четвероклассник Добровольский, пользующийся взаимностью, и ученик городской школы Кукин; поэтому между классиками и школой неистовая вражда. Где бы ни гуляла прогимназистка с классиком, тотчас как из-под земли вырастают школьники, и встреча зачастую заканчивается потасовками. Шах-Назарову это не стесняет. Она — поэма прогимназии; письма Добровольского прочитываются даже второклассницами, и, конечно, в равной мере интересуются ее ответами. Добровольский, прилизанный и припомаженный, всегда в свежем мундирчике, напоминает



мне вербного херувима, и симпатичней Кукин, простой, размашистый и смелый.

Изнервленная делом Ерофея, прогимназия смотрит подозрительно на обоих поклонников.

— Смотри, Тамара! — предупреждает грузинку Маня Курдюмова: — когда гуляешь в клубе, не заходи на дальние дорожки.

— Ни на какие нельзя, — отвечает девушка. — Начальница запретила бывать и в клубе и в офицерском саду без родителей, а у меня дядя и тетя, которые вообще против моих прогулок.

— Ничего, — успокаиваю я, — зима на носу, на каток пускать будут.

— Тебе хорошо рассуждать — вворачивается Пашина Шиша: — Розанова каждый день видишь.

— Вижу, — начинаю сердиться я, так надоедает постоянное издевательство, — вижу и очень люблю его, но не так.

— Ха, ха, ха, она любит Розанова, — хохочет класс, — задаст тебе Юлия.

— Какая Юлия?

— Так мы называем его жену.

— Что ж, она похожа на него?

— Тоже рыжая. Васеньку в таком страхе держит, что он у себя принять никого не смеет: попадает ему от нее, а ответить не смеет и в отместку лепит нам колы.

Звонок возвестил начало урока географии, Розанов вошел с журналом в руке; в профиль он похож был на козла: так и окрестили его прогимназисты. Отворив дверь, подошел к столу под громкое пение:

«Хожу ли я, брожу ли я, все Юлия да Юлия». — Угреватое лицо его покраснело и, усаживаясь на стул он не сказал, а выкрикнул:

— Шишкина!

Девочка приподнялась и подходила к столу явно изводяще.

— Ногу, смотри ногу, — шептала, толкая меня в бок Курдюмова. У Розанова привычка трясти ногою, и особенно сильно это проявляется в минуту волнения. Теперь нога отбивала мелкую дробь, от которой дрожали стол, стул и покачивались фалды его вицмундира. Дрожанье усиливалось по мере приближения Паши к столу. Вот подошла, стоит с деланно-наивной миной.

— Что вы пели, когда я вошел? — спрашивает учитель, обмакивая перо в чернильницу.

— Мы не пели, Василий Васильевич, — пищит Паша.

— Конечно, не пели, а пищали, но как вы смели пищать, когда учитель в классе? Где дежурная?

— Козел, козел, козел, — зашептали на задних партах.

Лиза Пугачева, первая ученица и любимица Розанова, поднялась спокойно.

— Что у вас за безобразие, Пугачева?

— Никаких безобразий нет, Василий Васильевич, — четко произносит девушка. — Класс повторял новую песню и не заметил вашего прихода.

— А сейчас что они шепчут?

Чем авторитетнее тон Лизы, тем более сдает Розанов, и в последних словах слезливость.

— Бросьте, Василий Васильевич, ничего особенного они не шепчут, и Паше кол вы напрасно закатили; спросите ее лучше урок да исправьте.

Трясение ноги не прекращается, но Паша Шишкина вызывается вторично и кол превращается в тройку с минусом.

Урок продолжается без инцидентов.

132

Передачи записок, пересуды — кто в кого влюблен — надоедают.

Класс начинает раскалываться, оставив влюбленных; мы затеваем игры в мяч на классы и в особенности азартно играем в перышки, не прерывая игру даже на уроке. Отцовский рубль израсходован: кормят впроголодь, и когда выбежишь в большую перемену на улицу и пред тобой предстанет лоточник с масляными столбушками или торговка с мочеными гнилыми грушами, то я не выдерживаю и две-три копейки неизбывно переходят в их карман. А нужно бумагу, карандаши, марки. Завидую Насте, которая ежедневно покупает горячий завтрак и сладкие пирожки. Задумываюсь над вопросом заработка.

— Миля, — спрашиваю вечером, — нельзя ль найти урок, денег надо!

— Урок получишь, а деньги — нет.

— Зачем тогда урок?

— Ты материалистка, — смеется он, но отвертеться не удается. — Я обещал полковнику Буняковскому, что ты будешь репетировать его первишку Катю, получишь подарок. — Попалась.

133

Не ладится с рукоделием. На первом данном мне чулке поспускала петли. Поднимать долго, велели бросить и дали книгу читать вслух. Понравилось. Пелагея Анисьевна не сердится: ей лишь бы тихо было в классе.

На другой урок книги не оказалось.

— Разрешите рассказать сказку.

Разрешили... И пошло. Нянины сказки, милые и близкие, разукрашивались, расцвечивались. Потом свои пошли, и когда начальница пришла

на урок и с интересом прослушала «фантазию», как ее назвала, этим укрепила мое право не заниматься рукоделием.

Из уроков самый интересный — урок географии. Вычерчиванье карт, своеобразие изложения уносило далеко, распахивало ворота окружавшей обыденщины. И «двуликий», как прозвали мы Розанова, был другим на таких уроках: и он, казалось жил иною жизнью, жизнью мечты, и лицо светлело, улыбалось, делалось похожим на Розанова библиотеки.

Там у шкапа забывал он время, забывал, что перед ним второклассницы, говорил о том, чего нет в книгах, — о жизни, о человеке.

Но стоило ему услышать шутку, подметить усмешку — глаза прятались за очками, губы сжимались, и перед нами был Розанов, повернувшийся другою стороною лица.

Большинство его не любили. Говорили, что он тяготится своею домашнею жизнью, что Юлия увлекается офицерами... Провинциальные сплетни.

Держался он вдали от других учителей, не принимал участия в попойках, не бывал в клубе и писал книгу.

За это я его любила и хорошо приготовляла уроки.

134

У Никитиных несчастье.

Саня заболел в Орловском корпусе нарывом уха. Как когда-то Мине операция своевременно сделана не была; появились мозговые явления, и тетю Груню вызвали в корпус, где, не отходя, она выхаживала Саню.

А когда привезли домой на поправку — это был другой мальчик.

Полурастерянная-полувиноватая улыбка, тупой взгляд и раздражительность, указывающая на ненормальность.

«Пройдет!» — говорили вокруг.

Но это не проходило. Прежнего Сани не было, и от этого больше всех страдал дядя.

А дома поссорившийся с Никитиными Миля ядовито отмечал, что Саня не сын дяди, а дядя только опекун, примазавший к рукам большое состояние деда Сани Ротрофи.

— Чего ему примазывать, — злилась я, — Саня у них один, и все ему достанется!

Миля ядовито усмехался.

Делалось гадко.

135

Зима ... Каток ... Музыка.

Летишь по гладкому льду и вспоминаешь наш пруд, тишину, шелест очерета, оголенные березы.

Здесь толпа, смех, шум, убивающие красоту.

И гривенник, который берут за вход. В рубле их только десять, а есть другие нужды.

Хожу слушать музыку возле катка.

Трубы гудят, рождают мелодии. Розанов тоже ходит за кругом. Увидав меня, отворачивается.

— Следит за Юлией, — кидает мне проходящий Володя Грешнер: — она катается.

Розмах и ритм движения влекут меня; иду домой и, одев коньки, ношусь по Комаровской горе, полной ребятишек с санками и коньками.

Сначала сторонятся, ругают верзилой, потом носимся вместе; я пропускаю час возвращения и получаю нахлобучку.

Зато у меня новые интересные друзья.

136

Саша Комаров и Ваня Байков, усевшись на подворотне в сумерках, учат меня курить настоящий табак.

Крутят козью ножку; затягиваемся по очереди и сплевываем с шиком. Одна, другая ножка — весело, в голове туманится, а показать нельзя, засмеют.

Затягиваюсь усерднее, но не успеваю выпустить дым. Перед нами профиль Розанова. Мелькнуло пальто с барашковым воротником ...

— Прошел? Нет, повернув голову, взглядом ехидным проткнул. Пропали! — скажет.

— Скажет, — подтверждает Байков, — этот не промолчит! — Комаров молчит. Скручивают еще цигарку. Противно, тошно, но выкуриваем, плюем. Расходимся.

— Вы были вчера с мальчишками под воротами? — спрашивает на другой день Розанов, меняя книгу.

— Я.

— С кем?.. — Глаза — шпильки.

Молчу.

— Курили?

Киваю головой.

Василий Васильевич краснеет, трясет ногой и тоже молчит.

«Пропала, пропала!» — твержу, отходя. Видятся начальница, инспектор, педагогический совет. Исключение. Вот и образование.

Неделя тревожная. Вечерами курим во дворе. Настроение — как тогда, после исповеди.

Суббота — выдача отметок.

Все благополучно: не сказал.

137

Лиза Гуревич — третьеклассница, но мы подружились.

Серьезная, молчаливая, чем-то напоминает она мне Лину Ивановну и Антонину Николаевну. Может быть то, что она тоже стриженая.

— Отчего ты никогда не шалишь и не шутишь, Лиза? — спрашиваю я ее, — вечно молчишь?

— Во-первых, я велика для шалостей, — отвечает она, — а потом ты забываешь, что я еврейка.

И, увидев удивление в моих глазах, рассказывает, как тяжело живется евреям из-за черты оседлости, процентного поступления в учебные заведения и невероятных преследований.

— В душе каждого из нас живет ужас погрома, — грустно добавляет Лиза, — мне они еще не знакомы, но это всосано с молоком матери.

Василия Васильевича она не любит, называя юдофобом, и объясняет, что так называются ненавидящие и преследующие евреев.

Я рассказываю ей, что отец мой считает, что у литвинов глаза всегда грустные потому, что они таят траур по отчизне.

Это сближает нас; обе с родиной и без родины.

Вместо бурных игр на переменах мы ходим с нею по коридору; она рассказывает про своего брата, часовщика, про мать, я ей — про Слободище. Дает книги. Вместе перечитываем «Что делать?», и понимаю я его по-иному теперь.

Волнуясь читаю ей мои стихи; нравятся.

О Сергее говорит неохотно: он кадет. Тщетно доказываю, что кадеты разные бывают.

— Поди-ка ты, кадет, да еще дворянин, — и презрительно пожимает плечами. Обижаюсь за брата; два дня дуемся, потом опять спорим, читаем. <...>

158

Поправляюсь медленно; все уезжают в учебные заведения, а я еще остаюсь. Прощаемся с Сергеем: «Ты прежняя», — говорит. Леша один дома и заходит посидеть. Мама ласковая, но ничего не говорит про это, как будто все благополучно. С бабушкой встретились точно после бесконечной разлуки; смотрю в ее глаза: «знает ли? сказал ли он?» Нет, этот не скажет.

Тетя Вера говорит: «Это у нее перед болезнью было!».

Лишь в сентябре возвращаюсь в прогимназию. За лето все вытянулись, выросли; Шах-Назарова уехала. Из предметов прибавилась история, причем Василий Васильевич особенно вымучивал на хронологии, которая мне не дается. Странная вещь: насколько интересны у него уро-

ки географии, настолько нелепа история, где нужно знать назубок. В общем колов ставит меньше и стал ровнее, что приписываем отъезду Юлии, совсем или на время — неизвестно. Кроме того, инспектор женился на учительнице приготовительного класса; Зинаида Андреевна вышла замуж за офицера. Сестра опять ожидала ребенка. Ерофея не нашли. Остальное было без перемен словно болото стоячее — жизнь, отмеряемая часами и освещаемая керосиновыми фонарями: другого освещения в Брянске не было.

Возобновились мои уроки с Катей, возобновились занятия. Класс сбирается издать свою газету. Маня Курдюмова и я выбраны в редакцию. Очень не хватает Лизы Гуревич: она перевелась в Орловскую гимназию. С изданием газеты класс оживает. Большими и малыми группами толпимся, заседая, совещаясь, устраивая, причем вид у всех такой таинственный, что начальство начинает что-то подозревать и Пелагея Ивановна все чаще мелькает между группами. При общей радости вышел первый номер, наполненный главным образом сатирами на преподавателей:

Вот идет сюда Васютка —
Посмотреть на рожу жутко;

или:

На диктанте: «Жарко лето»,
«На горе рак косит рожь» —
Исковеркает Аннета,
Ничего не разберешь.

Учительница русского языка картавила и, действительно, никогда бы не выговорила этой фразы, вышло не в бровь, а в глаз. Как ни прятался журнал, очевидно кто-то выдал, и Анна Петровна, неосновательно подозревая меня в сатире на диктант, стала особенно придирчива.

— У вас в классе пишется газета, Ройц? — спрашивал Розанов, меняя книги. — Где она?

— На черной доске, ежедневно пишется и стирается!

Краснеет, обиделся <...>.

164

— Я сделалась жертвой клеветы! — говорит начальница входя в класс; возле нее неизбежная Анна Петровна.

Замираем!

— Говорят, в последнем диктанте слово «египетские мудрецы» мною поправлено неверно.

— Возмутительно, что об этом говорят, — встаю я с парты, — но поправлено слово неверно.

— Не может быть!

— Вот тетрадка.

— У кого еще есть тетради? — спрашивает Екатерина Димитриевна прерывающимся голосом. Молчание. Даже Лида и Маня опускают голову.

— У меня! — Настя протягивает тетрадку.

Мне неприятно; чувствую, что всё опять произошло из-за болтовни Мили; хочу сказать, что сожалею, что говорила в его присутствии и доставила неприятность Екатерине Дмитриевне, но она поднимает голову и заявляет: — Я этого не поправляла.

Выпрямляюсь, но не успеваю ответить, как на меня налетает Анна Петровна и, захлебываясь, не выговаривая слов, обвиняет меня в подделке.

— Что?

— Конечно, это вы поставили букву «д», чтоб оклеветать Екатерину Дмитриевну, — вы сами!

Задыхаюсь.

— Но ведь у Насти, да и у других поправлено!

Настину тетрадь не берут, другие молчат.

— Сознайтесь, Ройц, — старается говорить спокойно начальница, — этим все кончится и никто не узнает, — иначе мы передадим дело нашему каллиграфу, Василию Николаевичу.

Сознаться в том, чего я не делала!.. Никогда!

— Какая закоренелость! — кричит Анна Петровна. Пугачева пытается что-то сказать; ее не слушают.

— Преступница! Фальшивица! — истерично выкрикивает Анна Петровна и тянется ко мне словно схватить хочет.

— Р-р-р-аз! — звук пощечины... И тишина.

Анна Петровна держится за щеку; ученицы забирают ранцы и исчезают.

Я заперта в классе.

«Конец учебе, конец, конец!» — стучит в мозгу.

Собирается учительский совет; вносят свет; приходит Розанов. Говорит, что дело принимает дурной оборот, что если и не я сделала поправку, надо взять на себя, чтоб спасти честь гимназии. Что за пощечину меня исключат, если я не извинюсь, что отец экстренно вызван и едет лошадьми. Упоминание о Ляхе выводит меня из оцепенения.

— Никогда не возьму на себя лжи и не извинюсь: она оскорбляла и получила то, что должна, оставьте и уходите.

Ушел. Часы бегут — меня забыли покормить; слабею — дремлю.

А потом дверь распахивается: отец. Лицо — один гнев; голос металлический чеканит растерянной начальнице:

— Запирать ее? если бы она смолчала на оскорбления, я не считал бы ее своей дочерью! — Едем, Вера!

И мы уезжаем навсегда.

Н. Н. Русов

ЗОЛОТОЕ СЧАСТЬЕ

Зет решил исполнить давнишнее желание и съездить в Питер на свидание к одному писателю, который удивлял его художественным талантом, капризной красоте которого нельзя было противостать, который привлекал его интимностью и открытостью своих исповеданий и поражал остриями своих мыслей и заключений. Его книжка «Уединенное» тогда только что вышла, поразительная, единственная книга, от которой Зет несколько дней ходил, как помешанный: так она смела, необычна, так проста и так возмутительно откровенна... так прекрасна, так очаровательна в своих художественных страничках, так грустна, так жалостна в своем человеческом... Зет собирался писать о нем в том смысле, что эта искренняя до бесстыдства, до оголения, вибрирующая от облачных высей до житейских пакостей, многообразная душа, носимая, разрываемая добрыми и злыми духами, есть современная душа, страдательная, томимая, восприимчивая, как ртуть, но любящая и благословляющая жизнь, — чужую. Зет подробно знает его деятельность почти за тридцать лет, он даже имеет его первый труд еще от восьмидесятых годов, большую философскую книгу «О понимании», некий гениальный обломок ума человеческого, никем не оцененный, несмотря на блестящую ныне известность автора. А книга эта «с верой, надеждой, любовью» писалась целых пять лет в глухой провинции, и когда автор вез рукопись в Москву, он боялся отойти на станциях от чемодана и, ехав, думал только о том, чтобы сдать рукопись и деньги на печатание, а обратный поезд может хоть и крушиться. Когда книга «О понимании» появилась, рецензенты толстых журналов, понюхав страницы здесь и там, унюхали, что это не позитивно и не про-

грессивно, и засыпали землицею. Теперь шумит «возрождение религиозное», а вся эта книга, столь сложная по плану, по охвату, проникнута спокойным и достойным чувством религии!

Зет обжигал себе сердце и как бы все внутренности его статьями о семейном вопросе в России, о Льве Толстом, о библейской поэзии, о русской церкви, о Темном Лике, о людях лунного света, в которых он вкрадчиво защищал мир от христианства и в иных, страшных очертаниях являл нам Иисуса Христа. Зет отправился в Северную Пальмиру с вечерним поездом. На вокзале друзья провожали его ужином с обильным возлиянием.

— Вы, Зет, ничего не забудьте рассказать нам.

Шура чего-то нервничала и нападала на Петю.

— Вы, Петя, сегодня невозможны.

— Чем?!

— Да тем, что вы мне язык показываете.

Петя остолбенел от явной придирки.

— Да что с вами? И не думал!

— Ну, молчите, я сама знаю.

Всем это показалось подозрительным и странным. Зет тоже беспокоился, поглядывал на публику и говорил мало. Шура и к нему привязалась.

— Зет, вы уезжаете, а так с нами рассеяны.

Зет встрепенулся.

— Да ни Боже мой!

— Я хочу на вас поглядеть хорошенько. Повернитесь ко мне.

Зет повернулся, и она долгое время не отводила глаз с его лица. Митя вздохнул.

— Слава Богу, что мне нет никакого замечания.

Все улыбнулись, и даже Шура.

— Дождетесь!

По залу раздалось громогласное: вто-ро-ой звонок!.. Носильщик подхватил легкомысленный багаж Зета. Он спешно жал руки. Пальцы Шуры пощекотали его ладонь.

У Зета было спальное место. Он лег в изнеможении от выпитого. Поезд тронулся. Голове стало труднее. Скоро принесли ему матрац и постельное белье. Он машинально разделся и тяжело заснул. Но на полдороге Зет открыл глаза, развлекся грохотом поезда, свистом своего визави, раздумался и уж не мог забыться. Он ворочался с боку на бок, ругался, затыкал уши, зарывался в одеяло с головой...

— Фу, черт побери! скверная штука!

Зет воображал себе, как он заявится к писателю, с которым он, впрочем, списался и который приглашал его, и испытывал непреоборимое волнение и неизъяснимую боязнь перед лицезрением человека, которого любил, о котором фантазировал, как это было с Зетом перед первой для него лекцией критика Айхенвальда.

«Как бы не сотворить глупости или оплошности! И вдруг покраснеешь, как мальчишка?.. Пустяки, однако! Чего тут?»

Шура Краснобаева мелькала в голове, какая-то необычайная в последний раз.

«Славная, интересная девушка! Что-то с ней будет? Свернет она себе голову!»

И, перебивая суматоху мыслей и воспоминаний, и харьковских, и можайских, колыхался в мозгу безотрадный лик Серафимы, и точно иголки глубоко царапали смятенный мозг...

Зет остановился на Невском проспекте, в меблированных комнатах, возле Фонтанки. Денек выдался солнечный, и Невский блестел во всем своем великолепии. Заправившись кофеем, Зет подумывал идти к Неве, но не пересилил уставшего организма, прилег и задремал...

Свидание было назначено в шесть часов вечера, но Зет, поднявшийся около четырех, успевший пообедать и слегка пофланировать, забрался на Звенигородскую немного ранее.

Едва его впустили в переднюю, как он увидал слева от себя в открытой двери писателя с оттопыренными рыжими волосами, который полоскался над умывальником, как утка, и сиял Зету красной физиономией. Зет замешкался, но его провели в кабинет с просьбою подождать.

Кабинет был «министерский»: большой, с высокими шкафами и диванами по стенам, с круглым столом посредине, на котором лежали кучей последние журналы и книжные новинки. Над шкафами портреты...

Через минуту-две вошел писатель, — в пиджаке, среднего роста, плотный, с рыжими вихрами, физиономия безбородая, счастливая, лоснящаяся, — глаза? глаза приветливо и проницательно маслились, проникали и загораживались — эдакой костромской русак «себе на уме».

Писатель не играл никакой знаменитости. Просто уселись они с Зетом рядком и заговорили ладком. Зет поведал кое-что про свою жизнь, а Василий Васильевич, положивши под себя одну ногу и закуривши, — он сосал беспрестанно, — осторожно осматривал Зета и слушал в оба уха. Но их тотчас же позвали к чаю. В столовой Зет имел удовольствие познакомиться с домашними писателя и затем умилялся, глядя, как пьет чай Василий Васильевич, истинно по-костромски, с молоком и вприкуску, мелко накрошивши сахар.

Здесь беседа не клеилась, ибо Зет больше приглядывался, а Василий Васильевич рассказывал о своих детях. Совсем он не умеет говорить! Ищет как-то слова, мнет их сквозь губы, — а тот же, тот же! Столь же удивительный разговор, что и письмо. Зет понял, почему он пристрастен к ударениям, кавычкам, курсивам, — он все это выражает глазами, улыбочкой, ужимками.

Вернулись в кабинет. Ну, тут Зет совсем растаял от наслаждения! Что и как он передавал про живых и покойников, кого он знавал на своем веку, какими живыми чертами рисовал их, и Мережковского, и Рцы, и Суворина-старика, и Страхова, Льва Толстого, Победоносцева, Тертия Филиппова! А сам так смирненько покуривал, да покуривал, да набивал папиросы табаком. Щурился... Увлекся Достоевским и прочитал две страницы. Повел Зета по книжным шкафам, показывал редкие книги или старинные, вроде первого издания Словаря Бейля...

Зет плавал, Зет не чувствовал под ногами пола: он упивался самим художеством, которое вертелось перед ним в виде Василия Васильевича, который как-то брызгался словами и уже говорил, захлебываясь, о священной проституции в Египте.

— Вот, переведите мне с французского... Вот это место.

И дошло до того, что Василий Васильевич отворил заветный шкаф и показал Зету древние монеты, римские, греческие, восточные, которые хранились в бережном порядке. Василий Васильевич улыбался своим монетам, вынимал их и клал на место, как образки, и, наконец, увидавши одну особенную, просиял и с торжеством сунул ее Зету под нос.

— Глядите, глядите! Это — Афина, окруженная фаллосами!!..

На первый раз Зет засиделся у Василия Васильевича до двух часов без малого и то насилу попрощался.

Зет пробыл в Питере неделю и наведывался к Василию Васильевичу еще раза два. Однажды Зет провожал его ночью в редакцию. Василий Васильевич по дороге держал Зета под руку и толковал ему об его, Зета, тоскующей душе, спрашивал, что он думает, задумывает, делает, говорил, что у русских от «безделья» как-то получается больше, чем от дела.

— Странный народ, к делу не призванный без «столоначальника»... и, может быть, в отставке. Могу ли я вас все еще считать «своим»?

Но у Зета впечатление осталось сложное, неясное, загадочное. Стремясь обратно в Москву, Зет думал о Василии Васильевиче: что это все-таки за личность? Он своеобразен в высокой мере, привлекателен, но на чем все это вертится? Не видать никакого стержня. Что-то гибкое, разносоставное, хаотическое, есть краски, но нету рисунка — и, вообще, есть ли он личность? Именно Василий Васильевич Розанов?.. Не расстилалась ли передо мною стихия, или одна из стихий нашей души, русской



души, современной души? Недаром его писания не убеждают, а так соблазняют, точно дурман, разъедающий и расслабляющий:

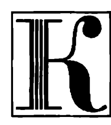
...Я хочу забыться и заснуть...
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел...

Но если преобразится Россия, если она возмужает, воспрянет, напружится, то вместе с нею воспрянет, возмужает, преобразится и Василий Васильевич... И, соображая о своих критических занятиях, Зет вспомнил: а какое у него открытие горизонтов в книге о Достоевском и Гоголе!

Ольга Форш

ВОРОН

За блошливым хвостом

ак-то под вечер, шурша юбками и газетой, тетушка внеслась в мою комнату, подобная урагану.

— Это имени не имеет...— и сует мне газету с отчеркнутым гневно абзацем.

Изысканные людоеды

На днях наши сверхчеловеки учинили мистерию, которая мало чем уступит недавнему подвигу так называемых «кошкодавов». Напомним читателю, что под этим объединением подвязался цвет столичной молодежи, десятками расстреливая в закрытом помещении вполне смирных домашних котов — ради опыта перехода «по ту сторону добра и зла». В данном случае не юноши — маститые жрецы слова собрались, по примеру модного романа Гюисманса, на «черную мессу». Гвоздь сей мистерии состоял в испитии некоей круговой чаши. По слухам, чаша содержала разведенную в воде кровь двух влюбленных. Во всяком случае знаменателен для нашего времени факт воскрешения суеверий средневековья.

— Очередное репортерское вранье, — возмутился я, — и как может вас подобное волновать?

— Но ведь это как раз та мистерия, на какой была наша Анечка! — воскликнула тетушка. — Мне по секрету давно рассказала Аглая. Они все собирались сделать по-древнему... Я сегодня два раза посылала кухаркину девочку к Аглае Бреннер, — вообрази, она увезла Анечку за город. Я опасаюсь ее влияния. Уж лучше бы Ане скорей выйти замуж — тетушка понизила голос — выйти замуж попросту, а не по древнегреческому.

Эта Аглая все твердила про переход любви от старой обыкновенной к какому-то «нездешнему цветку», и, вообрази, меня сейчас это пугает.

— Достукались! — разозлился я. — Да вам бы эту Аглаю на выстрел к Ане не допускать...

— Ах, не я, милый друг, — всплеснула тетушка ручками, — это ведь ты познакомил ее с Аглаей. Я брала Ане билеты всего лишь на Островского, где обыкновенные купцы, без всяких мистерий, а вот на лекцию Метра кто взял билет?

Пришлось мне прикусить язык. Действительно, с Аглаей Анечка познакомилась на той злополучной лекции и сразу договорилась идти с ней в Эрмитаж, что мне показалось вполне безвредным. Очевидно, отношения их окончательно окрепли, и вот, не угодно ль, разводи беду руками.

— Нет, какой может еще выйти позор, — шептала обескураженная тетушка, — если они и фамилии участников пропечатают, ведь у Анечки фамилия моя.

Тетушка выплыла в расстроенных чувствах, я же почувствовал потребность пройти пешком много верст и пошел в переднюю одеваться. Вместо прогулки мне пришлось на резкий звонок открыть дверь. Передо мной стоял Тихон.

Я молча протянул ему газету, он прочел, хмуря брови.

— Разумеется, клевета. Если у них там могло быть разыграно что-либо подобное, то уж наверное лишь в порядке показательной какой-нибудь лекции о культах. Что французу Гюисмансу ах как ужасно, то нам глуповато и смешно. Ну, для спокойствия души — хотите проверим. Обойдем двух главных участников, я с ними знаком, — оба умны, как бесы, и охотники посплетничать. Уж что-нибудь от них да вытянем.

Мне хотелось за малую ниточку ухватить то, чему свидетелем была Аня, может, и о ней самой что-либо выведать, и я охотно пошел с Тихоном.

Двинулись от цирка по Фонтанке. На площади весенние ранние лужи были еще так глубоки, что отражения львов в них баюкались как в люльке и были гораздо естественней львов на огромном плакате, окружавших укротителя с идиотским лицом.

Сименовский мост и здания вглубь по улице за старинной церковью своими надставными этажами, башнями, окнами, пламеневшими в последнем закате, походили на маленький немецкий городок. Направо, к Невскому, в красном просвете, сквозь дымчатую мглу черные лошади Аничкова моста рвались спрыгнуть с гранитов на землю, и неимоверными казались усилия всадников их удержать под уздцы.

— Какая красота, — сказал я Тихону, невольно останавливаясь и указывая на волшебное освещение, — ведь вот только глаза пошире от-

крыть... И к чему тянуться на цыпочки, на аршин от земли, которая сама-то чудесней всего. Я вот даже простые задворки люблю. А лес, жуки, облака?

— Очень мило и весьма знакомо, — ухмыльнулся Тихон, — но ненадолго хватает. Даже Метерлинк — этот дамский упроститель, даже он своей получасовой одноактной пьеской может сразить трагизмом будней вашу философию со всеми облаками и жуками. Каждую минуту человека подстерегает невеселый сюрприз. И едва его крупно заденет эмпирическая бессмыслица жизни — ко всем чертям вульгарный оптимизм.

— А я верю в жизнь... я уверен, что в будущем половина упомянутого вами трагизма, если не весь целиком, благодаря науке, прогрессу и прочему будет устранен.

— Никогда, — почти торжественно сказал Тихон, — такие в жизни размножены дефектики, что от них ни общественное благоустройство, ни познание законов природы, ни социальное уравнение — ничто не спасет. Благо, лирический момент выдался, возьмем к примеру хотя бы любовь. Даже для людей вашего типа, которым возможно космическое слияние с природой, даже для них неразделенную любовь никаким пейзажем не забьешь. А почему?

— Да потому, что любовь по своей сущности вообще трагична. Мечта, которую носит в себе юноша, никогда не осуществляется, и если он сам не превратится с годами в упрощенную свинью, он не перестанет переживать трагический конфликт, так сказать, монистического идеала любви и ее эмпирического плюрализма — словом, повторять бессмертный опыт дон Жуана. Две тоскующие разобщенные половинки прекрасного мифа Платона никогда не найдут соединения. В случаях редких, почти чудесных, когда встреча эта бывает, — уже через миг, один как-нибудь гибнет, и вообще черт подставляет свое копыто. Как раз вчера я прочел и запомнил: «Социальное развитие может только устранить внешние препятствия любви, создать ей более свободные условия, но едва ли от этого не станет еще сильней сознание трагизма внутреннего».

— Простите мой вопрос... — и я выговорил легко и просто, нежданно для себя самого, — Аня ведь вам не жена?

— Какое обличающее вышло у вас это «ведь»... — улыбнулся Тихон, — успокойтесь, Аня мне совершенно не жена ни в смысле матери семейства, ни в смысле любовницы. Я и впредь совсем этого не хочу: Аня мне — вечная невеста.

А жены у меня разнообразные: бывает Белла наездница: она, знаете, налетит, оберет и до следующего накопления. Постоянная жена — дебелая Эмма, она мне носки штопает. Но, в сущности, никто из них мне не нужен. — И помолчав, очень тихо добавил: — кроме Ани.

— Но почему в таком случае, — так же тихо спросил и я, — почему все-таки вам не жениться?

— Почему? Да потому, что соединение в одном человеке честности и бесстрашия и есть древняя эдипова катастрофа. Чтобы устроиться в этом мире благополучно, надо вообще себе самому наврать, а я, представьте, дошел до точки — не хочу врать, не хочу и устраиваться.

И вдруг, недовольный, что слишком интимно сказал, Тихон опять впал в шутливый лиризм.

— А знаете, как я вас мысленно именую — папахен, хотя вы, вероятно, всего несколькими годами меня старше. Вы немало порадовали меня тогда на лекции вашей нотацией и осуждающими взглядами на мой галстучек с булавкой и, главное, тем, что сочли меня заправским оперным *соперником*. Ну, право, вы мне как свежий душ.

— Я скоро понял, что вы все это нарочно, но только зачем? — спросил я.

— Чтобы лучше *досмотреть*. В понятном людям мундире человек, которому уже не лестно себя показать, свободней всего.

И Тихон продекламировал:

— «...тайна свершения рока в запечатленных сердцах, бремя груди, тяжелую силу титаны вылили в ярой борьбе: внуки выносят в себе». Но, увы, внуки устали, внуки ничему ровно не верят, внуки говорят, говорят...

— А мои простецы, — начал было я, но Тихон меня прервал. По лицу его прошло волнение. Он развернул бумажник, вынул четвертной билет.

— Вот я отложил из первого, свежеполученного гонорара, — подал он мне. — Убедительная просьба: купите-ка простецам большой самовар, пусть дуют во спасенье души и за мой ананас не серчают. Уж очень к случаю подошло — соблазнился. В конце-то концов пострадавший — один я: нес на десерт знакомой певичке, а тут они раззадорили. Однако сознайтесь, что с символической этой бомбой простецы ваши, как говорится, засыпались. Если они находят, что им под свой кров действительно *можно* принять бомбу, предназначенную для убийства, — уж тут их детской вере капут. Тут им надо б на совсем иной путь вступать. И знаете, мне даже было печально, что мохнатый тот дядя согласился. Ухни он на коленки да требуй, чтобы *горы сдвинулись*, чудо стряслось, а убийства бы не свершали, он бы свой стиль сохранил, — и мне с ананасом хоть провалиться.

Мы подошли к редакции распространенной, весьма непочтенной газеты. Я подумал: «А какого черта меня сюда понесет? Может, я лучше тут в скверике подожду?»

Но Тихон стал убеждать:

— Много потеряете: ведь человек, подобный философу, один раз бывает в столетие. Вот посудите, какой фразочкой он намедни обмолвился: «Мне не надо *истины,* я хочу *покоя».* Стойте, некто уж и стишок по этому поводу накатал, не помню кто, но преудачные есть строчки. Так в память и засели. Прослушайте-ка:

Это он сидел перед нетопленым камином,
Это он сказал, когда сердце пустынно...
Это всем нам... немного родное,
Но одно только сердце червивое, больное
Высказать посмело с наглою тоской:
«Мне не надо истины, я хочу покоя».

Мы вошли в редакцию.

Философ стоял против света, разглядеть его вдруг было трудно. Тихон меня ему представил, он молча ткнул мягкую бескостную руку, вроде как старую калошу. Сесть не пригласил, стоял сам, перебирая мелко ногами, топочась на месте у огромного кожаного дивана. Повернулся к Тихону, свет попал ему прямо в лицо. Смотрел он вбок, совсем как изображен на своем известном, очень похожем портрете. У него были темные печальные, во внезапном огляде очень зоркие глаза. Умнейший лоб, рыжинка волос, усмешечка. В лице непрестанная игра — и гаерское лукавство, и печаль. Странно отметилось, когда начал он свою невероятную речь: лицо его говорило совсем не то, что язык. В этом несоответствии был завораживающий интерес, и хотелось найти разгадку. Фигуренка была у него тщедушная, какой-то грим старинного подъячего. Может быть и не поношенный был на нем костюм, зарабатывал ведь он хорошо — с чего бы ему прибедняться, но, по впечатлению, костюм был обвисший и брючки внизу бахромеющие Долго он топтался, выспрашивая Тихона про провинцию. Усмешечка играла под редкими усами, а из маленьких глаз несло нечеловечьей, последней, песьей печалью. Простором и умом белел большой лоб. Жест был у него неприятный, поспешный, вдруг перешедший в слабое многократное подталкивание. Это он приглашал наконец Тихона сесть. Притолкнув его к дивану, шепетнул:

— А вам как, ничего на этом диванчике будет сидеть? Тут ведь обыкновенно сам... сам Меньшиков сиживает.

И буравчиками засверкали, залюбопытили глазки: вобрать им самое свежее, первое, нечаянное. Этакий вкус обнаружил к мелочному насилию.

Тихон поморщился. Он заметил и тотчас ему коленку легонько рукой:

— Ну, ну, я ведь так... пошутил. Думал, что вы погрубей.

Они сели рядом на диван. Философ, садясь, подмахнул под себя левую ногу, как резиновую, для прочности поддал ей проворной ладошкой и засплетничал. Несомненно было, что про меня он забыл или решил, что я пришел по своему делу к кому-то другому. Он обращался, иллюстрируя своим мелким жестом, к одному только Тихону, который воссел на диван, как идол. Так и сидел камнем, слушая, не моргнув, совершенно неподобные вещи. Говорил же их философ нарочито, как самое простецкое, каждодневное.

— ...Самое там, милый, интересное было, — те двое, с женами. Как на семейный пирог пришли. А зачем? Ну, чтобы через жен — шевалье оба друг с другом. Затейники. И ведь не пакостно как-нибудь измыслили, не как актеришки практикуют, не по «пиру» Платона, а вполне бесплодно и умозрительно. По-новому... по самому по Францу Баадеру.

Про четырехчленный андрогин слыхивали? Окончательная полнота пола. Нет? В провинцию еще не проникало. Разработанный наново немцем — Аристофанов *круглый человек*. Немец, общеизвестно, он сыт одной теорией, ну, а нам, батенька — нам все практически подавай.

— Вы говорите неправдоподобное, — уронил невозмутимо Тихон, — всем известно, что вы мистификатор.

— И очень правдоподобно, а по-ихнему совершенно к тому же обоснованно. Вы просто не в курсе. Это последняя столичная затея. Однополая-то отставлена, — конфиденциально шепнул он, прикрыв бороденку красной трепетной рукой, — однополая объявлена «карикатурящей священную идею *андрогина*». А в провинции что? ужели еще однополая соблазняет? Нет, конечно. В провинции размножаются попросту. В провинции пока — попросту. Ну, об этом вы мне отдельно... ко мне на дом придете.

— Неправдоподобно... — твердил Тихон. Но тот, уже не реагируя, торопился, суетился, подшептывал свое:

— Без посредников ни в одном практическом осуществлении не обойтись; вот и придумали — бочком, через своих законнейших...

— Как же все-таки технически?

— Вот видите, видите, вы уже заинтересовались! Технически осуществляется тоже вполне философски, говорю же, по Баадеру. Вот извольте: два друга — икс, игрек. У каждого имеется обретенная им, его дополняющая, законно обвенчанная. Вместе они хотя двухчленник, но *одно очко*. Надлежит слить воедино *два* таких самодовлеющих очка, сиречь: четырехчленник привести к единице. Получается полноценный продукт райского происхождения, безущербная единица. Окончательно, практически дело производится так: игреку, выражаясь библейски, надо «войти к жене» икса и обратно — иксу к игрековой. Словом, как водится в котильоне — месье, шанже во дам. Незамедлительно после сего пасса-

жа надлежит «войти в сад услад» *уже с* законной своей половиной, пока она полна, так сказать, фокусом личности шевалье-друга. Путем подобной арифметики воссоздается рассеченный надвое круглый мифологический человек. Эврика.

— А где же такое происходило? Ведь не у всех же на глазах, чтобы вы могли быть свидетелем, — пришел Тихон в раздражение, выйдя из своей идольской недвижности. Я же подумал со страхом об Анечке.

Философ побуравил глазами, выждал минуточку и, легонько хихикнув, сказал:

— То-то что не было вовсе. Ширмочки не нашлось. Они, вишь, потребовали ширмочку, «мистерия»-де у нас вещь новая. Да, да, так вот и не посмели без ширмочки.

— А, может быть, вы все это сами придумали, — обронил Тихон.

— А, быть может, и сам придумал... — отозвался рассеянно философ, думая о совершенно другом, и протянул руку за книжкой.

— Приходите ко мне, — крикнул он вдогонку Тихону, подмигнув глазком, — провинциалов-то я особенно люблю...

Когда вышли, Тихон сказал:

— Это он мстит своим приятелям за абстрактность. Они его недавно помоями облили за чрезмерное пристрастие к земле, за богохульное заявление: «я хочу на тот свет прийти с носовым платком. Ни чуточки не меньше». Однако, чтобы составить хоть какое-нибудь представление о том, что у них было, необходимо зайти нам еще к одному. Опровергая выдумку этого, он нам расскажет выдумку свою, — общий тон происшедшего священнодействия, как-никак, будет нами ухвачен. Времени у нас еще часа два...

Тихон остановился, опершись на гранит набережной. Уже зажглись газовые фонари, и, сопровождая ослепительный мертвый их свет, далеко ввысь, в туман, охвативший столицу, стрельнули треугольником черные тени. Вода потекла жирная, как чернила.

— Еще недавно, — проговорил Тихон, — совсем недавно я всему этому верил... — Он далеко вперед выгнулся над водой, где не играло уже ничье отражение, среди груды камней одни бездомные собаки глодали кости, рыча друг на друга.

— Да, верил, когда они писали, символы наши — *не имена,* они — наше молчание. И даже те из нас, которые произносят имена, похожи на Колумба и его спутников, называющих Индией материк, что вот-вот выплывет из-за далекого горизонта. А сейчас... наилучшие стали догматиками, а «дальний горизонт» из космических пространств взят в картинную плоскость и в качестве иллюстрации приклеен в такой-то книге стихов.

КОММЕНТАРИИ

В. В. РОЗАНОВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ ДОЧЕРЕЙ

Т. В. Розанова
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ В. В. РОЗАНОВЕ И ОБО ВСЕЙ СЕМЬЕ
(с. 7)

Печатается по: *Розанова Т. В.* Воспоминания об отце В. В. Розанове и обо всей семье / вступ. ст. Ю. Иваска // Новый журнал (Нью-Йорк). 1975. Кн. 121. С. 163—177; 1976. Кн. 124. С. 219—235.

С. 10. *Об их отношениях имеется письмо отца, к кому, не помню.* — Адресатом письма был А. С. Глинка-Волжский (см.: Наст. изд. Т. 1. С. 15—19).

С. 11. *Эту трагическую историю он описал в конце жизни в книге под названием «Смертное».* — См.: *Розанов В. В.* Смертное / вступ. ст., публ. и коммент. Е. Барабанова // Наше наследие. 1989. № 6.

С. 15. *В 1895 году родилась я.* — Т. В. Розанова родилась 22 февраля 1895 г. и была крещена в Введенской церкви на Петербургской стороне. Ее крестным отцом был Н. Н. Страхов, а крестной матерью — жена писателя И. Ф. Романова (Рцы) О. И. Романова.

С. 16. *...в 1904 году, когда мы уже жили на Шпалерной улице...* — С 1899 по 1905 г. семья Розановых проживала по адресу: Шпалерная ул., д. 39, кв. 4.

...наша поездка в Аренсбург... — Путешествие в Аренсбург (после 1919 г. Курресааре, в 1952—1988 гг. — Кингисепп) на о. Сааремаа в Эстонии и в Ригу Розановы совершили в 1899 г. См.: *Розанов В. В.* Федосеевцы в Риге // Новое Время. 1899. 7 августа. № 8440. С. 2 (перепечатано в книге «Около церковных стен», т. 1). Впечатления о путешествии по Балтийскому морю Розанов описал в очерке: Тревожная ночь // Северные Цветы. СПб., 1902. С. 3—15 (перепечатано в книге «Темный Лик»).

...переезжали на другую квартиру, в Казачий переулок ~ уже должна родиться у мамы третья сестренка Варя. — Розановы жили по адресу: Боль-

шой Казачий пер., д. 4, кв. 12 в 1906—1909 гг., тогда как Варвара родилась в 1898 г.

С. 17. *...кажется в 1903, мы ездили летом в Саров.* — В Саров Розановы ездили в июле 1904 г. (см.: *Розанов В. В.* По тихим обителям // Новое Время. 1904. 10 и 18 августа, 1 и 15 сентября).

С. 19. *Квартиры в Петербурге у нас ~ часто менялись...* — В указании дат переездов Т. В. Розанова не совсем точна: Шпалерная ул., д. 39, кв. 4 — до 1906 г.; Казачий пер., д. 4, кв. 12 — 1906—1909 гг.; Звенигородская ул., д. 18, кв. 23 — 1909—1912 гг.; Коломенская ул., д. 33, кв. 21 — 1912—1916 гг.; Шпалерная ул., д. 44-Б, кв. 22 — 1916—1917 гг.

С. 20. *Ее звали Домна Васильевна, фамилию не помню.* — До отъезда в Сергиев Посад у Розановых прислуживала Домна Васильевна Алешинцева.

Газеты выписывались: «Новое Время», «Русское Слово» и «Колокол». — Розанов сотрудничал в газете «Новое Время» с середины 1890-х гг. Уже в 1897 г. он упоминается среди регулярных сотрудников газеты. Со 2 апреля 1899 г. Розанов состоял в штате «Нового Времени». Служба в этой газете позволила Розанову окончательно решить свои материальные проблемы. В либеральной газете И. Д. Сытина «Русское Слово» Розанов печатался с конца 1905 до 1911 г. (под псевдонимом В. Варварин). «Колокол» — церковно-политическая газета, издававшаяся миссионером В. М. Скворцовым в 1906—1917 гг. Розанов много печатался в ней в 1916 г.

«Русское Богатство» — один из главных либерально-народнических журналов, соредактором и соиздателем которого с 1895 г. и главным редактором с 1904 г. был В. Г. Короленко.

«Русская Мысль» — журнал, редактором которого с конца 1906 г. был участник сборника «Вехи» П. Б. Струве.

С. 21. *...ехал в Эртелев переулок...* — Редакция газеты «Новое Время» располагалась по адресу: Эртелев пер. (ныне ул. Чехова), д. 6. Там же с 1893 г. жила и семья Сувориных.

...Меньшикова — он недолюбливал... — М. О. Меньшиков не мог простить Розанову его статью «Кроткий демонизм» (Новое Время. 1897. 19 ноября. № 7806. С. 2), в которой он подверг сокрушительной критике рассуждения Меньшикова о «пошлости» и «ненужности» любви в статьях: Элементы романа. О половой любви // Книжки «Недели». 1897. № 9. С. 230—275; О суеверьях и правдолюбии // Там же. № 10. С. 191—245; О любви святой // Там же. № 11. С. 151—192.

С. 22. *...я эти книги собирал, будучи бедным студентом...* — О приобретении книг в студенческие годы Розанов писал в газетной статье: К всеобщему успокоению нервов... // Новое Время. 1911. 7 февраля. № 12539 (перепечатано в книге «Среди художников»).

С. 24. *Раза два бывала у нас жена Достоевского...* — Об отношениях Розанова с А. Г. Достоевской, вдовой писателя, см.: Переписка А. Г. Достоевской

с В. В. Розановым / публ. Э. Гаратто // Минувшее (Париж). 1990. № 9. С. 258—293.

...она просила написать рецензию на роман дочери ~ Но папа ~ не написал рецензию. — Т. В. Розанова не права: просьба А. Г. Достоевской написать рецензию на сборник рассказов «Больная девушка» (1911) Любови Федоровны Достоевской была Розановым выполнена. См.: Первый дебют // Новое Время. 1911. 3 апреля.

С. 25. *...отец изредка ездил к ним в гости на Васильевский остров.* — После Павловской ул., где они были соседями Розановых, Романовы жили в Гатчине, затем на Б. Зелениной, д. 13, и затем на Васильевском острове, 18-я линия, д. 19-а.

Этот пансион ~ принадлежал некоей даме по фамилии Левицкая. — Школа-пансионат Е. С. Левицкой была создана в 1900 г. в Царском Селе по адресу: Новодеревенская ул., д. 12 . Там учились Варя и Таня Розановы. Е. С. Левицкая ездила с Розановыми в 1910 г. за границу. Розанов не раз выступал в печати со статьями о школе Левицкой, защищал ее от нападок противников использованной там системы воспитания. См., например: *Розанов В. В.* Образцовая средняя школа // Новое Время. 1905. 12 мая, 25 мая; Завершившийся опыт // Новое Время. 1907. 9 сентября.

С. 27. *...у знакомых Гофштетеров.* — Розановы тесно общались с семьей Гофштеттеров и в 1905 г. оставили на их попечение при поездке в Германию младших детей. Однако в дальнейшем отзывы Розанова о Гофштеттере (в «Смертном» и «Опавших листьях») были отрицательными — Розанов сравнивает его с гоголевским Добчинским, высмеивая за тщеславие. Поздняя его характеристика Розановым (ок. 1915) крайне негативна: «Отвратительный и страшный гипнотизер. Жена его Лидия тоже печатала рассказы. Но самый замечательный (автобиографический) — "Зеркала", в рукописи. Она загипнотизирована Ипполитушкою. Лидия — сомнамбула, а он тайный преступник, один раз запускал лижущий язык к Распутину» (*Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М.: Московский рабочий, 1990. С. 737).

С. 28. *...близ дачи художника Ярошенко.* — Розанов снимал в 1907 г. дачу у вдовы художника Марии Павловны Ярошенко в Кисловодске. Там он встретился с М. В. Нестеровым. Нестеров писал после их встречи: «В Кисловодске десять дней путался с Розановым. От "поцелуев" переходили чуть не к драке» (*Нестеров М. В.* Письма. Л.: Искусство, 1988. С. 228).

С. 29. *Отец выразил желание написать о домике Лермонтова...* — См.: Домик Лермонтова в Пятигорске // Новое Время. 1908. 16 июня. № 11587; Лермонтовский домик в Пятигорске // Там же. 23 июня. № 11594; 30 июня. № 11601.

...в 1909 году в Луге. — В 1909 г. семья отдыхала летом в деревне Лепенене под Териоками, а не в Луге. См. также коммент. к с. 293.

С. 32. *Надя вышла замуж за студента.* — В первом замужестве Н. В. Розанова носила фамилию Верещагина. Она обычно подписывалась этой фамилией и получила под ней некоторую известность как художник-иллюстратор.

С. 32. *Брат Вася ~ в Тенишевское училище...* — Василий Розанов-младший учился в Тенишевском училище в одном классе с будущим писателем В. В. Набоковым.

С. 34. *...она жила ~ в деревне Казаки...* — Дер. Казаки находилась близ г. Ельца Орловской губернии.

С. 36. *В эти годы бывал у нас сын художника Н. Н. Ге.* — Неточность Т. В. Розановой: у них бывал не сын художника Ге, а его внук, Николай Петрович Ге.

Из Москвы изредка наезжал Михаил Васильевич Нестеров. — Розанов опубликовал о Нестерове три статьи: Молящаяся Русь (На выставке картин М. В. Нестерова) // Новое Время. 1907. 23 января. № 11087; Где же «религия молодости»? (По поводу выставки картин М. В. Нестерова) // Русское Слово. 1907. 15 февраля. № 36; Нестеров // Золотое Руно. 1907. № 2. С. 2—7.

С. 45. *А годы уходят, все лучшие годы... В себя ли заглянешь?* — Неточно цитируются строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно...» (1840).

С. 47. *Осенью 1910 года мы переехали на новую квартиру в Казачий переулок.* — Ошибка памяти — имеется в виду переезд летом 1909 г. на Звенигородскую ул. Удар с В. Д. Розановой случился 20 августа 1910 г.

...я готовилась к переходу в гимназию Стоюниной... — Гимназия Стоюниной была основана в Петербурге в 1888 г. и находилась на Кабинетской ул., д. 20. В ней учились дочери Розанова Вера и Надя, а потом и Таня. Н. О. Лосский в своих воспоминаниях возмущается, что Розанов, написав ругательную рецензию про гимназию Стоюниной (см.: Бедные наши дети // Новое Время. 1912. 27 июня. № 13035), отдал туда трех детей. Позже Розанов стал относиться к этой гимназии гораздо лучше.

С. 48. *...преподаватель Василий Васильевич Гиппиус...* — В гимназии Стоюниной преподавал Владимир Васильевич Гиппиус.

...написал письмо Павлу Александровичу Флоренскому... — Флоренский был близким другом Розанова, несмотря на глубокие расхождения во взглядах. Познакомились они, когда Флоренский был еще студентом, — вероятно, в связи с его публикациями в «Новом Пути». Они сблизились в 1909 г., когда Розанов посетил Флоренского в Сергиевом Посаде, приехав в Москву на празднование юбилея Н. В. Гоголя. Розанов писал: «В простой, почти крестьянской избе-келье я беседовал у Троице-Сергия, после гоголевских торжеств, со смиренным и вполне ученым преподавателем духовной академии, Павлом Флоренским, сущим иноком по внутреннему призванию: и ночь, в беседе с ним проведенная при взаимном понимании с полуслова, думаю, не

есть ли "собор", по слову Спасителя: "где два и три соберутся в любви и мире, Я посреди их"» (*Розанов В.* И не пойду... // Новое Время. 1909. 18 июня. № 11948). В августе 1909 г. Розанов писал известному богослову, профессору С.-Петербургской духовной академии Н. Н. Глубоковскому о Флоренском: «По интересу личности, представьте, я во Флоренском встретил почти чудо: отшельник, монах (по жизни), философ (платоник) и вместе безгранично чувствующий природу, нашу серую северную природу. То, что он в письмах мне писал, <...> в высочайшей степени любопытно» (ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 1. Ед. хр. 757. Л. 62 об.).

...однажды днем к нам приехала Айседора Дункан. — Розанов был увлечен раскованной манерой танца А. Дункан и написал о ней ряд восторженных статей: Танцы невинности (Айседора Дункан) // Русское Слово. 1909. 21 апреля. № 90. Подп.: В. Варварин; Дункан и ее танцы (14 января в Малом театре) // Новое Время. 1913. 16 января. № 13236; У Айседоры Дункан // Там же. 19 февраля. № 13270. А. Дункан подарила Розанову фотографию, которую он включил в книгу «Среди художников», куда вошли и его очерки о популярной танцовщице.

С. 50. *...стал бывать у нас Василий Васильевич Андреев...* — См. статьи Розанова о нем: Великорусский оркестр В. В. Андреева // Новое Время. 1913. 25 января. № 13245; Еще о В. В. Андрееве и его народном оркестре // Там же. 19 апреля. № 13326; Бенефис великорусского оркестра // Там же. 1917. 7 февраля. № 14701.

С. 52. *Когда-то Александров был редактором «Русского Обозрения»...* — Отношения Розанова и Александрова складывались не лучшим образом. Помимо прочего, Розанов был обижен на Александрова за то, что тот постоянно задерживал оплату за его публикации. В 1913 г., когда дети жили в Сергиевом Посаде и встретились с Александровыми, Розанов писал им: «С Александровыми Вы будьте похолоднее и держитесь подальше. Они очень навязчивы, везде и во все лезут, но это страшно фальшивые люди. И маме и папе Вашим они в старые годы принесли много горя, не уплачивая денег за статьи» (*Верещагина Н. В.* Семейные воспоминания // РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 103).

С. 54. *По настоянию ~ ее двоюродного брата В. В. Гиппиуса моего отца ~ исключили из Религиозно-философского общества...* — В. В. Гиппиус не играл столь значительной роли в организации «суда» над Розановым — главными фигурами были Д. С. Мережковский, Д. В. Философов и А. В. Карташев. В. В. Гиппиус признался позже Н. В. Розановой-Верещагиной, что вопрос об исключении Розанова был поставлен по требованию масонской организации (см.: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 137—139).

...во время «дела Бейлиса». — О деле Бейлиса см.: Наст. изд. Т. 1. С. 515—516.

...заметки ~ о которых говорил мне С. А. Цветков... — Розанов возлагал на Цветкова надежды как на перспективного представителя «молодого московского славянофильства». Н. В. Розанова-Верещагина в своих неизданных «Семейных воспоминаниях» приводит отзыв отца о Цветкове: «...он чрезвычайно образованный и начитанный человек, а главное, очень развит, что не всегда бывает и с ученым» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 103). После кончины Розанова Цветков занимался приведением его архива в порядок и библиографией сочинений Розанова.

С. 55. *...отец ~ стал писать в журнале «Вешние Воды»...* — Научно-литературно-художественный журнал «Вешние Воды» (1914—1918) предназначался для студентов и печатал главным образом их произведения. Редактором журнала был М. М. Спасовский. Журнал имел националистическую ориентацию и активно привлекал к сотрудничеству публицистов «Нового Времени». Розанов в основном публиковал в «Вешних Водах» свою переписку со студентами — «Из жизни, исканий и наблюдений студенчества» и др. Подробнее о журнале см.: *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Нью-Йорк: Всеславянское изд-во, 1968.

С. 56. *...иеромонах Иларион ~ с которым мой отец дружил.* — Опубликовано интересное свидетельство о его взаимоотношениях с Розановым: «...однажды Иларион при встрече с известным Розановым, который после 1917 г. проживал в Сергиевом Посаде, сказал тому между прочим: "Да где уж нам, «людям лунного света», понять какие-нибудь бодрые настроения!"... Любопытен был контраст: слабенький, щупленький Розанов — носитель, выразитель земного ощущения жизни, поклонник плотяного юдаизма, чадородия, плодородия, и Иларион — чисто русский богатырь, иронически говоривший о себе как об одном из "людей лунного света", пользуясь терминологией и образом Розанова!» (*Волков С. А.* Архиепископ Иларион (Троицкий) // Вестник РХД. 1981. № 134. С. 229).

С. 61. *«Рассказы странника об Иисусовой молитве»* — точнее: «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» — знаменитое анонимное сочинение духовно-наставительного содержания, переведенное на ряд европейских языков и оказавшее влияние, в частности, на творчество Дж. Сэлинджера. Авторство приписывалось целому ряду писателей второй половины XIX в. Профессор Московской духовной академии А. М. Пентковский, обнаруживший не известные ранее рукописные источники, доказал, что первые четыре рассказа сохранились в поздней редакции оригинальной работы «Искатель непрестанной молитвы» архимандрита Михаила (Козлова), а последующие рассказы являются работами духовного писателя Арсения Троепольского. См.: *Пентковский А. М.* История текста и автор «Откровенных рассказов странника» // Богословские труды: альманах. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2018. Вып. 47/48. С. 343—448.

Осенью мы переехали в Сергиев Посад... — Розановы переехали в Сергиев Посад в конце августа 1917 г.

С. 84. *В 1901 году он сближается с Мережковским, с З. Гиппиус, с Минским, Бакстом...* — Активное сближение Розанова с кружком «богоискателей» Д. С. Мережковского и с художественным кружком эстетов-«декадентов» А. Н. Бенуа и С. П. Дягилева произошло несколько раньше — одновременно с выходом в свет журнала «Мир Искусства» (1899).

Василий Васильевич выпускает книгу «В темных религиозных лучах». ~ Отсюда началась его дружба с Мережковскими... — Дружба с Мережковским началась у Розанова еще в конце 1890-х гг.; к моменту выхода книг «Темный Лик» и «Люди лунного света» их отношения уже испортились.

С. 85. *...он дважды издал книгу «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову».* — «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову» выходили при жизни Розанова только один раз — в 1913 г.

С. 88. *...просиживал многие часы в Эрмитаже...* — Розанов посещал Эрмитаж и Публичную библиотеку, изучая древние религии и копируя египетские рисунки из атласа Рихарда Лепсиуса, еще в конце 1890-х гг., что вызвало своеобразную реплику К. П. Победоносцева: «Розанов, я думаю, близок к сумасшествию. Теперь он ходит в Публичную библиотеку исследовать сирийские и египетские культы любострастия» (ОР РНБ. Ф. 631. Переписка С. А. Рачинского. 1899, ноябрь-декабрь. № 64. Л. 140).

С. 98. *...«кого считаю умней себя, так это Флоренского и Цветкова».* — Умнее — «или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя» — Розанов считал Романова-Рцы, Шперка и Флоренского, а не Цветкова (см.: *Розанов В. В.* Листва. М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. С. 56).

С. 99. *Их семья была очень близка с семьей Фаворских...* — Сохранились эскизы художника к двум нереализованным изданиям сочинений Розанова: Афоризмы В. В. Розанова. Книга 1. Под ред. П. А. Флоренского и М. В. Шика. Изд-во Первина. 1922; *Розанов В. В.* Уединенное. Первое посмертное дополненное издание. 1922.

...на посмертной выставке моей сестры Нади... — Имеется в виду Н. В. Розанова-Верещагина. Она училась в изотехникуме в 1929—1931 гг. и была графиком-иллюстратором. В 1947 г. она стала женой вернувшегося из ссылки художника Михаила Ксенофонтовича Соколова; см. об их отношениях: Панорама искусств. М.: Советский художник, 1990. Вып. 13. С. 31—52; Москва. 1989. № 2. С. 180—194. Н. В. Розанова-Верещагина иллюстрировала издания классиков литературы, в основном рисунками тушью, участвовала в создании мультфильмов. Ее выставки состоялись в 1957, 1959 и 1960 гг. (см.: *Лидин Вл.* Рисунки Верещагиной // Литературная газета. 1957. 16 апреля; *Дружинин С.* Талантливый иллюстратор // Искусство. 1960. № 1. С. 22—25).

Н. В. Розанова
ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ
(с. 103)

Впервые: *Розанова Н. В.* Из моих воспоминаний / вступ. ст., публ. и коммент. А. Н. Богословского // Литературоведческий журнал. 2000. № 13/14. Ч. 2. С. 6–185. Примечания Т. В. Розановой – впервые: *Розанов В. В.* Избранное. Мюнхен: А. Нейманис, 1970. С. 440, 441.

С. 105. *В 1905 году мы переехали в Казачий переулок...* – Ошибка памяти: в Казачий переулок Розановы переехали в 1906 г.

С. 107. *Александровский парк (сад)* – сад в самом центре С.-Петербурга, примыкающий к юго-западной и юго-восточной сторонам Адмиралтейства. Открыт в 1874 г. Назван в честь Александра II.

С. 108. *...меня с Васей оставили у знакомых Гофштетеров.* – О Гофштеттерах см. коммент. к с. 27.

С. 109. *...сверху клали книгу Евгении Тур...* – Возможно, речь идет о книге Е. Тур «Мученики Колизея: Исторический рассказ для детей» (1884).

С. 113. *«Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...»...* – строки из «Пира во время чумы» (1830) А. С. Пушкина.

С. 123. *...папа подарил мне сказку «Лесная царевна»... – Сибилл фон Ольферс.* Лесная царевна (Сказка в стихах). М.: изд-во И. Кнебель, 1910.

С. 124. *Зигфрид* – персонаж древнегерманского эпоса, герой саги о Нибелунгах.

«Рустем и Зораб» – «персидская повесть» В. А. Жуковского (1846–1847) по мотивам «Шахнаме».

С. 142. *...делать сокольскую гимнастику...* – Сокольская гимнастика – гимнастика, базирующаяся на упражнениях с предметами, упражнениях на снарядах, массовых упражнениях и пирамидах. Гимнастика впервые появилась в Австро-Венгрии, ее основателем был профессор Пражского университета Мирослав Тырш, один из основателей панславистского движения «Пражский Сокол».

С. 158. *...немецкий учебник – Глейзер-Петцольд... – Глейзер П., Пецольд Э.* Lehrbuch der deutschen Sprache. Учебник немецкого языка. СПб., 1912.

С. 178. *«Мученики науки». – Тиссандье Г.* Мученики науки / пер. с фр. под ред. Ф. Павленкова. СПб., 1880.

С. 194. *«Камо грядеши»* – роман (1896) польского писателя Генрика Сенкевича.

С. 213. *Этот год памятен мне знаменитым «делом Б».* – Речь идет о деле Бейлиса; см.: Наст. изд. Т. 1. С. 515–516.

С. 226. *...«пух из уст Эола»...* – неточная цитата (правильно: «пух от уст Эола») из «Евгения Онегина» (глава I, строфа XX).

С. 228. *Ты страшных песен мне не пой...* — неточно цитируются строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «О чем ты веешь, ветр ночной?..» (1830). Правильно: «О, страшных песен сих не пой...».

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ В. Д. БУТЯГИНОЙ-РОЗАНОВОЙ
(с. 253)

Печатается впервые по автографу: ГЛМ. Ф. 362. Ед. хр. 176. Л. 27—31.

В. И. Стукачева
ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЬИ РОЗАНОВА
(с. 256)

Автограф: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 852. Л. 4—7. На тексте пометка: «Из записной книжки. 25 мая. Троица». Печатается по: *Розанов В. В.* Собрание сочинений. Т. 8: Когда начальство ушло... 1905—1906 гг. Мимолетное. 1914 год. М.: Республика, 1997. С. 362—364.

См. характеристику В. И. Стукачевой Розановым на конверте с ее письмами: «Стукачева. Злобная и хитрая курсистка. Вскрыть и напечатать, если она что-нибудь начнет против меня печатать. Провокаторша интимных чувств» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 652. Л. 1).

В. В. РОЗАНОВ В ДНЕВНИКАХ И ПИСЬМАХ СОВРЕМЕННИКОВ

З. Н. Гиппиус
О БЫВШЕМ (ИЗ ДНЕВНИКА 1901—1903 гг.)
(с. 261)

Впервые: Возрождение: Независимый литературно-политический журнал. Париж, 1970. № 218. С. 52—70; № 219. С. 57—73; № 220. С. 53—75.

Печатается по: *Гиппиус Зинаида.* Дневники: В 2 кн. Кн. 1. М.: НПК «Интерлак», 1999.

С. 261. *...когда я была занята писанием разговора о Евангелии...* — См. об этом в книге Гиппиус «Дмитрий Мережковский»: «Последние годы века мы жили в постоянных разговорах с Д. С. о Евангелии, о тех или других словах Иисуса, о том, как они были поняты, как понимаются сейчас и где или совсем не понимаются, или забыты <...> Я в то время некоторые разговоры на-

ши записывала. И вот, помню, раз, летом 1899 года, когда я писала что-то о "плоти и крови" в евангельских словах Христа, Д. С. пришел в мою комнату и быстро сказал: "Конечно, настоящая церковь Христа должна быть единая и вселенская. И не из соединения существующих она может родиться, не из соглашения их, со временными уступками, а совсем новая..."» (*Гиппиус З. Н.* Дмитрий Мережковский // Гиппиус З. Н. Собр. соч.: В 15 т. Т. 6. М.: Русская книга; Дмитрий Сечин, 2002. С. 250, 252—253).

С. 262. *Розанов ~ открыл кое-что ~ жене. И она ему не советовала говорить с нами.* — Варвара Дмитриевна Мережковских недолюбливала: «до пугливости, до "едва сижу в одной комнате"» (*Розанов В. В.* Опавшие листья // Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 467). Мережковский же, — вспоминает Розанов, — «всегда Варю любил — уважал и был *внутренно, духовно* к ней внимателен» (Там же. С. 254).

С. 268. ...*«Кто не возненавидит отца своего, и мать свою...»* — Ср.: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк 14: 26).

С. 269. *«Женщина, когда рождает младенца...* — Ин 16: 21.

Дмитрию Сергеевичу ~ писала одна женщина из Москвы. — Имеется в виду Евгения Ивановна Образцова, по словам А. Белого, «мясистая дама-модерн» (*Белый А.* Начало века. М.: Худож. лит., 1990. С. 199), заводившая легкие флирты в среде литературной богемы начала XX в. Интимный друг Мережковского и Брюсова в 1904—1905 гг.

С. 277. *«Мне отмщение, и Аз воздам»* — Рим 12: 19.

С. 278. *«Кто любит отца, или мать...* — Мф 10: 37.

...*«Если рука твоя соблазняет тебя...»* — Мф 5: 30; Мк 9: 43.

...*я получила от Философова написанный реферат...* — См. текст Философова «Что такое настоящая Церковь и настоящее неизвращенное общество» в журнале «Новый Путь» (1903. № 1. Ч. 2).

...*«Побеждающему дам белые одежды»...* — См.: «Побеждающий облечется в белые одежды» (Откр 3: 5).

С. 281. *«Мы сильные, должны сносить немощи бессильных...* — Рим 15: 1.

С. 282. *«Точно из "Песни торжествующей любви" — Тургенева».* — «Песнь торжествующей любви» (1881) — одна из поэтичных повестей И. С. Тургенева, вызвавшая разноречивые суждения критиков. На ее сюжет написаны две оперы — В. Н. Гартевельдом и А. Ю. Симоном (шла в 1897 г. в Большом театре).

С. 287. *«Буду молиться сердцем...»* — См.: «Стану молиться духом, стану молиться и умом» (1 Кор 14: 15).

Когда мы уезжали — за Волгу... — См. мемуарный очерк Гиппиус «Светлое озеро. Дневник» о путешествии к озеру Светлояр (Нижегородская губерния,

Семеновский уезд), которое Мережковские совершили с 15 июня по 8 июля 1903 г.

Летом стал осуществляться журнал. — Первый (январский) номер «Нового Пути» вышел в декабре 1902 г. Подготовка издания велась более года.

С. 289. *...донос Меньшикова...* — В книге «Дмитрий Мережковский» Гиппиус уточняет: «Говорили, что поводом был донос одного из сотрудников "Нового Времени", суворинской реакционной газеты. Но, думается, просто иссякло терпение Победоносцева, и он сказал "довольно"» (*Гиппиус З. Н.* Дмитрий Мережковский. С. 281).

ИЗ ДНЕВНИКА С. П. КАБЛУКОВА
(с. 290)

Публикуется впервые по рукописному оригиналу: *Каблуков С. П.* Дневник. 1909—1918 // ОР РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 3—6.

В 1909 г. Каблуков сблизился с Розановым, часто бывал у него, помогал в издании книг «Итальянские впечатления», «Русская церковь» и др. В 1910 г. разошелся с Розановым по идейным мотивам, примкнув к проповедовавшему «религиозную общественность» кружку Д. С. Мережковского. 9 ноября 1911 г. предлагал на заседании Совета РФО исключить Розанова из Общества (Там же. Ед. хр. 17. Л. 375). Накануне Октябрьской революции, разочаровавшись в антипатриотической деятельности либеральной интеллигенции, в значительной мере признал правоту Розанова, о чем в 1918 г. сообщил тому в письме, после чего Розанов написал ему примирительный ответ.

С. 290. *...прекрасная статья... — Варварин В.* <*Розанов В. В.*>. Анна Павловна Философова // Русское Слово. 1909. 17 февраля. № 38.

...по образцу «Любовь сильнее смерти» М-ского... — Мережковский Д. С. Любовь сильнее смерти. М.: Скорпион, 1902.

...перевод для «Темных лучей» на русский язык... — Имеется в виду книга Розанова «В темных религиозных лучах», подготовленная к печати в 1909 г., но напечатанная из-за разорения издателя М. С. Пирожкова только в 1910 г.

...и еще две статьи... — Речь идет о статьях Розанова: Гермес и Афродита (А. Форель. Половой вопрос) // Весы. 1909. № 5. С. 44—52; Нечто из тумана «образов» и «подобий». Судебное недоразумение в Берлине // Там же. № 3. С. 56—62.

С. 291. *...текст адреса Суворину...* — Адрес был написан по случаю 50-летнего юбилея публицистической деятельности А. С. Суворина, отмечавшегося в конце февраля 1909 г. (см.: Новое Время. 1909. 7 марта. Иллюстр. прил.).

На вчерашнем собрании у Вяч. Ив. Иванова... — 6 марта 1909 г. «на башне» у поэта В. И. Иванова состоялось заседание Совета РФО, посвященное идее создания в Религиозно-философском обществе Христианской секции.

...напечатано письмо В. В. Розанову еп. Вологодского Никона... — Епископ Никон (Рождественский) неоднократно полемизировал с Розановым. Здесь имеется в виду статья: За Божьи дни (ответ на открытое письмо В. В. Розанову еп. Вологодского и Тотемского Никона) // Новое Время. 1909. 22 марта.

С. 292. *...был у меня В. В. Розанов ~ принесший еще две статьи...* — Статьи вошли в книгу «Итальянские впечатления». Статья «Дрезденская Мадонна» (Новое Время. 1905. 3 июля. № 10536), посвященная «Сикстинской Мадонне» Рафаэля, вошла в эту книгу под названием «Сикстинская Мадонна».

Вторая вполне уместна в «Итальянских впечатлениях»... — Все последние статьи, посвященные поездке Розанова в Германию и Швейцарию в 1905 г., несмотря на несоответствие названию, были им включены в книгу «Итальянские впечатления».

С. 293. *Вчерашнее заседание Христианской секции...* — Заседание Христианской секции РФО, состоявшееся 15 апреля 1909 г., было посвящено докладу свящ. К. М. Аггеева «Индивидуализм в христианстве».

...письмо от В. В. Розанова, живущего по соседству... — Летом 1909 г. Розанов снимал дачу в дер. Лепенене (Тюрисево) близ Териок (ныне Зеленогорск), а Каблуков отдыхал в Териоках.

С. 294. *Обещая М. Гершензону отзыв о книге Волынского...* — Обещание М. О. Гершензону написать отзыв на книгу А. Волынского Розанов выполнил (*Розанов В.* Рец. на кн.: *Волынский А.* Ф. М. Достоевский. 2-е изд. I // Книжная Летопись. 1909. Сентябрь. № 5. С. 37—42). Однако, по утверждению Каблукова, книгу он так и не прочел, хотя сам Каблуков пометил на полях рецензии: «хорошая заметка».

...жена Репина ~ посвятила ему свою книгу... — Речь идет о романе Н. Б. Нордман-Северовой «Крест материнства. Интимные страницы» (СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1904. С илл. И. Е. Репина).

Затем издадим «Книгу афоризмов»... — Книга афоризмов выпущена в свет не была. См. коммент. к с. 99.

...«Корни русского сектантства»... — Сборник статей Розанова о сектантах вышел в 1914 г. («Апокалипсическая секта. Хлысты и скопцы»).

Для «Весов» он пишет статью о Гоголе... — Имеется в виду статья Розанова «Магическая страница у Гоголя» (Весы. 1909. № 8. С. 25—44; № 9. С. 44—67).

«Его и сравнивать с Михаилом нельзя»... — Имеется в виду старообрядческий епископ Михаил (Семенов).

С. 295. *...полной редакции его реферата «О церковной юрисдикции или о Христе — судии мира»...* — Имеется в виду статья: Об основаниях церковной юрисдикции или о Христе — Судии мира // Новый Путь. 1903. № 4. С. 134—150. Вошла в книгу «Темный Лик» под названием «Христос — Судия мира».

С. 299. *...с «гнусным» фельетоном В. В. Розанова...* — Видимо, речь идет о нашумевшей статье Розанова «Автор “Балаганчика” о Петербургских религиозно-философских собраниях» (Русское Слово. 1908. 25 января. № 21. Подп.: В. Варварин), а также о статье «Новый труд проф. Тареева» (Там же. 8 февраля. № 32).

ИЗ ДНЕВНИКА М. М. ПРИШВИНА
(с. 301)

Впервые: Контекст-1990: Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1990. С. 161—218 (публ. В. Ю. Гришина и Л. А. Рязановой).

Розанов был учителем Пришвина в гимназии (1887—1889), и именно из-за того, что нагрубил Розанову, Пришвин был исключен в 1889 г. из 4 класса с «волчьим билетом». Впоследствии, став писателем, Пришвин находился под очевидным влиянием идей Розанова, проявившимся, например, в книге «За волшебным колобком» (1908). Пришвина привлекало в сочинениях Розанова стремление приблизить церковь к жизни, внести в религию жизнеутверждающие начала. В то же время розановский интерес к теме пола для Пришвина не был характерен. В 1908 г., после путешествия к Светлому озеру, Пришвин познакомился с Мережковскими и встретился в Религиозно-философском обществе с Розановым. В скором времени Пришвин разочаровался в «богоискателях»-символистах, и их отношения с Розановым не получили развития. В РГАЛИ имеются 3 письма Пришвина к Розанову (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 583). У Розанова и Пришвина были общие друзья и знакомые — А. М. Ремизов, А. М. Коноплянцев, прот. А. П. Устьинский и др. После переезда в Сергиев Посад в 1926 г. Пришвин много общается с дочерью писателя Т. В. Розановой. В дальнейшем Пришвин постоянно размышляет о Розанове в своих «Дневниках», отмечая влияние на свое творчество как идей Розанова, так и его интимной афористической прозы.

С. 301. *Манасеина ~ любит свое дело.* — См. рецензию Розанова на ее книгу «Царевны» (Пг., 1915): Новое Время. 1915. 19 ноября. № 14259.

...если не считать «страны непуганых птиц». — Имеется в виду книга Пришвина «За волшебным колобком» (1908).

...мальчик, выгнанный им из гимназии... — Об исключении Пришвина Розановым из гимназии см.: *Мамонтов О. Н.* Новые материалы к биографии М. М. Пришвина // Русская литература. 1986. № 2. С. 175—185.

С. 302. *Читал ст<атью> Шестова...* — *Шестов Л.* Разрушающий и созидающий миры (По поводу 80-летнего юбилея Толстого) // Русская Мысль. 1909. Кн. 1. Отд. II. С. 25—60.

С. 303. *Собрание Религ<иозно>-ф<илософского> общества для исключения Розанова.* — 19 января 1914 г. состоялось первое заседание, на котором обсуждался вопрос об исключении Розанова. Ввиду отсутствия кворума об-

суждение вопроса о поведении Розанова было перенесено на следующее заседание, 26 января 1914 г.

С. 304. *...взял я себе напрокат «Светлого иностранца» и теперь возвращаю...* — «Светлым иностранцем» Пришвин со времен своей поездки на Светлое озеро называл Мережковского. См.: *Пришвин М. М.* Круглый корабль (1911) // Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 1. С. 789—790. Ср. характеристику Мережковского у Розанова: *Розанов В. В.* Среди иноязычных // Мир Искусства. 1903. № 10. С. 69–86.

С. 307. *Голованов и Кукарин* — участники религиозных собраний в новгородском трактире «Капернаум», который посещал М. М. Пришвин в 1909 г.

Мое первое соприкосновение с ним было в 1886 г. — Ошибка памяти: Розанов преподавал в Елецкой гимназии с осени 1887 г. Пришвин был второй раз оставлен на 2-й год из-за неуспехов в географии весной 1887 г., перед приездом Розанова. Ср. описание событий в автобиографическом романе Пришвина «Кащеева цепь» (1927).

С. 308. *...я будто у св<ященника> Алексея Петровича Устьинского...* — С другом Розанова протоиереем Александром Петровичем Устьинским Пришвин был знаком по Новгороду — см. его рассказ «Отец Спиридон» (Собр. соч.: В 8 т. М., 1982. Т. 2) и очерк «В законе Отчем» (Заветы. 1913. № 3. Отд. II. С. 57—64).

Гершензон этого не мог Розанову простить никогда. — Об отношениях Розанова с М. О. Гершензоном см.: Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона. 1909—1918 // Новый мир. 1991. № 3. С. 215—242 (публ. В. Проскуриной). О рассказах Гершензона после смерти Розанова см.: *Голлербах Э. Ф.* Последние дни Розанова (К 4-й годовщине смерти) // Наст. изд. Т. 1. С. 400—406.

С. 309. *До чего хорошо написал Ремизов о Розанове во 2-м №-е «Окна» и тоже Гиппиус в 3-м «Окне».* — Речь идет о парижских публикациях: *Ремизов А. М.* Кукха. Розановы письма // Окно: трехмесячник литературы. 1923. № 2. С. 121—193; *Гиппиус З. Н.* Задумчивый странник (О Розанове) // Там же. 1924. № 3. С. 271—336. Подп.: А. Крайний.

...Мейерша — эта торговка, ставшая женой диакона от Мережковщины... — Речь идет о жене религиозного философа А. А. Мейера, действительном члене РФО П. В. Мейер, как активной сторොннице Мережковского после «исключения» Розанова избранной в Совет РФО.

С. 311. *Был у дочери Розанова...* — Татьяна Васильевна Розанова жила в г. Сергиеве (название Сергиева Посада в 1919—1930 гг.), когда туда в 1926 г. переехал Пришвин.

Дуничка — Имеется в виду Евдокия Николаевна Игнатова, двоюродная сестра Пришвина.

...я читал ей «Курымушку». — «Курымушка» (М., 1924) — вышедшая отдельным изданием 1-я часть автобиографического романа Пришвина «Кащеева цепь», где идет речь о Розанове.



С. 315. *Тарасиха* — Имеется в виду жена А. А. Александрова Евдокия Тарасовна. См. коммент. к с. 52.

С. 316. *«Ина»* — героиня романа «Кащеева цепь», прототипом которой была В. П. Измалкова — первая любовь Пришвина.

С. 322. *Ляля* — Речь идет о Валерии Дмитриевне Пришвиной, второй жене Пришвина.

С. 324. *...в одной книге он поместил портрет своей семьи всем обезьянником...* — Розанов включил ряд фотографий, в том числе с изображением семьи, в книгу «Опавшие листья».

С. 327. *Читал на ночь письма Блока Розанову.* — Речь идет о письмах Блока к Розанову от 17 и 20 февраля 1909 г., включенных в кн.: *Блок А.* Сочинения в одном томе. М.; Л.: Гослитиздат, 1946. С. 533—534.

ИЗ ДНЕВНИКА С. Н. ДУРЫЛИНА
(с. 328)

Впервые: *Дурылин С. Н.* Троицкие записки / публ. и примеч. А. Резниченко и Т. Резвых // Наше наследие (Интернет-журнал). 2018.

С. 329. *Ю<рий> А<лександрович>* — Олсуфьев.

Мокринский — упомянут в письме В. В. Розанова литераторам от 17 января 1919 г.: «Поклоняйтесь Троице безначальной и живоносящей и изначальной. Флоренского, Мокринского и Фуделя и потом графов Олсуфьевых прошу позаботиться о моей семье и также Дурылина и всех, кто меня хорошо помнит» (*Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 684).

Русов меня накормил карпом... — В. В. Розанов в январе 1912 г. отзывался о нем так: «Познакомьтесь Вы (в Москве) с Русовым. Какой-то странный и, мне кажется, несчастный человек, тоже идейно мятущийся, ищущий, презирающий, негодующий, и словом "оскорбленный в сердце идеалист". Что-то мне говорит, что Вам нужно встретиться» (*Розанов В.* Письма к Б. А. Грифцову / вступ. ст., публ. и коммент. Е. Барабанова // Наше наследие. 1989. № 6 (12). С. 60).

С. 332. *Из Оптиной были худые вести...* — Декретом СНК РСФСР от 10 (23) января 1918 г. Оптина пустынь была закрыта, «но продолжала существовать под видом сельхозартели до весны 1923 г. Аресты монашествующих и руководства музея "Оптина пустынь" были проведены в Вербное Воскресенье <...> Монастырь перешел в ведение "Главнауки". В начале июня 1927 г. прокатилась волна арестов среди оптинских монахов и работников музея. Поводом послужили письма из Германии (через "Общество культурной связи с заграницей") и из болгарского или сербского монастыря. В результате музей "Оптина пустынь" был ликвидирован, а его имущество перешло во владение к местным властям» (Цветочки Оптиной пустыни / сост. С. В. Фомин. М.: Паломник, 1995. С. 170—171).

ИЗ ПИСЬМА СВЯЩ. П. А. ФЛОРЕНСКОГО К М. И. ЛУТОХИНУ (с. 333)

Впервые: Литературная учеба. 1990. № 1. С. 83 (публ. Евг. Ивановой).

Публикуемое письмо отражает точку зрения о. Павла Флоренского на В. В. Розанова под непосредственным впечатлением от самой антихристианской книги мыслителя «Апокалипсис нашего времени» (1917—1918). Адресат Флоренского — неизвестное лицо, хотя, возможно, этот тот самый врач, Михаил Иванович Лутохин, знакомый Розанова из Курска, который упоминается в «Воспоминаниях» Т. В. Розановой в связи со смертью сына Розанова.

С. 333. *...он говорит теперь то же ~ что говорил раньше.* — Флоренский имеет здесь в виду связь между прежними, тяготевшими к антихристианству взглядами Розанова 1900-х гг., получившими яркое выражение в книгах «Темный Лик» и «Люди лунного света», и неожиданным возвратом к, казалось бы, преодоленным язычески-иудаистским настроениям в «Апокалипсисе».

ИЗ ПИСЬМА СВЯЩ. П. А. ФЛОРЕНСКОГО К М. В. НЕСТЕРОВУ (с. 335)

Впервые: Накануне (Берлин). 1923. 11 февраля. Лит. прил. № 39. С. 5—7.

С. 336. *...«Праведны и истинны все пути Твои, Господи».* — Откр 15: 3.

В. В. РОЗАНОВ В ДОКУМЕНТАХ ЭПОХИ

СУД НАД РОЗАНОВЫМ. ЗАПИСКИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА (с. 339)

Печатается по: Общее собрание Религиозно-Философского общества. 26 января 1914 г.: Стенографический отчет. Записки Петроградского Религиозно-философского общества. Вып. 4. Доклад совета и прения по вопросу об отношении общества к деятельности В. В. Розанова (с сокращениями).

С. 339. *Председатель* собрания — М. И. Туган-Барановский.

С. 339–340. *...такому-то члену Общества ~ выйти из состава Общества...* — Речь идет о В. П. Свенцицком, исключенном из Московского Религиозно-философского общества 17 ноября 1908 г. за аморальное поведение.

С. 340. *...г-н Скворцов очень резко обрушился на нас ~ за нетерпимость...* — 19 января 1914 г. В. М. Скворцов выступил в «Колоколе» в защиту В. В. Розанова.

С. 342. *...статья Розанова под названием «Не надо амнистии».* — Имеется в виду статья: *Розанов В.* Не нужно давать амнистию эмигрантам // Богословский Вестник. 1913. № 3. С. 644–650. Редактором «Богословского Вестника», поместившим эту резкую статью против революционеров, был о. Павел Флоренский.

С. 343. *...Морозову с «Грозой и бурей» в кармане.* — Имеется в виду не выдерживающая серьезной критики книга народовольца Н. А. Морозова (1854–1946) «Откровение в грозе и буре» (1907), написанная им в тюрьме и посвященная «научной» трактовке «Апокалипсиса».

С. 344. *...выражение Кассия из «Нового Времени»... — Кассий* — псевдоним сотрудника «Нового Времени» И. А. Гофштеттера. Он писал: «Исключение Розанова из Религиозно-философского общества. Но разве можно исключить душу из тела?» (Месть религиозно-философствующих бейлистов // Новое Время. 1914. 22 января. № 13601. С. 4. Подп.: Кассий).

С. 345. *«Если Вера Чеберячка все-таки не взяла сорок тысяч за покрытие Бейлиса...* — Вера Владимировна Чеберяк — вдова почтового чиновника, хозяйка воровского притона, свидетельница по делу Бейлиса.

С. 348. *...«quousque tandem Catilina»...* — «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?» («Доколе же, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?» (*лат.*)) — ставшая крылатой фраза из Первой речи Цицерона против Луция Сергия Катилины (I, 1), произнесенной 8 ноября 63 г. до н. э.

С. 349. *Я помню очень шумное заседание Общества по поводу интересной книги «Вехи».* — Заседание общества по поводу сборника «Вехи» состоялось 25 апреля 1909 г. Доклад Д. С. Мережковского был опубликован в «Речи» (*Мережковский Д. С.* Семь смиренных // Речь. 1909. 26 апреля. № 112). См.: *Розанов В.* Мережковский против «Вех» // Новое Время. 1909. 27 апреля. № 11897. С этой полемики началось окончательное расхождение Розанова и Мережковского.

...хочу задать вопрос словами В. Соловьева... — Имеется в виду статья В. С. Соловьева «Словесность или истина?» (Русь. 1897. 30 марта).

С. 353. *«И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».* — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827).

С. 354. *«Не я интересен, а моя тема»...* — Имеются в виду следующие известные слова Розанова: «Я — бездарен; да тема-то моя талантливая» (Альманах «Северные цветы» на 1901 год. М., 1901).

С. 360. *П. Б. Струве с позором выщелкнул Розанова из «Русской Мысли»...* — Отношения Розанова со Струве окончательно испортились после выхода книги Розанова «Когда начальство ушло...» (1910) и последовавшей за этим полемики.

Розанова ~ изгнала от себя ~ одна большая либеральная газета. — Речь идет о газете «Русское Слово», где Розанова перестали печатать после ультиматума, предъявленного Мережковским и Философовым в 1911 г.

С. 362. *...к «добру и злу постыдно равнодушны».* — Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

«Я не сужу никого» — Ин 8: 15.

«Я суд миру сему» — Ин 12: 31.

«Отец не судит никого, а весь суд отдал Сыну» — Ин 5: 22.

«Не мир принес Я, но меч» — Мф 10: 34.

С. 364. *От действительных членов ~ поступило в Совет Религиозно-философского общества следующее предложение...* — Вместо отвергнутой резолюции об «исключении» была принята новая формулировка «о невозможности совместной работы с В. В. Розановым в одном и том же общественном деле». В знак протеста против «исключения» Розанова Совет покинули П. Б. Струве, А. Н. Чеботаревская и С. Л. Франк, вместо которых были избраны, вместе со Степановым, К. А. Половцева и А. А. Мейер. Кроме того, РФО покинули В. А. Тернавцев, А. Д. Скалдин и А. М. Коноплянцев. О подробностях обсуждения и о возможных подспудных мотивах участников см.: *Иванова Евг.* Об исключении В. В. Розанова из Религиозно-философского общества // Наш современник. 1990. № 10. С. 104—122.

В. В. РОЗАНОВ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ

М. М. Пришвин
КАЩЕЕВА ЦЕПЬ
(с. 371)

Впервые: Курымушка: Повесть в 3 частях. М.: Новая Москва, 1924 (первые 3 звена); Кащеева цепь. М.: Госиздат, 1927.

Печатается по: *Пришвин М. М.* Собр. соч.: В 8 т. Т. 2: Кащеева цепь. Мирская чаша. М.: Худож. лит., 1982. С. 5—483.

С. 393. *Наша жизнь коротка...* — популярная студенческая песня-вальс.

С. 395. *Так жизнь молодая проходит бесследно...* — романс на слова и музыку Л. Д. Малашкина (1879).

С. 396. *...попробуй-ка ты одолеть Бокля...* — Бокль считал движущей силой истории «рассудок» и утверждал, что исторический процесс следует изучать методами естественных наук и статистики. Популярность его в 60-х — 70-х гг. XIX в. у русской интеллигенции объяснялась резкими выпадами его против рабства и деспотизма.

С. 400. *...в раннем детстве, когда убили царя...* — Имеется в виду убийство Александра II 1 марта 1881 г. народовольцами.

Сергей Гедройц

ЛЯХ

(с. 408)

Впервые: *Гедройц Сергей.* Лях. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1931.

Сергей Гедройц — псевдоним Веры Игнатьевны Гедройц, взятый ею по имени покойного брата. Обучалась в Брянской прогимназии в то время, когда Розанов преподавал там географию и историю (1882—1887).

Печатается по этому изданию, с. 178—181, 187—195, 236—237, 248—250.

С. 409. *Нужно сдать экзамен во второй класс...* — Гедройц получала домашнее воспитание и образование.

Н. Н. Русов

ЗОЛОТОЕ СЧАСТЬЕ

(с. 419)

Впервые: *Русов Н. Н.* Золотое счастье: Роман в двух частях с эпилогом. М.: Труд, 1916.

Печатается по этому изданию, с. 48—58.

С. 422. *...вроде первого издания Словаря Бейля...* — Имеется в виду «Исторический и критический словарь» («Dictionnaire historique et critique») П. Бейля (1-е изд.: 2 т. Роттердам, 1697).

...Я хочу забыться и заснуть... — неточно цитируется стихотворение М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

Ольга Форш

ВОРОН

(с. 424)

Впервые: *Форш О. Д.* Символисты // Звезда. 1933. № 1, 5, 9, 10; *Форш О. Д.* Ворон. Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1934.

С. 426. *«Социальное развитие может только устранить внешние препятствия любви...* — цитата из статьи «К философии трагедии. Морис Ме-

терлинк» Н. А. Бердяева, вошедшей в сборник его статей «Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900—1906)» (1907).

С. 427. *«...тайна свершения рока в запечатленных сердцах...* — Неточно цитируются строки из стихотворения Вяч. И. Иванова «Тихий Фиас» из книги стихов «Кормчие звезды» (1903).

С. 428. *Это он сидел перед нетопленым камином...* — строки из стихотворения М. Моравской «Я не хочу истины, я хочу покоя!..» (1914).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

* Составители: С. В. Степанов и А. П. Дмитриев.



СОДЕРЖАНИЕ

В. В. РОЗАНОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ ДОЧЕРЕЙ

В. В. РОЗАНОВ В ДНЕВНИКАХ И ПИСЬМАХ

В. В. РОЗАНОВ В ДОКУМЕНТАХ ЭПОХИ

В. В. РОЗАНОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ

Научно-популярное издание

В. В. РОЗАНОВ
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
Том 2

Составитель: *Виктор Григорьевич Сукач*

Выпускающий редактор: *Д. А. Федоров*
Корректор: *С. В. Степанов*
Верстка: *К. С. Курбатова*

Формат 60 × 88 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Октава.
Печ. л. 33,0. Тираж 500 экз.

ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostokbooks@yandex.ru
URL: http://www.rostokbooks.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: 8–921–937–98–70

ИП «Варваркин А. И.»
199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, корп. 3, оф. 4

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»,
книга предназначена для детей старше 16 лет